

ЖИТАРИ

КОМНАТА



ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

СБОРНИК
НАУЧНО-ФАНАТАСТИЧЕСКИХ
И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ
ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
ЛЕНИНГРАД 1961



ВАЛЕНТИНА ЖУРАВЛЕВА

УРАНИЯ

НАУЧНО-ФАНАТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Я

не люблю, когда люди теряют голову в трудных обстоятельствах. Горы требуют спокойного сердца и ясного ума. Из тридцати четырех спасательных экспедиций, в которых я участвовал, семь пришлось предпринимать только потому, что люди теряли выдержку и делали глупости.

Тридцать пятая экспедиция началась с радиогранмы — путанной, на три четверти состоящей из бесвязных призывов о помощи. В этой радиогранме, подписанной начальником высокогорного астрофизического пункта, почему-то упоминалась вторая луна — да, именно вторая луна! — и говорилось, что астроном Закревский заблудился в горах. Когда и в каком районе заблудился астроном, какое у него снаряжение, начали ли поиски, — об этом не было сказано ни слова.

Мы вылетели на вертолете вдвоем — я и пилот Леднев — в половине четвертого утра. На сбор спасательной партии требовалось часа два — три, а я не хотел терять времени. Весной Памир коварен: частые обвалы, ползучий, липкий, как пластырь, туман, внезапные метели,

короткие и жестокие, — тут каждая минута может стать решающей.

До перевала Хытгоз, на котором находился астрофизический пункт, я не рассчитывал добраться меньше чем за час. Вертолет пробивался сквозь рваные, насыщенные электричеством грозовые облака. Стоило немного изменить высоту полета, подняться или опуститься на тридцать — сорок метров, — и вертолет начинало кренить, раскачивать.

Леднев вел машину по приборам. За три года, что мы работали вместе, нам, пожалуй, еще не приходилось начинать поиски в таких сложных условиях. Леднев — храбрый парень; он сказал, усмехнувшись: «Запросто можно грохнуть», — но я видел, как ему трудно. Он все-таки посадил вертолет на маленькую площадку у астрофизического пункта и, когда мотор, сухо кашлянув, умолк, попросил у меня сигарету — а курил он редко, совсем редко.

Мы вышли из машины. В окнах бревенчатого двухэтажного здания горел свет. Навстречу нам, защищаясь рукой от слепящих фар вертолета, спешил низенький, очень полный человек в расстегнутом меховом комбинезоне. Он тяжело дышал, и по его крупному в рябинках лицу стекали капли пота. Я подумал, что это начальник пункта, и не ошибся.

— Устинов, моя фамилия Устинов, — торопливо, глотая окончания слов, сказал толстяк. — Рад, что вы прилетели... Ну, теперь все будет хорошо. Да, хорошо... Прошу вас, пройдемте...

Он побежал к домику, на полдороге остановился, зачем-то огляделся по сторонам, подошел ко мне и, поднявшись на носки, торопливо зашептал:

— Понимаете, там наша сотрудница, Елагина... невеста Закревского... Вы, пожалуйста, осторожнее при ней. Знаете, не надо раньше времени... Может, все еще устроится...

В невысокой, освещенной двумя яркими лампами комнате (это было что-то вроде столовой или общего зала) нас встретили паренек в цветастом свитере и девушка в спортивном костюме и накинутой на плечи меховой куртке. В углу на раскладной кровати лежал мужчина — уже немолодой, смуглый, чернобородый.

Я спросил Устинова, где остальные сотрудники пункта.

— Остальные? — рассеянно сказал он. — Ах, остальные... Двенадцать человек третьего дня ушли с проводником на Зулум-колды. Мы строим там опорную базу... Я, Закревский и Хачикян (он ткнул рукой в сторону чернобородого) поднялись к лагерю «3000», это на девятьсот метров выше пункта. Потом Хачикяну стало плохо, я помог ему спуститься... Да, да, не следовало оставлять Закревского... Но вы должны понять...

Пока я понимал лишь одно: начальник астрофизического пункта настолько взволнован и растерян, что добиться от него ничего нельзя. Собственно, все они находились в том состоянии, которое Леднев обычно называл «ТП» — тихая паника. И суетливый начальник, и Хачикян, и мальчишка-радиост... Все — кроме Елагиной.

Впрочем, о ней следовало сказать с самого начала. Едва взглянув на нее, я подумал, что тот человек, в горах, не должен погибнуть. Эта девушка могла выбрать только человека очень смелого и сильного. Она сама была такой: сильной, гордой, спокойной. Не знаю, что творилось у нее на душе, — она не выдавала этого ни единым словом, ни единым жестом. Я никогда не забуду ее серые глаза, тугие, венцом уложенные черные косы, гордо вскинутый подбородок, тонкие, волевые губы.

Красота и ум — высшие проявления природы. Но ум иногда бывает злобен, красота же добра. И я не знаю красоты более необходимой, чем женская. Исчезни с небосвода звезды, высохни океаны, сравняйся с землей горы — мир стал бы беднее, но он остался бы миром. Без женской красоты мир просто бы померк... Елагина была очень красивой. Впрочем, красивая — не то слово. Красивых много. Я бы сказал — прекрасная. Тут разница такая же, как между Ай-Петри и Эверестом.

Лет двадцать назад мне случайно попался потрепанный томик «Популярной астрономии» Фламариона. На обложке, наискось порванной и склеенной полоской пожелтевшей папиросной бумаги, была изображена женщина с глобусом у ног — Урания, покровительница астрономии. Позади Урании светился звездами черный провал неба. Урания улыбалась и показывала рукой на звезды. Она была совсем земной женщиной, эта Урания, но в глазах ее отражался загадочный блеск далеких

звезд... Мне почему-то врезался в память этот отблеск. С тех пор я смотрел в глаза многих женщин — иногда очень красивые глаза, — но еще ни разу не видел в них звездного отблеска. И только у Елагиной... Она была настоящей земной женщиной — как Урания на порванной обложке «Популярной астрономии», но свет звезд дрожал в ее глазах...

Я попросил Елагину объяснить, при каких обстоятельствах исчез Закревский. Она подошла к висевшей на стене карте и начала говорить — коротко, ясно, точно. А в глазах светился удивительный звездный отблеск...

Через три минуты я знал все.

Двое суток назад Закревский остался в лагере «3000». Устинов и Хачикян спустились вниз. К вечеру первого дня Закревский радировал о важном открытии. Радиogramма заканчивалась словами: «Мешает облачность. Попробую подняться выше». Через три часа Закревский передал еще одну радиogramму. Сквозь грозовые разряды удалось разобрать только два слова: «...гипотеза... предполагал...» С этого времени прошло более суток. Закревский молчал. Версия об испорченном передатчике сразу отпала: в лагере «3000» была запасная рация, и если бы Закревский вернулся туда, связь возобновилась бы.

Меня удивило, как Закревский решился уйти из лагеря вечером, перед сумерками.

— Он альпинист, перворазрядник. Хорошо знает горы, — ответила Елагина.

Это осложняло дело. Опытный альпинист за несколько часов мог уйти довольно далеко от лагеря. Я спросил, о каком открытии шла речь в первой радиogramме. Елагина вопросительно посмотрела на начальника.

— Открытие? — переспросил Устинов. — Ах, открытие... это очень важное открытие. Правда, еще нет уверенности. Но разве вам нужно знать?.. То есть, простите, зачем вам?..

Он смущенно умолк. Я объяснил: зная, какие наблюдения интересовали Закревского, можно судить о том, куда он пошел.

— Да, да, вы правы, — поспешно согласился Устинов. — Вот Рубен Владимирович вам скажет. Они вдвоем вели эту работу.

Хачикян, сидевший на кровати, встал и, пошатываясь, подошел к нам. Черные глаза его лихорадочно блестели. Он сильно волновался и поэтому почти кричал:

— Николай нашел вторую луну... Понимаете, вторую луну!..

Леднев подтолкнул меня. Кажется, Елагина это заметила. Она сказала:

— Рубен Владимирович объяснит.

Я не сразу понял то, о чем говорил Хачикян. Астрономия — не моя специальность. Да, признаться, и слишком необычным оказалось открытие Закревского. Необычным — и вместе с тем простым.

Астрономы (я этого раньше не знал) считали вероятным, что у Земли, кроме Луны, могут быть и небольшие естественные спутники. Поиски таких спутников чрезвычайно затруднены и долгое время велись безуспешно. Насколько я понял, трудность состояла в том, что при большой скорости движения маленьких лун на фотопластинке не остается следов. Кроме того, попадая в тень Земли, спутники не светятся, и их наблюдение можно вести только в течение небольшого промежутка времени.

— Вторую луну искали очень опытные наблюдатели в разных странах, — взволнованно жестикулируя, говорил Хачикян. — Даже Томбо искал...

— Это астроном, открывший планету Плутон, — встала Елагина.

— Да, да, очень опытный наблюдатель, — подхватил Хачикян. — И на обсерватории Лоуэлла вели специальные наблюдения. Но безрезультатно, понимаете, совершенно безрезультатно. А сейчас у нас новая аппаратура, специально разработанная для наблюдения спутников. Вот мы и прочесывали небо... Четыре месяца. Но только вчера Николай нашел. В радиограмме прямо было сказано: «Поймал вторую луну». Период обращения у нее, наверное, небольшой, и до следующего оборота в распоряжении Николая оставалось часа два — три. Ну, а тут облачность...

Я спросил, что могли означать эти слова во второй радиограмме — «гипотеза... предполагал...»

Хачикян развел руками:

— Не знаю, совсем не знаю...

— Аппаратура у Закревского тяжелая?

— Аппаратура? — Устинов отрицательно покачал головой. — Нет. Очень чувствительная, но легкая... — Он повернулся к Хачикяну. — Ты иди ложись. Слышишь!

Он повел Хачикяна к кровати.

— Вы пойдете на поиски? — спросила Елагина.

— Полетим, — ответил я. — С рассветом полетим.

— Хорошо. Полечу с вами.

Она не просила, не требовала. Просто сказала: «Полечу с вами».

Нам надо было ждать часа полтора. Я объяснил Устинову, что яркие лампы утомляют глаза, а перед поисками это не очень желательно. «Вы думаете?» — рассеянно переспросил он, но лампы погасил. Теперь комнату освещал только колеблющийся свет газового камина. Расплывчатые, изломанные тени дрожали на бревенчатых стенах. Устинов бегал из угла в угол. Он забыл снять меховой комбинезон, изнывал от жары и все время вытирал лицо — фиолетовое в газовом свете.

В горах так случается часто: судьба сводит под одной крышей непохожих людей. Но, кажется, на этот раз судьба перестаралась.

Мы сидели у камина, и я наблюдал за Елагиной. Такой выдержки мне еще не приходилось видеть. Эта девушка держалась так, словно ничего не произошло. Она разогребла нам какао, заставила Хачикяна принять лекарства, Устинову принесла чистый платок, мальчишкурадиста отправила принимать метеосводку...

Наши пути пересеклись случайно. Пересеклись, чтобы тут же разойтись. Будь это десять, пятнадцать лет назад, я попытался бы все перекроить по-своему. Сейчас я знал — уже поздно, уже не нужно. Сейчас я просто испытывал горькую радость, что встретил — пусть ненадолго — Уранию из книжки моей юности.

Я сказал — случайно? Нет, конечно, эта встреча была закономерной. Земля, люди вступили в космическую эру. Стали обыденными слова, которые таинственным заклинанием прозвучали когда-то со страниц потрепанной книжки Фламариона, — «орбита», «апогей», «перигей»... С того дня как ракеты забросили в космос маленький кусочек Земли, люди пристально смотрели в небо. Может быть, поэтому в их глазах и светился этот удивительный звездный отблеск.

Урания должна была прийти в горы — и она пришла, перемешала земное с небесным, обычное с необычным, реальное с фантастическим. И мне, спасавшему альпинистов, географов, охотников, пришлось искать астронома, открывшего вторую луну...

Я смотрел на Елагину и невольно думал о Закревском.

В исчезновении астронома многое было неясным. Почему опытный альпинист, хорошо понимающий, что такое ночь в горах, ушел из лагеря? Открытие второй луны еще ничего не объясняло. Закревский сделал это открытие в лагере «3000» и радиовал о нем довольно спокойно. Что же изменилось за несколько часов? Почему во второй радиограмме появились слова «гипотеза», «предполагал»? Вряд ли Закревский сделал подряд два открытия...

Я выдвигал версию за версией и сам же их отбрасывал. Так шло время. А Устинов бегал по комнате — от двери к карте — и тяжело дышал. В конце концов мне надоела эта тихая паника. Чтобы отвлечь Устинова, я спросил, какое значение может иметь открытие второй луны. Он не сразу понял вопрос и долго смотрел на меня. Потом начал говорить — к моему удивлению, вполне связно:

— Значение?.. Как вам сказать... Двадцать лет назад такое открытие представляло бы чисто теоретический интерес. И через десять лет оно снова будет не очень интересным. Но сейчас... Видите ли, небольшой естественный спутник — это база для межпланетных перелетов. Открытие маленькой луны на несколько лет приблизит полеты на Марс, Венеру... Мы проектируем создание обитаемых искусственных спутников, но это дело нелегкое. А тут готовый строительный материал... Можно строить обсерватории, склады горючего...

Елагина (она стояла позади Устинова) сказала очень тихо:

— Только там случилось другое... Эта вторая радиограмма...

Я ответил, что тоже так думаю. Она посмотрела мне в глаза и молча отошла.

Оказалось, я могу волноваться. Мне не хотелось, чтобы Леднев это заметил, и, накинув куртку, я вышел к вертолету.

Сквозь плотную завесу тумана едва пробивался тусклый серый свет. Туман, туман, проклятый туман!.. Он обложил горы, забил ущелья, проник, кажется, повсюду...

Где-то там, за туманом, был Закревский. Спасение людей в горах — мое ремесло, я многое видел и ко многому привык. Но за эти несколько минут в сыром, тяжелом тумане я пережил черт знает что: и неуверенность, почти робость, и предпоисковый азарт, и жгучее чувство ответственности.

Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Это был Леднев.

— Дай сигарету, — сказал он. — Ох, туманы мои, растуманы... Метеосводка, между прочим, паршивая. Похолодание.

Мы закурили. А туман полз и полз — бесконечный, как речная вода, и плотный, как паста. Леднев бросил недокуренную сигарету и пошел к машине прогревать двигатель.

Спустя полчаса мы вылетели — втроем, с Елагиной. Когда она сказала Устинову, что полетит с нами, начальник пункта закашлялся, побагровел, но ничего не возразил.

Вертолет поднялся над перевалом Хытгоз, на мгновение в иллюминаторах блеснуло солнце — и снова надвинулась молочно-белая пелена. Внизу был туман, наверху — многоярусная облачность.

Впрочем, лагерь «3000» мы отыскивали сравнительно легко. В разрывах облаков мелькнула черная палатка — Леднев заметил ее и повел машину на снижение. Метрах в пяти от скалистой площадки вертолет повис, мы открыли люк, сбросили веревочную лестницу.

Через минуту я был в палатке. Разумеется, Закревского там не оказалось. Но на раскладном столике прижатая камнем лежала записка. Я с трудом разобрал неровный, изломанный почерк: «Подступают облака. Ухожу наверх. Нинка! Хотел назвать вторую луну твоим именем, но... Помнишь мою гипотезу? Надо проверить. Это немыслимо... Или наоборот».

Поднявшись в вертолет, я передал записку Елагиной. Она долго ее рассматривала, потом сказала:

— Будем искать.

И мы начали поиски.

В жуткой мешанине облаков и тумана приходилось рассчитывать главным образом на приборы. Должен сказать, что приборы у нас были отличные: точнейшая локаторная установка, магнитный искатель и другие точные приборы. Но проходил час за часом — и безрезультатно.

Поиск в горах — это прежде всего испытание нервов. Нужно чертовское терпение, чтобы обшарить все и не пропустить ни одной скалы, ни одной тропы. Я привык к этому. Леднев — тоже. А Елагина... Она ничего не говорила. Она не торопила, не задавала вопросов. Ее как бы не было на борту вертолета. И в то же время — она была.

Когда Леднев, едва не разбив машину о черт знает откуда вынырнувший пик, сказал: «Запросто грохнем, если не уйдем», — я увидел, как сверкнули глаза Елагиной. Нет, на этот раз я увидел в ее глазах загадочный звездный отблеск, а ясный, неумолимый приказ: «Искать и найти!»

Эта Урания, как я сказал, была земной женщиной. И любила она так, как любят земные женщины, готовые отдать вселенную за свою любовь. Отсвет этой любви упал на нас с Ледневым. Вертолет снова вошел в облака — мы не свернули, не ушли.

Был ли я влюблен в Елагину? Вряд ли. Любовь разгорается не сразу, как и костер (и, как костер, не сразу гаснет). Когда-то, совсем мальчишкой, я влюбился в Уранию. И Елагина была просто очень похожа на нее, эту Уранию. Если человек, которому перевалило за сорок, просматривает старые, пожелтевшие фотографии и вдруг у него начинается сильнее биться сердце, — разве это любовь? Попробуйте подобрать для этого слово... И если не найдете, что ж, пусть считается — любовь.

Так вот, мы не ушли.

Вертолет снова вошел в туман. Для поисков нет ничего хуже тумана. Он подводит вас на каждом шагу. В тумане все искажается: светлые предметы кажутся близкими, темные — далекими, скалы — похожими на пушистые облака, пропасти — на утопанный фирн. И сам туман бесконечно меняется — то стелется легкой дымкой, то поднимается плотной, почти весомой стеной,

то вдруг переливается в лучах солнца цветами радуги, то становится черным, как грозовая туча.

Облака — туман, облака — туман... И снова облака, и снова туман... Иногда Леднев выключал двигатель, вертолет проваливался вниз, а мы, приоткрыв люк, пытались сквозь свист ветра услышать крик. Но горы молчали. А горячее было уже на исходе, и в полдень нам пришлось вернуться на Хытгоз, к астрофизическому пункту.

Леднев заправлял баки бензином, а я присел у бревенчатой стенки. Поиски в горах иногда затягиваются на недели, и поэтому нужно использовать каждую минуту вынужденного отдыха. Я поднял капюшон куртки, закрыл глаза и сразу погрузился в дремоту. В ушах еще эхом отдавался гул мотора, откуда-то издали доносились приглушенные голоса...

Не помню, сколько прошло времени. Наверное, минут десять — пятнадцать, не больше. Я услышал шаги и встал. Это была Елагина.

— Знаете, — сказала она, — я хотела объяснить вам, почему Николай ушел в горы. Понимаете, год тому назад...

То, что я услышал, оказалось удивительным, почти фантастичным. Где-то за туманом звучали голоса людей, урчал прогреваемый мотор — все было просто и обыденно. А Елагина рассказывала о необыкновенном. И снова у меня мелькнула эта мысль: человечество пристально смотрит в небо, и в глазах людей отсвечивают звезды. Кто же осмелится теперь провести грань между обычным и фантастическим?..

— Уже давно, — говорила Елагина, — идет полемика: прилетали ли когда-нибудь на Землю жители чужих миров, чужих планетных систем. Одни говорят: да, прилетали, потому что жизнь широко распространена во вселенной и, наверное, во многих случаях находится на более высокой ступени развития, чем на Земле. Другие — таких больше — считают это чистой фантастикой и спрашивают: «Где же следы звездных пришельцев?» А следов нет. Может быть, корабли упали в океан? Может быть, опустились в песках Сахары или лесах Сибири?.. Может быть, прошли миллионы лет — и время стерло следы?.. Не знаю. Это на грани науки и фантастики. Но год назад — после одной дискуссии — Ни-

колай высказал интересную мысль... Вам пока все понятно?

Я ответил, что пока понятно все. И сразу же убедился в обратном. Было совершенно непонятно, как простая и, на мой взгляд, очень убедительная мысль — я имею в виду идею Закревского — никому раньше не приходила в голову. Конечно, я не астроном и могу ошибаться... Впрочем, судите сами. Вот эта идея.

Звездные корабли — если они когда-нибудь приближались к Земле — либо вновь улетали в космос, либо опускались на Землю. И в том и в другом случае их следы терялись — ведь это могло произойти тысячи, миллионы, даже миллиарды лет назад. Ни память людей, ни сама Земля не сохранили никаких следов. Но есть третий случай — редкий, однако, как сказала Елагина, теоретически вполне возможный. Захваченный притяжением Земли, звездный корабль мог стать спутником нашей планеты.

На большой высоте нет сопротивления воздуха — и такой спутник вращался бы вечно... Правда, для этого требовалось множество всяких «если»: если звездный корабль подлетит к Земле, если скорость и направление его полета так сочетаются с земным притяжением, что корабль выйдет на замкнутую орбиту, если по какой-либо причине корабль не сможет преодолеть это притяжение, если орбита не окажется близкой к атмосфере... Но Земля существует миллиарды лет — за это время могли совпасть даже самые редкие «если».

Я спросил Елагину, считает ли она правильной идею Закревского. Для меня Елагина была Уранией: скажи она «да» — я поверил бы полностью, безоговорочно.

— Как вам сказать, — улыбнулась Елагина (она улыбнулась впервые!), — астрономические гипотезы часто поражают своей фантастичностью. Но если приглядеться, идеи астрономов — лишь отражение земной жизни. Не понимаете? Ну, я вам поясню примером. В конце прошлого века, когда шло строительство больших каналов на Земле, появилась гипотеза о марсианских каналах. Потом было создано радио — и возникла гипотеза о радиосигналах с Марса. Изобрели реактивные самолеты — и в тунгусском метеорите заподозрили марсианский корабль. Были запущены искусственные

спутники Земли — и тотчас же появилась гипотеза о том, что спутники Марса — Фобос и Деймос — искусственные... Так и с идеей Николая. Вам это кажется фантастичным, а мне...

Она замолчала. Потом тихо произнесла:

— Он хотел проверить эту гипотезу. Поэтому и рискнул уйти в горы...

Я ответил, что мы найдем Закревского и тогда все выяснится. Она пристально взглянула мне в глаза и ничего не сказала.

Четверть часа спустя вертолет снова был в воздухе. Мы дважды прошли над всеми местами, где мог быть Закревский. Прощупали приборами каждую скалу, каждую тропинку. И не нашли.

Тогда я решился на крайнюю меру: мы начали искать там, где Закревского не могло быть. Вертолет опускался в ущелья, пролетал по узким, обрывистым теснинам, висел над заснеженными, тонкими, как иглы, пиками.

«Небываемое бывает», — говорил Козьма Прутков. В горах небываемое действительно бывает. Мы нашли Закревского на маленькой площадке, прилепившейся к западному, почти отвесному склону Шагранского ущелья. Сквозь туман где-то внизу блеснул огонек, Елагина первой заметила его, крикнула нам, и Леднев повел вертолет на снижение.

Это довольно рискованная штука — посадка в горах во время тумана. Но Леднев сумел посадить машину точно на гребень восточной — более пологой, сглаженной — стороны ущелья. Елагина схватила аккумуляторный фонарь и первой выскочила из вертолета. Не знаю, что именно она передала Закревскому. Выходя из машины, я успел разобрать лишь одно слово из ответа астронома: «...Люблю...»

— Ну что? — спросил я Елагину.

— Вы... знаете азбуку Морзе? — ответила она вопросом на вопрос. Голос у нее был смущенный.

— Нет, — машинально ответил я. — Не знаю. И Леднев... не знает.

Леднев (он вылез из вертолета вслед за мной) хотел что-то сказать, но посмотрел на меня и промолчал.

Получилось чертовски глупо. Я не сразу сообразил, в какое нелепое положение поставил нас мой ответ. Теперь мы могли разговаривать с Закревским только через

Елагину. А женщины — даже такие, как Елагина, — не всегда умеют правильно обращаться с требующей лаконизма азбукой Морзе.

Нина долго сигналила, прикрывая рефлектор фонаря варежкой. Закревскому было сообщено, что его очень, очень любят, что мы — Леднев и я — чудесные люди и, к счастью, не знаем азбуки Морзе. И лишь после этого фонарь отмигал короткий вопрос: «Что случилось?»

Мы с Ледневым старательно делали вид, что ничего не понимаем. Не берусь судить о себе, но Леднев выглядел комично... Я попробовал крикнуть — до противоположной стороны было метров полтора: горное эхо завыло, захлопотало...

А огонек, тусклый огонек пробивался сквозь туман. Закревский ответил подробно, но деловая часть его ответа составляла две фразы, не много добавившие к тому, о чем я уже сам догадывался.

Камнепад отрезал Закревского на маленькой площадке — на балконе, как говорят альпинисты. Сверху над балконом нависало метров семьдесят — восемьдесят гладкой скалы. Снизу была трехсотметровая пропасть.

Положение наше оказалось невеселым. Вызвать спасательную партию, пробраться на западный склон ущелья, снять Закревского — на это могло понадобиться часов десять — пятнадцать. А до темноты оставалось часа три — четыре. Не будь тумана, мы попробовали бы подойти к площадке на вертолете. Но сейчас это было почти безнадежно.

Горы сильны и нелегко отпускают свои жертвы. Я понимал, что ничего сделать нельзя. Только — ждать.

По ущелью медленно плыл туман. Иногда он редел, и мы видели крохотную площадку и фигуру человека... Потом снова надвигалась белая пелена, через которую едва пробивался свет фонаря.

— Знаете, — сказала Елагина, — Николай действительно открыл вторую луну. Нет, нет, это не межпланетный корабль... То есть скорее всего — не корабль. Важно другое — вторая луна найдена! Здесь-то уж ошибки нет... У Николая рация погибла при обвале. И часть аппаратуры. Но снимки уцелели. Устинов об этом не знает, нужно ему радировать.

Она пошла с Ледневым к вертолету. А я присел на камень. Мысли путались, сбивались. Я искал путь туда,

на западный склон ущелья, не находил и почему-то вновь и вновь думал об открытии Закревского. Пусть вторая луна — только камень, безжизненный камень, пойманный когда-то притяжением Земли. Теперь я верил, знал: наступит день, и люди, проникнув в космос, встретят чужие звездные корабли. Наверное, это произойдет в такой же будничной обстановке, и обыденное переплетется с фантастическим.

...А время шло так быстро, как оно никогда не идет в горах. И туман, проклятый туман, все полз и полз по ущелью.

Елагина вернулась и снова начала сигнализировать Закревскому. Не знаю, о чем они говорили. Я разобрал — машинально — лишь несколько фраз. Это были стихи:

...астроном
Вращает могучий, безмолвный рефрактор,
Хватает планет голубые тела
И шарит в пространстве забытые звезды...

Я не мешал Елагиной. Луч ее фонаря сейчас был нужен Закревскому.

До сумерек — а они в горах скоротечны — оставалось два часа. Потом — час. За моей спиной ходил Леднев. Четыре шага — от камня к обрыву — и четыре шага назад. У меня кончились сигареты, за день мы выкурили две пачки.

В половине седьмого Леднев сказал мне:

— Нужно лететь.

Я ничего не ответил. В таком тумане из десяти шансов девять были против нас. Следовало бы вызвать спасательную партию и ждать до утра. Но стоило мне вспомнить о Елагиной, и я прогонял эту мысль прочь.

— Нужно лететь, — настойчиво повторил Леднев. — Склон крутой, понимаю... Подойти впритирочку в тумане... Но выбора-то нет.

Елагина отложила фонарь. Подошла к нам. Тихо спросила:

— Вы хотите лететь туда?

— Да, — ответил Леднев.

— Не нужно! Туман... Вы разобьетесь! Подождите еще... Николай продержится... Он сумеет продержаться...

Она сказала это искренне — готов поклясться! — однако глаза говорили другое. В глазах было... Нет,

словами не объяснишь! Но дай бог, чтобы о каждом из нас в трудную минуту женщина говорила с такими глазами.

Я сказал Ледневу:

— Летим!

А Елагиной приказал остаться. Мы выгрузили палатку, рацию, продовольствие. В случае катастрофы Елагиной пришлось бы ждать спасательную партию.

Леднев рванул кран пневмозапуска, мотор заурчал, прогреваясь на малых оборотах. Потом вертолет плавно пошел вверх.

Западный склон Шагранского ущелья был скрыт густым туманом. Яркий свет фар придавал клубящемуся туману багровый оттенок. Казалось, мы идем сквозь дым гигантского костра. Вертолет повис в воздухе, а затем начал медленно приближаться к скалистой, круто наклоненной стене.

Я открыл люк, сбросил веревочную лестницу. Грохот мотора, свист ветра, усиленные скалами, сливались в оглушительный, надрывный вой. Леднев, не оборачиваясь, взмахнул рукой. Я скользнул в люк.

Не знаю, откуда взялся ветер, но гибкая лестница сильно раскачивалась. А туман то наползал так, что я не видел даже рук, то редел, таял — и тогда внизу черными пятнами проступала трехсотметровая пропасть.

Ветер — это было по-настоящему страшно. Леднев подвел вертолет «впритирочку» к скале, и резкий порыв ветра мог бросить машину на камни. Я старался не смотреть вверх, от этого ровным счетом ничего не могло измениться.

Лестница оказалась метрах в трех от площадки. Закревский размахивал руками и что-то кричал. Я начал раскачивать лестницу — так дети раскачивают качели. Впрочем, это была довольно невеселая игра, потому что вертолет тоже раскачивался, а лопасти винта отделяло от скалы лишь несколько сантиметров.

Я знал: если Закревский резко схватит лестницу, нам несдобровать. Но, видимо, астроном и сам это понимал. Он подхватил лестницу очень осторожно. Я спрыгнул на площадку.

Она была совсем маленькая, эта площадка — полтора

метра на метр, и скользкая от тумана. С одной стороны площадка круто обрывалась, с другой быстро сходила на нет.

Провести почти двое суток на таком пяточке — без спального мешка, без припасов, даже без воды — не-легко, и я считал, что мне придется самому поднимать Закревского в вертолет. Однако этот парень так сжал мою руку, что все опасения моментально рассеялись. Вид у Закревского, надо признать, был аховый: подбитый глаз, исцарапанное, небритое лицо, взлохмаченные волосы, изорванная одежда. Но в глазах поблескивали огоньки — точь-в-точь как у Елагиной. Он вообще чем-то напоминал Елагину.

— Нина на вертолете? — прокричал он мне в ухо. — Радиограмму передали? Курево у вас найдется? Дьявольски промерз! Ваше лицо мне знакомо... Если не ошибаюсь, в прошлом году вы восходили на пик Ленина. А в пятьдесят шестом...

Мне пришлось не очень вежливо напомнить, что обо всем этом мы успеем побеседовать на вертолете. Потом я спросил, сможет ли он подняться по лестнице. Закревский пожал плечами: «конечно».

Я все-таки заставил его снять тяжелый рюкзак, набитый какими-то приборами, и, придерживая лестницу, показал ему: «Лезь!»

Закревский полез. Эти несколько минут были самыми тяжелыми. Туман почти мгновенно поглотил Закревского, и только по натяжению лестницы я мог догадываться, что астроном лезет наверх. Был момент — лестница рванулась у меня в руках, и я едва не соскользнул с площадки. Потом лестница начала часто подергиваться, Закревский сигнализировал: «Все благополучно».

Я ухватился за веревочную перекладину, оттолкнулся от камня и невольно закрыл глаза: лестница начала быстро крутиться. Вертолет уходил от скалы, а я висел на раскачивающейся, крутящейся лестнице. Рюкзак, судя по весу, содержал оборудование солидной обсерватории... Взобраться на вертолет я так и не успел; Леднев, ориентируясь по фонарю Елагиной, повел машину к восточному склону ущелья.

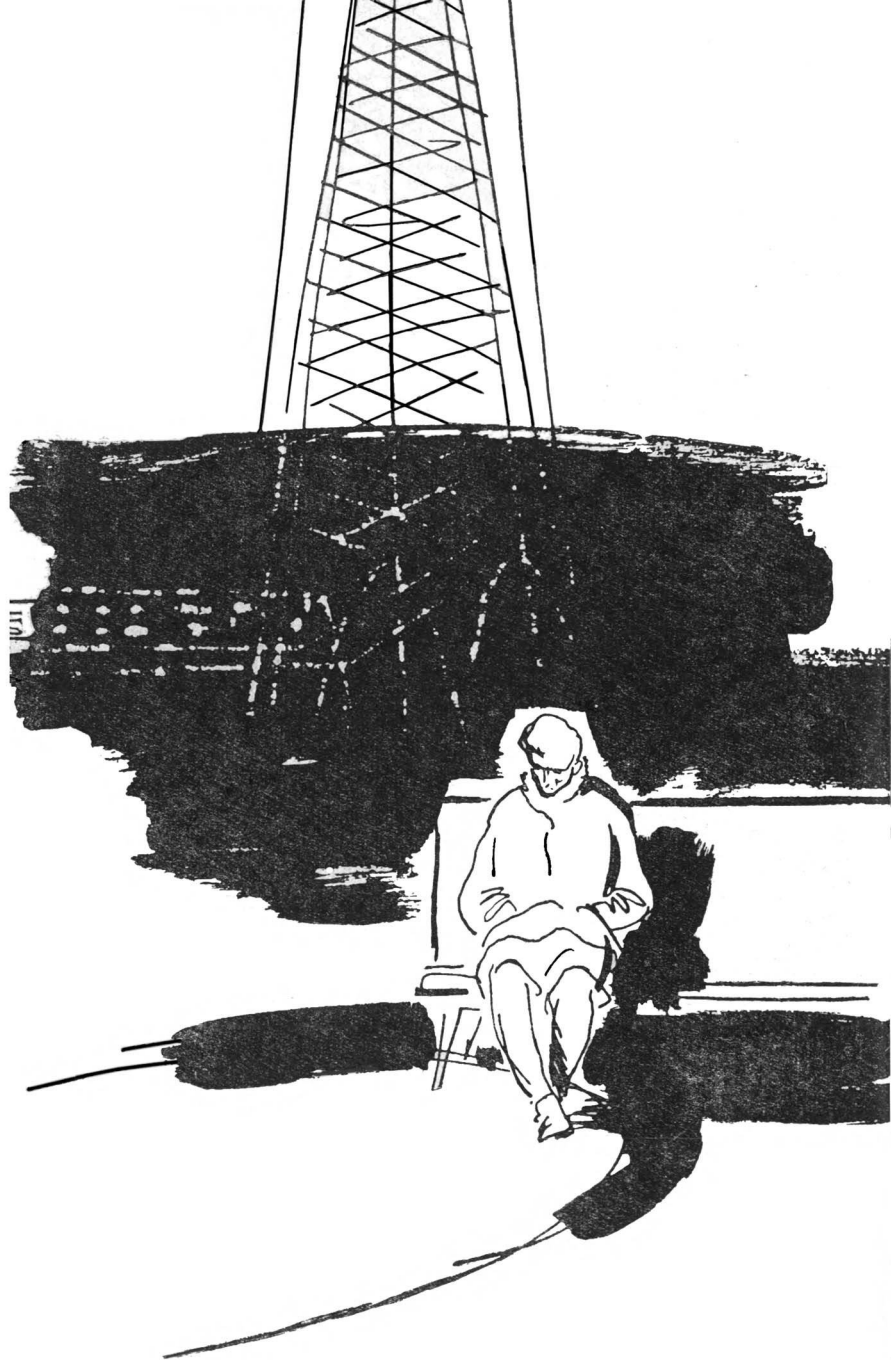
...Вот собственно, все.

Я не очень удачно прыгнул с лестницы и ушиб ногу.
— Что с вами? — крикнула Елагина.

Она подбежала ко мне, помогла снять рюкзак.

— Знаете, — сказала она, — и в глазах ее, удивительных глазах Урании, блеснул звездный свет, — вы заставили меня вспомнить слова Тенцинга Норгея, покорителя Эвереста. Он говорил, что горы учат его быть великим и помогать другим становиться великими. Вы такой же.

Я ничего не ответил. Тенцинг Норгей, конечно, прав: горы возвышают людей. Но в еще большей — неизмеримо большей! — степени это делает любовь.



Г. АЛЬТОВ

ПОЛИГОН "ЗВЕЗДНАЯ РЕКА"

НАУЧНО - ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

4

Четыре дня над испытательным полигоном «Звездная Река» висели сырые, размытые тучи. Ветер гнал по бетонным дорожкам мутные потоки воды. Неожиданно со Станового Нагорья потянуло холодом, и в полночь выпал снег. Он таял, ложась на мокрую землю. Снежинки выживали только на металлических фермах Излучателя. Тонкими и точными штрихами снег обвел линии Излучателя, и двухсотметровое сооружение проступило на фоне черного неба, как гигантский чертеж.

Человек шел, машинально обходя лужи. Он не смотрел вниз, потому что за семнадцать лет до мельчайших подробностей изучил эту дорогу. Семнадцать лет — в одно и то же время, в любую погоду — он проходил этой дорогой. Он уже давно отвык обращать внимание на окружающее. Он замечал лишь то, что было связано с его мыслями: ту или иную часть конструкции Излучателя, иногда — что-то в комплексе сооружений Энергоцентра. Но в ту ночь он смутно ощущал неуловимую перемену в окружающем. Это мешало думать.

Он остановился и внимательно посмотрел по сторонам. Снега он просто не заметил — это его не интересовало. В Излучателе за последнюю неделю ничего не изменилось. В окнах главного корпуса Энергоцентра, как обычно, горел свет, там дежурили круглосуточно. Невысокие холмы, окружавшие со всех сторон полигон, сейчас не были видны: они сливались с ночным небом.

Несколько минут человек, прищурившись, смотрел вдаль. Он уже понимал, что изменилось. Исчезло желтое зарево над холмами. Зарево это было отблеском огней далеких городов, отблеском чужой и далекой жизни. Человек семнадцать лет не покидал полигон. Он не думал о том, что находилось там, за холмами. Но к ночному зареву он привык. Иногда оно разгоралось сильнее, иногда — слабее. Сейчас зарева не было совсем.

— Тучи? — спросил человек. Он привык рассуждать вслух.

— Да, конечно, — ответил он себе. — Плохая видимость.

Он передвинул рычажок электрообогрева, и под курткой прошла волна теплого воздуха. Об исчезнувшем зареве он сразу же забыл. Отсюда было удобно смотреть на Излучатель. Вершину огромного, нацеленного в небо сетчатого конуса скрывали тучи. Десятки прожекторов освещали снизу этот конус; казалось, он лежит на голубых лучах света, а не на невидимых в темноте металлических опорах.

— Еще четыре года, — негромко, словно сомневаясь, произнес человек.

Он смотрел на гигантский конус Излучателя и думал о том, что семнадцать лет назад здесь ничего не было. Семнадцать лет назад Излучатель существовал только в его воображении: такой, каким он видит его сейчас. Нет, не такой. Много хуже.

Он хрипло рассмеялся.

Да, в ту пору все — и он сам — считали, что требуется около шестидесяти лет, чтобы накопить энергию для эксперимента. Но прошло семнадцать лет — и почти все готово. Энергоцентр испытательного полигона получал в эти годы значительно больше энергии, чем можно было когда-то рассчитывать. Удалось изменить и конструкцию Излучателя. Из года в год он совершенствовал свой Излучатель. Он отдал этому всё. Семнадцать

лет он работал так, как не смог бы работать никто другой: не пропуская ни одного дня, не отвлекаясь ничем посторонним, по восемнадцать часов в сутки, без праздников и без отдыха.

Он знал: его считают великим ученым. Это уже давно стало для него привычным, естественным и не вызывало волнения. Он относился к своему дару, как к совершенной машине. И когда эта машина давала хорошие результаты (а это случалось очень часто), ему было приятно.

Снежинки дрожали в лучах прожекторов. Человек машинально следил за полетом снежинок и ничего не видел. Ему вдруг вспомнилась буря, вызванная его открытием два десятилетия назад. Он первым сказал: «Скорость света — не предел». Сначала с ним не спорили. Его открытие просто не приняли всерьез. Тогда он опубликовал расчеты — и буря началась. Его противники ссылались на опыты Майкельсона, на десятки, сотни аналогичных опытов, подтвердивших конечную величину скорости распространения света. Он ответил новыми расчетами. За длинными рядами формул стояла простая, в сущности, мысль. Скорость звука в воздухе невелика — 331 метр в секунду. Но при взрывах, когда возникают огромные давления, звуковая волна распространяется вначале со скоростью в двадцать, в тридцать раз большей. Нечто подобное происходило и со светом. В этом была своя закономерность: каждый физический закон справедлив лишь в определенных пределах. Даже закон тяготения, названный когда-то «всемирным», оказался неточным в масштабах макромира. Майкельсон, Миллер, Пиккар, Иллингворт, Томашек — все они ставили опыты со световыми источниками относительно небольшой силы. В этих условиях скорость света действительно не превышала триста тысяч километров в секунду. Но при звездных катастрофах — при внезапных вспышках новых и сверхновых звезд — свет некоторое время распространялся со «взрывной» скоростью. Так, во всяком случае, говорили расчеты. Излучатель, возвышавшийся в центре полигона, должен был на опыте доказать, что для взрывных импульсов очень большой энергии световой порог преодолит.

...Машинально обходя лужи, человек шел по бетонной дорожке, обсаженной приземистыми вечнозелеными

кустарниками. Он смотрел на главный корпус Энергоцентра и думал, что там, на пультах, стрелки контрольных приборов приближаются к черте, означавшей конец многолетнего ожидания. За Энергоцентром, в глубоких подвалах, хранились погруженные в жидкий гелий рядные батареи. Они были почти до предела насыщены энергией. Еще никогда и ни для каких целей не сосредоточивалось так много энергии. Семнадцать лет — днем и ночью — по подземным кабелям текла сюда энергия, собранная на всех континентах Земли.

— Четыре года, — сказал человек, остановившись возле скамейки.

Ветер лениво раскачивал фонарь, подвешенный между двумя столбами. Изломанная граница света и тени прыгала по доскам скамейки. Человеку показалось, что тень стоит на месте, а скамейка, как живое существо, то погружается во мрак, то отскакивает назад, к свету. Человек погрозил скамейке пальцем.

— Не-ет! Двадцать месяцев...

Он не замечал, что карманный радифон давно подает сигналы. Они казались посторонними и далекими, эти сигналы, похожие на крик испуганной птицы. Птица кричала громче, настойчивее, не давала сосредоточиться — и человек, в конце концов, услышал. Он достал из кармана радифон, покрутил регулятор настройки. На маленьком — со спичечную коробку — экране появилось взволнованное лицо дежурного инженера.

— Ну? — спросил человек. Он не выносил, когда ему мешали думать.

— Простите, что я вас беспокою...

— Ну? — нетерпеливо повторил человек. Лишние слова всегда вызывали у него раздражение.

Инженер рывком снял очки, но сдержался и сказал почти спокойно:

— К вам приехала секретарь Ученого Совета Академии.

— Ладно. Передайте... пожалуйста, передайте, что я на Южной аллее.

Человек спрятал радифон, сел на край скамейки и устал. Потерял глаза. Как только он переставал думать, сразу подступала усталость. Он посмотрел на Излучатель (отсюда был виден только конус) и беззвучно рассмеялся. В эту ночь он решил занимавшую его несколько

месяцев проблему. Да, в системе магнитной защиты кое-что придется изменить. Но зато четыре года превратятся в двадцать месяцев. Это совсем мало: в десять раз меньше того, что уже прошло.

— Двадцать месяцев, — сказал он, пытаясь разглядеть вершину конуса. — Но я придумаю еще что-нибудь. Да и энергии будут давать больше. Значит, не двадцать, а только девять. Или семь...

И он вдруг почувствовал, как гулко бьется сердце. Он всегда волновался, думая о том моменте, когда все будет готово. Но сегодня сердце билось слишком громко. Так громко, что он вздрогнул, явственно услышав его стук.

Это были шаги в глубине аллей. Он обернулся, увидел женскую фигуру и встал.

Женщина была очень молода — намного моложе человека, ожидавшего у скамьи. Костюм ее походил на одежду лыжника. Снег падал на черные волосы, уложенные в высокую, приподнятую над головой прическу. Лицо у женщины было мягкое, доброе, и потому резкие морщинки в уголках глаз казались чужими, случайными.

Они встретились на середине аллей, под фонарем. Они стояли в трех шагах друг от друга, а по земле растерянно метались их тени.

Женщина тихо сказала:

— Здравствуй.

Он быстро отошел назад, в темноту. Потом спросил:

— Так это ты... секретарь Совета?

— Третий месяц, — ответила она. — Ты не знал?

Он промолчал.

— Мы давно не виделись, — нерешительно сказала она.

— Деятнадцать лет, — отозвался он. — Да, почти девятнадцать лет. Это было здесь. Ты... помнишь?

Она кивнула головой.

— Помню. Тогда здесь был пустырь. Мы придумывали название... для полигона.

Женщина улыбнулась, рассеянно дотронулась пальцем до подбородка, и человек вздрогнул, узнав эту улыбку и этот жест.

— Где-то здесь была река, — продолжала она. — Нет, не река — совсем маленькая речка. Но в ней отражались звезды. Очень много звезд.

— Да. Много звезд, — сказал он. — А потом никто не мог понять, откуда взялось это название... Речки уже нет. Давно нет.

Он предложил ей сесть.

Они сели на мокрую от растаявшего снега скамью и долго молчали. Она искоса посматривала на него, но он сел туда, куда не доставал свет фонаря, и лица его не было видно.

— Я по делу, — сказала она, не выдержав молчания.

— Да, — безразлично произнес он.

— Произошла катастрофа с подземоходом. Ты, конечно, знаешь?

— Нет.

— Ты... не знаешь?

Он досадливо пожал плечами.

— Нет.

— Хорошо, — сказала она после некоторого молчания. — Я объясню. Это экспериментальный подземоход. Совершенно новая конструкция. Раньше опускались на три, на четыре километра. Эта машина пробилась на глубину в тридцать шесть километров. Предполагали, что она дойдет до сорока. Но произошла авария. Ты слышишь?

Она всматривалась в темноту и никак не могла разглядеть его лицо.

— Да, — ответил он. — Слышу.

— У них мало кислорода, — продолжала она. — Часть баллонов уничтожена при аварии. Но какое-то время они продержатся. Связь плохая. Трудно сказать, сколько они могут продержаться. Дóрог каждый час... На бурение нет времени. Если бурить, — мы не успеем туда добраться. Опóздаем. Остается только один способ — электропробой.

— А, знаю. — Он оживился. — Знаю. Направленный разряд. Образуется скважина с оплавленными стенками. Сколько дней она держится, такая скважина?

— Это зависит от многих причин, — быстро ответила женщина. — Но нам достаточно нескольких часов.

Он неожиданно рассмеялся.

— У вас ничего не выйдет! На это требуется огромное количество энергии. Пробить земную кору... Теперь я припоминаю: Опыты проводились на глубинах до двадцати километров. Да, да... Эти опыты поглощали уйму

энергии. Я тогда протестовал — и опыты прекратили. Энергию отдали ему, — он махнул рукой в сторону Излучателя. — Когда же это было?.. Восемь лет назад. Да, восемь лет назад.

— Энергия есть, — возразила женщина. — Энергия есть в батареях твоего полигона. Разве ты...

Она умолкла, — ей было трудно говорить.

Он встал, шагнул от скамьи. Спросил, не оборачиваясь:

— Так приказал Ученый Совет?

В голосе его было безразличие. Женщина ожидала всего, — только не безразличия.

— Нет, — ответила она. — Это не приказ. Точнее — не совсем приказ. На заседании Совета все высказались за использование энергии твоих батарей. Но единогласно принята оговорка: использовать, если согласишься ты.

— Следовательно, решение зависит от меня?

— Да.

— И никто не будет протестовать, если...

— Нет.

Он вернулся к скамье, сел.

— Передай, что я не согласен.

Она вздрогнула, посмотрела на него.

— Ты...

— Я же сказал — нет. Помолчи, пожалуйста. Я все объясню.

Женщина тщетно пыталась увидеть его лицо. Голос (так ей казалось) шел откуда-то издалека.

— Допустим, что я отдам энергию, накопленную здесь за семнадцать лет. Ведь вам нужна вся эта энергия, не так ли?

— Да, вся, — подтвердила женщина. — В твоих батареях примерно девяносто процентов нужной нам энергии. Скважина должна иметь большой диаметр и...

— Хорошо, — перебил он. — Хорошо. Вы возьмете энергию, и три человека будут спасены. Итак, мы потеряем накопленную за семнадцать лет энергию, зато сохраним трех человек. Я просил не перебивать меня! Выслушай, пожалуйста, до конца. Ты знаешь: энергия, накапливаемая здесь, нужна для решающего эксперимента. Овладеть засветовыми скоростями — значит открыть путь человечеству к самым отдаленным галактикам.

Но суть даже не в этом. Космические корабли нередко погибают из-за недостаточной мощности двигателей. Статистика тебе, надеюсь, известна. Установить на кораблях новые двигатели — а в этом конечная цель моей работы — значит спасти жизнь многим астронавтам. Как видишь, здесь строгий расчет. Я не руководствуюсь личными соображениями. Я думаю о людях. В одном случае погибнут три человека, но наука рванется вперед, даст технике средства, которые предотвратят в будущем гибель сотен, может быть тысяч людей. В другом случае удастся спасти трех человек, но мы потеряем семнадцать лет, и это неизбежно — прямо или косвенно — приведет к человеческим жертвам. Ты... все поняла?

— Все, — тихо ответила женщина. — Мне страшно, что ты такой.

Он усмехнулся и мельком взглянул на нее.

— Ну, а возражения у тебя есть? Разумные доводы? Я готов выслушать.

Женщине было холодно, она забыла об электрообогреве костюма. Снег падал ей на плечи и не таял.

— Да, — сказала она после продолжительного молчания. — У меня есть доводы. Ты прав: космическим кораблям нужен мощный двигатель. Это откроет путь к галактикам, уменьшит число катастроф. Однако все это — в будущем. Следовательно, есть время. Не ты один думаешь об этих двигателях. Да, я хорошо понимаю: твоё открытие — это нечто особенное. Но и другие конструкции помогут нам в ближайшие годы избавиться от катастроф, связанных с недостаточной мощностью двигателей. Нет, нет, так нельзя обосновать твой отказ.

Он снисходительно улыбнулся.

— Ты улыбаешься сейчас, — грустно сказала она. — Я не вижу, но знаю: ты улыбаешься... Сколько раз было так! Я чувствую, что ты неправ, и не могу доказать... С тобой трудно спорить. Но разве справедливо, чтобы из-за этого те трое...

— Несправедливо, — сухо ответил он. — Хорошо. Допустим, важнее сейчас спасти трех человек, чем рассчитывать на отдаленные результаты моего эксперимента. Но что можно противопоставить его научному значению? Ничего!

— Ничего, — повторила женщина. — И все-таки человеческая жизнь важнее. Наука существует для людей.

— Прописная истина, — резко перебил он. — Я ставлю эксперимент не для забавы. Для людей. Это сделает их сильнее, счастливее.

— Нет, нет! Мне трудно спорить с тобой. Но я... я начинаю думать, что твой эксперимент теперь только задержит развитие науки.

Он посмотрел на нее. Ему казалось, что спор уже решен. Сейчас его просто интересовал ход ее мыслей. И он с любопытством спросил:

— Почему?

Она ответила не сразу. Она сидела совершенно неподвижно, и снежинки падали на ее ресницы. «Глаза совсем черные, — подумал он. — Черные, а не светло-синие...» Он заставил себя смотреть на Излучатель. Но значительно труднее было изменить направление мыслей: впервые за очень долгое время мысли не повиновались ему. «Как странно, — думал он, — пройдет сорок или пятьдесят лет, и могучий Излучатель покажется людям неуклюжим и смешным, а красота, вот такая красота — и через тысячи лет вызвала бы радостное изумление... А если бы там, под землей, была она?..» На мгновение ему представилось, что на освещенном конце скамейки никого нет — только сотканное из света видение.

— Я объясню, — сказала женщина. Она старалась говорить спокойно, взвешивая каждое слово. — Я объясню на понятном тебе языке логических доводов... Науку развивают люди. Сейчас они идут на риск, на подвиги, зная, что в случае необходимости будет сделано все возможное, чтобы оказать им помощь. Я говорю не только о тех, кто сейчас сидит там, в кабине подземохода. Я говорю об экипажах космических кораблей, об экспедициях на чужие планеты, о строителях подводных городов... Они твердо знают, что в беде их поддержат все. Это умножает силы, это... Прости, я сбилась с логического языка. Логика, только логика! Развитие техники в определенной степени зависит от того, что люди верят в поддержку всего человечества. Если один раз эта вера будет обманута... Ты понимаешь? Сегодня мы не отдадим энергию твоих батарей, а завтра кто-то поколеблется — идти ли на риск, кто-то станет чуть-чуть

менее дерзким, менее смелым... И так во всех областях науки, всюду, где идет схватка с природой. В целом это даст такой отрицательный эффект, что твой эксперимент и еще десятки таких экспериментов...

Она продолжала говорить, но он ничего не слышал. Он с полуслова понял ее мысль и теперь видел значительно дальше, чем видела она сама.

— Хватит! — глухо произнес он. — Возможно, ты права. Логика, кажется, не на моей стороне.

Женщина напряженно всматривалась в темноту. Свет фонаря бил ей в глаза; она едва различала припорошенную снегом фигуру человека.

— Ты... согласен?

— Послушай, — спросил он, глядя на конус Излучателя. — Допустим, я отдам энергию. Допустим. Но ведь нет твердой уверенности, что этот... электропробой удастся. На такой глубине его еще ни разу не испытывали. И тогда энергия будет потрачена напрасно.

— Да, — сказала она, — абсолютной уверенности нет. Но все расчеты... Почти невероятно, чтобы была неудача. К тому же и твой эксперимент...

— Ерунда, — досадливо перебил он. — Мой эксперимент будет успешным. Притом и отрицательный результат был бы важен для науки.

— Хорошо, я не спорю. Но... что же ты все-таки решаешь?

— Что я решаю? — переспросил он. — Значит, решение зависит от меня?

Она ответила очень тихо:

— Так постановил Совет.

— Тогда я — против. Я не отдам батареи.

— Почему? — спокойно спросила она, и он почувствовал, как трудно дается ей это спокойствие.

— Не волнуйся, — с неожиданной мягкостью в голосе сказал он. — Я попытаюсь объяснить. Ты помнишь, каким я был двадцать лет назад? И вот сейчас... Ведь ты только на два года моложе меня. А я почти старик. Это хорошо, что ты не споришь. Так вот, сейчас я почти старик, а ты по-прежнему молода. Как в то время. Этот Излучатель отнял у меня всё. И тебя и всю жизнь.

— Нет, — возразила она. — Я сама...

— Пусть так, — поспешно согласился он. — Пусть так. Излучатель не виноват в том, что я тебя потерял.

Однако семнадцать лет я сижу здесь, на полигоне. Семнадцать лет. Ты молчишь? Это хорошо. Ты и умна по-прежнему. Ты понимаешь, что работаю я только за двоих или за троих, Излучатель был бы готов через шестьдесят лет. Конечно, мне помогали. Мне помогали много больше, чем я просил. Но тысяча самых хороших музыкантов не сыграет так, как может сыграть один гениальный музыкант. Ты знаешь, я не переоцениваю себя.

— Знаю, — с усилием произнесла она.

— В первые годы, — продолжал он, — мне было трудно здесь. Но я понимал, что несу ответственность перед людьми за свой мозг. Я должен был использовать его с предельным коэффициентом полезного действия. Я работал по восемнадцать часов в сутки. И каждую секунду из этих восемнадцати часов я заставлял свой мозг работать на полном накале. Я добился, чтобы меня не трогали врачи. Я работал на износ...

Он помолчал, затем неожиданно рассмеялся:

— Хотелось уехать за горы, к людям... Меня тянуло туда. Я вспоминал наш обрыв над Волгой... Ладно. Не в этом дело. Я не мог уехать. Я знал, что не имею права заставлять эту машину бездействовать, — он постучал пальцем по своему лбу. — Иногда я думаю, что мне просто не повезло. В медицине, в биологии, в химии, в любой области техники я работал бы вместе с людьми. Я не был бы так одинок. Моя же работа приковывала меня к письменному столу и требовала одиночества. То, что я делал, лежало где-то на границе теоретической физики и философии. Осмысливание общих идей, отыскание общих принципов... Так или почти так когда-то работал Эйнштейн. Я не нуждался в лабораториях, мне не надо было уезжать в экспедиции... Мне доставляли отобранную информацию. Где-то производили нужные мне вычисления... Вначале у меня были друзья, сотрудники. Но с каждым годом моя задача все более суживалась. Энергия, энергия, энергия! В борьбе за энергию я не мог потратить десяти минут на дружескую беседу, и у меня не стало друзей. А сотрудники... Я их почти не вижу. Мы говорим на расстоянии. Кто-то строит части Излучателя; разве я могу поехать на завод? Кто-то работает у вычислительных машин; разве я имею время на разговоры с этими людьми?.. Семнадцать лет!

Вероятно, этот путь можно было пройти — без такого напряжения — лет за тридцать. Я прошел этот путь за семнадцать лет — и дорого заплатил.

— Если бы ты работал вместе с людьми, — возразила женщина, — этот путь удалось бы пройти за двенадцать лет. Или за десять. Ты об этом не думал?

— Нет, — ответил он. — И сейчас я так не думаю. Пойми: я не жалею и ни о чем не жалею. Это большое счастье — постоянно жить в вихре идей, силой ума пробиваться в еще неведомую человеку область. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь. Но вот приходишь ты и требуешь, чтобы я сам все перечеркнул. Там погибают три человека. Они посвятили свою жизнь решению какой-то научной задачи. Я тоже посвятил свою жизнь решению научной задачи. И вот ты хочешь спасти их. Благородно. Очень благородно. Но ты понимаешь, что тогда погибну я? Я не могу ждать еще семнадцать лет, а без этого моя жизнь... Так вот, скажи: разве справедливо спасать их ценой моей жизни? Вероятно, моя работа тоже важна. Вероятно, мои семнадцать лет стоят их спуска на тридцать шесть километров. Так почему же они — да, а я — нет? Почему? Логика все-таки на моей стороне. Логика и справедливость.

Женщина не ответила. Она смотрела на снег и думала, что там, под землей, три человека задыхаются от жары. Холодильная установка скорее всего не работает и невидимые потоки тепла просачиваются сквозь изоляцию в глубь корабля...

Снег постепенно обосновывался на земле. Сначала возникли белые полосы по краям аллеи, потом белая паутина начала расползаться по асфальту, захватила свободную часть скамейки. Снег оседал на широких листьях кустарника. Конус Излучателя стал совсем белым. Снег был и на людях. Он скапливался в складках куртки у мужчины и ровным слоем покрывал свитер женщины.

— Ну что ж, — сказала женщина, стряхивая с колен снег. — Я передам Совету твое решение. Сейчас я уйду. Никто не заберет твои батареи. Но я должна сказать тебе, что я об этом думаю. Впрочем, это мое личное мнение, и ты можешь...

Он резко взмахнул рукой.

— Говори!

Женщина долго молчала. Он смотрел на нее и думал: «Неужели до сих пор люблю?» Уже много лет он не вспоминал ее. И вот сейчас она пришла — и снова в сердце стучит боль, снова подступает мучительное чувство утраты.

— Мне трудно сказать тебе все, — начала женщина. — Но я скажу.

— Говори, — прошептал он. Ему хотелось слышать ее голос. Только голос!

— Что ж, слушай. — Она говорила, глядя прямо перед собой, в беловатую мглу. — Ты очень изменился. Ты перестал быть человеком и коммунистом. Я боюсь, что скоро ты перестанешь быть и ученым. Нет, теперь слушай! Ты сам хотел. Слушай же... Раньше ты жил для людей. Ты был похож на тех, которые когда-то закрывали собой амбразуры. Сегодня ты не сделал бы этого.

— Ошибаешься! — холодно сказал он.

— Нет, не ошибаюсь. Ты бы рассчитал, что для блага людей важно сохранить твой мозг. И для блага людей не спас бы товарищей! Ты хорошо знаешь арифметику логических расчетов и совсем забыл высшую математику человеческих отношений. Там, за пределами полигона, все считают, что твоя жизнь — подвиг. Только поэтому Совет оставил последнее слово за тобой. Но мы не знали, что твоя жизнь давно перестала быть подвигом. В этом есть и наша вина. Да, твоя работа требует одиночества. Но не такого, какое создал ты! Случилось так, что постепенно ты перестал замечать все, окружающее тебя. Ты ставишь себе в заслугу, что жил и работал в одиночестве. Ты думаешь, что отдал свой мозг людям — и это всё оправдывает. Ложь! С какого-то времени ты перестал работать для людей. Ты перестал думать о людях. Работа сделалась для тебя самоцелью. И будь ты трижды гениален, — это непростительно. Ты сделал за семнадцать лет то, на что другим потребовалось бы много больше. Но разве ты работал один?! У тебя не нашлось времени поинтересоваться теми, другими... А они собирали эту энергию. Я говорю о всех людях Земли. Семнадцать лет они берегли каждую частицу энергии — для твоих батарей! Они отказывались от многих заманчивых проектов — для твоих батарей! Они искали, думали, строили... Все вместе они дали

несоизмеримо больше того, что дал ты. И они хотели дать еще больше. Если бы не катастрофа, — ты через неделю начал бы получать втрое больше энергии. Так решили люди, хотя у тебя не было времени поговорить с ними.

— Так... решено?

— Да. Проект утвержден. Но разве в этом дело? Сейчас ты говоришь, что Излучатель стал твоей жизнью. Люди это знают. А вот известно ли тебе, сколько людей отдали жизнь Излучателю? Отдали — в буквальном смысле слова. Статистика, как ты говоришь...

— Не преувеличивай, — спокойно возразил он. — На полигоне не было ни одного несчастного случая. Не спеши, подумай.

— Я уже думала. Много думала, — тихо сказала женщина. — На полигоне не было несчастных случаев. А за полигоном для тебя нет ничего. Точнее — есть некое абстрактное человечество.

— Ты несправедлива.

Женщина грустно улыбнулась.

— Справедливость? Год назад у меня погиб сын. Авария на строительстве термоядерной станции. Они торопились... Он и его товарищи. Молчи! Молчи и слушай! За эти годы так было не раз. Да, энергия, собранная в твоих батареях, обошлась дорого, очень дорого. Тебе не говорили об этом. И я бы не сказала, но ты вспомнил о справедливости.

— Прости...

— Простить тебя? Ты ничего не понял. Ничего! Разве люди делали это ради тебя? Разве опыт нужен только тебе? Как трудно с тобой говорить!..

— Прости, — повторил он. — Я помню, тогда погибло четыре человека. Но я даже не подумал, что один из них...

— Ты и теперь не думаешь о других. Ты добился отмены опытов с электропробоем, взял энергию в свои батареи. Подземники не спорили с тобой. Но они тоже любили свое дело и продолжали испытывать свои корабли. Они шли на риск, зная, что риска могло бы и не быть, если бы продолжались опыты с электропробоем. В сущности, эти трое сидят сейчас в подземоходе потому, что ты восемь лет назад забрал предназначенную им энергию.

Женщина встала.

— Если бы решал экипаж подземохода, батарен остались бы у тебя. Даже Совет оставил последнее слово за тобой. Напрасно! Но пусть будет так. Мы обойдемся без твоих батарей. Ты даже не представляешь, насколько ничтожны запасы твоего Энергоцентра по сравнению с тем, что есть у нас.

— Все запасы передавались сюда. У вас нет почти ничего.

— Есть! Шесть часов назад по всей Земле прекращена подача энергии.

Он пристально посмотрел на нее и покачал головой.

— Вы опоздаете.

— Нет. Мы остановили все заводы. Мы прекратили почти все работы. Мы отменили полеты всех космических ракет. Мы выключили свет во всех городах. Никто, ты слышишь, никто не возразил, не пожаловался... Остановилось всё! И люди сами отдают ту энергию, которая есть в батареях личного пользования. Всё — от гигантских термоядерных станций до переносных туристских генераторов — работает только для того, чтобы спасти этих трех человек.

— Вы опоздаете, — упрямо повторил он.

— Нет. Мы спасем их. Без твоих батарей. Ты видишь, мы не прервали подачу тока сюда, в твой Энергоцентр. В окнах твоих зданий горит свет. И эта аллея освещена. А там — нет огней на улицах, закрыты театры, музеи, лаборатории. Даже дети в этот час думают только об энергии.

— Не успеете. Тридцать шесть километров...

— Да, тридцать шесть! Понадобится — мы пробьемся и к центру Земли. Нас много. Одна снежинка — ничто, даже если она большая. Но когда их много и они вместе... Так и люди. На Земле восемь миллиардов людей. Нет, я ошиблась. Восемь миллиардов без одного человека. Тебя нельзя считать. Ты потерял это право.

Она повернулась и пошла. Он остался сидеть. Снег деловито заметал ее следы:

— Снег, — удивленно произнес человек, глядя на эти следы. Только сейчас он заметил, что идет снег.

Он попытался представить себе темные улицы городов, остановившиеся цеха автоматических заводов, черные громады космических кораблей на безлюдных

стартовых площадках... Потом он попытался представить себе кабину подземохода — и не смог, ибо давно перестал интересоваться всем, что не было связано с Излучателем. Он подумал, что даже не знает, кто эти трое. Ему и в голову не пришло спросить. Три человека. Просто цифра. В этот момент мелькнула совсем другая мысль: «У нее был взрослый сын...»

Он машинально встал и направился к центральной площадке. По лицу стекала вода; это мешало думать, и он досадливо вытер лицо рукой. Центральная площадка была покрыта снегом. Лучи прожекторов казались теперь ослепительно белыми — их до отказа заполнили снежные хлопья. «Плохо, очень плохо, — подумал человек. — Нет времени во всем этом разобраться».

Он вынул радиотелефон, нажал кнопку. Снег падал на экран, и человек нагнулся, чтобы увидеть дежурного инженера.

— Слушайте меня внимательно, — сказал он инженеру. — Сейчас вы сообщите Ученому Совету, что батарее полигона «Звездная Река» передаются для спасения подземохода. Затем вы прекратите прием энергии. Выключите свет на территории полигона. Весь свет, до последней лампы. Кроме аварийной линии в помещении батарей. Вы поняли?

— Да, — коротко ответил инженер. Он, видимо, ожидал этих распоряжений, и они не удивили его. — Это всё?

— Нет. Сколько человек на полигоне?

— Двенадцать, — ответил инженер и, помедлив, добавил. — С вами.

— Хорошо. Оповестите всех: мы займемся сейчас подготовкой батарей к транспортировке. Впрочем... в этой работе могут принять участие только желающие.

Инженер едва заметно улыбнулся и ответил:

— Будет сделано.

— Почему вы улыбаетесь? — спросил человек. — Кажется, я не сказал ничего смешного.

— Нет, нет, — поспешно ответил инженер. — Просто все уже собрались. Мы ждем вас.

«Мальчишка», — беззлобно подумал человек и выключил радиотелефон.

Снегопад становился сильнее и сильнее. Он был теперь в чем-то подобен проливному дождю: снежинки

сливались в сплошные белые струи. Но все это происходило в абсолютном безмолвии и потому было как торжественная песня без слов. «Тишина. Странная тишина, — подумал человек. Впервые за многие годы мысли его текли медленно и беспорядочно. — Голос у нее совсем не изменился. Пахнет морозом. Неужели у снега есть запах?.. Сегодня не пролетал рейсовый реактив. Значит, полеты тоже прекращены... А сын, наверное, был похож на нее...»

Он остановился и, прикрыв рукой глаза, стал вглядываться в конус Излучателя. Ему вдруг со всей отчетливостью представилось то, чего он так долго ждал. Конус полыхнул ярким пламенем, и ослепительный луч, мгновенно пронизав тучи, устремился к звездам. «Снег, — подумал он. — Блестит снег. А она в чем-то тоже ошибается... Как это она сказала? «Чувствую, что ты неправ, — и не могу доказать». Теперь я не могу доказать... Кто же прав? Кто?.. Энергия эта действительно принадлежит людям. Я не согласен ее тратить, но мое мнение — только личное мнение. Пусть так. А будущее? Да, да. Нас рассудит будущее. Или... уже рассудило?»

Внезапно наступила темнота. Человек закрыл глаза и уверенно пошел вперед. Когда глаза привыкли к темноте, он открыл их и посмотрел на Излучатель. С трудом можно было различить смутные белые пятна. В темноте Излучатель походил на громадный, покрытый снегом утес.

Человек достал радиотелефон, настроил экран.

— Да? — спросил дежурный инженер. Его взгляд — сквозь толстые стекла очков — был добрым, спокойным, внимательным.

— Свяжитесь с секретарем Совета, — сказал человек. — Ее машина где-то в пути. Передайте от моего имени, что на Земле восемь миллиардов людей, без всяких вычетов. Вы поняли?

— Да, — невозмутимо ответил инженер. — Надо передать секретарю Совета, что на Земле восемь миллиардов человек. Без всяких вычетов,



А. ШАЛИМОВ

МУЗЕЙ

АТЛАНТИДЫ

НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Э

ту удивительную историю рассказал дон Антонио Сальватор ди Ривера — старый лингвист и хранитель музея в Порто-Альтэ на острове Мадейра. Где в ней кончается правда и где начинается вымысел, предоставляю судить самим читателям.

Портрет, который я видел в музее Атлантиды, датирован 1889 годом, то есть написан задолго до появления известной работы Альберта Эйнштейна об относительности времени. Кроме того, торопливость, с которой настоятель монастыря поспешил овладеть ключами от подземелья...

Впрочем, начну по порядку.

* * *

Мы, проводили океанографические исследования в Атлантике по программе Международного геофизического года. В Бискайе попали в сильнейший шторм. Ураган повредил рулевое управление и угнал легкую

шхуну далеко на юго-запад. В Фуншаль мы зашли чиниться и проторчали там более двух недель.

Моя специальность — геология моря. Очутившись на Мадейре, я старался не потерять времени даром. Целые дни бродил по скалистым кряжам, сложенным вулканическими породами. Радовался, что могу поближе познакомиться с кусочком океанического дна, превращенного движениями земной коры в небольшой гористый остров.

Влажный зной полудня заставил меня однажды изменить маршрут. Я спустился с обрывистого хребта к прибрежному селению, черепичные крыши которого выглядывали из густой зелени над тихой голубой бухтой.

В маленьком кафе полуголый кельнер-метис с шапкой черных волос и большой серебряной серьгой в левом ухе объяснил на смеси французского и английского языков, что селение называется Порто-Альтэ, что здесь живут рыбаки и рабочие консервных заводов, что осенью сюда приезжают туристы из Европы и Америки.

— Масса туристов, сэр, — тараторил кельнер, наливая в большой граненый бокал мутноватое местное вино. — Музей, сэр. Другого такого нет на свете. Атлантида, сэр... Подлинная, без малейшей подделки... Мсье слышал? Милосердный господь прогневался на Атлантиду и послал всемирный потоп. Все утонули, кроме самых ловких пройдох. Те спаслись на нашем острове... Мсье не верит? Провались я вместе с таверной... Это случилось давно. Тогда не было ученых, которые могли бы описать все это... Мсье захочет посетить музей и сам убедится... Еще бокал вина, сэр?..

Я поблагодарил, расплатился и вышел на набережную под неподвижные кроны остролистных пальм. На пути к пляжу заметил небольшое здание из серого пористого камня. Оно стояло в стороне от остальных строений поселка. За густым, запущенным парком, окружающим здание, поднимались белые башни монастыря. В полуразрушенной стене была калитка. Возле нее надпись по-английски и португальски: «Исторический музей».

Пляж находился в нескольких шагах. Выкупавшись, я прилег на шезлонге под парусиновым тентом. Чуть шелестели волны... Воздух был горяч и неподвижен. Я лениво подумал, что пройдет еще не менее трех часов, пока жара начнет спадать. Я оглянулся вокруг... Серое

здание снова привлекло взгляд. Что, если зайти в этот музей? Там под каменными сводами в непроницаемой тени старого парка могла сохраниться прохлада...

От калитки к зданию музея вела дорожка, вымощенная белыми мраморными плитами. В щели между ними пробивалась трава. У входа никого не было. В сумрачном круглом холле царила прохлада. В углу дремал старик — привратник. Я снял шляпу, вытер платком мокрый лоб. Старик продолжал дремать. Я осторожно тронул его за плечо. Он поднял голову, глянул на меня красными, слезящимися глазами, молча взял монету и жестом пригласил войти.

В залах было тихо. Поскрипывали старые половицы. На стенах висели выцветшие морские карты времен Колумба и Васко де Гама, фотографии каких-то развалин, обрывки пергаментов. По углам поблескивали рыцарские доспехи. В запыленных витринах рядом с осколками греческих амфор лежали древнеримские монеты и грубые изделия из слоновой кости. Возле старинной подозрительной трубы красовалась коллекция ярких бабочек с Амазонки и причудливые ветви кораллов. Все, вместе взятое, было похоже на запущенный антикварный магазин, хозяин которого давно потерял надежду продать хоть что-нибудь из этого залежалого хлама.

Мое внимание привлекла мастерски выполненная модель старинного судна. Надпись гласила, что это модель каравеллы Христофора Колумба, сделанная руками его спутника — корабельного плотника Диего Сантиса — в 1496 году. Разглядывая изящную игрушку, я заметил едва различимое клеймо на медной обшивке киля. Карманная лупа помогла без труда разобрать надпись: «Роттердам. Прейс и Сын. Фабрика моделей. 1928 год». После этого «открытия» я продолжил осмотр, уже не обращая внимания на витиеватые пояснения, каллиграфически начертанные на нескольких языках.

В последней комнате висели потемневшие от времени картины. Я прошелся еще раз по тихим, безлюдным залам. Ни единого предмета, который хотя бы отдаленно мог быть связан с исчезнувшей культурой атлантов! Неужели кельнер так нагло надул меня?

Признаться, я не ждал ничего особенного: несколько загадочных черепков, какая-нибудь плита, выброшенная океаном... Но чтобы совсем ничего!..

Чуть раздосадованный, я возвратился в холл. Сторож продолжал дремать в своем углу.

— Атлантида, — громко сказал я, подходя. — Где Атлантида?

Он, не открывая глаз, молча протянул высушенную темную ладонь.

— Уже заплачено, — возразил я, — но Атлантиды там нет.

Старик медленно приподнял красные, без ресниц, веки, внимательно поглядел на меня мутными слезящимися глазами, что-то пробормотал вполголоса.

Я молча ждал.

Он, кряхтя, приподнялся, с трудом распрямил сгорбленную спину. Он был очень стар и сам походил на древний музейный экспонат. Ключья седых волос торчали на высохшем черепе. Длинный горбатый нос уходил к острому подбородку. Тонкие бескровные губы были плотно сжаты. Заношенный черный костюм измят и покрыт пятнами.

Старик тяжело ступил несколько шагов, не оглядываясь спросил что-то по-португальски.

— Не понимаю, — сказал я по-французски. — Может быть, вы говорите еще на каком-нибудь языке?

Он насмешливо хихикнул.

— Еще на каком-нибудь языке! — повторил старик, копируя мой акцент. — Ты не француз, конечно... Откуда ты?

— Я русский... Из Советского Союза.

Он обернулся и некоторое время молча глядел на меня, чуть приподняв веки.

— Знаю, — сказал он наконец. — Ты с той шхуны, которая стоит в Фуншале... Несколько лет назад здесь был один русский... Зачем тебе Атлантида? — вдруг закричал он, яростно сверкнув глазами. — Что ты знаешь о ней? Ее надо искать там, там, понимаешь? — он указал костлявым скрюченным пальцем в открытую дверь, за которой синела гладь океана. — Вы, русские, могли бы... Надо только верить... Верить и хотеть...

— Простите, — сказал я, дала шаг к выходу.

— Куда же ты? — снова закричал старик. — Ты хотел видеть Атлантиду... Идем!..

Мне стало не по себе, и я невольно отступил.

— Не бойся, — сказал он, словно читая мои мыс-

ли. — Я еще не окончательно спятил. Я зову тебя не на дно океана... Ты хотел видеть Атлантиду. Иди, смотри...

Он отворил маленькую дверь в стене. За дверью наклонный коридор вел в тускло освещенные красноватым светом залы.

Я колебался, почти не сомневаясь, что имею дело с безумцем.

— Иди, иди, — повторил старик. — Ты хотел видеть Атлантиду... — И он тихонько рассмеялся. Потом тяжело заковылял к стоящему в углу креслу, сел в него и закрыл глаза.

* * *

Я шагнул в коридор со смешанным чувством любопытства и раздражения, уверенный, что снова окажусь одураченным.

Дойдя до середины коридора, оглянулся. Старик дремал в своем кресле. Коридор вывел меня в полутемную комнату с низко нависающим сводом. Окон в ней не было. Тусклый свет проникал через широкую арку дверей из соседнего зала. Слева от входа, прямо на каменном полу лежала часть огромной мраморной колонны с резной капителью, испещренной ходами моллюсков-камнеточцев. Справа в стену была вделана массивная мраморная плита, покрытая надписями. Я подошел ближе. Боковое освещение придавало необыкновенную рельефность буквам, высеченным на белом мраморе. Надпись была на двух языках — латинском и греческом.

С трудом вспоминая смысл давно забытых латинских слов, я скорее догадался, чем прочел:

«Кто бы ты ни был, пришелец, проникнись трепетом, ибо стоишь на пороге величайшей тайны мира, в котором рожден. Все, что увидишь здесь, возвращено океаном, поглотившим могущественнейшую державу Земли. История народов и стран была бы иной, если бы ее продолжали писать атланты... Но они исчезли, и из крупиц оставленных ими знаний выросли науки и искусства Нового мира».

Далее шли пространные цитаты из Платона, впервые рассказавшего людям об Атлантиде.

«Египетские жрецы поведали греческому мудрецу

Солону, — читал я, — что эллины — свежий цветок на тропе человечества. И задолго до них в Элладе существовали сильные государства и жил просвещенный народ... Записи говорят, что народ этот некогда столкнулся с грозной силой, идущей на всю Европу и Азию со стороны Атлантического моря. Там, за столбами Геракла, тогда находился остров, больший, чем Ливия,¹ и от него открывался доступ к иным островам и к материку. На этих землях, называемых Атлантидой, сложилась великая и грозная держава. Она владела Ливией до Египта и Европой до Тиррении. Она готовилась поработить и Элладу и весь мир. Однако великие несчастья обрушились на страну атлантов. Разверзлась земля — и заколебались горы, и вулканы начали выбрасывать огненную лаву; и в один день и бедственную ночь вся Атлантида погрузилась в море вместе со своей воинской силой, народом и богатейшими городами...»

Убедившись, что и остальные тексты заимствованы из Платона, я направился в следующий зал. Это была библиотека. Ее заполняли тяжелые резные стеллажи, забитые книгами. Здесь хранились тысячи томов на всевозможных языках, и все эти книги были об Атлантиде.

Философские трактаты стояли рядом с научно-фантастическими романами, толстые монографии историков — рядом с альбомами газетных вырезок. Я никогда не воображал, что об Атлантиде написано так много...

Посреди комнаты на большом столе, заваленном журналами, стоял огромный глобус. На нем, на бледно-голубом фоне Атлантического океана, красной тушью были нанесены контуры утонувшего материка. Я напряженно вглядывался в непривычный глазу рисунок географических границ. Человек, собравший эту удивительную библиотеку и нанесший на глобус очертания Атлантиды, располагал сведениями различной достоверности. Одни границы были показаны жирной красной линией с изгибами полуостровов, заливов и мысов, другие, — чуть намечены схематическими штрихами; третьи, наименее достоверные, изображены пунктиром. Реки пересекали исчезнувший материк. Они брали начало в горной цепи, которая тянулась с севера на юг. В этой цепи я без труда узнал Срединный Атлантический хребет.

¹ Ливия — обозначала в те времена всю Африку.

Приглядевшись, я заметил, что контуры Европы и Северной Америки во многих местах исправлены и отличаются от современных. Пиренейский полуостров и горы Атласа продолжены в западном направлении, Бискайский залив уменьшен вполтину, Ламанш отсутствует. Север Европы и Америки был покрыт тонкой синей штриховкой. Граница соответствовала контуру льдов в период Великого оледенения.

Это была не современная карта с гипотетическими контурами утонувшего материка, а палеогеографическая карта четвертичного периода, составленная с какой-то фантастической детальностью...

Неизвестный автор использовал новейшие данные по топографии океанического дна и превосходно разбирался в тонкостях палеогеографии четвертичного времени. Но, с другой стороны, множество удивительных деталей, почерпнутых из неведомых источников, ставили рисунок на глобусе на грань чистой фантазии. Я напрасно искал дату, фамилию автора, какие-либо условные обозначения. Они отсутствовали.

Может быть, глобус не был музейным экспонатом? Но тогда зачем он здесь? И почему преддверием этой части музея служит библиотека?

Не найдя ответа на свои вопросы, я оставил глобус и двинулся дальше. Следующий зал оказался огромным. Косые, узкие окна, расположенные под самым потолком, были затянуты красными шторами. В красноватом сумраке уходили куда-то вдаль ряды колонн, поддерживающих каменный свод. Лишь ступив несколько десятков шагов, я сообразил, что этот зал гораздо больше всего музейного здания и что я нахожусь в подземелье.

На массивных деревянных постаментах вдоль стен и между колоннами стояли и лежали какие-то плиты, грубо отесанные каменные блоки, капители разбитых колонн, куски резных карнизов, ажурных арочных перекрытий.

Полумрак не позволял читать этикетки, написанные по-латыни мелким, бисерным почерком. Лишь возле мраморного карниза, украшенного тонким орнаментом из цветов и листьев, удалось разобрать надпись: «Остров Корво,¹ Львиная бухта, западный берег, 1898 год».

¹ Остров Корво — западная группа Азорских островов.

Красноватый сумрак подземного зала, удивительные архитектурные детали и орнаменты, без сомнения являющиеся памятниками очень древней культуры, следы камнеточцев, свидетельствующие, что большинство собранных здесь предметов извлечены со дна моря, загадочный рисунок на глобусе, — все это, вместе взятое, создавало особую атмосферу, таинственного и волнующего ожидания. Мне вдруг показалось, что я действительно очутился на пороге великой тайны, как утверждала надпись у входа... Стоит сделать еще шаг — и появится кто-то, кто сможет превратить осколки умершей цивилизации в прекрасные дворцы и храмы неведомого древнего мира. Неужели все эти куски камня, хранящие следы резцов неизвестных художников, — осязаемые доказательства существования Атлантиды?

Я медленно шел вперед. Вот кусок изящной строгой колонны, край огромной мраморной чаши, архитрав с неясным орнаментом, шар из черного базальта, мраморная женская рука совершенной красоты...

Это был необычный музей. На его экспонатах лежала печать нераскрытой тайны. От них веяло древностью тысячелетий, а не веков. Здесь не нужны были замысловатые этикетки, как там, наверху. Эти камни говорили на своем языке. Он был понятен и загадочен одновременно. Но такие загадки не раскрываются несколькими словами.

Зал замыкался небольшим альковом. Чтобы проникнуть туда, надо было подняться по узкой лестнице с десятком каменных ступеней. Альков был пуст и залит ярким дневным светом. Свет проникал откуда-то сверху. После сумрака зала я зажмурился.

А когда открыл глаза, увидел портрет. Это был обычный портрет человека в полный рост на фоне морского пейзажа. В другое время, в иной обстановке он, наверное, не произвел бы на меня особенного впечатления. Но тогда, после осмотра подземного музея, возбужденный атмосферой какого-то таинственного ожидания, я был потрясен. Я замер на месте и не мог оторвать взгляда от мужественно-прекрасного и скорбного лица.

Художник изобразил его на берегу океана. Зеленоватые волны обрушивались на скалистый берег и рассыпались клочьями белой пены. Он стоял на карнизе среди темных, покрытых водорослями скал, прислонившись

спиной к отвесной стене обрыва. Одной рукой прижимал к груди складки широкого пурпурного плаща, другую — смуглую и сильную — протянул перед собой, сжимая ею выступ скалы, словно штурвал стремительного корабля. Ветер развеивал длинные седые волосы, стянутые на лбу золотым обручем. Бледное лицо, не тронутое морщинами, было спокойно. Только глубокие складки в углах губ напоминали о долгих годах испытаний. Широко раскрытые глаза были устремлены в океан. В них были скорбь и вопрос, и огромное знание...

— Насмотрелся? — послышался вдруг глухой, словно идущий из-под земли голос.

Я вздрогнул и оглянулся.

Внизу у лестницы, ведущей в альков, стоял старик-сторож.

— Кто это? — тихо спросил я, указывая на портрет. Старик усмехнулся.

— Он родился двенадцать тысяч лет назад... Ему довелось пережить свою отчизну.

— Так, значит, это не портрет?

— Портрет... Написан через несколько дней после его смерти. По памяти... Но похож... Так похож, — что-то подобное вздоху вырвалось из впалой груди старика. — Жак был талантливым художником...

— Кто такой этот Жак?

— Жак Мариан Дюваль — мой друг... Мы вместе с ним приехали на этот остров семьдесят с лишним лет тому назад.

— Простите, а кто же тогда вы?

— Меня зовут Антонио Сальватор ди Ривера. Имею сомнительную честь называться ученым хранителем того ярмарочного балагана, который ты видел наверху.

Я закусил губы. Старик внимательно следил за мной, прищурив красные, слезящиеся глаза.

— Что тебя еще интересует?

— Всё это, — я указал в глубину сумрачного зала, — откуда?

— Иди сюда, — сказал он вместо ответа.

Я взглянул еще раз на портрет в алькове и спустился по каменной лестнице в зал.

— Ты кто такой? — спросил он, когда я остановился возле него.

Я сказал.

Старик потер высохшей рукой желтый, восковой лоб.

— Вспомнил, — пробормотал, поглядывая на меня. — Читал твои статьи об Атлантическом океане... Там всё вздор... Не перебивай... Вздор... Но в одном ты прав... Молодые опускания дна... Они продолжаются... Его страна, — он кивнул на портрет, — уходит на глубину...

— Не понимаю... Кто он?

— Не торопись... Его соплеменники обрабатывали эти камни... Видел руку девушки? Более совершенной руки не изваял ни один скульптор Земли за всю историю бесчисленных поколений. А орнаменты! Ты где-нибудь видел такие?..

— Нет, — признался я.

— Еще бы. Их искусство остается непревзойденным.

— Это всё вы извлекли со дна океана?

Старик презрительно усмехнулся.

— Это вернул океан. Тот, кто спустится на дно... — Он умолк, не окончив фразы, и отвернулся.

— Найдет Атлантиду, — подсказал я.

— Зачем искать, — он раздраженно передернул худыми, костлявыми плечами. — Она давно найдена. Она вокруг. Мы находимся в центре юго-восточной провинции. В двадцати милях к северу расположен Великий восточный порт. Отсюда их суда плавали к берегам Африки и к Средиземному морю. На склонах этой горы, превратившейся в остров, была большая обсерватория.

Он говорил так, словно видел все это собственными глазами.

— Откуда вы знаете? — не выдержал я.

Он не рассердился. Внимательно посмотрел на меня, потом тихо заговорил, словно рассуждая сам с собой:

— Я очень стар и доживаю последние месяцы, если не дни... Всю жизнь я посвятил одной мечте, хотел вернуть людям утерянное ими звено великой цепи их истории. Надо мной издевались: одни — потому, что были умны, боялись и завидовали, другие — потому, что были глупцами. Но я поклялся ему, что не отступлю, — старик указал на альков, — и старался сдержатъ свою клятву...

Здесь собрано всё, — после длительного молчания продолжал старик, — все, что удалось собрать за семьдесят лет короткой человеческой жизни. О каждом из этих камней можно написать книгу... Сейчас у меня не осталось ни сил, ни денег. На родине я объявлен уголов-

ным преступником, который украл и растратил состоя-
ние целой семьи... Своей семьи... Ты понимаешь?.. Эти
камни поглотили всё. И, будь у меня еще больше... — он
махнул рукой.

— Но почему вы не написали об этом?

— Сначала потому, что был молод и глуп. Хотел
узнать больше и сразу потрясти мир своими открыти-
ями... Потом, когда поумнел, то уже знал так много, что
мне не поверили. Это было кое-кому на руку... Историей
его страны, — он снова кивнул в сторону алькова, —
хотели бы заниматься многие, а доказательства были
только у меня. Знаешь, что сделали с моей первой руко-
писью? Это был научный трактат, а его издали как фан-
тастическую повесть. Я чуть не сошел с ума. Подал в
суд, и меня же объявили безумным. Мне пришлось си-
деть тихо много лет, чтобы не угодить в сумасшедший
дом. Вторую книгу отказались печатать. В Лондоне и
Нью-Йорке помнили о моем «безумии»... А когда я ре-
шил печатать книгу сам, у меня уже не хватило денег
оплатить издание.

— Но неужели во всем мире не нашлось никого...

— Не перебивай... И твоя страна не пожелала бы
иметь дела с сумасшедшим. С меня требовали доказа-
тельств подлинности всего, что хранится здесь. Это было
величайшим кощунством. Я могу перегрызть горло
тому, кто не верит, но не унижусь до доказательств, что
я не лжец.

— Какие доказательства? Разве эти памятники не
говорят сами за себя? Я не специалист, но...

Старик пронзительно рассмеялся.

— Это видно, — закричал он, вытирая слезящиеся
глаза какой-то грязной тряпкой, — это-то видно... А вот
те, кто понимают, черт побери, им нужны доказа-
тельства! Они знают, что старый ди Ривера после смерти
Жака Дюваля всю жизнь работал один. У него нет
свидетелей... Он мог подделать документы, музейные
книги. Он мог сам своими руками изваять все эти ко-
лонны, орнаменты, арки, хода камнеточцев, руку де-
вушки... Ха-ха-ха-ха...

Его визгливый, пронзительный смех разбудил эхо
этого странного зала. Старик уже умолк и снова тер
глаза засаленной тряпкой, а смех еще звучал где-то
вдали, за двойным рядом каменных колонн.

Мне снова стало не по себе, и я подумал, что люди, называвшие его безумцем, были не так уж далеки от истины.

— Нет, — сказал он, как будто опять угадывая мои мысли. Нет-нет... Это все гораздо сложнее, чем ты предполагаешь... Но довольно... Иди!.. Пора запирать музей.

— А как же портрет? — запротестовал я. — Кто изображен на нем?

— Хочешь знать?

— Хочу.

— Я мог бы сбить тебя какой-нибудь небылицей, — задумчиво произнес ди Ривера, — или просто выгнать за твою назойливость... Я уже выгнал отсюда не одного любителя чужих тайн, особенно из числа журнальных брехунов... Ненавижу их!.. Этой участи не избег и distinguished сэр Френсис Сноудон из Королевского общества... Глупец пытался рассуждать, что здесь он видит памятники критской и эгейской культуры, а не то, что здесь есть. Видел бы ты, как он улепетывал. Я вышвырнул вслед его портфель, котелок и зонтик... Но с тобой иначе: не скажу, чтобы ты мне понравился... Я еще не раскусил тебя. Может, ты и не лучше других... Впрочем, я, пожалуй, кое-что расскажу тебе. На твоей родине о моих работах не слышали... Но ставлю условие: ты не превратишь это в занимательную басню для простаков. Во всяком случае, пока я жив. Обещаешь?..

— Вы хотите, чтобы я сохранил в тайне ваш рассказ?

— Я хочу того, что я сказал! — вспыхнул ди Ривера. — Не превращать историю исчезнувшего народа в анекдот. Ты понял?.. То, что ты услышишь, действительно произошло. Если бы я верил в бога, я мог бы поклясться. Но я перестал верить семьдесят лет назад. К тому же я клялся только один раз в жизни. Я не требую верить мне, но настаиваю, чтобы ты обещал не издеваться над услышанным. Нельзя больше опорочить истину, как сделав из нее еще один фантастический рассказ.

— Почему вы решили, что я...

— Потому что половина книг библиотеки, через которую ты проходил, — это бессовестная и неграмотная спекуляция на моих открытиях. Потому что моя первая научная публикация... Впрочем, ты знаешь...

— Обещаю, что не напишу фантастического рассказа, — торжественно произнес я.

— Пока я жив, — повторил ди Ривера. — Аминь. Итак, слушай... Впрочем, нет... Ступай в библиотеку; там подожди.

Он повернулся и, кряхтя, полез по лестнице в альков. Я медленно двинулся через полутемный зал. Ступив несколько шагов, осторожно оглянулся. Старик в глубокой задумчивости стоял перед портретом, не отрывая от него пристального взгляда.

Ждать мне пришлось довольно долго. Наконец слышались шаркающие шаги. Старик появился у входа в библиотеку.

— Я должен еще запереть входную дверь, — буркнул он, не глядя на меня. — Привратник болен уже несколько дней, и я вынужден исполнять его обязанности... Жалкие гроши, которые зеваки платят за вход, — весь доход музея. Мы не можем позволить себе отказаться от них...

— А не пойти ли нам в кафе, — нерешительно предложил я и тотчас пожалел о сказанном.

Старик быстро оглянулся. Глаза его яростно сверкнули, лицо исказилось злобной гримасой. Наверно, у меня был очень испуганный и глупый вид в эту минуту, потому что ди Ривера проглотил уже готовое сорваться с губ ругательство и испытующе уставился на меня. Постепенно лицо его приняло обычное выражение, и он равнодушно сказал:

— Пойдем... Только предупреждаю: у меня нет денег. Последние дни в музей никто не заглядывал... кроме тебя.

* * *

Мы вышли. Солнце уже висело низко над горизонтом. Легкий бриз нес влажную прохладу. От его порывов начинали шелестеть широкие листья пальм. Невдалеке шумно вздыхал океан.

У входа в музей на каменной скамье лежала пачка журналов.

Ди Ривера поднял их, перелистал, осторожно сложил в кресло, стоящее в холле.

— Милостыня нашему музею, — пояснил, закрывая тяжелую дубовую дверь, — Шлют бесплатно... Кое-где еще помнят о нас...

Мы ужинали долго и основательно, запивая горьковатым вином острые местные блюда и обмениваясь ничего не значащими фразами. Когда на столе появились маленькие чашечки дымящегося ароматного кофе и поднос с фруктами, старик вытер салфеткой тонкие бескровные губы, внимательно взглянул на меня и сказал:

— Ты хотел знать историю портрета. Слушай же. Это портрет человека, выброшенного волнами на берег в нескольких милях отсюда, вон за тем скалистым мысом, утром 28 июня 1889 года. Два молодых лоботряса бродили в то утро по берегу. Один из них хотел стать лингвистом. Он приехал на Мадейру совершенствоваться в португальском языке. Но его интересовали языки вообще... В то утро у него в кармане был томик стихов Сафо и он выкрикивал во все горло звучные строфы на древнегреческом языке, стараясь перекричать океан. Второй был художником. Он приехал рисовать океан, небо и воду. Пробираясь вдоль берега, лингвист и художник заметили на мокром песке красное пятно. Они подошли ближе и увидели красивый плащ из удивительно легкой и эластичной пурпурной ткани, расшитой золотыми узорами.

Я объявил, что это римская тога, а Жак — что это плащ Летучего голландца, унесенный ураганом. Захватив плащ, мы пошли дальше и в сотне шагов от того места, где нашли плащ, увидели человека. Он лежал на песке, широко рискуя сильными руками. Длинные, белые как серебро волосы скрывали лицо. Он казался спящим, но мы были уверены, что он мертв. Однако он еще жил. Слабое дыхание чуть колебало могучую грудь. Мы привели его в чувство. Увы, ненадолго. Он умер у нас на руках спустя несколько часов. Исполняя его волю, мы завернули тело в расшитый золотом плащ, привязали к ногам тяжелый камень и бросили с высокого обрыва в океан. Спустя несколько дней Жак нарисовал его портрет — тот самый портрет, который ты видел. После смерти Жака я приобрел этот портрет для музея, который тогда начал создавать... Я говорю, конечно, о подzemном музее, — добавил ди Ривера после краткого молчания.

— Ну, а дальше? — спросил я.

— О портрете всё, — тихо сказал старик. — Скалы и океан Жак рисовал с натуры. Ты узнаешь место, если

когда-нибудь доберешься до того мыса. Побывай на нем... Океан принял там в свое лоно последнего человека Атлантиды.

— Последнего человека... Атлантиды? — растерянно повторил я, думая, что ослышался.

— Да. Он возвратился на Землю через двенадцать тысяч земных лет и не нашел даже того места, где была его родина.

Я почувствовал, что у меня начинает кружиться голова. Мелькнула мысль: «Кто из нас сошел с ума?.. Или мы оба пьяны?..»

Я глотнул кофе и уставился на старика.

Ди Ривера сплел тонкие пальцы и, положив на них острый сухой подбородок, глядел в темнеющий океан. Ветер шевелил редкие волосы на его желтом, похожем на пергаментный, черепе.

— Объясните же, — попросил я.

Он молчал.

— Как понимать эти двенадцать тысяч лет?

— Разумеется, буквально.

Я пожал плечами.

Он рассердился:

— Не торопись с поспешными выводами. Подумай...

— Я не мастер разгадывать такие загадки. Это похоже на модель каравеллы Колумба, «сделанную руками его спутника»... Так, кажется, там написано?

Старик усмехнулся:

— Ты более наблюдателен, чем я думал... Там много хлама, это верно. Но каравелла — подлинник. Клеймо на киле означает дату реставрации, не больше.

— И все же не понимаю.

— Ты хочешь сказать, «не верю»?

— Можно и так...

Я вдруг почувствовал усталость и отвращение при мысли, что сделался жертвой какой-то странной мистификации. Неужели все это ловкий спектакль? Мне стало жаль потерянного дня.

Ди Ривера сидел молча. Глаза его были закрыты. Казалось, он дремлет.

— Вот видишь, — сказал он наконец, не поднимая век. — Этому трудно поверить. Ты, конечно прав, с точки

зрения любого глупца... А где проходит, — он вдруг ударил костлявыми кулаками по столу, — где проходит граница «вероятного» и «невероятного»? Молчишь!..

Ты готов был поверить, что камни подземного музея — это остатки культуры атлантов. Так почему ты не веришь, что атлант — последний атлант — указал места этих находок? Ты не веришь в возможность воскрешения человека?

Я тоже не верю. Когда я умру, никакая сила не сможет воскресить меня. И он не воскрес. Он умер в первый, и последний, раз на моих руках семьдесят лет назад. И я похоронил его там, где нашел могилу его народ. Он успел рассказать мало, он был очень слаб. Но он сказал достаточно, чтобы люди нашей эпохи могли отыскать утонувшие города Атлантиды... Если бы они захотели поверить в невероятное...

Я поверил и нашел все то, что ты видел в подземном музее. Но я мог обследовать лишь неглубокие места в прибрежной зоне островов. У меня не было ни денег, ни средств для глубоководных исследований. А те, кто имел деньги, не верили мне. Лишь однажды удалось склонить одного американца для проведения поисков на большой глубине.

Это было летом 1914 года. Мы несколько месяцев драгировали дно в том месте, где должен был находиться большой город атлантов. Но драги приносили только вулканический пепел и куски пористой лавы. Американец был взбешен. Он грозил выкинуть меня за борт, а потом высадил на пустынный риф в западной группе Азорских островов. Я провел там в одиночестве несколько недель и чуть не умер с голоду. И все же глупец оказал мне огромную услугу. Там, на этом рифе, в леске лагуны я нашел мраморную руку девушки — обломок чудесной статуи, созданной гениальным скульптором Атлантиды. Ты видел ее. Я уже предвкушал, какое уничтожающее письмо напишу этому болвану по возвращении. Но, когда мне удалось вернуться на Мадейру, в Европе шла война. Атлантида перестала интересовать даже историков и писателей...

Долго я не мог понять причин нашей неудачи. А потом понял. У меня сохранились куски базальта, который подняла драга. Несколько лет назад я переслал один из них в лабораторию в Кембридж. Там определили абсо-

лютный возраст породы. Он оказался равным двенадцати тысячам лет. Понимаешь?.. Погружение Атлантиды сопровождалось огромными извержениями. Это утверждал и Платон. Видимо, город, который мы искали, был, подобно Помпее, похоронен под слоями вулканического пепла и потоками лавы.

Ди Ривера умолк. Солнце село, и над нашей головой засверкали первые звезды. Все свежее становился ветер, громче шелестели листья пальм.

— Ну, мне пора, — сказал старик, поднимаясь из-за стола. Спасибо за ужин. Я, пожалуй, захвачу остатки паштета и хлеб. Мой старый привратник болен и не выходит. Надо покормить его...

Он торопливо завернул остаток нашего ужина в бумажные салфетки и рассовал по карманам.

— Как же все-таки с этим атлантом, — спросил я, когда мы выходили из кафе, — откуда он взялся на берегу и... как вы сумели договориться с ним?

— Это было не легко, — ответил ди Ривера. — Мы испробовали с десяток языков, прежде чем поняли его. А когда поняли, то пригодился мой древнегреческий. Он немного похож на один из языков Атлантиды... И еще одно: атланты, видимо, обладали великим даром, которого лишены современные люди. Мне кажется, что они владели искусством передачи мыслей на расстояние... Они и еще во многом опередили нас...

— Ну, а сам атлант, — настаивал я, — не вынырнул же он со дна Атлантического океана?

— Разве я не сказал? — спохватился старик. — Конечно, нет. Он даже не подозревал о существовании океана... Он... Но это очень длинная история. Я устал, — он потер рукой лоб. — И кружится голова. Это от непривычки... Ужин был слишком обилен... И вино... Слушай, все равно мне некому передать мою тайну. Она может умереть со мной... Я совсем не знаю вас, русских. Впрочем, нет, знал одного, и он тоже, кажется, был неплохим парнем... Судя по тому, как яростно вас ругает всякий сброд, вы... не такие, как все. Если решусь, я, может быть, открою вам, где искать... Но не теперь... Прощай.

Я ухватил его за рукав.

— Но атлант?

— Зачем он тебе сейчас? Ты и так уже знаешь больше других.

— Я хочу понять... чтобы верить...

— Расскажу тебе... Но позже... Или нет... Вот возьми, — он вытащил из бокового кармана смятую тетрадь. — Ты читаешь по-английски? Здесь записано все о нем. Этого никто не знает... Но помни, что ты обещал...

Я протянул руку.

— Начало не имеет значения и последняя страница тоже, — пробормотал он, вырывая из тетради несколько листов. — Остальные бери. Вернешь мне... перед отъездом... Прощай.

— Дон Антонио, — сказал я, пожимая его сухую, холодную руку, — если вы верите мне, нам, верите, что никто из нас не покусится на ваше право первооткрывателя... На нашей шхуне есть глубоководные тралы и снаряд для взятия проб грунта. Я могу поговорить с начальником экспедиции, убедить его. Через неделю — полторы мы кончаем ремонт и поднимаем якорь. Может быть, вы согласились бы плыть с нами и указать места глубоководных станций... Даю вам слово...

Он горько усмехнулся.

— Вам надо было бросить якорь у берегов Мадейры хотя бы несколькими годами раньше. Ты видишь, что со мной... Морское путешествие уже не для меня... Впрочем, мы поговорим об этом позже... Потом...

Он кивнул и медленно побрел вдоль набережной и вскоре исчез в толпе прохожих.

* * *

Я возвратился на шхуну только перед рассветом и получил выговор от начальника, который был обеспокоен моим долгим отсутствием. Я коротко рассказал о посещении музея в Порто-Альтэ и о знакомстве с доном Антонио ди Ривера, потом спустился в каюту и достал тетрадь старика.

Вначале я с трудом разбирал мелкий, бисерный почерк, но вскоре увлекся и начал читать быстрее. Когда была прочитана последняя страница рукописи, солнце уже сияло высоко над горизонтом. Я еще раз перечитал тетрадь и, схватив несколько листов бумаги, принялся торопливо набрасывать перевод. Привожу его целиком.

ПЕРЕВОД РУКОПИСИ

ДОНА АНТОНИО САЛЬВАТОРА ДИ РИВЕРА — ХРАНИТЕЛЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ПОРТО-АЛЬТЭ, СОСТАВЛЕННЫЙ АВТОРОМ

...предложил Жак.¹ Мы осторожно перенесли незнакомца в тень, и Жак принялся делать ему искусственное дыхание.

— Странно, — сказал он наконец, опуская безжизненные руки незнакомца. — Судя по всему, он выброшен на берег штормом, который бушевал всю сегодняшнюю ночь. Но ставлю свою палитру против коробки детских красок, что он недолго находился в воде.

— Продолжай свои манипуляции, — посоветовала я. — Он дышит ровнее, и я отчетливо слышу редкие удары сердца.

— Какой атлет! — восхищался Жак, поднимая и опуская руки незнакомца. — Посмотри, как он сложен. У нас в Академии был натурщик-итальянец, с которого мы рисовали римских богов. Клянусь всеми своими картинами, уже написанными и теми, которые напишу, рядом с ним тот выглядел бы заморышем. Как ты думаешь, сколько ему лет? Если бы не эта ослепительная седина, я сказал бы, что он не намного старше нас с тобой.

— Нет, он, конечно, гораздо старше, — возразила я. — Посмотри на его лицо.

— Лицо уснувшего греческого бога, — сказал Жак. — Спящий Аполлон. Я видел эту статую в Афинах в прошлом году...

— Тс... он, кажется, пошевелился.

— Потри ему виски, — скомандовал Жак, массируя широкую грудь незнакомца.

Я отбросил с висков длинные белые волосы и обнаружил легкий золотой обруч, плотно облегающий голову.

— Погляди, Жак!..

— Странное украшение. И такой же узор, как на плаще. Значит, это был его плащ.

— Без сомнения.

— Может, это актер, которого волной смыло с корабля во время спектакля?

— Сейчас узнаем. Он приходит в себя...

Незнакомец пошевелился, его ресницы дрогнули.

¹ Первые и последняя страницы рукописи отсутствуют. Дон Антонио вырвал их из тетради и оставил у себя. Поэтому перевод начинается с середины фразы.

Странно, в этот момент у меня потемнело в глазах и я ясно увидел бездонную черноту неба, усеянного непривычно яркими звездами. Среди звезд висело мохнатое, ослепительно сияющее фиолетово-белое солнце. Я тряхнул головой, и все вдруг утонуло в молочно-белом тумане. Мне показалось, что я проваливаюсь в какую-то бездну. Все это продолжалось несколько мгновений. Когда я овладел собой и оглянулся, я заметил, что Жак растерянно трет свой лоб.

— Что с тобой? — шепотом спросил я у него.

— Не знаю... Голова закружилась... Смотри, он пришел в себя.

Глаза незнакомца были устремлены на нас с Жаком.

— Мы бесконечно рады, что вам лучше, сударь, — быстро сказал Жак, вежливо приподнимая шляпу.

Незнакомец прошептал несколько слов, которых мы не поняли. Он попытался приподняться на локте.

— Лежите, лежите, — предостерегающе поднял руку Жак. — Сейчас мы дадим вам немного вина... Доннер веттер, на каком языке говорить с ним? Кажется, он ничего не понимает.

Жак поднес горлышко бутылки к губам незнакомца. Тот чуть заметно покачал головой.

— Пейте, сударь; это подкрепит вас, — сказал я по-английски и повторил эту фразу на пяти или шести европейских языках.

Незнакомец выслушал меня внимательно, но, видимо, не понял. Пить он отказался. Потом он сам произнес что-то. Голос у него был приятный и звучный, с мягким бархатистым тембром.

— Что за язык, Антонио? — шепнул Жак. — Клянусь подрамником, никогда не слышал такого. У него лицо породистого европейца, а плетет он черт знает какую тарабарщину. Ты слышал что-либо подобное?

Я признался, что не слышал.

— А еще лингвист, — съязвил мой приятель.

Незнакомец внимательно следил за нами.

Потом он сделал несколько движений левой рукой, и мы поняли, что он просит помочь ему подняться. Мы приподняли его и прислонили спиной к выступу скалы. Он поблагодарил движением век и устремил взгляд в океан.

— Не сбегать ли за врачом? — тихо спросил Жак.

— Ты пробегаешь до вечера, — возразил я. — Врача можно найти только в Фуншале.

Незнакомец снова заговорил. Я внимательно вслушивался в его речь и вдруг уловил знакомые слова.

Я ответил ему на древнегреческом, и он понял меня. Слабая улыбка появилась на его лице.

— Новые люди Земли, приветствую вас, — медленно произнес он. — Я счастлив, что не все погибло в огне, который уничтожил мою бедную родину.

— Где же находится ваша родина?

— Теперь на дне этого моря.

— Что он говорит? — тербил меня Жак, заметив мое изумление.

— Подожди, — отмахнулся я. — Кто же вы и откуда? — продолжал я, обращаясь к незнакомцу.

— Мой народ называл себя атлантами. Людям, населяющим сейчас Землю, знакомо это слово? Сохранили они память об Атлантиде?

— У нас существует легенда, что на месте этого океана некогда была страна с таким названием.

— Легенда, — повторил незнакомец, и углы его губ горестно дрогнули. — Слушай меня внимательно, новый человек Земли, не забывший языка своих предков. Мне надо многое сказать тебе, а времени остается мало... Я — а т л а н т и, кто знает, может быть, я последний сын этого древнейшего народа бесконечной Вселенной. Наша родная планета — Ассар. Она вращается в системе двух голубых солнц в сорока четырех линиях светового луча¹ от этого светила, — он указал на просвечивающий сквозь облака диск солнца. — Из десяти планет семьи Ассар только на ней одной возникла жизнь. Мои предки еще в незапамятные времена открыли источники энергии невообразимой мощности. Они посетили ближайшие миры, потом начали совершать более далекие путешествия. Около пятнадцати тысяч земных лет тому назад звездные корабли атлантов достигли Земли. Условия жизни здесь были почти такие же, как на Ассар. Здесь жили разумные существа, похожие на атлантов, но еще стоящие на неизмеримо более низком уровне развития

¹ Эту единицу длины так и не удалось расшифровать. Вероятно, она соответствует световому году, но году иной продолжительности, чем на Земле. (Прим. перев.)

и культуры. Пришельцев было мало, людей Земли много. Возникали конфликты, бесполезно лилась кровь.

Трехтысячелетняя история Атлантиды — это история бесконечных кровопролитий и войн. Постепенно атланты создали огромную державу, могущество и влияние которой все росло. Пришельцы породнились со многими племенами, населявшими Землю. Возникла новая раса красивых и сильных людей, которые, в память о далеких предках, тоже называли себя атлантами.

Однако в нашем богатом и могущественном государстве люди не были равны друг другу. Критерием неравенства было много, и одним из важнейших было неравенство знаний. Оно сохранялось все время с момента высадки первых атлантов на Земле. Впоследствии всей полнотой знаний владели лишь немногие прямые потомки атлантов, прилетевших с Ассар. В их руках были источники энергии, знание прошлого и участь будущего. Этих атлантов называли богами, то есть всесильными, а их ближайших помощников — жрецами. С бегом столетий знания богов и жрецов атлантов стали совершенно недоступны и непонятны не только иным народам Земли, но и народу Атлантиды. Умение применить эти знания расценивалось как сверхъестественная способность творить чудеса.

Я был рожден в эту позднюю эпоху в роду жреца и приобщен ко всей полноте знаний. Надо тебе сказать, что связь с родной планетей Ассар атланты утратили. До Земли долетели всего несколько кораблей Великой звездной экспедиции. Возвратиться они не могли. Запасы энергии были на исходе. А на Земле не оказалось веществ, способных выделять энергию, необходимую для звездных перелетов. Связь при помощи лучистой энергии также не удалось установить. Ассар слишком далеко от Земли. Однако из поколения в поколение в родах богов и жрецов передавались предания о далекой, неведомой отчизне. По ночам многие приборы нагорных обсерваторий были обращены к той части неба в созвездии Девы, где чуть искрилась голубая звезда — двойное солнце мира Ассар. Как величайшие сокровища, хранились в подземных тайниках огромные звездные корабли, на которых атланты достигли Земли. Плающие сердца этих кораблей были мертвы уже три тысячелетия... Но поиски источников энергии не прекращались.

И наконец вещества, способные дать нужную энергию, были найдены под льдами большого южного континента. Было решено послать экспедицию на Ассар. Из трех звездных кораблей, хранимых в подземных убежищах, только один еще был пригоден для межзвездного перелета. Построить новых мы не могли. Ограничивая число людей, приобщаемых к полному знанию, мы не только не шли вперед по дороге развития, но постепенно теряли и то, чем обладали в прошлом. Это была роковая ошибка... Но те, кто понимали ее, не в силах были ничего изменить.

В числе немногих я был избран для участия в экспедиции на Ассар. Мы знали, что расстаемся с близкими навсегда. Наш звездный корабль должен был развить скорость, намного превышающую скорость светового луча. Время для нас должно было потечь медленнее, чем на Земле. Пока мы будем измерять его годами, на Земле пройдут тысячелетия. Для наших близких мы умирали, чтобы родиться в новых, бесконечно далеких временах.

Отлет нашего корабля был великим событием для Атлантиды. Все участники звездной экспедиции были возведены Высшим Советом в ранг богов. Народу было объявлено, что боги, некогда спустившиеся с небес на Землю, снова возвращаются в свои заоблачные чертоги...

Сотни тысяч людей собрались, чтобы проводить нас. Пришли не только народы Атлантиды, но и посланцы многих иных племен Земли. Все они в благоговейном страхе пали ниц, когда наш звездный корабль, установленный на высокой каменной башне на окраине Западной пустыни, дрогнул, повис на ослепительном огненном луче и, оставляя за собой светящийся дымный след, исчез в бесконечном просторе неба.

Первые месяцы полета, пока скорость корабля еще не достигла предела, мы поддерживали при помощи лучистой энергии связь с Главной обсерваторией столицы. Мы знали, что на севере Атлантиды готовится еще одно важное событие. Далекий север нашей страны покрывал лед. Мощный ледяной покров простирался на огромные расстояния на запад и на восток, занимая площадь, во много раз большую, чем вся Атлантида. Оттуда часто дули холодные ураганы, от которых гибли

наши сады и посевы. Было решено уничтожить льды при помощи той же энергии, которая увлекала вперед наш звездный корабль.

Правда, некоторые жрецы возражали против этого проекта, опасаясь, что освобожденная энергия может не только растопить льды, но и разбудит силы, дремлющие в недрах планеты. Они боялись возникновения землетрясений, рождения вулканов, наводнений, гибели городов... И они не ошиблись...

Последняя весть, которую мы приняли по каналу лучистой энергии на нашем звездном корабле, была трагической... Едва успели вспыхнуть на далеком севере мощные энергетические разряды, как всю Атлантиду сотрясли спазмы небывалых землетрясений. В горах пробудились давно угасшие вулканы; рядом с ними возникали новые; реки расплавленной лавы потекли в равнины к разрушенным городам. «Море затопляет юго-восточную провинцию», — это была последняя фраза, долетевшая к нам с гибнущей родины. Потом связь прервалась. Мы поняли, что главная обсерватория Атлантиды разрушена.

Незнакомец умолк, голова его бессильно упала на грудь.

— Что он рассказывал тебе? — дергал меня за рукав Жак.

— Молчи, молчи... Он опять приходит в себя.

Незнакомец медленно приподнял веки. Взгляд его скользнул вокруг и снова обратился к океану.

— Силы иссякают, — прошептал он. — Остаются минуты... Слушайте меня, новые люди Земли. Постарайтесь понять и запомнить мои слова... Я не знаю, каких высот достигло ваше знание. Но если наука атлантов погибла вместе с ними и вы начинали всё сызнова, помните: в окружающем мире, в самых простых вещах скрыта энергия невообразимой мощи. Если неосторожно освободить ее, вас ждет судьба атлантов... Будьте мудры...

Голос его дрогнул и прервался.

— Чем мы можем помочь вам? — спросил я, откидывая волосы, упавшие на его лицо.

— Ничем... Я обречен... Мои спутники погибли в пути, и я похоронил их в Космосе. Я один достиг Земли. Я хотел во что бы то ни стало еще раз

увидеть родину, но не знал... что от нее осталась лишь... легенда.

— Ваша родина — вся Земля. Она перед вами.

— Спасибо тебе, Новый человек Земли. Пожалуй, ты прав... И с этой мыслью мне легче умирать. Ничего нет страшнее одиночества... Последней я похоронил Анар — мою верную подругу, вечно юную спутницу...

У меня на языке все время вертелся один вопрос. Едва он умолк, я поторопился задать его:

— Вам и вашим друзьям удалось достигнуть планеты Ассар?

Улыбка, полная непередаваемой горечи, скользнула по его губам.

— Увы, лучше бы нам не удалось это. Ассар давно мертва. Мертвые пески заносят там руины мертвых городов. Мертвы моря, в которых исчезла жизнь, и даже воздух наполнен убийственным излучением. Мы не знали... и мы поплатились... Нашим предкам, которые населяли мертвую планету, в какой-то страшный момент не хватило мудрости. Они истребили друг друга и саму жизнь в бессмысленной яростной борьбе...

Когда мы это поняли, мы сразу же покинули Ассар, но мы были уже обречены. Я гибну последним, но я безмерно счастлив, что перед концом своего долгого пути увидел новое поколение, новых людей... Во имя жизни, прекраснее которой нет ничего во Вселенной, будьте мудры!

Его голос звучал все тише; дыхание прерывалось.

— Что он говорит? — шептал мне над ухом Жак.

— Тише, он умирает...

— Но разве мы не можем ничего сделать?

— Ничего...

Губы незнакомца зашевелились, но голоса уже почти не было слышно. Я склонился к самому его лицу, стараясь понять последние слова.

... — Новый человек, обещаю мне, клянись рассказать людям... о погибшей стране... Найди камни ее городов... Они не могли... исчезнуть бесследно... Пусть легенда станет истиной... Предостереги... своих современников...

— Клянусь, — сказал я, сжимая его холодеющие руки.

— И еще... Этой ночью... звездный корабль... потер-

пел аварию при посадке... Он теперь... находится на дне океана... Я покинул его, когда он тонул... Волны выбросили меня на этот берег... Я рад... встретил вас... Предай мое тело... океану... Пусть покоится... там... где все...

Самых последних слов я уже не разобрал.

Я стал на колени возле него, хотел сотворить молитву и... понял, что она не нужна. Я чувствовал, что щеки мои мокры от слез, и не стыдился этого...

Умиравший шевельнулся. Голос его снова обрел силу:

— Люди новой Земли, где вы? Я не вижу вас... Протяните мне ваши руки... Вот так... Ухожу... Прощайте...

В это мгновение произошло нечто непостижимое. Словно электрические искры пронизали мое тело и вереницы удивительных образов и картин замелькали перед глазами, как в стремительном, бешено вращающемся калейдоскопе. Огромные солнечные города, дома-дворцы из белого мрамора в кружеве ажурных колонн, арки и орнаментов, высокие башни, похожие на усеченные пирамиды...

Синие волны плещут в белые мраморные ступени и колеблют стройные тела невиданных легких кораблей. Толпы высоких мускулистых мужчин и прекрасных златовласых женщин в праздничных, пурпурных одеждах спускаются по широким белоколонным лестницам. В мрачных подземельях, возле удивительных машин медленно движутся суровые седые люди с пронзительными, властными глазами... Длинный заостренный цилиндр нацелен в синеву неба... Море людских голов... Все взгляды устремлены куда-то в одну точку...

Вспышка ослепительного пламени — и плывет на недостигаемой глубине похожая на гигантскую карту страна, сжатая рамой голубых морей. На ней темные пятна городов и нити дорог, зеленые поля и снеговые шапки высоких гор...

И вот уже сменила всё чернота звездного неба, вздрагивают светящиеся указатели бесчисленных приборов... Два ряда дверей в длинном светлом коридоре. Маленькая комната с черным прямоугольником окна. За окном ночь и неправдоподобно яркие звезды. Юное женское лицо склоняется совсем близко. Нежные губы раскрываются и что-то шепчут... Как оно прекрасно — это видение!..

И опять несутся вереницы картин, сменяющих друг друга в головокружительном водовороте. Багровая заря освещает уродливые развалины. Бесконечная мертвая пустыня вокруг. Песчаные вихри заносят высохшие леса. Огромными воронками изуродована поверхность планеты, залитая голубоватым светом двух незаходящих солнц. Скорбные фигуры в темных плащах одна за другой скрываются в цилиндрическом корпусе звездолета.

Задвигается тяжелая дверь, и снова чернота неба и звёзды. Они начинают двигаться, двигаются все быстрее и быстрее, превращаются в сверкающие лучи голубого пламени; глаза ломит от их нестерпимого блеска, а они горят все светлее, все ярче... Чье-то лицо появляется в этом море света. Оно приближается... Я узнаю ее... Это она...

И вдруг все сразу исчезает. Я открываю глаза. Скалы громятся над узкой кромкой берега. Лениво плещут зеленоватые волны. Незнакомец кажется спящим. Я осторожно опускаю на песок его руку. Она холодна как мрамор. Это рука мертвеца.

Я смотрю на Жака. Он сидит неподвижно. Его глаза широко раскрыты. Я осторожно касаюсь его плеча. Он оборачивается.

— Ты видел? — спрашиваю я.

Он молча кивает.

— А понял?

— Конечно. Это была его жизнь...»

* * *

На этом обрывается рукопись дона Антонио Сальватора ди Ривера, которому довелось встретить и проводить в последний путь последнего человека Атлантиды...

Через несколько дней мы вместе с начальником экспедиции шагали по тенистой набережной Порто-Альтэ. Наша шхуна уже стояла готовая к отплытию.

Тяжелые двери музея оказались закрытыми. Я постучал, но никто не отозвался. Мы принялись барабанить что есть силы, и на стук откуда-то из глубины парка вылез сгорбленный седой старикашка в вязаном колпаке, старой вельветовой куртке и потертых кожаных штанах. Его желтое лицо, все изборожденное густой сетью морщин, было похоже на перепеченное яблоко.

- Закрыто, — прошепелявил он беззубым ртом.
- Нам необходимо видеть дона Антонио. Где он?
- Нет его. Умер... Вчера похоронили...

Слезы потекли по его морщинистым щекам, и он стал утирать их рукавами вельветовой куртки.

- Как же так?.. — растерянно сказал я.

— Ужинал с каким-то туристом. Вернулся поздно... Ночью стало плохо, а к вечеру умер... Старый был... Старый... Успокой господь его беспокойную душу...

Мы переглянулись.

— А вы здешний привратник? — обратился я к старику.

- Да, сеньор.

- Вы не разрешили бы нам заглянуть в музей?

Старик покачал головой.

— Дон Рикардо — судья — не велел никого пускать. Музей закрыт с прошлого года. Дон Антонио открывал его сам, без разрешения. А я боюсь...

- Нам посмотреть только подземный зал.

Старик махнул рукой.

— Увы, сеньор, это совсем невозможно. Это подвалы монастыря, который находится за музеем. Настоятель, как узнал о смерти дона Антонио, сразу велел мне отдать ключи от подвалов и библиотеки. Монахи уже и дверь замуровали. Я говорил дону Рикардо — судье. Он только руками махал. Настоятеля здесь все боятся... Вредный человек, хотя и священник.

- А как же коллекции подземного зала, библиотеки?

— Теперь не отдадут... Настоятель говорил, эта коллекция еретическая... Говорил, дон Антонио много лет арендную плату за подвал не платил... Библиотеку и коллекцию он, мол, берет вместо арендной платы.

— Это же скандал! — возмутился я. — Коллекция имеет всемирную ценность. Как же смел этот грязный монах...

— Легче на поворотах, — прервал меня начальник. — Ты хочешь, чтобы нас обвинили во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства?

- Но коллекция уникальна! Если ее уничтожат...

— Можешь быть уверен, что не уничтожат. Попы прекрасно знают ей цену. Поэтому они и торопились. Они спрячут ее подальше, как спрятали многое, что свидетельствует против них.

— Но этого нельзя допустить. Можно обратиться в Организацию объединенных наций...

— А к папе римскому ты не хочешь обратиться? — насмешливо спросил начальник. — Кто станет заниматься судьбой коллекции провинциального музея! Где у тебя доказательства ее уникальности? Рассказ старика... Его рукопись?.. Так этого мало... Не забывай, что его еще при жизни постарались огласить безумцем... Атлантида, если она действительно существовала, рано или поздно будет найдена...

Перед уходом я протянул старику несколько монет. Он не захотел принять их.

— Возьмите, — попросил я. — Если они вам не нужны, купите цветов на могилу дона Антонио.

— Спасибо, — сказал старик, и его глаза снова наполнились слезами, — спасибо, сеньоры. — И он пожал дрожащими руками мою руку.

— Как же теперь с глубоководными станциями? — спросил я, когда мы подъезжали к Фуншалю.

— Попробуем все-таки, — проворчал начальник без особенного энтузиазма.

Мы взяли с десятков глубоководных станций в местах, не предусмотренных программой наших исследований. На поверхность были подняты только куски пористой базальтовой лавы.

В Москве выяснилось, что возраст лавы действительно измеряется несколькими тысячелетиями.

* * *

Я хотел включить в отчет описание встреч на Мадейре — историю удивительного музея в Порто-Альтэ и содержание рукописи дона Антонио ди Ривера. Однако начальника «взорвало» и он наговорил мне кучу неприятных вещей.

— Соображать надо, — сказал он в заключение. — Отчет будет печататься в трудах института...

Увидев мое огорченное лицо, он немного смягчился:

— Если у тебя такой зуд, напиши об этом рассказ, — посоветовал он, похлопывая меня по плечу. — Тем более, что смерть дона Антонио освободила тебя от данного ему обещания.

Я так и сделал.



АЛЕКСАНДР ГРИН

РАНЧО

"КАМЕННЫЙ ТОЛБ"

ПОВЕСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

П

ассажирский поезд, шедший из Рио-Гранде в Баже, остановился на станции Месгатоп, неподалеку от которой лежал поселок того же названия.

Из вагона первого класса вышел, неся ручной саквояж, человек лет тридцати. Его гладкие черные волосы и резкий профиль выдавали примесь индейской крови. Действительно, Ретиан Дугби был сыном шотландца и индианки. Гордое, даже мрачное выражение его смуглого лица окрашивалось добрыми черными глазами.

Пройдя короткую тропинку между агав и тамарисков, росших перед верандой станционного бара, путешественник приблизился к стойке, возле которой находился только один пассажир — высокий белоснежно-седой старик в городском костюме, — и обратился к буфетчику с просьбой дать стаканчик кашассы (водка из сахарного тростника) и пирожное из маниоки с креветками — на закуску. Вдруг сзади него раздался крик:

— Ветерок Пампасов! Утренний Ветерок! — И старый пеон, бросив на стол корзину с дынями, кинулся к Ретиану, охватив его за плечи на манер гаучо.

— Жозеф! Неужели это ты, старый Жозеф? — вскричал Ретиан, приветствуя бывшего гаучо-индейца тем, что положил ему голову на плечо и похлопал по спине,¹ а Жозеф проделал ту же церемонию. — Никак не думал, что ты еще жив!

— Жив, жив, Утренний Ветерок! — ответил, утирая слезы, старик. — Только уже стар управляться с лассо и быками. Вот третий год служу здесь, на станции, заведу провизией. Надолго ли вы приехали? Ваше ранчо, которое продали после смерти вашего отца Эркману Шульцу, Шульц перепродал Гопкинсу, — теперь там гостиница. Каждый день у него толкуются гаучо и путешественники.

Следует объяснить, что Жозеф работал пятнадцать лет при стаде Вильяма Дугби, отца Ретиана. По привычке индейцев давать прозвища, Жозеф прозвал Ретиана «Быстрый Утренний Ветерок» за живость и неугомонность мальчика во время степных поездок, когда Ретиан, еще четырнадцати лет, не уступал самому ловкому наезднику пампасов в метании лассо и в разыскивании следов.

Ретиан опустил руку на плечо старика и задумался. Ему было неприятно слышать, что дом, где он вырос со своей сестрой Мальвиной, теперь женой машиниста в Сан-Франциско, превратился в придорожный трактир. Однако радость снова очутиться среди пампасов скоро пересилила грусть, и молодой человек начал болтать с Жозефом о старых знакомых, о прошлом, не замечая, что белоснежно-седой старик с красивым, тонким лицом чрезвычайно внимательно слушает их разговор.

Полное восхищение светилось в лице старика: не раз он как бы хотел вмешаться в разговор, но удерживался.

Буфетчик, давно привыкший к встречам всякого рода, составлял спиртные смеси, переливая напитки из графина в графин.

— Временно я бросил работу в газетах, — сказал Ретиан, — подкопил денег и решил провести месяца два на родине. Отсюда я направляюсь в ранчо «Каменный

¹ Обычай гаучо. (Прим. автора.)

Столб», к старому другу моего отца — Дугласу Вермонту. Он давно зовет меня погостить.

— Недавно видел его, — сказал Жозеф. — Раненый Ягуар (у Вермонта была прострелена нога во время одной схватки со степными разбойниками) приезжал на станцию с дочерью Аретой. Солнце светит тусклее, когда она выходит из ранчо. Газель Пустыни дает мне книги; она же выучила меня читать, писать и проделала это с терпением каскавеллы,¹ караулящей птичку. Они очень бедны, милый Утренний Ветерок, дела их неважны.

— Жозеф, — сказал буфетчик, — ведь ты еще не был у Бальядеро за ананасами?!

— Иду, иду, — ответил старик. — Не каждый день бывает такая встреча. Я только скажу Педро Торресу, чтобы готовил дилижанс для гостя Вермонта.

— Вот этого как раз не нужно, — возразил Ретиан. — Я поеду верхом, как раньше. Дostaнь мне костюм гаучо и доброго мустанга, Жозеф. Я заплачу тебе.

— Вы бросили мне яд в сердце, Ретиан! — с ужасом воскликнул старик. — Мне платить? Сын своего отца знает, что он сказал это, не подумав. Утренний Ветерок! Я относился к тебе, как к сыну. Ты был всегда добр ко мне. Моя старая одежда еще цела, возьми ее. Лошадь даст мой сын; чудная кобыла, суха, как бразильянка, и неумоима, как речная струя. Вы будете скакать, как по воздуху. Стойте тут, я снесу дыни да сделаю еще кой-какие дела; я скоро вернусь.

Жозеф подхватил корзину и, широко расставляя ноги, скрылся в кухню.

Оглянувшись, Ретиан заметил, что белоснежный старик улыбается, пристально смотря на него.

Слегка приподняв шляпу, молодой человек занялся своей кашассой, но еще не выпил, как старик обратился к нему:

— Простите, уважаемый незнакомец, если я досажу вам просьбой разделить со мной пол-литра перцовки. Насколько мне известно, такое приглашение не нарушает местных обычаев вежливости. Вы доставите мне большое удовольствие знакомством с вами. Мое имя —

¹ Каскавелла — разновидность гремучей змеи. (Прим. автора.)

Тэдвук Линсей, из Плимута, старший клерк угольного склада фирмы «Братья Снеккоп и К^о».

— Я как взглянул, тотчас заметил, что вы иностранец, — сказал Ретиан. — Но так как вы бегло говорите по-испански, то подумал, что имею дело с джентльменом из Мексики, где проживает много испанцев. Англичане вообще плохо усваивают языки. Это я говорю вам не в обиду, а только от удивления слышать правильное испанское произношение у иностранца, англосакса. Я не был в здешних местах десять лет и от радости видеть пампасы забыл назвать себя: Ретиан Дугби, корреспондент североамериканских газет.

Тем временем буфетчик подал красную перцовку и стаканы, поставил перед гостями тарелку с нарезанными коричневато-зелеными апельсинами, какие растут на берегах океана, ближе к Бразилии; несмотря на свой странный вид, они отличаются замечательным вкусом, а размерами достигают величины маленькой дыни.

Ретиан и Линсей пожали друг другу руки, затем выпили перцовку и сели к столу. Служитель бара принес им черный кофе и печенье из маниоки.

— Действительно, — сказал Линсей, — я говорю недурно по-испански, хотя до сего раза никогда не выезжал из Плимута.

Ретиан присмотрелся к Линсею.

Это был человек лет пятидесяти семи, ростом шесть футов и, несмотря на худобу, крепкого сложения. Густые, снежно-седые волосы иностранца, разделенные посередине пробором, завивались на концах вверх, напоминая нахлобученную пушистую белую шляпу с загнутыми полями. Седые усы висели до выдающегося вперед подбородка, а черные брови над задумчивыми черными глазами придавали наружности Линсея суровый вид. Однако живая игра его худого, красивого лица во время разговора и добродушный смех немедленно располагали собеседника к странному старику, который, по видимому, чувствовал себя празднично, так как осуществил, наконец, свою мечту — проехать по живописным странам Южной Америки.

Линсей был одет в приличный черный костюм из полушерстяной материи, прорезиненное пальто дорожного типа и настоящую панаму, купленную в Рио-де-Жанейро.

В Южной Америке не принято расспрашивать человека о его делах; поэтому Ретиан ждал. Линсей оказался словоохотливым; свернув папиросу, он объяснил:

— Видите ли, сеньор Дугби, я еще пятнадцати лет увлекся вашими странами. Моей постоянной мечтой было попасть в Южную Америку хотя бы на полгода.

— Вам что-нибудь мешало? — решил спросить Ретиан, все более интересуясь Линсеем.

— Да и нет, как хотите. Ничто не мешало бы мне, конечно, поступить матросом на грузовой или пассажирский пароход и попасть, куда я хочу. То есть никто бы меня не стал за это преследовать.

Мне было шестнадцать лет, когда умерли мой отец и моя мать. Кроме меня, остались три девочки, мои сестры. Они были еще маленькие, и я должен был о них заботиться. Я поступил клерком в торговую контору и на небольшое жалованье, отказывая себе во всем, воспитал сирот. Мои мечты о путешествии не то чтобы остыли, но ежедневная девятичасовая работа, хлопоты, заботы всякого рода загнали эти мечты далеко — очень далеко, сеньор Дугби. Потом, когда уже Бетси, Доротти и Анни получили образование, две из них — Анни и Бетси — вышли замуж, а Доротти заболела туберкулезом, понадобилось много денег на ее лечение. Но так как мужья сестер зарабатывали очень мало, то опять начал помогать я. Доктора велели Доротти поехать в Каир; пришлось взять в долг, с выплатой ежемесячно, на пять лет. Еще помогал я трем бедным дальним родственникам матери... Пришлось остаться холостяком, сеньор Дугби, хотя очень мне нравилась одна девушка. Я перешел на службу к братьям Снеккоп, но мне там не повезло. За десять лет работы я получил надбавку жалованья лишь три фунта, а всего получал двенадцать фунтов. Сообразите сами, как трудно было мне скопить денег на эту поездку. Я был сорока лет, когда начал копить, откладывая в год десять фунтов. Я рассчитал, что 200 фунтов мне хватит на полтора года, чтобы основательно путешествовать, но не утерпел: собрав 170 фунтов, взял расчет, сел на «Раджу», который шел в Рио-де-Жанейро, и вот я здесь, среди давно милых сердцу моему пампасов. Один португалец посоветовал мне высадиться здесь, в Мезгатопе, сказав, что отсюда я смогу совершить пре-

интересную поездку верхом через пампасы в Монтевидео.

Тронутый этой бесхитростной историей старика, уже под конец жизни отправившегося в страну своей мечты, Ретиан спросил:

— Вы знакомы с седлом?

— Конечно; я брал уроки в манеже, брал лошадь «напрокат»; кроме того, я пять лет учился испанскому языку по самоучителю, а затем брал уроки. Еще я научился стрелять, причем стреляю не плохо и, смейтесь, если хотите, недурно владею лассо, чему меня обучал один испанский наездник-вольтижер из цирка.

— Каррамба! Вы мужественный человек! — вскричал Ретиан. — Я люблю вас за то, что вы так полюбили мою страну! Со своей стороны должен сообщить, что родился в этих местах, вырос здесь и после смерти отца, разорившегося от поголовного падежа всего стада, вынужден был продать ранчо и отправиться в Северную Америку. Я много испытал, сеньор Линсей.¹ Бился так и этак, делал всякую работу, хотел стать писателем, но не оказалось таланта. — Ретиан добродушно рассмеялся. — Судьба забросила меня в Нью-Йорк. Я поместил в газете несколько очерков об Уругвае, втянулся в эту работу, стал разъездным корреспондентом. Теперь поссорился. Редактор газеты «Герольд» хотел послать меня на Клондайк. Каррамба! Я весь дрожу при виде снега, ничего так не боюсь, как холода! Благодарю за такое удовольствие! Я люблю тепло, с детства привык к нему.

— Представьте, — сказал Линсей, — так как я невольно слышал ваш разговор с индейцем, то понял, что вы здешний житель. Я, собственно, и заговорил с вами в надежде узнать от вас хорошее, интересное направление к Монтевидео, а также выслушать добрые советы о переезде через пампасы.

— Сеньор Линсей, — ответил Ретиан, — я только что хотел предложить вам ехать со мной в ранчо Вермонта. Он прекраснейший, интереснейший человек ваших лет, авантюрист в прошлом, выдавший виды. Он из Бельгии. Страсть к приключениям еще юношей увлекла его за океан. Вы можете быть уверены в гостеприимстве Вер-

¹ Разговор шел на испанском языке. (Прим. автора.)

монта. Это был друг моего отца. Его ранчо «Каменный Столб» лежит отсюда в семидесяти километрах к югу. Там вы увидите нашу степную жизнь и степной дом. Вермонт беден, но он радушен и благороден. Передохнув день — два, три — сколько хотите, вы поедете на отличной лошади в сопровождении гаучо в Монтевидео или в Парагвай, куда вам захочется.

Глаза Линсей сверкнули, на бледнозагорелом лице проступил пламенный румянец.

— Да! О, да! — вскричал он. — Я еду с вами, друг мой!

Едва Линсей ответил таким образом на предложение Ретиана, как прибежал Жозеф.

— Все готово. Идите скорей со мной к моему сыну, — сказал он. — Вы останетесь довольны, Утренний Ветерок. Но так как вы теперь уже не мальчик, то вам больше пристало имя — Ветер Пампасов. Одежда, оружие, лассо — все готово, все ждет вас.

— Жозеф, — сказал Ретиан, — вот мой новый друг, сеньор Линсей из Европы; он жаждет узнать нашу жизнь и должен поехать со мной в ранчо «Каменный Столб». Нам нужна вторая лошадь.

— Будет и третья, если одна из двух заупрямится! — воскликнул старый индеец. — Для сына Поющего Пальца (так прозвали индейцы старого Дугби, потому что он умел играть на пианино) не будет ни в чем отказа.

Ретиан и Линсей последовали за Жозефом.

II

Жилище Андреаса, сына Жозефа, находилось недалеко от станции.

Пройдя ряд станционных построек, путники миновали кривой переулочек, застроенный небольшими домами с множеством окон, украшенных цветными ставнями, и очутились перед возделанным участком, где среди тыквенных гряд стоял низкий одноэтажный дом — глиняная постройка с крышей из тростника.

Перед домом стоял молодой индеец, улыбаясь во весь рот, так что его белые, как сахар, зубы ослепительно сверкали на солнце. Он был бос, без шляпы, а голову повязывал пестрым платком. Коричневый бумажный

пиджак, надетый на голое тело, и бумажные синие штаны составляли весь костюм Андреаса.

— Чашку матэ! Капито¹ кашассы! — сказал Жозеф, когда путешественники обменялись с Андреасом приветствиями. — Ветер Пампасов не захочет обидеть старика, так же, как и его почтенный друг, Седой Орел.

— Жозеф, ты знаешь меня, — ответил Ретиан, — а я тебе ручаюсь также за сеньора Линсея, — прибавил он, заметив по взгляду спутника, что тому хочется поскорее ехать. — Я ручаюсь тебе памятью моего отца, что мы очень ценим твоё радушие и щедрость, но мы ничего не хотим, так как уже поели и выпили на станции.

Жозеф был огорчен, но не настаивал, и все трое, кроме Андреаса, вошли в низенькую дверь, занавешенную бычьей кожей.

Домик состоял из трех тесных и низких помещений с земляным полом, с маленькими грязными окнами и циновками по углам. Мебели здесь никакой не было, кроме четырех буйволовых черепов, насаженных каждый на три короткие палки; черепа эти играли роль стульев.

Жозеф подал гостям несколько темных сигарет местного производства, а Ретиан достал из саквояжа бутылку рома.

Линсей осматривался с большим интересом. По его сияющему лицу было видно, что ему доставляет детскую радость возможность сидеть на черепе между буйволовых рогов и смотреть на приколотые к стенам лубочные картинки.

— Пампилла! — крикнул Жозеф. — Принеси нам стаканчики! Да принеси одежду для сеньора Дугби, которую я отложил!

— Сейчас, — услышался гортанный голос. Из женской комнаты, чуть помедлив, вышла молодая индианка, неся охапку одежды. Сложив ее у ног старика, она пошла за стаканчиками и, когда принесла их, отрывисто поклонилась гостям, охотно взяв предложенную ей Ретианом сигарету.

Пампилла была одета в синее ситцевое платье. Ее черные косы были украшены серебряными монетами, а шею обвивали бусы из черного дерева. Она ходила

¹ Матэ — южноамериканский чай из листьев кустарника матэ. Капито — стакан. (Прим. автора.)

босиком. Ее скуластое смуглое лицо не выражало ничего; закулив, она пустила дым вверх, сказала «Гро-
циас!»¹ — единственное известное ей испанское слово —
и ушла.

Пока путешественники пили ром и курили, Жозеф рассказал Ретиану о своих семейных делах, а затем все принялся смотреть вещи, предназначенные для Ретиана.

— Очень жаль, — сказал Жозеф Линсею, — что у нас нет второго костюма гаучо для вас. Но шипито — широкий кожаный пояс — найдется. Вам, верно, хочется все испытать, и я, так уж и быть, возьму у Пампиллы ее пончо. Идите сюда, Ветер Пампасов.

Сказав так, Жозеф провел Ретиана в соседнюю комнату, где молодой человек начал переодеваться.

— Однако, — обратился Линсей к индейцу, — шипито и пончо меня вполне устраивают. Мне не хотелось скакать на мустанге в пиджаке, галстуке и брюках.

— Если бы вы так поехали, все мальчишки Месгатопа собрались бы вас провожать, — засмеялся Жозеф. — Вы упрямы, не хотите ехать в дилижансе. Ну, хорошо, что-нибудь мы устроим.

Скоро Жозеф принес от Пампиллы бумажное пончо. Это был большой квадратный кусок ткани зеленого цвета с гирляндой красных роз по краям и с отверстием для продевания на голову. Жозеф дал Линсею нож в кожаных ножнах и показал, как пристегивают пояс. На ноги он предложил кожаные обертки, к башмакам прикрепил большие медные шпоры с колесцами величиной с небольшое блюдечко.

Костюм Ретиана был значительно лучше костюма Линсея: настоящее вигоневое пончо было обшито по краям широким серебряным галуном; желтый широкий пояс шипито вышит полосками красной кожи; сапоги из недубленной кожи, с мягким широким верхом доходили до колен, а огромные шпоры, серебряные с золотой насечкой, звенели на каждом шагу. Белая поярковая шляпа с зеленой лентой вокруг тульи была сдвинута на затылок, кожаные штаны имели черные шелковые лампасы; из-под пончо выглядывал белый шелк тонкой рубашки.

¹ «Благодарю». (Прим. автора.)

За шипито у Ретиана торчал длинный нож в серебряной оправе, с малахитовой рукояткой — большая редкость в Бразилии. За плечами висел магазинный карабин, на ремне у пояса — кобура с револьвером.

Ретиан, взглянув на Линсея, невольно расхохотался: два гаучо, старый и молодой, стояли друг против друга.

— Клянусь бухгалтерией, — страницы Майн Рида и Густава Эмара оживают передо мной! — воскликнул, смеясь, Линсей. — Как, должно быть, я вам кажусь жалок в своем костюме — я, конторщик, просидевший столько лет, не разгибая спины, среди пропитанных чернилами книг!?

— Ничуть, — ответил Ретиан, — потому что для вас это не забава, а потребность души. Вам очень к лицу костюм гаучо, поверьте мне.

Слегка утешась, Линсей вместе с Ретианом бодро пошел к выходу на двор, где Андреас уже ждал их, держа под уздцы двух горячих степных лошадей: серую кобылу Ретиана — Цветок Травы и черную — Ого — для Линсея. Увидев высокие, мало удобные непривычному человеку седла гаучо, Линсей несколько смутился, но, по примеру Ретиана, довольно ловко вскочил на свою лошадь и даже сразу нашел ногой стремя, чем очень удивил обоих индейцев.

— Седой Орел ледяных стран знает нашу езду! — воскликнул Жозеф. — Ветер Пампасов, я как-нибудь приеду в «Каменный Столб». Мы еще поговорим. Мы просидим целую ночь за матэ, сигарами и гитарой. Счастливой дороги!

Вещи Линсея и Ретиана были увязаны в кожаные мешки по бокам седел. Напутствуемые пожеланиями индейцев, всадники выехали за ограду и очутились перед волнистой равниной.

III

Ретиан и Линсей не проехали и ста шагов, как перед их глазами развернулись залитые солнцем пампасы.

Степь напоминала остановившееся движение отлогих волн. До самого горизонта тянулась эта волнистая равнина, изредка прорезанная впадинами, вырытыми водой ручьев и рек, с кустарниками по берегам.

В разных сторонах пространства виднелись темные пятна, вокруг которых медленно передвигались темные точки.

— Это стада, — сказал Ретиан. — Стада быков и лошадей. Они постоянно будут попадаться нам — то вблизи, то вдаль. Ну, сеньор Линсей, дорога нам предстоит утомительная; пустим лошадей рысью, а к вечеру заночуем в каком-нибудь ранчо. Вы не устанете?

— О нет, — ответил Линсей, — я так полон чувством новизны, что, кажется, мог бы ехать без сна и без пищи три дня.

Всадники ехали по высокой траве, начинающей желтеть, так как давно не было дождей. Почва была сухая и твердая. Никакой резко намеченной дороги здесь не было: следы колес, подков, копыт разбегались по всем направлениям, пересекаясь, как петли крупно связанной сети.

Проехав два или три километра, путешественники повстречали огромное стадо быков, которое сопровождал отряд гаучо — запыленных, загорелых всадников в широкополых соломенных шляпах. Огромные, взлохмаченные собаки бегали около стада, загоняя отбившихся быков в кольцо. Быков гнали на бойни в Пелотас.

Пастухи — гаучо — были вооружены короткими пиками из тростника, с железным острием на конце; этими пиками они кололи быков, когда те отбивались от стада или сворачивали с дороги. Кроме того, длинные кожаные бичи беспрестанно щелкали в воздухе и по спинам животных.

Ретиану и Линсею пришлось отъехать в сторону и объехать стадо кругом, потому что опасно было стать помехой этой лавине животных и даже рассердить хотя бы нескольких из них.

Всадники долго объезжали стадо, которое шло, пыля, ревя и мыча, сотрясая почву и распространяя густой едкий запах.

Некоторые из гаучо, подъезжая к путешественникам, вступали в разговор с Ретианом. От них он узнал, что Вермонт в позапрошлом году совершенно разорился и у него нет больше стада. Одни говорили, что его обманули торговцы, другие — что его скот весь пал от неизвестной болезни. Так или иначе, но Вермонт жил теперь в большой нужде.

Раздав гаучо несколько пачек папирос, Ретиан некоторое время ехал задумчиво; затем, видя, каким удовольствием полон Линсей, для которого все было ново и интересно, оживился и заговорил:

— Мы одеты, как гаучо, но наша, в особенности моя, одежда — это показная, праздничная сторона жизни гаучо. Вы только что видели их на работе. Их жизнь сурова; большую часть жизни они проводят в седле.

— Но разве они не отдыхают?

— Отдыхают? Раз, два в день, и то не всегда, гаучо заедет в ранчо, попьет матэ — и опять в седло. Беспредельно, мерным шагом они объезжают стадо. Хлеб здесь редкость; едят мясо, тыквенную кашу да картофель. Если спят, то немного, больше днем.

— Почему же днем?

— Спят и ночью, по очереди. Однако ночью стадо может испугаться чего-нибудь: пробежит страус, мелькнет тень газели; бывает, животные затоскуют от раздражающего их лунного света и разбегутся, смешаются с другими стадами, наделают гаучо беспокойства и горя.

— Да, это не так просто, как я думал.

— Совсем не просто, — продолжал Ретиан. — Я знаю, что говорю, так как когда был подростком, то часто проводил с гаучо целые недели. Бывает так: бык чего-то испугался, заразил испугом несколько других, — те помчались сломя голову, за ними еще, еще — и вот стадо в десять тысяч голов мчится, все ломая и круша на своем пути. К ним присоединяются встречные стада. На сотни километров распространяется суматоха, и некоторые стада даже пропадают без вести. Проходит много дней, пока они отыщутся.

— Как ошибочно я составил себе представление о пампасах как об однообразной сухой равнине! — сказал Линсей.

— О, нет. Пампасы очень разнообразны, — отозвался Ретиан. — Вот так называемый «памперо» — гроза с ураганом, страшным громом, непрерывными молниями — наводит панику на быков. Ища укрытия, они мечутся во все стороны, а за ними гонятся гаучо и собаки.

В детстве я слышал об одном гаучо, — кажется, его звали Мануэль. Он попал вместе со стадом в болото. Между прочим, эти болота по виду ничем не отличаются

от окружающего их зеленого пространства. Прошло несколько дней, а Мануэль не возвращается к своей жене, очень его любившей. Начались поиски, и по шляпе, лежавшей над могилой несчастного, догадались, что его затянуло болото. Его жена не снесла горя: отправилась на то место и... дала себя засосать трясине.

Другой гаучо, — продолжал Ретиан, — трое суток гонялся за своим разбежавшимся стадом, на скаку меняя лошадей, которых ловил лассо; этот гаучо умер от изнурения в седле.

— А между тем редкий гаучо сменит такую тревожную, трудную жизнь на спокойное городское существование. Они любят пампасы, свободу и опасности, — закончил свой рассказ Ретиан.

Легкий, чистый, как ключевая вода, воздух обвевал лица всадников, и так отрадно было дышать, рассматривая необозримое зеленое пространство, что хотелось ехать молча, отдаваясь ритму легкого галопа и чувству простора.

Чрезвычайная прозрачность атмосферы обманывала зрение: далекое казалось близким, маленькое — большим. Куст, росший на пригорке, издали казался большим деревом, севшая на возвышении «таро-таро» — гигантской птицей. На самом деле «таро-таро» — черные с белыми крыльями, похожие на русского чибиса — грациозные небольшие птицы, и их очень много в пампасах, так же, как зайцев.

Линсей видел длинноногих степных курочек, куропадок; один раз мимо всадников пронеслась антилопа. Переезжая ручьи, он любовался розовыми фламинго, стоящими в воде на одной ноге, белыми цаплями, множеством куликов всевозможной окраски и величины. Стада прирученных страусов-нанду, не боящихся в этих местах человека, подпускали всадников на несколько шагов, а затем, насторожа выпуклые глаза, вскидывали кудрявые хвосты и, быстро махая крыльями, удирали подальше.

Так ехали Ретиан и Линсей, лишь иногда останавливаясь, чтобы закурить или напиться воды из ручья, пока не захотелось есть.

— Вам, верно, хочется есть? — спросил Ретиан Линсея, указывая на белевшее далеко справа пятно, означающее чье-то ранчо, где серой ниткой вился дымок. —

Но я прошу вас немного потерпеть. В двух километрах отсюда, на берегу Рио-Негро находится бывшее ранчо моего отца. Теперь это степная гостиница «Эстансия». Там мы будем отдыхать, есть и пить матэ.

— Я давно хочу попробовать матэ, — отозвался Линсей, — но не будет ли вам грустно видеть тот дом, где вы родились, теперь ставшим чем-то вроде проходного места?

— Да, будет неприятно, но вместе с тем и любопытно, — сказал, помолчав, Ретиан. — Не забывайте, что я стал газетчиком, репортером.

Он сделался сосредоточен и больше не сказал ничего до тех пор, пока за отлогим холмом не показалась тростниковая крыша ранчо-гостиницы.

— Ретиан вернулся домой, — улыбнулся молодой человек, насмешливо указывая своему спутнику на десять гаучо, играющих под навесом во дворе в карты.

Толстый человек с красным лицом и рыжими усами расставлял на столе бутылки кашассы и жестяные тарелки с жареной бараниной, приправленной черными бобами.

IV

Оставим пока Ретиана и Линсея и заглянем в город Монтевидео — столицу Уругвайской республики.

За несколько дней до приезда Ретиана на станцию Месгатоп в кабинете врача-психиатра Ригоцци сидели двое мужчин: сам Ригоцци — человек сорока лет, тучный, с оливковым цветом хитрого, насупленного лица, гладко причесанный, никогда не смотрящий собеседнику прямо в глаза, — и Леон Маньяна, крупный гацциендер (помещик) из окрестностей Монтевидео.

Багровый цвет лица Маньяна, его огненные, с желтизной глаза, крупная голова на короткой красной шее, орлиный нос, иссиня-черные волосы и громкий голос, звучащий при раздражении нескрываемым оттенком бешенства, выказывали неукротимую, деспотическую натуру.

Действительно, Леон Маньяна, кровный испанец, был человек опасный. За ним числилось несколько убийств, совершенных в гневе, но большие связи среди местной администрации и богатство оставили эти убийства безнаказанными.

Ревностью и угрозами загнав в гроб свою первую жену, милую и добрую Катарину, Леон Маньяна не имел от нее детей. Второй брак, с глупой и злой, но очень красивой Долорес Курталис-Орейя, дал ему дочь Инес и сына Хуана. Хуан был на три года старше своей сестры.

Теперь Хуану Маньяна шел восемнадцатый год.

— Так вы говорите, что ваши разумные беседы с Хуаном не действуют на мальчишку? — сказал Маньяна, нервно грызя дорогую манильскую сигару. — Никогда ни в нашей семье, ни у наших родственников не было такого срама, какой приходится переживать мне на старости лет. Жаль, что теперь не прежние времена, а то, поверьте, уважаемый доктор, я загнал бы сумасброда в какое-нибудь отдаленное ранчо и там держал бы его под стражей на хлебе и воде до тех пор, пока он не запросит пощады.

— Лучше ничего нельзя было придумать, как то, что мы с вами сделали, — вкрадчиво произнес доктор Риготци. — Нет сомнения, что страх остаться в лечебнице на всю жизнь заставит Хуана, наконец, дать вам честное слово — отказаться от идиотской мечты стать каким-то кинооператором, тогда как он, богатый и знатный наследник, мог бы с честью для себя и вас продолжать свое родовое дело — быть всеми уважаемым гациендером.

— Сеньор Риготци, — холодно ответил Маньяна, — я не просил вас ругать моего сына идиотом. Все остальное совершенно правильно.

— Простите, — обиделся доктор, — словцо сорвалось у меня нечаянно.

— Делайте с ним, что хотите, — сказал гациендер. — Запугайте его, уговаривайте, но не бейте и не сажайте в сумасшедшую рубашку с длинными рукавами.

— Будьте спокойны, сеньор Маньяна. Не пройдет месяца, как Хуан исправится и последует вашему желанию обучаться торговому делу у управляющего вашими холодильниками.¹

¹ Склады мяса, замороженного искусственным льдом, (Прим. автора.)

— Квен сабе! ¹ — пробормотал испанец. — Во всяком случае, я заплачу вам значительно больше, чем обещал, если мой сын забудет о своих глупостях.

— Прошло уже две недели, как Хуан находится в моей лечебнице. Если вы пожелаете его видеть, то убедитесь, что он несколько образумился. Обыкновенно, когда я к нему входил, он приветствовал меня бранью и разными дерзкими выходками; теперь он молча выслушивает мои увещания, и, я думаю, дело пойдет на лад.

— Я хочу его видеть.

— Отлично. Прошу вас следовать за мной.

Психиатрическая лечебница доктора Ригощи соединялась с его квартирой длинным белым коридором, по обоим сторонам которого были двери кладовых и комнат служителей.

Ригощи приходился родственником губернатору Монтевидео, был богат, а потому имел большую силу.

Темные дела творились в его лечебнице. К нему обращались те, кому надо было отделаться от нежелательных наследников, от врагов или жене — от мужа.

Получая за свои преступления большие суммы денег, Ригощи всякий раз, когда надо было запереть в лечебницу здорового человека, созывал консилиум из двух — трех подкупленных им врачей, и дело решалось просто. Пациент объявлялся подлежащим испытанию, его запирали, а через несколько месяцев несчастный или действительно сходил с ума, или же его переправляли куда-нибудь в казенную больницу, в Рио-де-Жанейро, Пелатос или Рио-Гранде, где он сидел до тех пор, пока о нем не забывали даже его друзья.

Леон Маньяна и Ригощи подошли к двери, стеклянный верх которой был заделан железной решеткой. Ригощи шел впереди.

С озабоченным видом доктор сунул в замок ключ. Подозвав проходившего мимо служителя, Ригощи велел ему стоять у дверей в комнату Хуана.

Эта предосторожность несколько удивила гациендера, но удивление его окончилось, когда доктор, открыв дверь, вскрикнул и закрылся рукой: ловко пущенная тарелка задела его по носу, едва не ушибла

¹ Как знать! — испанское восклицание. (Прим. автора.)

Маньяну и разлетелась множеством осколков по наводшенному паркету.

— Отцовский характер, — пробормотал, отшатнувшись гацпендер.

— Опять ты, мошенник, явился мучить меня!? — воскликнул Хуан, не видя еще отца. — Я тебе уже сказал, мошенник-врач, что буду бросать в тебя чем попало, если ты посмеешь явиться сюда!

— Всегда такая история! — прошептал, опешив, Риготци, уже забыв, что говорил Маньяне перед приходом к Хуану.

Увидев отца, Хуан было обрадовался, но, заметив, как неприветливо смотрит отец, горько вздохнул.

— Отец! — заговорил Хуан. — Неужели ты хочешь меня погубить? За что? Что я сделал худого? Возьми меня от этого мошенника, от этого пройдохи-итальянца.

— Не смей так отзываться о докторе, Хуан! — сказал Маньяна, — он и я желаем тебе добра. Я пришел последний раз попытаться уговорить тебя, и если ты не согласишься исправиться, то клянусь, ты останешься у Риготци на всю жизнь!

— За что?

— Ты знаешь, за что. Я не потерплю срама видеть своего наследника, своего единственного сына, отпрыска уважаемой фамилии, потешным слугой жалких комедиантов, за деньги мажущих себе лицо разными красками и ломающихся на потеху публике.

Маньяна и Риготци сели.

Хуан стоял у выкрашенного белой краской стола, на котором, кроме эмалированной чашки с молоком и пачки папирос, не было ничего. В окно, заделанное решеткой, открывался вид на обнесенный высокой стеной прекрасный сад, полный агав, пальм, тропических цветов.

Хуан был среднего роста, худощавый, веснушчатый юноша с красивыми темными глазами и черными вьющимися волосами. Нервная озабоченность и тревога, отражающиеся на его честном лице, несколько старили Хуана; на взгляд можно было дать ему двадцать два, двадцать три года.

Пол, обитый зеленым линолеумом, белые стены, койка с зеленым одеялом и два табурета — больше ничего не было в этой унылой комнате первого этажа;

железная решетка на окне придавала помещению вид тюрьмы.

— Ты отлично знаешь, отец, — сказал Хуан, — что кинематография уже теперь (дело происходило в 1913 году) большая отрасль промышленности. Ничего унижительного нет в работе для кино.

— Я никогда не был в кино и никогда не пойду смотреть эти разные твои картины, проповедующие разврат, легкомыслие, преступления; я не стану потакать актерам, продающим свое лицо и свои движения за жалкие гроши. Еще недоставало, чтобы лицо моего сына, Хуана Родриго Анна Себастьяна Маньяна, вызывало хохот глупой толпы, жующей апельсины в темных са-рахях!

— Да нет, — невольно рассмеялся Хуан, — ты горячишься, но ты забыл, что оператор кино только снимает действие; он не появляется на экране.

— Кто знает? — мрачно возразил Маньяна. — Человек, связавшийся с подозрительным обществом, должен быть готов ко всему. Нельзя быть вполне уверенным, что тебя не заставят разыгрывать какую-нибудь дурацкую роль, а матери твоей и мне нестерпимо было бы слышать, что лицо Хуана Маньяна прыгает на полотне какого-то балагана.

— Это та же фотография. Я с детства увлекался фотографией, и ты мне не препятствовал.

— То — другое дело.

— Ваш отец прав, — вмешался Ригоцци. — Что хорошего занять подчиненное положение и за гроши вертеть ручку аппарата, когда стоит вам пожелать, как у вас будет все!?

— Вы говорите со мной, как с больным или как со здоровым? — хмуро спросил Хуан.

— Настойчивое и низменное желание ваше выказывает, что вы одержимы манией,¹ — уклончиво ответил доктор, — но, поскольку вы рассуждаете логично, мы обращаемся именно к этой вашей способности рассуждать.

— Почему же стремление работать в такой интересной, с таким большим будущим области — мания? — возразил юноша, мельком взглянув на Доктора и обра-

¹ М а н и я — навязчивое, болезненное желание. (Прим. автора.)

шаясь к отцу. — Во-первых, кроме плохих картин, есть много хороших, а во-вторых, неимущий человек, который не может путешествовать, знакомится на экране с жизнью и природой всех стран земного шара. Я уже не говорю о научных съемках, о том, что медленный пуск ленты дает возможность изучать движения животных и полет птиц.

Кинооператор может попасть в такие интересные углы мира, куда просто путешествуя, за деньги, никогда не заедешь. Кинооператор часто рискует жизнью — и на войне, и на съемке диких зверей, и там, где ему приходится работать в самых неудобных, опасных положениях: на аэропланах, крышах поездов, среди пожара, наводнения... А вы говорите, что тут все дело в том, чтобы вертеть ручку аппарата! О! Это увлекательная работа! — вскричал Хуан. — С тех пор, как Генри Рамзай, съемщик здешней фирмы Ван-Мируэра и К^о, пообещал взять меня с собой в экспедицию на Огненную Землю, я ни о чем другом думать не хочу. Под его руководством я стал бы мастером этого дела.

— Хуан! Мое решение неизменно! — крикнул Маньяна. — Я не унижусь до спора с мальчишкой. Или ты немедленно дашь мне клятву, что отказываешься от своей затеи, или я оставляю тебя у сеньора Ригоцци до... до полного выздоровления! Выбирай!

— Пусть я лучше умру! — сказал, побледнев, Хуан.

— По всей вероятности, — заметил Ригоцци, разозленный оскорблениями Хуана, — придется еще раз созвать консилиум, так как нервозность и раздражительность вашего сына все увеличивается.

Маньяна встал.

Ригоцци подошел к двери и открыл ключом замок.

— Я ухожу, — сказал Маньяна. — Доктор сообщит мне, если ты образумишься.

* * *

Мать Хуана не любила своих детей — сына и дочь, а потому Хуан спросил только, как поживает его сестра.

— Инес здорова. Она скоро поедет в гости к тете Клементине, — сухо ответил Маньяна. — Прощай.

— Каково упрямство! — сказал доктору гациендер, когда они вышли из комнаты.

— Будьте спокойны, — ответил Ригоцци, — я имел дела с большими упрямыми и все-таки одолевал их сопротивление.

— Надеюсь, — мрачно отозвался Маньяна, а затем, дав доктору значительную сумму денег, уехал в автомобиле в свой городской дом.

У

Всадники въехали в огороженный кустарником и колючей проволокой двор.

Никто не обратил внимания на их прибытие. В степи сталкиваются самые различные люди, а костюмы путешественников были обычной для этих мест одеждой. Заведя лошадей в кораль — огороженное место для лошадей и скота — и привязав их там у желоба с водой, Ретиан принес из сарая мешок с маисом, задал лошадям корм. Затем он и Линсей вошли в главную комнату ранчо, представлявшую собой большое квадратное помещение, из которого две низкие двери вели во внутренние комнаты.

Пол был земляной, но чисто вымазан затвердевшей глиной, стены аккуратно выбелены; на них висели олеографии в рамках, изображающие семейные и охотничьи сцены.

Здесь не было крыши; это помещение, служащее кухней и столовой, окружалось квадратом жилого здания, разделенного на пять комнат.

У задней стены был сложенный из камней очаг, с протянутыми над ним проволоками для подвешивания котлов, и плитой, — для жарения.

На устилавших пол циновках стояло несколько табуретов и длинный деревянный стол.

Когда путешественники уселись за стол, к ним подошел пеон, которого они попросили дать поесть.

Кроме них тут были еще два человека: мальчик и гаучо. Они спали в углу на циновке.

Взяв две жестяные тарелки, пеон вынул длинной вилкой из котла несколько кусков баранины, облил их тыквенным соусом, наложил бобов и принес проголодавшимся путникам.

Ретиан ел задумчиво, стараясь не глядеть вокруг и

сожалея, что приехал сюда, где все напоминало ему детство, мать и отца.

Казалось, если закрыть глаза, а затем открыть их, то из двери направо выбежит маленькая Мальвина, а из дверей слева выйдет отец, сердито ворча: — Где это пропал Ретиан? Наверно, опять заночевал с гаучо около Черных Болот?

Живо припомнилось ему детство, лодка, всегда стоявшая на воде среди камыша; первая книга, пианино, которое находилось там, где он теперь сидел; вышитые индейские дорожки, устилавшие пол, и всегда озабоченная мать, страдавшая какой-то болезнью глаз, после того как ее укусила змея.

Видя задумчивость своего товарища, Линсей ел тоже молча.

Но он с трудом удерживался, чтобы не мурлыкать песенку, — такое удовольствие доставляло ему все, что он видел.

Вспомнив себя ребенком, Ретиан бессознательно остановил взгляд на том мальчике, который спал около гаучо.

Нельзя было подумать, что мальчик — сын этого па-стуха.

Его босые до колен ноги, черные от пыли, были исцарапаны в кровь. Всю одежду его составляла короткая, разорванная на плечах, когда-то белая рубашка. В спутанных темных волосах торчали обломки сухих стеблей.

Он был весь грязен и, по-видимому, бродяжил, в то время как спавший возле него гаучо был одет в обычную прочную степную одежду.

Гопкинс — тот краснолицый человек с рыжими усами, который хлопотал на дворе, — вошел в комнату.

Мельком взглянув на не известных ему путешественников, Гопкинс увидел спящего мальчика и, разозлясь, ударил его в спину носком сапога.

— Паршивец, бродяга, ты опять здесь?! — закричал он, когда еще сонный мальчик вскочил, испуганно озираясь и закрывая от удара лицо рукой. — Раз я тебя выгнал сегодня утром, то как ты смел явиться опять?

— Оставьте его, Гопкинс, — сказал, просыпаясь, пожилой гаучо; — это я его привел; хотел покормить, да сморился и уснул; и он тоже уснул.

— Пошел вон! — крикнул трактирщик, схватив оборванца за ухо и таща его к двери.

— Хозяин, не трогайте его! — хмуро крикнул Ретиан. — Я хочу с ним поговорить и дать ему поесть.

— Позвольте, — едко возразил Гопкинс: — я, сеньор незнакомец, до сих пор хозяин здесь, в этом доме. Если вы согласны заплатить убытки в случае кражи, я не протестую. Но если вы только разыгрываете добрую душу, а платить буду я, то лучше не поднимать такой разговор.

— Давно ли вы тут хозяин? — заметил обозлившийся гаучо. — Всего в марте продал вам Шульц ранчо, а он, надо сказать, был вежливей вас.

— Если бы я, работающий в этой степи, занимался только вежливостями, то мне давно пришлось бы закрыть дело и наняться гаучо, — грубо сказал Гопкинс. — Я должен был бы продать это ранчо, как поступили его первые хозяева, Дугби, форменные идиоты, потому, что из гордости не хотели открыть гостиницу, как их учили.

Видя, что Ретиан побледнел, Линсей попытался смягчить разговор, сказав:

— Но вам же лучше, что Дугби не сделали этого, так как теперь вы хозяин гостиницы.

— Ну, уходи, — сказал Гопкинс ребенку, печально направившемуся к дверям, — и сверни с той дороги, на которой сын Дугби сделался вором.

— Что? — тихо сказал Ретиан, встав.

— Наверно, он стал вором, — продолжал Гопкинс, — потому что сбежал из дома в Северные Штаты, и, как мне оттуда писал один знакомый, он видел, как мальчишку вели под конвоем в тюрьму в Нью-Йорке.

— Скажите-ка, Гопкинс, вы сами сочинили эту паскудную ложь? — спросил, выходя из-за стола, Ретиан. — Стой, мальчик, — обратился он к маленькому бродяге, — из-за тебя началась эта история, и ты должен знать, что за тебя вступился я — Ретиан Дугби, сын покойного Дугби.

— Я ничего не говорю... Мало ли что болтают, — произнес опешивший Гопкинс, — но, однако, если так, то весьма примечательна ваша любовь к бродягам...

Двумя ударами кулака по толстому, красному лицу Ретиан так оглушил трактирщика, что тот ударился затылком о стену и схватился за голову.

— Нарвались, Гопкинс? — сказал старый гаучо.

Гопкинс выхватил висевший в кобуре у пояса браунинг и наставил дуло в лицо Ретиана.

Молодой человек едва успел схватить прислоненный им к столу карабин, как на руке Гопкинса, прыгнув кошкой, повис оборванный мальчик.

Раздались три выстрела в пол, — нападение ребенка отвело дуло вниз.

Тотчас гаучо, оттолкнув мальчика, вырвал револьвер у остолбеневшего Гопкинса, а прибежавшие на выстрел гаучо встали плотной стеной между врагами.

Довольно было нескольких слов старого гаучо и Линсея, чтобы другие гаучо уяснили смысл происшествия. Некоторые из них помнили семью Дугби; один гаучо даже признал Ретиана и поздоровался с ним, но для воспоминаний было не время теперь, — предстоял вооруженный бой между Гопкинсом и Ретианом.

Сочувствие гаучо было всецело на стороне Ретиана, — не только потому, что в стычке был виноват хозяин, а еще потому, что Гопкинса никто не любил.

Гопкинс давал бедным гаучо деньги в рост за большие проценты, всегда присчитывал им лишнее за съеденное и выпитое и обходился с ними не так вежливо, как к этому привыкли степные жители испанцы.

— Как будете драться? — спросил противников гаучо Педро Монтихо, о котором шел слух, что он дрался с оружием в руках сто четырнадцать раз и только пять раз был ранен. — По закону пампасов обиженный имеет право выбрать оружие. Пусть скажут свидетели — кто был обидчик, кто обиженный?

— Гопкинс первый оскорбил Дугби, обругав его родителей, а самого его называл вором, хотя и не знал, с кем говорит, — заявил старый гаучо, который спал рядом с мальчиком.

Пеон, подававший кушанье, желая угодить хозяину, показал, что не слышал, о чем говорили, и только видел, как Ретиан ударил Гопкинса.

Линсей подробно рассказал, как Гопкинс гнал мальчика и как за мальчика вступился Ретиан.

Несколько гаучо, отойдя в сторону, начали совещаться.

Хорошо стрелявший Гопкинс, надеясь на свое искусство попадать в цель, сказал, утирая окровавленные усы, Ретиану:

— Через дыры в вашем теле будет видно отсюда до Парагвая! Вы не уйдете живым!

— Я не боюсь смерти, — ответил Ретиан, — и, если мне суждено пасть, унесу в могилу воспоминание о вашем распухшем носе.

Гаучо, посовещавшись, вернулись к столу.

— Вот что мы решили, — сказал Педро Монтихо, — так как с одной стороны были оскорбления, а с другой удар, то предлагаем вам помириться. Если же противники не желают примирения, то пусть они стреляются через пончо, грудь с грудью, в двух шагах расстояния.

Такими жестокими условиями поединка гаучо надеялись образумить противников, думая, что они откажутся идти почти на верную смерть.

— Я согласен, — быстро сказал Ретиан. — Но если Гопкинс попросит у меня прощения, признает, что сам сочинил клевету и признает, что получил по заслугам, — я охотно примирюсь с ним.

— Многого захотели! — вскричал Гопкинс. — Хотя вы и сын Дугби, но распоряжаться здесь, в моем доме, вам не придется.

Между тем мальчик, вмешательство которого спасло Ретиана, стоял рядом со своим заступником и печально смотрел на приготовления к ужасному поединку.

Что касается Линсея, то он чувствовал себя прескверно. Ему казалось, что рослый, дерзкий Гопкинс непременно убьет Ретиана; и, взволновавшись до последней степени, старик попытался уладить дело.

— Я предлагаю, — сказал он, — отложить поединок дня на два, чтобы голос рассудка помешал двойному убийству. Через два дня разгоряченные противники увидят, что печальная история эта вовсе не требует таких жестоких условий драки, какие решены здесь. Может быть, тогда состоится и примирение.

Гопкинс был трус, но под влиянием бешенства и злобы на Ретиана все еще говорил запальчиво.

— Не мешайтесь в чужое дело! — крикнул он Линсею. — Я сумею постоять за себя при любых условиях!

— Нет... — неожиданно сказал мальчик, внимательно смотря на разозленного трактирщика.

Все удивились.

— Что ты бормочешь, малыш? — спросил Педро Монтихо.

— Я говорю... я хочу сказать, — начал, сбиваясь, мальчик и прижался к Ретиану, который положил руку на его голову, — извините, но мне показалось, что хозяин храбрится. Он не выдержит!

— Ну, грязный мошенник, я поговорю с тобой после того, как отправлю к родителям этого пестрого молодца! — сказал Гопкинс.

— Слушай, мальчик, — обратился к оборвышу старый гаучо, — ступай на двор или стой молча. Тут не шутки.

Один гаучо подошел к Ретиану и указал ему отметку, сделанную ножом на полу.

После этого он показал такую же отметку Гопкинсу.

Противники стали на эти отметки, лицом друг к другу. Между ними было два шага расстояния.

Другой гаучо растянул между противниками пончо; он держал его за один верхний конец, а Педро Монтихо держал второй конец с другой стороны. Пончо повисло, как занавеска, на высоте шеи дуэлянтов.

Им было видно только лицо друг друга, а стрелять они должны были сквозь пончо, угадывая, куда попасть в тело противника. Каждый, по команде, мог стрелять, сколько хотел.

Ретиан был бледен; он хмурился, готовясь, если придется, к смерти.

Красное лицо Гопкинса стало белым от страха; торчали его растрепанные усы.

Монтихо взял револьвер, готовясь подать сигнал выстрелом вверх.

Наступила такая тишина, что было слышно, как в корале лошади пережевывают маис.

— Сеньор Линсей, — сказал Ретиан, — если меня убьют, поезжайте в ранчо «Каменный Столб». Вы скажете Вермонту, отчего я погиб, передадите ему и Арете мой привет. Скажите, что я благодарю его за гостеприимство, которое он оказал бы мне, если бы я был у него.

Сказав так, Ретиан твердо направил револьвер на середину пончо и стал ждать сигнала.

Монтихо прицелился в потолок.

— Будьте внимательны, кабаллеро! — громко сказал он, но не успел договорить, как Гопкинс, схватясь рукой

за голову, отошел от пончо и прислонился к стене. Его тошнило от страха, от внезапно налетевшего ужаса смерти.

Гаучо опустили пончо.

— Что с вами, Гопкинс? — холодно спросил Монтихо.

— Признаю... — глухо пробормотал Гопкинс, роняя револьвер, — признаю, что я виноват... Дугби заслуженно ударил меня.

В этот тяжелый и стыдный для Гопкинса момент никто из гаучо не засмеялся, не издал пренебрежительного восклицания. Сдерживая улыбку, они молча покидали помещение.

Некоторые из них, подойдя к Ретиану, крепко жали ему руку, поздравляя с благополучным окончанием дела; иные хлопали молодого человека по плечу, шепча: «Каррамба! Даже бровь ваша не дрогнула!»

— Идемте! — сказал Ретиан мальчику и Линсею.

Он уплатил перепуганному пеону за кушанье. Все трое вышли.

На дворе их окружили гаучо, предлагая, кто папиросу, кто кашассу и восторгаясь проницательностью маленького бродяги, который угадал трусость Гопкинса.

— Этого мальчика я не оставляю, — сказал Ретиан, — мы повезем его с собой и что-нибудь сделаем для него. Сколько тебе лет?

— Одиннадцать, — сказал мальчик, доверчиво улыбаясь Ретиану.

— Как же тебя зовут?

— Звезда Юга, — произнес мальчик и покраснел, но смотрел прямо.

— Как? Как? Повтори! — раздались восклицания.

— Звезда Юга, — сконфузился мальчик, — я так называл себя... Есть прозвища: Быстрая Стрела, Лев Пустыни... потом... Такие прозвища, я читал, бывают у охотников и авантюристов в пампасах.

— Так! — сказал удивленный Ретиан, — Ну, потом ты расскажешь все это подробнее. Но как же твое настоящее имя?

— Роберт Найт.

— Откуда ты, Роберт?

— Я с Фалькландских островов, из Порт-Станлея, — ответил Звезда Юга, всех удивив таким заявлением потому, что от Фалькландских островов до Рио-Гранде-

до-Суль¹ не менее двух с половиной тысяч километров по прямой линии.

На все другие вопросы Роберт не отвечал, молча взглядывая на Ретиана, как бы прося его повременить с этим.

— Ну, хорошо, — сказал Ретиан, — потом он у меня разговорится. Ты, значит, сбежал из дома, Роберт? Не сделал ты чего-нибудь худого?

— Нет... О, нет! — живо закричал Роберт. — Этого-то уж нет!

Сторговавшись с одним из гаучо, Ретиан купил у него за пять рейсов лошадь для мальчика и две овечьи шкуры, вместо седла, которого нельзя было сейчас достать. Роберт сказал, что умеет ездить верхом; действительно, когда его посадили на укрепленные ремнями вокруг спины и живота лошади овечьи шкуры, — мальчик умело подобрал поводья и отлично проехал перед ранчо, сделав круг.

Старый гаучо подарил ему пончо для защиты от ветра и дождя.

Помахав шляпами, Ретиан, Роберт и Линсей выехали со двора ранчо, сопровождаемые дружелюбными криками и напутствиями.

— Ну, нажили вы себе врага, сеньор Дугби! — крикнул вдогонку им Монтихо. — Советую быть теперь осторожным! Гопкинс начнет мстить.

— Ничего он не сможет мне сделать, — ответил Ретиан шутливо, — у меня теперь есть моя звезда — Звезда Юга.

Маленькая кавалькада проехала небольшое пространство, отделяющее ранчо от берегового кустарника, и начала готовиться к переправе вброд, который был неподалеку; проехав шагов сто по берегу реки, путники спустились к воде.

Ретиан сказал:

— Подождите меня, дорогой Линсей. Здесь очень близко находятся могилы моих стариков. Я скоро вернусь.

¹ Рио-Гранде-до-Суль, где происходит действие этих глав, — одна из самых богатых провинций Бразилии, граничащих с республикой Уругвай, (Прим. автора.)

Оставшись один, Линсей рассмотрел реку.

Она обмелела, на песчаных отмелях перелетали стайки куликов, водяных курочек; невдалеке стояли по колено в воде три фламинго, казавшиеся пунцовыми маками.

Противоположный, более высокий берег был скрыт внизу густым тростником, а сверху — ниспадающими с зеленого обрыва корнями и ветвями кустарников, усеянных розовыми, синими и желтыми цветами.

Над берегом тянулись распластанные по воде, огромные листья водорослей.

В пестром течении воды блестели круглые облака.

Вдруг острая точка, оставляя расходящийся по воде след, быстро пересекала течение с низкого берега на крутой, и там, где она скрылась в тростнике, Линсей рассмотрел выдру, тащившую серебристую рыбу.

Линсей видел больших бархатно-черных и красноватых стрекоз, несшихся одна за другой; великолепных желтых бабочек с черной каймой; огромный сук, медленно плывущий в воде; одна ветка сука торчала вверх, и ее обвивала золотистая, в рыжих пятнах змея — каскавелла. Свесив голову, змея осматривалась, — нельзя ли уползти на берег.

— Милая Южная Америка! — вздохнул старик. — Рио-Гранде-до-Суль! Рио-Негро!

И он рассмеялся от удовольствия.

В ответ его кашляющему смеху послышался звонкий смех мальчика.

— Роберт, — сказал, обернувшись, Линсей, — я совсем забыл о тебе. — Ты, кажется, еще не ел. На-ка, возьми это. Ты чему рассмеялся?

— Тому же, чему и вы.

— Хм, — смущенно пробормотал Линсей.

Он вынул из седельной сумки две бисквитные галеты, немного копченой колбасы и подал Роберту, который без ложного смущения тотчас уничтожил эту крепкую для зубов пищу без остатка и попросил воды.

— Разве ты сам не можешь напиться? Вода у твоих ног.

— Я мог бы напиться сам, — сказал Роберт, — но, если я сойду с этой бараньей шкуры, вам придется меня

подсаживать на лошадь, а я не хочу, чтобы вы беспокоились. Ведь вы высокого роста и, если въедете в воду по брюхо лошади, то зачерпнете воды, не слезая. Не сердитесь на меня?

— О, нет, милый! — сказал Линсей. — Я просто не сообразил. Ты прав.

Линсей погнал лошадь в реку и достал воды своей эмалированной кружкой. Роберт напился. Едва между ними начался разговор, как зашумели кусты, пропустив Ретиана.

— Сейчас дам поесть Роберту, — сказал Ретиан. — Теперь придется скакать галопом, чтобы приехать не слишком поздно на ночлег в ранчо Энрико Хименеса.

— Я уже ел, — сказал Роберт.

— Я дал ему поесть, — подтвердил Линсей.

Ретиан вынул из седельного кармана кусок тонкой веревки и, сойдя с лошади, устроил мальчику стремяна: привязал веревочные петли с обеих сторон овечьих шкур, служивших седлом.

— Теперь ты не свалишься, — сказал Ретиан, — а то без стремян шкуры начнут сползать на одну сторону и тогда ты намучаешься, останавливаясь, чтобы поправить их.

Ретиан вскочил в седло и направил лошадь по мелководью, наискось против течения; за ним ехали Роберт и Линсей.

Быстрое течение стало прорезаться шумными струями пены вокруг ног осторожно ступающих лошадей; белая с черной гривой и черным хвостом лошадь Звезды Юга сбивалась в сторону, но мальчик, натянув повод и работая пятками, сумел заставить ее слушаться.

Брызги летели в лицо; лошади фыркали, высоко задирая морды. Их глаза дико и напряженно блестели.

На середине течения, коснувшись стремян, вода зашумела у лошадиных шей, но, быстро переступая копытами по твердому дну, сильные животные одолели быстрину и начали выходить из воды.

Достигнув мели, всадники один за другим выехали галопом в расщелину берегового обрыва и поднялись на равнину.

Лошади, заржав, отряхнулись.

Взглянув на часы, Линсей сказал:

— Уже четыре часа. Далеко ли отсюда ранчо Хименеса?

— Около тридцати пяти километров, — ответил Реттиан, — а поэтому надо скакать не останавливаясь.

VII

Как только путешественники выехали из ранчо, Гопкинс побежал в кораль, оседлал рыжую мохнатую лошадь и отправился, не переезжая реки, вверх по течению.

Он скакал бешеным карьером, с размаху перескакивал ручьи, рытвины, шпоря коня и тщательно всматриваясь перед собой. Проскакав пять — шесть километров, Гопкинс увидел поднимающийся над береговыми кустами дым, и довольная улыбка мелькнула на его вспотевшем лице.

Когда он приблизился к дыму на расстояние ста шагов, то выстрелил из револьвера особенным образом: один раз и через минуту — два раза, один за другим. В ответ раздалось звуки губной гармоник.

Подъехав к костру, разведенному среди небольшой поляны, Гопкинс увидел двух людей, которые называли себя охотниками, а на самом деле были отъявленные бандиты, — Хозе Нарайа и Мануэль Пуртос.

Завидев Гопкинса, Нарайа и Пуртос вскочили со своих пончо, разостланных перед костром, и устались на трактирщика.

Нарайа была человек лет тридцати пяти, с желтым, худым лицом и угрюмым взглядом, одетый, как гаучо, с той разницей, что вместо рубашки носил узкую клетчатую блузу с множеством карманов и пояс из прорезиненной материи.

Пуртос был широкоплечий, массивный человек среднего роста; низкий лоб, маленькие нависшие глаза, лохматая черная борода и красные отвисшие губы как нельзя лучше выражали низкий характер этого степного мошенника. Он был одет в вышитую цветным шелком белую шелковую рубашку, кожаные штаны и высокие сапоги.

Головы бандитов были повязаны желтыми шелковыми платками.

Возле костра лежали их карабины. Над огнем в медном котелке кипел кофе.

— Каррамба, Гопкинс! Ты прискакал, как заяц, убегающий от лисицы! — воскликнул Пуртос.

— Не теряйте времени, если хотите заработать триста рейсов,¹ — сказал Гопкинс, оставаясь в седле. — По направлению к Токарембо скачут три человека: мальчик, старик и Ретиан Дугби, молодой болван, газетчик из Штатов. Как мне удалось узнать, они едут в ранчо Вермонта «Каменный Столб». Убейте Дугби раньше, чем он приедет туда.

Все поняв и не нуждаясь в дальнейших приметах предполагаемых жертв, Нарайа, быстро взглянув на Пуртоса, сказал:

— Пятьсот рейсов.

— Я не могу; вы меня знаете; я всегда...

Бандит с равнодушным видом бросился на пончо и зевнул.

— Будьте прокляты! Пятьсот рейсов ваши, а вот и задаток.

Гопкине бросил к ногам мошенников пачку ассигнаций в двести рейсов.

Схватив деньги, Нарайа в одно мгновение сунул их в карман, поднял карабин и бросился к нерасседланным лошадям, щипавшим траву. Бандиты вскочили прямо в седла и, бросив на скаку: «Ждите известий!» — погнались лошадей в воду.

Привычные лошади быстро переплыли неширокую в этом месте Рио-Негро и скрылись за кустами противоположного берега.

Злобно засмеявшись, Гопкинс крепко выругался по адресу Дугби и помчался домой.

Если бы Ретиан знал об этом злодейском замысле, то он еще более торопился бы, хотя его лошадь и лошади его спутников неслись теперь по однообразной равнине с кое-где торчащими низкорослыми кактусами довольно быстро.

Странно было смотреть со стороны на этих трех всадников, мчавшихся среди необозримого простора: на старика с белыми волосами и восторженно устремленным вперед взглядом широко раскрытых голубых глаз;

¹ Бразильская монетная единица.

на пригнувшегося в седле Ретиана, напоминающего героев Густава Эмара, и на раскрасневшегося от скачки мальчика с вздувшейся на спине рваной рубашкой.

Роберт был доволен более всех. Исполнились его заветные желания мчаться на собственной лошади, в компании отважных взрослых людей, к заветному городу Монтевидео.

Уже солнце было близко к закату, а впереди темнела далекая полоса кустов, отмечающая течение ручья, на берегу которого стояло ранчо Хименеса, — когда ветер, ровно дувший в лицо всадникам, вдруг упал; воздух еще обвевал лица при быстром движении, но ветра не стало.

Ретиан заметил это и обернулся к западу. Солнце заходило, скрываясь среди низких туч. Они напоминали огромные черные крыши, распростертые над западной частью горизонта; под ними клубились серые пары, тяготея к земле.

Ретиан остановил лошадь и знаком подозвал спутников.

— Скоро загудит памперо, — сказал он, указывая на тучи, облегающие запад и юго-запад. — Памперо — ураган с грозой невероятной силы, и нам надо скакать во весь опор, чтобы не быть застигнутыми бурей.

Солнце скрылось за тучами. Тень залила пампасы; равнина погрузилась в зловещие сумерки. Ветер коротко рванул сверху, подняв пыль. Затем он снова улегся.

Всадники прищепили лошадей, уже чувствующих грозу. Фыркая и тревожно блестя глазами, животные понеслись с отчаянной быстротой.

А на расстоянии трех километров от путешественников Пуртос, скача во весь опор, крикнул Нарайе:

— Догоним их здесь! Идет памперо, он поможет нам! Когда начнут гром, ливень и вой ветра, — ни кто не услышит выстрелов и не увидит в темноте наших действий! Гони лошадь, пока добыча не прискакала к ранчо Хименеса!

VIII

Огромный дом Леона Маньяна стоял в конце проспекта 18 Июля, главной улицы Монтевидео, в том ее дальнем от моря конце, где начинается дорога к гу-

ляню «Прадо», застроенному загородными виллами с тропическими садами.

Дом — здание в смешанном европейско-мавританском стиле — был облицован мрамором и дорогими изразцами самых ярких цветов.

Множество стеклянных и золотых шариков украшало пять балконов наружного фасада. Огромные железные ворота вели в садовую аллею, которая среди эвкалиптов и пальм подходила к внутреннему роскошному подъезду. Подъезд из мрамора и лакированного красного дерева, бронзы и зеркальных стекол был очень роскошен.

По одному из больших салонов этого богатого дома, где безвкусная южная роскошь и самодовольное чванство на каждом шагу неприятно удивляло бы чувствительный глаз европейца, нервно ходила молоденькая девушка, почти еще девочка. Она на ходу затыкала уши, не желая слушать, что говорила, с трудом поспевая за ней, донья Катарина, ее дальняя родственница, пожилая женщина, одетая в черное платье.

— Поймите же, сеньорита, — говорила дуэнья,¹ — что из вашей затеи ничего не выйдет. Ваш отец задался целью сломить упрямство дона Хуана. Ваш отец такой человек, что не остановится ни перед чем. Если узнает о том, что вы затеяли, то меня выгонят из дома, а вас ушлют в гациенду, где очень скучно жить, — подальше от Монтевидео.

Бессмысленное заточение Хуана в лечебницу доктора Ригоцци скоро стало известно среди домашних и слуг семейства Маньяна. Шофер, отвозивший Хуана, проговорился слуге, а слуга передал это донье Катарине. Хотя из страха перед Маньяной все делали вид, что ничего не знают, но мрачную историю теперь знал весь дом, а Инес только что узнала об участии брата.

Жалея девушку, очень горевавшую, что ее брат «внезапно уехал» в Рио-де-Жанейро, как ей объяснили это родители, донья Катарина только что, под большим секретом и взяв честное слово, что девушка не выдаст ее, сообщила дочери Маньяна семейную тайну.

Отец сказал Инес, что Хуан отправился с ним в фехтовальный клуб, приехав туда, Хуан, буд то бы встретил

¹ Наставница, гувернантка. (Прим. автора.)

только что приехавшего знакомого из Рио-де-Жанейро, и тот сообщил, что любимый школьный товарищ Хуана тяжело болен. В это время отходил пароход, Хуан тотчас распрощался с отцом и сел на пароход, шедший в Рио-де-Жанейро.

На самом же деле Маньяна сказал сыну, что хочет заказать его портрет художнику, но повез его в лечебницу Риготци, куда они вышли по переулку, со второго подъезда, чтобы Хуан не заподозрил предательства.

Когда дверь за ними закрылась на ключ и Хуан узнал, зачем его сюда привезли, — все было напрасно: ярость сопротивления, просьбы и угрозы; четыре дюжих надзирателя увлекли и заперли Хуана в больничную камеру.

Инес была так потрясена, что вначале не хотела верить и, только зная честность доньи Катарины, убедила, наконец, себя, что дуэнья не лжет.

От Хуана она знала, что ее брат в приятельских отношениях с одним из кинооператоров фирмы Ван-Мируэр, Генри Рамзаем, и у нее мгновенно возник план отправиться к Рамзаю, чтобы посоветоваться с ним, как освободить брата из его глупого и тяжелого положения.

По обычаю знатных испанских семейств, молоденькая девушка могла выходить из дома только в сопровождении дуэньи или родственников.

Инес стала склонять Катарину отправиться вечером как будто в гости к подруге, на деле же посетить Генри Рамзая в его ателье. Донья Катарина испугалась и попыталась было уговорить Инес отказаться от своего намерения, пугая ее гневом отца.

— Если вы мне не поможете — сказала Инес, — я вас больше знать не хочу, донья Катарина! Я тогда отправлюсь одна. Кроме того, я захвораю и буду долго хворать, а когда я умру, вы не найдете себе покоя: вас будет мучить совесть за то, что вы отказали мне в таких пустяках!

— Пустяках!? Езус, Мария! Что она говорит?! — воскликнула донья Катарина. — Сеньорита, вы жестоки ко мне — той, которая любит вас, как свое родное дитя. Инезиль, — продолжала донья Катарина, — не скандальте, не пугайте меня!

— Тогда не спорьте, а слушайте, что я говорю. Не бойтесь ничего. Мы закутаемся в мантильи, и нас никто

не узнает. О, мне худо! — вскричала Инес. — Уже заболело в груди, а ноги стали тяжелые! Ох! Ох!

Она схватилась за грудь и села в кресло, проливая горькие слезы.

— Что вы, что вы, Инезилья! — говорила перепуганная донья Катарина. — Успокойтесь; я дам вам сейчас согретого вина и облатку пирамидона, если у вас болит голова.

— Бедный Хуан! Злой отец! — восклицала девушка, топая ногой и украдкой посматривая на Катарину. — Так мучить мальчика за то, что он следует влечению своего сердца! Я догадываюсь, что произошло. Отец вечно ссорился с братом из-за желания Хуана работать для кинематографа. Страшные были ссоры! Несчастный Хуан! Он заперт среди каких-то умалишенных, которые ходят на четвереньках и кричат петухом! О, это слишком жестоко! Я спасу тебя, Хуан, если я не умру; но я уже чувствую в груди смертельную боль! И все из-за того, что одна женщина, на которую я надеялась, жен...

— Сеньорита, — сказала потерявшая от страха голову донья Катарина, — так и быть, я пойду с вами, не мучьте себя!

— Я знаю, — сказала Инес, вставая и вытирая глаза, — что вы не хотите моей смерти.

Крепко обняв старую женщину, девушка начала целовать ее в нос, брови, щеки, уши и шею.

— Довольно вам благодарить меня! — сказала растроганная донья Катарина. — Теперь подумаем, как нам лучше выполнить эту затею.

— Вот как мы сделаем, — говорила Инес, увлекая старуху на оттоманку, садясь и беря дуэнью за руку. — Я пойду к матери и скажу ей, что Сильва Рибейра по телефону просила меня приехать на домашний концерт. Вы же переговорите с Сильвой по нижнему телефону, чтобы вас не подслушали, и сообщите ей, как и что мы с вами придумали. Маме все равно, что я делаю; она согласится, а отца я предупрежу за обедом. В случае, если узнают, что мы ходили к Генри Рамзаю, вы скажете, что я бежала от вас, ничего не хотела слушать, а вы никак не могли со мной справиться. Я сама скажу тогда, что я была ужасна, непреклонна, что полчища гаучо не смогли б остановить меня!

На душе доньи Катарины было тревожно, но она невольно рассмеялась.

Не теряя времени, Инес отправилась к матери.

Долорес сидела перед большим, во всю стену, зеркалом, отражавшим ее красивую фигуру и красивое, немного располневшее лицо с черными большими глазами. Она раздраженно смотрела на роскошный ток¹ из перьев белой цапли, который модистка лучшего магазина в Монтевидео печально укладывала в картонку.

Жена Маньяна была не в духе: вчера на балу у французского консула она слышала, как восторгаются красотой жены генерала Байерос, и самолюбие Долорес было сильно задето:

— Ведь я двадцать раз говорила мадам Шартье, что ток должен быть ниже и не качаться так сильно! — сказала Долорес. — Вы принесли метелку! Да, настоящую метелку! Убирайтесь со своими дрянными изделиями и скажите мадам, что я больше не буду давать ей заказы!

Инес приоткрыла дверь.

— Мама, можно к тебе?

— Войди.

Мастерица ушла, с горечью ожидая выговора от хозяйки за то, что не смогла уговорить знатную заказчицу взять ток, который на самом деле был очень хорош.

Инес села напротив матери.

— Сильва зовет меня сегодня слушать домашний концерт, — сказала она, расправляя на груди матери золотой бант ее алого пеньюара и целуя ее. — Разрешите мне поехать.

— Разве ты забыла, Инес, что сегодня у нас званый вечер и танцы? Что с твоим лицом? Ты плакала?

— Засорила глаз. Знаешь, мама, ведь я не увлекаюсь танцами.

— Не знаю, как отец, но, если хочешь, отправляйся, только скажи донье Катарине, что вам надо вернуться не позже двенадцати, — согласилась Долорес, втайне довольная, что на вечере не будет дочери, чей возраст указывал годы молодящейся дамы.

— Я буду просить отца, — сказала Инес и, поблагодарив, вышла.

¹ Украшение, надеваемое на прическу. (Прим. автора.)

Она немедленно сообщила донье Катарине, что мать согласна. Дуэнья задумчиво пожевала губами.

Инес никак не могла вступить за брата перед отцом, — во-первых, потому, что это не принесло бы никакой пользы, а во-вторых, — Маньяна, догадавшись, что кто-то выдал девушке его поступок с сыном, начал бы мучить допросами и угрозами Катарину.

Пробило пять часов; зной спал, наступило время обеда.

К обеду был приглашен дон Базиль Гуатра-и-Вентрос, преждевременно лысый, истощенный порочной жизнью сын местного миллионера, худой, высокий человек тридцати пяти лет, с длинным, как шпага, носом и соловоевыми глазами, особенно когда он смотрел на Инес.

Вентрос мечтал жениться на Инес, чему Маньяна был рад. Мать Инес тоже стояла за этот брак, но молодой девушке Базиль Вентрос был невыразимо противен.

Стол в высокой столовой уже был накрыт драгоценной голландской скатертью, и слуги расставляли приборы, когда приехал Маньяна с Вентросом.

Узнав об этом, Инес не смогла до обеда поговорить с отцом о поездке к Сильве, тем более, что мужчины расхаживали в салоне и, дымя сигарами, рассуждали о делах.

Наконец прозвучал колокол. Обедающие заняли свои места; Вентрос сел между Долорес и ее дочерью. Управляющий домом, Катарина и двое служащих поместились на другом конце стола.

Маньяна и Вентрос, оба родом из Бразилии, любили бразильскую кухню, а потому кушанья подавались острые и жирные: жаренные креветки, запеченные в яйца; салат из молодых листьев пальмы; макуха — большая птица куриной породы; омары, настоенные в воде с уксусом; ягоды кайенского перца, маленькие птицы фазаньей породы, называемые жаку; потом — океанские рыбы: дорада, бадейя, бижупира, приправленные острыми подливками и соусами; торты из яиц и перемолотого кокосового ореха, пирожные из маниоки. Было также подано много мясных блюд, черные и белые бобы, виноград, бананы, апельсины и — редкость Уругвая — земляника, разводимая огородниками.

Заметив, что Вентрос умильно посматривает в ее сторону, Инес с самого начала обеда нахмурилась и время от времени усиленно обмахивалась веером, хотя уже не было жарко. В дверь, ведущую на балкон, открытую на только что политый водою патио, веяло прохладой. Иногда Инес терла пальцем висок.

— Что с тобой, Инес? — спросил отец, заметив ее болезненные гримасы.

— У меня страшно болит голова, и я боюсь, что вечером не смогу выйти к гостям.

— Неужели случится такое несчастье, сеньорита? — встревоженно спросил Вентрос. — В таком случае не только я, но и все кабаллеро найдут залу темной, без надежды на восход солнца!

— О, успокойтесь, сеньор Вентрос, будет достаточно света в свечах и люстрах, а солнце взойдет точно по часам, как это оно делает каждый день!

— Если только что распутившаяся магнолия лишает сад своего аромата, — все соловьи умолкают, а небо одевается тучами!

— Барометр стоит высоко, — нелюбезно отрезала Инес, которой надоели эти глупые и высокопарные комплименты. — Впрочем, если я проедуся на Прадо, а оттуда заверну к Сильве и послушаю ее концерт, голова у меня не будет болеть, и я станцую танго, хотя терпеть его не могу.

Маньяно было неприятно, что Вентрос разочаруется, не встретив Инес вечером, поэтому он сказал:

— Непременно поезжай освежиться, Инес. О каком концерте ты говоришь?

— Я разрешила ей ехать к Сильве на домашний концерт, — сказала донна Долорес, надеясь, что дочка обманет Вентроса и пробудет у подруги дольше двенадцати; это понравилось Долорес. — Как всегда, музыка устраивается у них в патио; девочка проветрится и придет домой без головной боли. Пусть едет.

— Хорошо, — согласился отец, и вопрос, таким образом, был решен.

Инес ела столь мало, что Вентрос обеспокоился и спросил, не хуже ли ей.

— Я не люблю бразильскую кухню, — заявила девушка, — она вся из огня, жира и яда!

— Диос!! Сеньорита, это самая лучшая кухня, как самая лучшая страна — Бразилия.

— Ну уж! Страна желтой лихорадки! Кайманов, красного перца! Костлявых женщин!

— Вы несправедливы, сеньорита, потому что нездоровы, но клянусь честью, — среди бразильянок вы сверкали бы, как звезда среди репейника!

Инес стало смешно; смеясь и морщась от мнимой боли, она удалилась, взяв под руку мать. Мужчины остались курить сигары и пить кофе.

Скоро Долорес ушла выбирать наряды к вечернему балу, а девушка побежала в комнату к донье Катарине, и они, накинув мантильи, позвонили шоферу, который готовил автомобиль.

Торопясь выйти, так как боялась, что мать вздумает осматривать ее платье и, пожалуй, заставит переодеться, Инес спустилась в сопровождении дуэньи к подъезду по боковой лестнице.

— Знаете ли вы, где кинофирма Ван-Мируэра? — спросила Инес шофера.

— Знаю, сеньорита. Она в самом Прадо. Я там бывал.

— Тогда везите нас туда. Вот вам двадцать рейсов, и никому не говорите, что мы поехали не прямо к Сильве Рибейра. Слышите, Гильберт?

— Я предан вам, сеньорита, — сказал Гильберт, — будьте спокойны.

Через десять минут езды по аллеям, обсаженным пальмами, бананами и магнолиями, автомобиль остановился перед технической конторой фирмы — небольшим каменным домом, ярко озаренным десятками дуговых фонарей, — неподалеку от моря.

Инес и Катарина прошли через коридор в огромный двор, тоже ярко освещенный, полный странных видений, состоящих из декораций и подмостков различной высоты. Во дворе стоял небольшой флигель.

Они спросили у первого попавшегося человека, где Генри Рамзай; этот человек провел их в одну из комнат флигеля и открыл перед ними дверь.

Они очутились в мастерской Рамзая. Здесь работало несколько человек в белых халатах.

Генри Рамзай, высокий белокурый человек двадцати пяти лет, заметив вошедших неизвестных женщин, подошел к ним и спросил, что они хотят.

— Сеньор Рамзай, — сказала Катарина, — я наставница сеньориты Инес Маньяна, вот этой самой бедовой головы, которая уговорила меня приехать к вам по важному делу, тайно от отца и матери.

Обеспокоенный Рамзай пригласил женщин следовать за ним в отдельную комнату, где никого нет.

Все трое прошли в маленькую комнату рядом и сели на плетеные стулья.

— Сеньор Рамзай, — проговорила Инес, открывая лицо, — я хлопочу о своем брате, Хуане. Я его сестра, Инес Маньяна.

— Очень рад! — вскричал Рамзай, на которого молоденькая прелестная девушка сразу же произвела должное впечатление. — От вас я теперь узнаю, скоро ли вернется Хуан. Я не видел его больше недели. А между тем он часто проводил со мною целые дни.

Разговор шел на английском языке, в котором Катарина была слаба. Дуэнья, однако, сидела с понимающим видом и кивала там, где не нужно.

— Я тороплюсь, — продолжала Инес, — потому что явилась к вам тайно от моих родителей; они не должны знать, что я была здесь. Случилось несчастье, сеньор Рамзай; Хуан здесь, в Монтевидео, но он не дома, а в лечебнице доктора Риготти; он содержится там по приказанию моего отца как душевно больной. Его выпустят лишь в том случае, если он поклянется, что оставит свою мечту сделаться кинооператором. Отец считает это унизительным для нашей семьи.

Рамзай так изумился, что сначала покраснел до корней волос, а затем гневно побледнел.

— Как!?! — взревел он. — Запереть здорового, свободного человека в дом умалишенных только за то, что ему хочется работать в кино? Я хотел бы, чтобы это была шутка, сеньорита!

— Это не шутка, — сказала девушка, вытирая слезы.

— В таком случае вы должны заявить следственным властям о преступлении!

— Увы! — сказала Инес. — За деньги нельзя сделать все хорошее, но можно сделать все злое и подлое. Мой отец очень богат, а чиновники очень жадны. Но, если бы... если бы даже возможно было преследовать моего отца, как вы думаете, — могу ли я посадить его в тюрьму? Я? Ведь я его дочь!

Затем Инес рассказала подробно, как произошло заточение Хуана, и обрисовала все обстоятельства, препятствующие освобождению юноши полицейским или судебным вмешательством.

— Черт побери! — пробормотал Рамзай, выслушав девушку до конца. — Надо что-то придумать. Надо придумать... Но что?

— Идемте, Инезилья, идемте, — говорила Катарина. — Ваша мать может позвонить к Рибейра и узнать, что нас там еще нет.

— Сейчас пойдем. Сеньор Рамзай, подумайте, нельзя ли найти способ освободить моего брата?! Я буду вам благодарна до конца своей жизни.

— Во-первых, — сказал Рамзай, пронизывая мощный пятерней свои густые рыжеватые волосы и крупно шагая из угла в угол, — я повидаяюсь с доктором Ригоцци. Я буду очень...

— Генри, — сказал, открывая дверь, помощник режиссера; — вас ищут, давайте аппарат; приехала главная исполнительница, Альфонсина Беро.

— Хорошо, иду. — Рамзай не тронулся с места. Как только помощник режиссера ушел, он продолжал: — Я буду говорить дьявольски дипломатично с проклятым доктором, я буду с ним осторожен, вежлив, и я посмотрю сначала, не разрешат ли мне повидаться с Хуаном.

— Вам могут сказать, что Хуана никогда не было в этой больнице, — заметила Инес, у которой зародилась надежда.

— Да... могут! Проклятие!! Тогда я узнаю стороной, от служителей. Я скажу вам одно, — воскликнул молодой человек, останавливаясь перед Инес: — Ваш брат будет свободен — или я более не Генри Рамзай! За эту ночь я обдумаю все. Быть может, Хуан, освободясь, убежит в Бразилию, а там уже придумаем, как поступить. Вам нравится Бразилия? Чудесная страна!

— Бразилия — великолепная страна! — согласилась Инес вполне искренне.

— Колоссальная, сказочная страна! — продолжал Рамзай. — Мы там делали съемки целых полгода и проехали по всему побережью от Тринидада до Сан-Мигуэль. О, я хотел бы всегда жить в Бразилии! А вы?

— Я — тоже, — ответила Инес. — Никакая страна мне так не нравится, как Бразилия.

— Но только лихорадочный климат...

— Не все же болеют, однако.

— Да, вы правы. И мне очень нравятся бразильские кушанья, фрукты, — решительно все.

— Нигде так вкусно не едят, как в Бразилии, — подтвердила Инес.

— Инезилья, — сказала Катарина, — нам пора, дитя мое; прощайтесь скорее и скажите этому англичанину, что вы дадите, если понадобится, сколько ему будет угодно, денег для подкупа слуг нечестивого доктора.

— Да, да! Сеньор Рамзай, вы страшно утешили меня, мне так трудно, так горько теперь, — обратилась Инес к Рамзаю, — вся моя надежда на вас! Если понадобится деньги, я их вам дам. Сохраните в тайне наше свидание и дайте мне знать о ваших действиях.

— Как же это устроить?

— Вот так. Послезавтра я буду около часа дня в магазине Фореста, что на улице 18 Июля; я и донья Катарина. Быть может, вы зайдете туда?

— Ничто меня не удержит... Я приду.

— Хорошо. Помогите нам, мне и Хуану!

— Все будет сделано, все, положитесь на слово Генри Рамзая!

Тогда Инес встала, к великому удовольствию Катарины, начавшей уже бояться, что из дома позвонят к Рибейра и обман откроется.

— Благодарю, благодарю вас! — прошептала девушка, уходя.

Рамзай проводил женщин до выхода и долго смотрел вслед, пока тоненький силуэт быстро идущей Инес не смешался с тенями и светом двора.

Инес обернулась. Рамзай уже не видел ее, а она видела, что он все еще стоит на освещенном подъезде и смотрит в ее сторону.

— Генри! — закричал, подбегая к замечтавшемуся оператору помощник режиссера. — Вы намерены приступить к работе или не намерены?

— Ах, да... — сказал очнувшийся Рамзай, — конечно, я готов.

Несмотря на то, что он снимал игру артистов, все еще не совсем опомнившись от дикого известия о Хуане

и от разговора с девушкой, которую теперь не мог бы забыть уже никогда.

Между тем Инес благополучно приехала к Сильве, слушала там музыку и, повеселев от разговора с Рамзаем, смеялась и шалила среди подруг до часу ночи. Возвратясь домой, она сразу ушла к себе спать, сославшись на то, что все еще болит голова; Вентрос так и не увидел ее на вечере.

IX

Не успели всадники проскакать двух километров, как сильный, сразу рванувший ветер поднял густую пыль, хлынул дождь и ударил гром.

Раскат грома был так силен и долговат, что путешественники почти оглохли. Лошади, привстав на дыбы, заржали и вновь помчались вперед, причем не надо было уже погонять их.

Ветер сорвал шляпы Ретиана и Линсея; он далеко угнал их, играя ими, перевортывая их в воздухе, как клочки бумаги. Начался такой ураган, во время которого даже быки иногда опрокидываются.

Гул ветра и непрерывный гром, казалось, сотрясали землю.

Огромные тучи стояли низко над головой путешественников; в внезапно наступивших сумерках пампасы вспыхивали синим светом, когда извилистая огненная сеть молнии покрывала небо.

Молнии скакали по степи везде, вдали и вблизи; видя эти мгновенно падающие струи огня, Роберт испугался и закричал:

— Мы сгорим!

За шумом урагана и ливня, сразу промочившего их насквозь, никто не услышал мальчика.

Вдруг Ретиан махнул рукой, указывая на темневшие впереди кучи. Их было пять или шесть; они напоминали низкие, развороченные стога сгнившего сена.

— Умбу! — крикнул Ретиан. — Там мы укроемся!

Эти кучи были не что иное, как особенные деревья пампасов, называемые туземцами «умбу».

Умбу растет вблизи сырых мест, достигая в вышину пяти — шести метров, а в толщину, диаметром, до трех — четырех метров. Такое несоответствие пропорций делает

ствол умбу похожим на поставленную хвостом вверх толстую редьку. Дерево обрастает очень длинными, кривыми, изогнутыми ветвями с густой, сероватой мелкой листвой, так что листва с сучьями образуют ниспадающий кругом ствола, до самой земли, плотный навес.

Но самое оригинальное в умбу — то, что дерево стоит на сплетениях выпяченных из земли корней. Эти верхние корни тянутся далеко во все стороны, то скрываясь под травой, то снова обнажаясь, и их причудливые извивы тянутся как низкие шалаши, под сводами которых обыкновенно живут стаи воронов. Своды корней, занесенных слипшейся плотной коркой пыли, представляют надежную защиту от непогоды.

К двум таким умбу прискакали всадники, укрыли лошадей под навесом листвы, привязав их, а сами заползли под ближайший к дереву свод из воздушных корней, спугнув воронов, которые, крича и негодуя, тотчас перебрались в другое помещение.

Пуртос и Нарайа видели, что сделал Ретиан с лошадьми, но не рассмотрели, куда спрятались люди.

Подскакав совсем близко, бандиты начали совещаться. Они решили сначала укрыть своих лошадей под другим умбу, а затем проползти среди корневых сводов и высмотреть свои жертвы. Никто не должен был остаться живым.

Устроив лошадей, бандиты скинули пончо и, зажав в зубах ножи, с карабинами наготове начали подползать к тому умбу, где находились наши приятели.

— Никогда в жизни я не видел такой бури! — говорил Линсей, тщетно ища в потемках, на что опереться или сесть, так как стоять было нельзя. — Не боитесь ли вы, что молния ударит в дерево?

— Конечно, есть опасность, — ответил Ретиан, — однако еще опаснее оставаться под открытым небом, потому что памперо свирепеет. Если пройдет град, который достигает здесь величины в двести граммов кусок, то нас забьет градом, а лошади взбесятся.

Сидя на корточках среди луж под ногами, путешественники прислушивались к визгу шторма в ветвях; корни дрожали над их головой, на волосы сыпался мусор.

Грохот грома не умолкал ни на секунду, так что трудно было говорить и слушать друг друга. Отыскав

сухие спички, Ретиан взял себе и дал Линсею сигару. Они с трудом закурили.

При свете спички Линсей увидел, что Роберт лежит на животе и, широко раскрыв глаза, с любопытством смотрит из-под корней на бичуемое молниями пространство.

Вдруг ползший недалеко Нарайа увидел огонь сигары Линсея.

— Вот они! — шепнул он, схватив Пуртоса за руку. — Это не глаз ягуара. Отступим и поищем место для стрельбы.

Бандиты начали ползти, пытаясь к другому своду воздушных корней умбу, которые образовали узкий навес. Здесь за высокой травой они могли стрелять, оставаясь невидимыми.

Между тем гром грохотал уже все реже и дальше. Памперо не длится долго; стихия, излив ярость, быстро успокаивается. Стало светлее, дождь утих, но ветер не унимался; с ровной страшной скоростью неся он над пампасами, производя шум, подобный гулу прибоя.

Прикрытие, найденное Нарайой, находилось шагах в пятнадцати от убежища Ретиана и его друзей.

План разбойников был таков: поднять переполох, чтобы Ретиан вышел из-под корневого свода, и немедленно застрелить его.

С остальными они надеялись справиться без особых хлопот: связать, заткнуть рты и повесить на дереве.

Когда бандиты улеглись под свое прикрытие, Нарайа высмотрел ноги трех лошадей, привязанных под листвой умбу; прицелясь, он пробил конической пулей бок лошади Линсея.

Смертельно раненное животное отчаянно заржало и, упав, оборвало повод.

— Что это? Выстрел и ржанье!!? — воскликнул Ретиан. — Что там произошло?!

Линсей схватил револьвер; давно лелеянная старым конторщиком мечта о боях в степи, наконец, исполнялась. Так же поступил Роберт: под его рубашкой на шее висел собственноручно сшитый мешочек, где хранился старый маленький револьвер системы Лефосе, пульки которого не пробивают даже дюймовую доску в десяти шагах.

Ретиан быстро выскочил из-под прикрытия, держа карабин наготове.

— Это он! — шепнул Нарайя. — Вот Дугби. Стреляй!

Два выстрела — Нарайи и Пуртоса — грянули одновременно.

В ответ им раздались игрушечный хлопок Лефоше, произведенный мальчиком, и сухой треск браунинга Линсея: они стреляли по звуку наугад.

Так как Ретиан двигался, то пуля дернула за конец его платка, обвязанного вокруг головы.

«Дело рук Гопкинса!» — успел подумать Ретиан, мгновенно падая в траву, чтобы не стать мишенью для новых пуль.

В это время напуганные суматохой и пальбой, две лошади путешественников оборвали поводя и ускакали в степь; за шумом ветра не слышно было их топота.

Третья, смертельно раненная, билась и ржала под листвою умбу.

— Не вылезайте! — крикнул Ретиан Линсею и Роберту.

— Каррамба! — пробормотал Пуртос. — Он жив!

Ретиан не знал, сколько человек напало на него, но мог догадаться, что, во всяком случае, не один. Ему пришла мысль притвориться мертвым и, когда бандиты, обманутые этим, подойдут ближе, пристрелить их в упор.

Но мошенники могли не поддаться на такую уловку, так как она была им известна, и всадить пули в него издали.

Пока что Ретиан приложился и выстрелил по направлению той кучи корней, где скрывались бандиты. Немедленно свистнули над его головой еще две пули, а потом выстрелы один за другим начали раздаваться из ружей Пуртоса и Нарайи, которые тоже пока еще не решились, как продолжать нападение.

— Не стреляй! — шепнул Линсей Роберту. — Что это у тебя? Лефоше? Не стреляй, а то наши враги подумают, что мы вооружены хлопушками.

— Дайте мне браунинг, — сказал Роберт, задыхаясь от волнения и горя жаждой подвига. — Я маленький, я проползу в траве неслышно, как индеец, а затем выскочу у них сбоку и перестреляю их всех!

— Дурачок! — шепнул Линсей. — От тебя останутся только твои вихры!

Роберт покраснел и умолк, горестно сжимая в руке свой револьверчик, где и была-то только одна пуля, которую он уже истратил.

Вдруг ветер переменился. Он утих, и памперо кончилось так же сразу, как и началось. В небе среди облаков расширился голубой просвет; солнце заходило.

Опасность положения Ретиана заключалась еще в том, что бандиты могли, скрываясь в траве, обойти его сзади. Ползти обратно под корни — в ловушку — он боялся.

Напряженно и быстро думая, как быть, он старался по звуку выстрелов угадать местонахождение бандитов. Пристально смотря перед собой, Ретиан увидел, что длинное отверстие входа под корневой навес, где залегли Нарайя и Пуртос, имеет по верхнему краю толстый и тяжелый, торчащий на весу корень. Когда-то он прогнил, сломался и теперь повис, как кривой шест.

Ретиан стрелял так хорошо, что мог попасть из карабина в орех на расстоянии пятидесяти шагов. Немедленно начал он приводить в исполнение свой замысел.

По его расчету, корень висел над шеями и головами бандитов так, что, уронив корень на них, можно было ожидать невольного движения рук, сбрасывающих помеху и тем указывающих, в какое место стрелять.

Ретиан не знал, что его план будет гораздо успешнее, чем он ожидал. Зарядив карабин патронами с разрывной пулей, он тщательно прицелился и выстрелил.

Сук, как подрезанный, повис на полоске корня, сильно ударив концом Нарайю по щеке. Бандит, испугавшись, подскочил, и Ретиан увидел его лицо.

Этого было довольно, чтобы заранее направленное дуло карабина Ретиана повернулось на смертельный удар; сраженный второй пулей прямо в лоб, бандит вскочил и тотчас, шатаясь, упал, уронив ружье.

— Нарайя! Ты убит!? — закричал Пуртос.

«Хорошо попал!» — подумал Ретиан и крикнул:

— Сколько вас осталось?

В это время Линсей выстрелил четыре раза по тому месту в траве, куда упал Нарайя. Одна его пуля царапнула кисть правой руки Пуртоса. Выругавшись, бандит уронил карабин, затем поднялся во весь рост и поднял вверх руки.

— Я сдаюсь! — сказал он. — Мой товарищ убит. Я ранен.

Ликуя, Роберт уцепился за локоть.

— Вы попали! — вскричал он. — Смотрите, вы попали в злодея! А я... я не попал!

Ретиан, не отводя дуло карабина от Пуртоса, встал и подошел к бандиту. Одновременно подошел Линсей.

— Рассказывай, — кто подослал тебя убить нас?! — потребовал Ретиан.

— Сеньор незнакомец, — ответил Пуртос, — клянусь чем хотите, произошла ошибка. Я страшно поражен, видя незнакомых людей. Один человек хотел, надо думать, зло подшутить надо мной за то, что я обыграл его в карты: сказал мне, что наши старинные враги, три гаучо, поехали в этом направлении. Должно быть, он видел вас и захотел, чтобы мы совершили преступление, убив ни в чем не повинных людей. Начался памперо, стало темно, а мы видели, как вы, скакавшие впереди, сошли с лошадей и забились под корни. Мы приняли вас за других.

— Он врет, — сказал Ретиан Линсею. — Цельтесь в него.

Линсей наставил дуло револьвера в лоб Пуртоса, а Ретиан поднял второй карабин, отобрал у Пуртоса патроны, нож и передал это все Роберту, с громадным удовольствием суетившемуся вокруг взрослых.

— Теперь, — сказал Ретиан, снова подходя к Пуртосу, — поговорим-ка еще. Сдается мне, приятель, что я видел когда-то твою рожу.

При этих словах Пуртос побледнел.

— Да, — продолжал Ретиан, — хотя ты и постарел, друг, но кажется мне, что ты есть так называемый «Лакомое Ухо». Лет одиннадцать назад я видел тебя в Баже. Правда это или нет?

Под упорным взглядом Ретиана бандит низко склонил голову.

— А ну! — вскричал молодой человек. — Покажи-ка левое ухо!

Он протянул руку и поднял нечесанные длинные волосы Пуртоса.

На месте уха был старый багровый шрам.

Метнув взгляд, полный неопишуемой злобы, Пуртос, не опуская рук, хватил зубами руку Линсея, державшую револьвер вплотную к его лицу, и так сильно,

что Линсей невольно, от боли и неожиданности, уронил браунинг.

Ретиан не успел вскинуть ружье, как бандит помчался, перепрыгивая через кусты и корни, к своим лошадям.

Прицелившись, Ретиан выстрелил, но уже было поздно; не задетый пулей, проскочившей между его рукой и грудью, Пуртос скрылся за стволом второго умбу.

Пока Линсей и Ретиан огибали дерево, Пуртос успел отцепить повод, вскочил в седло и помчался с места в карьер, так что нагнать его не было возможности, а стрелять, рискуя задеть лошадь, Ретиан, любивший лошадей, не хотел.

— Ну, счастье твое! А то не миновать бы тебе тюрьмы, — сказал Ретиан.

Он подошел к Нарайе. Труп лежал ничком, раскинув ноги. Над головой жужжали мухи.

— Этого я не знаю, — сказал Ретиан, повертывая Нарайю лицом к себе. — Судя по физиономии, достойный сподвижник Лакогого Уха. Одиннадцать лет назад я был с отцом в Баже и видел, как из одного трактира вышла толпа людей, ведя связанного человека с обрубленным ухом. Его вели в полицию. Отец заинтересовался и узнал, что это известный в городе вор Лаконое Ухо, прозванный так за то, что лошадь, которую он жестоко бил, вырвала у него зубами ушную раковину. А схватили его тогда потому, что он напоил гаучо и украл у бедняги последние его деньги.

— Что делать с трупом? — спросил Роберт, как деловой вояка.

— А! Это ты? Я и забыл о тебе, — сказал Ретиан. — Было, знаешь, горячо, я весь еще дрожу от волнения. Пуртос вернется, конечно, ночью; он подберет убитого и стащит куда-нибудь или зароет здесь. День был полон событий, — обратился он к Линсею. — Так вы теперь... не разочарованы ли Южной Америкой?

— О, нет! — ответил старик. — Переживать опасность, когда чувствуешь себя правым, — хорошо и нужно для каждого мужчины. А я прожил до седых волос, как машина.

— Как же?! — возразил Ретиан. — А то, что вы делали для других? Ведь это бóльший подвиг, чем обмениваться пулями.

Вместо ответа Линсей только хлопнул Ретиана по плечу и указал на пасущихся невдалеке лошадей. Они вернулись из степи с прекращением памперо; Ретиан подождал их особенным, отрывистым свистом, и они тотчас подбежали к нему.

Линсей сел на черного жеребца Нарайи, оказавшегося превосходным скакуном, а Роберт и Ретиан — на своих лошадей.

— Ну, таинственный незнакомец, — сказал Ретиан Роберту, которому было поручено везти карабины бандитов, — у нас с тобой будет разговор. — Ты, оказывается, имеешь револьвер?! Ты стрелял?! Ты хотел отнять браунинг у дяди Линсея?! Кто ты такой?

— У меня нет секретов, но только вы очень удивитесь, когда узнаете, зачем я попал в эти места, — важно ответил мальчик.

— Хорошо. Скачем к Хименесу — уже темнеет, — и там, после ужина, ты поведаешь нам свою историю. Здесь километра два, не больше. Итак, вперед!

Всадники помчались к ручью, а затем вдоль него — к востоку, где далеко, как малая искра, виднелся огонек окна.

Дорогой Ретиан предупредил спутников, чтобы они у Хименеса молчали о нападении, потому что там, среди ночующих людей, могут оказаться сообщники Пуртоса и Нарайи.

Теперь мы оставим пока наших любителей приключений и заглянем в ранчо «Каменный Столб».

Х

Ранчо Вермонта стояло на берегу речки, одной стороной огороженного пространства примыкая к кустарнику, растущему у самой воды.

Название «Каменный Столб» произошло потому, что в двадцати шагах от дома стояла круглая темно-серая тумба вышиной в полтора метра; толстая, неровно обтесанная, она была не что иное, как упавший в незапамятные времена аэролит.

Существовало предание, что лет сто назад здесь находился дом охотника, погибшего при нападении индейцев; они сожгли дом, убили хозяина и увезли в плен его детей.

На столбе, почти у самой земли, можно было разобрать стершиеся испанские слова, высеченные долотом или ножом:

«23 октября каждый год
Я стою с золотой головой
Ровно в 7 часов утра,
А затем голова уйдет».

К этой надписи на столбе все так привыкли, что никто не обращал на нее внимания, объясняя происхождение надписи выдумкой какого-то чудака, может быть, того же охотника, которого убили индейцы.

Вермонт был родом из Бельгии, откуда еще юношей попал со своим дядей, отставным моряком, в Южную Америку.

Живописная, дикая жизнь так захватила молодого Вермонта, что в течение многих лет слава о нем распространялась из провинции в провинцию.

Вермонт был в плену у индейцев, был охотником, гаучо, золотоискателем, сопровождал научные экспедиции по Ориноко и Амазонке; имел собственный бриг, затопленный пиратами после неудачной для бельгийца битвы в море, бежал от пиратов на их же шлюпке, долго скитался по Мексике, берясь то за одно, то за другое дело, ничем не удовлетворяясь и постоянно ссорясь с кем-нибудь, так что имел множество дуэлей и получил несколько ран; годам к пятидесяти он начал уставать от такой жизни и, женившись, поселился здесь, на берегу речки.

Надпись на столбе понравилась прихотливой душе старого авантюриста, хотя он ее не понимал, как равно не понимали ее другие.

Построив здесь ранчо, Вермонт занялся разведением быков.

В течение шести лет его дела шли хорошо, а затем начались неудачи: одно стадо частью погибло во время степного пожара, частью разбежалось. Второе стадо Вермонт продал одному торговцу, взяв векселя; торговец разорился, уехал в Северные Штаты, деньги пропали.

Когда Арете было восемь лет, мать ее умерла; заботясь о дочери, Вермонт положил все, что у него было — семь тысяч рейсов (около 5000 рублей) в банк и стал

жить очень скудно, на одни проценты. Случилось так, что произошел крах банка. Рассердившись и махнув рукой на деловую жизнь, Вермонт ни за какие дела больше не принимался. На старости лет его опять потянуло к охоте, к ночлегам у костра, скитаниям среди степей и болот.

Поместив дочь к одной дальней родственнице в городе Баже, где девочка училась в городской школе, и оставив охранять ранчо двух пеонов, Вермонт почти не сходил с седла, промышляя ягуаров, лисиц, диких нанду, диких лошадей, газелей и индеек.

Вырученных денег за продажу шкур едва хватало ему, чтобы жить, но потребности его были очень скромны, а потому Вермонт не чувствовал бедности.

Ретиан уехал в Штаты незадолго перед тем, как деньги Вермонта пропали в банке. Арете было тогда восемь лет, и он, несмотря на разницу лет, дружно играл с ней, когда приезжал к Вермонту. Это была хлопотливая, живая девочка с веселыми голубыми глазками.

Когда Арета выросла и, окончив школу, вернулась в ранчо, — характер отца резко сказался в ней: она отлично ездила верхом, хорошо бросала лассо, болос,¹ неутомимо гребла на лодке и стреляла так, что даже Вермонт уступал ей в меткости.

Она не сидела дома сложа руки, а работала очень усердно: делала из перьев нанду накидки или просто украшения для стен, постелей и отправляла их с знакомым кучером почтового дилижанса в Пелотас, Коретибу, Баже, где эти изделия покупались магазинами.

Если отец убивал ягуара или пантеру, — Арета сама выделывала шкуру до мягкости бархата золой и известью, подшивала ее индейской тканью, с краев обшивала сукном, вставляла искусственные глаза из черных круглых речных камней, блестящих при свете, и отправляла шкуру в продажу.

В полукилометре от ранчо проходила через речной брод дорога из Баже на Монтевидео.

¹ Три ремня, связанные одними концами. На свободных концах прикреплены обшитые кожей каменные шары. Болос берут за один шар и бросают, предварительно кружа его над головой. Это оружие, обвившись вокруг ног человека или животного, валит его на землю, (*Прим. автора.*)

Но заработок Ареты, даже при дешевизне местных продуктов, был все же очень незначителен, поэтому девушка устроила небольшой огород, выращивала дыни, тыквы и картофель.

21 октября, в день отъезда Ретиана со станции, Вермонт вечером говорил дочери:

— Удивляюсь, отчего нет еще до сих пор молодого Дугби. Он писал, что 21 октября приезжает в Месгатоп. Поезд туда приходит около 9 утра; значит, сегодня вечером Ретиан должен бы был уже к нам приехать. В честь его приезда я хотел открыть драгоценную бутылку антильского рома, ту самую, которая лежит у нас с тех пор, как я привез ее в эти места.

— Должно быть, он сильно постарел за десять лет, — сказала Арета, подавая старику глиняный горшочек с матэ — напитком, который Вермонт очень любил.

— Милая, Ретиану тридцать лет; почему ты его старишь? Мне скоро семьдесят, а у меня еще нет ни одного седого волоса. Я так полагаю, что он еще мальчишка, а ты совсем девчонка.

Действительно, больше сорока лет Вермонту дать было нельзя. Худощавый человек среднего роста — с приятным тихим лицом, слегка насмешливым складом рта, на углы которого опускались мягко изогнутые усы, оттеняя при улыбке белизну нетронутых возрастом зубов, — с несколько утомленным, но зорким взглядом карих глаз, Вермонт своей наружностью никак не походил на безумно отважного авантюриста пампасов. О том, сколько он пережил, говорили только морщины лба и бритого подбородка.

— Как я рада, — сказала Арета, — что Гопкинс больше не появляется!

— Этот прохвост хотел на тебе жениться! Но ты отлично справилась с ним.

Арета рассмеялась.

— Да, я сказала ему, когда он вздумал просить меня быть его женой, что он делает мне слишком большую честь, думая, что я буду высчитывать проценты с его должников.

Арета была одного роста с отцом; гибкая, легкая и здоровая девушка могла просидеть за работой сутки, а затем еще танцевать целую ночь. Ее темные волосы и голубые глаза заставляли многих молодых людей из ок-

рестных ранчо задумываться о ней, но сама она еще не сделала выбора.

Лукаво посмотрев на нее, Вермонт сказал:

— Если Ретиан не женился, а характер его, наверное, и теперь такой же честный и прямодушный, какой был, — лучшего мужа я тебе не пожелал бы, дочь моя, «скакунья-стрелок».

Арета не покраснела, как непременно сделала бы ее западноевропейская сестра, а, подняв голову, улыбнулась.

— Я помню его. Он был очень хорош ко мне, рисовал мне картинки и дарил книги, а книг у покойного Дугби было порядочно.

— Но, черт возьми! Чем же мы его будем кормить? — сказал Вермонт. — У нас нет ни маниоки, ни кукурузной муки. Одно мясо да ром. Да тыква... картофель.

— Дадим ему мясо с тыквой, тыкву с ромом, ром с мясом, — расхохоталась девушка. — Не беспокойся, Ретиан не такой, чтобы обижаться, если нет лакомой пищи.

— А, ты уже за него заступаешься!?

— Заступаюсь. Мы возьмем в долг у Хименеса муки и бобов.

— Арета, — сказал, помолчав, Вермонт, — я признаюсь тебе в одном деле, которое меня удручает и беспокоит.

— Говори! Что такое!?

— Лет двадцать назад я занял у одного гациендера пятьсот рейсов. Он был мой приятель, деньги дал без расписки, не спрашивал их, зная, что я отдам сам, когда они у меня будут. Ты знаешь, что мне не везло, а когда бывали деньги, то значительная их часть уходила на уплату более неотложных долгов. Недавно я получил от этого человека письмо, в котором он пишет, что уже четыре года как разорился, жена его и два сына умерли от желтой лихорадки, а сам он ютится в Рио-де-Жанейро, в ночлежном доме. Ни слова не пишет он о деньгах. Где взять денег, чтобы ему помочь?

Нахмурясь, крепко сжав губы, Арета глядела на стол.

— Убей сто нанду, — вдруг сказала она. — Через три месяца я добуду эти пятьсот рейсов. Я сделаю из них коврики, которые теперь охотно покупают,

— Эх, Арета, — ответил Вермонт, — надо полгода, чтобы добыть сто нанду. Нанду перешли из нашего округа дальше, к востоку и северу, а я с годами стал видеть хуже, да и утомляюсь быстрее, чем еще пять лет назад.

— В таком случае, не будем думать об этом сейчас. Я сама постараюсь придумать что-нибудь.

Старые стенные часы пробили одиннадцать. Отец с дочерью разошлись спать в свои комнаты.

Сильно загрустившая Арета скоро утомилась от мыслей и крепко уснула, а Вермонт долго сидел у окна, куря сигарету за сигаретой, и так увлекся воспоминаниями, что не заметил, как прошла ночь. Когда солнце взошло, старик увидел скачущих к ранчо трех всадников.

«Кто бы это мог быть?» — подумал Вермонт, не ожидавший, что Ретиан придет с компанией. Ему пришло в голову, что на дилижанс было произведено нападение и что едут пассажиры за помощью. Но его смутили хорошие костюмы взрослых, платки на головах и босой оборвыш на прекрасном коне, с двумя ружьями поперек седла.

Вдруг он узнал Ретиана.

— Ретиан Дугби! — закричал отец Ареты, выскакивая через окно. — Гнацинт! Флора! — звал он слуг. — Бегите, берите лошадей! Арета! Ар-е-т-а-а!!!

— Раненый Ягуар! — крикнул Ретиан, на скаку спрыгивая с лошади и продолжая бежать рядом с ней, держа ее в поводу.

— Мальчик! Дугби! Вспоминаю твоего отца! Наши беседы! Ар-е-та!!

— Здесь, здесь Арета! — крикнула, успев уже наспех одеться, молодая девушка, и Ретиан увидел разрумянившееся от сна прелестное создание, с сверкающими голубыми глазами.

— А это кто? — сказал он. — Неужели!? Была такая маленькая, а теперь...

И Ретиан обнял молодую девушку, братски расцеловав ее в обе щеки.

Тем временем Роберт и Линсей слезли с седел и подошли к Вермонту.

— Это мои друзья, с которыми я познакомился по дороге, — сказал Ретиан, представляя хозяевам ранчо своих спутников. — Во-первых, Роберт Найт, сбежавший

из Порт-Станлея, пылкая голова, бродит в пампасах с невыясненными целями. Мы хотели его хорошенько расспросить у Хименеса, но к Хименесу не заехали. Ночевали в степи. Во-вторых, сеньор Тэдвак Линсей, из Плимута, захотевший узнать нашу степную жизнь. В-третьих....

— В третьих, наш милый гость, Ретиан Дугби! — перебила Арета. — Все вы — наши гости!

Гиацинт, огромный старик восьмидесяти лет, человек колоссальной силы, отвел лошадей в кораль, расседлал их и поставил к кормушкам. Гиацинт был кроткий человек, не способный обидеть муху. Он был страшен, когда приходил в ярость, но было нужно очень много для того, чтобы привести его в исступление. К Вермонту он относился как к мальчику.

Гости и хозяева прошли в главную комнату ранчо, служившую столовой и гостиной одновременно.

Ретиану показалось, что не было десяти лет его отсутствия: те же четыре старых плетеных стула окружали стол, накрытый зеленоватой клеенкой, тот же почерневший дубовый шкаф стоял в углу, напротив пианино, верхняя доска которого была украшена синей стеклянной вазой с полевыми цветами.

С другой стороны, у стены, стояла кушетка, крытая пестрой индейской тканью; она опиралась углами своими на четыре бычачьих черепа, рога которых были окрашены зеленой краской, а на острия рогов посажены медные шарик.

Пол был застлан толстым камышовым ковром, стены чисто выбелены.

Несколько старых картин, стенные часы с гирями и миткалевые занавески на трех маленьких окнах с внутренними ставнями заканчивали эту обстановку, милее которой теперь не было для Ретиана ничего.

Когда взрослые уселись, Роберту не нашлось места, и он сел на кушетку, застенчиво щупая рукой индейскую материю.

— Рассказывай, Ретиан! — воскликнула Арета. — Почему не приехал вчера? Ты очень изменился, стал гораздо серьезнее. Кто же ты, мальчик? Где вы его нашли? Бедный, он почти раздет.

Как это всегда бывает после долгой разлуки, разговор наладился не сразу, но все-таки Ретиан объяснил

причину задержки, знакомство с Линсеем и историю мальчика. Узнав о дуэли с Гопкинсом и о битве в степи, Арета встревожилась, а Вермонт стал необычайно серьезен.

— Этот человек будет тебе мстить и дальше, — сказала она.

— Негодяй Гопкинс сватался к Арете, — объяснил Вермонт. — Слушай, Ретиан, я очень серьезно смотрю на то, что произошло вчера. Человек, убитый тобой, — некто Нарайя, приятель Лакогого Уха. Пуртос один из самых опасных мошенников. Его сотоварищи, как правильно говорит Арета, будут стараться тебе отомстить. Мы еще поговорим об этом. Как вы перенесли дорогу, сеньор Линсей? — обратился Вермонт к Линсею, употребляя по привычке, образовавшейся от жизни с испанцами, «сеньор» вместо «мистер».

Линсей рассказал о своем всегдашнем стремлении в Южную Америку, о своей жизни и сказал, что одно — делать верхом небольшие прогулки и совершенно другое — скакать десятки километров на горячей степной лошади.

— У меня ноги и спина как деревянные, — прибавил Линсей.

— Теперь скажи, Ретиан, почему ты не явился еще вчера? — осведомилась Арета.

— Трудно возиться с тремя гостями, когда дело идет к ночи, — сказал Ретиан. — Мы ночевали не у Хименеса, а под открытым небом, разложив костер. У Хименеса тотчас заметили бы, что дело неладно: лошадь Нарайи, два бандитских ружья, лишнее седло, — а там бывает всякий народ. Могли нас подстрелить. Так что, в конце концов, решили не заезжать к Хименесу.

— Благоразумно поступили, — заметил Вермонт. — Верно, голодны, как собаки?

— Как сказать... Пожалуй.

— Все сейчас будет.

— Переправлялись через разлившуюся от дождя речку, — заявил Роберт. — На мне одежда мало намочла, а от мистера Линсея шел пар, когда ехали к вам.

— Ты очень устал, Ретиан? — спросила Арета.

— Нет. Я так стремился снова побывать здесь, что, если бы было нужно, проскакал бы еще пять тысяч километров.

Он посмотрел на нее с улыбкой, Арета улыбнулась и слегка покраснела.

— Хорошая она выросла у меня, — сказал Вермонт, добродушно хлопая девушку по плечу, — сердце у нее золотое, отважна, как гаучо, и... ну, если бы не она, то ты, Ретиан, не видел бы даже и того жалкого угощения, которое нам сейчас притащит старуха Флора.

— Однако, — сказал Линсей, — я должен переодеться. Если дорогой, для своего удовольствия, я красовался в костюме степного наездника, то теперь, среди вас, это смешно.

— Оставайтесь как есть, — сказала Арета. — Все вы устали. Сначала будем пить матэ, закусим. Отец прибе-рег для вас знаменитую бутылку антильского рома. А затем вы, сеньор Линсей, можете отдохнуть. Ты, Роберт, поступаешь в мое распоряжение.

Арета повела гостей на внутренний дворик, где они умылись. Линсей заинтересовался глиняным очагом, дым которого, мешаясь с солнечными лучами, разве-вался над крышей. Пока он рассматривал грубо сло-женный очаг с висящим над ним на железном крючке медным чайником, из прохода, ведущего в кораль, поя-вилась Флора, высокая толстая женщина с широким лицом и черными глазами-щелками.

Седые волосы ее висели прядями вокруг головы, по-вязанной полоской красного сукна; одета она была в ситцевый балахон вроде длинной рубашки, подпоясан-ной синим полосатым передником.

За ней вбежал ручной нанду, жалобным криком тре-буя пищи. Флора прогнала его, как курицу. Недовольно оборачиваясь, строптиво колыхая длинной шеей, страус удалился, скрипя клювом от негодования.

Возвратясь, Линсей увидел, что стол накрыт ска-тертью поверх клеенки, а на медном подносе красуется фаянсовая бутылка с черным ярлыком, отпечатанным зо-лотыми буквами.

Несколько сохранившихся от прежнего времени сдоб-ных галет и небольшое количество мелко наколотого са-хара составляли закуску к бутылке старого рома.

Арета двигалась вокруг стола, весело расставляя стеклянные стаканчики и маленькие тарелки.

Флора принесла жестяной поднос с пятью круглыми глиняными горшочками, банку с матэ, горку пирожков

из маниоки с рублеными яйцами нанду и с луком, полную сахарницу сахарного песка и тарелку горячих мансовых лепешек.

Увидев все это, Арета всплеснула руками:

— Флора! Кого ты ограбила?

— Ах, сеньорита, никого я не ограбила, а только помнила, что сеньор Дугби должен приехать, и послала ночью своего старика в ранчо Темадо взять кое-чего в долг. Я хотела, чтобы вы ничего не знали. Вот Гиацинт привез: мешок маниоки, мешок кукурузы, два кило сахара и яиц. — Говоря так, Флора улыбалась с торжеством, очень довольная своей хитростью.

— Какая ты милая, Флора! — закричала девушка и, едва не выбив поднос из рук старухи, расцеловала ее морщинистые щеки. — Я очень боялась, — продолжала Арета, — что нам нечем будет кормить гостей. Теперь — ура! Ешьте и пейте!

— Флора! — сказал Вермонт, уже откупоривший бутылку. — Ты так тронула меня, что не уйдешь, не выпив стаканчик этого рома, которому столько же лет, сколько тебе, то есть семьдесят с лишним.

Бережно налив стаканчик темной жидкости, Вермонт подал его Флоре. Та пригубила... И все присутствующие с удивлением увидели, как выражение удовольствия на ее лице сменилось недоумением, а недоумение — глубокой печалью.

Горько вздохнув, Флора вытерла рукой рот, поставила стаканчик на стол и сказала:

— Не хочу вас обидеть, сеньор Вермонт. Нет. Очень вам благодарна. Только это не ром. Это, должно быть, лекарство или уксус, но не ром.

— Что такое?! — заревел побледневший Вермонт. — Что ты бормочешь?

Он схватил стаканчик, понюхал жидкость, немного отпил, а затем, топнув ногой, выплеснул напиток на пол.

— Надул проклятый португалец! — воскликнул Раненый Ягуар. — За пятьдесят рейсов я купил у него бутылку кофе. Каково?..

При таком заявлении поднялся безумный хохот; сам Вермонт смеялся пуще других. Что касается Роберта, то он чуть не катался по полу от восторга и под конец, когда смех начал переходить в стоны и кашель, — под-

прыгнул три раза, не зная уже, чем выразить овладевшее им веселое настроение.

— Ну, — сказал Вермонт, когда общество несколько успокоилось, — есть, на наше счастье, немного кашассы. Принеси ее, Флора.

После этого переполоха аппетит увеличился, и все, основательно поев, принялись пить матэ.

Матэ — мелко истолченные сухие листья дико растущего кустарника. По вкусу этот напиток похож на чай, только более горек. Его готовят так: каждому человеку в отдельный горшочек — б о м б и л л у — бросают горсть матэ, сахару, заливают кипятком и сосут через медную трубочку.

Южноамериканцы страшно любят матэ за его возбуждающее действие и особенный вкус. Европейцам матэ вначале не нравится, а затем они также начинают любить его, как и местные жители.

— Первый раз в жизни я пью матэ, о котором столько читал, — сказал Линсей.

— Для вас, — сказала вернувшаяся от очага Арета, — сегодня будет приготовлено кушанье пампасов — бычье мясо, зажаренное в шкуре. А к матэ вы так привыкнете, что чаю уже не захотите.

— Великолепный напиток! — ответил Линсей, которому нравилось решительно все, что он видел, пил и ел.

После еды, кашассы и матэ мужчины закурили сигары; Ретиан стал рассказывать Вермонту о своем пребывании в Северных Штатах; Линсея положили отдохнуть в патио, на подушки и мягкие циновки, где уставший старый конторщик мгновенно заснул, а Арета, выждав, когда ее отец, в свою очередь, рассказал о своей жизни и разных неприятностях, уже нам известных, обратилась к Роберту:

— Ты очень меня интересуешь, Роберт. Расскажи теперь нам о себе все, ничего не скрывая.

— Знаешь, Арета, — сообщил Ретиан, — когда мы ехали сюда, я пытался допрашивать его, но он только твердил: «Все узнаете, когда приедем, а то, если начну рассказывать теперь, то вы будете со мной спорить, а я спорить на скаку не могу!»

— Загадочная личность! — рассмеялась Арета. — «Не скажу, не могу»... Ну-ка, что у тебя там спорного?

Роберт замялся и покраснел. Застенчиво улыбаясь, он теребил свои рваные штаны и, наконец, решился, став не по-детски серьезным.

— Иди сюда! — сказала Арета, проникшаяся к маленькому бродяге горячим сочувствием.

Он подошел к девушке; Арета обняла его и прижала к себе.

— Он сам дал себе новое имя, — сказал Ретиан. — Имя это — «Звезда Юга». Скромно, не правда ли?

— Все более интересуюсь тобой, — шепнула Арета мальчику. — Что это значит: «Звезда Юга»?

— Видите ли, — заговорил Роберт, — я член тайного общества, то есть мы — я, Дик Нерви, Дуг Ламбас и Кристоф Гаррис — составили тайное общество... Но вам ведь скучно слушать!? — прервал сам себя Роберт, — а рассказывать так, как рассказывал Паркер, я не умею...

— Никогда в жизни я не слышал ничего более интересного, — важно заявил Вермонт, протягивая Роберту сигарету.

— Я тоже, — подхватила девушка.

— Благодарю вас, я не курю, — ответил Роберт, пытливо всматриваясь в лицо Вермонта, чтобы разгадать, не смеется ли тот над ним. — Тогда я продолжаю...

— А кто такой Паркер? — спросил Ретиан.

— Подождите... Паркер и капитан Баттаран всему тут причина... Ну, мы составили общество делать разные тайные дела, например: разыскивать клады или заступаться за тех, кого несправедливо обижают... Ну, мы сделали себе маски и повязки через плечо; для того, чтобы узнавать членов общества, мы сделали такие круглые значки... Вот мой значок, — показал Роберт, вынув из сумки, висевшей под его рубашкой, жестяной кружок с тремя дырочками. — Вот смотрите. Теперь каждый из нас носит особое имя: Дуг Ламбас назвался «Черная Туча», Нерви придумал себе: «Бесстрашная Стрела», Кристоф Гаррис назвался «Раскат Грома», а я... ну, вы знаете, — обратился мальчик к Ретиану, — я вам сказал... я стал «Звезда Юга».

— Говори, говори, — сказал, сочувственно кивая, Вермонт. — Сколько было денег в первом кладе, который вы откопали?

— Мы еще не копали... Мы еще не знали, есть ли клад на Фальккланде... Пока мы собирались в сарае, за

складами Бутса, около порта и... ну, обсуждали, составляли планы.

— А кто такой Бутс? — спросила Арета. — Скажи, ты любишь конфеты?

— Я очень люблю конфеты, — ответил Роберт, мучаясь тем, что над ним, может быть, шутят. — Только не задавайте сразу много вопросов, а то я собоюсь.

Арета вынула из кармана три леденца и дала мальчику.

— Отдаю тебе мои последние, — сказала девушка. — Когда кончишь рассказ, тогда съешь.

— Благодарю вас. Я съем, — покраснел Роберт, пряча леденцы в сумку. — Я, знаете, сам сшил сумку, когда сбежал.

Вы хотите знать о мистере Бутсе... Мистер Бутс наш хозяин. Мой отец у него служит. Отец мистера Бутса много лет назад начал разводить на наших островах овец. Он их кормил травой туссак, которой там, у нас, очень много. Эта трава так полезна овцам, что, говорят, нет мяса вкуснее, как у наших баранов, — на всем земном шаре; так рассказывал мне отец. Трава туссак... вы не знаете ее? Она как маленькие пальмы, такого вида; с меня ростом. У нас говорят, что, если бы такую траву разводить в Европе и Америке, все скотоводы страшно разбогатели бы. Овцы любят туссак. Ну, вот, — продолжал Роберт, считая историю Бутса оконченной,¹ — мы собрались однажды, надели маски; вдруг пришел печальный человек с бородой и увидел нас, когда мы клялись на ноже Дуга Ламбаса не выдавать никому наших дел... и подвергать предателя изгнанию из общества, а общество наше называется: «Союз Молний». Этот человек подошел к нам и сказал:

«Я член тайного общества — «Защиты капитана Баттарана».

Мы испугались.

«Покажи свой значок», — сказал я ему. Он действительно показал значок — бронзовую монету, очень старинную, с женщиной в венке, и сказал, что у всех членов общества имеется такая монета.

¹ Действительный факт. Бараны Фалькландских островов благодаря траве туссак славятся величиной и необычайно приятным вкусом своего мяса, (Прим. автора.)

«Вот знак общества — «Защиты капитана Баттарана», — сказал незнакомец, — а я агент этого общества, Джемс Паркер».

Мы стали просить его рассказать о том, кто такой Баттаран... Вот мы и узнали от Паркера, что десять лет назад недалеко от Монтевидео загорелся на море корабль. Он весь сгорел, только команда спаслась на другом судне. А Баттарана, капитана погибшего корабля, арестовали в Монтевидео и посадили в тюрьму на всю жизнь. Его обвинили, что он сжег корабль и сгорели от этого пожара какие-то важные государственные документы.

— Как выглядел Паркер? — спросил, зевая, чтобы не улыбнуться, Вермонт.

— Бедный, очень бедно одет был этот человек, и, знаете, он был даже босиком, как я. Борода у него черная.

— А нос?

— Нос красный, вы угадали... Я то же подумал, что и вы, но Паркер объяснил, что он часто плачет от горя, зная, как страдает семья несчастного капитана.

— Продолжай, — сказала Арета, тотчас тихо шепнув Ретиану: — Вот лежковерный мальчик! Какой-то пройдоха смутил его и обманул.

Роберт продолжал:

— Когда Паркер стал просить нас пожертвовать в пользу Баттарана, мы ему дали: я — пять долларов, Ламбас дал три шиллинга и перочинный нож, который можно продать за шиллинг. Если б вы видели, как Паркер плакал! Он очень жалеет капитана. Слезы текли у него, как вода из чайника; даже Эмма, сестра Ламбаса, не может наревечь столько. А она это любит; ей, например, скажи: «Пройдешься ты под ручку с пингвином?» — так она сейчас заплачет, даже не надо ее просить. У нас много пингвинов. Нерви дал Паркеру золотой карандаш. Крист Гаррис уж на что скупой, а отдал последний доллар; но Крист Гаррис маленький, ему восемь лет, так что он не мог накопить больше. Паркер страшно благодарил нас, велел нам молчать, чтобы нас не стали преследовать тайные враги Баттарана, и выдал нам расписку, которую я, как предводитель, взял себе.

— Можешь ты показать нам эту расписку? — сказала Арета разгоревшемуся от волнения освободителю капитана Баттарана.

— Я могу... — нерешительно ответил Роберт, роясь на груди в своей сумке, — хотя я обещал Паркеру... Я ее никому не показывал, но я знаю, что вы никому не выдадите меня. Вы все очень добры ко мне, а показывать ее нельзя только тому, кого опасаясь, — например незнакомым... Ну, вот смотрите. Настоящий шифр, ничего нельзя понять!

— Попробуем понять, — сказал Вермонт, надевая очки. — Давай-ка твою записку.

Ретиан с Аретой подошли к старому искателю приключений и склонились над документом, стараясь прочесть длиннейшее слитное слово, выведенное на смятом листке чернильным карандашом.

«Икарудыва... ацинмуре... — читала вслух Арета, морща брови от усилия выговорить по частям странные письмены, — ... крапитреч... ывородзеть... дубястылем...»

На девушку напал смех, а Роберт с неодобрением видел, что Ретиан тоже улыбается. Лицо Вермонта светилось загадочным выражением, немного лукавым.

— «Хопоугеб». Так, — dokonчил Вермонт. — Что же, по словам Паркера, тут написано?

— Тут написано, он сказал, — ответил мальчик, тревожно вглядываясь в лица взрослых, — что получено от Найта, Ламбаса, Гарриса и Нерви столько-то деньгами и вещами в кассу Общества «Защиты капитана Баттарана». А что? Вы не верите? Разве вы не верите?

— Тебе мы верим, что ты великодушный мальчик, но дурачок, — сказала Арета, обнимая Роберта и утирая слезы смеха, выступившие на ее ясных глазах. — Твой Паркер мошенник.

Вдруг Вермонт, который всячески вертел таинственную записку, стукнул по столу кулаком и вскричал:

— Сто тысяч каскавелл в рот этому Паркеру! Знаешь ли ты, что написал этот пройдоха?

— Что? Что? — воскликнули молодые люди.

— Слушайте. Я прочитал наоборот, с конца к началу. Выходит очень понятно: «Беги опохмелиться будьте здоровы черти Паркер умница, а вы дураки».

— Вы шутите!.. — закричал Роберт, бросаясь к Вермонту. — Покажите, не может быть!!

Он побледнел, и его глаза наполнились слезами, когда Вермонт медленно, слово за словом, прочел всю

фразу, в то время как мальчик водил пальцем по бумаге, растерянно шепча уничтожающие слова.

— Достаточно ли ясно тебе? — спросил Ретиан, которому стало жалко мальчика.

— Ах! Ах! Ах!! — вскричал Роберт, падая к ногам Ареты и охватывая руками голову. Он плакал навзрыд, — не о том, что его скопленные деньги пропиты, а о том, что нет капитана Баттарана, которого он стремился освободить от цепей и тюрьмы.

— Не плачь, Роберт! — сказала, поднимая его, Арета. — Ведь ты не сделал ничего худого. Ты хотел помочь капитану. Ты не виноват, что тебя обманули. Когда ты вырастешь, то тебе придется сталкиваться с такими случаями, — когда низкие, корыстные люди извлекают личную выгоду из чужой доверчивости, из желания других принести людям пользу, сделать что-нибудь хорошее. Перестань, а то мы подумаем, что Эмма Ламбас может наревечь меньше, чем ты.

— Это верно, — сказал Роберт, поднимаясь и утирая глаза. — Но... кто мог подумать? И вы бы поверили, — так хорошо говорил Паркер, что хоть сейчас идти за ним в бой. А мне, знаете, выпал жребий, — мы бросали жребий, кому ехать в Монтевидео. Нам Паркер дал адрес. Я пробрался в угольный ящик парохода «Уругвай», только был шторм, который не дал зайти в Монтевидео, поэтому «Уругвай» пошел на Рио-Гранде.

— Паркер вас звал в Монтевидео? — спросил Ретиан.

— О, да! «Приезжайте, когда хотите; мы, — говорит, — освободим Баттарана и разыщем клад. Десять миллионов спрятал он на горах».

— А какой адрес?

— Адрес?.. Я выучил его наизусть: Военная улица, дом Хуана Панарра. Спросить надо Артура Малинбрука, — это значит, Паркера...

— Нет Военной улицы в Монтевидео, — сказал Вермонт. — Я знаю хорошо этот город.

— Так как же ты ехал? — осведомилась Арета, утирая своим платком глаза расстроенного «освободителя».

— Очень качало, и пыльно там, трудно дышать очень, но это бы ничего, только, когда мой хлеб кончился, я захотел есть и пить. Когда «Уругвай» отвалил из Сан-Антонио, я закричал кочегару в люк, чтобы меня оттуда взяли... Попало мне. Так меня ругали! И все спраши-

вали, зачем и куда я еду... Я сказал, что жил у родных в Порт-Станлее, да захотелось в Монтевидео, к отцу...

Тут я спутался. Я не мог сразу придумать, что делает мой отец в Монтевидео. Хотя они и увидели, что я путаю, но ничего не добились. Однако кормили меня, поместили в каюту к машинисту. Капитан сказал: «В Монтевидео отведем тебя к отцу. Где он живет?» Я стал говорить, да опять сбился, — я не знал, есть ли там такая улица, какую я придумал. Было очень неприятно, когда узнали, что я сочиняю, но, понимаете, я не мог сказать правду. А они стали меня пугать, что отдадут в руки полиции. Наверно, так бы и было (хотя я им сказал выдуманное имя: я сказал, что меня зовут Генри Бельфаст), но начался шторм, ужасной силы поднялся ветер, пароход стало заливать, и «Уругвай» не рискнул идти в Монтевидео, — он отошел дальше от берега в море и пристал к Рио-Гранде.

Когда начали швартоваться, я незаметно убежал и спрыгнул в воду между баржами — я хорошо плаваю, — потом вышел на берег, ночевал на улице. В порт я идти боялся: там меня наверно искала полиция. Через горы по берегу я не знал, как идти. Вечером пошел на вокзал; один мальчик индеец мне сказал, что можно проехать в Баже, а оттуда, если упросить кондуктора дилижанса, который ходит в Монтевидео, то, может быть, меня провезут. Этот мальчик посадил меня на крышу вагона и сам тоже сел; он ехал в Месгатоп. Ему-то было хорошо, — когда нас там ссадили, ему туда и надо было, а меня побили и прогнали. Я тогда спросил, в какой стороне лежит Монтевидео, и пошел пешком. Только свою куртку и оставил на пароходе, чтобы легче было плыть; шапку у меня сбило ветром на крыше вагона, а башмаки пришлось продать в Рио-Гранде, — питаться уже было нечем.

— Роберт! Да ты герой! — сказал Ретиан. — Вот настойчивый человек! Чем же ты питался в степи?

— Гаучо подкармливали. Объясняться я все равно не мог, я не знаю испанского языка. Как увижу где дым, я туда и иду. Около их костров я спал; всего четыре дня я так ходил. Потом я пришел в ранчо. Я не мог больше идти. Один старик гаучо меня там два раза кормил. Он говорил: «Подожди здесь; должно поехать одно семейство мимо этого ранчо в Монтевидео; я попрошу, чтобы

тебя взяли; не уходи отсюда». Он плохо говорил по-английски, но я понимал и всем говорил, что в Монтевидео живет мой отец. Только повозки все не было, а тут явились вы! — воскликнул Роберт и засмеялся от радости, что испытания кончились. — Вы меня взяли, вы подарили мне лошадь!

— А ты забыл, чудачок, что спас мне жизнь? — ласково сказал Ретиан, трепля мальчика по худенькому плечу. — Ведь Гопкинс убил бы меня, если бы не ты.

Между тем пережитые испытания и волнения, вызванные открытием обмана Паркера, сильно утомили Роберта. Он был бледен и умолк, даже зевнул.

— Иди-ка ты сюда. — Арета взяла Роберта за руку и отвела на внутренний дворик, где под небольшим навесом сладко спал Линсей. — Ложись и спи.

Отчаянно зевая, Звезда Юга опустился на циновку. Когда Арета принесла ему подушку, он уже крепко спал. Девушка подняла голову мальчика и сунула под нее подушку. Роберт даже не шевельнулся.

— Старик и ребенок спят, — сказал Ретиан Арете, когда она возвратилась, — а мы что будем делать? Сядем на лодку, поедem к Камышиному острову.

— Вот что, — ответила девушка, озабоченно сдвинув брови. — Я хочу кое-что сшить для Роберта. Он почти раздет. А он стóит того, чтобы его дела хоть немного устроить. Он вырастет отважным человеком.

— Ну, а мы сыграем в шахматы, — сказал Вермонт Ретиану.

Арета ушла к себе, и скоро до слуха мужчин донесся стук швейной машины: девушка перешивала из старой черной юбки штаны и блузу мальчику. Вечером она дала ему, кроме этой одежды, свои старые, но еще крепкие башмаки; они оказались мальчику по ноге.

XI

После того как Инес и ее дуэнья ушли, Рамзай около часа был занят съемкой; затем он сел у себя в комнате и стал курить папиросу за папиросой. Надо сказать, что не только молоденькая дочь Маньяна произвела на молодого человека неизгладимое впечатление, но и само по себе положение Хуана возмущало Рамзая, как если

бы на его глазах происходило истязание невинного человека.

«Итак, — сказал себе Рамзай, помня данное Инес обещание, — прежде всего — хладнокровие, осторожность и хитрость. Я должен действовать как дипломат. Вначале я постараюсь урезонить доктора, поставлю ему на вид его незаконные действия... Нет. Я буду прежде всего требовать свидания с Хуаном, так как я его друг. А затем увидим. Завтра утром отправляюсь к доктору; до тех пор я все обдумую».

На этом месте размышлений Рамзая пришел помощник режиссера и сказал, что завтра в одиннадцать часов утра предстоит съемка в загородной местности.

«Следовательно, утром я не смогу отправиться хлопотать о Хуане, — продолжал размышлять Рамзай, смотря на часы. — Половина десятого. Мой вечер свободен. Я пойду к Ригоцци теперь же. Решено. Главное — мудрость и хладнокровие».

Не теряя времени, Рамзай оделся, вышел на улицу и сел в трамвай, который довез его к зданию, указанному девушкой.

Как только он увидел вывеску лечебницы, им овладел гнев. «Здорового человека держат взаперти только потому, что этот человек хочет работать!? Годдэм! Этому не бывать!»

«Однако не надо волноваться, — заметил сам себе Рамзай, — иначе дело кончится тем, что я изругаю Ригоцци и не принесу никакой пользы Хуану. — Надо успокоиться. Для этого прочтем соседнюю вывеску. Что там? Проклятие! Это бюро похоронных процессов. Полезно для спокойствия. Ну, тогда другую напротив: «Магазин игрушек». Вот это то, что нужно... Там паяцы, куколки, лошадки, пистолетики... Гм... пистолетики».

Рамзай решительно позвонил и осведомился у внимательно рассматривающей его горничной, можно ли видеть Ригоцци.

— Только в приемные часы, от одиннадцати до четырех, — сказала горничная. — Но если случай серьезный...

— Чрезвычайно серьезный.

— Подождите; я узнаю.

Пока женщина ходила к доктору, Рамзай повторял: «Хладнокровие, осторожность. Хладнокровие, осторож...»

Из глубины тихого дома догнесся протяжный, заунывный вопль какого-то больного, и вся кровь кинулась в голову Рамзая. «А! Изверг! — подумал он. — Это, может быть, кричит Хуан, требуя свободы! Будем терпеливы и рассудительны».

— Доктор просит вас зайти к нему, — сообщила горничная, указывая на одну из трех дверей вестибюля. — Вот сюда.

Рамзай вошел.

Ригоцци сидел и что-то писал. Должно быть, лицо молодого человека заставило доктора насторожиться, так как он подозрительно взглянул на посетителя.

Пригласив Рамзая сесть, Ригоцци откинулся к спинке кресла и начал закуривать сигару.

— Я слушаю вас, — сказал Ригоцци.

— В вашей лечебнице находится Хуан Маньяно, — заговорил, усевшись, Рамзай. — Я — его друг, Генри Рамзай, служащий в кинематографическом предприятии. Случайно узнав о постигшем моего друга несчастье, я поспешил к вам, чтобы, во-первых, узнать, насколько серьезно положение больного, а во-вторых, повидаться с ним.

Закусив губу и мрачно прищурясь, доктор всматривался в Рамзая, чтобы решить — отрицать нахождение Хуана в лечебнице или признать, что тот действительно здесь.

Пока Рамзай объяснялся, Ригоцци успел принять решение.

Ему стало ясно, что слух о сумасбродной выходке гациендера, заключившего своего сына в лечебницу, уже распространился по городу. Отрицать заточение Хуана — значило сделать этот слух еще более мрачным; могла возникнуть легенда о смерти юноши, которую доктор скрывает.

Поэтому Ригоцци сказал:

— Действительно, молодой человек, должно быть, тот самый, о котором вы говорите, находится в моем заведении. Его зовут Хуан Маньяна.

— Что же, он очень болен?

— Пока еще трудно сказать, — ответил доктор, — но несомненно, налицо имеются признаки ненормальности. Он легко возбуждается, у него странная идея: вести простую жизнь ремесленника в кино, тогда как миллионы отца избавляют сына от всяких забот.

— По-вашему, это сумасшествие?

— Мы это выясним, — сказал доктор с пренебрежительной улыбкой. — У Хуана, кроме того, есть плохая наследственность со стороны двоюродной тетки, которая на старости лет увлеклась петушиными боями, тайно посещая ради этой страсти глухие притоны.

— Могу я говорить с Хуаном?

— Теперь уже поздно, — сказал доктор, внимательно наблюдая порозовевшее от злости лицо посетителя. — Кроме того, свидания даются у нас в определенные дни: по средам и пятницам.

— Я завтра уезжаю и хотел бы повидать больного сейчас, — заявил Рамзай, начиная тяжело дышать.

— К сожалению, я не могу дать разрешения.

— А почему ты не можешь? — закричал выведенный из терпения Рамзай, вдруг забыв все свои правила осторожности. — Ты, старый душегуб, отравитель, мошенник, не потому ли не можешь ты дать свидания, что получил деньги от отца за несчастного мальчика!? Немедленно же открывай свою тюрьму, или я...

Ригоцци быстро нажал кнопку звонка и закричал, стараясь оторвать от своей шеи вцепившиеся в нее руки Рамзая, который, вскочив на стол, стучал доктора головой о стену, повторяя:

— Немедленно открывай камеру!

В это время три здоровенных служителя, прибежав на тревожный звонок Ригоцци, кинулись к Рамзаю, стащили его на пол и старались связать.

Отчаянным ударом по скуле Рамзай сбил с ног одного служителя, угостил другого стулом по голове, так что тот, оглушенный, упал, как мешок, и, волоча за собой третьего, охватившего его сзади, бросился из кабинета к выходу.

Доктор кричал:

— Свяжите его! Наденьте на него горячую рубашку и тащите в камеру под холодный душ! Это опасный помешанный!

Рамзай был уже у выходной двери, как дорогу ему загородили еще два служителя, один другого выше. Не жалея затылка, Рамзай сильным ударом головы назад разбил в лепешку нос державшему сзади человеку. Дико замычав, тот выпустил англичанина и, шатаясь, прислонился к стене.

Тогда люди, стоявшие у двери, кинулись на Рамзая. Одного из них Рамзай ударил ногой в живот. Служитель сел, качаясь от боли.

— Открывай! — крикнул Рамзай последнему врагу, приставляя револьвер к его виску.

Перепуганный сторож тотчас повиновался. Рамзай быстро выскочил на улицу, запер снаружи дверь, бросил ключ и помчался, спасаясь от гнавшихся за ним прохожих и полицейских, думавших, что это бандит или помешанный.

Длинные, быстрые ноги спасли Рамзая от неприятной истории. Обежав три угла, он увидел авто, вскочил в него и приказал шоферу мчаться к кинофабрике Ван-Мируэра.

«Теперь все пропало! — думал с отчаянием молодой человек. — Проклятый характер! Как будто я не мог поговорить с доктором по душе, толково, убедительно?!»

Он посмотрел на часы. Было половина двенадцатого.

«Неудобно теперь звонить, чтобы известить Инес обо всем, что произошло! — сокрушался Рамзай. — За ней, верно, следят. Вот черти эти испанцы! У них остались привычки от инквизиций — эта любовь к тайнам, заточениям, дуэньям, кинжалам и всему такому! Наверно, девушку держат, как в тюрьме! Ах, как неприятна мне сегодняшняя история! Не вышло бы чего-нибудь еще хуже».

Рамзай опасался не напрасно: пока он ехал, Ригонци успел позвонить Леону Маньяна и рассказать ему о происшествии с англичанином.

Было решено как можно скорее переправить Хуана в одну из больниц Рио-Гранде.

Отойдя от телефона, взбешенный гациендер поклялся завтра же разузнать, кто выдал его тайну и как она стала известной на стороне.

Пока что не желая тревожить дочь, еще не вернувшуюся от своей подруги, Маньяна занялся гостями, но беспокойство не покидало его. Маньяне нечего было

бояться со стороны властей, — он боялся вмешательства частных лиц: боялся, что эта история попадет в газеты, что это может отразиться на его семейной жизни.

Как ни хотел Вентрос жениться на Инес, но он мог, под впечатлением скандала, струсить и отказаться от мысли иметь тестем человека, которого всюду ославят; как средневекового барона, не знающего предела своему иступленному деспотизму.

Раздумывая над тем, кто мог сообщить Рамзаю о Хуане, Маньяна усердно пил вино и играл в карты с местными миллионерами. Очень подозрительным казалось ему, что Рамзай побил доктора вскоре после отъезда Инес.

— Никогда у девчонки не болела голова перед танцами, — пробормотал гацциендер. — Надо допросить шофера и Катарину.

Он ушел к себе в кабинет и сказал своему доверенному слуге — кривому Педро:

— Когда сеньорита приедет, доложите мне, а шофер пусть явится сюда.

Не прошло и получаса, как в карточную комнату явился Педро и, наклонясь к уху хозяина, шепнул: «Сеньорита приехала, она больна и легла спать. Шофер пришел».

Извинившись перед гостями, Маньяна прошел сквозь большой зал, где под звуки лучшего в городе оркестра кружилась нарядная толпа гостей, и, закрыв дверь кабинета, обратился к неподвижно ожидавшему шоферу:

— Куда ты ездил?

— К дону Рибейра, сеньор, — почтительно ответил шофер, ненавидевший Маньяну за его грубость и боготворивший Инес за ее приветливость и простоту.

— Куда вы заезжали перед тем, как приехать к Рибейра?

— Совершенно никуда, сеньор. Мы проехали Прадо несколько раз из конца в конец и явились к дому дона Рибейра.

— Ты врешь?!

— Сеньор, я не могу никому позволить так говорить со мной. Выдайте мне расчет.

«Вот дьявол! — подумал Маньяна. — Уйдя от меня, он разгласит, что возил Хуана в лечебницу».

— Слушай, Себастьян, — продолжал гациендер вслух, — я дам тебе двойное жалованье, если признаешься, куда заезжал с сеньоритой и доньей Катариной.

Шофер молчал.

— Ну? — крикнул помещик.

— Мы никуда не заезжали, сеньор. Это правда.

— Уходи! — приказал взбешенный Маньяна. — Разыщи Педро и скажи, чтобы он велел донье Катарине немедленно явиться сюда.

Ожидая прихода старухи, Маньяна от злобы раздавил пальцами сигару и швырнул ее на пол.

Раздался тихий стук, и вошла дуэнья, немного бледная, так как Себастьян уже сказал ей, что ее ждет доклад.

— Донья Катарина, — начал Маньяна укоризненным тоном, — хорошо ли это с вашей стороны? Вместо того, чтобы быть разумной наставницей для взбалмошной девочки, вы ради ее пустого любопытства везете Инес на кинофабрику, в притон развратников и театральных пройдох. Вы живете у меня двадцать лет, я вам всегда доверял, а вы обманули мое доверие. Шофер во всем признался. Он сказал, что вы и Инес говорили с каким-то Рамзаем. Говорите все, или я попрошу вас оставить мой дом!

— Если Себастьян сказал вам так, — ответила струсившая, но решившая не уступать Катарина, — значит, он сошел с ума и его надо немедленно отправить в лечебницу. Мы проехали несколько раз по Прадо, а затем явились к Рибейра. Вот и все. Стыдно вам, дон Маньяна, так оскорблять преданную старую женщину.

Упомянув о лечебнице, Катарина, сама того не подозревая, заронила в сердце Маньяна опасение, что действительно история с Хуаном распространилась и в доме, и в городе.

Желая окончательно испытать женщину, Маньяна, пристально смотря на нее, сказал:

— Через два дня вернется Хуан. Каково будет ему узнать, что женщина, которой поручено руководить его единственной сестрой, оказалась лгуньей!

— Я очень буду рада, если Хуан вернется, — сказала, заливаясь слезами, Катарина и ничуть не веря

Маньяне, — но только он заступится за меня! Так меня оскорблять... так...

Видя, что притворяется она или нет, но толку от нее не добьешься, Маньяна, весь красный от злости, начал кричать:

— Убирайтесь, старая ведьма, и не ревите так гнусно! Я не оскорбляю вас, но, как отец, желаю знать правду о жизни моей семьи! Ступайте прочь! Помалкивайте о том, что я говорил вам!

Рыдая, Катарина вышла и пробралась к своей комнате. Рядом с ее дверью была дверь спальни Инес. Дуэнья тихо вошла к девушке, разбудила ее и рассказала о допросе, устроенном Маньяна, предупредив, что завтра, наверное, отец будет допрашивать дочь.

— Не бойся, дорогая, — сказала Инес, — теперь я буду отрицать, если понадобится, даже что дышу воздухом, что у меня две ноги!

Поверив в ее стойкость, Катарина отправилась спать. Инес тоже уснула, а утром следующего дня ее позвали к матери.

Долорес и Маньяна сидели со строгими лицами, — в гостиной Долорес.

— Сядь, Инес, — сказала мать. — Мы должны с тобой поговорить.

— Ах, как торжественно! — воскликнула Инес, чувствуя, однако, беспокойство. — Не объявят ли мне о предложении руки и сердца со стороны вашего лысого Вентроса?

— А хотя бы и так? — сказал Маньяна. — Его намерения ясны, он богат и любит тебя.

— Никогда этому не бывать!

— Посмотрим. Скажи, где ты была вчера, перед тем как попасть к Сильве?

— На Прадо, папа, — ответила, невольно покраснев, девушка. — У меня сильно болела голова. Я каталась.

— Отчего ты покраснела, моя милая? — ядовито спросила Долорес.

— Оттого, что вы меня допрашиваете. Но я не понимаю — зачем. Не понимаю причины.

— Себастьян сознался, что он возил тебя к Ван-Меруэру! — грозно крикнул Маньяна. — Что это значит? Ты была там? Ради чего? Говори правду, не лги!

— Я не лгу...

— Ты лжешь, Инес, — сказала мать. — Не совестно ли тебе, Инес Маньяна, лгать так нагло и бесстыдно?

Упрек возымел действие. Горячая кровь отца закипела в девушке. Слезы брызнули из ее глаз; она покраснела еще сильнее, а затем, страшно побледнев, сказала:

— Да, я солгала. Я не солгала бы, если бы могла иначе помочь Хуану. Я всё знаю: ты, папа, мучаешь его в подозрительной лечебнице, как больного, за то, что он хочет стать кинооператором. Я рассказала одному человеку, другу Хуана, о несчастье с моим братом и просила помочь. Вот и всё. Да, еще: голова у меня не бодела. Я это выдумала. А у Сильвы я была.

— О! — простонала Долорес. — Мои дети — мое проклятье! Инес, Инес! Что из тебя будет?! Так Катарина была с тобой в заговоре?!

Инес молчала.

— Кто этот человек, с которым ты говорила!? — орал Маньяна.

— Порядочный человек.

— Его имя!! Имя его!!?

— Ничего не скажу больше.

Наступило продолжительное молчание.

— Вот что, — заявил Маньяна после краткого размышления, — сегодня Вентрос приедет просить твоей руки. Я прошу тебя, если ты немедленно согласишься быть его женой и уедешь с ним через три дня после свадьбы в Рио-де-Жанейро. В противном случае я отправлю тебя завтра в самое заброшенное ранчо, под надзор преданных мне людей, и ты будешь там размышлять о своих поступках!

— Пусть Вентрос забудет обо мне! — заявила Инес. — Лучше я умру, чем соглашусь быть его женой.

— Ты слышишь? — холодно спросила Долорес. — Она помешалась.

— Выздоровеет, — сказал Маньяна. — Иди-ка сюда, милая дочка.

Он схватил ее за руку.

— Что ты хочешь делать со мной?

— Я пока запрю тебя в твою комнату, где ты еще раз подумаешь: быть ли тебе женой Вентроса, или зевать от тоски в диком ранчо!

Девушка была так испугана, что почти потеряла всякое соображение. Страх овладел ею при мысли, что ее ожидает участь Хуана.

Вырвавшись из рук отца, Инес стремглав кинулась бежать в залу, окна которой частью выходили на патио. Не слушая, что кричит погнавшийся за нею отец, Инес выскочила из окна в патио, пробежала через узкий проход на двор и выбежала за ворота.

В шумном уличном движении она тотчас затерялась. Инес поспешно шла, задыхаясь от усталости. В переулке ее окликнул женский голос:

— Инезилья!

Девушка обернулась.

Это была донья Катарина, преданно подслушивавшая у дверей гостиной Долорес разговор родителей с дочерью. Понимая, что ее все равно теперь выгонят, Катарина выбежала из дома, и ей удалось догнать Инес.

— Что же теперь делать?! — вскричала девушка, обнимая старуху. — Я уже не могу вернуться! Я боюсь!

— Мне тоже незачем возвращаться, — сказала Катарина. — Идем, дитя, ко мне; я не покину тебя.

Они отдаленными переулками спустились к гавани. Дорогой Катарина рассказала Инес, что она подслушала ее разговор с отцом и с матерью.

— Неподалеку живет моя двоюродная сестра Белла, — сообщила Катарина. — Я приведу тебя к ней, а там мы посмотрим, что делать.

Между тем Рамзай провел очень тревожную ночь.

Его помещение, состоявшее из двух комнат, находилось во дворе студии.

Расстроенное лицо Инес, воспоминание о серьезном и умном Хуане, запертом среди дикой обстановки психиатрической лечебницы, не давали покоя Рамзаю, и он строил планы один другого отважнее, грандиознее, чтобы освободить молодого испанца, хотя и сознавал, что не с его вспыльчивым характером вести какие бы ни было секретные дела, требующие терпения и осторожности.

Сегодняшняя история с доктором была явным тому доказательством.

Под утро молодой человек задремал, проклиная наступающий день, так как надо было ехать за город — производить съемку в горах.

Не было еще семи часов утра, как к нему постучал курьер фирмы и передал туго свернутую записку, перевязанную ниткой.

— Это от кого? — удивился Рамзай.

— Не знаю, — был ответ. — Только что пришел неизвестный человек в большой шляпе, с хорошо укрытым шарфом лицом, спросил, здесь ли вы живете, и оставил вам эту записку.

Курьер ушел, а взволнованный Рамзай развернул послание.

Оно было от Хуана. Узник излагал карандашом, видимо торопясь, на оберточной бумаге свою историю и заканчивал письмо призывом о помощи.

«Мне сообщили, — читал Рамзай, — что меня послезавтра утром увезут из Монтевидео в лечебницу, находящуюся в Рио-Гранде. Там я погибну. Помогите, если можете. Мне не к кому больше обратиться. Служитель доктора, тот самый, который согласился за деньги передать мое письмо, рассказал мне о вашем нападении на проклятого итальянца. Как вы узнали о том, что произошло со мной, я не знаю. Да будут трижды благословенны и вы, и то лицо, которое дало вам знать о моем положении! Я должен бежать. Доставьте мне револьвер. Я... стук, шаги, идет доктор. Хуан Маньяна».

«По-видимому, — размышлял Рамзай, — письмо написано вчера вечером. Значит, времени осталось одни сутки. О, что делать? Что делать? А я только завтра увижу Инес. Но что может сделать она? Я должен сам помочь ей и ее брату».

Одевшись, Рамзай решил, что на всякий случай он должен быть сегодня свободен, а потому в одиннадцать часов отправился к старшему режиссеру и наотрез отказался делать съемку за городом, ссылаясь на нездоровье.

— Боюсь, что ваше недомогание приходило к вам вчера закутанное в мантилью, — сказал мистер Хикс, режиссер фирмы. — Об этом у нас уже говорят. Труппа в сборе, я тоже почти собрался. Едьте, Генри! Берите камеру! Или мне придется взять этого медлительного Секстона.

— Берите Секстона. Меня тошнит, температура почти сорок, — сказал Рамзай. — Боюсь, что у меня желтая лихорадка.

Хикс только развел руками. Рамзай был отпущен.

Возвращаясь к себе, он увидел вошедших в коридор двух женщин — молодую и старую. Они нерешительно оглядывались. Инес была в лиловом шелковом шарфе, купленном на улице, в первой попавшейся лавке, а Катарина надела панаму Беллы; обе бежали простоволосые.

— Мистер Рамзай, — обратилась Инес к вздрогнувшему от радости кинооператору, — я пришла умолять вас начать действовать!

Как только Рамзай ввел невольных гостей к себе, Инес рассказала утреннюю историю, а Рамзай со своей стороны — о своем визите к Риготци и письме Хуана.

Девушка, прочтя письмо, не выдержала и заплакала.

Вдруг ее отчаяние перешло предел, за которым человек уже плохо сознает, что делает.

— О, злодеи! — закричала Инес, вскочив и топнув ногой. — Нельзя медлить! Идемте, сеньор Рамзай! Катарина, идем! Мы потребуем, чтобы нас впустили к Хуану! Мы будем кричать, соберем толпу, мы силой освободим моего брата!

Не слушая Катарину, пытавшуюся ее удержать, и донельзя расстроенного Рамзая, который просил посидеть и подумать, Инес выбежала из комнаты, спеша на улицу. Она была готова обратиться к первому встречному. На ее счастье, никто не попался ей на том участке двора фирмы, где лежал путь к воротам. Рамзай уговаривал девушку, но не смог ее удержать и остался в комнате, а Катарина, плача и причитая, догоняла Инес.

Выбежав за ворота, Инес остановилась, оглядываясь. Она беспомощно сжимала кулаки...

Навстречу ей шел высокий, белоснежно-седой старик с красивым, ясным лицом. Рядом с ним шел черноволосый мальчик лет одиннадцати, с смышленной, энергичной мордашкой.

Наружность старика поразила Инес, так он был похож на настоящего, доброго отца, полного защиты и правды, что расстроенные нервы молодой девушки не выдержали. Она бросилась к старику, воскликнув:

— Кто бы вы ни были, добрый человек, помогите! Мой брат в тюрьме, в сумасшедшем доме! Я умру, если он не будет свободен! Остались только одни сутки! Потом его увезут!

Старик с недоумением взял протянутую руку юной испанки. Брови его тревожно сдвинулись.

Мальчик же, наоборот, весь загорелся и просиял, как боевой конь при звуке трубы. Он весь превратился в слух и внимание.

Теперь мы должны отступить, чтобы рассказать, почему Линсей с Робертом очутились вблизи кинофабрики; о том, что еще произошло в ранчо Вермонта и как старик привез Роберта в Монтевидео.

XII

Пока Арета шила для мальчика, Ретиан и Вермонт подробно поговорили о своих планах и желаниях.

Вермонт желал одного: жить спокойно, хотя бы и в нищете, но чтобы не надо было Арете портить глаза над работой по ночам, а главное — ему хотелось уплатить тот долг, пятьсот рейсов, о котором мы упоминали, и уплатить хотя бы половину жалованья за год Гиацинту и Флоре, которым скоро станет уже нечего носить.

Ретиан, со своей стороны, сообщил, что у него имеется письменное приглашение работать в монтевидеоской газете «Вестник жизни Юга» и что он, пожалуй, примет это предложение после того, как отгостит в ранчо «Каменный Столб».

Еще Ретиан очень подробно рассказал снова историю дуэли и нападения бандитов.

Вермонт утверждал, что это дело рук Гопкинса.

— Теперь, — сказал он, — тебе нельзя ехать верхом, да еще одному, ни в Монтевидео, ни в Пелотас, ни в Баже. Тебя будут подстергать. Равно и спутников твоих надо предупредить, чтобы они воспользовались дилижансом. Как раз завтра к вечеру должен быть дилижанс из Баже. Если Линсей с Робертом захотят ехать, то стоит пройти здесь недалеко к броду через речку и там ждать. Вопрос только в том, найдутся ли два места.

Вермонт принес шахматы, сел играть с Ретианом на ветерке, в тени крыши дома. Сделав Ретиану мат, Вермонт поднял голову, увидел Роберта, который уже проснулся. Мальчик созерцал каменный столб и рассматривал надпись, но прочесть ее не мог, хотя ему страшно хотелось узнать, какой это памятник.

Перенесенное нервное состояние не дало также спать долго и Линсею. В настоящий момент он сидел возле швейной машины Ареты и изливал девушке свою радость — быть в Южной Америке.

Девушке, рожденной среди пампасов, привыкшей к своей стране до скуки, был непонятен восторг старика.

— Как вам хотелось попасть сюда, так мне хочется побывать в Европе, — говорила Арета, оканчивая вшивать карманы.

— Что, Звезда?! Встал?! — крикнул Вермонт мальчику. — Ну-ка, разгадай ту загадку, которая у тебя перед носом.

— Здесь написано на языке, которого я не знаю. Что это за столб? — спросил мальчик.

— Никто не знает. Надпись испанская. В свое время я немало помучился над этой надписью, — сказал Вермонт Ретиану, вставая и подходя вместе с ним к Роберту. — Здесь сказано, что у этого столба каждый год 23 октября в семь часов утра бывает голова из золота. Потом она исчезает.

— Вы шутите! — вскричал мальчик.

— Что ты, милый; я не считаю тебя дураком, как считал красноносый приятель капитана Баттарана.

— Да, такая надпись, — подтвердил Ретиан.

— Кто же поставил столб?

— Неизвестно. Может быть, прежний владелец ранчо, лет сто назад убитый индейцами.

— Хм! Хм! — восклицал Роберт, развеселясь и бегая вокруг столба. — А вы вставали утром посмотреть?

— Неужели я кажусь тебе дураком?

— Совсем нет! Но я смотрел бы! Когда двадцать третье?

— Завтра, — сказал Ретиан.

— Верно, завтра, — удивился Вермонт. Помолчав, он прибавил: — Глупость!

— Ах, это очень интересно! Давайте подумаем, — сказал Роберт, тщательно осматривая столб.

— По-моему, — заявил Ретиан, — тот, кто поставил столб, раз в год чувствовал себя умницей в семь часов утра на одну минуту. Потом он снова глупел.

— О, вы смеетесь! — воскликнул Роберт. — Но мне запала в голову эта штука! А что, если под столбом зарыт клад? А надпись написали... так, между прочим?!

— Роберт! — крикнула мальчику, выходя из дома, Арета. — Иди-ка сюда примерять штаны и курточку.

Мальчик взглянул на девушку с признательностью и смущением, но не тронулся. Он стоял опустив голову. Арета подошла к нему и взяла его за руку.

Вермонт подошел к Ретиану, спокойно вынул у него изо рта горящую сигарету, прикурил и вернул сигарету на место, — вставил в рот Дугби.

Все рассмеялись.

Роберт, не упираясь больше, пошел за девушкой. Они прошли через жилое помещение и очутились на внутреннем дворе.

Роберт увидел глиняную корчагу, полную горячей воды. Рядом на скамейке лежали кусок мыла, полотенце и ножницы.

Перед скамейкой находился кожаный складной табурет, а на стене висела сшитая Аретой одежда.

— Звезда обросла волосами, нечесаными, невымытыми, — говорила Арета, усаживая мальчика на табурет. — Ноги у Звезды мерзкие, как копыта. Наклони голову.

Роберт, присмирив, послушно повиновался своему парикмахеру.

Запустив гребенку в густые волосы мальчика, девушка пощелкала ножницами и начала отсека́ть спутанную волосяную шапку, клочья которой стыдливо падали к ее ногам.

Вскоре круглая, как шар, голова освободителя Баттарана была коротко острижена, — не так ровно, как сделал бы это подлинный парикмахер, но достаточно для того, чтобы теперь ее хорошо промыть.

— Вы знаете, — сказал Роберт, ежась от прикосновения ножниц к шее, — я все думаю, как добыть золотую голову. Тогда дела ваши могут поправиться.

— Что ты знаешь о наших делах?

— Я слышал; я ходил у столба и слышал, что говорил мистер Вермонт мистеру Дугби. Я не подслуши-

вал, — просто слышал; и, знаете, если я отыщу голову, то отдам ее вам.

— Благодарю тебя, — ответила Арета, не зная, сердиться или смеяться на бесцеремонное великодушие мальчика. — Это все пустяки, мой милый. Перестань чистить нос ногтем. Ты совсем одичал, бродяжничая по пампасам.

— Да, было много приключений, — важно ответил Роберт. — Надо сказать правду: пережито было порядочно.

— Для твоего возраста ты действительно испытал много, — согласилась девушка, подрезая волосы за ухом мальчика и отступая, чтобы полюбоваться своей работой. — Когда приедешь в Монтевидео, сразу же напиши своим родным, что ты жив и здоров, и признайся, почему убежал. Разве ты не думаешь, что твои мать и отец сходят с ума от беспокойства о тебе?

Роберт нахмурился, вытирая слезы, проступившие при мысли о доме.

— Я напишу, — уныло пробормотал он. — Я уже писал домой из Рио-Гранде, зашел на почту и написал. Я еще напишу.

— Мистер Линсей сказал мне, что возьмет тебя с собой, ты будешь жить с ним, пока за тобой не приедут или не пришлют тебе денег на проезд.

— А все-таки, — вскричал Роберт, вдруг развеселясь, — Нерви и Дуг Ламбас лопнут от зависти!

— Безусловно. Теперь ставь ноги в этот таз с горячей водой.

Подставив Роберту таз, девушка тщательно вымыла его исцарапанные, покрытые синяками ноги и смазала кровоточащие места йодом.

Той же операции подверглись кисти рук маленького авантюриста, после чего, вручив ему мыло и ножницы, Арета ушла к Ретиану, продолжавшему шахматную игру с Вермонтом, и позвала их обедать.

На обед не было ничего, кроме майсовых лепешек, поджаренных в сале, и огромного количества мяса, приготовленного способом гаучо, — два вырезанных вместе с кожей полушария задней части быка. Эти куски мяса, завернутые краями кожи, пекутся под горячими углями, жарятся и варятся в собственном соку.

Когда явился совершенно преображенный Роберт, одетый и умытый, все встали хором поздравить его с возвращением к цивилизованной жизни. Мальчик сконфузился, но это не помешало ему съесть мяса так много, что он побледнел.

За обедом было решено, что Линсей с Робертом воспользуются завтрашним дилижансом. Для этого надо было собраться часам к одиннадцати и идти на речную переправу, находившуюся неподалеку от ранчо Вермонта.

Этот разговор начал сам Линсей, не хотевший обременять Арету лишними хлопотами, тем более, что он видел, как взгляды Ретиана и Ареты, встречаясь иногда, говорили им о зародившейся взаимной симпатии.

Уже стемнело, а потому Арета зажгла две свечи, сделанные домашним способом из бычьего жира. Затем она принесла маленькую гитару. Ретиан стал играть на ней местный мотив бесконечной песни, называющейся «Видалита». Арета аккомпанировала на пианино. Вермонт и Ретиан пели. Затем перешли к песням веселым, тоже имеющим общее название — «Милонга». Услышав пение, явилась Флора, за ней — Гиацинт; они сели, стали подпевать, и благодаря им Ретиан припомнил много забытых куплетов.

«Там, где стояли твои ножки, — пел Ретиан, улыбаясь и наклоняясь над гитарой, чтобы скрыть смущение, когда девушка взглядывала на него, укоризненно качая головой, если он ошибался, — там падает теперь тень ствола сломанного грозой дерева...»

«О, видалита, видалита!»

«Я всматриваюсь в тень, но, не видя там теперь твоих ног, делаю ножом отметку: вот здесь были они, ноги твои».

«А наверху были глаза. А разбитое дерево — это я... О, видалита!»

В это время Роберт дремал на диване, слушая слова песни. Надо сказать, что он был поглощен загадкой каменного столба. При последних словах Ретиана мальчик очнулся, незаметно вышел и сел на пороге.

Вдруг Роберт слегка вскрикнул от внезапного возбуждения и тихо пробежал в сарай, где скоро нашарил, хотя было совсем темно, железную мотыгу с деревян-

ной ручкой; мотыгу он утащил к столбу, засыпав ее там травой и песком.

«Как это никто не догадался? — думал юный кладоискатель. — Будет Арете сюрприз. А если клад уже вытасчен?»

При такой мысли Роберт от огорчения упал на землю и начал плакать. Это была его привычка — падать на землю или на пол в случаях большого огорчения, раскаяния и разочарования. Мы уже видели, как повалился он от разоблаченного Вермонтом обмана Паркера.

Когда ему надоело лежать, он встал и вошел в комнату. Пение уже стихло, утомленные путешественники пожелали хозяевам спокойной ночи.

— Иди спать, Роберт, — сказал мальчику Линсей. — Завтра мы едем на дилижансе в Монтевидео.

— Завтра? А в котором часу? — тревожно спросил Роберт, испугавшись, что отъезд состоится раньше семи часов.

— Ну, часу в двенадцатом, может быть, — сказал Ретиан. — А что?

— Просто так... Я так спросил.

Линсею и мальчику отвели помещение рядом с комнатой пеонов. Это была пустая кладовая. На пол постлали циновки и постели; гостям дан был огарок свечи, вода и будильник, чтобы они не проспали дольше девяти утра.

Увидев будильник, Роберт обрадовался. Он тотчас спросил Арету, правильно ли ходят эти часы.

— Разве это так важно для твоей жизни? — сказала девушка. — Хотя бы они отставали минут на двадцать, что за беда?

— Они, значит, действительно отстают? — не унимался мальчик. — На двадцать минут?

— Да что с тобой? — удивился Линсей.

— Разве вы не видите, что Звезда одичала от желания спать? — заметил Вермонт, щупая лоб Роберта. — Голова у него горячая. Человек освобождал Баттарана и он очень устал.

Слыша это, хитрец Роберт начал усиленно зевать и тереть глаза.

Пожелав еще раз друг другу спокойной ночи, все разошлись. Ретиан лег в гостиной, Арета и ее отец — по своим комнатам.

Огни были потушены; ранчо погрузилось во тьму. Изредка слышался вой диких луговых собак да храпение Гиацинта.

Линсей, посмотрев, спит ли мальчик, вышел на минуту во двор покурить. Тотчас Роберт, притворившийся спящим, вскочил и перевел будильник на половину седьмого. Его очень удручала неизвестность, — точно ли показывают время эти часы, но он мирился с тем, что есть.

Между тем будильник был точен; Арета просто шутила. Будильник шел по отличным карманным часам Вермонта.

Снова улегшись, Роберт слышал, как пришел и растянулся неподалеку от него Линсей; как, укрываясь пончо, старик тихо мурлыкал грустный мотив «Видалиты» и закончил музыку восклицанием:

«В пампасах, черт побери! Спим!» — Он потушил свечу и почти мгновенно уснул.

«Если он проснется на звон будильника, — думал Роберт, — я скажу, что хотел выйти погулять к реке, выкупаться».

Роберту не надо было даже бороться со сном, — так овладела им мысль решить задачу золотой головы. Он то дремал, то мгновенно очнувшись, лежал с открытыми глазами и благословлял москитов, кусавших его, за то, что они мешали уснуть.

Когда мальчиком овладевала дремота, ему мерещились подвалы, полные драгоценных камней, и среди этих сокровищ бродила посаженная на палку страшная золотая голова с зелеными глазами, говоря: «Я — капитан Баттаран». Еще грезилось ему, что у него длинные ногти, — длинные, как макароны, и что Арета рубит их топором.

Наступило, наконец, предутреннее время; тогда Роберт вдруг заснул.

В половине седьмого утра, когда уже давно бродил по коралю Гиацинт, а Флора кормила трех нанду сырым картофелем и бобовой шелухой, оглушительный треск будильника разбудил Роберта. Все вспомнив, мальчик схватил будильник, покрыл его подушкой и сел на нее.

Услышав заглушенный треск, Линсей проснулся, но так как он спал крепко и тяжело, то не понял, какой это звон. Он только спросил:

— Где я? Роберт, ты здесь? Что такое трещит?

— Ничего... не... трещит, — ответил мальчик, громко зевая. — Еще темно... крыса, должно быть.

Линсей вздохнул и уснул, похрапывая.

Будильник, наконец, смолк.

Еле живой от страха, мальчик засунул руку под подушку, взял будильник и, захватив одежду, на цыпочках прокрался к выходу в патио.

Здесь никого не было.

Роберт вышел в кораль. Спиной к нему стоял Гиацинт, насаживая на древко лопату.

Прокравшись за угол дома, Роберт присел у стены, оделся и помчался к столбу, неся будильник на животе, чтобы не видно было из окон ранчо.

Тень столба лежала по направлению к ранчо. Она была длиной около четырех метров. Заостренная конусом вершина столба отбрасывала острую теньевую линию.

Роберт взглянул на циферблат. Стрелки показывали без двадцати минут семь. Мотыга лежала тут, под травой и песком.

Сев за столб так, что его было не видно, мальчик поставил будильник между ног и начал с лихорадочным нетерпением следить за подъемом минутной стрелки к цифре двенадцать.

Между тем в ранчо начали просыпаться. Роберт слышал голос Ареты, стук открываемых ставен.

Гиацинт кричал: «Флора! Где мотыга?» Роберт не понимал, о чем кричит Гиацинт; он думал, что тот ищет его.

Сердце мальчика трепетало от нетерпения и страха. Мог выйти кто-нибудь, увидеть его и помешать одному добыть клад. Добыть самому! Удивить всех видом золотой головы, себе не взять ничего, но все поровну разделить другим и заявить: «Вот как я догадался о том, где зарыта золотая голова!»

Между тем сон Линсея был уже нарушен пробуждением от треска будильника. Старик открыл глаза, приоткрыл дверь, чтобы осветить каморку, где не было окон, и с изумлением увидел рядом пустую постель.

Будильника тоже не оказалось на месте.

«Что такое?» — подумал Линсей.

Одевшись, он вышел в патио и встретился у умывальника с Ретианом.

— Вы не видели Роберта? — спросил Линсей.

— Нет. Разве он ушел?

— Его постель пуста. Исчез также будильник!

Ретиан отправился к Вермонту, думая, что мальчик у него, а Линсей сообщил новость вышедшей из комнат Арете.

— Пустое; он где-нибудь близко, — сказала девушка. — Но что это?.. Да, Роберт вчера почему-то интересовался будильником. Задача!

Пока шли эти переговоры, Гиацинт взял два больших ведра и отправился за водой на речку. Пройдя несколько шагов, он поставил ведра на землю и тихо подкрался к Роберту, занятому своим делом.

Звезда Юга, ничего не слыша и не видя, торопясь и изнемогая от невозможности сильно ударять по твердой почве тяжелой мотыгой, беспомощно ковырял землю в том месте, куда падал конец тени загадочного столба. Было ровно семь часов... Будильник стоял рядом с кладовщиком.

Почти тотчас эту сцену увидели Ретиан, искавший мальчика, и Арета, вышедшая за Ретианом.

— Отец! — воскликнула девушка. — Иди же сюда!

Видя, что, кроме воззрившегося на его работу Гиацинта, все жители ранчо — даже утирающийся на ходу полотенцем Линсей, даже Флора — спешат узнать, в чем дело, Роберт сел и громко заревел, ожидая упреков.

— Что с тобой? — спросил Ретиан. — Объясни, что ты делаешь.

— Тень... тень уйдет! — рыдал мальчик, от стыда не смотря ни на кого. — Вот она! Тут был конец тени... Двадцать третьего октября... в семь часов... золотая голова... я держу ногу на том месте... Ройте, пожалуйста!!!

Все с недоумением переглянулись. Еще мгновение — и Вермонт все понял.

Он вдруг побледнел.

— Где рыть... тень... в семь часов? — отрывисто спросил он, наклоняясь к Роберту.

— Сюда, — украдкой поглядывая вокруг и облегченно вздыхая, сообщил Звезда Юга. — Только я не могу. А я так хотел принести ее вам!

Гиацинт уже взял мотыгу. Кивнув головой Вермонту, указавшему точку падения тени в семь часов, он раз-

махнулся и так сильно вонзил орудие в сухую почву пампасов, что брызнул песок.

Острые орудия целиком ушло в землю. Качнув мотыгу, Гиацинт без видимого усилия вывернул глыбу земли, затем вторую. Мелкая земля осыпалась обратно в яму.

Бросив мотыгу, Гиацинт ушел и скоро вернулся с лопатой. Пока он ходил, все молчали. Всеми овладело волнение. Никто не знал, что может оказаться под землей. Линсей с улыбкой смотрел на Роберта. Роберт грыз ногти, мрачно смотря себе под ноги; Флора вздыхала; Ретиан и Вермонт вопросительно смотрели друг на друга.

Явившийся Гиацинт, не медля секунды, прокопал яму глубиной фута три и, вдруг вскрикнув, бросил лопату.

Все столпились около него. Гиацинт запустил руки в яму и вытащил пропревший от времени зашитый кожаный узел, величиной с голову быка.

Вермонт бросился к узлу с ножом. Распоров несколько кож, облежавших содержимое узла, Вермонт извлек маленький глиняный кувшин без ручки, обвязанный куском сукна.

Сдернув сукно, старик опрокинул тяжелый кувшин на траву. Из кувшина со звоном и блеском вывалились двести квадруплей.¹

Тогда Роберт исполнил свой номер: он упал на землю и начал мотать головой, охватив ее руками, а ногами колотя в воздухе.

— Ай-ай-ай! — взвизгнула Флора.

— Ну, чудеса! — воскликнул Ретиан.

— Роберт — ты богач! — сказала Арета.

Гиацинт присел на корточки возле клада, взял один квадрупль и согнул его между пальцами, как лепесток розы.

— Хотя я думал, — закричал Роберт, вскочив, — что там настоящая голова из золота, — но ведь это все равно. — Мисс Арета, это все ваше! Это я для вас и мистера Дугби! И для мистера Вермонта! Теперь вы заплатите тот долг... Впрочем, теперь не мое дело! Ах,

¹ Золотая монета стоимостью приблизительно в двадцать рублей. (Прим. автора.)

Дуг Ламбас лопнет от зависти. Гаррис лопнет! Все лопнут, потому что нашел я!

— Я не лопну, — сказала Арета.

— И не надо, не лопайтесь, — болтал мальчуган, обезумевший от удачи. — Теперь все будет хорошо.

— Говори же, — как ты догадался?

— Ах! — чмокнул от удовольствия Роберт. — Это было совсем случайно. Еще вчера... Открыл-то клад не я, а мистер Дугби, я только сообразил!

— Что ты бормочешь?! — удивился Ретиан. — Когда, что я открывал? Где?

— Когда вы пели.

— Роберт, ты не бредишь? — спросил Линсей.

— Я говорю правду. Вы, мистер Дугби, пели так: «Тень дерева упала, — говорите вы, — на то место, — вы говорили, — где стояли твои ноги. А я, — сказали вы, — сделал там отметку». Вот тут-то меня, знаете, насквозь прожгло. А ведь я все время думал: «Что может означать надпись на столбе?» А когда мистер Дугби пел, мне все это так ясно представилось: вместо дерева — столб, и от него тень. «Ну, — думал я, — почему же один раз в год? Двадцать третьего октября, да еще в семь часов утра? Что бывает один день в году, в одном и том же часу *одинаково* у столба, если его никто не трогает? Только тень; это я узнал в школе: ведь мы учили о земле и солнце. Так я и догадался.

— Значит, «золотая голова» — у тебя, — сказал Ретиан. — Что ты сделаешь с деньгами?

— Я отдал их мисс Арете.

— Как! Все до одной мне?

— Да, а вы делите, как хотите.

— Ты хочешь, чтобы я делила? Значит, не все мне.

— Ах, вы сами знаете! — вскричал Роберт. — Вы все шутите!

— Мистер Роберт, — сказал Гиацинт, подмигивая Линсею, — я тоже должен получить долю. Я копал.

— А я смотрела! — подхватила Флора. — У меня даже глаза болят, так я смотрела.

— Я привез тебя сюда, — поддержал Ретиан. — Без меня ты не увидел бы столб.

— Земля моя, — сказал Вермонт. — Клад ты нашел на моей земле.

— Если бы я не спал так крепко, — заявил Линсей, — тебе не удалось бы стащить будильник.

— Если бы я тебе не сказала, что часы идут верно, — не было бы и квадруплей, — закончила Арета.

Задача дележа представилась Роберту вдруг такой сложной, что он хотел уже снова упасть, чтобы предаться отчаянию, но Линсей удержал его.

— Нельзя так быстро переходить от восторга к унынию! — сказал Линсей. — Это не по-мужски. Ты сообразил, как найти клад, а теперь изволь рассудить, как его разделить.

— Хорошо, — сказал мальчик, высморкавшись в подаренный Аретой платок и вздыхая. Раз вы со мной так, то и я так. Будете все довольны.

Оглушительный хохот приветствовал это заявление.

Нахмурившись, Роберт помог Вермонту ссыпать тяжелые монеты в кувшин, затем все пошли в комнату, где сели за стол. Кувшин был поставлен на середине стола.

— Итак, — сказал Вермонт, — я объявляю заседание открытым. Найден клад — двести квадруплей, приблизительно три тысячи двести рейсов. Нашел Найт. Ему предоставлено право делить находку между нами и им самим, как он хочет. Говори, Роберт.

— Я передумал, — сказал мальчик, так ободренный успехом, что комедию заседания принял всерьез. — Кто копал, кто не копал, — я знать не хочу; будильник, земля, все, что вы говорили, верно, все ваше; а без меня лежали бы эти монеты под землей еще тысячу лет.

— Три тысячи, — невозмутимо поправил Вермонт.

— Ах, вы опять... ну, три тысячи... все равно. Так вот, потому деньги мои. Прежде всего...

Роберт вынул из кувшина несколько монет и роздал каждому по одной, себе тоже взял одну.

— Это на память, — объяснил он, — эти деньги нельзя тратить.

Все с любопытством ожидали дальнейших распоряжений.

— Теперь, — сказал Роберт, теряя апломб и начиная смущаться, — возьмите, мистер Вермонт, себе сколько вам надо уплатить долгу.

Вермонт отсчитал долг обнищавшему приятелю и жалование за полтора года пеонам. Вышло девяносто квадруплей.

— Ты не сердись, — шепнула Арета отцу. — Мальчик случайно слышал твой разговор. Он делает все от чистого сердца, по простоте.

— Остальные я беру себе, — сказал Роберт. Так? Я взял. — Он придвинул кувшин. — Это мое?

— Твое! Твое! — закричали все.

— Значит, я могу сделать с этим что хочу. Так?

— Так, так! — сказал Ретиан.

— Так пусть мисс Арета возьмет мои деньги себе. Я очень прошу! Будьте добры, мисс Арета! Вы и мистеру Дугби дадите, сколько хотите! Все ваше! Пожалуйста!

Вскочив, едва не плача, Роберт стал так просить, так бегать вокруг девушки, то и дело порываясь упасть, что Арета, не выдержав, расплакалась и обняла Роберта.

— Хорошо, милый! — сказала растроганная девушка. — Только для тебя. Кроме золотой головы, у тебя золотое сердце. Но подумал ли ты, как будем мы делить с Ретианом твой подарок? Почему не оставил ничего для мистера Линсея? А себе-то взял ли ты хоть что-нибудь? Тебе надо жить несколько дней в Монтевидео, уплатить за дилижанс, купить более приличную одежду, заплатить за билет на пароходе до Порта-Станлей.

— Мисс Арета верно говорит, — сказал Линсей. — Ты доставил ей затруднение.

— Поэтому, — продолжала Арета, — изволь немедленно взять от меня десять квадруплей. Я тебе их дарю. Ты подарил мне, а я тебе. Хватит тебе?

— О! На все хватит! — ответил мальчик, несколько сбитый со своей хозяйской позиции. — Еще останется; и если даже я куплю мятных лепешек и имбирных пряников, то все равно останется. Мистеру Линсею я ничего не отделил. Это не потому, что я не хотел. Вы сами видели, какой расчет... Ему не хватило.

— Не надо, не надо мне ничего, Роберт, — сказал Линсей. — У меня есть с собой около ста фунтов, я богаче всех вас.

Таким образом, распределение «богатств» было окончено, после чего Арета тайно вручила Линсею для мальчика еще десять квадруплей, а Вермонт подарил ему

небольшой револьвер системы Бульдог и горсть патронов к нему.

Флора принесла Звезде Юга завернутый в бумагу пирог с мясом на дорогу, а Гиацинт — старый индейский нож в кожаных ножнах, после чего Арета наспех сшила для мальчика из остатков материи мягкую шляпу.

Все очень устали от неожиданностей находки, а потому разговоры смолкли в ожидании завтрака; только один Роберт, с револьвером в мешочке на груди (свой Лефоше он передал Линсею, так как некуда было ему его девать) и с ножом на боку, ходил по ранчо, рассказывая каждому встречному обитателю свою историю с догадкой о кладе.

После матэ, еды и еще матэ отъезжающие покинули ранчо «Каменный Столб».

XII

Велико было удивление Линсея увидеть бросившуюся к нему в отчаянии молоденькую девуцу, но еще больше удивился он, когда услышал ее иступленную просьбу.

Видя, что важный с виду старик плохо понимает ее, Инес, путаясь и торопясь, изложила все дело и просила поторопиться. В своем отчаянии она искала немедленной защиты и утешения.

— Я понял вас, — сказал Линсей, выслушав ее. — Я верю вам.

Подоспевшая Катарина страшно смутилась, поняв, что Инес обратилась за помощью к незнакомому старику; однако, желая избавить воспитанницу от подозрения и недоверия, сама стала рассказывать о беде Инес более связно, чем сумасбродная девушка. Уже Катарина хотела извиниться, как Инес, ничего не слушая, топнула ногой и вскричала:

— Разве я ошиблась? Разве за вашим честным лицом и справедливым блеском ваших глаз кроется равнодушие? Кто же сжалится надо мной?!

— Сеньорита, — ответил Линсей, видя, что перед ним неожиданно приподнялась завеса семейной драмы, — не равнодушие видите вы, а беспомощность. Я могу, если понадобится, отдать все, что у меня есть, могу уже без сожаления отдать жизнь, но я бессилён освободить вашего брата. Я иностранец, вдобавок бедный. Ни зна-

комств, ни связей нет у меня в этой стране. Я не обладаю ни богатством, ни властью, ни даже большим образованием. То, что вам нужно — смелость, силу, изобретательность, предприимчивость, — отнял у меня конторский стол. Сорокалетняя однообразная работа высушила меня. Я — как отработанный шлак, не гоюсь жить иначе, чем жил. Глаза видят, уши слышат, но усталость так велика, что я не могу уже помолодеть душой. Я — только зритель жизни, а жить мне осталось недолго. Говорю вам так же откровенно, как откровенно вы обратились ко мне.

— Извините, — сказала Инес, опомнившись и страшно жалея теперь старого человека, стоявшего перед ней с жалкой улыбкой. — Я очень раскисаюсь! Я огорчила вас!

Линсей тихо погладил ее по голове.

— Идите, дитя, — сказал он, — я не сержусь. Я рад был выслушать вас, но мне, конечно, стыдно, что я не могу помочь вам. Роберт, идем!

Линсей повернул за угол. Мальчик на ходу обернулся несколько раз, смотря, не ушли ли женщины. В это время к ним подоспел Рамзай, кинувшись почти сразу по уходе Инес догонять ее.

— Простите, что я не удержал вас, — сказал Рамзай, — но вы очень стремительно кинулись бежать. Я не оставляю вас. Кто был этот человек, с которым вы говорили?

— Диос! Она не знает даже его имени. Первый встречный. У вас, Инезилья, был припадок, серьезно говорю вам.

— Молчите! — сказала девушка. — Действительно, я готова была созвать толпу! Я...

Она не договорила, так как ее дернул за рукав мальчик, которого они видели со стариком.

Роберт, пройдя несколько шагов, отстал от Линсея, спрятался в первую попавшуюся нишу и, когда Линсей, тщетно поискав его, удалился, не зная, что думать об этой выходке своего юного спутника, — бегом направился к Инес. Теперь он был хорошо одет, в белой рубашке, соломенной шляпе, легких башмаках и синих, до колен, штанишках.

Мешочек с револьвером висел у него под рубашкой, на животе.

— Чего ты хочешь? — спросила девушка.

Роберт не понял. Она сказала тогда по-английски:

— О! Ты мальчик, который шел с тем человеком. Зачем ты вернулся?

— Мистер Линсей не годится, — сказал Роберт. — Он вам не солгал. Он чудесный человек, и я его очень люблю, но такое дело, как ваше, ему не под силу. Разрешите мне вам помочь.

— Тебе-е-е!?!

— Ах ты, озорник, шутник! — вскричала Катарина, думая, что Роберт дурачится. — Как тебе не стыдно?

— Милый мой, — сказала Инес, — кто бы ты ни был, я от всего сердца благодарю тебя. Верю, что ты поможешь нам.

— Сеньорита, — вступился Рамзай, которого испугал странный каприз девушки, — еще рано созывать детей для похода на доктора. Я чувствую, что мальчик говорит от доброго сердца, но мы его, во-первых, не знаем, а во-вторых, он мальчик.

— Ах, оставьте! Я знаю, что делаю. Как тебя зовут?

— Роберт Найт. Я приехал с Фалькланда, из Порта-Станлей, и скоро опять уеду туда. Мне двенадцать лет.

— Что он говорит? — спросила Катарина. — Не просит ли он чего-нибудь?

— Дорогая, — сказала ей Инес, — идите к вашей двоюродной сестре, и я туда скоро приду. Дело важное.

Старуха сопротивлялась, но Инес решительно отослала ее, сама же с Рамзаем и Робертом уселась на каменную скамью в нише стены одного старого дома, под листвою огромного фиашкового дерева.

— Мальчик, — сказала Инес, — я почему-то верю тебе. Сеньор Рамзай, там, где не сделает ничего взрослый, успешно сделает маленький. Согласитесь!

— Это верно, — согласился Рамзай, — но так как времени у нас очень мало, надо сейчас же расспросить этого предприимчивого ребенка, что он имеет в виду. Вот, например, Роберт, такое дело: надо доставить заключенному Хуану револьвер. Сможешь ли ты это устроить?

— Я вот что вам скажу, — ответил Роберт, — пойдемте вместе к лечебнице этого доктора. Там мы все осмотрим и увидим, как действовать.

— Резонно. Он может быть хорошим помощником, сеньорита.

— Что заставляет тебя помогать мне? — спросила Инес Роберта.

— Негодование, — сказал мальчик. — А кроме того, — я и другие мальчики поклялись освободить невинных из рук мучителей.

Разговор после такого заявления, естественно, пошел о самом Роберте. Чтобы укрепить доверие к себе, Роберт, не таясь ни в чем, рассказал молодым людям о Баттаране, своем бегстве, своих приключениях, даже о кладе; и этот безыскусственный рассказ, убедительный уже потому, что он был правдой, произвел на молодых людей сильное впечатление.

— Прости меня, милый, — сказал Рамзай, — что я несколько усомнился в тебе. Решено: идем смотреть поле действия. Ты смышлен. Не будем терять ни минуты.

Что касается Инес, то она заявила, что теперь у нее есть полная уверенность в благополучном окончании дела.

— Потому что, — сказала девушка, — нам попался совсем особенный мальчик. Он сам предложил помощь. Руководите им, сеньор Рамзай, берегите его!

Этот порыв чувств нашел отзвук в Рамзае, которому казалось мудрым и прекрасным все, что делает и чего хочет дочь Маньяна. Роберт, с своей стороны, признал в Рамзае недурного помощника, а остальное предоставил случаю и обстоятельствам.

Успокоясь насчет того, что его помощь принята, Звезда Юга съел мятную лепешку, а Инес и Рамзай условились встретиться у Беллы, двоюродной сестры Катарини. Дав адрес, Инес поцеловала Роберта, наказала ему известить Линсея о себе, чтобы старик не беспокоился, и ушла в свой случайный приют. Между тем ее отец послал двух надежных слуг искать по городу пропавшую дочь, строго приказав никому не говорить о скандале, сам же, позвонив в частное сыскное бюро, вызвал агента, которого под большим секретом и за крупное вознаграждение просил немедленно выследить девушку и Катарину, а затем донести ему об их местонахождении.

Единственный знакомый человек, которому Маньяна сам сообщил об этом прискорбном происшествии, был

Вентрос. Вентрос мог как-нибудь сам узнать о бегстве девушки и обидеться, что от него это скрыли, а Маньяна совсем не хотел лишиться важного, богатого зятя. Вентрос был посвящен в дело Хуана и одобрял такую меру борьбы с непослушным сыном.

С виду Вентрос слушал разгневанного отца очень сочувственно, но на деле его мысли сразу же приняли особое направление. Как ни велико было увлечение Вентроса дочерью Маньяна, трусливый испанец отлично понимал, как невыгодно может теперь отразиться такая женитьба на его делах. «Слухи распространятся рано или поздно, — думал Вентрос. — Мой дед — человек старинного воспитания, строгих правил, он лишит меня своего многомиллионного наследства! Меня не будут нигде принимать. Моя кандидатура в члены муниципалитета провалится».

И у него явилась гнусная мысль воспользоваться угнетенным положением девушки...

Узнав от Маньяна адрес бюро сыска, куда тот обращался, Вентрос, проводив гациендера, велел подать автомобиль и отправился к заведующему бюро. Этого заведующего, отсыпав ему две тысячи рейсов, Вентрос попросил сообщить ему сегодня место, куда скрылась Инес, если, конечно, она будет разыскана, а Маньяна — завтра.

Не зная, зачем это нужно посетителю, но уважая звон золота, заведующий, рассыпаясь в благодарностях и поклонах, пообещал сделать все, что захочет Вентрос.

Когда Инес на извозчике подъезжала к квартире Беллы, сыщик уже ехал за ее экипажем на велосипеде.

Подойдя к лечебнице доктора Ригоцци, Рамзай с Робертом обошли здание кругом.

Лечебница стояла на углу обнесенного каменной стеной сада.

Главный подъезд выходил на улицу, а боковой — в узкий переулок.

Задняя стена сада стояла на возвышении почвы, и от этого места шел вначале отлогий, а затем более крутой подъем в горы, окружающие Монтевидео; улица, хотя бойкая, была почти окраиной.

Изнутри сада задняя его стена была одинаковой высоты с прочими стенами, а снаружи лишь в половину

внутренней высоты, так как здесь склон холма был скрыт во всю длину этой стены.

Рамзай заметил разницу высоты задней стены снаружи по отношению к остальным стенам; то же заметил и Роберт; кроме того, здесь, на пустыре, простирающемся на довольно большое расстояние, людей почти не было; редко показывались прохожие.

— Так вот, — задумчиво сказал Рамзай, когда заговорщики два раза обошли владения Ригогци, — Хуан Маньяна просит револьвер. Надо ему доставить револьвер. Это первая задача. Но прежде надо узнать, где он сидит и которое окно его комнаты. Отсюда видны окна второго этажа. Все они с решетками; кроме того, сверху до половины опущены ставни.

— За что его посадили? — спросил Роберт.

— Отец посадил. Бедняга Хуан хотел работать в кино. Отец очень богат и считает такое желание позорным для себя и сына. Дочь, девушка, которую ты видел, убежала из дому, так как ее хотели отправить в заточение в дикую местность за желание освободить брата.

— Вот где настоящий-то сумасшедший! — заметил мальчик. — Это отец Хуана!

— Да, печальная история.

— Так знаете, что мы сделаем? — сказал Роберт. — Сначала посмотрим через стенку, что там.

Рамзай собрал несколько камней и положил их у стены так, что, встав на камни, можно было смотреть в сад.

В жаркие часы дня больные не выходили прогуливаться вокруг двух огромных цветущих клумб, обсаженных рододендронами и магнолиями, а потому в саду не было никого, кроме угрюмого подслеповатого мальчика лет тринадцати. Он расставлял шезлонги, толкая их откуда-то из-за угла дома.

— Вы говорите, там один мальчик? — спросил Роберт. — Можно мне посмотреть?

Рамзай, которому трогательная деловитость Звезды Юга все больше нравилась, с серьезнейшим видом приподнял Роберта над краем стены.

— Ах, я теперь знаю! — шепнул спутнику Роберт. — Присядьте, подождите меня! Я сейчас...

Не успел Рамзай его спросить, в чем дело, как мальчик побежал и скрылся в переулке. Он выбежал на

улицу, огляделся, а затем зашел в игрушечный магазин, где купил большой резиновый мяч. Теперь ему надо было купить леденцов, но подходящей торговли Роберт тут не видел, а потому, пробежав с мячом по улице вниз, попал на небольшой окраинный базар, где сновала толпа. Купив леденцы, Роберт повернул вспять и с размаху налетел на круглый живот своего дяди, ветеринара, Гедсона Найта, приехавшего из Порт-Станлея и уже две недели тщетно разыскивающего маленького беглеца по всем портам выше и ниже Рио-Гранде-до-Суль.

— Роберт! — сказал озадаченный Найт. — Что же ты это делаешь с матерью и отцом? Они с ума сходят от беспокойства!

Круглое, с бакенами и острым, пламенеющим носиком лицо почтенного ветеринара надулось от волнения, как гуттаперчевый шар.

— Ах, дядюшка! — воскликнул Роберт, пятась от наступающего на него ветеринара. — Вы приехали? Так вот где пришлось свидеться! Не беспокойтесь, я здоров, но извините, дядюшка, предстоят важные дела... Гостиница «Гваделупа», номер двадцать четвертый, завтра в семь утра, да скажите, пожалуйста, там мистеру Линсею, что я занят.

Выпалив единым духом эти слова, Роберт проскользнул под плечом Найта, пытавшегося поймать племянника, и, прижимая леденцы к груди, затерялся в рыночной толпе, после чего прибежал к Рамзаю.

— Едва не задержал дядюшка Гедсон, — сообщил Роберт начавшему уже терять терпение Рамзаю. — Я встретился с ним неожиданно на рынке. Едва не сцапал меня! Но я увернулся, только сообщил свой адрес. Нельзя же бросать дело. Кушайте леденцы. А что, тот мальчик, в саду, еще там?

Рамзай, заглянув в сад, сказал: «Да».

— Тогда отлично. Давайте револьвер, я передам. А мой пока держите у себя. Два револьвера могут помешать лазить.

Невольно подчиняясь уверенности и возбуждению мальчика, Рамзай все же спросил:

— Но ведь ты даже не знаешь, какая комната Маньяна! Быть может, его уже нет здесь!

— Дайте, дайте револьвер! — умолял Роберт. — Я все придумал. Я брошу туда мяч, сам спущусь за ним, раз-

говорюся с мальчиком, все узнаю! Напишите записку, я передам!

Рамзай еще колебался, но так как в это время из лечебницы донеслись дикие завывания умалишенных, напоминавшие о страшном положении Хуана, а Роберт объяснил отчасти свой план, то молодой человек решился довериться странному мальчику, которым руководили — он не сомневался в этом — вполне чистые намерения. С точки зрения «взрослых» Рамзай делал глупость, но по существу дела действительно меньше всего могло возникнуть подозрение, если бы надзиратель застал в саду Роберта: «Мальчик полез достать мяч».

— Ступай, — решительно сказал Рамзай. — Будь осторожен. — И он написал, без подписи, на листке записной книжки: «Дорогой Хуан, будьте вполне готовы к часу ночи; без четверти час потребуйте врача; когда дверь откроется, действуйте револьвером и бегите к выходной двери на улицу, а не в переулок. Если вам дверь никто не откроет, — стреляйте; на выстрел мы ломаем дверь. Ничего другого не остается. Остальное беру на себя».

Наказав отдать записку только в руки Хуана, наружность которого описал Роберту, Рамзай вручил Звезде Юга послание, дал револьвер, вмещающий восемь патронов, еще прибавил восемь штук, завязал патроны и револьвер в носовой платок, а затем взял у Роберта его «бульдог».

Пока Рамзай увязывал оружие, Роберт набивал карманы леденцами.

— Зачем тебе леденцы?

— Эти штуки, знаете, всегда пригодятся.

— Ну, кидай мяч и берегись проговориться.

— Будьте спокойны, — ответил Роберт, бросив в сад мяч и поднимаясь на гребень стены.

Револьвер был в мешочке под рубашкой мальчика.

Он удачно прыгнул между кустов и подбежал к подслеповатому мальчику, сыну надзирателя. Тот уже поднял мяч и с недоумением рассматривал залетевшую игрушку.

— Ты зачем? Как ты смел сюда лезть? — сказал сын надзирателя, Ганс. — Это твой, что ли, мяч?

— Конечно, мой, дай-ка его мне.

— Стоило бы не отдавать. Тут лечебница, посторонним сюда нельзя. Вот я скажу отцу, так он тебя выставит за ухо.

— На тебе леденцов, — сказал Роберт, — только не ругайся. Я метил в стену, да попал мимо.

Наступило молчание, во время которого Ганс удовлетворенно смотрел на леденцы; один леденец он положил в рот.

— Как тебя зовут?

— Роберт. А тебя?

— Ганс Фишман. Я немец. А ты?

— Англичанин. У тебя тоже есть мяч?

— Да, черта с два! — сказал Ганс. — Когда отец пьет, то все гоняет меня работать за него. Таскай вот эти шезы. Поливай сад. То да се. Не до мяча.

— У вас что же, больница?

— Сумасшедшие.

— Вот тут они все и сидят?

— Да — которых пускают гулять, а некоторых не пускают!

— Вот как! А почему?

— Потому что... Ты не будешь болтать?

— Никогда!

— Потому что наш доктор их «высиживает». Это такие, которые не больные, а здоровые.

— Что ты врешь?

— Вот тебе и врешь. За таких больных доктору платят большие деньги.

— Для чего же так делается?

— Этого я не знаю. Но мне говорил отец, что тут сидит сын одного богача; отец не хочет, чтобы сын стал актером. Вот его и посадили, чтобы не валял дурака.

Роберт сразу же догадался, что Ганс говорит о Хуане. У него было сильное искушение спросить, которое окно Хуана, однако он удержался, чтобы не возбудить в мальчике подозрения.

— Давай его дразнить, — сказал Роберт.

— Как дразнить?

— А мы подзовем его к окошку и спросим: «Почем билет на галерку?»

— Да, вот ты, я вижу, действительно спятил, — ответил Ганс. — Его окошко нижнее, вот это, а отсюда хорошо попадет тебе от него в голову тарелкой! Он и в

доктора-то бросает чем попало. Еще жалуется. Мне тогда влетит! Знаешь что, дай-ка мне леденец, забирай мяч свой и уходи; какой-то ты беспокойный.

— Возьми два. Как же я выйду?

— Ты постой здесь, — ответил, подумав, Ганс. — Видишь, ворота заперты на ключ, а провести тебя через дом нельзя. Я пойду принесу лестницу. Только не вздумай дразнить больных!

— Иди, я не буду, — сказал Роберт. И Ганс, оглядываясь, скрылся за углом лечебницы. Тотчас Звезда Юга подбежал к указанному крайнему окну нижнего этажа, вскарабкался на карниз по водосточной трубе, заглянул через решетку и шепнул: — Здесь Хуан Маньяна?

С кровати быстро вскочил Хуан. Изумленно смотрел он на приникшее к решетке лицо.

— Ловите! От Звезды Юга и мистера Рамзая!

Не теряя даже секунды, Роберт кинул в комнату револьвер, записку, соскочил с карниза и подошел к месту, где был оставлен Гансом, как раз в момент, когда тот явился, таща легкую садовую лестницу.

Выпросив еще леденец, ничего не подозревающий Ганс приставил лестницу к стене. Роберт перебросил мяч через стену и быстро вскарабкался на гребень.

— Прощай! — сказал он мальчику. — Не сердись.

— Хорошо, хорошо, сними ногу.

Освободив лестницу, Ганс хмуро ползл с ней в дворовую кладовую, а Роберт, спрыгнув, попал в объятия Рамзая.

— Я все слышал и видел, — сказал Рамзай. — Ну, ты, Роберт, настоящий молодец!

— Вам, значит, не противно, что я такой хитрый?

— О, если бы мне хоть каплю твоей сообразительности! — простодушно признался Рамзай. — Не было бы того, что было вчера. Никак не могу сдержаться. Побил я вчера доктора да еще служителей за то, что не допустили меня к Хуану. Впрочем, побил-то я его по-настоящему, за его подлость. Ну, хорошо... Что с тобой?

— Очень уважаю вас, — сообщил Роберт, вытирая проступившие слезы восторга. — Побить доктора! О! О-о! Это шикарно! А вот что: я не пойду теперь домой.

Дядюшка там меня караулит. Не отпускайте меня! Будем вместе!

— Хорошо; тогда едем в порт к судну фирмы «Кастор» и подготовим отплытие.

XIV

Не теряя времени, Рамзай усадил мальчика на такси и приехал с ним в порт — в ту его часть, где между яхт-клубом и угольной пристанью Германского Акционерного общества была стоянка «Кастора». Это судно, принадлежащее фирме Ван-Мируэра, использовалось для съемок; на нем разыгрывались сцены для фильма.

Шкипер «Кастора» голландец Ван-Рихт был закадычный приятель Рамзая. Сотни раз движущийся портрет этого самого Ван-Рихта мелькал на снятых Рамзаем лентах.

Коренастый брюнет лет сорока, с тяжелым подбородком и несколько сумрачным взглядом из-под широких, резко обведенных бровей, — таков был шкипер «Кастора», одетый в широкий костюм из белого дешевого шелка, панаму, цветные носки и желтые башмаки.

Рамзай оставил Роберта неподалеку от судна, наказав не подходить к нему, чтоб не было лишних вопросов, а сам вошел с Ван-Рихтом под тень на корму, где они и уселись за сигарами и содовой с апельсинным сиропом.

— Что же, предстоит работа? — спросил голландец.

— Да, очень редкая работа, — ответил Рамзай, у которого только теперь сложился план. — Как я узнал из секретных источников, сегодня одна компания должна освободить ночью Хуана Маньяна, который бывал здесь у вас со мной...

И, ничем не упоминая о своем участии в побеге юноши, Рамзай рассказал шкиперу всю историю с Хуаном. Он присочинил только то, что фирма намерена снять сцену побега в том виде, как она произойдет, возле самой лечебницы, а Ван-Рихта просит отвезти Хуана в Сан-Мигуэль, где тот сядет на пароход, идущий в Европу.

— Еще одно обстоятельство, — прибавил, несколько смущаясь, Рамзай: — Может быть, будет вынуждена ехать с Хуаном его сестра... Я тоже, может быть, провожу вас до Сан-Мигуэля... Ну, вот...

Поверил или не поверил Ван-Рихт, но он очень любил Рамзая и, как только услышал о «сестре», крепко хватил англичанина по колену, сказав:

— Хорошо. Я обязан повиноваться. Не волнуйтесь. Я могу даже ехать с вами до Рио-Гранде. Что делать!? Надо помочь людям. Хуана я помню. Дельный человек. Сестру не знаю. Она — как!?

— О! Она... она...

— Ну, ладно. Все ясно. Буду готов.

В это время в каюте шкипера зазвонил телефон, соединенный с береговой станцией. Ван-Рихт пошел к нему и стал слушать.

— Ван-Рихт, — сказал режиссер, — из конторы фирмы, — будьте готовы в восемь вечера плыть в Альтамирана. Мы там снимаем. Что?!

Ван-Рихт ответил не сразу.

— Не могу, — заявил шкипер. — Появилась течь, всю ночь будем чинить ниже ватерлинии; придется стать в док.

Произошел небольшой спор, но Ван-Рихт решительно отказался. «Если хотите, послезавтра», — пообещал он.

Режиссер, выругавшись, повесил трубку. Ван-Рихт вернулся к Рамзаю.

— Отправляйтесь спокойно, — сказал Ван-Рихт. — Я поеду только по вашему предложению. Вы поняли?

Рамзай поцеловал шкипера в ухо и щеку.

— Не мочите меня, — сказал Ван-Рихт, — я и так довольно вспотел сегодня.

После этого разговора Рамзай отыскал Роберта, бродившего неподалеку от «Кастора», сказал, что дело улажено, и предложил ему погулять в одиночестве, где он хочет, до десяти часов вечера, а сам с радостным сердцем отправился сообщить Инес об успехах этого дня. С Робертом Рамзай условился встретиться вечером на том самом месте, откуда мальчик перелезал стену лечебницы.

Минут через двадцать такси привез Рамзая к дому, где жила Белла.

Двоюродная сестра Катарины занимала тесную, маленькую квартиру в нижнем этаже старинного дома, стоявшего на середине тесного переуллка, одним концом выходящего к гавани, а другим поднимающегося на

обширную террасу, обсаженную пальмами, — род замкнутого бульвара.

Едва Рамзай вошел, как Инес бросилась к нему. Ее чрезмерно бледное лицо поразило Рамзая. Девушка, решительно отстранив своих опекунов, схватила его за руку и повела в тесную гостиную.

Здесь на старом диване сидел тощий, сутулый человек с длинным угреватым носом и лысиной во всю голову. Его руки, покрытые дорогими перстнями, костюм, обувь и тусклый, надменно прищуренный взгляд указывали на богатство и, может быть, выдающееся в городе положение. Рамзай никогда не встречал этого человека.

Белла с Катариной отошли в сторону, предоставив событиям развиваться по желанию Инес.

Вентрос, тяжело отдуваясь, начал краснеть.

— Сеньор Рамзай! — сказала Инес. — Перед вами сидит один из крупнейших негодяев Монтевидео. Он — друг моего отца. Зная, что я убежала из дома, что я не вернусь, что я беззащитна перед отцом, а потому должна скрыться куда-нибудь, этот господин явился мне помогать. Ранее он ухаживал за мной с намерением жениться. В настоящее время, считая, очевидно, что бегством из дома я окончательно скомпрометировала себя, дон Вентрос предлагает мне сделаться его любовницей, нанять для меня в Рио-де-Жанейро роскошный дом и даже обещает, если я соглашусь, освободить моего брата. Видите, как все это мило с его стороны! И, заметьте, под условием полного секрета! Чтобы я ни отцу, ни матери — никому не сообщала о своей судьбе. Он грозит донести...

— Каков бы ни был разговор, не советую посвящать в него посторонних людей. По-видимому, я вижу того мастера крутить ленту, визит которому вы вчера нанесли.

— Не будем препираться, — ответил Рамзай, сразу уяснив положение и стремясь лишь обезвредить Вентроса. — Здесь шесть пуль, — продолжал англичанин, представляя к лицу испанца револьвер Роберта. — Из каждой пули вырастет по одному волосу на вашей голове. Немедленно руки вверх!

Вентрос повиновался, — приказание говорило само за себя.

— Вас повесят, — пробормотал он.

— Пока что мы вас свяжем, — ответил Рамзай.

Видя, как повернулось дело, и сознавая, что ничего другого не остается, Белла с Катариной принесли веревку и ловко скрутили ею Вентроса. Рамзай оставил испанца лежать связанным на диване, со ртом, заткнутым полотенцем. Затем все четверо, заперев квартиру, вышли из дома и прошли через двор в калитку, ведущую на соседний двор. Отсюда ворота вели в другой переулок. Наняв такси, Рамзай привез Инес, Беллу и Катарину на «Кастор».

Уже вечерело, а потому времени Рамзаю оставалось не так много. Он признался во всем Ван-Рихту, когда ввел женщин на палубу. Белла держалась хорошо; у нее, вдовы капитана контрабандного судна, были и в прошлом такие истории, но Катарина тряслась и тихо плакала. Теперь не она утешала Инес, а Инес — ее.

— Наша судьба такая, — говорила девушка. — Будем ей помогать!

— Ну, мистер Рамзай, — сказал Ван-Рихт, — придется мне или не придется ответить за эту штуку, только я отвезу всех. Трем женщинам придется отдать мою собственную каюту. Ничего! Сидите здесь, в каюте, а я должен поговорить с помощником.

Когда Ван-Рихт ушел, Рамзай первый раз за все время взглянул на Инес с удовлетворением человека, сделавшего хорошее дело.

А вконец измученная девушка также молча поблагодарила его взглядом.

Так как по дороге сюда Рамзай уже рассказал ей, как будет освобожден Хуан, то Инес успокоилась.

Ван-Рихт вернулся, знаяком позвал Рамзая следовать за собой, показал Инес шкафчик с провизией и питьем, рассмеялся, раскланялся, запер за собой каюту на ключ и заявил Рамзаю:

— Так будет спокойнее. Теперь, мистер Рамзай, сообщу вам новость, которой вы, должно быть, не знаете: вы уволены со службы. Это мне сказал час назад управляющий фирмы Шеффер. Так что вам тоже есть смысл отправиться на «Касторе». Есть или нет? Конечно, есть. Вы уволены за то, что побили известного в городе доктора Ригогци. Я тоже не очень доволен фирмой. Так что, если вы ничего не имеете против, мы отсюда направимся прямо... в Европу. А «Кастора» я пошлю

обратно из Испании или Италии — откуда придется, наняв новую команду. Этой же, какая теперь, девять человек — надо заплатить всей за три месяца вперед.

Рамзай молча снял с пальца бриллиантовый перстень и подал шкиперу.

— Это память моей матери, — сказал он. — Камень стоит пятьсот фунтов. Продайте его. Я иду готовить дело.

— Как?! Один?

— Я... и один мальчик.

— Тогда будет и второй мальчик. Это я. Идемте. Надоело смотреть фильмы. Надо пережить хоть один.

Они сошли с палубы и скрылись под каменными воротами «Старого въезда», затем расстались, условясь встретиться у лечебницы в десять часов.

XV

Оставленный Рамзаем мальчик некоторое время был в горькой обиде на взрослого, который условился не расставаться с ним до конца дела, а затем уехал один. Решив, что до десяти вечера осталось не так много, а потому не стоит очень огорчаться, Роберт отправился утолять голод. Он сильно проголодался и начал искать съестную лавку, так как стеснялся заходить в столовые для «больших». Был пятый час на исходе.

С того места порта, откуда он шел, можно было пройти мимо гостиницы «Гваделупа». Роберт, опасаясь до времени встречи с дядей, ни за что не пошел бы мимо гостиницы, но он не знал направлений, а поэтому, едва он миновал четыре квартала, дядя Найт, сидевший с Линсеем на открытой веранде ресторана, сразу увидел мальчика.

Роберт тоже увидел бегущего к нему ветеринара, когда было уже поздно, но на этот раз Звезде Юга стало совестно пытаться ускользнуть от старика, который приехал специально за ним.

Роберт понуро подошел к Найту.

— Ах, Роберт, — сказал ветеринар, — какое это свинство с твоей стороны! Ведь я места не нахожу, думая о тебе! Хорошо еще, что мистер Линсей немного успокоил меня насчет твоих чудачеств. Ты, бродяжка, освобождал Баттарана...

— Не вспоминайте! — взмолился мальчик. — Ведь вы уже знаете, верно, от мистера Линсея, что Паркер меня надул?

— Знаю. Хорошо, идем домой, а утром сядем на пароход «Вега»; капитан дал мне каюту, хотя это грузовой пароход. Через пять дней будет в Порт-Станлее. — Они подошли к веранде.

— Нашелся? — улыбнулся Линсей.

— Такое сокровище не потеряется, — уныло ответил Роберт. — И знаете, что я вам скажу совершенно откровенно: домой я очень хочу. Но ведь я участвую в одном деле, я дал слово быть на месте в десять часов вечера...

— Ну, ну!! — воскликнули старики. — Опять Баттаран?

— Не Баттаран, а Хуан. Вы ведь слышали, мистер Линсей? Когда на улице подошла девушка...

— Так ты это-то дело и стряпаешь? — воскликнул Линсей.

— Какое дело? — спросил Найт.

Линсей рассказал.

Найт задумался и молчал.

— Вот что я сделал, — объяснил Роберт: — Перелез стену лечебницы и вручил Хуану револьвер, как он просил своего друга, Рамзая; мы там вместе были.

Более подробный рассказ мальчика так изумил Найта, что он снял пенсне, снова надел и снова снял.

— Да, я еще мало знаю тебя, Роб, — сказал ветеринар. — Однако ты первостатейный ловкач! Да еще нашел клад!

— Вот что, дядюшка, — сказал мальчик, — хвалите или браните меня, как хотите, но дайте поесть.

Найт, после встречи с Робертом, сразу направился в «Гваделупу», и там ему сказали, что Роберт живет в одном номере с Линсеем. Тотчас старики познакомились; Линсей посвятил Найта в похождения племянника, чем несколько успокоил ветеринара, понявшего, что Роберт не бесприютен и не сделал ничего плохого.

Наевшись, Роберт сказал:

— Дядюшка, я должен быть на месте в десять часов вечера. Я обещал. Вас мне жалко, вы будете беспокоиться, однако я иначе не могу.

— Понимать-то я понимаю... — задумчиво ответил ветеринар. — Мистер Линсей, хочу с вами посоветоваться, как быть.

Старики пересели за другой стол.

— Мой план такой, — сообщил ветеринар. — Немного попозже, когда он будет пить с нами кофе, тихонько подлить ему в чашку хлоралгидрата. Тогда он крепко уснет. Нельзя же допустить ребенка идти на такой риск.

— Я не вижу особенного риска для него лично, — возразил Линсей. — Но сдержать слово он должен. Могут быть неприятности, конечно; даже допрос... но ведь дела Роберта налицо: он действует бескорыстно, из лучших побуждений человека; к тому же это — мальчик. А если вы его обманом задержите, он будет мучиться и никогда не простит вам.

Найт спорил, Линсей не уступал.

Наконец Найт был вынужден согласиться, что насилие невозможно. Он подозревал Роберта.

— Ну, так, — сказал Найт, — мы решили: иди в десять часов и делай то, что взялся сделать. Не думаю, чтобы теперь очень необходимо было твое участие, но быть там ты, конечно, должен.

— Только запомни, — добавил Линсей, — что в дальнейшем тебе лучше приберечь свои силы и стремления до более зрелого возраста. Ты останешься, какой ты есть, а преждевременные непосильные задачи тебя только утомят раньше времени. Итак, ступай к своим заговорщикам, чтобы проститься с ними. Надо ехать домой, учиться. Все это случайно прошло благополучно, что ты натворил; могло быть и хуже.

— Вы, дядя, не сердитесь? — спросил мальчик.

— Что ты, милый! Надо бы сердиться, однако, раз уж ты родился таким...

— Я приду ночью, — сказал Роберт, — не бойтесь за меня...

Он засмеялся и ушел, — нарочно раньше десяти, чтобы не волноваться и не волновать Найта, которому, конечно, трудно было дать подобное разрешение.

Между тем Рамзай, узнав о своем увольнении и опасаясь приехать к себе в фирму даже за расчетом и багажом, доверил это дело одному знакомому фотографу, чтобы тот переслал деньги и вещи, когда получит известие, по указанному адресу.

Ван-Рихт условился быть на месте, за стеной лечебницы, к десяти часам, как и Роберт. Он приехал в автомобиле, наняв и сговорив знакомого шофера, за большие деньги, по окончании дела гнать во всю мочь к глухому переулку, где похитители с Хуаном должны были выйти и пешком пробраться на судно, чтобы замести следы в случае погони.

Завидев въехавший на пригорок автомобиль, Рамзай, который тихо сидел с Робертом у стены, слушая его рассказ о дяде и возвращении домой, встал.

— Вот этот? — спросил Ван-Рихт, указывая на мальчика.

— Он самый.

— Ага! Но что же ему делать теперь?

— А я буду мешать погоне, — заявил Роберт. — Я, знаете, брошусь под ноги, буду сбивать со следа, кричать: «Бегите туда! Бегите сюда!»

— Вполне может пригодиться, — сказал Рамзай, — он находчив.

Между тем шофер перевел машину на улицу против лечебницы и стал так, чтобы не было подозрения.

Хуану было объявлено доктором, что он будет завтра перевезен в другой город и помещен там в лучшую лечебницу.

Лишь получив револьвер и записку от Рамзая, Хуан догадался, что Риготци что-то знает и, вероятно, боится попыток освобождения.

Спрятав револьвер под матрас, Хуан стал ждать ночи. У него были часы. Без четверти час Хуан, вполне готовясь, подошел к двери и позвонил.

Меринг, дежурный фельдшер, обязанностью которого было являться на звонки после двенадцати, звякнул ключом и, приоткрыв дверь, спросил:

— Что с вами?

— Головокружение, — сказал Хуан, — меня тошнит.

Меринг распахнул дверь и увидел револьвер, приставленный к его лицу.

— Маньяна... — прошептал Меринг, — что случи... я...

— Немедленно выведите меня, ведите тихо, без шума. Идите впереди. Я решил на все. Если закричите, — убую.

Фельдшеру жизнь была дорога: побледнев, однако кивнув головой в знак согласия, Меринг пошел впереди

Хуана по светлому пустому коридору, к выходной двери. Сняв со стены ключ, он бесшумно открыл дверь.

Блеснули огни улицы; раздалась песня, стук экипажей.

Увидев, что дверь открылась, Роберт, сидевший в автомобиле, не выдержал и крикнул: «Ура!»

Меринг, отскочив на тротуар, начал звать полицию.

Перебежав мостовую, Хуан прыгнул в автомобиль. Разговаривать было некогда. Шофер дал ход так быстро, что подскокившие из любопытства прохожие едва не были раздавлены.

Летя по заранее намеченным улицам, машина достигла глухого переулочка у порта. Здесь беглецы сошли и вскоре были на палубе «Кастора». Радости свидания сестры с братом, казалось, не будет конца... Инес расцеловала Роберта, целовали его и Хуан, и Рамзай, и Катарина, и Ван-Рихт.

Роберт радовался чужому счастью, но сам не был весел. Он еще охотно путешествовал бы, освобождал и искал клады... а ему надо было ехать домой.

Задумчивый вернулся мальчик в гостиницу. Оба старика ждали его.

— Ну, все сделано? — спросил Найт.

— Все... Не хотите ли леденцов?

Роберт вынул из кармана леденцы, протянул их Линсею с Найтом и вдруг неудержимо заплакал.

Надо было ехать домой, стать там маленьким, учиться, а ему так хотелось быть взрослым!..

— Не реви! — сказал Найт. — Смотри, пожалуй, ты спас Дугби от смерти, освободил Хуана, нашел клад, заплатил долги Вермонта... Сосватал Арету с Ретианом! Мало тебе?

— Как сосватал? Когда сосватал? — сквозь слезы спросил мальчик.

— Мистер Линсей, прочтите ему письмо...

— Я получил письмо от Вермонта, — сказал Линсей. Он прочел:

«Дорогой Линсей, приезжайте жить в ранчо — навсегда. Довольно вы работали. Я научу вас охотничьей и степной жизни.

Ретиан и Арета, должно быть, скоро уедут, женятся. Это Роберт сосватал их — на переезде через реку, когда крикнул: «Женитесь, пожалуйста!»

Где этот милый мальчик? Поцелуйте его.
Жду вас, когда хотите.

Ваш Д. Вермонт».

* * *

На другой день Звезда Юга с дядей уже плыли в Порт-Станлей.

Линсей поехал в ранчо «Каменный Столб». Там он и прожил до конца дней, с Вермонтом, Гиацинтом и Флорой.

«Кастор» через месяц прибыл в Испанию, и оба — Рамзай и Инес — начали работать в кино, а также и Хуан, который стал хорошим кинооператором.

Маньяна же, узнав обо всем, умер от злости, — его хватил паралич.

Вентроса освободили соседи только на второй день, когда стало подозрительно, почему квартира Беллы заперта двое суток. От стыда он переселился в другой город.

Белла и Катарина устроились мастерицами на фабрике искусственных цветов.

Ретиан и Арета стали жить в Монтевидео.

Жозеф и его сын здоровы. Они иногда приезжают к Вермонту.

Гопкинс умер от пьянства.

Бандит Пуртос был пойман за разбой в Пелотасе и осужден на семь лет тюрьмы.

Почти все они, каждый по-своему, вспоминают Звезду Юга, а он состоит с друзьями своими по приключениям в переписке. Теперь он в университете, в Филадельфии; работает по изысканию лучшего средства для спасения людей от туберкулеза.

У Инес и Рамзая есть дети; одного мальчика зовут Роберт. И у Ареты и Ретиана есть дети: одного мальчика тоже зовут Роберт.



В. ДРУЖИНИН

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

ПОВЕСТЬ

Т

1

рое нас было... Уцелел я один. Сержант Симко погиб в Померании, старшина Алиев — под Берлином.

Как я выжил, — сам удивляюсь! Вон он, на стенке, — тогдашний Леонид Ширяев. Не узнали? Да, тот молодой парень пилотку-то как заломил лихо! Лейтенантские погоны, как видите, совершенно новые, только что получены. Гордится он ими, — страсть! Даже снялся вот, — по случаю присвоения офицерского звания. Карточку сделала Вера, дивизионный фотограф, — «чудофотограф», как прозвали ее у нас.

Но речь не о ней.

Итак, трое нас вышли в разведку. Был 1945 год, апрель. Сырой, прохладный вечер.

Местность впереди открытая: поле, уже свободное от снега, небольшая рощица, а за ней — холм.

Задача наша — занять на холме наблюдательный пост. Провести там ночь, приглядываясь к тому, что творится на шоссе и в предместье Кенигсберга, а если представится возможность, то и взять языка.

Где-то справа подает голос наша батарея. Выпустит заряд, умолкнет, и тогда слышно, как бьются по сапогам головки прошлогоднего, нескошенного клевера. Они обмерзли и колотятся громко, словно град.

Запал мне в память клевер. И туман. Он ждал нас в роще, где местами еще дотаивал снег. За рощей он немного поредел, а потом стал гуще, — мы спустились в ложбину.

Если бы не туман, не батарея, затихавшая только для того, чтобы перезарядить орудия и изменить прицел, операция наша закончилась бы, должно быть, совсем по-другому. Да что операция! Вся жизнь моя пошла бы иначе. Короче говоря, — стряслось конфузное для разведчика происшествие. Мы наскочили на немецкую траншею.

Прямо против меня стоял молоденький, тощий солдат. В одной руке — саперная лопатка, в другой —дохлая мышь. Должно быть, прикончил ее лопаткой и хотел выкинуть. А перед этим он долбил землю, и я, помнится, слышал смутный шум, но снаряды нашей батареи, завывавшие над головой, не дали мне как следует прислушаться. И вот теперь мы столкнулись лицом к лицу и оба оторопели.

В струйках тумана — еще немцы. И все с лопатками. Застыли, смотрят на трех русских выросших вдруг у самого бруствера. Туман ползет, вьется, и немцы точно плывут и всё вообще — наподобие миража.

Что нам остается? Стрелять, убить как можно больше фрицев, а последнюю пулю — себе. Не дамся живыми...

Рука моя уже отстегнула кобуру. И чую, кожей чую, — спутники мои тоже напряглись, приготовились к последней схватке. Много дорог мы прошли вместе, сроднились. Сплавались, можно сказать, воедино.

Немец с мышью не шевелился. Испуг пригвоздил его. В него первого я и должен был выстрелить.

Но я не вынул пистолет. Счастье, что этот немец — отошавший, окаменевший от ужаса — маячил как раз передо мной. Он помог мне увидеть другой выход.

— Где ваш офицер? — крикнул я и шагнул на бруствер. — Мы советские парламентареры!

Крикнул, а сам соображаю, — на парламентаров мы ведь явно не похожи. Ни белого флага, ни белых повязок на рукавах. И молоды слишком. Особенно — я.

В ту пору я еще стеснялся своего возраста. И внешности своей не доверял. Толстогубая, щекастая физиономия... Словом, в роль парламентаря я входил не

очень-то уверенно. Сейчас, думаю, бросят они лопатки, поднимут винтовки, автоматы...

И, чтобы не дать немцам опомниться, я опять заговорил. Слов немецких у меня не очень много, от волнения я путаю их, безбожно путаю, запинаясь, но чувствую, — молчать нельзя. Надо как можно лучше объяснить им самое главное. Войну они проиграли. Кенигсберг окружен. Порт Пиллау отрезан, помощи ждать неоткуда. Не будет ее ни с моря, ни с суши.

— Складывайте оружие! Сдавайтесь в плен! Мы гарантируем вам безопасность!

Бывало, отправляясь в тыл противника, мы брали с собой листовки с этими призывами и там разбрасывали их. Для практики в языке я читал листовки и многое невольно научил.

— Советская армия обеспечит вам жизнь, возвращение на родину после войны!

Надо бы иначе, — по-своему, а я барабаню по-печатному, как урок! Эх, ма! Вот уже израсходован запас — весь, до самого дна. Я судорожно стараюсь припомнить еще какие-нибудь слова, но нет! Пусто! И я умолк.

Что теперь? Траншея безмолвствует. Солдата с мышью уже нет, на его месте — офицер, лейтенант. Высокий, в очках, весьма штатского вида. Что он ответит? Или ничего не ответит, а скамандует, и они откроют огонь...

— Ja... So... — протянул наконец лейтенант. Потом лицо его задергалось. Он выдавил несколько длинных, сбивчивых фраз. Я понял только, что вести переговоры он не вправе. Надо доложить командиру батальона.

— Веди, — говорю, — нас к командиру.

Сам думаю: «Неужели я еще жив! Чудеса!» — но уже начинаю осваиваться.

Немцы посторонились; мы перешагнули через траншею, и лейтенант повел нас по тропе, выбитой солдатскими ботинками, сквозь кустарник, одевший скат холма, на вершину. В сумерках забелел столб с облупившейся штукатуркой. Скрипит, стонет на ветру железная калитка, свернутая воздушной волной. За горелыми стволами сада — здание. Вернее, — обломок здания.

На безглавой башне еще лепится кое-где выпуклый орнамент — крупные гипсовые раковины. Над входом, в

узорчатой рамке, — надпись: «Санкт-Маурициус». Кроме башни да стены с пустыми окнами, ничего не сохранилось от виллы.

Лейтенант ухнул вниз, в темный провал, мы — за ним. Неяркий луч метнулся из открывшейся двери. Мы вошли в помещение, освещенное круглой походной лампочкой. Она висела на толстом проводе, подтянутом к потолку от аккумулятора. Меня кольнуло. Трофейный аккумулятор, нашей марки! За столом — немец в форме майора, седой, желтый от старости.

На впалой груди майора мерцали ордена. Их было много. Кроме гитлеровских наград, я различил и другие, полученные, верно, в армии кайзера.

Майор с трудом приподнялся и снова сел. Ордена глухо стукнулись. Диковинно выглядел этот дряхлый командир батальона, нацепивший все свои регалии, точно для парада. Похоже, — актер, играющий в каком-то зловещем спектакле.

Лейтенант доложил. Старик громко задышал, а затем стал быстро-быстро выпаливать слова. Сгустки слов. Я уразумел лишь слово «Deutschland», повторенное много раз.

— Имеется переводчица, — сказал лейтенант. Это было как раз кстати.

Между тем в подвал набирались люди. Они топтались позади, но я не оглядывался. Я не выпускал из вида командира и лейтенанта. Дверь опять хлопнула. К столу приблизилась девочка в зеленоватой куртке, в берете с галолитовой брошкой — кленовым листком. Да, именно девочкой показалась она мне с первого взгляда... Детское курносое личико, пятнышко пудры на пухлой щеке.

«Немка? Или из наших? Верно, русская, — подумал я с досадой. — Связалась с ними...»

Не знаю, точно ли передаю тогдашние свои впечатления, — мне и досадно было и больно за нее. Ей бы еще в школу ходить, играть на переменах в жмурки; собирать открытки с портретами артистов, писать на ладошках, перед экзаменом, — «Килиманджаро», «Бабель-мандебский пролив», как это делает моя сестренка Вика, эвакуированная из Калуги на Урал. Эта — ненамного старше Вики, а ростом такая же.

Майор все говорил, не глядя на нас, как бы про себя. Переводчица прижалась к резной спинке кресла, опустила веки, прислушалась, потом одернула курточку и сказала чисто, певуче, с мягким украинским «г»:

— Господин майор учитывает ситуацию на фронте. Он принимает ваше предложение.

— Прекрасно! — вырвалось у меня.

Конечно, парламентеру не полагалось давать волю своим переживаниям. Надо было реагировать по-другому, — сдержанно, с достоинством.

Не ожидал я, что все сойдет так гладко. Ведь майор, матерый служака, наверняка догадался, кто мы такие. Почему же он не захотел даже проверить наши полномочия? Но тут же я понял, что происходит. Никого мы не обманули. Всем немцам ясно, — не парламентары мы, а разведчики, налетевшие на позиции батальона в тумане, случайно. Пусть у нас нет белых повязок, нет отпечатанного текста капитуляции, — это сейчас неважно. Вся суть в том, что Кенигсберг обречен, что войну они проиграли, что их солдаты, голодные тотальники, драться не умеют и не хотят.

Лейтенант наклонился к майору и что-то тихо проговорил. Наступила заминка.

— Просьба есть одна, — сказала переводчица. — Тут два обер-ефрейтора... Им, наверно, дали следующее звание и... Майор просит позволения позвонить в штаб дивизии, узнать. Он считает, — они должны пойти в плен унтер-офицерами.

Слова она произносила не детские, из языка войны, строгие, мужские и от этого становилась как бы старше. И сходство с Викой исчезло.

— Гадюка! — прошептал сержант Симко и поправил на плече автомат. — С Украины она, — факт, товарищ лейтенант.

Однако как же быть? По мне что ж, — и унтерам найдется место в плену. Я их понимаю. Сам недавно получил звание. Но вот звонок в штаб отсюда — это, пожалуй, рискованно. Нет ли тут подвоха?

Я заколебался. Между тем лейтенант уже потянулся к телефону. Переводчица открыла сумочку; в руке ее блеснули ножницы — маленькие, отливавшие никелем и эмалью ножницы. В одно мгновение она оттеснила лейтенанта и... перерезала телефонный шнур.

Ловко!

Тут я поймал себя на том, что думаю о ней без гнева, скорее с любопытством.

— Господин майор не настаивает, — услышал я. — В данной обстановке... Вопрос не имеет большого значения.

Майор, к моему удивлению, кивнул. А ведь она на этот раз не переводила, сказала от себя. Лейтенант, которого она только что оттолкнула от телефона, тоже не противится. Он отошел в сторонку и почтительно слушает ее. Э, да она не простая переводчица! Никак она теперь распоряжается тут?

Майор встал, звякнул орденами и выронил на зеленое сукно стола револьвер. Рука старика дрожала.

Тогда мне было не до него.

Затем к моим ногам упал тяжелый автоматический пистолет лейтенанта. Еще пистолет. В тесном подвале поднялся оглушительный грохот. Офицеры сдавали оружие. Некоторые бросали его прямо в кобурах, вместе с ремнями.

Что чувствовал я? И ликовал, и дивился удаче. И глазам своим не верил. Неужели мы трое взяли в плен батальон фрицев!

— Старшина! — повернулся я к Алиеву. — Расстели плащ-палатку и собери все.

Руки Алиева — смуглые, с тонкими пальцами, проворные, прилежные руки — укладывали оружие, завязывали узел. Еще сегодня утром он так же спокойно, старательно собирал у нас в разведроте зимнее обмундирование: теплые шапки, рукавицы, байковые портянки. А сейчас вот — оружие. Немецкое оружие. Это не сон, — мы действительно взяли в плен батальон фрицев. До чего же здорово!

Капитуляцию солдат мы принимали у траншеи. Винтовки я велел сложить в окоп и засыпать. Лейтенант выстроил солдат; старый майор подозвал двух обер-ефрейторов, вручил им лычки, погоны и поздравил.

Бедняги истово благодарили, и в глубине души я одобрил поступок майора. Парень я был не злой, хоть и стремился, по молодости лет, казаться человеком ожесточившимся на войне, не ведающим жалости.

Я пересчитал солдат. Всего тридцать семь, — не густо! Видать, батальон хватил огонька! Переводчица

подала мне списки личного состава. Все это время, пока мы были у траншей, она суежилась, совалась всюду и даже покрикивала на немцев.

— Из кожи лезет, — жестко молвил мне сержант Симко. — Прищемили хвост, вот и выслуживается.

Выслуживается? Нет, это мне не приходило в голову. Почему-то не приходило. Сержант продолжал в том же тоне, а я не знал, что сказать ему. Странное дело, — одно только любопытство у меня было к ней и ничего больше.

— Разберутся, — бросил я.

На переключке одного солдата не хватило. Лейтенант повторил имя:

— Кайус Фойгт!

Шеренга сумрачно молчала. В эту минуту подбежала переводчица, и лейтенант спросил ее, где Кайус Фойгт. «Она-то при чем?» — подумал я. Оказывается, Фойгт — шофер. Он привез ее сюда и находится у своей машины. Числится в батальоне, а служит в другой части.

— Там, где фрейлейн Катя, — пояснил мне лейтенант. — Вы возьмете машину?

— Не возьмут они ее, — вставила переводчица. — Дырявая, как решето. Вы гляньте.

Я помедлил.

— Тут близко. — И она шагнула ко мне. — Идемте, прошу вас.

Она споткнулась о брошенный кем-то ранец, на миг уцепилась за меня. Что-то новое вдруг появилось в ее тоне, во всем ее облике.

— Товарищ лейтенант, — услышал я быстрый шепот, — идемте. Вы должны мне помочь.

2

Она так горячо, так искренне произнесла это — «товарищ лейтенант», — что я не сделал ни одного протестующего движения и не перебил ее.

— Идемте! Идемте скорее! Там, на вилле... Надо показать вам...

— Что?

— Там ценности, — сказала она. — Вещи. Вещи из советских музеев.

Вещи! Только и всего? К вещам я относился с истинно солдатским пренебрежением. Музеи остались где-то далеко в мирной жизни, почти забытой. Посещал я их не часто. На фронт я ушел восемнадцати лет. Как многие юноши, увлекался техникой. С искусством я был мало знаком. Не дорос еще. Не успел. И слышать о музеях здесь, у траншеи, среди раскиданных на земле ранцев, обшитых ворсистой цигейкой, среди алюминиевых фляжек, тесаков, было как-то непривычно и странно.

Однако мне все равно следовало провести ночь на высоте. Вести наблюдение до утра — таков был приказ.

— Пленных поведет старшина, — сказал я, вернувшись к своим. — Симко будет со мной.

Алиеву я дал инструкции. Передал свой разговор с переводчицей и велел доложить Астафьеву обо всем, не упуская ни одной мелочи.

Симко хмурился. Переводчица раздражала его до крайности. Пока мы лезли на холм, он угрюмо молчал, сопел и бросал на нее свирепые взгляды.

С холма открылось шоссе, стальное от лунного света, и фабричные трубы предместья. В полусотне шагов от виллы за садом, под крутым откосом стоял высокобортный, крытый брезентом, тупоносый грузовик. Несмытые белые полосы зимней маскировки покрывали кузов. Долговязый немец расхаживал взад и вперед по асфальту, подпрыгивал от холода и бил себя по бедрам.

— Это Кай, — сказала переводчица.

— Давай туда, — приказал я сержанту и указал ограду, нависшую над шоссе. — Заодно и на него поглядывай.

— Это русские, Кай, — сказала девушка по-немецки и так, словно речь шла о самом естественном. — Ты в плену. Тебе известно уже?

— Yawohl, — коротко отозвался Кай.

Все же я отобрал у Кая автомат и заглянул, на всякий случай, под брезент.

— Так вы Катя? — спросил я переводчицу, когда мы отыскивали вход в подвал.

— Катя. Катя Мищенко.

Понятно, мне хотелось знать о ней больше. Так и подмывало. Но я сдерживал себя. «Мало ли что она может сочинить, — строго внушал я себе, — Доставлю ее нашим, — там разберутся»,

Между тем в душе я доверился ей. И это смущало меня. Поэтому я напустил на себя строгость, говорил с ней односложно, резко. Именно так, казалось мне, повел бы себя на моем месте Астафьев, командир нашей роты. Он был суровый человек, неразговорчивый. Я любил его и нередко подражал ему.

Круглый стеклянный пузырь на толстом проводе все еще светил в подвале. За креслом, где сидел старый майор, темнела глубокая, узкая ниша. В ней — фигура какого-то святого. Курьезная фигура — с черной негритянской головой, с черными руками.

Из соседней комнаты железная винтовая лестница вела вниз. Я зажег фонарь. Мы спустились.

В луче фонаря возникли дощатые ящики. И другие ящики, — необычного вида, широкие и плоские. Заблестели рассыпанные на полу гвозди. А посреди помещения возвышалась фигура женщины с луком в руке.

— Вот, — сказала Катя, — видите, готово все. — Она прошла среди ящиков, потрогала их, пощупала тюки, потом смирла взглядом статую. — Я должна была вам показать... Чтобы вы, по крайней мере, знали место.

— Ясно, — сказал я.

— В коробках фарфор. Дворцовые сервизы. Кидать нельзя, запомните. Ладно?

Я спросил, что в плоских ящиках. Оказывается, — картины. Вот не думал! До сих пор я встречал картины только в рамках.

Должен заметить, — хоть я и воображал себя непроницаемо строгим, мои настроения все же отпечатывались на моей нескладной физиономии весьма отчетливо.

— Я тоже вот, — она засмеялась, — как пришла первый раз в музей, в хранилище, — мне жалко их было, жалко картин. Море плещет, деревья шумят, люди как живые написаны, — да как же можно это трогать, из рам вынимать... и в темницу...

Я ничего не ответил. Я сжался весь еще сильнее от того, что она так внезапно и непрошенно заглянула мне внутрь. А она, как ни в чем не бывало, порхала по комнате, сыпала именами. Я уже не помню сейчас всех художников, которых она назвала тогда. Я не знал их, — кроме Айвазовского.

И тут меня прорвало. Мне вдруг взбрело на ум показать, что и я не лыком шит.

— Девятый вал, — сказал я.

У нас дома, в Калуге, висела репродукция «Девятого вала».

Катя улыбалась. Веселые, лукавые искорки плясали в ее глазах. Я насупился.

— Что вы, этой картины нет! — услышал я. — Она в Москве, в Третьяковской галерее. Тут полотна из минской галереи, из нашей киевской. — Тон ее стал опять деловитым, как вначале. — Грузить будете — стоймя ставьте, как здесь. А вот с Дианой, — она обернулась к статуе, — сложнее обстоит. Ящик сколотите. Только сосна не годится. Сосна не выдержит. Дуб только. И потом...

— Я не плотник, — вставил я.

— Это всех касается! Все! Вы знаете, где она стояла раньше? В Петергофском парке! Ой, лышеньки, да зачем вы молчите так! Да вы ж не представляете, какое это богатство. А тут малая часть. Он же массу всего вывез...

— Кто? — не выдержал я.

— Фон Шехт. Хозяин виллы. Мой начальник. Вы слышали про эйнзатцштаб?

— Никак нет.

— Эйнзатцштаб — это... — начала она и запнулась. — А вы поверите мне? Нет, — она покачала головой, — лучше спросите про штаб... И про меня... У Бакулина. У Бакулина!

Я знал его. Майор Бакулин, офицер разведотдела армии, часто бывал у нас в роте. Я насторожился. Мало ли почему он мог быть известен в этом, как его, эйнзатцштабе! Если она связана с Бакулиным, работает на нас, то почему он не ориентировал Астафьева, меня? Не предупредил о возможной встрече? Бакулин с его редкой памятью, рассудительный, внимательный. Бакулин не упустил бы...

Я терялся в сомнениях. В душе доверие к ней, вопреки логике моих размышлений, еще жило, но я решительно заглушал его.

— Вы поможете мне, правда? — спросила она и, подтянувшись на носках, глянула мне прямо в лицо. — Правда? Вы отпустите меня?

Куда? Еще больше насторожился я, когда она объяснила. Обратно, к немцам, в Кенигсберг, — вот куда ей

нужно, оказывается! Большая часть музейных вещей там. Гитлеровцы сейчас прячут их, и ей надо быть в курсе. Иначе их не найти потом.

— Это же для нас... Лышеньки! Там на миллионы, на миллиарды... Из Петергофа вещи, из Пушкина...

— Не могу, — сказал я.

Ни в Пушкине, ни в Петергофе я не был. Я не имел о них почти никакого понятия. Возможно, все это так, что она говорит. Но я не могу, не имею права отпустить ее. Я отвел луч фонаря вниз, к истоптанному, в трещинах, бетонному полу. Не видя ее, мне легче было противиться ей.

— Хорошо, — вздохнула она. — Тогда вы сообщите Бакулину.

— Что?

— Это самое и доложите, — произнесла она жестко. — Что я вас просила, а вы...

— Душно здесь, — сказал я. — Пошли.

Мы выбрались из подвала и остановились у портика с надписью «Санкт Маурициус». Луна зашла за облака. Стемнело. Где-то гремел на ветру лист железа, словно подражал орудиям, рокотавшим вдаль. Теперь уже не одна, — несколько батарей, наших и немецких, ввязались в спор. Мраморная Диана, картины в ящиках, дворцовый фарфор — все это показалось мне до странности чуждым войне. Как будто я только что прослушал сказку о спрятанных сокровищах.

Катя нахохлилась. Галолитовый листок на ее берете блеснул ниже моего плеча.

— Если вы такой... Ведите меня туда, к нашим! Мне же скорее надо обратно!

— Подождет ваше дело, — сказал я.

Сняться с холма я предполагал на рассвете. Но получилось иначе, — командование сочло нужным занять обнажившийся участок, улучшить свои позиции.

Удивительно быстро обосновываются солдаты на новом месте. Возникли окопы, огневые точки, замаскированные плетнями из ивовых прутьев. На склонах выросли шалаши. Запахло махоркой, срезанным можжевельником, оружейным маслом.

В подвале расположился командный пункт стрелкового полка. Я зашел туда, поручив Катю сержанту Симко.

— А я тебя ищу, — раздался голос Астафьева. — Где твоя переводчица? Давай ее!

Не только он, и Бакулин приехал, чтобы свидеться с ней. Им отвели шалаш, и я привел туда Катю, задыхаясь от нетерпения. Седой майор шагнул к Кате, взял за плечи и поцеловал в лоб.

— Девочка хорошая! — сказал он.

Я буквально прирос к полу. Все смешалось в моей голове. Почему же, почему нас-то не предупредил Бакулин? Но не мне было задавать вопросы майору. Астафьев покосился на меня и дернул свой ус движением, означавшим, что мое присутствие излишне.

Сержант Симко караулил машину. Шофер Кайус Фойгт мирно похрапывал в кабинке.

— Наша она! Наша! — шепнул я сержанту. Радость распирала меня, я не мог не поделиться ею.

Катя пробыла с офицерами не дольше получаса. Потом вызвали меня. Майор дописал что-то, промакнул и отставил пресс-папье. Он хмурился. Астафьев дергал свои чапаевские усы.

— Проводить надо товарища, — произнес он. — Мимо боевого охранения... В общем, на ту сторону. Саперы уже, поди, заложили свои гостинцы на шоссе, так ты, первым делом, ступай к ним. Пусть укажут объезд.

Меня точно резнуло...

Зачем? Разве так необходимо? Идти обратно, в осажденный город, ради вещей! Ведь не сегодня-завтра Кенигсберг будет в наших руках. И все, что там есть. Выходит, я напрасно задержал ее. Только отнял у нее время и, может быть, повредил ей. Ну, конечно! Возвращаться — так сразу, а сейчас это опасно вдвойне... Привычное «слушаюсь» не шло с губ, его стало вдруг очень трудно выговорить. Трудно, как никогда.

— Товарищ майор, — начал я, — разрешите... Я готов и дальше с ней... Если найдете целесообразным.

Наверно, это выглядело нелепо, по-мальчишески. Но молчать я был не в силах.

— Не нахожу, — отрезал Бакулин. — И ее под топор подведете, и вам несдобровать. Нечего! — Он сердито откашлялся и добавил мягко: — Вы правильно поступили, лейтенант. Верно, Астафьев?

Как раз такие слова мне очень нужны были в ту минуту. Но стыд, чувство вины перед ней не проходили.

— И немца с ней? — спросил я.

— Да, и немца. — Лицо Бакулина теплело. — Не все они фашисты, Ширяев. Не все.

Ох, до чего же опять нелегко повиноваться! Немец все-таки! Правда, при мне наши политработники отпустили пленных в распоряжение врага, с листовками: агитировать, разъяснять правду о Гитлере. Я сам сопровождал однажды пленного через наш передний край. Но Кайус Фойгт!.. Ведь, коли он побывал у нас с Катей, — жизнь ее зависит от него. Что, если выдаст!

— Действуйте, лейтенант, — кивнул Бакулин и задержал на мне ласковый взгляд. — Прошейте им кузов из автомата да у минометчиков попросите огонька. Легенда такая: заблудились, наткнулись в темноте на красных, едва улизнули.

— Ясно, — выдавил я.

Я сам всадил очередь в задний угол кузова. Несколько мин лопнуло впереди, на шоссе, затем Катя села в кабину, я втиснулся рядом. Кайус Фойгт дал газ, и мы не спеша, на тормозах скатились с холма. Катя зябко ежилась.

— Ой, звездочка упала! — воскликнула она. — Я загадала. Значит, все будет хорошо.

Она улыбалась мне, ободряла меня. От этого становилось еще тяжелее. Мы объехали минное поле, я вылез и пожал маленькую, холодную руку.

— Простите меня, — только и сумел я сказать.

Начинало светать, и машина не сразу скрылась из вида. Я стоял и смотрел. Вот она превратилась в бесформенный комок и растворилась в сумерках. Некоторое время еще слышалось жужжание мотора, потом его заглушил отдаленный гомон зениток. Край неба вспыхнул, там занимался пожар. Где-то переговаривались дальнобойные. Озаряемое сполохами, лежало каменной целиной предместье вражеского города, и к нему, в неизвестное, двигалась маленькая, бесстрашная девушка...

3

Вы поймете, как нетерпеливо ждал я вестей от Кати, когда мы вошли в Кенигсберг.

Дышалось по-весеннему. На Университетской площади, где генерал Ляш со своим штабом сложил зна-

мена, дерзко пробивалась в обгоревшем сквере молодая зелень. В тот год весна несла самый драгоценный дар — победу, мир. И хотя в городе то и дело рвались мины, возникали пожары, а пленные немцы рассказывали о каком-то «тайном оружии», будто бы имеющемся у Гитлера, мы все знали: дни фашистской Германии сочтены.

Неужели Катя не дожидается?..

Она не встретила нас. Явки, которые она дала Бакулину, не состоялись.

Значит, случилась беда. Чувство вины перед ней и раньше донимало меня, а теперь оно стало невыносимым. Я рисовал себе ее в застенке, в руках палачей. «Если она погибла, — думал я, — то из-за меня».

Бакулин предпринял розыски. Я понадобился ему, так как видел Катю и шофера. От Бакулина я и узнал ее историю.

Жила Катя сперва в Майкопе, потом — в Киеве. Окончила там семилетку, поступила в музей, на техническую должность. Полюбила музей. Когда Киев захватили немцы и стали вывозить сокровища, Катя вызвалась сопровождать эшелон в Германию. То было поручение комсомольского подполья — не выпускать из вида музейное добро.

Юная девушка, наивная, почти ребенок, — кто заподозрит, что у нее секретное задание! Ограблением ценностей культуры ведал эйнзатцштаб Альфреда Розенберга. Катя устроилась в штабе переводчицей. Немецкому языку ее обучали еще в детстве. В музее Катя успела прослыть ходячим каталогом. Она держала в памяти тысячи имен, дат.

Последнее время Катя была в Польше. В Кенигсберге она очутилась недавно. Вот почему Бакулин не предупредил нас. Он сам не рассчитывал встретить Катю на нашем участке.

— Миссия ее, в сущности, почти закончена, — сказал Бакулин. — Много сведений уже получено от нее, кое-что она сама мне сообщила. Но... Она, понимаешь, считает, что рано ставить точку. Аргументы у нее серьезные.

Луч солнца, пробившийся сквозь цветное стекло узкого окна, освещал лицо Бакулина, доброе и немного грустное. Разведотдел занял помещение духовной школы.

— Вещи! — воскликнул я с досадой. — Да куда они денутся, товарищ майор!

— Могут и пропасть. Вопрос не такой простой, Ширяев. Но мы убедили ее не увлечься, по крайней мере. Ограничить цель. В Кенигсберге, видишь ли, находится знаменитая Янтарная комната.

— Комната? — спросил я.

— Отделка комнаты, точнее говоря. Не слыхал? Видел я ее. Богатый в Пушкине дворец, всего не запомнишь, а это забыть невозможно. Комната в огне будто. В золотом огне. Он тлеет, тихонько тлеет, а тебе сдается, — вот-вот вспыхнет пламенем. Даже жутко. Раздобудем ее в Кенигсберге, — и ты увидишь.

— Не влечет, товарищ майор, — сказал я. — Что в ней? По сравнению с жизнью человека...

Для меня она была далека, как все мирное, — Янтарная комната; как дома «Девятый вал» в рамке, выпиленной лобзиком; как мои школьные учебники, закапанные чернилами; как плеск весел на Оке.

— Согласен, — молвил майор. — Человек дороже всего. Но ты ответь, — можно запретить человеку идти на подвиг?

В тот день Бакулин долго не отпускал меня. И я изливал ему свою душу.

Астафьев — тот восхищал меня храбростью, хладнокровием в бою, но отдалял от себя суровостью. Причину он не скрывал. Война отняла у него всех близких. «Сердце из меня вынуто», — бросил он как-то, хватив трофейного шнапса. Бакулина я знал еще мало, чуточку робел перед ним, но тянулся к нему. Вырос я без отца и, должно быть, знакомясь со старшими, бессознательно искал отеческое...

Сегодня впервые Бакулин говорил мне «ты». Катя словно сблизила нас.

— Располагайте мной, товарищ майор, — сказал я. — Раз я допустил ошибку...

— Опять ты за свое... — Он покачал головой.

— Судить меня не за что. Верно, — отозвался я, — устав я не нарушил. А все-таки есть моя вина!

В чем она состоит, — я не мог как следует объяснить. Чувствовал я себя как бы пойманным в трусости. От смерти в бою не бегал, а довериться человеку в решительную минуту смелости не достало.

— Ну-с, ближе к делу! — отрезал Бакулин.

Я выслушал инструкцию. В Кенигсберг Катя приехала с двумя офицерами эйнзатцштаба — подполковником фон Шехтом и обер-лейтенантом Бинеманом. Известен еще шофер — Кайус Фойгт. Их и надо обнаружить прежде всего.

Я вышел.

Наводить справки, отыскивать кого-нибудь в чужом городе, только что занятом, — задача нелегкая. Я убедился в этом очень скоро. Фойгт как в воду канул. Не было никаких сведений ни об эйнзатцштабе, ни о его офицерах. В комендатуре пожимали плечами. Немцы — пленные и штатские — не знали или отмалчивались. Наконец, на третий день мне принесли пакет со штампом немецкого лазарета.

«Подполковник Теодор фон Шехт скончался 10 апреля от сердечного удара», — прочел я.

Среди несметного количества смертей, изобретенных людьми, естественная, невоенная причина казалась неправдоподобной. К тому же речь шла о фон Шехте — грабителе фон Шехте. Требовалась проверка.

Бакулин дал мне «Виллис», и я поехал. Сперва машина колесила по центральным улицам, разгромленным бомбовыми налетами англичан, огибала завалы, воронки, противотанковые надолбы, поваленные деревья. Я держал на коленях план Кенигсберга. Двигаться среди руин было трудно. Потом мы вырвались в западную часть города, почти не тронутую бомбами. «Виллис» остановился у серого особняка. У подъезда, под тяжелым узорчатым железным фонарем, советский офицер-медик — потный, в расстегнутом кителе — растолковывал что-то немкам-санитаркам.

— Фон Шехт? — Медик поднял брови. — Совершенно верно, — умер.

— Tot, tot, — закивали санитарки.

— Удар? — спросил я.

— Точно, точно, — подтвердил медик. — Я сам очевидец.

Одна из санитарок принесла небольшой желтый чемоданчик. Медик достал из кармана ключ.

— Документы умерших, — сказал он.

Синий сафьяновый бумажник с инициалами фон Шехта мне бросился в глаза сразу. Он словно аристо-

крат, чванный, пузатый, раздвигал потрепанные паспорта и солдатские книжки. Вывалилось офицерское удостоверение, пропуск штаба гарнизона, два орденских свидетельства: одно — к железному кресту, другое — к кресту с дубовым венком. На фотоснимках — узкое лицо, словно рассеченное широким, плотно сжатым ртом, вдавленные виски, высокий, без морщин лоб. Год рождения 1898-й, — сообщали документы. Но ему можно было бы дать и тридцать лет, и все пятьдесят. Лицо без возраста... Вот пачка визитных карточек, «Фон Шехт», — стояло на них крупно, затейливой старинной вязью. Вспомнилась вилла «Санкт Маурициус» — башенка, униженная гипсовыми раковинами. И еще одна подробность возникла в памяти при взгляде на карточки. На каждой, в левом верхнем углу, красовалось изображение святого с черной негритянской головой. Того самого, что стоял в подвале виллы, в нише.

— Святой Маурициус, — произнесла санитарка постарше, и остальные опять закивали.

Уголок сложенной вчетверо бумажки торчал из бумажника. Я развернул.

«К ногам могучей немецкой империи складывает покоренная Россия сокровища, накопленные царями и блиставшие в их дворцах. Немец! Посмотри на эти трофеи! Они по праву принадлежат расе господ».

Бумажка перетерлась на сгибах, потеряла глянец, — фон Шехт, очевидно, давно хранил этот рекламный листок. Как сообщалось далее, выставка вещей из дворцового убранства открыта в Орденском замке, и в числе экспонатов — Янтарная комната из Екатерининского дворца в городе Пушкине.

Вот и все содержимое бумажника. «Пожалуй, только реклама выставки и представляет интерес», — думал я, трясаясь в «Виллисе». Теперь установлено по крайней мере, где показывали Янтарную комнату — предмет особых забот Кати.

— В замок! — приказал я водителю.

Орденский замок — в самом центре города. Первый раз я увидел его в день штурма. Багровое пламя вырывалось из окон угловой башни. Он стоял в клубах дыма, над пустырями, над горами битого камня. Жилые кварталы окрест рухнули, а замок стоял. Ловкие мастера воздвигли когда-то это здание вышиной сось-

миэтажный дом. Бомбы, пожары сильно повредили его; стены местами обвалились, но он все же выдержал.

«От зámка на зюйд», «Мимо зámка и вправо», — так говорили тогда у нас, уточняя направление. Он виден издалека. Но только теперь, поднимаясь по ступеням лестницы, ведущей к воротам, я почувствовал всю мощь древней твердыни. Зámок словно придвинулся и навис надо мной. Угрожающе клонилась башня, мохнатая от опаленного, порванного плюща. Струйки дыма сочились из амбразуры, — внутри что-то еще горело.

От этого зámка и пошел Кенигсберг. Оплот Тевтонского ордена, немецких псов-рыцарей был его началом, его сердцевинной. Потом зámок стал резиденцией прусских королей. Один из них — Фридрих-Вильгельм — принимал здесь русское посольство, во главе с Петром Первым... Но это всё я узнал позднее.

Холодом, извечной сыростью камня, духом гнили пахнуло на меня во дворе. Есть ли тут где-нибудь жизнь? Мы миновали арку, вошли в следующий двор. Гудит мяч, — люди в голубоватых, застиранных халатах играют в волейбол; несет йодоформом. Санчасть. Рядом, в углу, у маленькой кирпичной пристройки толчется часовая. Верно, — кладовая. На двери с замком дощечка: «Мин нет». А справа, в глубине двора, они, может, еще есть, — там ходят саперы, тычут в землю свои шупы. И какой-то штатский, коротенький, в помятой зеленой шляпе, увязался за офицерами, жестикулирует, зовет куда-то.

Я подошел.

— Его зовут Моргензанг, — сказал, смеясь, лейтенант, мой ровесник. — Утренняя песня, следовательно. Он хозяин кабачка.

— Какого кабачка?

— Вот же, — лейтенант задрал голову, — кровавый суд! Придумал же!

«Bentgericht», — блестели стальные буквы, прибитые прямо к стене.

— Тут в старину был зал суда, — продолжал лейтенант, и в голубых глазах его светилось насмешливое удивление. — И камера пыток. Давно, еще при рыцарях. Чудак же! Спрашивает, нельзя ли ему опять открыть свое заведение. Для наших офицеров. Конкурент Военторгу! — Лейтенант расхохотался, довольный своей шут-

кой. — Он говорит, многие высокопоставленные лица посещали кабачок. Топоры, клещи там, железные прутья развешаны, кольца, — куда пленников заковывали. Все подлинное. Очень, говорит, редкий локаль. Вот, хочет продемонстрировать.

Немец подбежал к нам.

— Нет мин, господа, уверяю вас! Я же был тут. Ой, вы бы видели маскарад! Фольксштурмовцы сперва храбрились, а потом сорвали с себя мундиры и драла. В музейных костюмах! В камзолах, в плащах времен Лютера. Бог мой! А я и не подумал уходить. Зачем? Я вывесил скатерть, белую скатерть и встретил русских здесь. Да, да, может ли капитан покинуть свой корабль? Нет, господа! Так и я!

— Порядок! Гут! — раздалось за стеной, внутри. Солдат-сапер прыгнул с подоконника к нам. Моргензанг тотчас ринулся вперед.

В кабачке все побелело от осыпавшейся штукатурки — прилавок, круглые столики, пыточное кольцо, вбитое в стену. На полу валялись бутылки с этикетками французских, греческих вин. Моргензанг носился по залу, рылся в кладовых, гремя пустой посудой, и скорбно вздыхал.

— Ах, господа офицеры, ничего нет, абсолютно ничего! Пустыня Сахара! — форевал он, вздымая руки. — Проклятые эсэсовцы! Все сожрали!

Войдя в азарт, он перечислял вина, которыми хотел бы нас угостить, токайское полувековой давности, старый рейнвейн. Прищелкивая языком, Моргензанг рассказывал, какие блюда составляли гордость его предприятия. Прежде всего — фаршированный цыпленок! Тут Моргензанг молитвенно затих.

— Объяденье! Чудо! — воскликнул он. — Цыплят я получал из Литвы, очаровательных цыплят.

Он поперхнулся и заговорил о датских сырах. Затем он перешел к отечественной кухне.

— Сырой фарш с луком вы ели? — спрашивал он. — У вас в России это не принято, кажется. Напрасно. В Германии модно! Некоторые даже требовали фарш с кровью, по древнегерманскому обычаю...

Лейтенанта это откровенно забавляло. Он был сильнее меня в немецком, то и дело принимался переводить, смеялся от души,

— Ох, потешный частник! — приговаривал он. — Гастрономическая песня. У меня уже живот подводит.

С трудом я прервал излияния Моргензанга, припер в угол и дал ему листок с рекламой выставки. Он вытер руки о плащ, осторожно взял листок за уголки и пошевелил белесыми бровями.

— Да, выставка была. На втором этаже, в бывших королевских покоях. Роскошно! Великолепно!

Он прибавил, что пускали туда не всех, и он, Моргензанг, ни за что бы не попал, если бы не клиенты. Они устроили ему протекцию.

Я спросил, куда делась выставка. Оказывается, в сентябре, во время налета англичан, туда угодила зажигательная бомба. Часть вещей пострадала.

— Только часть, и не самая ценная, если верить слухам. После налета вещи упаковали и стащили вниз, в подвал. Своды там, знаете, какие! Лучшего убежища не найти. Тевтонские рыцари, они, верно, предвидели авиацию, бомбы! Х-ха!

Накануне штурма города Моргензанг увидел во дворе зámка ящики, груды ящиков. В них была отделка Янтарной комнаты, — зеркала с прикрепленными к ним камнями. Как он узнал? Очень просто, — ящики были помечены буквами «В» и «Z». Эсэсовцы подтвердили, — да, это царская Янтарная комната. Ящики лежали прямо на асфальте, под дождем, и Моргензанг спросил себя, — что же будет с царскими сокровищами дальше. Цари, вероятно, и вообразить не могли такое. Эсэсовцы успокоили его. Дождь не страшен, у ящиков двойные стенки с прокладками.

— Слава богу! Значит, все в сохранности. Сейчас ведь не делают таких изумительных вещей. Вообще все прекрасное — в прошлом. Увы, это так! Что дал нам прогресс? Бомбы! Бомбы!

— Э, да вы философ, — заметил лейтенант-сапер.

— О, да, господа! Кенигсберг — город Канта. Мне передавали, — ваши военные положили цветы на могилу Канта. О, это благородно! Здесь всегда была интеллектуальная атмосфера, пока не явились нацисты. Ах, вы бы видели, что творили эсэсовцы здесь, в моем кабачке! Варвары, настоящие варвары!

— Какие эсэсовцы? — спросил я.

Имен он не знает. Да разве упомнишь всех! Кабачок обслуживал военных. Он был открыт до последнего дня, несмотря на пожары, на бомбежки. Тут Моргензанг горделиво выпятил грудь. А эти эсэсовцы были последними посетителями. Выпили, съели все самое лучшее, потом переколотили бутылки, консервы забрали, сыр и масло облили керосином. Такой был чудесный круг сыра из Дании! И ничего не заплатили. И это наводило на размышления. Ведь жителей Кенигсберга уверяли, что город никогда не будет сдан, что Берлин посылает на выручку осажденным парашютные дивизии. Пока клиенты платили, еще можно было поверить.

— Шумели тут эсэсовцы, безобразничали и поглядывали в окна. Ждали машину. Вечером — уже стемнело — во двор вкатился грузовик с русскими пленными. С ними был обер-лейтенант, очень толстый, и переводчица. Русская фрейлейн, молодая, маленького роста.

— Катя! — вырвалось у меня.

Я стиснул плечо лейтенанта. Моргензанг начал старательно вспоминать, как выглядела русская фрейлейн. Да, синий берет, кожаная зеленоватая куртка.

Катя! Катя!

Как только появилась машина, все эсэсовцы высыпали во двор. Моргензанг вышел. Ему любопытно было, что же происходит? Пленные погрузили ящики. Моргензанг спросил одного офицера, куда их везут, тот ответил: «Туда, где их сам дьявол не отыщет» — и уехали.

— И переводчица тоже? — спросил я.

Да, маленькая русская фрейлейн села в кабину вместе с обер-лейтенантом.

Моргензанг заметил и волнистые белые полосы на кузове — несмытую зимнюю маскировку. И шофера запомнил. Высокий, с тонкой шеей. Он очень уважал русскую фрейлейн.

— Да, глядел на нее, как мальчик на свою мать. Забавно! Он — верзила, а она — такая миниатюрная фрейлейн. Шофер помогал грузить, — все они очень спешили; и фрейлейн волновалась, все напоминала: «Осторожно, там стекло». Боялась, как бы не разбили.

Больше Моргензанг ничего не мог сказать нам. Он проводил меня до ворот и напоследок снова выразил свое самое заветное, самое искреннее желание — открыть кабачок «Кровавый суд» для русских офицеров.

Итак, накануне штурма Катя была жива. Что же случилось с ней потом?

Найти бы кого-нибудь из тех пленных! На окраинах Кенигсберга, как грибы, разрослись бараки, обнесенные колючей проволокой. Узников гоняли на фабрики, на оборонные работы.

Вечером Бакулин выслушал мой доклад.

— Мы на верном пути, — сказал он. — Ты прав; надо поискать среди пленных. Они еще здесь. Идет процедура учета, репатриации. Терять времени нельзя.

Минул день, другой. След Кати снова оборвался. В одном лагере ее видели, — она приехала с обер-лейтенантом; им дали группу пленных. Они не вернулись в лагерь. Это было накануне штурма.

Итак, Катя была тогда жива. Взяв пленных, «Опель» Кайуса Фойгта прибыл в замок за янтарем. Оттуда Катя уехала. С Фойгтом, с обер-лейтенантом, — возможно, Бинеманом, помощником фон Шехта.

Куда?

4

На доклад к Бакулину я являлся каждый вечер.

— Как вы-то думаете, товарищ майор? — спрашивал я его с тревогой. — Жива она? Есть надежда?

— Данных нет, — отвечал он. — Надежду не теряй, Ширяев. Составил я вчера бумагу для начальства. О ней. Знаешь, рука не поднимается написать — «пропала без вести». Ну, никак... Достанем вести! Верно?

Однажды я застал у него незнакомого полковника — краснолицего, с острой бородкой, белой как снег. Оба рассматривали что-то, скрытое от меня бронзовым письменным прибором.

— Товарищ полковник, — сказал я, — разрешите обратиться к майору!

— Ради бога, голубчик, — протянул тот. — Зачем вы спрашиваете? Обращайтесь сколько вам угодно.

Я опешил.

— В армии спрашивают, — пояснил гостю Бакулин и улыбнулся мне. — Уставное правило. Ну, что у тебя?

Штатские манеры полковника смутили меня. Я молчал.

— Познакомьтесь, — сказал майор и обернулся к гостю. — Это Ширяев. Тот самый...

Я едва устоял на ногах, — с таким жаром бросился ко мне этот диковинный полковник, схватил за плечи, отпустил, снова схватил и стал трясти.

— Ширяев? Нуте-ка, дайте полюбоваться на вас. Орел! Орел! Вы наградили его, товарищ Бакулин? Эх, дали бы мне право, я бы вам высший орден... Ну, молодец! Батальон в плен взял! Глазом не моргнул!

— Остатки батальона, — поправил я, не зная, куда деться от столь неумеренных похвал.

— А я Стóрицын, — заявил он. — Стóрицын. Ударение на первом слогe.

— Очень приятно, — проямлил я.

— Профессор Сторицын, — продолжал он. — И вот полковник, без году неделя. Командировали сюда, одели. Все честь отдают, а я не умею. Клянюсь, знаете, как самый паршивый штафирка. Зрелище мерзкое. А?

— Звание присвоил министр, — веско произнес Бакулин. — Ну, что у тебя, Ширяев? Не стесняйся. Полковнику тоже интересно.

Я доложил. Сторицын сел. Пока я говорил, он кивал, вздыхал, и я почувствовал, — история Кати Мищенко ему уже известна.

— Значит, нового ничего, — подвел итог Бакулин. — Теперь насчет дальнейшего.

Он подозвал меня, и я увидел то, что они разглядывали, когда я вошел. На столе лежал портрет. Портрет женщины в платке, написанный масляными красками на небольшом холсте, потемневший, местами в паутинке трещин. Что-то заставило меня еще раз посмотреть на него.

— Венецианов, — сказал Бакулин. — Подлинный Венецианов. Минской галереи.

Я не слышал о таком художнике.

— О дальнейшем, Ширяев. Порфирий Степанович прибыл к нам по распоряжению правительства, за музейным имуществом. Будешь ему помогать.

А как же розыск? Я испугался. Первая моя мысль была, — не решил ли Бакулин снять меня с задания. Дни идут, а результатов никаких. Чего я добился? Вот сейчас он скажет, что я не справился, и дело поручат

другому, а меня — под начало к этому профессору. Рыскать за спрятанными картинами, за всяким музейным добром!

— Ясно, — выдавил я.

Бакулин засмеялся.

— Что тебе ясно? Ну!

— Не сумел я... Отстраняете меня, выходит... Сожалею, товарищ майор.

— Ах, так? — Он нахмурился. — Ничего ты не понял. Не разобрался ты, для чего находилась у немцев Катя Мищенко. Миссия ее тебе безразлична, а если так, то, может быть, тебя действительно следует отстранить.

— Полноте! — всполошился Сторицын. — Такого молодца, и вдруг...

Недоставало мне его участия! Я помрачнел еще больше. Но лицо Бакулина уже потеплело.

— Отвык ты от мирной жизни, Ширяев, — начал он. — Забыл ее, что ли. Огрубел. Я до войны был следователем. Бывало, измучаешься дьявольски, вся душа, как бы выразиться, в мозолях от соприкосновения с разной слякотью. Выберешь свободный вечер — и в филармонию. Послушаешь Чайковского, и вроде вокруг тебя светлее стало. Вера в человека поднимается. Вот ты читал в газетах, — гитлеровцы разорили домик Чайковского в Клину, новгородский Кремль разрушили. А ты задумывался, — почему? Да ведь они русскую нацию хотели убить. Что мы такое без русской национальной культуры, без книг Пушкина, без картин Репина, Сурикова! Без Венецианова, — он показал на портрет. — Или взять Янтарную комнату. Я повторяю, — впечатление незабываемое. Стены в огне. Два века назад зажгли этот янтарный огонь, костер этот, а он все горел, светил нам... Такие вещи цены не имеют, они дороже денег. Это культура наша. Она и в нас, — понял?

— Браво, браво! — Сторицын захлопал мягкими ладонями. — Да что вы напустились на него! Понимает он, отлично понимает.

— Умом — может быть, а сердцем — еще нет. Катя Мищенко тоже Родину защищала. Не хуже нас с тобой. Так вот, надо завершать ее миссию. Благородную миссию, Ширяев. Искать то, что фон Шехт и прочие

увезли в Германию, в Кенигсберг. Раскрыть все махи-
нации, всю подноготную этого эйнзатцштаба. Без этого
мы и о Кате вряд ли узнаем что-нибудь. Ясно тебе,
Ширяев? Ясно, почему задание у тебя и у полковника,
по существу, одно? Нам без него не обойтись, а ему —
без нас.

Сейчас мне странно вспоминать, — до чего же про-
стые истины надо было мне втолковывать!

— Утром поедешь с полковником на высотку... На
виллу фон Шехта, — закончил Бакулин. — Покажешь
там все. А теперь ступай. Подумай как следует.

5

Как только мы двинулись к высотке, Сторицын на-
чал проверять мои познания.

— Полный профан, — признался я. — Одного Айва-
зовского помню: «Девятый вал».

— А «Черное море»? Неужели не знаете? — изумился
он. — Да ведь у нас никто, понимаете, ни один худож-
ник еще не сумел так выразить... огромность моря, си-
лищу его... Вот Англия — остров, морская держава, а
ведь и там никто не мог так... А труженик какой!
Сколько картин написал! Сам он счет потерял. А когда
подсчитали, уже после него, — около шести тысяч по-
лучилось в итоге.

Я узнал, что Айвазовский писал не только пейзажи.
У него есть и исторические картины. Славные сражения
русского флота, Колумб на палубе своей каравеллы,
серия картин о Пушкине...

Об Айвазовском я слушал с интересом. Потом Сто-
рицын стал называть других художников. Жили они
давным-давно, но Сторицын говорил о них, как о совре-
менниках. Так, будто он только что видел их.

— А Федотов, Федотов! Ну что за молодец, ей-богу!
Служит в полку при Аракчееве, кругом рукоприклад-
ство, муштра, а он примечает — и бац! Вот гляди, фан-
фарон, тупой экзекутор, какой ты есть! Полюбуйся на
свой портрет! Или, скажем, «Смерть Фидельки». У ба-
рыни собачка сдохла, Фиделька. Переполох поднялся!
Дворня, приживалки не знают, как и утешить барыню,
носятся вокруг... И видишь эту барыню насквозь. Ви-
дишь ее самодурство, капризы, видишь, как она дворо-

вых лупит, хоть и не показано это на рисунке. Вы, милый, можете уйму книг прочесть о крепостничестве, о николаевской эпохе, и все-таки, чтобы наглядно себе все представить, вам понадобится Федотов.

Ну, а взять Перова, Василия Григорьевича. «Суд Пугачева» тоже незнаком вам? Нет? Ну, когда увидите, поймете, сколько надо было мужества иметь — изобразить так Пугачева, бунтовщика... В царское-то время! Перов народного героя написал. А «Похороны крестьянина», «Тройка»! Трое ребят везут сани, а на них тяжеленная бочка с водой. Зима, гололедица... У Перова каждая картина обвиняла, жгла угнетателей народа. И Венецианова не знаете?

— Нет, — вздохнул я, вспомнив картину в кабинете Бакулина.

— Тоже подвиг. Жизненный подвиг. Мог бы ведь вельмож писать, дворян, иметь большие деньги, а он с мольбертом — перед крепостной крестьянкой. Красоту простого человека передать стремился... И картин Шевченко не знаете?

Я пожал плечами.

Конечно, представить себе картины мне было трудно. Они, наверно, очень хорошие, — думал я. И та, в подвале виллы, не хуже, должно быть. Спасла их Катя. Сторицын не говорил о ней, но я находил в его словах и похвалу Кате. Вот бы она слышала...

На холме, в подвале виллы и автобусах расположились связисты. Сторицын произвел сенсацию. Держал он себя препотешно: поднося ладонь к козырьку, добродушно кивал, путал звания, одного младшего лейтенанта величал майором. Солдаты фыркали в кулак.

Мне было совсем не смешно. Хотелось поскорее оставить его одного с картинами и уехать.

Однако, когда мы распечатали дверь и вошли в низкий подвал, я помедлил. Здесь все так напоминало о Кате!

С луком в руке спешила за невидимым зверем Диана. Две поджарые борзые лизали ее голые икры. Так же пахло сыростью и красками. Я скользил лучом фонаря по ящикам. Они словно хранили секрет, касавшийся Кати...

Бойцы приволокли аккумулятор, наладили освещение, затем принялись распаковывать. Заскрипели доски.

В открытом коробе сверкнул фарфор. Мы бережно вынимали позолоченные тарелки, блюда и ставили на плащ-палатку, — это поистине универсальное одеяние солдата, которое может стать и жильем и постелью, мешком и ковром.

— Севр! — восклицал Сторицын. — Видите марку? Изделие севрского завода во Франции. А это наше, Императорский завод. Теперь — имени Ломоносова в Ленинграде. Золотые сетки, гирлянды, завитки, фестончики — стиль рококо. Восемнадцатый век, время Екатерины. — Он взял обеими руками миску. — Суп для ее величества. Черепеховый суп или из фазана.

Он говорил без умолку. Он прочел нам лекцию о фарфоре, изображая в лицах то слугу, подающего на стол, то царицу, то сановного гостя.

Другой короб был набит фарфоровыми трубками. Трубки с портретами царей, королей, вельмож, трубки с пейзажами, со сценами сельской жизни, трубки с видами городов... Сторицын тотчас показал, как барин курил, развалившись в кресле, держа длинный чубук. Чашечка, вмещавшая до полуфунта табака, опиралась о пол.

В третьем коробе лежали обернутые соломой бокалы, — с гербами и вензелями. Сторицын рассказал о петровских ассамблеях, о кубке Большого Орла, который вручали опоздавшему. Нелегко ему приходилось. Извольте-ка выпить тысячу двести граммов вина, и к тому же крепкого!

Чего он только не знал, — Сторицын!

Рассказывая, он успевал делать заметки, сообщал имена мастеров, происхождение вещей. Дворец в Петергофе, дворец в Пушкине, Ораниенбаум, Павловск...

Он увлек нас. Мы работали с жаром. Нам всем стало очень радостно. Удивительные вещи, возвращенные нам, отбитые у врага!

Сторицын велел уложить всё и закрыть короба. Настала очередь картин.

Айвазовский, Федотов, Перов, — возникали в памяти имена, слышанные от Сторицына. Мне вдруг захотелось увидеть на картине море. «Девятый вал» тому причиной или другое что, — в детстве я мечтал о море. За сочинение о море я получил пятерку. А увидеть море довелось только год назад, в Латвии. Оно было суровое, тусклое, совсем не такое, как на знакомой репродукции.

С сухим треском открылся фанерный щит. Сторицын вскрикнул. Мы все с недоумением уставились на картину.

Ничего похожего на эту картину — если ее вообще можно так назвать — мне не встречалось. На сером фоне, заляпанном бурыми пятнами, различалось нечто, напоминавшее дерево. Оно росло из земли, образовав внизу бугристый, желтовато-коричневый ствол, а дальше раскидывалось не ветвями, нет, — человеческими внутренностями.

— Фу, мерзость! — бросил один из солдат.

— Это уж не наше, — молвил Сторицын. — Ихнее. Модная манера на Западе. И возиться с такой живописью не будем. На свалку — и всё! Дальше!

На следующем холсте ничего нельзя было понять, — изломанные геометрические фигуры, плавающие не то в облаках, не то в волнах.

Да, таких картин не могло быть в наших музеях. Должно быть, фон Шехт и добыл их где-нибудь на Западе. Одно за другим возникали перед нами создания художников, наверное спятивших с ума.

Где же наши картины? Настоящие!

Их я так и не дождался. Бакулин приказал мне не задерживаться на вилле.

Час спустя я выкладывал майору новости.

— Дикая мазня, говоришь? — спросил он. — Ого, и ты сделаешься, пожалуй, знатоком в искусстве, — усмехнулся он. — Но странно! Катя не предупредила? Нет? Не все знала, возможно. А Сторицын там надолго засел? Отлично! А тебе я дам другое направление, Ширяев.

Я оживился.

— Побеседуешь с одним человеком. Помнишь венециановский портрет? Так вот, это он доставил нам. Художник, из пленных. Фамилия у него славянская — Крач, а по подданству бельгиец. Сперва-то он к коменданту города толкнулся, с портретом. И с какими-то данными о фон Шехте. Ну, там и без того дела по горло. Разыскал я этого художника на эвакуационном пункте...

— Разрешите ехать? — выпалил я.

— Куда? — Бакулин поднял брови. — Он здесь, в соседней комнате.

Я чуть не выбежал из кабинета. Бакулин погрузился в бумаги, — у него тоже было немало других дел.

В приемной, где сидел Крач, было еще несколько посетителей, но его я выделил сразу. Очень крупный, рыхлый, большелобый, и совсем не похожий на пленного. Балахон лагерника, лопнувший на плече, он надел, видимо, недавно. У пленного не могло быть таких розовых щек, таких белых рук, явно не знакомых с физическим трудом.

— З очи в очи, — вымолвил он, и я не сразу понял его.

Он желал говорить с глазу на глаз. Я повел его во двор, к штабному автобусу, захваченному у немцев. Алоиз Крач с трудом втиснул туда свое большое, рыхлое, ослабевшее тело. Он несмело улыбнулся, опустил водянистые, сонные глаза и сказал:

— Подполковник фон Шехт есть злочинец. Вы простите меня, я по-русски вельми плохо...

— Фон Шехт умер, — вставил я.

— Шкода! — Он выпрямился, сжал пухлые пальцы в кулак. — Шкода!

То, что фон Шехт избежал суда и казни, до крайности огорчило Алоиза.

Начав свою повесть, он успокоился, заговорил по-русски чище.

Родился он в Прешове. Отец — австриец, мать — словачка. Окончил русскую гимназию. В Прешовском крае давно, еще с прошлого века — стараниями просветителей-интеллигентов — распространялась среди украинского и словацкого населения русская речь, русская культура.

Незадолго до войны отец умер и оставил Алоизу в наследство два обувных магазина. Но торговля не влекла его. С дипломом Венской художественной школы Алоиз бродил по свету, был в Италии, в Греции, во Франции. В Париже он женился на натурщице-бельгийке и осел в Брюсселе. Был призван в армию, угодил к немцам в плен. Долго мыкался по лагерям, потом его взял к себе подполковник фон Шехт.

Это было в 1944 году, летом. Из лагеря под Гамбургом Алоиза доставили в легковой машине в Берлин. Там, в районе Панков, в унылом казарменном здании, он встретился с коллегами — художниками разных

циональностей, собранными из концлагерей. Им объявили, что они могут заслужить милость и благоволение великой Германии. Потом их рассортировали. Алоиз Крач и его сосед по койке, датчанин Ялмар Бэрк, достались фон Шехту. Он отвез их в Пруссию, на виллу «Санкт Маурициус».

Их хорошо одели, сытно накормили, отвели просторное, светлое ателье в мансарде, дали краски, кисти. Что ж, недурно! Правда, держали их на положении узников, за ворота виллы не выпускали, но с этим Алоиз примирился. Главное — уцелеть, пережить войну! А она шла к концу, успехи Советской Армии радовали Крача, хотя ему было решительно безразлично, кто победит, какой мир получит Европа. Лишь бы мир! Алоиз Крач сторонился политики, считал себя обитателем особой сферы, далекой от земной злобы дня. «Я на планете Искусства», — говорил он о себе. Нацисты, социалисты, коммунисты, — какое дело до них художнику! Картины его были беспредметны. Другие пытались изображать в неожиданных, вывернутых ракурсах явления и формы жизни, но он — Крач — не соглашался с ними. Нет, полное освобождение от земных пут, ничего реального, разумного! Истина для художника — его собственные видения! «Левее меня нет никого», — сказал он гордо журналисту перед открытием своей выставки в Париже. Она вызвала шум. С ним спорили. «Я так вижу», — отвечал он. Особенно поражало посетителей полотно, названное «Сад».

Тут Алоиз попросил у меня карандаш и на клочке бумаги вывел три треугольника: большой — острием вверх, поменьше — острием в сторону и еще маленький, равнобедренный треугольничек.

Я засмеялся. И это — сад? Не шутит ли художник? Тут мне вспомнились нелепые картины в подвале виллы.

— О, у вас, в Советском Союзе, отмечают... отрицают, так? Но я видел ваше искусство. Подобно фотографии, да, да! Когда жил Рембрандт, не было фото. Нет! Теперь у нас аппараты: чик — готово. Художник должен тоже так? Нет!

Спорить я не решился, да и время не позволяло. Я спросил Алоиза, кто изобразил дерево с человеческими внутренностями вместо ветвей.

— То Ялмар. Он был немочный... больной человек. Он ничего иного не мог, — трупы, руины, руины, только руины. Я писал абстрактно.

— Это и требовал фон Шехт?

— Да. Я скажу...

В первый же день фон Шехт обошел с художниками комнаты виллы. Она вся была забита скульптурами, картинами, дорогим музейным фарфором. На многих вещах были инвентарные номера, таблички с надписями по-русски, по-польски, по-французски. Больше всего трофеев фон Шехт добыл в России.

Затем он усадил обоих в гостиной. Слуга принес кофе и ликеры. Фон Шехт разъяснил, что ждет Германия от Крача и Бэрка.

Ценности, находящиеся на вилле, не принадлежат фон Шехту лично. Нет! Они — достояние Германии. Это дань слабым, низших народов немцам, нации господ. Он — фон Шехт — из патриотических побуждений превратил свою виллу в хранилище для некоторых, особо примечательных, произведений искусства и в мастерскую. Отдельные картины пострадали в военной обстановке и нуждаются в реставрации. Но это не все.

Художникам поручается маскировка. Нет, не здания. Картин. Увы, война диктует свои законы. Ему — фон Шехту — претит самая мысль — замазывать шедевры знаменитых мастеров. К счастью, существуют краски специального состава, разработанные на предприятиях Фарбениндустри, находка немецкого научного гения. Эти краски надежны, смыть их легко. И подлинник не потерпит никакого ущерба, — когда нужно будет, он вновь заблещет. Он возникнет подобно птице Феникс из пепла.

— Фон Шехт был образованный человек, — зло усмехнулся Крач. — Он имел в памяти античность. Греция, Рим...

Не сразу понял я, что Алоиз Крач, заблудившийся художник, обвинял не только фон Шехта, а судил еще и самого себя. Исповедовался, подводил итог прожитым годам душевного одиночества.

— Никды... Никогда я не ставил вопрос, почему фон Шехт взял к себе именно пленных...

Вначале Крач наслаждался хорошей едой, чистой постелью, теплом, ванной — благами цивилизации,

которых он был так долго лишен. Да, он замазывал старые картины. Но совесть его не тревожила. Он всегда верил, что абстрактное искусство вытеснит прежнее, классическое. И вот теперь он ниспровергает «кумиры из школьных хрестоматий», «гипноз банальности», «раскрашенные фотографии».

Фон Шехт подтрунивал над Алоизом. На рынке, — бросил он как-то вскользь, — Рембрандт стоит в сотни тысяч раз больше, чем упражнение абстракциониста. Однако бунтарство Крача нравилось хозяину. Нет, он не имел ничего против диковинных фигур без плоти, без смысла и цели, заслонявших творения живописцев прошлого. Фон Шехт требовал даже, чтобы художники ставили свои подписи. Плоха маскировка, если нарочитость ее обнаруживается с первого взгляда. Пусть работают с азартом, пусть утверждают самих себя!

Я слушал Крача затаив дыхание. Много, когда он говорил о живописи, мне нелегко было усвоить, но я силился запечатлеть в уме каждое слово.

Так, значит, картины, распакованные там, в подвале, надо просто отмыть! Почему же Катя не сказала мне? Да, выходит, не знала. Ей, следовательно, доверяли не всё...

Алоиз продолжал.

Иногда он испытывал злорадное торжество. Да, он должен в этом сознаться! Ощущение могущества, призрачного, замкнутого пределами мансарды, но все же острого. Без сострадания расправлялся он с амурами, с французскими маркизами, утопающими в пурпуре бархата и шелках, с напомаженными генералами, с напыщенными отпрысками королевских фамилий. Но одно полотно...

Это был женский портрет. Написал его столетие назад русский художник Венецианов. Алоиз никогда не слышал о нем. И не из тех это полотно, что запоминаются с первого взгляда. Простое лицо пожилой женщины, ласковой, готовой все понять... Она заставила задрожать руку с отрицающей кистью. Портрет напомнил Алоизу его мать. Нет, не внешним сходством, — чем-то другим. Быть может, славянская кровь роднила его мать с женщиной на потемневшем полотне. Рисунок сжатых губ или выражение доброго, немного печаль-

ного лица, озаренного справа неярким желтоватым светом, — наверное свечой.

Алоиз снял портрет с мольберта, поставил к стене, за другие картины. Загрунтовал молодого лорда-охотника с поджарым лягавым псом. Неделью спустя русская крестьянка, неведомая Алоизу и в то же время странно близкая, открылась снова.

И... на этот раз он тоже не смог положить мертвящие белила на это живое лицо. Он отставил портрет. Теперь он стоял, не загороженный ничем, постоянно на виду у Алоиза. Губы ее словно шевелились. Вот-вот заговорит! Наваждение какое-то исходило от портрета. Глядя на него, Алоиз не мог не думать о своей матери, о родном Прешове. Оживал в памяти ее голос. Бывало, Алоиз уверял себя и других, что для избранных на «планете Искусства» не имеют значения понятия «родина», «свой народ». А тут ему страстно захотелось в Словакию. Вернется ли он когда-нибудь на родину? Ведь могущество его — лишь воображаемое. На самом деле он узник, хоть не в арестантском рубище, а в костюме, и не за колючей проволокой, в бараке, а в комфортабельном загородном доме. Он пытался убедить себя, что ему дали свободу, — теперь иллюзия рассеивалась. И все это сделала с ним пожилая женщина на полотне русского мастера.

Фронт между тем приближался. Красные двигались к Одеру. Все чаще грохотали зенитки, багровело небо над городом. «У Германа, видать, нет больше самолетов», — говаривал садовник Ян, старик из онемеченного литовского племени куришей, обитающего на побережье. Германом называли в народе маршала Геринга. Фон Шехт торопил художников. А Крачу все тяжелее давалась работа. Что из того, что состав, изготовленный Фарбениндустрии, легко смывается! Наступает развязка войны, трагическая для Германии развязка, — и может статься, некому будет снять камуфляж, восстановить картины. Теперь даже на амуров, на маркиз, на юных лордов не поднималась рука. Алоиза томил страх. Ему чудилось, — он хоронит их навсегда. Им уже вовек не увидеть божьего дня!

— Але тен образ... Портрет я тот захранил.

Он вынул его из рамки, свернул, положил в укромное место. Фон Шехт не узнал. Когда к Кенигсбергу

подступили русские, он редко показывался на вилле. Хозяйничал его помощник, обер-лейтенант Бинеман. Толстый, как Геринг. По его приказу вещи упаковали, приготовили к эвакуации. Но русские придвинулись еще ближе, виллу пришлось оставить. Там расположился немецкий батальон.

— А где поселили вас? — спросил я.

Крача и Берка поместили в лагерь для военнопленных. В особом бараке, со смертниками. Да, Алоиз и его товарищи по заключению были обречены. Они ведь имели дело с ценностями, грузили их, закапывали. Слишком много знали эти люди, чтобы их можно было оставить в живых.

Бедняга Ялмар — тот погиб на другой же день в сквере возле Академии художеств. Там рыли котлован. Разорвался снаряд...

Алоиз сжал пальцы и замолчал.

— У фон Шехта была переводчица, украинка, — сказал я. — Катя Мищенко.

— Слечно¹ Катя!

Да, маленького роста, в зеленоватой кожаной куртке. Он видел ее всего два раза. Фон Шехт привез ее как-то осенью, показывал ей картины; она читала ему надписи. Алоиз заговорил было с ней по-русски, но фон Шехту это не понравилось, он под каким-то предлогом отослал его. Нет, Катя вряд ли знала о маскировке трофейных картин. В мансарде у художников она не была.

А вторая встреча с ней... О, она произошла при совершенно других обстоятельствах. Очень печальных. Накануне штурма Бинеман и слечно Катя приехали, как обычно, к воротам лагеря на грузовике.

— «Оппель» с белыми полосами на кузове? — спросил я.

Да, с белыми. На этот раз пленных повезли в Орденский замок, за Янтарной комнатой. Алоиз слышал о ней раньше от фон Шехта, но никогда не видел. Ящики, помеченные буквами В и Z, лежали во дворе. Катя очень волновалась за эти ящики, напоминала: «Осторожно, там стекло». (Янтарь ведь прикреплен к зеркалам.)

¹ Слечно — барышня (чешск., словацк.).

«Да, все это так, — думал я. — Ту же сцену наблюдал Моргензанг, хозяин кабачка».

Когда покинули замок, начало темнеть. Катя и Бинеман сидели в кабине. Ехали долго, не меньше часа. Сбились с дороги. Алоиз слышал, как шофер открыл дверцу и окликнул прохожего: «Где улица Мольтке?» Бинеман выругал шофера. Нельзя, мол, так громко! Кто-то из эсэсовцев засмеялся и бросил: «Мертвые не болтают». У Алоиза мороз подрал по коже от этих слов.

Машина остановилась во дворе. Его с четырех сторон замыкали стены полуразрушенного, нежилого дома. Бинеман развернул бумагу. У него был подробный план тайников.

Вырыли котлован. Слечно Катя сказала, что ящики надо опускать туда. Только осторожно! Работали в молчании. Один пленный подмигнул Алоизу, подзывая к себе, но едва открыл рот, как получил удар прикладом. «Мертвые не болтают», — отдавалось в мозгу Алоиза. К кому это относится, — понять нетрудно.

Неужели конец? Очень хотелось Алоизу заговорить со слечно Катей. Ей-то наверняка известны намерения немцев! Улучив момент, тихо поздоровался, назвал себя. Она отпрянула. Не узнала или боялась чего-то...

Через минуту она опять была рядом. Протянула руку, чтобы поддержать ящик. «Так, так. Не бросайте!» — услышал Алоиз и вдруг ощутил в кармане что-то тяжелое. Когда Бинеман отвернулся, — сунул руку. Пистолет! Русская слечно дала ему оружие.

— Я стыдился, господин офицер. Вельми! Слечно, такая стачечная... Храбрая, — да? А я, представьте себе, даже не умею стрелять.

С винтовкой он бы еще управился. А пистолета он и не держал ни разу. Очень, очень было стыдно. Не решился Алоиз и передать оружие товарищу.

Ящики засыпали землей, битым кирпичом, всяким хламом. Мотор «Оппеля» затарахтел; пленные двинулись было к машине, но эсэсовцы загородили им путь. Бинеман и Катя уехали. Алоиз больше не видел слечно Катю.

Эсэсовцы построили пленных и повели под арку, в изрытый переулок, через сад, мимо покосившихся сторожек, смутно черневших в полумраке; через поваленные

проволочные заборы, по аллее, на пустырь; мимо зелениток, задравших к небу свои стволы; сквозь жесткий кустарник, куда-то за черту города, в глухую темень. «Теперь конец!» — подумал Алоиз. И его — художника, творца — расстреляют вместе с остальными. Вместе с каким-нибудь мужиком, башмачником, углекопом! Ноги его слабели, он отставал. В спину больно упиралось дуло автомата.

Конечно, его убили бы. Смерть шла позади, по пятам. Если бы не русские...

На пустыре стали рваться снаряды. Русские снаряды. Советская артиллерия открыла огонь по городу. Не молчала она и днем, а сейчас залпы слились в сплошной гул. Тот эсэсовец, который подталкивал Алоиза, залег, схватил его за балахон и потянул вниз. Алоиз вырвался. «Бежим!» — крикнул ему кто-то в самое ухо, и в тот же миг застрочил немецкий автомат. Алоиз в испуге упал, потом вскочил и кинулся в чащу. Кусты спасли его. Он наткнулся на завал из обрушившихся бетонных глыб, замер. Полоснул луч фонаря, визжа, защелкали над головой пули, посыпалась за ворот щебенка. Обозначилась щель между глыбами. Алоиз юркнул туда. Автоматы все еще беспорядочно строчили, потом все затопило оглушительным взрывом. Алоиз отдышался и побрел по узкому зигзагообразному проходу, натываясь на выступы, на торчащие концы порванной железной арматуры.

Ночь он провел в заброшенной прачечной. Утром в чьей-то квартире с выбитыми рамами нашел корку хлеба и пакет эрзац-чая из травы. Вспомнил про пистолет, выбросил, — плохо будет, если поймут с оружием. Прятался три дня, избегал людей, пока не увидел красный флаг на фабричной трубе.

Так закончил свой рассказ Алоиз Крач. Потом несмело поднял на меня глаза, спросил:

— А слечно Катя, господин офицер? Она жива? Она с вами?

Я опустил глаза.

— Она жива? — повторил он. — Господин офицер, они имели цель, значит... уничтожить всех, кто знал...

— Она наверное жива, — ответил я. — Она должна быть жива. Мы найдем ее!

Не мог я сказать иначе.

Тревога за Катю — после беседы с Алоизом Крачем — усилилась.

«Девочка! Наивная девочка!» — твердил я про себя. Отдала свой пистолет, осталась без оружия. Понятно, — пожалела обреченных, попыталась помочь, но ведь она же совсем не знала Крача. Под носом у эсэсовцев сунула ему пистолет в карман. И без всякой пользы! Стоило так рисковать из-за этого хлюпика, труса!

А между тем ей-то следовало быть крайне осторожной. Фон Шехт не всё доверял ей. Маскировку картин от нее скрывали.

Фон Шехт испугался, когда она заговорила с художником. Почему? Разумеется, лишние свидетели ему нежелательны, — будь то русские или немцы. Но фон Шехт мог иметь еще иные основания не доверять Кате. Она так неопытна в конспирации, что гитлеровцы дознались, кто она. Фон Шехт, Бинеман приглядывались к ней, играли, как кошка с мышью...

И опять на память пришел Кайус Фойгт, шофер. Нет, не мог я преодолеть инстинктивной, невольной враждебности к нему. Умом-то я сознавал, — не все немцы фашисты. Но до сих пор для меня-фронтовика все немцы были врагами. С какой стати я должен делать исключение для Кайуса Фойгта! Он был с ней на вилле при мне. Он получил самое наглядное доказательство связи переводчицы Мищенко с нами и не преминул выслужиться перед нацистами.

Фойгт выдал ее! Выдал!

Все это я высказал Бакулину. Он разубеждал меня. По его мнению, я сужу чересчур поспешно. Фон Шехт вряд ли разгадал ее. Нет! Не поехала бы она тогда на улицу Мольтке, к котловану. Не допустили бы Катю к тайнику. А что касается пистолета... Трудно упрекать ее. Поставим себя на ее место. Пленные закапывают ящики с ценностями. Надо запомнить место, передать нашим. Хорошо, если удастся дожить, встретить советские войска в Кенигсберге. А если нет? Кто укажет место? Пленных собираются расстрелять. Не попытаться ли спасти хоть одного? Авось он отобьется, убежит!

— Иной раз без оружия лучше, — сказал майор. — Риска меньше.

Трезвая логика Бакулина обычно покоряла меня. Но сейчас мне чудилось что-то нарочитое в его тоне. Не взялся ли утешать меня?

— Риска меньше? — отозвался я. — Значит, ей грозила опасность. Не отрицаете?

Нет, этого он не отрицал. Крач прав: тех, кто зарывал, прятал награбленные ценности, гитлеровцы уничтожали; пленных и даже своих солдат. Факты установлены. Но похоже, — Катя была очень уверена в себе. Очень!

Это «очень» несколько ободрило меня. Надежда была нужна мне, как воздух, как хлеб. И снова, в который уж раз, я говорил себе, что отчаиваться рано, что в Кенигсберге мы недавно; что Катя, может быть, ранена, находится где-нибудь у местных жителей, у друзей и почему-нибудь не может дать знать о себе. Или ведет поиск, сложный, тайный поиск и нельзя ей открыть себя. Не пришло еще время!

Бакулин между тем обдумывал вслух показания Крача.

— Для нас он находка. Ах, какой урок ему жизнь дала! Замечательно! Мы же из его рук Янтарную комнату получим. Удача, Ширяев, большая удача. Что с тобой?

Наверное, я побледнел. «На свалку», — вдруг вспомнились мне слова Сторицына.

— Товарищ майор, — пролепетал я. — Он же ничего не знает там... Он...

— Кто?

— Сторицын. Он выкинуть хотел картины...

— Что же ты молчал? Эх, голова! — Он подвинул мне полевой телефон. — Вызывай «Напильник», потом «Яхонт» проси...

Связисты на вилле не числились в нашей армии. Они прибыли из резерва главного командования, и дозволиться до них было мучительно трудно.

Я бросил трубку.

— Тише! — улынулся Бакулин. — Поезжай-ка, это всего вернее. Вряд ли там выбросили картины, но...

Что, если выбросили! — волновался я. Накапывал дождь. Мне представились картины, валявшиеся на свалке, мокнущие, испорченные.

Всю дорогу я торопил водителя. У моста через канал, как назло, сгустилась пробка. За городом, на пе-

рекрестке, пропускали колонну машин с лодками и бронетранспортеры, набитые моряками-десанниками. Часа два отняла эта поездка.

Не чуя под собой ног, я влетел в подвал к Сторицыну и остановился, почти ослепленный.

Помещение сверкало огнями, как станция метро. Связисты подтянули десяток лампочек разных калибров и вдобавок повесили огромный, больничного типа, рефлектор. Сторицын буквально царил здесь. Вокруг него сустились солдаты, что-то сколачивали, что-то подавали. Сторицын сидел в знакомом резном кресле. Рядом, на полу, — раскрытый чемоданчик профессора с «колдовскими снадобьями», как он говорил мне, смеясь, утром. Перед ним на столе — одно из творений Алоиза Крача, зубчатые, паукообразные трещины разбегались по тусклым, смещенным поверхностям. В углу полотна белеет прижатый стеклом квадратик материи.

Вот солдат, по знаку профессора, сдвинул стекло, остальные настороженно загудели. Сторицын поднял материю кончиками пальцев — и словно свет дня прорезал сумрак. Открылась голубизна солнечного, летнего неба!

Секунду я глядел, как замороженный, в это внезапно открывшееся оконце, которое только что закрывал кусок фланели. Солдаты умолкли. Потом я заметил рядом с профессором, на табуретке, открытый чемоданчик, а в нем — склянки, сталь инструментов.

— Ну что, орел? — Сторицын откинулся в кресле и потер глаза, как будто и его поразила эта яркая, чистая, освобожденная голубизна.

Мне нечего было сказать.

Так вот какие «колдовские снадобья» хранились в его чемоданчике! Значит, он предвидел!

Сторицын взял свежий квадратик фланели, смочил бесцветной жидкостью из пузырька и опустил на самую середину полотна. Солдат, истово помогавший ему, отрезал ножницами еще лоскут, еще. Теперь компрессы легли цепочкой через все полотно, по диагонали.

Что же скрыто под маскировкой? Все затаили дыхание, когда Сторицын взглянул на часы и торжественно, словно священнодействуя, начал снимать компрессы. В одном окошечке — листва дерева, серебрящаяся на ветру. В другом — большеухая голова ягненка.

В третьем — зелень травы, желтоватый цветок с четырьмя лепестками взлет.

— Пейзаж французской школы, — сказал Сторицын. — Автор пока неизвестен. — Он улыбнулся, окинув взглядом свою притихшую аудиторию. — Верхний слой недавний, сходит легко. На редкость легко. Верно, специальный состав какой-нибудь. В прежние времена контрабандисты тоже вот так замазывали картины.

И опять посыпались из него разные истории. Вспомнил живопись древнерусского художника Рублева; ее восстанавливали, преодолевая пять — шесть слоев краски. Тут не злой умысел, — старания иконописцев, которые силились обновить, омолодить творение славного мастера. Делали это часто неумело...

— Товарищ полковник, — проговорил я, когда он умолк, чтобы отдышаться. — Это все, — я показал на картины, — только начало. Мы и Янтарную комнату добудем.

И я рассказал ему про Алоиза Крача. Сторицын просиял.

— Да вы счастливый! — Он стиснул мои руки. — Bravo! Везет мне с вами. Ну, с Янтарной подождем несколько деньков, все равно сейчас с транспортом сложно... Спасибо вам, спасибо, милый. — Он обнял меня, затем обернулся к солдатам. — Янтарная комната, друзья, находилась в Пушкине, под Ленинградом...

Он говорил, а передо мной, как на экране, пронеслась история Янтарной комнаты. Оказывается, янтарни для нее были собраны давным-давно, на берегу Балтийского моря, литовцами и латышами. Не для себя, — для ливонских псов-рыцарей, владевших Прибалтикой. Янтарь высоко ценился. Это древняя застывшая смола, наследство дремучих субтропических лесов, росших здесь десятки миллионов лет назад. Янтарь называли «солнечным камнем», «морским золотом».

Прусский король Фридрих I, взбалмошный, тщеславный, мечтавший состязаться в роскоши с королем Франции, любил все французское. К себе в Потсдам он выписал мастера — Готфрида Туссо — и поручил сделать для дворца янтарный кабинет.

Несколько лет трудился Туссо. Руководил работой видный немецкий архитектор Шлюттер. В 1709 году они закончили кабинет — пятьдесят пять квадратных

метров мозаичных панно. Серебряная фольга, подложенная под камни, усиливала их блеск. Панно укрепили, но, видимо, не рассчитали тяжести. Они обрушились. Король так разгневался, что велел запереть мастера Туссо в тюрьму, а Шлюттера выслал из Пруссии.

В 1716 году в Пруссию прибыло русское посольство во главе с императором Петром. Фридрих принял русских с большими почестями. Еще бы! Ведь Россия разгромила шведов, давних врагов Пруссии. И вот Фридрих показывает Петру свой дворец. Янтарного кабинета уже нет, он сложен в ящики. Фридрих может только привести гостя в комнату, где были панно, но надо же похвастаться! Петр заинтересовался. Создателя кунсткамеры занимали всяческие редкости. И тут Фридрих совершил поступок, который до сих пор историки как следует не разгадали. Он подарил янтари Петру.

Дело в том, что Фридрих был страшно скуп. Он никому не делал таких дорогих подарков. Значит, Петр очаровал его, или... По некоторым смутным данным можно предполагать, что у Фридриха из-за кабинета были неприятности. Он слишком погорячился с Шлюттером, с Туссо. Кроме них, некому было восстановить кабинет. Да и средств не хватало в казне...

В Санктпетербург кабинет был доставлен в 1717 году, на подводах. Но Петр не собрался установить его во дворце. Надо же было отыскать мастеров! Погруженный в государственные заботы, Петр как будто забыл о прусском подарке. Вспомнила о нем много лет спустя императрица Елизавета.

Вот шагают по дороге из Петербурга гвардейцы, шагают, обливаясь потом, стиснув зубы от боли в затекших руках. У каждого — зеркало с янтарной мозаикой. Дорога булыжная, с колдобинами — не то что нынешнее шоссе, — и в телеге сокровище не довезти. До Царского села двадцать пять верст. Там, во дворце, отведено помещение для Янтарного кабинета. Оно больше прежней комнаты, — в Потсдаме. Как же быть? Янтарей не хватит! Но у зодчего Растрелли, направляющего перестройку дворца, уже есть проект Янтарной комнаты. Не только янтари будут украшать ее, но и зеркальные пилястры, мозаика из уральских камней, живопись на потолке. Великолепный замысел!

У Растрелли хорошие помощники, русские умельцы Иван Копылов, Василий Кириков, Иван Богачев.

Разумеется, я не мог запомнить тогда все факты, все имена в рассказе Сторицына. Эти строки я пишу сейчас, порывшись в библиотеке. Но вот что засело в памяти: Янтарная комната — это наше русское достояние! И какое прекрасное! Кабинет прусского короля послужил только материалом для гениального Растрелли, — он создал совершенно новое произведение искусства.

Сторицын словно ввел нас в Янтарную комнату. Некоторые солдаты жмурились, — до того выразительно описывал профессор блеск янтарей, их медовый огонь в сочетании с холодным сверканием зеркал, с сочными красками уральских камней...

Дослушав Сторицына, я уехал. Профессор решил остаться у связистов на два — три дня, проверить еще несколько картин и затем отправить все собрание полотен в Москву, для полной реставрации.

Я спешил в город. Поиск продолжался.

7

За северной окраиной Кенигсберга простиралось гладкое поле, кое-где поросшее можжевельником. Туда свезли захваченные у гитлеровцев автомашины.

Отсвечивая на солнце, длинными рядами стояли грузовики: «Опель» и «Даймлер-венц», верткие легковые «Бе-эм-ве» мышиного или синеватого цвета, машины французских, итальянских марок, машины-радиостанции и машины-рестораны, автобусы. Тысячи автомашин. Они колесили по дорогам многих стран Европы, возили на себе надменных завоевателей. И вот отъездились, кончили свою службу в гитлеровском вермахте, встали намертво, упершись в ограду кладбища. Символическое зрелище!

У входа в караульню я застал черноволосого офицера, яростно чистившего пуговицы.

— Вы до старшины Лыткина дойдите, он у нас голова, — посоветовал он.

Тропинка вилась по берегу ручья к домику, который был когда-то, вероятно, целиком каменным. Снарядом снесло верх, зданьице надстроили досками, фанерой,

листами железа. К домику примыкает загородка, составленная из всякого лома: тут и доски от кузова, дверца кабины, пружинный матрац и нечто вроде парниковой крышки. Там кудахчут куры, белесый, наголо обритый человек швыряет им зерно.

— Приблудные, — сказал он мне. — Зачахли без хозяина, бедняги. Слушаю вас.

«Оппель» с белыми разводьями тут не один. Номер записан, как же! Однако проще всего прогуляться по автопарку.

Курочка взлетела ему на плечо; он погладил ее, сбросил, и мы пошли.

— Ох, драндулет! — восклицал старшина. — Может, сам Гитлер катался! А эта таратайка? Вон колеса покорежены! На мину наехала.

Их немало тут — раненых машин, наскочивших на мину, побитых осколками, продырявленных пулей партизана. Эмблемы на бортах — слоны, насороги, змеи, волки — напоминали о разгромленных немецких дивизиях. Лыткин развеселился; он посмеивался, постукивал палкой по радиаторам, по стеклам, сыпал прибаутками.

— Система Монти, день работает — два в ремонте. Хлибкие эти бе-эм-вейки последних выпусков, нитками сшиты. А эта! Бывшая роскошь. Марка «Мерседес», а точнее — «Гитлер капут!» Поди, генералов возил, не ниже. Да-а-а, пропадай моя телега, все четыре колеса! Вон американец! Хау ду ю ду! В немецком плену побывал, никак...

Действительно, среди малолитражек высился громадный крытый «Студебекер». Немного подалее подъемный кран на колесах опустил свой журавлиный клюв над кузовом грузовика. Волнистые разводья...

Я бросился вперед. Да, сомнений нет, — «Оппель»! Номер, пунктир пробойн на заднем борту... Я провел по ним рукой; крохотные лучинки впивались в кожу. Тот самый «Оппель»! Он словно ждал меня здесь!

Меня отнесло в прошлое, в тот вечер, когда я провозжал Катю за передний край. Так же подалась ручка дверцы, так же щелкнула... И матерчатая куколка в красных штанах, в клоунском колпачке была знакома мне. Ее, верно, повесил Кайус Фойгт, — на счастье, как принято у немцев.

Пустая кабина дохнула холодком, запахами кожи и машинного масла.

— «Оппель» грузовой у них — не ахти что, — тараторил Лыткин. — Вот «Оппель-капитан», легковушка, — другой каленкор. Картинка!

Я не слушал его. Я смотрел на бурые пятна, расплывшиеся на темной обивке: одно — на спинке, другое — на сиденье. Потом я разглядел еще пятна — на резиновом рубчатом коврикe, у рычагов.

Скованный ощущением невзгоды, я не двигался. Я не мог оторвать взгляда от этих пятен. Кровь! Я слишком часто видел ее, чтобы ошибиться.

— Нашлась машина?

Солнце било старшине в лицо; он шурился; сетка морщин дрожала у висков.

— Откуда здесь кровь? — спросил я.

— Немец тут лежал, — ответил он. — Мертвый. Его кто-то тесаком, говорят...

Морщинки застыли, улыбка на миг сползла с его лица. Должно быть, мой вид встревожил его.

— Кто вам сказал?

— Хлопцы. — Он попытался обрести прежний тон. — Хлопцы, которые машину на буксир зацепили. Говорят, здорового фрица из кабины выбросили, пудов на семь. Обер-лейтенанта... Хлопцы едва грызут не зароботали...

Я прервал его болтовню. Какие хлопцы, какой части?

Лыткин покрутил головой. Мало ли войск проходило тогда! Немцы только что сдали город. Кое-где еще постреливали. Пожары, взрывы, — как в котле все кипело. Хлопцы хотели себе взять машину, а старшина с командой собирал брошенную автотехнику и наткнулся на них.

— Отдай, не грёши, значит. Не положено! «Оппель» не старый еще, поедит. Кровью запачкан только. Не красиво. Я велел моему фрицу подобрать...

Какому фрицу?

Меня интересовало все, каждая подробность, касающаяся этой машины.

Каин, — старшина засмеялся. — По-ихнему Кайус, а по-нашему-то Каин. Каин Авеля убил.

— А фамилия?

— Да как его... фамилия, фамилия... — Он почесал темя. — Запомню. Пройдемте ко мне, записано ведь где-то... А вам зачем?

Последние слова он произнес после паузы, тихо и не очень решительно.

— Я из разведки, — сказал я.

Из разведки, — значит, задание специальное, секретное. Это он понимал. Любопытство разбирало его; он присмирел, стал меньше говорить, но больше ни о чем не спрашивал меня.

Я шагал, взволнованный догадками, нетерпением. Кто убитый обер-лейтенант? Бинеман? Да, толстяк Бинеман! Он и Фойгт были с Катей накануне штурма. Странно, что немец, работающий здесь, в автопарке, тоже Кайус. Совпадение, конечно. Зачем я спросил его фамилию? Наверняка она ничего не скажет мне.

Кто же убил Бинемана? Катя не могла бы ударить тесаком. Шофер Кайус? Одно ясно — была схватка...

Домик старшины, внешне такой жалкий, внутри пораил меня чистотой и уютом. Тикали ходики с кукушкой. Широкая белоснежная скатерть покрывала маленький столик; углы ее с шуршащей накрахмаленной бахромой свешивались до самого пола. За окном кудахтали куры, и казалось, — глянешь туда и увидишь мирную сельскую улицу, «порядок» крепких, смолистых, бревенчатых изб.

Лыткин зашел за занавеску, вынес планшетку, высыпал из нее на стол бумаги, письма.

— Он здешний, фриц, — приговаривал он, развертывая мятый лоскуток. — Вот адрес. Предместье Розенштадт. Шведенштрассе, то есть Шведская улица, восемнадцать, Кайус Фойгт.

— Фойгт!

Я, должно быть, вскрикнул. Лыткин испуганно уставился на меня. Невероятно! Кайус Фойгт здесь! Вот уж кого я меньше всего ожидал встретить! Кайус Фойгт! Неужели тот самый?! Не веря глазам, я схватил лоскуток и перечитал.

— Старшина! — выговорил я. — Он мне нужен. Немедленно.

«Он же шофер «Оппеля», — чуть не прибавил я. — Того «Оппеля». Он должен знать всё: о Кате, об убитом Бинемане, — словом, — всё!» Но я сдержался.

— Извините, — сказал Лыткин. — Он дома сегодня.

Последние дни на автобазе составляли инвентарь. Готовили отчет для начальства, — днем и ночью корпели. Кайус Фойгт — прилежный, аккуратный немец, он вполне заслужил отдых.

Что ж, не беда. Пожалуй, там, в Розенштадте, еще удобнее будет беседовать с ним.

— Уезжаете? — протянул старшина огорченно. — Покушали бы сперва. А? Товарищ лейтенант, я мигом вам... Разносолов нет, однако яичницу, — шнель фертиг. И стопочку. А?

— Спасибо, — сказал я. — В другой раз, непременно.

Я долго тряс его руку, преисполненный благодарности и симпатии к толковому и радушному старшине.

Нет, я не мог терять и секунды.

«Кайус Фойгт, Кайус Фойгт», — стучало в мозгу, пока я бежал к «Виллису». Водитель дал газ; прохладный ветер освежил меня. «Однофамилец, тезка», — сказал я себе. Я не решался верить удаче и все-таки радовался, торопил водителя.

Городом роз это предместье называли, по-видимому, в насмешку. Ветер с моря свободно гулял по унылым улицам поселка, кое-где шевелил дырявые рыбацьи сети, развешенные для просушки. Ни клумбы, ни деревца. Низенькие, с черными толевыми крышами домики жались к огромному десятиэтажному фабричному корпусу, словно искали защиты от непогоды. Трубы фабрики не дымили, в проломах молчали станки.

У заколоченной пивной крутил шарманку старик в шинели с чужого плеча. Я спросил дорогу; он пожевал губами.

— Вам кого там?

Я сказал.

— Фрау Лизе вы застанете. — Старик повернул ручку, потом вздохнул. — Несчастливая Лизе. У нее было пятеро детей, самая большая семья в Розенштадте. Бог мой, все пошло прахом. Подождите, господин офицер.

Шарманка скрипнула и вдруг лихо, в ритме кадрили, затянула песню о Стеньке Разине. Старик бешено крутил ручку, подмигивая мне, и притопывал.

По Шведской улице мы доехали до набережной Прегеля, — еще студеного, брызгавшего штормовой пеной. Ветер дул с моря, навстречу реке. Низко, у самых окон дома Фойгтов кружились, пищали чайки. Балтика

много лет обдавала этот дом ветрами, дышала сыростью, свела с него все краски. Даже черепица на крыше, когда-то красная, стала желтоватой. Я позвонил; мне открыла пожилая женщина.

— Кайус сейчас будет, — сказала она, вытирая о передник жилистые руки. — Посидите.

Медленной, усталой походкой она прошла через кухню, открыла дверь в столовую.

Я сел. Со стены глядел на меня, улыбаясь, борода-тый мужчина в сапогах выше колен, в кожаной фуражке. Что-то знакомое было в этой фуражке с витым ремешком, торчащим вперед козырьком, острым, как лезвие. Моряк опирался грудью в штурвальное колесо. «Должно быть, муж фрау Лизе», — подумал я.

Я подумал еще, что в свой дом он, верно, входил согнувшись, — так тут тесно. Однако хозяева, рассчитав каждый дюйм, поместили здесь все самое нужное, без чего не обходится немецкая семья. Между буфетом и поставцом с посудой втиснулась ножная швейная машина под кисейным покрывалом. На кухне — неизменная шеренга баночек на полке, с надписями: «мука», «сахар», «соль», «тмин».

И конечно, — таблички с афоризмами. Опрятные, в черных рамочках под стеклом. Узорчатые строки готического письма напоминают о том, что утренние часы самые лучшие, — грех залеживаться в постели, что бережливость — мать богатства. Таблички советуют есть побольше капусты — это полезно для здоровья. Ни с кем не ссориться, никому не завидовать.

Вошла фрау Лизе с мокрой тряпкой, обтерла буфет, таблички.

— Кай уехал ловить рыбу, — сказала она. — Он должен сейчас вернуться.

Как тянуло меня расспросить ее о сыне! Нет, не надо спешить, — приказал я себе.

— Раньше мы все были рыбаками, — молвила фрау Лизе. — Мой Курт тоже, — она показала на портрет. — Потом построили верфь. Розенштадт стал рабочим поселком. А сейчас все замерло, работы нет, люди вытащили старые снасти...

Рассказывала она без выражения, безучастно. И голос у нее был усталый, глухой.

— У вас была большая семья?

— Да. — Она не удивилась, не спросила, откуда мне это известно.

Два сына погибли на фронте. Один в Греции, другой в России. Моника, дочь, служила в ателье мод. В здание попала английская бомба, все разнесла. Остались два мальчика — Кай и Венцель. Венцеля, пожалуй, и считать нечего — не человек он.

Фрау Лизе подошла к двери, толкнула ее, поманила меня пальцем.

Я увидел обои в голубых цветочках, неприбранную койку. Над ней нагнулся плечистый, всклопоченный юноша. Он не заметил нас. Руки его, большие, с длинными белыми пальцами, были в непрерывном, судорожном движении. На койке лежал ранец. Венцель укладывал в него вещи — мыльницу, зубную щетку, носовые платки, пачки сигарет. Потом он пробормотал что-то, опрокинул ранец и высыпал все на одеяло.

— Теперь опять будет укладывать, — произнесла фрау Лизе с какой-то тупой отрешенностью.

Она закрыла дверь.

В прошлом году весной Венцель приехал в отпуск. Вначале был весел, всем сообщал, как ему повезло, — рота попала под огонь «катюши», уцелело только шесть человек. Только об этом и говорил.

— А в последний день побывки стал надевать форму и.. Это и случилось. Ему кажется, — он что-то забыл или потерял...

— Война кончается, — сказал я.

— Его трудно вылечить. Врач сказал, — «катюши» ударили внезапно. И Венцель впервые столкнулся с ними, в том-то и дело. Да, в том-то все дело, — повторила фрау Лизе. — Это сильно действует на психику. Вот как повезло ему.

«Скоро мир, — подумал я. — Разрушенный город оживет, задымят заводы, а бедняга Венцель будет вот так каждый день собираться на фронт».

— Ваш Гитлер виноват, — сказал я со злостью. — Ему поклонитесь за это.

— Мы-то не звали Гитлера, — ответила она. — Партийным бонзам, которые отсиживались в тылу, тем он нравился. — Голос фрау Лизе стал громче. — А мы простые рабочие. Честные рабочие. Мой Курт был с Тельманом.

Теперь я понял, почему такой знакомой показалась мне фуражка Курта, — кожаная, угловатая, с витым ремешком. Тельман носил такую же!

Фрау Лизе вышла за водой. За окном пищали чайки; их тени носились по комнате.

Еще битый час сидел я в ожидании Кая, томимый нетерпением. Я хоть и решил не задавать вопросов, они все сами соскальзывали с языка, и я кое-что узнал о Кае. Ему двадцать пять лет. Шел по стопам отца, — плавал матросом на портовом буксире. Если бы не война, был бы теперь, наверно, рулевым. Увлекался радио, строил приемники. Слушал передачи из Москвы, вместе с отцом. В армии Кай служил шофером. Да, шофером на грузовике.

Слыхала ли фрау Лизе о фон Шихте? Нет. Может быть, Кай и называл его, она плохо помнит имена. Неладно с памятью.

«Он или не он? — гадал я. — Неужели тот самый Кайус Фойгт!» Я все еще не верил удаче. И однако я не очень удивился, когда передо мной выросла долго-вязая фигура в зеленом солдатском кителе без погон. Он, он, и собственной персоной! Кай опустил корзину с уловом, выпрямился, едва не ударившись головой о притолоку, и узнал меня.

— Господин лейтенант! — воскликнул он, и лицо его осветилось радостью.

Разглядывая его, я чувствовал себя избранныком. Случая, счастливого Случая, сведшего меня со старшиной Лыткиным и теперь — с Кайусом Фойгтом, шофером «Оппеля». Но я ошибся. Фойгт вовсе не случайно оказался под началом старшины, на базе трофейных автомашин.

8

Когда ящики с янтарем, опущенные в котлован, засыпали, а землю заровняли, обер-лейтенант Бинеман поставил на своем плане синим карандашом птичку.

Пленных увели. Бинеман и Катя сели в кабину «Оппеля», рядом с Каем. Стрелка бензоуказателя угрожающе кренилась. Машина пошла на заправку.

Бинеман сперва жадно курил, потом обратился к фрейлейн.

— Ловко вы ускользнули от красных, Кэтхен, — сказал он. — Судя по пробоинам в кузове, вас расстреливали чуть ли не в упор.

Кай насторожился. Не заподозрил ли Бинеман правду? Тогда беда! Но нет, слава богу! Обер-лейтенант говорил как будто без всякой задней мысли. И, пожалуй, он был даже особенно вежлив с фрейлейн. «Кэтхен», — повторял он.

Бинеман давно был равнодушен к фрейлейн Катарине, и он — Кайус — к этому привык. Фрейлейн, — о, она умно играла свою роль! Бинеману она давала понять, что подполковник фон Шехт ухаживает за ней. И так она держала на расстоянии обоих. О, советские — удивительная нация! Сколько находчивости! Какая смелость у молоденькой девушки!

— Воображаю, как вы перепугались тогда, Кэтхен, — разглагольствовал Бинеман. — Вряд ли вы мечтаете о свидании с соотечественниками, ха-ха!

Фрейлейн ответила что-то ему в тон. Обер-лейтенант придвинулся к ней.

— Вы беспечны, Кэтхен. На вашем месте я бы не задержался в Кенигсберге. Да, да, уж принял бы меры. Хорошенькая девушка всего может добиться. Вы же видите, Кэтхен, как складываются дела. Русские не сегодня-завтра будут здесь.

Кайус опять наострил уши. Явно неспроста завел Бинеман такую речь.

Фрейлейн Катарина вскинула на него глаза, — о, она поразительно умела это делать. Получалось совершенно по-детски.

— Я бы сию же минуту, — вздохнула она. — Но как? Из Кенигсберга и кошка не выскочит.

Бинеман засмеялся. Он как-то очень противно засмеялся, и Фойгт охотно заехал бы ему в жирную физиономию. Обер-лейтенант смеялся нагло, победоносно, выпятив живот, словно вот сейчас он скажет что-то такое, что покорит русскую фрейлейн и даст ему власть над ней.

— Кэтхен, — выдохнул Бинеман и взял ее руку. — Если вы доверитесь мне, я вам гарантирую...

— Что? — спросила она.

— Спасение. Сегодня же. Медлить нельзя, Кэтхен. Соглашайтесь.

При этом он мямлил ее руку, дышал ей в лицо. Он стал упрашивать фрейлейн Катарины бежать с ним, поселиться на Западе, там, где сейчас американцы и англичане. Каков! Он снял золотое кольцо и начал надевать ей, но куда там! Два таких пальчика, как у фрейлейн Катарини, могли войти в кольцо.

Но фрейлейн даже не улыбнулась, — она кусала губы. Понятно, положение ее было не из легких. Просто взять, да и отвергнуть план побега она не могла. Ей следовало вести свою роль до конца.

Наконец она освободила свою руку и сказала, что не верит Бинеману. Бежать невыносимо.

— Вы не знаете, Кэтхен. — Он ударил себя кулаком в грудь. — О, вы ничего не знаете! Невыносимо для воинской части, да, верно. Ее увидят с воздуха. Но два человека!.. Путь есть, клянусь вам!

И Бинеман стал объяснять. Кайус, слушая его, поглядывал на фрейлейн и почесал ухо, что означало на языке жестов, выработанном ими, — «весьма сомнительно». Бинеман расписывал подземелья Кенигсберга. Правда, о них известно любому ребенку. В любом путеводителе можно прочесть, что еще в средние века подземные ходы соединяли Орденский замок с внешними укреплениями. Впоследствии сеть туннелей расширилась. Под городом, в недрах возникли заводы вооружения, склады, квартиры. Есть постройки, уходящие в глубину на шесть — семь этажей. Но, чтобы можно было подземными коридорами выбраться за черту города, — нет, об этом Кайус не слыхал.

— Мы и Фойгта захватим. — И Бинеман фамильярно хлопнул Кая по колену. — Фойгт хороший парень, он пригодится нам.

Затем Бинеман понизил голос. Кайус выключил мотор; машина катилась некоторое время по инерции, но все равно он разобрать ничего не смог, так как Бинеман перешел на шепот.

Фрейлейн Катарины вдруг свела брови. Обер-лейтенант, по-видимому, сообщил нечто важное для нее.

— Вы уверены? — спросила она резко.

— Клянусь вам, — повторил Бинеман и снова зашептал. Проклятье! Не уловить ни звука!

Весь остаток дороги до заправочной они беседовали шепотом, и до Кайуса долетали только отдельные слова.

Раза два упоминался фон Шехт. Бинеман бранил фон Шехта. «Жулик», «обманщик» — вот выражения, слетавшие с уст обер-лейтенанта; и относились они, насколько Кайус мог догадаться, к покойному начальнику. Похоже, Бинеман проведаль о каком-то преступлении фон Шехта.

Когда накачивали бензин, Бинеман взял фрейлейн за локоть. Щеки его пошли пятнами. Теперь он не шептал, но Кайус в это время стоял у колонки, слишком далеко. Потом Кайус вернулся на свое место, к рулю, как раз в тот момент, когда фрейлейн сказала обер-лейтенанту:

— Я согласна.

И руки не отняла...

Кайус Фойгт едва не лопнул от любопытства. Что же затеяла фрейлейн? Бинеман повеселел, — иногда покровительственно трепал фрейлейн по плечу, и Фойгту сделалось страшно за нее.

Он выкатил «Оппель» за ворота. Бинеман велел ехать на квартиру фон Шехта, и Кай переспросил:

— Куда?

Подполковник держал две квартиры в городе и, кроме того, холостяцкую комнату.

— На Кайзер-аллее, — сказал Бинеман.

Дом на Кайзер-аллее был известен Фойгту давно. В нем была кондитерская «Любимый марципан». По воскресеньям отец водил Кая в зоологический сад; они шли по Кайзер-аллее, и Кай получал марципан. Рядом с кондитерской свешивалась вывеска, очень занимавшая Кая. На длинной жестяной хоругви намалеван сказочный старик, темнокожий, с курчавой бородой и со шпагой, в золотом одеянии. «Клуб Черноголовых», — гласила надпись. Собственно, клуб помещался в соседнем доме, очень старом, узком, словно сплюсненном между двумя большими зданиями. Кай спросил отца, кто такие Черноголовые. «Гнездо фашистов», — ответил отец. Гитлер тогда шел к власти; в клубе — как узнал Кай впоследствии — вооружались погромщики. Туда затаскивали честных людей, противившихся фашистской чуме, мучили их.

Еще в ту пору во главе клуба стоял Теодор фон Шехт. Он и жилье себе устроил в том же здании.

Фойгт остановил машину у подъезда. Катя и Бинеман сошли. Обер-лейтенант велел Кайусу ждать, и

фрейлейн кивком подтвердила приказ. Такая досада! Фойгт беспокоился. Его тянуло пробраться следом, подслушать, а в случае нужды помочь фрейлейн.

Прошло минут двадцать. Кайус притопывал в кабине, чтобы согреться. Тревога его все росла. И вдруг...

Фронт загрохотал. Только что была глубочайшая тишина, — казалось, война уснула и не пробудится долго-долго. И Кай уже успел привыкнуть к тишине. Может быть, поэтому ожившая канонада прозвучала так грозно. Но нет, ярость ее была и впрямь необычной. Русские явно пустили в ход все свои батареи; выстрелы слились в сплошной воющий гул. И «катюши» проснулись. Они то и дело вставляли в гомон орудий свое слово...

Начался штурм.

Где-то близко, за домами, взлетали бурные дымки разрывов. Что же не идут? Что с фрейлейн?

Кайус уже собрался проведать их, как вдруг из подъезда выбежал Бинеман. Да, именно выбежал. Без фуражки, задыхающийся.

В это время было совсем светло, и Фойгт увидел блестящий от пота лоб Бинемана, его блуждающие, злые глаза.

— Где фрейлейн? — спросил Фойгт.

Он сразу заподозрил недоброе. Бинеман не ответил, — он рывком открыл дверцу, и его огромное тело вдавилось в сиденье. Правой рукой, скрытой от Кайуса, он шарил где-то. Чувства Фойгта обострились, он понял, — Бинеман достает пистолет. Инстинктивно Кайус схватился за тесак. В ту же секунду в глаза блеснула сталь пистолета. Фойгт изловчился, сжал левой рукой запястье обер-лейтенанта, отвел, а правой выхватил тесак и ударил...

Солдат убил своего офицера. Немецкий солдат! Кай перестал даже слышать канонаду, — так поразило его то, что произошло. Он ненавидел нацистов, он дружил с русской фрейлейн, но он никогда не думал, что сможет применить оружие против другого немца. Да еще офицера!

Несколько минут Кай стоял у кабины, возле мертвого Бинемана, в полнейшем смятении. Что же теперь будет? Надо бежать! Немедленно бежать!

А фрейлейн? Кай бросился в ворота, пересек пустынный двор, поднялся на третий этаж. Дверь была рас-

пахнута настезь. Никого! Кай обошел все комнаты, осмотрел все закоулки. Пусто! Похоже, — и не было тут людей сейчас. Ни один стул не сдвинут, на всем — слой пыли. В камине — давно остывшая зола. Кай в отчаянии бродил по квартире, звал фрейлейн. В холодных, запущенных комнатах звенело эхо.

Что же с фрейлейн? Кай отправился к машине, потом вернулся в квартиру. Он решил ждать фрейлейн. Отсиживаться здесь, прятаться от своих — и ждать.

Канонада между тем приблизилась. Днем она утихла и точно разломилась, — в паузы втиснулась, рассыпалась пулеметная очередь. Русские в городе! Значит, он спасен теперь, — солдат, убивший офицера. Скрываться больше незачем... Да, от немцев уже ни к чему. Теперь каждый заботится о своей шкуре. Кай подошел к окну. Во двор вбежали два немецких офицера-танкиста. Они сорвали с себя кители, запихали в чан с мусором и кинулись в подъезд.

Однако ведь и ему, Каю, не стоит попадаться на глаза русским. Еще в плен угодишь. Домой, домой! Снял в гардеробной штатский костюм, переоделся. Брюки не закрывали щиколоток, пиджак был тесен, под мышками трещало, — неважная маскировка! Еще день и ночь провел Кай в кабинете фон Шехта. Невдалеке, на набережной заиграла музыка, потом басовитый голос, усиленный репродуктором, заговорил с акцентом:

— Внимание, внимание! Передатчик Советской Армии! Немцы! Мы несем вам мир!

У Кая все запело внутри. Он распахнул окно. Голос властно заполнил комнату.

— Мы несем вам мир! — повторил он. — Падение Кенигсберга — это начало падения Берлина.

Кай надел плащ фон Шехта. Пока длились бои в городе, Кай прятался в заброшенных квартирах и среди развалин. Потом осторожно, дворами, переулками двинулся на окраину города, в Розенштадт, к себе. У калитки он столкнулся с братом.

— Кончено, — сказал Кай. — Русские здесь.

Брат не понял его.

— Эшелон уходит, — пробормотал он, глядя куда-то мимо Кая. — А я вот... позабыл документы. Нельзя же без документов.

Кай влетел в дом. Кончено! Уж для него, во всяком случае, война прекратилась.

Все было бы хорошо, если бы не беда с фрейлейн. Когда он думал о ней, ему виделся Бинеман, выбегающий из ворот, растерзанный, почти безумный. С фрейлейн, наверное, случилась беда. Но возможно, она спаслась от Бинемана и теперь в безопасности, среди своих. Спросить бы у русских! К первому встречному с таким делом не обратишься. Зайти разве к советскому коменданту? Но и тот вряд ли в курсе... Еще не так поймет Кайуса, будут неприятности.

Наконец сложился простой вывод: если фрейлейн Катарина не пришла к своим, исчезла, то ее непременно будут разыскивать и постараются выследить и машину, и его — шофера Кайуса Фойгта. Надо пойти навстречу русским! Кайус явился в парк трофейных немецких автомобилей и предложил свои услуги старшине Лыткину. Очень обрадовался, увидев свой «Оппель».

...Вот всё, что я узнал от Кайуса Фойгта.

За точность изложения я не ручаюсь, — лет минуло много; некоторые детали, вероятно, забыты.

Все сказанное им слилось в одно — с Катей беда. Бинеман убил ее. Гитлеровцы уничтожили сотни пленных, закапывавших похищенные ценности. И Катя была опасна для банды фон Шехта, опасна как свидетельница. Бинеман убил ее и хотел убрать Фойгта.

Я почувствовал боль и слабость. Ужасающую слабость. «Катя погибла, — сказал я себе, — и дальше искать бесполезно». Кай молча смотрел на меня.

— Значит, ее нет у вас? — проговорил он печально.

Однако признаков борьбы в квартире он не заметил. И Бинеман ведь не имел намерения убивать Катю, — напротив, он дорогою предлагал ей обручальное кольцо. Он открыл ей что-то, касавшееся фон Шехта. По всей видимости, она надеялась найти нечто важное там, в квартире фон Шехта.

— Она не пришла к нам, Кай, — сказал я. — Она была без оружия, вот что ужасно.

— Без оружия? — Он наморщил лоб. — Нет, почему вы считаете?..

— Она же отдала свой «Манлихер» Алоизу Крачу! Трусу, белоручке!

— У нас был еще пистолет, — сказал Кайус. — Такой же, «Манлихер». Я поднял его под Варшавой на поле боя. Он не числился за мной, понимаете; я никому не докладывал... Он лежал в машине, под сиденьем. И я дал ей.

И она не воспользовалась? Мысли мои смешались.

— Я могу вам показать квартиру, — услышал я. — Вы посмотрите сами как следует. Могло статься, я не доглядел тогда... Пожалуйста, господин лейтенант.

— Нет, — сказал я. — Не господин. Товарищ лейтенант! Товарищ!

Я крепко пожал обе руки Кайусу Фойгту. Немцу, другу Кати, который действительно вышел ко мне навстречу. Настоящему товарищу.

9

— Здесь, — сказал Фойгт.

Серый пятиэтажный дом, опоясанный балконами. Бомбы почти не задели его. На балконах — в горшках и лотках — зеленеет салат. «Любимый марципан» — написано над пустыми окнами нижнего этажа. А вот клуб Черноголовых. Золотой нимб святого Маврикия пробит пулей. Лепные фигуры всадников в шлемах украшают фасад. Над входом дата — 1562. Здание изъедено трещинами. Если бы не домá, подпирающие его с боков, оно, верно, рассыпалось бы в прах.

Напротив, за бульваром, превращенным в бурелом, — россыпи кирпича, опаленные стены. Чудом уцелевший квартал кругом охвачен «городом развалин», как прозвали немцы разрушенные центральные районы Кенигсберга. Где-то поет пила, — там добывают дрова для железной печурки, затопленной в подвале, или мастерят подпорки для временного пристанища среди руин. Толстый старик едет на трехколесном велосипеде, везет остатки скарба — подушку, ночные туфли, расписанный незабудками кофейник.

Мостовая усеяна битыми пузырьками, картонными коробочками, имуществом аптеки, взлетевшей на воздух. Мы идем, с хрустом топчa стекло. Железные ворота, ведущие во двор, перечеркнуты пулеметной очередью.

Фойгт в нерешительности остановился. Перед нами — лагерь беженцев. Шкафы, умывальники с фарфоровыми тазами, ширмы, гирлянды сохнувшего белья. На складной кровати зашевелился человек с забинтованной шеей. Кай направился к нему. Больной сипло закашлял. Нет, он не знает фон Шехта. Только сегодня въехал сюда.

— Ich bin total ausgebombt,¹ — простонал он и закрылся одеялом.

Тягучее, заунывное пиликанье губной гармошки несло сверху, из окна. Музыка оборвалась, басовитый голос крикнул:

— Фон Шехт в шестнадцатой. Только нет его, давно нет. Сбежал, негодяй.

На нас смотрел, улыбаясь, плечистый мужчина в рабочей куртке. От гармошки, блестящей на солнце, бежали по асфальту, по шкафам, по посуде веселые зайчики.

Конечно, не следовало так громко спрашивать дорогу и называть во всеуслышание это проклятое имя. Кай должен был сам как-нибудь вспомнить. Я должен был предостеречь его... Словом, я совершил оплошность...

Мы не сделали и десятка шагов к парадной, загроможденной огромной вешалкой красного дерева, с оленьими рогами, как раздался негромкий, глухой звук. Не выстрел, скорее щелчок. Кай зашатался и упал навзничь. Я кинулся к нему, расстегнул куртку, увидел кровь.

• Это было так неожиданно — кровь, нападение во дворе жилого дома, в покоренном и уже притихшем городе, что я с минуту топтался возле Кая, беспомощно озираясь.

Сбегались люди. Что-то блеснуло; ко мне сквозь толпу протолкался немец с губной гармошкой. Он вложил ее в карман; мы подхватили Кая и понесли к воротам. Водитель-сержант завидел нас из «Вилдуса» и поспешил на помощь.

— Везти нельзя, — сказал немец. — Надо скорее... Тут есть врач.

— Вы не видели, кто стрелял? — спросил я.

¹ — Я полностью разбомблен (нем.).

— Нет. Я ничего не слышал даже... Вижу, — он упал. Проклятье! Неужели еще мало всего этого? — Он задыхался от гнева. — Стрельбы, мучений...

Не доходя до ворот, мы повернули к крыльцу. Крутая, узкая лестница привела нас под самый чердак. «Augendiagnostik Yoronimus Kimbl», — прочел я на двери. Открыл человек в халате не первой чистоты, рыжий, поджарый, в оббитом, словно обкусанном пенсне.

Кая уложили на кушетке. Кабинет был до странности пуст. Несколько пакетов с лекарствами в поставце. Никаких инструментов, — если не считать лупы на столике у кресла, небольшой, цилиндрической лупы ботаника или часовщика. И еще удивило меня огромное, в красках, изображение человеческого глаза, прибитое к стене и наполовину задернутое марлевой занавеской. Признаюсь, я с некоторым недоверием следил, как Иеронимус Кимбл ощупывал Фойгта.

Раненый дернулся и провел пальцами по лицу, словно согнал что-то.

— Кимбл хороший врач, — промолвил немец, помогавший мне. — Он поглядит вам в глаза и сразу скажет, что у вас. Тут, по этому рисунку, — он потянулся к плакату и показал радужную оболочку, испещренную клеточками и точками, — все можно определить. Тут все отражается.

«Хиромант какой-то», — подумал я. Немец говорил раздельно, как на уроке.

— Кимбл учился в Бразилии, — прибавил он. — Глазных диагностиков всего одиннадцать. Во всем мире.

Кай запрокинул голову, скрипнул зубами и еще раз согнал что-то с лица.

— Он немец? — спросил Кимбл.

— Да, — ответил я.

Раненый затах. Кимбл сунул стетоскоп в карман и запахнул халат.

— Русский, немец, поляк — теперь это все равно, — проговорил он в сердцах. — Мертвые не имеют национальности. Они равны.

Кай лежал вытянувшись. Мой спутник тронул меня за рукав.

— Кимбл честный врач, — сказал он по слогам. — Клянусь, господин офицер.

— Кто его? — спросил врач.

— Соотечественник. — Немец скривил губы. — Тоже сын Германии. Вроде фон Шехта. Боже мой, когда же это кончится!

Он не отводил от меня прямого, скорбного взгляда. Кай умер? Я не хотел верить этому. Я ждал, что Кимбл тряхнет своей рыжей гривой и бросит, улыбаясь: «Отлежится», «Через недельку встанет» — или что-нибудь в таком роде. И вдруг — умер! Убит вражеской пулей. И не вернется в свой Розенштадт. Убит в весну победы. Убит, когда все кругом взывает: довольно смертей! Когда земля, кажется, уже полна мертвецов. Не может принять их больше.

«Мертвые равны», — вспомнилось мне. Неправда! Фон Шехта тоже нет, но он умер иначе. Трупный яд остается после таких. А другие сгорают чистым огнем, освещая дорогу живым.

Тут я с болью, с ужасом поймал себя на том, что думаю так не только о Фойгте, но и о Кате. До сих пор я берег ее в своих мыслях живую, только живую. Янтарная комната, картины, экспонаты из музеев — все это было для меня как бы вне войны. Смерть Кая словно толкнула меня обратно на передний край.

Точно в тумане замелькали передо мной санитары, натянувшийся холст носилок и наш эскулап, склонившийся над телом. «Ранение смертельное», — услышал я. Кая вынесли. Я спустился во двор.

Двор шумел. Немцы, собравшись в кучки, обсуждали происшедшее. Гельмут Шенеке — так звали моего нового знакомого — шагал рядом со мной, сунув жилистые руки в карманы комбинезона.

— Вы не знаете Черноголовых? — басил он. — Шайка разбойников! Их надо выловить, господин офицер, всех до одного. Они погубили моего брата. Он сгинул, исчез там, в их логове. Да, люди пропадали бесследно. Это не легенда, господин офицер, это голая правда.

Вокруг нас тотчас образовалась толпа. Шенеке заговорил громче; он обращался теперь ко всем. Я почувствовал, что и мне надо что-то сказать.

— Убит честный немец, Кайус Фойгт, — сказал я. — Тот, кто убил его, — наш общий враг. И мы, советское

командование, разыщем убийцу. Я буду рад, если вы окажете содействие.

Толпа одобрительно заволновалась.

Я кликнул автоматчиков; мы начали прочесывать дом.

10

Большой дом, перенаселенный, до отказа набитый беженцами. Чего только нет в нем! Две лавки — кондитерская, пивная — танцкласс, мастерские кустарей — портных, гравера, скорняка, модистки. Один портной, Назим-оглу, вывесил из окна флаг с полумесяцем; лет тридцать назад он эмигрировал из Турции, но подданство сохранил и нынче счел за благо отмежеваться от немцев. Дребезжит расстроенный рояль, стучит молоток, — кто-то чинит раму, поврежденную воздушной волной. В доме убаюкивают детей, жарят салаку, штопают носки.

Кто же стрелял в Кая Фойгта?

Я попытался представить себе, как бы поступил следователь. Бакулин, например. Прежде надо, очевидно, определить, откуда был произведен выстрел. Взять в расчет характер раны, место во дворе, где находился в тот момент бедняга Фойгт.

Вот-вот Бакулин явится сам. Но можно ли терять время! По моим соображениям получалось, — стреляли из окна третьего этажа. И возможно, — из крайнего окна, у стыка с домом Черноголовых.

Прихватив автоматчика, я понесся туда. «Теодор фон Шехт», — стояло на табличке. Дверь была незаперта.

Квартира фон Шехта! Все пути поиска свелись теперь к ней; здесь, в утро штурма; была Катя. А сегодня сюда прокрался убийца...

Из передней мы вошли в обширную столовую. Дневной свет свободно проникал в окна. Маскировочные шторы — скатанные, слипшиеся — были подняты очень давно. В них, значит, не было нужды. Никто не ночевал здесь. Пыль густо запорошила гигантский буфет с мрамором, с бронзовыми крылатыми львами, рояль в углу, этажерку для нот.

Запустение, холод, затхлый, нежилой дух... В спальне под картиной — котята, играющие с клубком

ниток; черные котята, верно, на счастье; полосатые матрацы двух кроватей, пустые тумбочки.

Узкая дверь, под цвет розовых обоев, ведет в гардеробную. Здесь Кайус Фойгт в утро штурма взял костюм фон Шехта и его плащ, переоделся. Да, вон в углу его солдатский китель, брюки. С тех пор, похоже, никто не тревожил гардеробную. На вешалках — вещи мужские и женские, поношенные, покинутые за ненадобностью.

Конечно, мы перевернули матрацы, обшарили все углы в спальне и в других комнатах. Никого! Преступник если и был здесь, то не оставил следа!

Фон Шехт забросил эту квартиру давно, задолго до своей смерти, скорее всего перед войной. В кабинете, в ящиках стола, — ни единой бумажки. На столе — телефонная книга 1939 года, медная коробка с крупинками трубочного табака. Я понюхал их. Они почти утратили запах.

В камине — слежавшаяся зола...

Кабинет примыкал к библиотеке. Дверь в нее была заперта; пришлось взломать ее. От стеллажей с книгами тянуло плесенью. Я снял одну книгу в переплете из свиной кожи. Руководство для шахматной игры, напечатанное в Амстердаме, в семнадцатом веке.

— Товарищ лейтенант! — услышал я.

Молодой автоматчик, раздумавшийся от усердия, протягивал мне какой-то предмет.

Берет. Обыкновенный синий берет. Я взял его. В глаза бросилась брошка, знакомая галалитовая брошка в виде листка. Кленовый листок!

— В спальне, товарищ лейтенант, — объяснял автоматчик. — Под зеркалом...

Впопыхах я и не замечал там зеркала. Берет лежал на полочке; в слое пыли отпечатался кружок. Но и под беретом тоже была пыль, — столько же пыли; и, значит, берет положен недавно. Ну, разумеется, — две недели назад, перед штурмом.

Катин берет!

— Я смотрю, — женская вещь, — доносился до меня бойкий басок автоматчика. — Мужчине на голову не налезет...

Катин берет!

Стремительные шаги звучали из парадной, на лестнице. Я вдруг сообразил, — это Катя! Она вбегает сюда,

живая, веселая, в своей зеленой курточке... Шаги пронеслись мимо. И вместе с ними улетучилось видение.

Немного спустя лестница загудела, грохот кованых сапог вторгся в переднюю. Вошел Бакулин.

Наконец-то! Торопясь, глотая слова, я выложил ему все, — сведения, данные Фойгтом, обстоятельства его гибели, результаты моих поисков. Бакулин спросил меня, откуда, по моему мнению, стрелял убийца.

— Из библиотеки, — сказал я.

— Показывайте. Ага, отсюда? — Он выглянул в окно. — И я так прикидываю, — третий этаж. Высота сомнений не вызывает. Но ты все же не очень наблюдателен, Ширяев. Видишь, простыни висят? Попробуй прицелиться!

— Но, может быть...

— Висят с утра, — усмехнулся Бакулин. — Эх, разведчик! Водой, что ли, освежись.

Значит, Бакулин уже действует. Уже опросил немцев во дворе. Тем лучше.

— Вот из окна левее, — продолжал он, — можно было... А отсюда стрелявший не мог вас видеть, за простынями. А? Не так ли?

Жизнь во дворе между тем вернулась в свою колею. В кастрюлях булькали супы. Портной-турок, распахнув забитые фанерой окна, звал своих детей — Ганса и Мухамеда — обедать.

— Левее дом Черноголовых, — сказал я. — Заколотый. Но надо заглянуть.

— Успеем. Я поставил солдата наблюдать. Кто взломал дверь?

— Мы.

— А парадная была отперта?

— Да. Еще Фойгт заходил...

— Понятно. Парадная — настезь, а библиотека — на замке. Достоинно внимания...

— Ценные книги, — сказал я.

— Резонно. Допускаем.

Потом он долго осматривал спальню и зеркало с полочкой, где Катя оставила свой берет.

— Не видел зеркала? Пролетел мимо? Нет, следовательно из тебя не выйдет. А вот она нашла зеркало. Волосы поправляла, наверное. О чем это говорит?

Зеркало — старинное, в овальной рамке красного дерева, с подставками для свечей по бокам — прибито над тумбочкой. Его затеняет бельевой шкаф, стоящий ближе к окну.

— Заметь, Ширяев, стекло протерто. И не наспех, посередине, а вся поверхность. Зеркало чистое. Стало быть, Мищенко была спокойна тогда. Опасности не ощущала. Фойгт ведь не обнаружил признаков борьбы? Он был прав.

— Так что же случилось с ней?

— Если бы я мог ответить, Ширяев! — вздохнул Бакулин. — В том-то и загвоздка.

Входная дверь скрипнула. Вошел лейтенант Чубатов из контрразведки, — года на два моложе меня, белобровый, крепкозубый. Я недолюбливал его. Мне казалось, что Чубатов важничает.

Как я теперь понимаю, ему просто хотелось быть старше своего возраста. Тем более, — в тот день. Ему дали задание, которое, наверно, досталось бы офицеру более опытному, не будь мы в Кенигсберге, где чекисты и без того были заняты по горло.

Чубатов очень мало знал о Кате. Я заговорил о ней и, должно быть, увлекся.

— В каких вы отношениях с Мищенко? — спросил он. Я смешался, и Бакулин ответил за меня:

— В служебных.

— Разрешите, товарищ майор, — тихо сказал Чубатов, — пусть лейтенант сам даст оценку.

— Майор вам сказал, — буркнул я.

Бакулин улыбался. Он видел то, чего я не мог заметить. Чубатов очень боялся ударить лицом в грязь. Бакулина он немного стеснялся. Оттого и слова произносил вымученные, казенные.

— Ширяев, мне думается, лицо не беспристрастное, — услышал я.

— Он справляется с делом, — возразил Бакулин добродушно, с усмешкой.

«Что, выкусил?» — Я с торжеством взглянул на Чубатова.

Потом оба они вооружились лупами и принялись изучать пол. С полчаса длилось это. Бакулин выпрямился и опустил на письменный стол бумажку. Белые кристаллы блестели на ней.

— Сода, — объявил он.

— С улицы нанесли, — вспомнил я. — Напротив же аптека была...

— Знаю, знаю, — улыбнулся Бакулин. — Сходи, Ширяев, достань нам соды с мостовой. В темпе! Одна нога здесь, другая там.

Я стремглав кинулся выполнять приказание. Но увы, — как ни старался, как ни искал, — соды обнаружить не мог. Под каблуками моими трещали битые пузырьки, картонные и жестяные коробки, остатки колб, пробирок, градусников. В ямке застоялась лужица; вода в ней была малиновая. Точно так же выглядел раствор марганцовки, которым я полоскал рот в медсанбате, после того как мне выдернули зуб.

Сода ведь тоже растворяется в воде, — сообразил я. Позавчера был сильный дождь, соду смыло.

Значит, не мы принесли соду на ногах в квартиру, догадался я. Верно, — Катя, Бинеман или Кай. Бакулин это и хотел установить. Но для чего?

— Ни крупинки? — бросил Бакулин, завидев меня. — Так я и думал.

— Товарищ майор, — спросил я, — в библиотеке тоже сода на полу?

— Э, да он делает успехи. — Бакулин откинулся в кресле. — Ты понимаешь, Ширяев, Бинеман запер за собой дверь библиотеки. А парадную оставил открытой. Бинеману надо было создать впечатление, что он не был в библиотеке с Катей. Что его влекло сюда? Не книги же! Ну-ка, покажи нам, Ширяев, какие ты брал книги!

Я показал.

— Остальные стоят, как стояли месяцы, может, годы. Вон пылица на полках! А кроме книг, что тут ценного? Ничего! Бинеман и Катя были здесь, мирно беседовали, а затем...

«Катя и Бинеман были здесь, — думал я. — Они мирно беседовали, а затем... Да, все к одному, — библиотека где-то сообщается с домом Черноголовых».

Где?

Мы сняли книги с полок, потом отцепили стеллажи. Чубатов начал выстукивать стену, Бакулин закатал ковер, вынул лупу и опустился на колени.

Работали мы часа полтора. Бакулину пришла мысль, что след в библиотеку — ложный, подстроенный Бине-

маном нарочно. Однако искомый ход, потайной выход оказался именно там. И не в стене, а в паркетном полу, под ковром. Только с помощью лупы удалось найти очертания люка.

Кликнули солдат с топорами; они выломали пол. Под ним оказались железные ступени.

Первыми сошли на лестницу два автоматчика, потом Бакулин, Чубатов и я. Ступени вели круто вниз, по узкому коридору. Он пробивал толщу могучей старинной стены.

Свет сочился из круглого проема — амбразуры. Майор выпрямился, на ладони его блеснула маленькая медная гильза.

Да, убийца стрелял отсюда. Он, очевидно, тотчас ушел потом через комнаты фон Шехта.

Лучи фонарей скользили по гранитной кладке. Гранит был темно-серый, отесанный грубо, ударами тяжелого ручника. Белыми жилками выделялись пазы, и Бакулину вспомнилось давно читанное: в старину в раствор, скреплявший камни, добавляли для прочности яичный белок.

Кое-где рука средневекового каменотеса высекала крест или треугольник в лучах — символ божьего ока. А в одном месте луч выхватил надпись: «Gott mit uns» — ныне в Вермахте повторенную на солдатских пряжках.

Снизу, из самых недр дома Черноголовых, неся неясный гул. По мере спуска он звучал громче.

— Вода, — произнес один из автоматчиков. Лучи фонарей, впереди тонувшие в крошечной черноте, коснулись вскоре пенистой поверхности потока. Он неся в подземных гранитных берегах, плескался, обмывал ступени.

Моя ладонь легла на перильце. Оно вибрировало. От напора воды мелкая дрожь расходилась по металлу, отзывалась болью во всем моем существе.

Широкая каменная арка с крестом на вершине — вход в туннель — неустанно, с свистящим шумом втягивала буйную, непроницаемо-темную воду.

Вода реки Прегель затопила подземелье Кенигсберга через несколько минут после того, как залпы наших орудий и «катюш» возвестили начало штурма. Приказ

открыть шлюзы был составлен немецким командованием заранее. Оно преследовало две цели — лишить наступающие советские войска подземных путей и скрыть, вывести из строя многочисленные сооружения — военные предприятия, жилые помещения, склады оружия и боеприпасов.

Я знал об этом, когда стоял над стремниной, сжимая перильце. Оно отдало свой холодок, сделалось горячим, намокло от пота, — я все смотрел в пенистые водовороты.

Дорога поиска оборвалась, потонула...

Вызвать водолазов! Я представил себе людей в скафандрах, спускающихся в поток, разыскивающих труп Кати. Я нагнулся, погрузил руку, — вода схватила ее словно ледяными зубами, отбросила. Нет, водолазы ни к чему. Я размял пальцы, онемевшие от холода. Если Катя попала сюда, ее отнесло течением далеко отсюда, бог весть куда.

Подавленные шли мы наверх. Низкий каменный свод словно ложился на плечи...

— Завтра осмотрим все подробнее, — сказал Бакулин, когда мы снова очутились в кабинете фон Шехта.

Но он не отпустил нас. Он размышлял вслух, взволнованный открытием. Когда же немцы затопили подземелье? В восемь часов пятнадцать минут, то есть четверть часа спустя после начала нашего артиллерийского наступления.

В это время Катя и Бинеман были в квартире фон Шехта, а Кайус Фойгт ждал их на улице, в своем «Опеле». Люк в полу, возможно, был открыт, Бинеман уловил шум хлынувшей в подвалы воды. Впрочем, он, как и многие офицеры штаба, наверняка знал о приказе.

Конечно, с началом штурма многое в положении всех троих — Бинемана, Фойгта и Кати — изменилось.

План побега из Кенигсберга рухнул. Что оставалось Бинеману — хищнику Бинеману, грабившему вместе с фон Шехтом и присными оккупированные земли? Прятаться от возмездия, сменить личину, скрыться в городе.

Теперь Катя для него — враг. Она, советская девушка, служившая немцам, выдаст его, выдаст, чтобы облегчить собственную участь!

Катя тоже слышит канонаду. Чтобы скрыть радость, она идет в спальню, к зеркалу, снимает берет, поправляет перед зеркалом волосы. Привычные движения помогают прийти в себя. Бинеман зовет ее. Они оба спускаются в люк. Крови на лестнице нет. Катя сошла вниз, Бинеман немного отстал и...

Возможно, Катя сама, почувствовав угрозу со стороны Бинемана, ускорила шаг, решила оставить его позади. И вода, хлынувшая внезапно, унесла ее. Или Бинеман все же выстрелил в Катю, — там, внизу, и вода смыла следы...

Бинеман поднимается, закрывает за собой люк, кладет на место ковер, запирает библиотеку. Одного свидетеля он устранил, но есть еще другой — Фойгт. И Бинеман возвращается к машине, чтобы расправиться с ним.

Знать бы, куда делось тело Бинемана! Верно, немцы или наши бросили в яму, забросали землей, битым кирпичом. Много таких могил.

Пистолет Бинемана мог бы открыть еще кое-какие подробности. Но вот что гораздо важнее, — бумаги Бинемана.

У него был план! План тайников, куда гитлеровцы свозили музейные сокровища.

«Лежит, верно, вместе со своим хозяином», — подумал я, слушая Бакулина. Кто тогда, в разгар боев, стал бы обыскивать убитого, рыться в документах!

Потом Бакулин заговорил о новом поиске, в связи с гибелью Фойгта. Я почти не слушал. Я думал о Кате.

Что же, — считать погибшей? Неужели Бакулин напишет эти страшные слова, как итог наших стараний, наших надежд?

Нет! А если она все-таки спаслась? На войне я видел не только смерть, — не раз при мне, в самом пекле боя, на земле, сплошь перепаханной рваным железом, держалась жизнь, чудом ограждала она своих избранных. Я сам бывал у смерти в котях. А взять семерку, знаменитую семерку разведчиков, о которой слава шла по всему фронту; всего семь человек, вооруженных гранатами против железобетонного форта, считавшегося — как и все кольцо защиты Кенигсберга — неприступным. Огонь крепости, логически рассуждая, должен был стереть в порошок храбрецов. Однако они нашли «мерт-

вое» пространство, забрались на купол, и гранаты, связки гранат, брошенные в вентиляционные колодцы, вывели из строя немецкий гарнизон, ни много ни мало — 90 штыков...

Раздумья мои прервал старшина из разведки. Он принес пулю, вынутую из тела Фойгта. Бакулин достал из кармана гимнастерки гильзу. Так и есть! Убийца стоял под люком, целил из амбразуры.

— Стрелок он отличный, — сказал майор. — На тридцать шагов и наверняка насмерть. Из такого оружия, к тому же... Маленький «Манлихер» — это же старая система, невоенная даже...

— Товарищ майор, — вставил я. — Я не докладывал вам? У Мищенко, — при Чубатове мне почему-то трудно было сказать «Катя», — был как раз такой. Фойгт говорил...

— Вот как! Любопытно.

Тут Чубатов, до сих пор хранивший молчание, поднялся с кресла.

— Неясность, товарищ майор. Эх, — он вздохнул и потер лоб. — Поведение Мищенко, понимаете...

Что он еще надумал! Слово «поведение» кольнуло меня. А Чубатов тер лоб, как будто школьник, которого вот-вот вызовет педагог. И надо, стало быть, вспомнить все, что знаешь. Напускная солидность следа с него.

— Поведение Кати ясное, — сказал я. Теперь я мог назвать ее по имени, мне стало легче с Чубатовым.

— Данных мало... Меня вот что смущает... Вы как условились с Мищенко? Проследить за имуществом, так? Которое самое ценное, верно? За Янтарной комнатой. И всё. Потом беречь себя и ждать наших. Верно, товарищ майор?

Чубатов перестал стесняться и заговорил проще. Куда же он клонит?

— На улице Мольтке она была; значит, задача выполнена. Местонахождение янтаря известно. Сама же присутствовала, когда зарывали ящики.

— Правильно, — кивнул Бакулин. Чубатов явно нравился ему, а я весь напрягся. — Ну, дальше-то что?

— Я из фактов исхожу, — сказал Чубатов и вопросительно поглядел на майора. — Дело свое она сделала.

Так нет, вместо того чтобы отвязаться от своих начальников, она... Она дает себя увлечь сюда.

Никак он обвиняет Катю! В чем? Пусть выскажется до конца.

— Ну, и в этой же связи, — он опять потер лоб. — Мы искали признаков борьбы, насилия. Их же нет...

Ах, вот в чем дело!

— Так, так, — выговорил я. — Дает себя увлечь, говорите... Складно у вас получается...

От ярости у меня онемели губы.

— Спокойнее, Ширяев, — сказал майор.

— Я спокойно... Глупость, вот что... Он считает, Мищенко убила Фойгта и сама, с ними... Не смеет он так о Кате...

— Личные ваши чувства, — начал Чубатов, и тут я окончательно взорвался.

— Ложь! — крикнул я. — При чем тут 'личные'?.. Ложь!

Я вскочил. Право, не знаю, зачем я вскочил с кресла. Должно быть, хотел убежать в другую комнату, не слышать Чубатова.

— Куда? — окликнул меня Бакулин и поднялся. — Стоять смирно! Черт знает что такое! Мальчишка! — Он перевел дух. — Сутки домашнего ареста!

12

Представляете себе, каково мне было! В самый разгар поиска меня обрекли на безделье, на горчайшее одиночество. Можно ли придумать более суровое наказание!

Теперь все кончено для меня. В глазах Бакулина я упал. Больше я ему, верно, не нужен. Какой от меня толк! «Эх, разведчик, водой, что ли, освежись!» — ожило в памяти. За мной и без того масса упущений, а тут еще нелепая стычка с Чубатовым. Скверно!

После убийства Фойгта поиск стал сложнее. Словом, — мне уже нет места.

В то же время я не переставал думать о Кате. Мысли мои о Чубатове, о Бакулине, о собственной жалкой судьбе вращались вокруг нее, как по орбите. Невзирая ни на что, я видел ее живой. Да, я верил в чудо.

Времени для размышлений у меня было достаточно. Читать разрешалось, но книга валилась из рук. С той-ской я смотрел на улицу из своего номера в гостинице средней руки, где офицерам отвели жилье. Не раз, впад в отчаяние, я порывался бежать к Бакулину, умолять его о снисхождении. Нет, нельзя! Я убеждал себя снести кару безропотно и даже усилил ее — запретил себе курить: пачку сигарет смял и выбросил.

На улице, возле булочной, собирались немки, судачили о домашних своих делах. Не спеша, вразвалочку прошагали под окном два солдата. Один насвистывал. А ведь самое главное сейчас — это узнать, что с Катей. Эти солдаты, эти немки в коричневых пальто с взбитыми, гвардейскими плечами понятия не имеют, что где-то, может быть очень близко, — Катя. Лежит в бреду, у чужих, или томится в каменных стенах, ждет помощи.

Нет, надежду я берег. Я цеплялся за нее вопреки всему. Да, Фойгт, весьма вероятно, убит из Катиного «Манлихера», отнятого у нее... Все равно, это не значит, что она погибла.

А если она попала в воду? Тогда конец.

И все-таки — нет, видел я ее живой.

Пока я томился под арестом, в доме на Кайзер-аллее происходили важные события.

Обследование дома Черноголовых с утра возобновилось. Квартира фон Шехта стала командным пунктом операции. В полдень, когда Бакулин и Чубатов сидели в кабинете, отдыхали и курили, послышался страшный гвалт.

На самой середине двора сбился человеческий сгусток. Он разрастался; к нему со всех концов, обрывая веревки с бельем, опрокидывая ведра, кувшины с водой, керосинки, сбегались немцы. Понять что-нибудь было невозможно. Чубатов выбежал на лестницу, уже гудевшую от топота.

Впереди поднимались трое: наш знакомый Шенеке и еще один мужчина, в кителе железнодорожника, вели под руки юнца лет семнадцати в кургузом рыжем пиджаке.

— Щенок! — раздавалось в толпе. — Теперь не уйдет.

— Мало им крови!

— Негодяи! Когда конец этому!

Бакулин поднял руку. Немцы утихли. Шенеке, держа перед собой в обеих руках фуражку, степенно выступил вперед.

— Он стрелял вчера, господа офицеры, — сказал Шенеке. — Он! Сам не отрицает.

— Немец в немца! — отозвался кто-то. — Бог мой, этого нам и не доставало. Только этого...

— Мир сошел с ума.

— Тихо! — произнес Шенеке командным тоном. — Дело было так, господа офицеры. Утром, после завтрака, да, сразу после завтрака мне говорят, — объявился какой-то молодчик, шныряет по квартирам и сеет панику. Будто в доме заложены мины замедленного действия и все мы должны в шесть часов вечера — да, точно в шесть часов — взлететь на воздух. Значит, через час. Ну, мы — я и Курт, — он указал на приземистого мужчину с квадратным подбородком, по виду тоже рабочего, — решили, что молодчик сам замешан в этой истории, коли болтает такое.

— Jawohl, — подтвердил Курт.

Юнец стоял перед Бакулиным нагло, выпятив живот, но видно было, что поза давалась ему нелегко, — он дергался, кривил губы; на лбу, под жесткой белокурой кудряшкой, блестел пот.

— Вы стреляли? — спросил его Бакулин.

— Я. — Он рывком откинул назад голову. — Я стрелял! Я... Я... Я не боюсь вас...

Толпа зашумела.

— Немец в немца, — повторил кто-то со скорбью. — О, боже!

— Он не немец! — выкрикнул юнец. — Предатель! Слышите вы? Вы тоже... Вы...

Он рванулся. Шенеке и еще двое схватили его. Он забарахтался и обмяк.

«Гитлеровский выкормыш, — подумал Бакулин. — Истерик. Отравлен с детства. А был бы красивым, здоровым парнем, если бы не нацисты».

— Ваше имя? — спросил майор.

Молодчик не ответил. Он шатался, как пьяный; его держали под мышками.

— Вернер Хаут, — сказал Шенеке. — Сынок хозяина аптеки. Разбитой аптеки, в доме напротив, в бывшем

доме, — добавил он методично. — Говори, Хаут! — Он тряхнул молодчика за плечо. — Говори, раз ты не боишься, ну! Он состоял в фольксштурме, господ офицеры; он из самых отпетых. Тут у него тетя, в тридцать седьмой квартире. Шарлотта Гармиш. У нее мы и взяли его.

Шум во дворе между тем не утихал. Высокий женский голос поднялся над гомоном и зазвенел:

— Ты можешь идти, Эрвин! Я никуда не пойду! Я устала, устала...

Скрипела передвигаемая мебель. Заплакал ребенок. Портной турок громко возглашал:

— Проклятье! Посчитались бы хоть с нами! В доме живут иностранцы!

В кабинет протолкался младший лейтенант, командир автоматчиков, красный, возбужденный.

— Товарищ майор! Немцам кто-то мозги задурил... Оцепление рвут... Бегут, барахло тащат...

— Спокойно! — молвил Бакулин. — Спокойно!

Он приказал офицеру вернуться, наладить проверку выселяющихся. Нет, держать людей силой нельзя. Но контроль не ослаблять!

Младший лейтенант ушел. К нему присоединился Чубатов. Бакулин оглядел немцев.

Что сказать им?

Лучше любого из них Бакулин знал, сколько смертей еще таит город. Что ни день, рвутся мины, вспыхивают пожары, как будто злобные невидимки задались целью довершить разрушение. Что, если Хаут прав! И этот дом тоже обречен...

Бакулин раздумывал минуты две. Это были трудные минуты. «Нет, — сказал он себе. — Никаких мин нет. Надо остановить панику. Во что бы то ни стало!»

— Мы никого не держим, — сказал Бакулин. — Но бежать из дома глупо. Я лично раньше шести не уйду отсюда.

Он вынул часы и положил на стол.

— Я остаюсь с вами, господин майор, — отчеканил Шенеке и неторопливо, по-прежнему держа перед собой фуражку, сел в кресло рядом с Бакулиным.

— Отлично, — молвил майор. — Отлично. Мы побеждаем с Вернером Хаутом.

«Истерик, — еще раз подумал Бакулин, разглядывая молодчика. — Вздвинчен, словно принял дозу наркотика. Вот он каков, — убийца Фойгта! Для того и сочинил небылицу насчет мин, чтобы под шумок, пользуясь кутерьмой, выскользнуть из оцепленного дома. Хитрый, смелый ход, — даже, пожалуй, слишком смелый для него. Надо проверить, но не сейчас».

— Итак, ваше имя — Вернер Хаут? — спросил Бакулин. — Хорошо. Так и запишем. Член союза гитлеровской молодежи? Так?

— Хайль Гитлер! — выкрикнул Хаут. — Хайль!

Шенеке схватил его за полу пиджака и силой усадил. Бакулин усмехнулся.

— Ясно. Вы утверждаете, что дом минирован. Это ваши слова?

— Да. Вы... Вы все...

— Погибнем? В шесть часов? Хорошо, проверим. Нам спешить некуда.

— Я живу здесь все время, — вставил Шенеке. — Я знаю дом, как свою ладонь. Мин нет. Все старожилы скажут то же самое. А этот негодяй...

— Подождем, — сказал Бакулин.

Он следил за Хаутом. Предложил закурить. Пальцы Хаута дрожали, когда он зажигал спичку.

Часы фон Шехта — старинные часы — сыграли несколько тактов марша и гулко пробили шесть. Хаута, обмякшего, отупевшего, увели автоматчики.

Допросили его в тот же вечер в контрразведке, в присутствии Бакулина.

Хаут оправился, держал себя развязно. Да, состоял в Союзе гитлеровской молодежи. Да, и в фольксштурме. Был там командиром. Чубатов спрашивал не спеша, записывал аккуратно, четким, каллиграфическим почерком.

— Убил я! — вымолвил Хаут. — Что вам еще нужно? Можете расстрелять меня.

Тут он словно испугался собственного голоса и сжался. Это не укрылось от Бакулина.

— С вашего разрешения, капитан, — сказал он, — я задам вопрос. Скажите, Хаут, вам известно, кого вы убили? Кто он, как его звали?

— Я... Я... Он предатель...

— Его имя?

— Не... Не помню...

— Не знаете?

Хаут молчал.

— Я понял вас, товарищ майор, — тихо сказал Чубатов и обмакнул перо. — Итак, Хаут, вы проникли в квартиру фон Шехта, в библиотеку, и выстрелили из окна.

— Да, из окна, — отозвался Хаут.

— Так, — перо Чубатова задержалось. — Однако стреляная гильза, свежая стреляная гильза лежала в доме Черноголовых, под амбразурой.

— Неважно. — Хаут опустил голову. — Я убил! — выдохнул он с усилием. — Я!

В эту минуту в памяти Бакулина возник другой юнец — испитой, бледный до синевы, с пятном волчанки, залившей полщеки. Из шайки грабителей попался он один, — остальные, в том числе старший, матерый рецидивист, скрылись. Арестованный не отпирался, — напротив. Большой телесно и душевно, озлобленный против всего здорового, он со странным упрямством, вопреки всякой очевидности, брал всю вину на себя.

Вот и Вернер Хаут... Он иступленно твердит: «Я убийца» — но доказательств еще нет. Убить Фойгта мог только очень хороший стрелок, а этот... Слишком издерган. Сомнение появилось у Бакулина с самого начала, при первом взгляде на Хаута. Теперь оно росло.

— Где ваше оружие?

Хаут смешался. Оружие? Оно у тети Гармиш, в тридцать седьмой квартире. В комод.

Допрос прервали. Чубатов поехал к Шарлотте Гармиш. Оружие отыскиали, но не в комод под бельем, куда положил его Хаут. Шарлотта, желая помочь племяннику, переложила револьвер — старый, тяжелый маузер. Из него давно никто не стрелял. Тем временем лаборатория закончила исследование гильзы, найденной под амбразурой, подтвердила марку пистолета — «Манлихер» старого образца.

Вечером допрос возобновился.

Хаут еще упорствовал. Но постепенно истина выходила наружу.

Отряд, в котором он состоял, разбежался в первый же день штурма Кенигсберга. Хаут решил действовать в одиночку, стать террористом, «вервольфом» — волком-

оборотнем. Но не хватало выдержки, умения. Пока Хаут прятался, пока обдумывал, как ему быть, во дворе произошло убийство. Застрелили немца, пришедшего вместе с советским офицером, помогавшего ему, — значит, «красного» немца. На Хаута снизошло откровение. Да, с ним бывает такое. Как у фюрера. Хаут почувствовал, — его час пробил. Он должен помочь неизвестному убийце: выжить русских, ведущих следствие, вызвать панику в доме, напугать.

Он колебался. Как бы самому не попасться! Рассказал выдуманную новость тетке Гармиш, та передала соседям. Слух растекся по дому, дошел до Шенеке. Он припер Хаута к стене. Хаут впал в ярость, нагрубил Шенеке, — и тут посетило Хаута второе откровение. О, он доведет дело до конца! Все равно, теперь ему нечего терять. Он спасет убийцу, жертвуя собой. Германия ждет такого примера, он всколыхнет людей, разбудит силы для отпора большевикам. И он, Вернер Хаут, станет героем, как Хорст Вессель, отдавший жизнь за фюрера.

«Звереныш! — думал Бакулин. — Он не убивал, но ведь воспитан он для убийства. Другой совершил то, что он мечтал сделать сам. Нет, он не просто играл роль. Выпусти его, — он завтра, пожалуй, убьет».

... Вот какие события случились, пока я отбывал срок наказания в номере гостиницы, сетовал, проклинал себя, думал о Кате.

Бакулина я увидел лишь наутро. Начал он с того, что прочел мне нотацию.

— Чубатов хороший офицер, умный, упорный. Правда, опыта еще не хватает. Он хотел разобраться получше... Он вовсе не обвиняет Катю. Он взвешивает все. А ты — сразу в бутылку. Глупо! Если я еще раз замечу...

Он постучал по столу.

— Слушаю, — гаркнул я.

«Спасибо», «рад слышать», — вот что меня тянуло ответить. Ибо угроза Бакулина означала, — я еще встречаюсь с Чубатовым. Поиск не закончен.

Потом майор рассказал про Хаута.

— Очень складно все получилось, — прибавил он. — Все немцы в доме уверены, — убийца пойман. Тем лучше. Скорее доставим настоящего преступника.

Кто же он? Неужели нет никакого следа? Бакулин покачал головой. Не след, но существенный вывод — таков итог этих двух дней. Оружие убийства — «Манлихер». И у Кати был «Манлихер», — вероятно, тот же самый. Пистолет не очень совершенный. И вряд ли у убийцы не было другого оружия. Похоже, он нарочно воспользовался пистолетом Кати, чтобы бросить на нее тень. Какой еще вывод? До сих пор мы думали, что вместе с Катей в квартире был один Бинеман. Теперь нет такой уверенности. Вероятно, был кто-то третий. Этот третий завладел пистолетом Кати и убил Фойгта.

Бакулин разочаровал меня. Я ждал большего. Неведомый третий ведь не ждет нас. Ищи ветра в поле!

— Ну-с, ладно, — произнес Бакулин. — Приступай к делу. Профессора мы совсем забыли. Ступай к Сторицыну. Бери Алоиза Крача, поезжайте на улицу Мольтке. Пора откапывать царскосельский янтарь.

13

Сторицына я застал в гостинице. Он нежно обнял меня, расцеловал, потом заговорил о своих друзьях-связистах на вилле «Санкт Маурициус». Один ефрейтор поразил профессора, — так рисует парень! Талант, несомненный талант! Ему надо учиться и он — Сторицын — об этом позаботится. Что до картин, то они запакованы, готовы к отправке, и Диана; для нее связисты смастерили прочный ящик.

— Из дуба? — спросил я, вспомнив наставления Кати.

У эвакопункта, разместившегося в этажах замершей фабрики, к нам в «Виллис» сел Алоиз Крач. Он расстался с балахоном лагерника; ему раздобыли синий в полоску костюм, шляпу, плащ. Вместе со свободой он обрел уверенность в себе. Теперь я легко представлял себе Крача на диспуте в кафе художников или на своей выставке, принимавшим гостей.

— Ну-с, милый мой, — обратился к нему Сторицын. — Скоро домой, да? Так как же, — вы и в будущем намерены отстаивать хаос в живописи?

Он рвался спорить.

— О, нет, — Крач качал лохматой головой. — Я напишу валку... Войну. Два коня встали на дыбы, Черный и красный...

Сторицын поморщился.

— Символ. Вы отметааете... Вы отрицаете символ? Почему? Я видел советские картины. Не все, jednak некоторые, — фотография, цветная фотография.

И они заспорили. Сторицын пришел в ярость. Я никогда не слышал, чтобы с таким жаром говорили об искусстве, и испугался за Крача.

— Порфирий Степанович, — вмешался я, — вот вы все знаете...

— Смелое допущение. Ну!

— Почти все, — поправился я. — Фон Шехт состоял в странной организации...

— Черноголовые? — И Сторицын мгновенно забыл о начатом споре. — О Ганзейском союзе слышали? Учили в школе? Вот-вот! Какие города входили? Бремен, Новгород, Любек... Еще? Общество Черноголовых — немецкое. Принимались холостые купцы и служащие Ганзы, а проще сказать, головорезы, любители приключений...

— А святой Маврикий?..

— Патрон братства, африканец. Бог ему будто бы отломил кусок африканского материка, и Маврикий приплыл на нем в Европу, спасся от неверных. Словом, — мореход.

Он добавил, что Черноголовые грабили суда, разоряли Прибалтику, воевали при Иване Грозном с Россией вместе с ливонскими рыцарями; что в Таллине, в Риге Черноголовые были в 1940 году распущены. Их дома были очагами фашизма.

Похоже, Сторицын и в самом деле все знал!

«Виллис» между тем оставил руины центра и катился мимо особняков, увешанных черными коврами плюща, под ветвями лип с набухшими почками.

Двор, где были преданы земле ящики с отделкой Янтарной комнаты, почти ничем не отличался от других дворов улицы Мольтке — прямой, длинный, застроенный в тридцатых годах унылыми, одинаковыми жилыми зданиями. К счастью, Алоиз Крач запомнил приметы: пролом в стене, повисшую пожарную лестницу, детский стульчик, выброшенный из дома силой взрыва.

Алоиз разгребал хлам, вымеривал котлован шагами. Я набрасывал в тетрадке план, а Сторицын, ликующий,

разрумянившийся, расхаживал поодаль, на солнцепеке, постукивая тростью.

— Очень приятно, — донесся до меня его голос. — Сторицын! А вы? В погонах я нетверд, извините. Люди воевать кончают, а я вот только на днях стал военным...

— Старшина Лыткин, — раздалось в ответ.

Я обернулся. Да, Лыткин, старшина из автопарка, собственной персоной. Он одергивал гимнастерку и ел Сторицына глазами.

Я окликнул старшину. Он щелкнул каблуками и козырнул мне. На редкость лихо у него это получалось. Локоть он не поднял, а напротив, прижал к боку; рука двинулась прямо вверх, коснулась козырька фуражки и тотчас резко оторвалась, словно обжегшись.

— Мое хозяйство — вон оно, рядом, товарищ лейтенант, — сообщил он. — Тут гаражи должны быть, так я шую. Нас запасные части лимитируют...

Сторицын, зачарованный, обошел бравого старшину кругом и хлопнул его по спине.

— Богатырь! Орел! — приговаривал он. — Полюбуйтесь на него, а? Хорош! Пойдите, товарищ Лыткин. Ваше имя и отчество? Савелий Федорович? Задержу вас на минутку, извините... Вы бродите тут, глаз у вас зоркий. Видите, Савелий Федорович... Не откажите при случае оказать нам содействие.

И Сторицын, ухватив Лыткина за пуговицу, стал объяснять ему, кто мы и чем заняты.

— Здесь, — он топнул и поднял облако пыли, — Янтарная комната. Ну, не в полном смысле... Янтари, Ксаверий... Савелий Федорович, простите. Пуды янтара из царского дворца. Немцы содрали...

— И гады же! — выдохнул Лыткин, не шелохнувшись, не меняя почтительной позы.

— Все стены в янтаре. Нигде в мире нет другой такой комнаты. Зеркала, а на них янтарь. Представляете, какой эффект?

— Так точно, — отозвался Лыткин. — Товарищ полковник, а мне бы прикомандироваться к вам, а? Я бы с великим удовольствием. Я десятником был на земляных работах. Пригодился бы.

Когда мы сели в «Виллис» и отъехали и я оглянулся, он все еще стоял вытянувшись, в положении «смирно».

— Вам все внове, — сказал я Сторицыну, — и каждый человек в форме кажется героем. Но я бы поостерегся... Нужно ли делиться с посторонним?

— Бросьте, голубчик! — возмутился профессор. — Этакий детина! Вместо ваших модернистских закорючек. А что? — Он перестал смеяться и вздохнул. — Господин Крач, вы сами столько пережили... Неужели будете малевать символических коней или... сапоги всмятку, прошу прощения!

И они заспорили снова.

После обеда мы — я и Сторицын — отправились на улицу Мольтке во главе взвода солдат.

Нетерпение Сторицына передалось мне. Как хочется скорее раскопать этот унылый, замусоренный двор! Неужели сегодня мы добудем знаменитый янтарь? Я увижу их огонь!

Дома, замыкавшие двор, совсем недавно пострадали от пожара; это мешало Крачу отыскать место. Наконец заступы коснулись ящиков. Но янтаря в них не оказалось. Буквами «В» и «Z» был помечен каждый, но внутри — ничего, кроме посуды, фарфоровых сервизов с царскими вензелями.

Янтаря — ни кусочка!

Для Сторицына это было настоящим горем. Он посерел, осунулся — куда делась его обычная живость! И мне было чертовски досадно.

Мы схватили ложную приманку. Фон Шехт, грабитель фон Шехт, отвел нам глаза. Уж, верно, не во славу «Великой Германии» он так старался! Он вел свою игру, маскируя картины, пряча янтарь. Эх, жаль, что нет в живых ни его, ни Бинемана!

А Катя узнала... Бинеман тогда, накануне штурма, раскрыл ей проделки фон Шехта. Конечно! Потому-то Катя и не считала свое дело законченным, осталась с Бинеманом вместо того, чтобы покончить счеты с эйнзатцштабом и дожидаться нас.

И тогда... Теперь насчет Кати ни у кого не может быть сомнений. Да, ящики с царской посудой, помеченные буквами В и Z, объясняют поведение Кати.

Прекрасная находка! Сокрушаться незачем, вовсе незачем! Тусклый, синеватый фарфор, расписанный блеклыми сиреневыми цветами, — грубоватое изделие

середины прошлого века, как сказал Сторицын, — показался мне поразительно красивым.

Бакулин понял меня.

— Ты прав; для нее это важно, — сказал он с теплотой. — Очень важно.

Сторицын бушевал. До сих пор я видел его неизменно веселым, добродушным. Старик преобразился.

— Напутали вы, голубчики, — твердил он. — А я-то на вас положился! Вот что, да не дурит ли вам головы этот ваш художник, автор сапог всмятку? А? Как хотите, — я без Янтарной комнаты не уеду. Не уеду!

Со стены на нас — разгоряченных, готовых поспорить — спокойно смотрела женщина в платке, хорошая, понимающая. Она смотрела из своего далекого, давно ушедшего мира, где ее увидел и запечатлел Венецианов.

Вам знаком этот портрет? Простое русское лицо. Лямки сарафана поверх полотняной, в мелкую сборку, рубахи. Крестьянка, должно быть, — крепостная, в полутемной избе, в отблеске свечи или лучины. Но лицо словно светится само...

Я вспомнил рассказ Алоиза. Он обманывает нас? Нет, Сторицын ошибается. И женщина на портрете словно соглашалась со мной. Она стала как бы покровительницей нашего поиска.

— Задача наша усложнилась, — сказал Бакулин. — Ну, дадим мы вам людей, взрывчатку, — обернулся он к профессору, — где вы будете искать? В подземельях вода, надо откачивать. У нас нет даже плана подземного Кенигсберга. Уничтожен или увезен, — черт его знает!

Сторицын подавленно молчал.

— Фон Шехт бестия, ловкая бестия. Вот, кстати, кое-какие данные о нем. — Майор раскрыл тетрадку. — Теодор фон Шехт, владелец антикварного магазина на улице Марии-Луизы, глава фирмы по покупке и продаже картин, скульптур и прочих произведений искусства. Фирма имела обширные связи с другими странами. Тут список клиентов, — акционерное общество «Сфинкс» в Амстердаме, фирма «Чалмерс лимитед», «Нью-Йорк», магазин Туссье в Париже, магазин Ашхани в Каире... Кроме того, вот что любопытно, — фон Шехт сам заядлый коллекционер. Главная страсть —

янтарь. Его собрание янтарей занимало на вилле «Санкт Маурициус» четыре комнаты, считалось самым богатым в мире.

— Фон Шехт, — произнес Сторицын. — Позвольте... Ну да, мне как-то до войны попался каталог его кол-лекции. Там был камень с ящерицей внутри. Янтарь — это же застывшая смола. Ящерица и угодила в нее...

Профессор отбушевал и сидел, тяжело дыша. Мне стало жаль его. Неудачу с Янтарной комнатой он переживал, как личное несчастье.

— Порфирий Степанович, — сказал я, — а книги вас интересуют? Есть библиотека фон Шехта...

Мне хотелось утешить его, и я попал в точку, — Сторицын ожил. А когда я упомянул наставление к шахматной игре, обнаруженное мной там, он сжал мне локоть.

— Издание голландское? Какого года, не заметили? С гравюрами? Редкость! Иллюстрации там великолепные, школа Рембрандта, шахматные кони — как живые, не дерево — мясо, мускулы, понимаете?

Час спустя мы поднимались к знакомой квартире. Сторицын горел нетерпением. Новая тревога захватила его: целы ли книги?

Вдруг пожар!

Нет, в доме на Кайзер-аллее все по-прежнему. Только табор беженцев во дворе сильно поредел, — многим отвели жилье. Из открытой двери с табличкой «Фон Шехт» пахло кухней, неся детский гомон.

В кабинете фон Шехта, за письменным столом, чинно, по ранжиру, сидели четверо детей и молча ели жидкий суп. Ложки поднимались все вдруг, как по команде.

Книга о шахматах не обманула ожиданий Сторицына, — да, очень редкое издание. Мы долго рылись в библиотеке. Мне запомнилась рукописная библия в свиной коже с картинками. Лица у библейских персонажей были розовые и благополучные, — похоже, они только что выпили пива и вышли на воскресную прогулку.

Мелкая, бисерная запись кудрявилась на внутренней стороне переплета. Сторицын прочел вслух. Я уразумел лишь общий смысл текста на старогерманском языке, — в 1431 году Отто Шехт во главе отряда

Черноголовых прошел по берегу Балтийского моря, подавил строптивых и доставил в Кенигсберг добычу — коней, сбрую, женщин и три мешка янтаря.

Семейство с традициями! Бандитизм в крови!

За строками вязи, выцветшей, порыжевшей, словно обрисовался внезапно свидетель. Литовец или латыш, разоренный захватчиками, обвиняющий и того Шехта — Отто — и нынешних его последователей.

Вошел пожилой немец с черной повязкой на глазу. Он мнял носовой платок.

— Извините, господа, я не помешал вам?

— Нет, нет, что вы! — Сторицын усадил его. — И вообще... Это мы у вас в гостях.

— Я прошу совета, господа. Я вдовец. Я потерял все имущество. Неужели меня выселят с детьми?

— С какой стати? — удивился я.

— О, он воспитанный человек. Он даже не заикнулся. Но... надо же и ему жить. Он заявит свои права, и тогда... Тогда плохо.

Он вздохнул.

— Кто? — спросил я. — Кто заявит?

— Фон Шехт, — произнес немец, и я чуть не вскрикнул: так это было неожиданно.

Или я ослышался? Фон Шехт умер. Что за чепуха! Книжки, сложенные у стеллажей, окно во двор, турецкий флаг на той стороне, где квартира портного, — все как бы заволокло туманом.

— Фон Шехт, Людвиг фон Шехт, — донеслось до меня. — Брат покойного...

Ах, вот оно что! Да, конечно же, есть еще фон Шехты. А я так много думал об одном фон Шехте, о Теодоре, что забыл об остальных. Мы справлялись, и никого из родственников Теодора в Кенигсберге не оказалось.

Где же обретался до сих пор этот Людвиг фон Шехт? Кто он такой? Что его интересует здесь?

— Он и адрес оставил, — продолжал немец. — Ну, чтобы мы могли сообщить, если с книгами что случится. Очень порядочный человек, профессор... Вам угодно адрес? Шлезвигерштрассе, семнадцать.

Мы простились с немцем. Дети, игравшие в углу, вытянулись, как солдатики, и проводили нас глазами.

— Да, Людвиг фон Шехт, профессор фон Шехт, — повторял Сторицын в машине. Автор исследования о культе Тора и Одина у древних скандинавов. Я как-то не связывал его с грабителем, с Теодором. Выходит, из той же семейки? Что ж, бывает... Профессор, судя по книге, педант, книжный червяк. Солидный том, страниц много, скукота невыносимая.

Шлезвигерштрассе терялась среди садов, огородов, уже черневших возделанными грядками. За решетчатыми оградами желтели уютные, почти не тронутые войной особняки. Шагая по подушкам прошлогодних листьев, мы прошли к застекленной террасе, постучали. Вышла высокая, плоская немка в халате.

— Я экономка господина профессора, — сказала она церемонно. — Очень сожалею, очень! Господина профессора нет дома.

Мы помчались к Бакулину.

Майор достал из сейфа папку — знакомую мне синюю папку, отведенную для материалов об эйнзатцштабе, о Теодоре фон Шехте, о Бинемане, их родных и друзьях. Еще недавно она была тонкой, эта папка. Быстро она набирает вес!

— Людвиг фон Шехт, профессор, — сказал майор. — Родился в 1895 году. Член Прусского общества древностей, член Прусской археологической экспедиции... Масса титулов, все прусские, прусские. Коренной прусак, одним словом. Холостяк. А вот что существенно: в сентябре — октябре 1944 года был главным хранителем музея в Орденском замке. Два месяца только, но все же...

— Здорово! — вырвалось у меня.

— Восьма, — улыбнулся Бакулин. — И раз уж ты проявил такую прыть, бросился к нему, не согласовав со мной, — так и быть, придется его вызвать.

Щеки мои стали горячими. Опять я сделал не то! Однако Бакулин не очень сердит. Распекает он всегда на «вы».

— Не беда, Ширяев, — услышал я. — Все равно пора побеседовать с ним.

Сторицын между тем прочел список трудов Людвиг фон Шехта и хлопнул себя по колену.

— Склероз! — воскликнул он. — Склероз! Вот же, вертелось в башке! «Происхождение легенды о Нибелунгах» — тоже его! А вы обратили внимание? — Он повернулся к Бакулину. — Две книги о янтаре: «История янтарного промысла в Пруссии» и «Походы за янтарем».

— Дался им янтарь! — сказал я.

Кажется, я собирался выложить еще какие-то соображения о янтаре и фон Шехтах, но в дверь постучали.

Вошел Алоиз Крач.

Теперь уже недавнего пленного Алоиза Крача, узника на вилле «Санкт Маурициус», трудно было себе представить. Крач подошел к нам размашистым, широким шагом. Он весь сиял.

— Домой? — И Бакулин протянул ему обе руки. — Ну, в добрый путь! Желаю вам счастья, успехов, больших, настоящих успехов.

«Домой!» Это волшебное слово на миг унесло меня далеко от Кенигсберга, дышавшего в окно гарью, дымом пожаров, далеко от войны. Наверное, не только я, — мы все позавидовали Алоизу Крачу, уезжавшему в родной Прешов.

Алоиз жал нам руки. Потом он поднял голову, притих, глядя куда-то мимо нас. Я тоже посмотрел туда. На стене, над креслом Бакулина, по-прежнему висел портрет крестьянки. Из сумрака избы, из далекого века, живая, она взирала на Алоиза, ласково, понимающе. Минуту-две Алоиз Крач не двигался и, казалось, не дышал, — он молча прощался с ней.

Затем дверь за ним мягко закрылась. Он ушел. Из моей жизни, — навсегда.

— Задержать его нельзя было? — спросил я майора. Он поднял брови.

— Излишне, — ответил он. — Пускай едет.

На следующий день к Бакулину явился Людвиг фон Шехт. Любопытство съедало меня, но увидеть его мне тогда не пришлось: я был занят со Сторицыным. Мне сдавалось, — Бакулин хотел беседовать с профессором наедине.

Вечером майор дал мне его показания.

Прочитав их, я понял, как нужен нам, как необходим для нашего поиска профессор Людвиг фон Шехт, член

прусских научных обществ, автор исследований о культе Тора и Одина, о Нибелунгах, о янтаре.

Уроженец Кенигсберга, он жил здесь почти безвыездно. Даже надвигавшийся фронт не мог заставить его покинуть город. Слишком многое с ним связано! С 1936 года он читал лекции в университете — в родном университете, в котором когда-то учился сам вместе с братом Теодором. В юности они дружили. Общая корпорация, дуэли, пирушки, — о, эта студенческая романтика сохранялась в Кенигсберге как нигде!

Впоследствии братья пошли разными путями. Теодор увлекся коммерцией. Людвига златой телец никогда не привлекал, — его тянуло к книгам.

В 1941 году, когда началась война с Россией, Теодор написал Людвигу из Парижа: «Пробил счастливый для Германии час». Людвиг был иного мнения. «Боюсь, что это роковой час», — ответил он. — Опыренные успехами на Западе, мы забыли о предостережениях Бисмарка, двинулись на русского колосса, который погубил Наполеона». Теодор не получил эти строки, Людвиг разорвал начатое письмо и послал другое, без всяких крамольных мыслей, краткое, с пожеланиями здоровья.

Впрочем, он — Людвиг — не политик! Нет! Он человек науки, исследователь средневековья. В споры на политические темы он вообще не вдается, — просто он верит Бисмарку больше, чем фельдфебелю Гитлеру.

Осенью 1941 года с Теодором случилась неприятность, — Жюльетта выкрала у него секретные документы и исчезла. Вызволил Теодора его друг, приближенный фюрера Альфред Розенберг. Благодаря ему Теодор избежал суда и очутился на новой должности, под начальством Розенберга, в его штабе.

Обо всем этом Людвиг узнал лишь летом 1943 года от помощника Теодора — Бинемана, доставившего в Кенигсберг Янтарную комнату и другие трофеи из пригородных дворцов Ленинграда. Он — Людвиг — столь же слаб в стратегии, как и в политике, но у него сложилось впечатление, что битва под Сталинградом ускорила отправку царских сокровищ из России. Поражение подействовало угнетающе. Ожидались новые удары советских войск.

Бинеман не стеснялся перед Людвигом — бывшим своим учителем, и Людвигу открылась картина грабежа

и всевозможных бесчинств оккупантов в России. Какое же страшное возмездие обрушится на Германию! Бинеман хвастался, как он в стенах древнего Софийского собора в Новгороде упражнялся в стрельбе из пистолета.

Сам Теодор появился в Кенигсберге летом 1944 года. Тогда Людвиг мало виделся с ним. Теодор находился большей частью на своей вилле. Стороной Людвигу стало известно, — брат свез к себе в «Санкт Маурициус» массу трофейного добра и держит там двух художников из военнопленных, бельгийца и датчанина, которые разбирают предметы искусства, реставрируют поврежденные картины и скульптуры.

Теодор — страстный коллекционер. Все доходы от магазина он, бывало, тратил на пополнение своей галереи, собраний фарфора и янтаря. К янтарю у него особая, фамильная любовь.

Правда, он поступался своими сокровищами. Кусок янтаря с ящерицей — гвоздь коллекции — он подарил Розенбергу в знак благодарности за выручку, Герману Герингу преподнес картины Сезанна, Гогена, Дега, добытые во Франции. О, Теодор ловко умел заслужить расположение влиятельных лиц!

Людвига бог спас от излишних страстей. Не заразился он от брата и болезнью собирательства. Янтарной коллекцией брата пользовался для научной работы, — и только! Ученый должен быть аскетом, — да, таково убеждение Людвига. Аскетом, бессребреником, ибо наука требует мученической преданности.

Второй раз Теодор приехал в Кенигсберг в октябре 1944 года, после серии ужасающих налетов английской авиации. У него было предписание Розенберга — ознакомиться с состоянием трофейных ценностей, находившихся в городе, вывезти их или обеспечить сохранность.

Незадолго до этого Людвиг фон Шехт был назначен главным хранителем музея в Королевском замке, на место погибшего при бомбежке доктора Зигфрида Штаубена. В жизни Людвига наступили самые трудные дни. Он, соприкасавшийся только с книгами, манускриптами, оказался во главе обширного хозяйства, к тому же сильно пострадавшего от бомб. Было несколько прямых попаданий. Вскоре англичане напали снова. Второй этаж северной части замка выгорел, уни-

кальная Янтарная комната, увы, погибла в огне. О, эта невозвратимая утрата лежит и на его — Людвига — совести! Будь он опытнее в практических делах, он успел бы укрыть наиболее ценные предметы.

Печальную весть принес Теодор. Людвиг не был свидетелем несчастья, он в то время заболел и отлеживался в убежище.

«Что ты намерен предпринять? — спросил Теодор. — Не вздумай сообщать в Имперскую канцелярию». Людвиг ответил, что именно это он и обязан сделать.

«Ты сошел с ума, — сказал Теодор. — Снимут голову не только тебе, но и мне. Я ведь тоже в ответе, раз меня послали сюда».

Янтарной комнатой интересовался сам Гитлер. Он хотел иметь ее у себя — в Имперской канцелярии, рядом со своим рабочим кабинетом. Об этом Людвиг слышал еще от доктора Штаубена. Коренной пруссак Штаубен, однако, несмотря на запросы Гитлера, под разными предлогами оттягивал отправку Янтарной комнаты в Берлин. Как прусский патриот, Штаубен желал удержать ее в Кенигсберге.

Теодор сообщил в Имперскую канцелярию, что от бомбежки и пожара пострадала царская посуда и мебель, а Янтарная комната получила лишь небольшие повреждения. В настоящее время они исправляются, а затем янтарь будет отгружен.

В действительности посуда уцелела. Военнопленные запаковали ее в ящики, помеченные буквами В и Z, и снесли в подвал замка. Работа производилась под руководством Теодора тайно. Пленных потом, накануне прихода Советской Армии, расстреляли.

В ноябре Теодор уехал. Вернулся он в феврале 1945 года, когда фронт придвинулся к самому городу.

Службу в замке Людвиг прекратил в январе 1945 года по болезни. Бомбежки, лишения вконец подорвали его нервную систему. Последние месяцы братья почти не виделись. Отношения между ними были натянутые, холодные. Сразу после взятия Кенигсберга советскими войсками Людвиг перебрался в Инстербург, к престарелой тетке.

В Кенигсберг Людвиг прибыл с целью выхлопотать усиленный паек, на что ему дают право ученые заслуги,

а также разыскать ценные вещи, принадлежавшие брату, и передать их под охрану новой власти.

Он — Людвиг — никогда не сочувствовал грабежу и готов оказать содействие советской военной администрации в меру своих сил.

Так закончил свои показания профессор Людвиг фон Шехт.

Одно как-то не укладывалось в моем представлении. Янтарная комната сгорела?

Нет, не верилось!

— Катя знала бы, — сказал я. — Такое трудно скрыть.

Майор кивнул. Конечно, данные о судьбе Янтарной комнаты нуждаются в проверке. И вообще нужно изучить этого фон Шехта как следует. Понятно, от дела его не отстранять. Выдать усиленный паек, зачислить к Столицу в штат экспедиции, — пусть помогает нам.

— Покамест он дичится, — сказал Бакулин. — Опасается подручных своего братца. Познакомься с ним. Постарайся выведать побольше о связях Теодора. Были же у него тут люди, кроме Бинемана!

«Конечно, были, — ответил я мысленно. — Тот третий, который был с Катей и Бинеманом, а потом убил Кайуса Фойгта...»

— Словом, Людвиг для нас находка, — говорил майор. — Надо подойти к нему, найти ключ.

В тот вечер Бакулин долго не отпускал меня, — снабжал советами, вспоминал случай из своей практики следователя.

Утро выдалось сырое, туманное. Едкий дым от складов фирмы «АГФА» — они все еще горели — стлался по земле. От него слезились глаза, схватывал кашель. Очертания Королевского замка смутно выделялись на фоне свинцового неба. Репродуктор, прибитый к башне, сообщил сводку Советского информбюро: наши воины завершали окружение Берлина.

С бьющимся сердцем поднимался я по крутой лестнице, выбитой посередине, покрытой слоем сажки, обуглившейся бумаги и соломы. На втором этаже гулял ветер, заносил в пустые окна брызги дождя, серую, смешанную с дымом муть. Обширное помещение, голое, пахнущее гарью, выглядело как огромная погасшая печь.

Там двигались два человека, медленно, словно по кладбищу: Сторицын — в фуражке, надвинутой на лоб, нахохлившийся — и тот... Людвиг фон Шехт.

Высокий, сутулый, без шляпы. Волосы спадают тяжелой гривой, в них масляно проступает седина, и поэтому цвет у них какой-то неопределенный, грязный. Кургузый ватник туго сжимает плечи. Трость с набалдашником из слоновой кости и серебра, дорогая профессорская трость. Шагая, он высоко вскидывает руку с тростью.

Когда он повернулся ко мне, я увидел длинный, тонкогубый рот, словно рассекавший узкое лицо, — такой же, как у Теодора.

Все это я увидел, вернее вобрал в себя, жадно вобрал, стремясь с юношеским нетерпением сразу познать, — кто он, Людвиг фон Шехт, враг или друг. Нет, ничего подозрительного не мог я уловить в его облике, в манере говорить, сдержанной и медлительной, — но ведь он был Шехт!

Много лет прошло, а он и теперь передо мной, в ватнике, с тростью...

— Держите, Ширяев, — сказал Сторицын.

Он высыпал мне на ладонь горсть узорчатых пластинок. Они оплавились, огонь покоробил и свел как бы судорогой фигуры нимф и амуров, погнул гирлянды листьев, лишил блеска щиты, шлемы и мечи.

С Янтарной комнатой они не имеют ничего общего. — эти медные накладки, украшавшие мебель, старинную дворцовую мебель, сгоревшую здесь.

Где же признаки Янтарной комнаты?

Янтарь сгорает целиком, без следа. Даже лабораторный анализ пепла не принесет пользы. Единственное, что остается от янтаря, погибшего в огне, — это запах, смолистый, церковный дух ладана. Но напрасно мы нюхаем пепел, — запах давно выветрился. Но скрепки, металлические скрепки от зеркальных панно — они-то должны были уцелеть! Почему же их нет?

Мы ворошим пепел. Сторицын рисует на листке блокнота скрепку, широкий крючок, загибами прижимавший зеркало к стене. Найти хотя бы один!

— Придется просеять пепел, — говорит Сторицын. — Поставим тут сито. Как на раскопках.

— Вы правы, коллега, — отвечает Людвиг фон Шехт. — Вы совершенно правы.

Низкий, хриповатый голос его звучит спокойно. Конечно, нужно тщательно проверить. Сам он не был при пожаре, а Теодор мог обмануть...

Так запомнилось мне то утро в замке. В тот же день Сторицын попросил у Бакулина двух солдат; они где-то раздобыли кроличий вольер, соорудили сито и принялись за дело. Я был с ними безотлучно.

Пожар в замке не коснулся Янтарной комнаты. Ее уже не было в зале выставки, когда туда угодила зажигательная бомба. Теодор обманул брата, или Людвиг сам скрывает правду...

Но нет, у меня не было оснований не верить Людвигу. Он крушился вместе со Сторицыным, порицал Теодора. Об умерших не говорят дурное, но факты выуждают... О, от Теодора всего можно было ожидать!

Где же Янтарная комната? Людвиг вспомнил, — на Почтовой улице есть подвал, отведенный в свое время для музейных ценностей замка. В бытность Людвига главным хранителем туда успели свезти немного, но как знать, — не воспользовался ли бункером Теодор!

Мы кинулись туда. Был мгlistый вечер; над входом в бункер мерцал Гамбринус, намалеванный светящимися красками; он протягивал над руинами, над битым кирпичом кружку пива. Ничего, кроме полуподвальной угловой пивной, не сохранилось от здания, зато вглубь лестница уходила на три этажа.

Баррикады ящиков с пивом преграждали нам путь. Мы лезли по ним, раздирая шинели, а потом принялись ломать железную дверь, запертую на замок. Она впустила нас в обширное помещение, душное, сырое. Где-то зеленела капель, по бетонному полу разъехались лужи. Сторицын поскользнулся и едва не упал, я вовремя схватил его за рукав. Железные койки в два этажа. Подсумки, ремни, пузырьки с ружейным маслом — давно брошенное солдатское добро. Еще дверь, тоже железная. Вошли. Фонари осветили стеллаж с рулонами.

— Картины!

Они несколько утешили нас. Сторицын ликовал, шумно благодарил Людвига.

— Брюллов, Карл Брюллов, замечательный наш живописец, — объяснял мне Порфирий Степанович, —

Сколько света, а? Гроздь винограда налита соком, солнцем, — сейчас брызнет из нее! Его «Итальянский полдень» знаете? Так это, очевидно, вариант. Впрочем, вы ведь полнейший неопит. «Последний день Помпеи» тоже, небось, не видели? Ох, Ширяев, попадите только ко мне после войны...

Людвиг, снова поразмыслив, назвал еще один бункер. Но туда мы попали не сразу, — вход завалило рухнувшей стеной кирпичи. Нам помогали саперы.

Замелькали горячие дни. Я и Сторицын — мы очутились во главе экспедиции. Да, целой экспедиции по розыскам Янтарной комнаты.

Энергичным помощником Сторицына стал... старшина Лыткин из автопарка. Добился-таки своего!

При переводе его к нам открылось прошлое старшины — отнюдь не безупречное. Два раза был осужден за растрату, в армию пошел из тюрьмы добровольно, чтобы смыть свою вину кровью.

Навыки десятника Лыткин приобрел в лагере, и онигодились, — никто другой не умел так расставить людей, так наладить труд, когда надо было разбирать обломки, взрывать завалы, прокладывать лопатами путь в какой-нибудь бункер. Командовал он зычно, весело, с прибаутками.

— А ну — плечиком! А ну — пузиком! Эх, зеленая! Идет-идет, сама пойдет! Эх, милашка — семь пудов!

Наведавшийся как-то к нам Чубатов озабоченно сказал мне:

— Лексикон прошлого столетия! Откуда у него эти булавочные словечки?

— Не играет роли, — сказал я сухо.

С Людвигом фон Шехтом я свылся. Работал он неплохо, держался просто, не заискивал. О научных своих работах говорил редко, а если спорил со Сторицыным, то очень деликатно.

— О, нет, я ничего не утверждаю, — говорил он. — Но социализм в Западной Европе? Это не уместается в наше сознание. Нет. Путь Америки нам ближе, — по нашему складу, по духу. Мы слишком индивидуалистичны.

Мне он как-то сказал:

— У вас, русских, есть что-то от Востока. Коллективизм степей, полчища Тамерлана и Чингисхана.

— Они, мне кажется, ближе к вашему Гитлеру, — сказал я. — А для нас всегда были врагами.

Сторицын был доволен. Его немецкий коллега, по-видимому, искренне переживал каждую нашу неудачу, вместе с нами ломал голову над загадкой Янтарной комнаты.

Как-то раз в одной из квартир Теодора фон Шехта мы обнаружили любопытные документы. Теодор вел дела с американской торговой фирмой.

Вот что ему писали:

«Ваше предложение заинтересовало нас. Но в силу того, что США являются союзниками России в этой войне, открытая закупка нами картин, названных Вами, в настоящее время затруднительна».

За точность текста не ручаюсь, но смысл был именно таков. Они, видите ли, стеснялись открыто принять картины, награбленные Теодором! И Теодор понял намек и привез к себе на виллу художников, — замазывать картины. Их, стало быть, готовили к отправке за океан!

По совету Бакулина, я рассказал Людвигу фон Шехту о событиях на Кайзер-аллее, — о Кате Мищенко, пропавшей без вести, о Бинемане, об убийстве Кайуса Фойгта. Лицо Людвига выражало любопытство, даже некоторое недоверие.

— Несчастный Фойгт! — произнес он. — Да, я слышал кое-что, мне говорили. Это почти невероятно. Знаете, у нас издавали детективные романы, — одна марка за книжку. Очень похоже!

Нет, тут он ничем не мог быть полезен.

В своих мечтах я представлял себе схватку, — да, смертельную схватку с врагом, с убийцей Фойгта, и непременно на пути к Янтарной комнате. Он стережет ее, он следит за нами исподтишка. Он постарается помешать нам, нанести удар, как только мы будем у цели. Но мы захватим его живьем, и тогда мы узнаем все. Разъяснится самое главное — судьба Кати.

Но Янтарная комната не давалась нам. Мы вламывались в подвалы, рыли землю, взрывали тонны кирпича, а она словно противилась нам и — будто заговоренный клад — все глубже уходила в недра.

Вскоре я начал еще один поиск. Свой, личный...

Однажды я ехал по «городу развалин». Машина сошла с израненного асфальта, зашуршала по дощатому настилу. Он навис над краем воронки, глубокой воронки от тяжелой бомбы. Внизу крутилась вода. Грязная, цвета ржавчины, с хлопьями нездоровой, серой пены, она стремилась куда-то по подземному руслу. Взрыв обнажил его здесь.

Под кирпичной осыпью выступали бетонные берега потока. Из него, словно мачта потонувшего судна, торчала железная балка. Такой же поток там — под домом Черноголовых. Мне представилась арка, черное отверстие туннеля, поглощавшее воду. А что, если...

Машина оставила за собой настил, нас затрясло на выбоинах мостовой, но я не ощущал их. Догадка захватила меня. Дома вокруг того квартала на Кайзер-аллее снесены начисто. Воронок там много. Катю могло вынести в воронку.

Я не сказал никому — ни Сторицыну, ни Бакулину. Знание моей надежды было слишком зыбким.

Вечером я отправился на Кайзер-аллее. Долго я бродил среди руин, одолевал хребты битого камня, завалы железа, путаницу проволоки. Разодрал себе колени, руки. Спускался в воронки. Слушал, не шумит ли вода. Свистал ветер, перебирал смятые лоскуты кровли, рвал белую тряпку на шесте, воткнутом в блиндаж.

Дня два спустя я повторил попытку. На этот раз мне больше повезло, — я набрел на воронку, залитую водой. Это мог быть тот самый поток, от дома Черноголовых. Рухнувшая кладка образовала рифы, вода пенилась, плескалась. Глухо стучала о кирпичи помятая каска, подхваченная течением.

Сумерки сгущались, вода темнела, но я не уходил. Стук словно прибывал меня к месту.

Неожиданно вплелся другой звук. Покатились, посыпались в воду обломки, потревоженные кем-то. Я вздрогнул, обернулся. На берегу, повыше того места, где я стоял, обрисовалась сгорбленная фигура.

— Русский офицер? Вы ищете что-нибудь?

Немец был очень стар. Голова его тряслась. Зачем он здесь, в «городе развалин»?

— Мы живем тут, — сказал он. — Хотите посмотреть? Пожалуйста!

Мы поднялись, вошли в траншею. Низенькая хромая старушка ковыляла у костра. В котелке что-то кипело.

— Каша, — сказал старик. — Ваша русская каша, — повторил он, выговаривая это слово старательно, с нежностью.

— Каша, — как эхо, откликнулась старушка. — Эти санитарки такие хорошие! Ваши санитарки... И красивые. О, вам хорошо, у вас красивые женщины. Правда, Франц?

Вчера санитарки уехали. Они квартировали тут недалеко, в бункере. Жаль, что их уже нет. Они угощали картофельным супом, хлебом и кашей, а одна принесла даже масла, — много, почти полстакана. Перед отъездом санитарки пришли проститься и подарили десять пакетов каши. Она называется — кон-цен-трат. Вкусная, с жиром, очень питательная.

Старушка подняла с земли стакан, всхлипнула и показала, сколько в нем было масла.

— Не плачь, Герта, — сказал старик. — Вы простите ее. Она всегда плачет, о чем бы ни рассказывала. Плохое или хорошее, — все равно плачет.

Давно ли они живут тут, в землянке? Оказывается, недели три. Да, они и во время штурма были тут. В первый же день сюда прорвались русские танки.

— Мы не высывали носа, — говорил старик. — Один танкист открыл нашу дверь и спросил... Что он спросил, Герта?

— Откуда течет вода в воронку, — молвила старушка, помешала душистую гречу и облизнулась.

— И что вы ответили?

— Вода из Прегеля, пить ее нельзя. Бог знает, по каким трубам она идет.

— Больше он ни о чем не спрашивал?

— Нет.

— Лицо у танкиста было красное. Герта, — старик хихикнул, — решила, что у ваших такая кожа. Вы же красные, — он опять смущенно хихикнул. — Но я сказал: «Герта, ты наивный ребенок. Парень разгорячен, ему так жарко в башне танка, вот и все». А она... Это смешно, — правда?

— Да, — ответил я, думая о своем.

Правильно ли он понял танкиста? Вряд ли танкист собирался пить из ямы. Ясно же, — вода грязная. Он сам видел. Но, может быть, было темно? Нет, — светло, коли он заприметил землянку. Танкисты подобрали Катю! Да, подняли ее, раненую, и хотели разуз-
нать...

Старик подтвердил, — было светло. Я задал ему еще вопрос.

— Странно. — Он переглянулся с Гертой. — Я не слышал ни о какой фрейлейн, но... Странно, странно. — Он опять посмотрел на Герту и пожевал губами. — У нас нет надобности лгать, бог свидетель! — Старик завокнулся, вскочил с табуретки, снова сел.

Оба уставились на меня — с недоумением, с укором. Я поспешил успокоить их.

— Я верю вам, — сказал я.

— Сущий ад, — проговорил старик. — Домá здесь разнесло еще осенью, а тут, когда вы пошли штурмом, все перепахало сызнова. Боже мой! Фрейлейн, возможно, пряталась в воронке, — ведь в воронке безопаснее. Хотя, куда там! Один кирпич десять раз перевернется, пока не успокоится, — вот как теперь воюют. Мы не станем врать. Мы не высывались, мы боялись. Я и тому господину так сказал.

Какому господину? Я шагнул к Францу и едва не опрокинул котелок с гречкой.

— Он не назвал себя. Когда он приходил последний раз, Герта? Позавчера? Нет, — он загнул пальцы, — три дня назад, во вторник. Зачем? Ах, вы не знаете его! Он спрашивал то же самое, насчет фрейлейн...

— Как он выглядел? — сыпал я вопросы. — Русский или немец?

— Немец, — сказал старик. — Он не дал нам своего имени и не велел зажигать коптилку. Было темно, как сейчас. Нет, — еще темнее. Верно, — Герта? Крупный мужчина, немец, — вот все, что я могу вам...

— Каша! — вскричала Герта.

Старики бросились снимать котелок. Герта вытерла глаза тряпкой и кинула ее на табурет.

— Кон-цен-трат, — произнес старик. — О, она очень богата жиром, ваша русская каша!

— Куда он пошел от вас? — спросил я.

— Бог его ведает! — Старик достал носовой платок и обтер ложку.

Я простился. Траншея вывела меня к воронке. Внизу, как черное чудовище, шевелилась, шипела вода. Я оглянулся. Если бы не отсвет догоравшего костра, я ни за что бы не нашел сейчас дорогу обратно, к землянке Франца и Герты.

Впереди по Кайзер-аллее катился грузовик, время от времени включая фары.

«Немец! — повторял я про себя. — Немец! Кого из немцев касается судьба Кати? Кайуса Фойгта нет в живых. Цель явно недобрая у этого немца, потому он и скрытничал. Кто же он? Это тот — третий! Убийца Фойгта! Катя опасна для него, — потому-то он и явился ночью к старикам. Значит...»

Я чуть не закричал от радости. Значит, он сам не знает в точности, что с Катей. Он не видал ее мертвой. Она, верно, ускользнула от него...

Танкисты вытащили ее из воронки, в крови, без сознания, сдали в медсанбат. Оттуда Катю отправили в тыл, она долго не приходила в себя, но ее спасли. Конечно, спасли! Иначе быть не может!

Так я и скажу Бакулину, — Катя спасена!

Майора я застал дома. Он читал. Лампа освещала заголовок: «Понятие виновности».

— Пока подзубрить, — сказал он, отодвигая книгу. — Скоро штатское надевать. Ну, что у тебя?

Я рассказал.

Мчась к нему, я рисовал себе, как он улыбнется, похвалит меня, скажет: «Весьма вероятно». Он любит это слово — «весьма». Наконец-то и я пригодился! Да, я сделал важное открытие, — отрицать он не станет.

Слушал меня Бакулин внимательно. Но я не услышал от него «весьма вероятно». Он кивнул и точно забыл о моем существовании. Прикрыв глаза, он сидел некоторое время неподвижно, — свет лампы падал на его усталое лицо.

— Что ж, так оно и выходит, — молвил он в ответ на какие-то свои мысли. — Весьма естественно. Дело идет к развязке.

Да, развязка близилась.

Сейчас мне кажется, — я сам ощущал это в те дни. Утверждать не берусь. Но, разумеется, воображение рисовало мне картину последней схватки во всех подробностях. Погоня среди руин и в лабиринтах подземелья, потом ожесточенная перестрелка где-то в бункере, близ замурованной Янтарной комнаты, фигура врага, прижавшегося к стене, побежденного, с поднятыми руками...

Нет, не так все закончилось.

Видную роль в завершающие дни поиска неожиданно сыграл старшина Лыткин.

Я мало вам рассказывал о нем. Одно время он вызывал у меня чувство настороженности, — очень уж он рвался к нам. Может, из корысти! Вскоре оно прошло. Сторицын — тот нахвалиться не мог Лыткиным: работа, прекрасный организатор.

Однажды во время перекура Лыткин подсел ко мне. Он долго, старательно свертывал сигарку.

— Наше, солдатское, — сказал он. — Сигареты что, — никакого впечатления! Мираж, по сути дела. Эх! — Он с наслаждением затянулся. — На гражданке что будем курить? Вопрос!

Глаза его смеялись.

— Не пропадем, — бросил я.

— Махры-то хватит, — согласился он. — Травал! А ремешок армейский не сниму. Пригодится.

— Зачем?

— Живот подтянуть потуже.

Веселость в глазах исчезла, — ее как будто и не было никогда. Угрюмая тень набежала на лицо, оно обтянулось, отвердело.

— Для вас, может, кринки в чулане стоят... Добро пожаловать! За ложку — и к сметане!

— С чего вы взяли, — старшина! — отрезал я. — Какая кринка? Пойду на свой завод и учиться буду.

— На кого же?

— Пока одни предположения, — ответил я нехотя. — Думаю, на следователя.

Да, я хотел пойти по стопам Бакулина. Из любви к нему его профессия увлекала меня. Сейчас смешно вспомнить...

— Работа пыльная, — сказал Лыткин. — Вся на нервах. А ставка? На восемьсот бумаг сядете. Я имею понятие, что значит следователь. Сталкивался.

— Деньги не решают, — сказал я.

— Да? — Он поглядел на меня не то с удивлением, не то с радостью. — Не решают, говорите? Вопрос! Человек, он ведь черт его знает, какая скотина, — произнес он жестко. — Сколько ни дай, все ему мало!

— Кончай курить! — крикнул Сторицын совсем повоенному. Он стоял на горке битого кирпича, красной, умытой дождем, и оглядывал свое войско, вооруженное лопатами, кирками, — прямо командующий на наблюдательном пункте.

Лыткин с сожалением поднялся. Он явно хотел сказать мне что-то еще. Помедлил, потом разом выпрямился, поправил гимнастерку, лихо, обеими руками приладил на лысой голове фуражку.

— Кончай курить! — гаркнул он.

Разговор этот с Лыткиным вспомнился мне дня два спустя. Был в нашей группе сержант Володя Сатраки, грек, бывший сочинский парикмахер. Озорной, всегда с шутками, с анекдотами, неподражаемый имитатор. Где хохот, — там Сатраки.

— Худо, хлопцы, худо! — донесся до меня однажды голос Лыткина. — Встали на путь разгильдяйства. Распотыренно работаем, нет этой... сконцентрированности. Я персонально тыкать пальцем не намерен... но...

В кругу солдат, стонавших от восторга, похаживал Сатраки. Он в точности копировал старшину.

Я двинулся туда, чтобы одернуть сержанта. Высмеивать старшего по званию в армии не положено. Но, признать, — сам не удержался, прыснул!

— Володя! — крикнул кто-то из солдат. — Ты покажи, как старшина с фрицем говорит!

Фрицем и еще, за вежливость, «гутен морген» звали Людвиг фон Шехта. Странно, однако! При мне Лыткин ни разу не говорил с Людвигом, если не считать неизменных, повторявшихся несчетно в течение дня «гутен морген», «гутен таг», которыми оба обменивались на ходу.

Когда Лыткину требовалась какая-нибудь справка от Людвига, старшина обращался обычно через Сторицына или через меня.

Сатраки между тем не заставил себя упрашивать. Немецкого он не знал, сыпал слова, лишь по звучанию напоминавшие немецкую речь, но получалось бесподобно! Я не мог его остановить: не было сил.

Потом я отвел сержанта в сторону.

— Когда Лыткин говорил с немцем?

— Вчера. Похоже, — они о чем-то условились. Старшина твердил: «Гут, гут».

Улучив момент, мы с сержантом осмотрели место встречи Лыткина и немца. Случай сохранил среди развалин клочок зелени — сгусток акаций, напоминание о погибшем здесь, под обломками, сквере.

Странно, очень странно! Что общего между ними! И тут ожили, разумеется, прежние мои подозрения. Слово за словом восстановил я в памяти недавнюю беседу мою с Лыткиным — о планах на будущее. «Человеку все мало», — повторялось в мозгу.

Вечером я явился к Бакулину.

Он и эту мою новость принял как должное. Нет, ничем его не удивишь!

— Ты что, серьезно следователем решил стать? Брось, брось! У тебя же, милый мой, все на лице написано. Выдержки никакой. Нет, нет, выкинь из головы!

Я молчал. До слез он расстроил меня. Взял, да и уничтожил одним махом Ширяева-следователя.

— А насчет Лыткина... Ну, беседовал с немцем! Это же не преступление! Что еще ты знаешь о нем? Ну, просился к Сторицыну. Тоже не грех. Русский человек любит поиск, — ты заметил?

Майор раскрыл папку, полистал бумаги, потом закрыл, отодвинул.

— Три медали «За отвагу», один орден «Красной Звезды». Бравый старшина! В тылах он недавно, после ранения, а так — всё на передовой. Положим, героем он не всегда был, как тебе известно.

Да, конечно, известно. Но это как-то не тревожило меня до сих пор. Все довоенное для меня как бы отрезано ножом войны. Начисто отрезано. К тому же натура моя попросту не ведала и не признавала жадности к деньгам, к приобретению добра. Ну, воровал он прежде! Но ведь воевал, через огонь прошел.

Сам я презирал и сейчас презираю всякую громоздкую собственность. Вы видите, как я живу? Жена

говорит: «Ты не от мира сего, Леонид! Вон сосед дачу строит. Что мы — хуже?» Но я думаю: я как раз от нашего мира. «Наше» — всеобщее наше — оно и богаче и веселее липкого «моего». Не гнетет, не лезет в душу.

— Я сам Лыткина отхлопотал, взял к нам, — сказал Бакулин. — Меня предостерегали. Запятнанный, мол. Анкета, что она, — гарантия от ошибок? Да не нужны мне такие гарантии! Проще всего, убоявшись ошибок, бумагами от жизни отгородиться. Да что толку! Изучать людей надо, Ширяев! Без предвзятости, душевно. Тем более, — в данной обстановке. Люди прикасаются к ценностям. А люди... они разные, Ширяев.

— Ясно! — сказал я.

Оберегать ценности, доверять и в то же время не забывать о контроле, — об этом Бакулин напоминал не раз. Мне опять стало не по себе. Вот к чему свел наш разговор Бакулин. Или он не все открывает мне?

Майор еще раз посоветовал быть внимательнее к людям, узнать их лучше, — и отпустил меня.

Дня три я приглядывался к Лыткину, заговаривал с ним. Он отвечал односложно, отчужденно, словно боялся меня. Я мучился, строил догадки. Ведь быть в стороне я не привык, — не такой характер. Наконец вечером, после работы, Лыткин подошел ко мне.

— Дело есть, лейтенант, — сказал он.

Произнес он эти слова как бы вскользь, с той грубоватой фамильярностью, которую иногда позволяет себе в отношении к офицеру бывалый старшина.

— Слушаю, — сказал я.

— Ужо, как стемнеет, — молвил он тихо, — ко мне приходите. На автобазу. Прошу вас.

Тотчас возникла в памяти хибарка за кладбищем — из кусков кровли, из старых досок; загородка для кур, белая несушка на плече у Лыткина.

— Очень нужно... Придете?

— Хорошо, — ответил я.

Хибарку я едва нашел в темноте. Штора светомаскировки плотно закрывала единственное оконце.

Ничего не изменилось внутри — те же рекламные плакаты — лампочки «Осрам», автомашины «Мерседес» — и среди них пестрядь дорожных знаков, пособие для водителя в Германии. Откупоренная бутылка шнапса красовалась на столе, — старшина, видимо, уже

хлебнул из нее. Он волновался. Со стуком положил вилки, взрезал банку со шпротами неуклюже, искромсав крышку.

— По маленькой, а? — Он поднял бутылку, поболтал. — Не желаете?

— После, — сказал я.

— Ладно, — он отодвинул все локтем, сел рядом, подался ко мне.

Я ждал.

— Молодой вы, — протянул он. — Молодо-ой. Не жили еще совсем, по сути. Вы простите.

— Пожалуйста, — сказал я.

— А я только вам хочу сказать. Вам первому. — Он утюжил кулаком клеенку на столе. — Почему? Сам не пойму. С вами вот легче как-то.

Некоторое время он молчал, словно поглощенный созерцанием узора на клеенке, потом встал, откинул занавеску, снял что-то с полки, звякнув посудой.

На столе заблестело кольцо. Гладкое, массивное кольцо, должно быть золотое. Мне хотелось слушать Лыткина, и я не мог понять, при чем тут кольцо.

Лыткин засмеялся, подбросил кольцо на ладони, подал мне.

— На, лейтенант, поддержи!

Это еще что!

— Во сколько ценишь? — Он смеялся, совал мне кольцо. Кровь прилила к моим щекам. Я резко отвел его руку.

— Откуда у вас? — спросил я строго.

Он осекся.

— Простите, — выдавил он. — Вы решили, — Лыткин вор. Да? Правильно? Нет, я не вор. Я был вором... Подождите, сейчас... Вот еще одна вещь.

Квадратная серая коробочка появилась на столе, с пятнами кирпичной пыли. Внутри, на малиновом бархате, переливался мелкими водянисто-светлыми камешками полумесяц. Голубые и желтые огоньки теплились в этих камешках.

— Тоже оттуда, — услышал я. — От Штабеля.

Несколько дней назад мы расчищали квартиру Штаубена, полуразрушенную, заваленную обломками. Штаубен — солдаты переименовали фамилию на «Штабель» — был одно время старшим хранителем музея в

Орденском зámке. Адрес нам дал Людвиг фон Шехт, — он рассчитывал обнаружить трофейные ценности. Но мы напрасно трудились там, — Штаубен жил скромно.

— Нет, Лыткин не вор, — повторил старшина. — Как вы прикажете, так и сделаю. Желаете, вам подарю, чтобы вам лучше устроиться на гражданке. А в чем дело! — Он повел плечом, увидев мой протестующий жест. — Вещи не наши, фрицевские, хозяин помре, как говорится... Находка, счастье! Не для меня только. Мне-то как раз их и нельзя иметь. Не поняли?

— Пока нет, — сказал я.

— Майор вам ничего обо мне?.. Хороший он мужик, Бакулин, а с вами легче мне. Не знаете, стало быть? Не знаете, как я в армию попал? Из тюрьмы! Я два раза сидел. — Он заговорил быстро, с гримасой, словно старался скорее выложить все, сбросить с языка эти нелегкие слова. — За растрату попал. В торговой сети я служил до войны, в Ростове. Была у меня фантазия — сто тысяч иметь. Вам смешно? Ни больше ни меньше — сто тысяч. Цифра очень веская. Сто тысяч. Дико для вас? Да?

— Да, пожалуй, дико. Я никогда не мечтал иметь сто тысяч. На что мне столько!

— На войне все это, вроде, сошло. Война — она как баня. Пар у нее горячий, до костей прошибает. На автобазе я ни в чем не замечен, начальство мое вам подтвердит, если нужно. И вот — вышел же случай!..

«У него план тайников! — подумал я. — План, который был у Бинемана. Артиллеристы — те, что наткнулись на «Оппель» с мертвым Бинеманом, взяли его бумаги и вручили старшине...» Такая мысль и прежде приходила мне в голову. Но нет, все оказалось проще.

— Помните, встретил я вас и Порфирия Степановича на этой, как ее... на улице Мольтке, что ли...

Лыткин не соврал тогда, он действительно ходил по дворам в поисках заброшенных гаражей, собирал запасные части. О сокровищах, скрытых в Кенигсберге, понятия не имел, пока не разговорился со Сторицыным. И тут неожиданно вернулась старая болезнь.

— Сосет и сосет, будто пьяницу к водке тянет. Миллионы лежат! Сам себя казню; есть же, размышляю, люди, которым это золото, допустим, или деньги, — без вреда, занозой не вливается. Взять лейтенанта нашего!

Тогда я нарочно с вами речь затеял, — увериться хотел. Видишь, — говорю я себе, — не все такие, как ты. Не все!

Я слушал старшину потрясенный. Никогда еще взрослый человек, старше меня годами, не открывал мне так свою душу, с такой жестокой прямотой.

— Вроде двое во мне. Один, ровно следовательно, допрашивает, — ты что замыслил? На прежнюю дорожку? И ведь обманываю себя, — будто из чистого интереса к вам иду работать, а золото, — разве только потрогаю его... А тут — вот это добро. Сперва колечко — бог его ведает, откуда оно выкатилось прямо мне под ноги. А подвеска эта... Ишь, играет, а? Фриц наш, «гутен морген», мне «берите» говорит. Ниht руссиш, — не русское, мол, законный твой трофей. Мы вас, мол, разорили, так надо же вам поправить свои дела. Умеет подойти, гад! У Штабеля на квартире, может, заметили, — чудной такой комод стоит. Красное дерево. Ящички маленькие, с костяными пуговками. Он, фриц, мне и посоветовал в ящиках пошарить. Хвать, — бриллианты! «Гутен морген!» поглядел, говорит: «Вещь не музейная, возьмите себе. Я старый, мне не требуется». Принес я домой, люблюсь, — какая благодать досталась! Ослепило меня. А немного погодя, как поостыл, напало на меня сомнение. Дом-то в прошлом году разбомбило! Теперь обратите внимание, — коробка обшита дермантином, иначе сказать, чертовой кожей. Так?

Лыткин совал мне коробку. Я подержал ее. При чем тут дермантин?

— Поскольку я товаровед, вопрос для меня знакомый. Материал прочный, однако от сырости на нем непременно вскочит плесень. Шагренъ — та гниет, а это от грибка страдает. Видите, царапины есть, запачкано, а плесень где? Хоть бы пятнышко! То-то и есть. Лежала вещь полгода в холоде, в сыром помещении? Нет!

Лыткин отшвырнул коробку. Теперь я понял. Людвиг подложил ему драгоценности.

— Так точно, — молвил старшина. — Подстроил. Иначе и быть не может. Потом я скумекал, — ящички в комод все заклинило, а этот один, с гостинцем для меня, как по маслу выехал. Значит, открывали недавно.

Какой-то частью сознания я все время ждал худого от Людвига фон Шехта. Людвиг... И все-таки это было неожиданно. Только вчера Людвиг отличился, помог

найти иконы древнего письма, увезенные из Киева. Они лежали в порту, в пакгаузе, среди рулонов зеленого шинельного сукна. Одна — работы живописца Рублева. Людвиг фон Шехт, профессор, кабинетный ученый, буквоед и книжный червь, как его охарактеризовал Сторицын, тайком подкупает за чем-то Лыткина. И, быть может, чужим, краденым добром. Мне слышался ровный, спокойный голос Людвиг: «человек Запада индивидуалистичен...»

Так вот к какой практике он перешел от своих теорий!

— Сулил к десяти, — сказал Лыткин. — Скоро уж... Я потому и позвал вас.

— Он придет?

— Обещался.

— Когда? Сегодня условились?

— Поймать хотите, — произнес он с укоризной. — Э-эх, товарищ лейтенант! Я, простите, вокруг пальца вас обвел бы. Простите, — повторил он мягче. — Третьего дня условились. Вас, ровно, не видать было.

— Имеются данные, — сказал я сухо, задетый его словами. Мне следовало бы оставить, сейчас же оставить этот напускной тон дознания, не свойственный мне, ненужный. Лыткин не скрывал от меня ничего. И я чувствовал это, но из нелепого упрямства начал форменный допрос.

— Какая цель у немца? На что он рассчитывает? Имеете представление?

— Никак нет.

— Не намекал он вам?

— Никак нет.

Лыткин замкнулся. Он потемнел, руки его мяли клеенку.

— Коли не верите мне... Не знаю, как тогда... Арестуйте! — выкрикнул он. — Арестуйте! Обратно его за решетку, Лыткина! Пускай отсидит остаток, четыре года! Так его...

— Брось, старшина, — сказал я.

Мне стало неловко.

— Что ж, может, и правда, — молвил он тихо, в раздумье. — Не достоин я лучшего. Я спрашивал себя: «От кого ты берешь, Лыткин? Как же ты допускаешь такое?»

Люди с победой до дому, а ты под Гитлером окажешься! Людям праздник, салют из орудий, а тебе?»

Он судорожно раскрыл футляр, сунул туда кольцо, нажал. Внутри что-то хрустнуло.

— На, лейтенант! Освободи меня! На, сдай куда следует...

— Хорошо, — сказал я и положил футляр в карман. Я не посмотрел, что там сломалось.

Зашипели на стене ходики, из оконца выглянула кукушка, нелепая, в зеленых пятнах и с красной головой, пискливо прокуковала. Половина десятого; через полчаса он явится...

— Не желаете ли? — Лыткин пододвинул мне рюмку. — Нет? Верно, нам-то, пожалуй, и не стоит. А вот его не мешает угостить, чтобы язык развязал.

Время шло медленно. Мы поглядывали на часы, отщипывали хлеб, жевали. Мучительно долго тянулись эти полчаса.

17

Мы прождали еще полчаса. Наконец тиканье ходиков сделалось совершенно невыносимым.

— Неладно, лейтенант, — сказал Лыткин. — Где он живет, вы знаете?

Я встал, надел плащ. Старшина снял с вешалки портупею с пистолетом, шинель.

— Вы оставайтесь, — сказал я.

Он смутился.

— Вдруг он еще придет, — объяснил я. — Тогда вы... Вам тогда задание...

Задание столь деликатного свойства я давал впервые. Конечно, я с радостью доложил бы Бакулину или Чубатову. Но телефона под рукой нет. Решать надо самому. Разумеется, Лыткин должен быть здесь. Другого выхода нет. И опасаться нечего. Если Людвиг фон Шехт придет, — он примет его, угостит, заставит выложить карты.

— Не спугните только, — напомнил я.

— Полный порядок, — бойко отозвался Лыткин. — Не сомневайтесь.

Лицо его просветлело. И у меня исчезли последние сомнения. Я сознавал теперь, — ему можно верить. Ему

обязательно необходимо верить, этому человеку, одолевшему врага в очень суровом сражении. Да, возможно, в самом трудном из всех, какие ему довелось пережить.

Я выбежал на шоссе. Попутная машина помчала меня на Шлезвигерштрассе.

«А что, если он скрылся!» Эта мысль мучила меня, торопила, не давала и минуты покоя. Да, заметил меня, понял, что дело проиграно, и исчез в Кенигсберге, в одном из его бесчисленных бункеров или среди руин «города развалин».

Было около полуночи, когда я поднялся на крыльцо особняка и позвонил.

Мне открыл Чубатов. Я был слишком взволнован, чтобы чему-нибудь удивляться. Я готов был броситься на шею Чубатову; расцеловать его.

— Где Лыткин? — спросил он.

— У себя, — ответил я, переводя дух. — Ждет. Я велел ему...

— Сейчас это уже не суть важно.

«Не суть важно», «не суть важно», — повторялось во мне, пело во мне. Значит, Людвиг не ушел.

— Доложите майору, — сказал Чубатов.

Я вошел в комнату — высокую, пеструю от множества разных вещей, собранных здесь, как в магазине. За стеклами поставцов, на столиках, на тумбочках стояли вазы из фарфора и хрусталя. Одна ваза — на ней свирепо размахивал ятаганом японский самурай в золотой одежде — лежала на коленях у Бакулина. Он выгребал из нее письма, квитанции...

Бакулин улыбнулся, завидев меня. Лучше всяких слов говорила эта улыбка, что все обошлось благополучно. Я должен был доложить, встать как следует и доложить, но слова не шли, что-то сдавило мне горло.

— Ох, я так боялся, — выдавил я наконец. — Так боялся, что Людвиг сбежит.

— Теперь не сбежит, — произнес майор. — Как ты сказал? Людвиг? Нет, не Людвиг.

Много событий принес этот необыкновенный день, но оказалось, у него есть еще новость в запасе. Самая удивительная.

— Не Людвиг? — спросил я растерянно.

Какой-то предмет лежал на столе, обернутый клетчатым носовым платком Чубатова. Бакулин откинул уголок платка. Выглянул ствол пистолета.

— «Манлихер», — сказал майор и бережно закутал. — У разных людей побывал; однако отпечатки могут пригодиться. Вот этим, — он опустил сверток на кожаный бювар, — был убит Фойгт. Пистолет Кати, по видимому. Нет, нет, Ширяев, — глаза Бакулина лучились, — профессор Людвиг фон Шехт не убивал. Он владел только пером. А главное, профессора давно нет в живых. Он умер на другой день после взятия Кенигсберга, в госпитале, от болезни сердца.

— Так кто же...

— Теодор, — услышал я. — Теодор фон Шехт.

У меня потемнело в глазах. Теодор! А Людвиг, значит, нет, Людвиг — только его личина... Или я не понял Бакулина? Он, верно, хотел сказать что-то другое...

В отношении человека, назвавшего себя Людвигом фон Шехтом, меня никогда не покидала настороженность, но такого поворота событий я не ожидал. Хотя бы уже потому, что этот человек казался мне, юноше, стариком. Он — седой, с гривой маслянисто-серых волос — Теодор фон Шехт! Он — убийца! Возможно ли!

Не вдруг узнал я от Бакулина, как выплыла наружу уловка подполковника из эйнзатцштаба.

Первое подозрение заронил Сторицын. Да, Сторицын! Он как-то пожаловался Бакулину, — фон Шехт избегает разговора на научные темы, отделяется общими фразами. Станный ученый! Бакулин затребовал из библиотек города труды Людвиг фон Шехта. Отыскалась книжка, не известная Сторицыну, нацистская книжонка о германском национальном духе. Людвиг доказывал, что только германцы, высшая раса, могут создавать высшие ценности искусства. Может быть, фон Шехт просто боялся Сторицына, скрывал свое лицо фашиста?

Или...

Можно было бы отыскать людей, служивших при Людвиге в замке-музее. Но это было рискованно. Бакулин понимал, — они могут предупредить фон Шехта, спугнуть. А сам фон Шехт отнюдь не стремился к таким встречам. Сторицын приметил и это.

Встречу с живым Теодором фон Шехтом Бакулин не исключал. «Кто убил Фойгта? — спрашивал он себя. — Кому он был опасен? Бинеман мертв. Точно ли умер фон Шехт? Не он ли — искомый третий?»

Оружие, гильза, найденная у амбразуры в доме Черноголовых, пуля, вынутая из тела Фойгта, — все бесспорно соответствовало.

За фон Шехтом установили наблюдение.

— А сыграть роль брата профессора ему было не так уж трудно, — сказал Бакулин. — Ученый нацист и нацист-спекулянт, захватчик, — велика ли разница между ними? Две стороны одной сущности.

Притворно «помогая» нам, фон Шехт на деле хотел вымотать нас, заставить отказаться от розысков Янтарной комнаты, облюбленной им для своей коллекции.

— Понятно, он не надеялся, что его личина продержится долго. Намеревался бежать на Запад, к американцам. Уповал на то, что решать судьбы Германии — а в частности и Кенигсберга — будут наши союзники. Но ему нужен был здесь свой человек. Он избрал старшину Лыткина и обманулся.

Мне довелось быть на допросах фон Шехта. Он долго запирался. На вопросы о Кайусе Фойгте недоуменно пожимал плечами.

— Фойгт? Первый раз слышу.

— Ваш шофер.

— Недоразумение. Моего шофера звали Лютке, Альфонс Лютке.

— Марка машины?

— «Мерседес-Бенц», легковая.

— А кто был на грузовой?

— У меня не было постоянной грузовой. Разные. И шоферы разные, имен я не помню.

— Имя Мищенко, Екатерины Мищенко вам знакомо?

— Нет.

— Ваша переводчица.

— Недоразумение. У меня переводчицей служила Клара Панке, немка из Поволжья.

Фон Шехта уличали свидетели, уличал «Манлихер» с отпечатками его пальцев. Преступник изворачивался, запутывал следствие. Наконец он «вспомнил» Катю и

Фойгта. Что с ними стало? Это ему неизвестно; накануне штурма Кенигсберга он был нездоров, всеми делами ведал Бинеман.

Когда заходила речь о Янтарной комнате и других скрытых ценностях, фон Шехт отвечал либо односложными «не знаю», «не помню», либо молчал. Злобно молчал, сжав тонкие губы, вдавившись в кресло.

Однажды его прорвало.

— Не получите! — выкрикнул он. — Ни за что! В могилу я с собой не возьму... Но отдать вам? Знаете, чего я хотел превыше всех благ мира? Всегда хотел... Уничтожить вас. Вас и всех, кто с вами... О, я отдал бы все за это... За такое счастье... Все, до последнего пфеннига... Да, да, я убил Фойгта! Вот вам! Я убил!

— А что вы сделали с Мищенко? — спросил следователь. — Отвечайте!

Молодой следователь военного трибунала нервничал, курил папиросу за папирсой. Ему помогал, поддерживал спокойствием, опытом Бакулин.

— Ее убил Бинеман, — выдавил фон Шехт. — Больше я ничего не скажу.

Суд приговорил Теодора фон Шехта к смертной казни. Его повесили.

Весть об этом догнала меня далеко к западу от Кенигсберга, — в Бранденбурге. Там же я встретил и великий праздник Победы. С Бакулиным я расстался. Его назначили в другой немецкий город, — в советскую комендатуру.

День Победы! Не было праздника радостнее для нас, переживших войну. Грохотом выстрелов огласился в тот день тихий немецкий пригород, где стояла наша воинская часть. Палили винтовки, пистолеты, палили вхолостую, в воздух, салютуя миру, сошедшему на землю. Земля пресытилась кровью, пресытилась железом, для мира надевала она свой весенний наряд.

Мои родные — отец, мать, сестренка, эвакуированные из Калуги на Урал — остались живы. Но Катя! Надежды мои гасли, мне все труднее было верить в чудо.

И вдруг...

Было утро двенадцатого мая. Забелели яблони; над ними гудели пчелы. Я сидел в саду с книгой, готовился к политзанятиям. За калиткой затормозил грузовик, с него соскочил незнакомый сержант и подал письмо.

— От лейтенанта Чубатова.

Я не спеша разорвал конверт. Что ему нужно от меня? Верно, справка какая-нибудь насчет Лыткина или... Не знаю, почему я подумал о Лыткине.

«Тов. лейтенант! Вам, наверно, будет интересно получить сведения о тов. Мищенко, и я воспользовался оказией, чтобы...»

Строки, написанные аккуратным чубатовским почерком, строго по линейке, затуманились, поплыли. Удержалась одна фраза на самой середине листка, подчеркнутая красным карандашом: «Врачи утверждают, что она будет жить».

Катя жива! Жива! Радость росла, распирала меня.

В конце письма Чубатов сообщил адрес госпиталя. В тот же вечер я принялся писать Кате.

Странные пути избирает юношеская любовь. Пока Катя была для меня где-то за гранью жизни и смерти, я не спрашивал себя, — люблю ли я ее. Говоря с ней мысленно, я не произносил «люблю». Тогда она стояла выше этого земного чувства, зато теперь... какой-нибудь час раздумий и сомнений над листком бумаги — и я обнаружил, что влюблен в Катю бесповоротно! Навсегда!

Я писал ей, писал полночи, рвал бумагу и снова брался за перо.

Катя ответила.

Я узнал, наконец, всё. Катя рассказала мне, как Бинеман отвез ее на Кайзер-аллее, как открыл перед ней люк в библиотеке, показал путь к сокровищам, спрятанным фон Шехтом. Как появился перед ними фон Шехт, которого они — и Катя и Бинеман — считали умершим. А потом грянула канонада и привела обоих гитлеровцев в смятение, и фон Шехт, пошептавшись с обер-лейтенантом, отослал его, а сам предложил Кате спуститься в люк и пошел следом.

Когда лестница, пробитая в стене дома Черноголовых, осталась позади и Катя вошла в подземный коридор, воды еще не было. В какую сторону идти? Она оглянулась на фон Шехта; он держал пистолет. Катя выхватила свой, но фон Шехт выстрелил первый, попал ей в руку. Она выронила оружие, кинулась под свод коридора, побежала. Фон Шехт стрелял, ей обожгло плечо, бок. Ее фонарик выскользнул из пальцев, но не стук, а плеск донесся до ее слуха, — он упал в воду.

Фон Шехт отстал, Катя все бежала, теряя последние силы, а вода настигала ее, — и вдруг свет, ослепительный свет дня ударил ей в лицо. Это последнее, что запомнилось ей.

Несколько часов спустя ее подобрала танкисты. Она попыталась сказать им о себе, но не успела даже назвать свое имя, — потеряла сознание. В медсанбате у нее началось заражение крови. Ее отправили в тыл.

Много ли было известно о ней людям, которые спасли ее в день штурма, и тем, кто лечил ее, отнял у смерти? Ее юность, ее мягкий, ласковый говор кубанской казачки и раны, четыре раны на теле, нанесенные врагом.

В ответ на мои пылкие чувства Катя писала:

«Я должна огорчить вас, Леонид, так как лгать я не умею. Вы казались мне замечательным человеком, настоящим героем, когда вы так храбро захватили врасплох немцев, и я ждала от вас еще подвига, — подвига доверия ко мне».

Вот и все. Я уже говорил, что испытанное мною в Кенигсберге в конце войны повлияло на всю мою жизнь. Нет, я не стал ни следователем, ни работником музея. Я — мастер Калужского турбозавода. Катя далеко; вспышка любви к ней так же ушла в прошлое, как и моя юность. Но слова ее, простые хорошие слова о доверии, о подвиге доверия, — они всегда со мной.

Катя в Калининграде, работает в музее. Она не теряет надежды отыскать Янтарную комнату. Недавно она писала мне, что, возможно, потребуется и моя помощь.

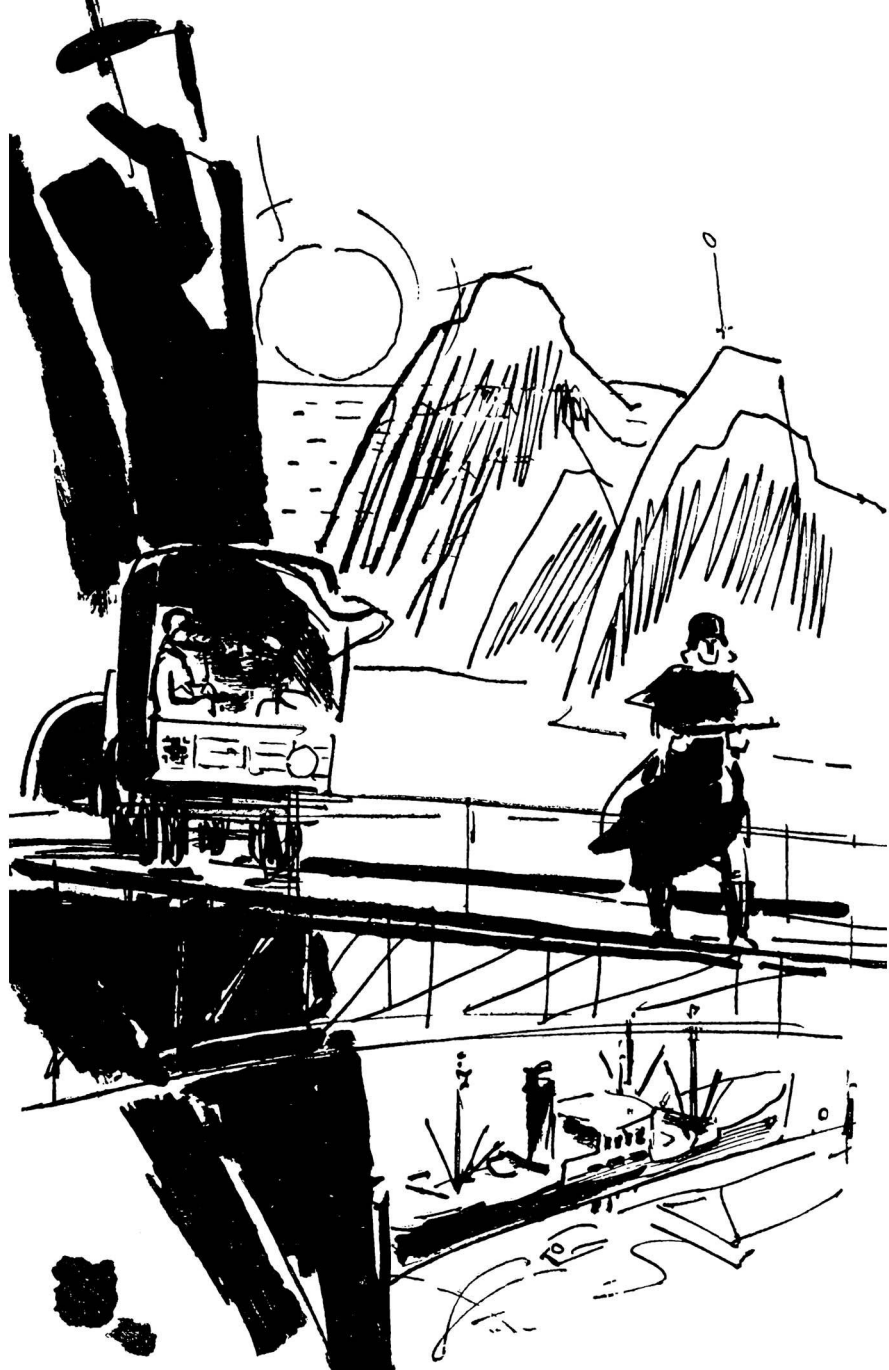
Что ж, я готов!

ОТ АВТОРА

Кенигсберга — города-крепости, оплота прусской военщины — на карте больше нет. Есть советский город Калининград.

Поиски Янтарной комнаты продолжаются. Многие калининградцы, — старые и малые — мечтают разгадать тайну, вернуть Родине выдающийся шедевр искусства. Сильно препятствует вода, затопившая обширные подземелья. Откачать ее пока не удастся. Планы катакомб гитлеровцами увезены или уничтожены.

Янтарная комната и другие ценности, спрятанные там в годы войны, еще ждут открывателей.



Д. ИОНИЧЕВ

НА КАРТЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ

П О В Е С Т Ъ



КОГДА И ГДЕ НАЧАЛИСЬ СОБЫТИЯ
ЭТОЙ ПОВЕСТИ

Шел трудный сентябрь 1943 года. В тяжелых боях, шаг за шагом, освобождалась израненная советская земля. Руины и бесконечные могилы оставлял за собой жестокий враг, угоняя в рабство и уничтожая советских людей.

Вся фашистская Германия и оккупированные ею территории были покрыты черной сетью эсэсовских лагерей истребления. Строго охранялись они, держались в секрете. И нигде еще не печаталась тогда карта «Эсэсовской Европы»,¹ с этой черной паутиной смерти. Географические атласы по-прежнему раскрашивались в приятные цвета. Не имела страшных отметок и карта Норвегии. Не было зловещего черного знака и на одиноком, безымянном островке, затерявшемся в бескрайних просторах Северного Ледовитого океана...

Лежащий в стороне от морских коммуникаций, необитаемый и непосещаемый, он был невелик — менее

¹ Эту карту читатель может найти в книге «СС в действии. Документы о преступлениях СС», Издательство иностранной литературы, М., 1960

шести километров в поперечнике — и представлял собой беспорядочное нагромождение скалистых возвышенностей и многочисленных ущелий, большую часть года покрытых низкими тучами и туманами. Найти его можно было только случайно, сбившись с курса в дурную погоду...

Огибая скалистые, отвесные берега острова, трудно было обратить внимание на один из многих, ничем не примечательный, небольшой фиорд с южной стороны. Но именно этот незаметный фиорд неожиданно приводил в просторную и удобную бухту, с глубокими, спокойными водами...

В день, когда начались события этой повести, в океане свирепствовал шторм. Огромные волны с грохотом обрушивались на высокие скалы, вздымая белые клочья пены. Ветер подхватывал эти клочья и с воем кружил их над островом, превращая в острые вихри водяной пыли.

В тот день уже нельзя было сказать, что безымянный островок — необитаемый и непосещаемый. Нет!.. В его скрытой бухте имелась просторная пристань, с удобным длинным причалом, со складами на каменистом берегу... А сквозь роящиеся в воздухе рваные клубы колючего тумана можно было разглядеть и людей — двух военных в эсэсовской форме...

Они взойшли на причал, внимательно осмотрели его, и затем один из них, стараясь перекрыть грохот прибоя, доносившийся из-за береговых скал, прокричал прямо в ухо другому:

— Только бы он сумел войти в фиорд! А здесь ему не страшны никакие бури!

— Да! — согласился другой. — Пристать он сможет прямо к причалу! Вполне!..

Оба эсэсовца сошли обратно на пристань и уселись в ожидавшую их машину, которая сразу же тронулась. По узкой дороге, вырубленной в каменном грунте, она осторожно поднялась в гору и скрылась за скалой.

Местоположение этого одинокого, неизвестного острова, где развернутся события повести, на секретной карте эсэсовцев уже давно было отмечено зловещим черным знаком, с загадочной припиской: «Операция Железный Ключ»...

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР В КАЮТЕ КАПИТАНА ШЕРСТНЕВА

Небольшой караван советских судов уже много дней осторожно пробирался к цели. Но шторм разбросал караван в разные стороны и радиотелефонная связь между судами прервалась...

К концу третьего дня шторм, казалось, начал набирать новые силы. Тяжело нагруженное судно «Нева», стараясь удержаться против ветра, то и дело глубоко зарывалось в бурлящие волны... Медленно продвигалась «Нева» вперед, ныряя снова и снова. И вдруг все изменилось.

Огромный, kloкочущий вал перекатился через бак и с грохотом обрушился на палубу. Судно поднялось, потом опустилось в бездну и, врезавшись носом во встречную волну, неожиданно закачалось спокойно.

Бешеный ветер умчался прочь. Острые смерчи соленых брызг, крутившиеся над палубой, мешавшие дышать и смотреть, рассеялись, — и кругом сразу прояснело. Холодное небо, затянутое мрачными тучами, у горизонта открылось. Выглянуло низкое полярное солнце и осветило бескрайние пространства океана.

Ледяные волны, с крутыми кипящими гребнями, быстро успокаивались, как будто решили дать заслуженный отдых упрямому судну и его неугомонному экипажу, который уже снова трудился.

Под «всевидящим оком» старожила «Невы», боцмана Кузьмина, люди откачивали воду, ворвавшуюся в среднюю надстройку, проверяли крышки люков, затянутые парусиной, подтягивали крепления спасательных шлюпок... Да мало ли что надо было сделать на судне, выдержавшем только что свирепый трехсуточный шторм!

Он был неугомон, этот «морской волк» с облысевшей головой, круглой как шар, и прокуренными усами-сосульками. Команда побаивалась и любила его, за глаза называя Кузьмичом. Неторопливо обходил Кузьмич судно, придирчиво осматривал, как идет работа, учитывая, что и во время аврала у людей всегда находятся свои личные дела, без которых можно было бы в такое время и обойтись.

Ничего не пропускал глазастый Кузьмич, однако на этот раз не заметил, как у вентиляционного раструба

остановились двое: радист Пархомов и рулевой Силантьев. Оба возбужденные, красные.

— Накрепко прикуси свой язык! Понятно?! — угрожающе шипел Пархомов. — Или Кирилл Пархомов свернет тебе голову, как цыпленку!

Силантьев молчал.

— Дай сюда! — Пархомов протянул руку. — Фома! Последний раз говорю, — выкладывай, или будет плохо! Пархомов слов на ветер не бросает! Понятно?!

Силантьев был на голову выше Пархомова, плечистее и явно сильнее. Но он молча вытащил из-за пазухи какой-то конверт, сунул его в протянутую руку и угрюмо зашагал прочь.

Кузьмич в это время подходил к камбузу. А там тоже уединились двое из молодежной части экипажа: Коля Петров, секретарь комсомольской организации судна, курносый паренек с курчавой головой, и Женя Муратов, «юный художник», постоянно оформлявший судовую стенгазету и начинявший ее острыми карикатурами и шаржами.

Они стояли лицом к лицу, взъерошенные, словно молодые петухи, готовые наброситься друг на друга.

— Ты сорвал выход стенгазеты в срок, — вполголоса, но горячо говорил Коля Петров. — Мы заставим тебя нарисовать карикатуру на самого себя!

— А ты, Колька, как секретарь, — балда, коли не понимаешь такого случая! Я показал тебе, что делал... Это не финтифлюшка какая-нибудь, а нужное!..

Увидев подходившего Кузьмича, ребята оборвали ссору и быстро разошлись по своим местам. Но спустя некоторое время у люка, где шла работа, вокруг Муратова столпилась большая группа команды. Все с интересом рассматривали вылепленную из хлебного мякиша и раскрашенную тушью фигуру Гитлера.

Звериный наклон головы, со злобщей челкой, нависшей на лоб, свирепый взгляд исподлобья, засученные рукава и в руке огромный топор палача, со свастикой на лезвии, опиравшемся на плаху, — таков был портрет главаря немецкого фашизма.

Хлебная фигурка ходила по рукам, вызывая восхищение мастерством Муратова, талантливо и остро выразившим кровавую суть гитлеризма.

— Ну, Женька, попался бы ты в лапы к фашистам, — они оторвали бы тебе пальцы, выкололи глаза и казнили бы по частям! — сказал приятель Муратова, Лёша Парменов.

— Руки коротки добраться им до Женьки! — откликнулся довольный Муратов.

— Товарищи, что за митинг во время работы?! — подал голос подошедший боцман. — Аврал — и развлечения!? — Люди бросились врассыпную. Однако и Кузьмич долго вертел в руках хлебную фигурку, рассматривая со всех сторон.

— Учиться тебе надо, Женя, — задумчиво сказал он. — Толк из тебя большой будет...

А в это время в каюте капитана Шерстнева происходил примечательный разговор.

— Вы, Борис Андреевич, сугубо штатский человек и не вполне понимаете обстановку, — сказал Шерстнев единственному и особому пассажиру «Невы» — Рынину. — Если вы не возражаете, я вам коротко все объясню.

— Пожалуйста, Василий Иванович, объясните, — согласился Рынин и закурил. Его тонкие брови чуть сдвинулись; серые, внимательные глаза прищурились.

Первый помощник капитана, Борщенко, несмотря на приглашение Шерстнева, в разговоре участия не принимал. Он осторожно уселся в заскрипевшее под его тяжестью кресло и, подперев широкой ладонью гладко выбритый подбородок, улыбнулся. Шерстнев недовольно покосился на него и снова обратил все внимание на Рынина.

— Так вот, Борис Андреевич, — начал он свои объяснения. — Шторм слишком разбросал наш караван. Экскортные корабли заняты сейчас розысками судов, чтобы снова собрать их в одну колонну. На это уйдет не менее суток, потому что радиотелефонная связь между судами и эскортными кораблями потеряна.

— Понятно, — спокойно сказал Рынин. — Ультракороткие волны ограничивают действия радиотелефонов на расстоянии.

Шерстнев сердито пошевелил седыми усами.

— Может быть, Борис Андреевич, вам не надо объяснять, почему суда и эскортные корабли сейчас не могут держать между собой нормальную связь через

свои радиостанции?.. Что мы сейчас можем только принимать радиопередачи?.. Что нам самим передавать ничего нельзя? Может быть, вам не надо объяснять, почему мы установили у себя это радиомолчание?

— Безусловно, и это мне ясно, Василий Иванович, — также спокойно подтвердил Рынин. — Враг может обнаружить наше местонахождение...

— Тогда мне объяснять вам нечего, Борис Андреевич! Вы сами должны все понимать!..

— И все-таки я не понимаю, Василий Иванович, — почему вы настаиваете, чтобы я перешел от вас на эсминец?

— Неужели непонятно? — удивился Шерстнев и с явным призывом о поддержке глянул на Борщенко. — Эсминец, который подойдет к нам, сразу же пойдет дальше, на поиски судов. А мы, пока караван вновь соберется вместе, может быть, целые сутки будем идти по заданному курсу в одиночестве... без охраны...

— Ну и что же?

— Вам было бы на эсминце безопасней.

— А почему мне надо быть в большей безопасности, чем вам, например?

Шерстнев задумчиво почесал подбородок.

— Вы, Борис Андреевич, крупный ученый и строитель... Направлены вы в такие далекие места по особому решению, со специальным заданием. Вам обязательно надо достичь места назначения. Вы там нужны...

— Не продолжайте, Василий Иванович! — прервал Рынин. — Мне все ясно. Никуда я от вас не уйду. Мне у вас нравится. Я к вам привык. А с Андрей Васильевичем мы, мржно сказать, на дружеской ноге... Ежедневно практикуемся с ним в разговорах по-немецки и по-английски. А это тоже полезно для дела...

Борщенко зашевелился, кресло под ним затрещало...

— Слушай, Андрей! — недовольно повернулся к нему Шерстнев. — Сколько раз я предупреждал тебя не садиться в это кресло! При твоей комплекции это когда-нибудь приведет к неприятности, — в первую очередь для тебя; о кресле я не говорю...

Борщенко тихо засмеялся и осторожно встал, оглядываясь, куда бы пересесть.

— Неприятности, Василий Иванович, в первую очередь будут для вашего кресла, — сказал он неторопливо. — Мне ничего не делается.

— Так-то оно так, — согласился Шерстнев. — Тебя и бревном не пробьешь, а креслу будет верная погибель.

Шерстнев прошел к злополучному креслу, озабоченно попробовал его прочность и коротко, снизу вверх, глянул на высоченную фигуру спокойного Борщенко.

Богатырского роста, косая сажень в плечах, с густой черной шевелюрой, смуглый, как цыган, Борщенко рядом с низеньким седеньким Шерстневым казался великаном.

Сын друга молодости Шерстнева, в гражданскую войну сложившего голову в степных просторах Украины, — Андрей Борщенко еще подростком вступил на отцовскую стезю моряка. Годы плаваний под строгой рукой Шерстнева и одновременная многолетняя учеба сделали из него закаленного в бурях, образованного морехода. Но и теперь, когда ему уже стукнуло тридцать и сам он имел двоих детей, — сыновняя почтительность к своему строгому воспитателю и командиру, Василию Ивановичу, никогда не покидала его.

Шерстнев еще раз потрогал скрипучее кресло и вернулся за стол. Борщенко улыбнулся.

— А ты не смейся, буйвол!.. Мне и простого кресла жаль, — это ведь тоже человеческий труд.

— Не огорчайтесь, Василий Иванович... Сегодня же пришлю к вам боцмана, — пусть позаботится о починке. Я к этому месту у вас привык...

Зазвонил телефон. Шерстнев снял трубку.

— Да... Так... Сейчас приду... — Он повернулся к Рынину. — Извините, Борис Андреевич, вынужден прервать... Я сейчас вернусь...

УДАР ИЗ-ЗА УГЛА

Борщенко и Рынин остались одни.

Помолчали. Под ногами все сильнее ощущалась ритмичная дрожь. Судно, как живое существо, напрягало силы, повышало скорость. Меньше чувствовалась качка...

— Надоели вам наши качели? — спросил Борщенко. — Хотите скорее ступить на земную твердь?..

— Конечно, желательно. Но до конца пути еще далеко, и этот ледовитый дьявол вполне успеет поживиться нами...

Борщенко добродушно засмеялся.

— Действительно, это не Маркизова Лужа, а самый свирепый океан. Но он-то нам и не страшен, Борис Андреевич. Опасны другие демоны.

— Вы имеете в виду фашистские подводные лодки?

— Да. Хотя теперь я уже сомневаюсь в их появлении здесь. Рискованные участки мы миновали, а в такие широты вряд ли они полезут.

— А вот Василий Иванович все время пугает меня этими лодками.

— Василий Иванович беспокоится о вас, Борис Андреевич. И он понимает, чего добивается. Он всякое видал!.. Старый большевик!..

— Это я знаю, Андрей Васильевич.

Раздался осторожный стук в дверь.

— Войдите! — крикнул Борщенко.

На пороге появился Пархомов. Он с любопытством посмотрел на Рынина и, повернувшись к Борщенко, спросил:

— Разрешите обратиться, товарищ Борщенко?

— Пожалуйста.

— Получен прогноз погоды.

— Где он?

— Вот! — Пархомов подал листок с принятым по радио текстом.

— Хорошо. Я передам Василию Ивановичу. Можете идти.

Пархомов не уходил.

— Что еще? — спросил Борщенко, чувствуя, что должно не все.

Пархомов замялся, покосился на Рынина, махнул рукой и, не отвечая, вышел.

— Что-то было у него вам сообщить, но, видно, я помешал, — сказал Рынин. — А почему, Андрей Васильевич, у вас с ним такой официальный тон? Ведь я уже заметил, что вы друзья.

— Да, мы земляки. Но сейчас и я и он при исполнении служебных обязанностей. Дисциплина...

— Понимаю. Он парень своеобразный, как и рулевой, и старшина, и штурман... Видите, — я уже успел

присмотреться к ним и к вашей работе с ними в кружке по языку. А лично у вас знание немецкого отличное!..

— Секрет этого прост, Борис Андреевич. В детстве я жил в одной деревне с немцами, в Поволжье.

— Да, немецким вы владеете превосходно!..

Борщенко довольно заулыбался. Похвала Рынина была приятна.

Для своих сорока пяти лет Рынин много путешествовал. Подолгу бывал за границей и свободно владел несколькими европейскими языками. Был он сдержан, но за время пребывания на «Неве», в этом трудном рейсе, сблизился с Борщенко и часто рассказывал ему о случаях из «другого мира». И всякий раз Борщенко не упускал возможности попрактиковаться с ним в разговорах на немецком и английском языках.

— Очень жаль, что у нас в школах недооценивается изучение иностранных языков с раннего детства, — добавил Рынин. — Это очень развивает мышление.

Новый стук в дверь прервал тихую беседу.

В каюту вошел Коля Петров.

— Вы меня вызывали, Андрей Васильевич?

— Да, Коля, вы мне нужны. Что случилось со стенгазетой? Почему она не вышла сегодня в свой срок?

Коля смущенно помолчал.

— Шторм, что ли, напугал молодежную редколлегия? — иронически продолжал Борщенко.

— Что вы, Андрей Васильевич! — всполошился Петров. — Шторм тут ни при чем.

— Кто же при чем?

Коля замялся.

— Мне сказали, что ваш приятель Женя Муратов вас подвел. Правда это?

Коля виновато посмотрел на Борщенко.

— Увлёкся он, Андрей Васильевич, другой работой. Вдохновение нашло...

— Аа-а, ну тут уж ничего не поделаешь, раз вдохновение, — все так же иронически согласился Борщенко и уже серьезным тоном спросил: — А будет ли газета сегодня к вечеру?

— Обязательно будет, Андрей Васильевич! — обрадовался Коля Петров. — Обязательно!..

— Ну, если к вечеру будет, больше говорить об этом не станем...

— Можно идти, Андрей Васильевич?

— Идите. Но не забудьте — к вечеру...

— Точно к ужину будет висеть, Андрей Васильевич. Коля Петров вышел.

— Золотой парень, — задумчиво сказал Борщенко. — Прозрачный, как родник!

— Мало у вас, на судне, молодежи, Андрей Васильевич, — заметил Рынин.

— Да... — согласился Борщенко. — Надо нам быстрее восполнять потери. Морскому делу обучить — требуется время... У меня дома растут двое. Как-то им приходится сейчас, в эвакуации?..

— А у меня трое...

Оба задумались о своих семьях, об изматывающих трудностях и суровых испытаниях, выпавших на долю женщин и детей в тылу.

В каюту вернулся Шерстнев. Он хмуро уселся за стол и сразу же обратился к Рынину:

— Еще раз прошу вас, Борис Андреевич, учтите мои соображения.

Рынин улыбнулся.

— О чем спорим, Василий Иванович? Эсминца еще нет, и даже если бы я согласился, все равно вы вынуждены держать меня у себя. Выходит, спорим мы напрасно.

Шерстнев оживился.

— Но эсминец должен скоро быть. И тогда, если вы согласитесь, мы свяжемся с ним по радиотелефону. Они пришлют за вами шлюпку.

— Нет, Василий Иванович! Еще раз категорически говорю: от вас я никуда не поеду! И прошу вас, — не поднимайте больше такого разговора... Мы с вами — старые знакомые... Не обижайте меня. Все опасности я хочу делить вместе со всеми вами. Мне не нужны никакие привилегии. Иначе я перестану уважать самого себя.

Шерстнев огорченно забарабанил пальцами по столу.

— Не преувеличиваете ли вы опасности, Василий Иванович? — спросил Борщенко. — В этом году фашистских подводников здорово потрепали, и у них нет лишних лодок, чтобы направлять в такие широты...

— Не то ты говоришь, Андрей! — недовольно сказал Шерстнев. — Врага надо оценивать трезво. Недооценка

его так же вредна, как и переоценка. Немецкий подводный флот еще силен. А затем раненый хищник делается злее — старая истина.

— Но для них есть более оживленные пути! — не сдавался Борщенко. — Забираться в такие пустынные места им просто невыгодно. Транспорты тут — редкость. А теперь, когда их погнали на советском фронте, они в первую очередь будут рыскать на путях наших сношений с союзниками — с Америкой и Англией...

— Вот эти-то пути и являются сейчас пустынными, Андрей!.. За последние полгода, то есть с марта месяца, наши союзники по этим путям не направили к нам ни одного каравана! Опасаются за свои суда! Боятся потерь. А то, что основная тяжесть войны лежит на нас, и наших потерь они в расчет не принимают. Может быть, даже радуются им!

— Это вы, Василий Иванович, переборщили! — возразил Борщенко. — Все-таки американцы по ленд-лизу переправили нам много грузов.

— Эх, Андрей! Мало ты еще знаешь об этих делах! — с досадой сказал Шерстнев. — Но не будем сейчас говорить о них.

— Что же вы, Василий Иванович, считаете, что немцам важнее сейчас вот этот наш путь?..

— Я этого не говорю. Но напрасно ты думаешь, что немецкий штаб не в состоянии оценивать значения того района, куда мы направляемся! Не полные же там идиоты! Арктика их интересует давно.

В разговор вступил Рынин:

— Василий Иванович, не чересчур ли вы опасаетесь неприятностей, — неожиданных неприятностей?

— Неприятности, Борис Андреевич, чаще всего бывают как раз неожиданными... Они выскакивают из-за угла и бьют в спину!

И, словно в подтверждение этих слов, тревожно зазвонил телефон. Шерстнев снял трубку, коротко послушал и кинулся к двери, бросив на ходу:

— Это акустик! Подлодка у судна и, кажется, торпеда!..

Он сорвал с вешалки у двери свой непромокаемый плащ и шагнул через порог. Но в это мгновение мощный взрыв потряс «Неву» до основания.

Шерстневу будто кто подрубил ноги. Его швырнуло обратно в каюту. Лампочки везде погасли. Судно накренилось на корму.

Ударил боевая тревога.

ЛУЧ ПРОЖЕКТОРА В НОЧИ

От места катастрофы шлюпки с командой «Невы» двинулись на север.

При взрыве погибли машинист, его два помощника и матрос. Шестерых ранило. Радисты Пархомов и Мелешко находились в радиорубке до последней минуты и радировали о катастрофе. Получили ответ, что на спасение экипажа «Невы» выходит спасательное судно.

Шлюпки двигались по заданному курсу. Через каждые пять минут боцман Кузьмич пускал красные ракеты — сигнал бедствия и ориентир для спасательного судна, идущего навстречу. Раненые и судовой врач были на первой шлюпке, с Борщенко.

Шерстнев находился в последней шлюпке. Он устроился около ящика с сухарями и тяжело задумался. Болело плечо, ушибленное при падении, но острее болело сердце — «Нева», обжитой кусочек Родины, так катастрофически окончила свою трудовую жизнь, преждевременно ушла на вечный покой.

— Можно около вас, Василий Иванович?

— Аа-а, это ты, Коля? — Шерстнев только теперь заметил секретаря комсомольской организации. — Ну как ты, здорово испугался? Страшно попадать в такой переплет?

— Страшно, Василий Иванович, — чистосердечно признался Петров. — А меня к вам Андрей Васильевич прикомандировал, чтобы я помогал вам, когда нужно. Вы не возражаете?

— Хорошо, Коля. А где устроены твои комсомольцы?

— Поскольку их немного, Василий Иванович, мы их по всем шлюпкам рассадили — по одному на шлюпку. Пусть учатся у других в трудные моменты.

Шерстнев задумался. «Трудные моменты...» Как много сейчас для молодежи всяких трудных моментов! И что будет еще для нее впереди?..

Медленно тянулось время.

Уже сгустились сумерки и появились первые вестники перемены погоды. Холодный, колючий ветер все чаще врвался в затишье и швырял в лица людей ледяные брызги. Все это слишком знакомо каждому! Скоро налетит злой борей и запляшут, взбесятся волны. Поэтому так хотелось поскорее ступить на прочную палубу. И гребцы старались, налегали на весла вовсю.

Шерстнев забеспокоился. Капризен океан в таких широтах. Пока подойдет спасательное судно, — может разыгаться настоящий шторм. И тогда ракеты не будут видны даже на близком расстоянии. А остаться в шлюпках посередине свирепого океана — грозная опасность. Кто сможет потом разыскать их в такой безбрежности!..

Нежданно навстречу шлюпкам темноту прорезал яркий луч прожектора. Все заволновались. Этот луч — вестник спасения, вестник жизни.

Шлюпки Шерстнева и Борщенко сблизились.

— Василий Иванович, это эсминец! — радостно сказал Борщенко. — Он подошел раньше спасательного судна, но возьмет ли он нас?..

— Просигнальте ему! — приказал Шерстнев.

Одна за другой взвились ракеты. В ответ луч прожектора несколько раз мигнул и остановился, направленный в сторону шлюпок, приглашая к сближению.

И Шерстнев скомандовал:

— Держать курс по лучу прожектора!

Гребцы заработали дружнее. Продолжали взлетать ракеты.

— Вот, Борис Андреевич, придется все-таки вам вступить на палубу военного корабля, — сказал Шерстнев. — Теперь уж поневоле.

— Да... Теперь я уже ничего поделать не могу. Придется согласиться.

Шлюпки и корабль быстро сближались. Вот уже луч начал елозить по волнам и, наконец, поймал, ослепил людей и так держал, пока черная масса корабля не выползла из темноты.

Забурлили мощные винты, погашая скорость.

— Эй, на шлюпках! — раздалось с корабля. — Подгребай к трапу по очереди!

Шерстнев приказал Борщенко с ранеными разгружаться первыми.

Пока люди со шлюпок, один за другим, поднимались на палубу корабля, Шерстнев думал о том, что оставлял он здесь, — о родной «Неве».

Сколько беспокойных лет жизни связано у него с этим судном! Длинный путь пробороzdил он на нем по штормовым морям и океанам за эти годы, всегда уверенно стоял на капитанском мостике... И вот судна больше нет! Замерли его могучие машины, затихли привычные шорохи. Мертвое, на вечные времена останется оно в тишине и тьме океанской бездны...

Голос Рынина вывел Шерстнева из невеселой задумчивости:

— Пора и нам, Василий Иванович...

Да, последний моряк с предпоследней шлюпки уже поднимался по трапу. Пора подгрести и последней, капитанской шлюпке.

Уже крепчал ветер и все выше поднималась беспокойная волна...

КОЛЯ ПЕТРОВ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ КАПИТАНУ

Радостно переговариваясь, успокоившиеся моряки по очереди поднимались на корабль. Там их сразу же отводили в сторону.

Шерстнев поднялся последним. И его поразили необычные тишина, темнота и безлюдие на палубе. Странно было и то, что из товарищей с «Невы» здесь никого не было.

Трое незнакомых, в непромокаемых плащах, стояли перед Шерстневым. Дальше виднелись еще двое, с автоматами, мрачно поблескивающими в полутьме. Между автоматчиками — Коля Петров.

— Иди за мной и не оборачивайся! — приказал прожатый в плаще.

Грубое обращение и акцент поразили Шерстнева, и его обожгла мысль: «Немцы!»

В этот момент он услышал впереди возню и крик Петрова:

— Это фашисты, Василий Иванович!

С нелегкой для своих лет стремительностью Шерстнев рванулся обратно к борту. Но тяжелый удар настиг его сзади и свалил с ног.

— Дай сюда свет! — раздался возглас по-немецки.

Луч прожектора метнулся на палубу и осветил пытающегося встать Шерстнева и Колю Петрова, которого автоматчики держали под руки.

Отчаянным усилием Коля вырвался и бросился на помощь Шерстневу.

— Стой! Буду стрелять! — крикнул по-русски немец в плаще, выхватывая пистолет. — Стой!..

Коля не остановился. Но добежать до Шерстнева ему не удалось. Навстречу, один за другим, раздалось несколько выстрелов. Ноги его подогнулись, и он опрокинулся навзничь. Рука, в последнем усилии протянутая к Шерстневу, с глухим стуком вяло откинулась на железную палубу.

— Зачем стрелял? — спросил другой немец в плаще. — Они все коммерческие. Военных среди них нет.

— Если он побежал, — надо было стрелять! — жестко сказал стрелявший. — Жалеть нечего: он русский!

— Ну ладно. Сбрось его за борт. А мы пошли.

Шерстнева, который уже встал, подхватили под руки и грубо потащили вперед. Спустя несколько минут его втолкнули в тесную, освещенную каюту. Там были еще трое вооруженных немцев. Они прижали Шерстнева к стене и быстро обыскали, вывертывая из карманов все содержимое. Сорвали с руки часы. Сдернули с шеи шерстяной шарф.

Потом Шерстнева снова подхватили под руки, вывели из каюты и потащили мимо оружейной башни, между каких-то надстроек, до люка, у которого стояли автоматчики. Один из них открыл крышку, и Шерстнева бесцеремонно сбросили в зияющее отверстие.

«Кажется, конец», — подумал Шерстнев. Но заботливые руки товарищей подхватили его на лету и поставили на ноги.

— Василий Иванович, вы? — услышал он шепот Борщенко. — Больше там никого нет?

— Нет, больше там никого нет, — с трудом сказал Шерстнев. — Коли Петрова уже не будет.

— Сейчас, Василий Иванович, мы вас устроим, чтобы вы прилегли, — не поняв последних слов Шерстнева, продолжал Борщенко. — Сейчас... Потерпите...

— Нет больше Коли Петрова! — громко повторил Шерстнев, и голос его дрогнул. — Погиб Коля! Бросился на помощь мне — и его убили.

Наступила мертвая тишина. Молчание было тяжелое и долгое.

— Как это случилось? — спросил, наконец, Женя Муратов.

Шерстнев рассказал. И снова несколько минут стояла тишина. Потом все заговорило, зашептались.

— А где раненые? — спросил Шерстнев у Борщенко.

— Их сразу же забрали в корабельный лазарет.

— А Борис Андреевич?

— Я здесь, Василий Иванович, не беспокойтесь, — отозвался Рынин.

— Василий Иванович, — зашептал в ухо Шерстневу протиснувшийся к нему комсомолец Сережа Степанов. — А у Жени Муратова фашисты нашли в кармане Гитлера... Что-то будет? Наверно, Женю повесят.

— Рисунок, что ли, какой? — забеспокоился Шерстнев.

— Нет, слепил из хлеба.

— А где Женя?

— Здесь, в углу, с Лешей. Женя!.. Иди сюда!.. Женька!..

— Сейчас! — отозвался тот из угла, где шептался с Лешей Парменовым.

Шерстнев подозвал Борщенко, и они о чем-то тихо переговорили.

— Ну, кому я нужен? — спросил пробравшийся на голос Степанова Муратов.

— Женя, какого Гитлера нашли у тебя фашисты? — спросил Шерстнев.

— Я его, Василий Иванович, разделал под орех! Слепил настоящим палачом, с топором на плахе...

— Когда тебя вызовут, скажи, что делал не ты, — посоветовал Сережа Степанов. — Назови кого-либо из погибших.

— Зачем я буду скрываться? Я им еще и не то сделаю за Колю!..

— Здесь, ребята, придется вести себя осторожнее, — строго сказал Шерстнев. — Мы тут подумаем, что делать. И вам придется нас слушаться. А пока ползите в свой угол.

Комсомольцы послушно убрались.

— Кирилл! — позвал Борщенко.

— Ну зачем тебе Кирилл? — хрипя и шепелявя, отозвался Пархомов.

— Куда ты запропал и почему тебя не слышно?

— Заехал я фрицу в ухо, а он мне ответил в зубы. И другой фриц ему помог. Расквасили Кириллу Пархомову нос и губы. Трудно говорить...

— Ну, коли так, — молчи. После потолкуем. Если тебе трудно говорить, то слушать ты сумеешь.

— А мне, сукины дети, ребра наломали, еле дышу... — подал голос Кузьмич.

— Вот что, Андрей, — сказал Шерстнев. — Скоро начнут таскать людей на допросы. Пока мы все вместе, надо кое о чем договориться...

— Да, Василий Иванович, — это действительно важно.

— Пригласи всех поближе, Борис Андреевич, а вы здесь?..

— По-прежнему около вас, Василий Иванович, — отозвался Рынин. — Прислушиваюсь ко всему и думаю...

— Невеселые думы? Да?..

— Разные, Василий Иванович... Думаю, что бывает и хуже...

— Бывает и хуже, — согласился Шерстнев. — Но люди всегда ищут выхода из любого трудного положения. И нам надо тоже думать о своем будущем.

ЧТО УКРЫЛ ПРИ ОБЫСКЕ ПАРХОМОВ

Но ни ночью, ни в течение дня на допрос никого не вызывали. Один раз немцы спустили пленникам три буханки хлеба и бачок с жидким супом; дважды — бидон с простывшим кофе.

Лампочки по-прежнему не включались, и в темноте было трудно. Но особенно невыносимо было дышать спертым, дурным воздухом. По решительному требованию пленников, немцы открыли люк и не закрывали его в течение всего дня.

Сильная вибрация от работы мощных двигателей говорила, что корабль идет самым скорым ходом. Но в середине следующей ночи машины вдруг резко сбавили

скорость. Потом стало необычно тихо, — оборвался шум от высокой океанской волны и прекратилась качка. Было ясно, что корабль вошел в бухту.

Скоро он остановился.

На палубе зашумели, забегали. А спустя некоторое время над люком наклонился часовой и крикнул:

— Быстро по одному выходи!

Первым на палубу поднялся Шерстнев. За ним — Борщенко и Рынин.

От люка прожектор освещал проход между двумя шеренгами вооруженных немецких моряков; он вел к сходям на широкий причал, к которому пришвартовался корабль. Видимо, глубина здесь была большая. На причале, так же ярко освещенном, полукольцом стояли автоматчики-эсэсовцы.

— Где наши раненые? — по-немецки спросил Шерстнев стоявшего на палубе морского лейтенанта. — Мы должны их видеть и вынести на берег первыми.

— Видеть вы их не сможете! — коротко ответил немец.

— Тогда мы не тронемся с места! — решительно заявил Шерстнев.

Лейтенант обернулся к другому немцу в плаще и о чем-то тихо переговаривал с ним. Потом сказал, обращаясь к Шерстневу:

— Ваши раненые отправлены на машине в госпиталь. Увидеть их сможете только завтра днем. А теперь — быстро сходите с корабля!

— Что делать, Василий Иванович? — спросил Борщенко.

— Будем сходить.

— Товарищи! Можно выходить! — крикнул Борщенко в люк.

Через пятнадцать минут все уже были на причале и выстроились по четверо в ряд.

— Сейчас мы пойдем! — по-русски объявил эсэсовец, стоявший во главе колонны. — Из строя не выходить! Всякому, кто сделает шаг в сторону, — расстрел! Кто выйдет на шаг вперед, — расстрел! Кто отстанет на шаг, — расстрел! Теперь — вперед!

Колонна тронулась и вышла из освещенного пространства. Кругом была кромешная тьма. При свете электрических фонарей конвоиров зашагали по выруб-

ленной в каменистом грунте дороге, поднимающейся в гору. Затем дорога стала ровной, и через полчаса пленники подошли к подъезду приземистого каменного строения.

У входа горел фонарь и стоял часовой. По его сигналу вышли еще два эсэсовца и широко открыли двери. Старший конвоир приказал колонне перестроиться по двое и быстро заходить внутрь. Там пленников провели по коридору в большую камеру.

— Разговаривать и шуметь не разрешается! — объявил тот же эсэовец.

Подошел часовой с автоматом. Тяжелая дверь закрылась. Лязгнул засов. Пленники остались одни.

Камера была просторная. С обеих сторон в три этажа были нары. Над потолком горела тусклая лампочка, огражденная решеткой.

— Да здесь можно отдохнуть, — обрадовался Женя Муратов. — Ребята, давайте в этот угол... Тут светлее.

— Свет нужен в первую очередь Кириллу Пархомову, — прохрипел Пархомов. — У меня есть что почитать.

При тусклом освещении физиономия Пархомова выглядела ужасно. Огромная фиолетовая опухоль затушила один глаз. Нос и губы были разбиты и распухли.

— Ну и разделали тебя, Кирилл! — изумился Борщенко. — Теперь тебя никакая красавица не полюбит.

— Он из-за красавицы и пострадал, — подковырнул Силантьев.

— Молчи, — зашипел Пархомов. — Голову сверну, как цыпленку!

— Теперь не свернешь. Сам виноват... Не дал тогда на судне показать ребятам. А напрасно, — девушка хорошая...

Пархомов двинул Силантьева кулаком под ребро, но беззлобно, так, для виду.

— Все-таки я ее без боя не отдал. И, в конце концов, смял вместе с конвертом в комок, чтобы не касались ее глазами сволочи...

— А что же ты нам хотел почитать? — спросил Борщенко.

— Сам-то я читать не смогу. Читай уж ты, Андрей Васильевич! — Пархомов извлек из-за голенища аккуратно сложенные листы бумаги. — Вот, посмотри, что я сумел в драке скрыть.

Борщенко развернул листы и посмотрел.

— Откуда такое, Кирилл?

— Это последнее, что я успел принять по радио.

— Ну и молодец. Очень кстати. Товарищи, слушайте последние новости: приказ Верховного Главнокомандующего и сообщения Совинформбюро.

Все плотно сдвинулись вокруг Борщенко. Он кашлянул, прочищая горло, и густым шепотом стал читать:

— Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Толбухину, генералу армии Малиновскому... Войска Южного и Юго-западного фронтов, в результате умелого маневра и стремительного наступления, одержали крупную победу... Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести дней с боями... отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн — важнейший угольный и промышленный район страны...

— Ура! — крикнул Силантьев. — Донбасс — моя родная сторона!

— Тише! — зашипели на него со всех сторон. — Не мешай!

Борщенко торжественно, повышая шепот, медленно продолжал:

— В знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе сегодня, восьмого сентября, в двадцать часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью артиллерийскими выстрелами из двухсот двадцати четырех орудий... Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!.. Восьмое сентября тысяча девятьсот сорок третьего года.

— Теперь крикнем все вместе! — предложил Борщенко.

— Уррр-раа!.. Уррр-раа!.. Уррр-раа! — дружно прокричали в камере.

Лязгнул засов. Дверь слегка открылась. В щель просунулась встревоженная голова и автомат часового. Коверкая русские слова, он крикнул:

— Сумасшедший русский! Кричать нет разрешается! Все расходится по разным местам! Вместе нельзя!

— Закройся! — прохрипел Пархомов. — Дер-ди-дас, кислый квас!

Слова Пархомова вызвали дружный смех. Кто-то лихо свистнул.

Дверь поспешно закрылась. Повеселевшие пленники снова сдвинулись в тесный круг.

ПЕРВЫЕ ДОПРОСЫ

Утром всех новичков быстро и коротко опросили и заполнили на каждого карточку. Потом начали вызывать на допрос.

Силантьева задержали дольше других, и, когда конвоиры втолкнули его в камеру обратно, — бушлат на нем был разорван и на лице кровоточили ссадины.

— И тебя обработали, Фома? — всплеснул руками Пархомов. — Кто же это так постарался?

— Какая-то рыжая сволочь, власовец!

— Власовец? — Все заинтересованно столпились около Силантьева. Тот, растирая кисти рук со свежими кровоподтеками, продолжал рассказывать:

— Стал меня агитировать... Двинул я его в зубастую морду, но неудачно. Помешали. Схватили сзади, руки выкрутили и в наручники!.. Ну, а потом обработали, сволочи, как хотели...

К Силантьеву подсел Борщенко и стал расспрашивать... Но залязгал засов. Дверь снова открылась.

— Рынин, выходи!

Допрос Рынина затянулся надолго. Прошло не менее двух часов, пока дверь снова открылась. Но Рынина в камеру не вернули.

— Капитан Шерстнев, выходи!

Через несколько минут Шерстнев уже стоял в кабинете, где производились допросы.

Против двери, за большим столом сидел гестаповец в черном мундире, с офицерскими знаками различия.

— Ближе! — приказал он конвоирам.

Шерстнева подвели к столу.

— Вы капитан Шерстнев?

Стоявший у стола переводчик повторил вопрос по-русски.

— Да, я капитан Шерстнев.

— Вы говорите по-немецки?

— Как слышите.

— Очень хорошо. Садитесь! — гестаповец показал на стул, стоявший у стола.

Шерстнев сел.

— Я оберштурмфюрер Хенке. У меня есть к вам несколько вопросов.

Шерстнев молча ждал.

— Ты, Фридрих, можешь пока сходить в столовую, — повернулся Хенке к переводчику. — Потом возвращайся.

Переводчик сразу же вышел.

— А вы станьте за двери! — приказал Хенке конвоирам.

Шерстнев и Хенке остались вдвоем.

— Хотите сигарету, капитан? — предложил Хенке, доставая из стола портсигар.

— Я не курю.

— Как хотите, капитан. — Хенке убрал портсигар обратно в стол. — Тогда приступим сразу к делу. Мои вопросы не будут касаться ваших секретов. Я хочу знать только одно: чем занимались ваши люди до войны?..

В ожидании ответа Хенке пристально наблюдал за лицом Шерстнева. Тот спокойно ответил:

— Я подбирал себе моряков и другими профессиями не интересовался, лейтенант.

— Оберштурмфюрер, — поправил Хенке. — Или — оберлейтенант.

Шерстнев промолчал.

Хенке выдвинул ящик стола и, перебирая личные документы, отобранные у членов экипажа «Нева» при обыске на корабле, небрежно переспросил:

— Значит, вы не знаете сухопутных профессий своих людей?

— Нет, лейтенант, не знаю. Полагаю, что вам проще спросить их самих.

— Ваши люди, капитан, по их словам, до службы на флоте не имели никаких профессий.

— Ну что ж, значит, это так и было, — подтвердил Шерстнев. — Им лучше знать.

— И будто бы они на вашем судне впервые?

— И это верно.

Хенке прищурился и, наклонившись ближе к Шерстневу, вдруг резко спросил:

— А не можете ли вы, капитан, сказать что-либо о практической специальности доктора технических наук Рынина? Чем он знаменит? Чем занимался до сих пор?

— Вот уж чего не знаю, лейтенант, того не знаю. Для меня доктор Рынин был только пассажир. А расспрашивать его о научных делах мне и в голову не приходило. Да это и непосильно для моей старой головы.

Хенке подозрительно посмотрел на седую голову Шерстнева и злобно сказал:

— Перестаньте дурачиться, капитан Шерстнев! Не может быть, чтобы вы не интересовались этим вопросом. И вы расскажете мне все, что вы знаете о Рынине, — хотите вы это или не хотите!

— Мне сказать вам нечего, лейтенант. А ваш тон заставляет меня вовсе прекратить с вами разговор. — Шерстнев встал. — На ваши вопросы я больше отвечать не буду. Прошу вернуть меня к моей команде.

— Теперь это уже не ваша команда, а наши пленники! И вы будете, будете отвечать мне, капитан! Я ставлю вас разговаривать!

Шерстнев молчал.

Хенке резко нажал кнопку звонка на столе, и в комнату немедленно вскочили конвоиры.

Хенке указал на Шерстнева и приказал:

— В карцер!

Охранники набросились на Шерстнева, вывернули ему руки и, не давая идти, волоком потащили в карцер...

В кабинет вошел длинный, тощий охранник, с узким лицом и тяжелой челюстью. На фуражке у него была трехцветная кокарда власовца. Он остановился у двери и почтительно спросил:

— Вы меня вызывали, господин оберштурмфюрер?

— Да, Шакун, ты мне нужен. Подойди ближе!..

Шакун быстро подошел к столу, неуклюже шелкнул каблуками и почтительно наклонил рыжую голову, готовый слушать...

ОШИБКА ШАКУНА И КАК ЕЮ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ БОРЩЕНКО

Когда Борщенко ввели к оберштурмфюреру Хенке, там еще был Шакун. Увидев Борщенко, власовец удивленно вытаращил глаза и медленно пошел навстречу.

— Черный Ворон? Ты ли это?! Ну и встреча, черт меня сожри! Бывает же...

Шакун завертелся около Борщенко, разглядывая его со всех сторон и все более расплываясь широкой зубастой улыбкой.

— Почти не изменился! — продолжал он. — А ведь, почитай, два года прошло с тех пор... с Киева... Да что ты так уставился на меня?! Неужто не узнаешь?... Я — Федор Шакун... Помнишь, познакомились с тобой в бане, из-за твоего водяного с рогатиной?.. Ну, ты еще потом два раза брал меня на свои операции...

Шакун, позабыв о присутствии гестаповца и конвоиров, обрадованный встречей, продолжал:

— Во второй раз я был под твоей командой, когда пускали в расход драчливую многолюдную семейку. Помнишь?.. — Шакун понизил голос. — Девчонка тогда выколола глаз твоему помощнику... Ха-ха-ха!..

Борщенко мучительно передернулся и оглянулся, выискивая, чем бы расколоть голову предателю.

А Шакун продолжал:

— Ну, не кривись. Раз не нравится, — не буду. Мне рассказывали, что не любишь ты разговоров о таких делах. А на этих ты не обращай внимания... — Власов кивнул в сторону гестаповца и конвоиров. — Они по-русски не понимают ни слова!.. А как ты по-немецки? По-прежнему ни бум-бум?.. Ага? Ну, а я уже калякаю по малости... Погоди, вот я сейчас...

Шакун повернулся к Хенке и по-немецки объяснил:

— Господин оберштурмфюрер, он из наших... В Киеве был старшим в зондеркоманде. Его сам генерал Власов принимал. Он два раза брал меня на операции..

Хенке заинтересованно посмотрел на Борщенко.

— А как его звать? — спросил он Шакуна.

— Имя у него было Павел. Фамилию забыл. В Киеве его прозвали Черным Вороном.

Заинтригованный Хенке сделал знак конвоирам, и они вышли.

— Зитц малы! — пригласил гестаповец.

— Садись, Павел! — перевел Шакун.

— Ви хаст ду ауф шифф бештейген?¹

Борщенко молча в упор рассматривал гестаповца.

¹ Как ты попал на судно?

— Он, господин оберштурмфюрер, кроме русского, ни к какому языку не приучен, — пояснил Шакун. — Пробовал, но не может. А на советское судно он попал специально. Он — бывший моряк. Его забрали тогда из Киева для отправки в тыл к коммунистам. На флот. По заданию...

— По какому заданию? — заинтересовался Хенке. — Это важно. Спроси у него.

— Павел! Ты по какому заданию очутился на судне?

— По особому, — выдавил Борщенко, не представляя, что будет дальше, и решив не выдавать свое знание немецкого языка.

— Спроси у него, Шакун, в чем состояло это задание.

— Павел, оберштурмфюрер интересуется, какое это было задание?

— Я не могу отвечать на этот вопрос! — твердо заявил Борщенко, понемногу приходя в себя. — Скажи, что не могу об этом говорить.

— Он не может говорить! — коротко перевел Шакун. — Особое задание, господин оберштурмфюрер.

Хенке понимающе кивнул и задумался, внимательно разглядывая богатырскую фигуру Борщенко.

Воспользовавшись паузой, Шакун спросил:

— А что это у тебя, Павел, вроде голос изменился? И слова стал растягивать?

— Контузило меня, Федор, — нашелся Борщенко.

— Аа-а-а, — удивился Шакун. — Кто же это тебя? Свои или чужие?

— Свои, — продолжал сочинять Борщенко, не представляя, кого Шакун понимает под своими, кого под чужими.

В разговор снова вступил Хенке:

— Спроси его, Шакун, — куда направлялось судно?

Борщенко отвечал осторожно и не сразу, пользуясь временем, которое занимал Шакун на переводы.

— Куда направлялось судно, — неизвестно. Никто из команды этого не знал.

— А капитан?

— И капитан не знал.

— А это точно? — засомневался Хенке. — Шакун, повтори вопрос!

— Абсолютно точно! — уверенно подтвердил Борщенко. — Мы следовали по курсу, который постепенно менялся сопровождавшим нас военным кораблем.

— Ага... Так... Искали новый, обходный путь в Англию? Это похоже... Спроси, Шакур, — он давно знает капитана?

— С ним я в первом рейсе.

— А команду?

— Команда вся новая, сборная. Я знаю людей только по фамилиям. Они сами только что познакомились...

— Гмм-м... — Хенке опять задумался. — Вероятно, так выбрали команду нарочно. На случай, если она попадет в плен...

— Очень вероятно! — подтвердил Борщенко. — Поэтому и мне удалось к ним попасть.

— Знаешь ли ты, кто из команды коммунист?

— Было два. Оба погибли во время взрыва.

— А капитан?

— Он беспартийный.

— Как это может быть? — Хенке недоверчиво посмотрел на Борщенко. Тот невозмутимо продолжал:

— Он старик. Был капитаном при царе. Поэтому — беспартийный.

— Гмм-м... — Гестаповец озадаченно потер нос. — Ага... Может быть, поэтому капитану не доверили маршрут судна... Так, так... Спроси, Шакур, — хорошо ли он знает Рынина?

— Знаю недавно. Только с этого рейса.

— Ты не был к нему приставлен? — Гестаповец пристально посмотрел на Борщенко.

— Нет.

— Но, может быть, ты слышал, каким строительством он занимался?

— Нет. Об этом на судне никаких разговоров не было.

— Жаль. Тебе это надо было знать.

— Мне это было ни к чему.

— Ну, ладно. О Рынине мы еще выясним. Спроси, Шакур, как твой приятель хочет: вернуться под конвоем в камеру, как бы с допроса, или остаться с нами?

— Павел! Как тебе лучше: остаться у нас или вернуться под конвоем туда?

— Мне надо туда! Мне надо быть там!

— Он должен быть там! — перевел Шакур.

— А зачем ему туда надо? — продолжал спрашивать Хенке.

— Павел, за каким чертом тебе туда нужно?

— У меня там есть свои люди... — объяснил Борщенко.

— И много? — спросил Хенке, выслушав Шакуна.

— Трое! — продолжал импровизировать Борщенко.

— Ага, это хорошо, — сказал Хенке. — Вернись туда и условься с ними о связи. Дай им задание срочно выявить, кто из русских работал на строительстве метро... Заодно пусть заметят и тех, кто работал в шахтах. Понял?

— Чего же тут непонятного? Все ясно! — подтвердил Борщенко. — В Москве и Ленинграде — на метро; в Донбассе и Кузбассе — на шахтах. Яснее ясного!

— Ну вот и хорошо! А теперь, Шакун, можешь пройти с ним в буфет и угостить хорошенько. Потом пусть его доставят обратно в камеру под конвоем, как всех... Мы его через три дня вызовем... Будет работать у нас!

ЧТО НЕОЖИДАННО УЗНАЛ БОРЩЕНКО

Шакун и Борщенко уединились в буфете. Перед ними стояла еда и вино.

Шакун мало ел, время от времени потирая распухшую скулу, и много пил, — и говорил, говорил, говорил:

— Угощайся! Ты, кажется, любил пожрать!.. Я тут на хорошем счету... И заработок приличный... Но в команде охранников — из наших я один! Хорошо, что теперь вместе будем. А то — язык наломал: не с кем душу отвести по-русски. С пленными не разговоришься: того и гляди прихлопнут...

— А что здесь такое? — спросил Борщенко.

— Ты разве не знаешь?

— Откуда мне знать? Я ведь попал сюда этой ночью и случайно...

— Да-да, совсем забыл. Тут, Павел, дело большое. Важное строительство. А работают военнопленные. Особый лагерь...

— Но где же мы находимся?

— Вот чего захотел! А дьявол его знает где!.. На

острове — и это все, что известно. Ясно только, что у черта на куличках!

— Неужели нет у острова названия? Как-нибудь зовут же его...

— Пленные, Павел, зовут его Островом Истребления. А наши никак не зовут. Остров — и всё... Но ты не думай, что тут работы мало. Тут, брат, такие дела развертываются, что будет жарко.

Нагнувшись к Борщенко ближе, Шакун ощерил большие желтые зубы и заговорил тише:

— Тут у славян заговор... Готовится побег... Я — в курсе...

— Что значит «у славян»?

— Ну, у русских и других, родственных. Главный у них — Смулов. Но он не один. У них — комитет. Я — в полном курсе. Мы потом их всех накроём и главарей повыдергаем. Вот когда потешусь досыта!..

Борщенко сжал челюсти, чтобы сдержаться.

— Что с тобой? — удивился Шакун, видя как передернулось лицо Борщенко.

— Зуб схватило, — процедил тот.

— А-а-а! Рассказывали, что ты зубами полтинники перекусывал. Попортил, что ли?

— Да... А много обо мне в Киеве слухов ходило?..

— Неужто не знаешь?

— Кое-что, конечно, знаю, но не все... Интересно, что приходилось слышать тебе?

Шакун долго и восторженно рассказывал, какими легендами среди власовцев было окружено имя Черного Ворона в Киеве. Борщенко слушал с отвращением, но внимательно, запоминая все, что относилось к его кровавому двойнику.

— Ну, а знаешь ты мою настоящую фамилию?

— Нет. Уж больно ты, Павел, засекретил самого себя.

— Ну, а где я родился? Сколько мне лет?

— Откуда мне знать?.. Ведь всего-то три раза я с тобой и встречался близко. А сам ты о себе ничего не рассказывал. Называли и твою фамилию, но я забыл. Говорили, будто у тебя есть родственники в Харькове. Правда это?

Борщенко неопределенно пожал плечами.

— Может быть... А от начальства обо мне никогда ничего не слышал? Как оно относилось ко мне?

— Этого не знаю. Майор Кунст со мной ни разу не разговаривал. А капитан Мейер — тот только рычал всегда.

Борщенко помолчал, запоминая фамилии.

— А что же ты не выпил и рюмки? — подозрительно спросил Шакун. — Подменили, что ли, тебя?

— Мне нельзя пить! Вернусь в камеру, и вдруг — пьяный. Откуда?..

— Ах, да-а... Ты вперед смотришь... — Шакун снова потер скулу. — А мне сегодня один из твоей камеры в морду заехал!..

— Ну, мне, пожалуй, пора, — забеспокоился Борщенко, не слушая. — А то расспросов не оберешься.

Шакун ословело посмотрел на Борщенко.

— Да, да... Пить пей, а дело разумей...

— Мне надо в камеру, Федор. Пошли!..

— В камеру? А ты слышал мои слова? Меня один из этих сегодня в морду двинул! Понимаешь — меня! Но завтра он узнает, что значит ударить Федора Шакуна!..

— Нельзя его трогать! — строго сказал Борщенко.

— Почему нельзя?! — Шакун ударил кулаком по столу. — Я не могу не расчитаться с ним! Понимаешь, — не могу!

— Нельзя! — решительно повторил Борщенко. — Он мне нужен.

— Но я оставлю ему кусочек жизни! — Шакун стиснул руку Борщенко. — Оставлю... ради тебя...

— Говорю нельзя — и всё! — отрубил Борщенко. — Особое задание, Федор. Понимать надо!

Шакун замолчал. Сейчас он почувствовал того самого Черного Ворона, который, как о нем говорили, не терпел возражений. И Шакун смирился.

— Ну, пошли, коли так! — сказал он, вставая из-за стола.

КАК КУЗЬМИЧ ОБЪЯСНЯЛСЯ С ГАНСОМ И ЧТО СПАСЛО ЖЕНЮ МУРАТОВА

Пока Борщенко и Шакун были в буфете, на допрос к Хенке привели Кузьмича. Хенке сердито смотрел на его круглую лысую голову, на прокуренные усы-сосульки и не знал что делать. Переводчик еще не вернулся,

а терять лишнее время на допросы этих штатских плен-ных не хотелось.

— Адольф! — обратился он к конвоиру. — Ты по-русски не понимаешь?

— Нет, господин оберштурмфюрер! — вытянулся кон-воир. — Понимает Ганс.

— А где сейчас Ганс?

— На посту, у камеры.

— Иди смени его. Пусть он немедленно явится сюда!

Через минуту перед Хенке стоял Ганс, польщенный, что он будет выступать в качестве переводчика.

Хенке порылся в документах Кузьмича, отобранных при обыске на корабле, и спросил:

— Фамилия, имя?

— Как твой имя? — перевел Ганс.

— Кузьма Кузьмич Кузьмин.

— Почему три имя? — не понял Ганс.

— Фамильный предок мой, как можно догадаться, был Кузьма, отец — Кузьма и я — Кузьма. Вот и полу-чается три Кузьмы, — иронически пояснил Кузьмич. — Есть еще и кузькина мать, но ее мы приберегли для вас...

Переводчик опять не понял и долго выяснял семей-ную «многоэтажность» Кузьмича.

Хенке рассердился:

— Тебе трудно переводить, что ли?

— Нет, господин оберштурмфюрер. Я просто заинте-ресовался. У него мать — Кузька, которая хочет к нам...

— Интересоваться тебе не положено! — обрезал Хенке. — Его мать мне не нужна! Переводи сразу. Быстро!

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер!

После этого работа переводчика пошла аллюром.

— Спроси, что он знает о докторе Рынине! — прика-зал Хенке.

— Ты доктор Рынин знает? — спросил Ганс.

— Каждый знает доктора, когда у него лечится. А я разве лечился? У меня лишь однажды, еще во времена гражданки, заболел зуб. Доктор глянул, — надо лечить. А я говорю, — нет. Рви. Доктор вырвал мой зуб, здоро-вый еще зуб. Вот и все мои болезни... Коли бы у ка-ждого доктор в жизни вырвал только по одному зубу, —

пришлось бы докторам стать зазывалами... Да и когда мне было болеть и ходить к доктору Рынину? А за хозяйством кто бы стал смотреть? Доктор Рынин?.. А в хозяйстве у нас — и швабры, и метлы, и тряпки... И чтобы все было чисто, чтобы все было надраено и блестело. Нет, медицина не по моей части...

Ответив так обстоятельно, Кузьмич замолчал и презрительно поглядел на Хенке.

Ганс молниеносно отцедил из ответа Кузьмича те слова, какие понял, выстроил их в ряд и отпрапортовал:

— Он, господин оберштурмфюрер, говорит, что Рынин вырвал у него здоровый зуб. И лечил каждого, и у каждого вырвал по одному зубу. И еще Рынин следил за хозяйством, чтобы щетки, веники и тряпки были чистыми...

— А ты точно перевел? — усомнился Хенке.

— Совершенно точно, господин оберштурмфюрер! — испугался Ганс.

— Впрочем, возможно, Рынин для маскировки перед командой и значился на судне врачом, — заметил Хенке. Он подумал, пронзительно посмотрел на спокойного Кузьмича и задал новый вопрос:

— Что говорили о Рынине в команде?

— Что Рынин в команда говорил? — перевел Ганс.

— Случалось. Разговаривал с нами. О науке. У него ведь черепная коробка наполнена хорошо. Не то, что у некоторых других, — покопаться не в чем... — Кузьмич при этом выразительно поглядел на переводчика и Хенке, ясно давая понять, чьи черепа он имел в виду.

— Он говорит, господин оберштурмфюрер, что у Рынина была полная коробка с черепами. Он их где-то выкопал...

— Странно, странно, — удивился Хенке. — Гмм-м... Что же, он археолог, что ли?.. А может быть, они вскрывали могилы расстрелянных нами?.. Но если он врач, то как же он может быть доктором технических наук?.. Нет, путает что-то этот старик!.. Спроси у него, Ганс, где Рынин выкопал эти черепа?

— Где доктор так много это черепа копал? — спросил Ганс. — Полный коробка черепа?

Кузьмич несколько минут смотрел на немца с недоумением, потом вдруг рассердился:

— Хочешь, чтобы я на доктора наклепал что-то?

Собака! Прохвост! Да я за советскую власть и за своих людей уже три раза кровь проливал! И под русским флагом я седым стал, когда ты еще на горшке сидел!

Кузьмич немного успокоился, расправил усы-сосульки и добавил:

— Да ты, голуба, большой прохвост... Прохиндей...

Ганс, выслушав горячую филиппику Кузьмича, понял ее с пятого на десятое и замялся.

— Он, господин оберштурмфюрер, что-то заговаривается.

— А все-таки что он сказал? Переведи! — приказал Хенке, заметив сердитое выражение на лице Кузьмича.

— Он, господин оберштурмфюрер, говорил, что из-за советской власти ему, уже седому, три раза кровь выпускали... А доктор Рынин что-то приклепал к хвосту собаки...

— Ага! Старик, стало быть, пострадал от советской власти... Так!.. Поэтому он, возможно, заговаривается... А еще что он сказал?

— Вас, господин оберштурмфюрер, назвал голубем с большим хвостом...

— Гмм-м, — удивился Хенке. — Да, он и впрямь заговаривается.

Гестаповец еще раз внимательно посмотрел на Кузьмича. Тот опять уже был спокоен.

— Хватит ему вопросов! — решил Хенке и приказал конвоирам: — Отведите его обратно в камеру и приведите... — Хенке посмотрел в бумажку, заранее приготовленную ему переводчиком, который возился со всеми отобранными документами, — ...приведите сюда Муратова!

Хенке извлек из шкафа зловещую фигурку палача-Гитлера и поставил на стол, рассматривая ее со всех сторон.

Ввели Муратова. Голову он держал гордо и смотрел прямо, но был бледен. Встретивший его свирепый взгляд гестаповца не предвещал ничего хорошего.

Вошел переводчик и стал у стола. Ганс поспешно вышел.

— Это твоя работа? — мрачно спросил Хенке.

— Да. Это сделал я. — Женья понимал, что вряд ли уже вернется к товарищам. Было жутко. Сердце тоскливо щемило...

Однако заняться Муратовым Хенке не смог. Дверь распахнулась, и в комнату шумно вошел командир подводной лодки, лейтенант Густав Рейнер.

Он только что вернулся из похода. Пришлось ему пережить тяжелые минуты. Глубинная бомба советского сторожевика, охранявшего караван, повредила центральный отсек, и подлодка с большим трудом добралась до острова.

От радости, что он остался в живых, лейтенант Рейнер уже с утра нагрузился вином и сейчас был навеселе. Он тяжело прошел до середины комнаты и осмотрелся.

— Ты все еще возишься с русскими свиньями? — обратился он к Хенке. — Рубить им головы! Вешать! Стрелять! Жечь!.. Никакой пощады! За один только Сталинград их надо давить и давить! — Рейнер устался на Муратова и начал медленно расстегивать кобуру. — Русский?!. Его я сейчас пристрелю, чтобы тебе не задерживаться с ним. Ты мне срочно нужен... Ээ-э!.. А это что у тебя?..

Рейнер оставил кобуру в покое, подошел к столу, взял фигурку Гитлера и стал ее рассматривать.

— Прекрасная работа! Вот истинный фюрер!.. Великолепно!..

Он прочел внизу русскую надпись тушью «Путь к господству» и еще более восхитился:

— Замечательно схвачено, в чем наша сила! Именно только этим путем и придем мы к победе! Через кровавое истребление всех, кто мешает нам!.. Кто это сделал?

Хенке молча кивнул на Муратова.

Рейнер недоверчиво глянул на стоявшего между конвоирами юношу и, обращаясь к Хенке, воскликнул:

— Ты его пока не трогай! Сначала он вылепит меня, как и фюрера. А потом я поупражняюсь на нем в стрельбе из пистолета. Ну, поехали!

Хенке стоял в раздумье. Ему надоели ничего не дающие допросы гражданских пленных. Возиться с ними не было смысла. Всем им — один и тот же путь: работать до истощения и — в яму!.. И Хенке решил:

— Ганс! Отведи этого обратно в камеру!

В кабинет вошел помощник Хенке — унтерштурм-фюрер Штурц. Хенке коротко переговорил с ним, затем вызвал дежурного по канцелярии и приказал:

— Напиши направление, вызови конвой и всех новичков-русских отправь в славянский сектор.

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер! А как быть с теми, которые в карцере?

— Ученого оставить, а старика-капитана — вместе со всеми в лагерь!

— Слушаюсь!

— Да, еще одно! — Хенке глянул в бумажку. — Борщенко тоже задержать до моего возвращения. Он мне еще понадобится.

И Хенке вместе с покачивающимся Рейнером вышли из комнаты.

У подъезда их ожидала машина.

ОСТРОВ ИСТРЕБЛЕНИЯ

Если бы остров не был вечно затянут низкими тучами и туманом и была бы возможность осмотреть его сверху, двигаясь с юга на север, то прежде всего можно было бы увидеть бухту, закрытую скалами со всех сторон, превращенную в удобную гавань.

Справа от бухты, на мысе, образующем юго-восточный угол острова, торчали мачты радиостанции и метеорологические вышки. Слева, между скал, в двух соседних глухих ущельях теснились бараки лагеря заключенных — военнопленных и антифашистов; в одном ущелье были «славяне», в другом — «западники».

Севернее бухты, на расстоянии немногим более километра, в глубине острова, в окружении скал, в небольшой долине размещался так называемый Центр — управление островом и всеми работами на нем. Здесь, в левой половине долины, были канцелярии начальника острова — штандартенфюрера Реттгера, комендатура гестапо и каземат. В правой половине — столовая, казарма для охранников Центра и госпиталь. В стороне, у самого входа в долину (со стороны гавани), приютился у скалы телефонный коммутатор.

Еще выше на север, в двух километрах от Центра, за скалами и сопками, в другой долине находились казармы эсэсовских команд, обеспечивавших охрану всего острова, обоих секторов лагеря заключенных, строительства и наблюдение за дорогами острова.

Главная дорога острова напоминала треугольник, основание которого проходило по южной окраине острова, между Центром и гаванью, а стороны, поднимаясь на север, соединялись вершинами у эсэсовских казарм. От казарм шла еще одна дорога. Она, по кратчайшему расстоянию, через ущелье, опускалась к Центру, а оттуда, пересекая основание дорожного треугольника, — к бухте.

От главной дороги имелись отростки: к Центру, к мысу, к гаражу, находившемуся недалеко от лагеря, к оружейному складу, разместившемуся ближе к гавани, к лагерным ущельям и к району строительства. Эти немногочисленные и короткие коммуникации полностью обеспечивали быстрые связи эсэсовской охраны со всеми действующими пунктами острова.

«Остров Истребления!..» Всего два слова. Но они точно отображали положение заключенных на острове. Каторжные работы, скверное питание (особенно для заключенных «славянского» сектора), холод и жестокое обращение быстро выматывали силы людей, и смерть хозяйничала здесь свободно и беспощадно.

Издевательства и расстрелы были здесь обычным явлением. Не так повернулся — удар. Дерзко ответил — избиение. Ослабел и отстал — расстрел. Упал от истощения — расстрел. Шагнул в сторону — расстрел. Смерть стояла рядом всегда, когда около находился эсэовец. Бывали случаи, когда отчаявшийся человек сам шел на конвойного и тот убивал его короткой автоматной очередью.

Случаев бегства с острова не было. Куда бежать? Кругом — свирепый океан. А внутри острова — безлюдие, заснеженные вершины, голые скалы и ущелья, с осыпями и пещерами, которых было здесь множество. Конечно, не составляло для беглеца трудности спрятаться в одной из таких пещер, но сделать это можно было только для того, чтобы умереть там в одиночестве.

Поэтому лагерный режим здесь отличался от того, который был в лагерях на континенте. Здесь не было собак. Меньше было эсэсовцев. Не практиковались ежедневные переклички, с мучительными выстаиваниями на холоде. Учет заключенных сводился к тому, чтобы количество вышедших на работу совпадало с количест-

вом возвращающихся с работы, исключая умерших и расстрелянных в течение дня. Переключки производились только раз в неделю. Это совпадало с днем проверки картотеки на заключенных в лагерной канцелярии: карточки на мертвых переставлялись в другие ящики...

Не лезли по каждому поводу эсэсовцы и внутрь лагеря. Особенно они опасались заходить в «славянский» сектор. В темноте это было для них опасно, — могли и не вернуться. И такие случаи бывали, несмотря на то, что в порядке ответной репрессии эсэсовцы производили массовые расстрелы заключенных.

На первых порах существования лагеря к внутри-лагерному самоуправлению заключенные не немецкой национальности не допускались. Старшина лагеря, старшины барачков, постоянные дневальные по барачкам и лагерные полицейские были из «зеленых» — отпетых и жестоких немецких уголовников, специально для этой цели привезенных на остров. Но в лагере их быстро истребили. И позднее администрация острова вынуждена была примириться с переходом лагерного самоуправления в руки самих узников, — все равно они были обречены.

Эсэсовские надзиратели следили главным образом за тем, чтобы заключенные на работе выполняли нормы. Нужно было работать и работать. А смерть все равно поджидала каждого впереди. И пока человек приближался к ней, палачи старались выжать из него все, что он мог дать своими мускулами.

И тем быстрее гибли люди, что не было просвета, не было надежды на будущее.

Но быстро сложившаяся подпольная организация заключенных повела борьбу с настроениями мрачной обреченности и безысходности, начала осторожную подготовку к восстанию и побегу.

Эта цель пробудила людей к действию, к борьбе за жизнь, влила в измученные сердца надежду, которая с первыми вестями о победах над немецко-фашистскими завоевателями разгорелась с неудержимой силой.

Новые, радостные известия с Родины привезли в лагерь пленники с «Невы». Но сейчас они, под конвоем автоматчиков, еще только шли к месту своего заточения — в «славянский» сектор лагеря.

Шагали молча, внимательно примечая все, что встречалось на пути, что можно было разглядеть при сером свете короткого полярного дня.

Кругом было хмуро и пустынно, на всем пространстве, какое только можно было видеть. Быстрые низкие тучи то и дело напарывались на высокие сопки и скалы. Кое-где виднелись ледники, спускавшиеся с острых вершин. По дороге, завихряясь, мела поземка.

Вскоре колонна свернула с дороги и подошла к одноэтажному каменному зданию, перегораживавшему вход в ущелье во всю его ширину — от скалы до скалы. Это был блок-пропускник и лагерная канцелярия. Здесь колонну остановили. Старший конвоя отправился оформлять прибытие новой партии заключенных, а они принялись с любопытством рассматривать необычное здание, за которым находились бараки «славянского» сектора лагеря.

Здание было низкое, но задняя стена его, обращенная внутрь лагеря, была очень высокой и не имела окон (это вновь прибывшие увидели уже потом). На стене, посередине, была пристроена полузакрытая платформа, с пулеметами и прожекторами. Там же находился и часовой. Оттуда просматривалась вся территория лагеря. Такие же платформы были и по обоим концам стены, у скал. Между платформами, поверх стены, тянулись ряды колючей проволоки.

Формальности по приему вновь прибывших были короткими. Тяжелые железные ворота со злобещей надписью «Оставь надежду сюда входящий» распахнулись, и пленники вступили в «славянский» сектор лагеря.

Здесь вновь прибывших ожидала группа лагерников. Серые, истощенные лица их светились радушием.

— Горячий привет, товарищи! — Впереди стоял коренастый заключенный, с густыми бровями и пронзительными глазами.

— Мы рады помочь вам, чем возможно, — продолжал он. — Я староста лагеря, Смуров. А это — старосты барачных и дежурные. Знакомьтесь и рассказывайте, что делается там, на Родине... А вашего старшего попрошу подойти ко мне.

Строй рассыпался. Все смешались, и началась беседа. Вопросы сыпались без конца.

— Значит, мы больше не отступаем?

— Нет. После разгрома фашистов под Курском и Орлом мы теперь наступаем по всему фронту — от Великих Лук до Черного моря!

— А как на юге?

— Донбасс освобожден!

— Оооо-о-о!

— Освобождается Украина! Подвигаемся к Днепру...

— Как хотелось бы быть сейчас там!

— А мне хочется сейчас глянуть хотя бы издали на нашу газету!

— Есть и газета.

— Неужели?!

— Сейчас дадим... Кузьмич, где газета?..

— Сводку бы почитать!

— Есть и сводка... Пархомов! Дай сводку!

— Пусть Силантьев прочтет!

— Нет, нельзя так! — вмешался Шерстнев. — Пусть товарищи сами читают.

Пархомов вытащил бумажку, развернул ее и поднял руку, не зная кому подать.

— Пусть читает Медведев!

— Нет, пусть Яковлев, — у него лучше голос...

— Конечно, у меня голос лучше! — Руку протянул суровый на вид бородач, в рваной шинели. Он взял бумажку и стал читать отчетливо и громко:

— «За два месяца летних боев, с пятого июля по пятое сентября сего года наши войска на всех участках фронта уничтожили: самолетов противника — пять тысяч семьсот двадцать девять, танков — восемь тысяч четыреста, орудий — пять тысяч сто девяносто два, автомашин — более двадцати восьми тысяч. Потери противника убитыми составляют более четырехсот двадцати тысяч солдат и офицеров. Всего же в боях с пятого июля по пятое сентября выбыли из строя (убитыми и ранеными) не менее полутора миллиона солдат и офицеров... За это время наши войска захватили...»

Прочитав данные о трофеях и пленных, Яковлев остановился.

— Всѐ!

— Ну, а теперь дай мне! — потребовал Медведев. Он приблизил бумажку к глазам и стал всматриваться в слова и цифры, точно не веря самому себе, что он читает настоящую сводку Совинформбюро.

Медведев улыбался; губы его дрожали, и вдруг по его щекам поползли крупные слезы.

— Да ты что, Варфоломей! И не стыдно? — укоризненно сказал Яковлев. — Перед новыми товарищами. Они подумают, что мы совсем здесь раскисли!..

— Извините, товарищи! — Медведев стал вытирать слезы ладонью. — Я тоже хочу прочесть вслух эти слова и цифры. Вы не против?

— Читай, Варфоломей, читай! — поддержали его товарищи.

И он снова медленно, взвешивая каждое слово, прочел сообщение Совинформбюро от начала до конца.

Смулов увел Шерстнева в глубь лагеря, и в кладовой ссыльного барака, сидя на ящиках, они долго беседовали с глазу на глаз.

...Вечером вернувшиеся с работы заключенные «славянского» сектора узнали волнующие новости, которые привезли им новые пленники. Шерстнев вместе с дежурными по лагерю распределил всю свою команду так, чтобы беседами были охвачены все бараки.

С жадным вниманием, с блестящими глазами слушали узники рассказы о событиях на Родине. Долго не смыкали глаз измученные неволей люди, обмениваясь большими и радостными новостями.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОШИБОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этот же вечер, в кладовой барака номер семь, заседал подпольный комитет «славянского» сектора. Председательствовал Смулов.

— Комитет обязан ускорить подготовку нашей операции, — начал он. — Сегодня рассмотрим три вопроса: о возможности пополнить запасы оружия, об оперативном плане восстания и об организации боевых групп. Не будем терять времени. Слово имеет товарищ Вальтер.

Под этим конспиративным именем (его настоящую фамилию знал только один Смулов) в «славянский»

сектор нелегально проникал немецкий коммунист, возглавлявший подпольный комитет «западников». Для взаимопомощи и координации в действиях обоих комитетов Вальтер бывал на заседаниях «славян», а Смуров (под именем «Михаил») — на заседаниях «западников».

Вальтер прошел суровую школу подпольной работы в Германии и стал опытным конспиратором. Он неоднократно арестовывался гестаповцами, но каждый раз прямых улик против него не хватало. Несмотря на это, его несколько раз осуждали на разные сроки заключения. Сидел в тюрьмах, был в концлагерях. Трижды удавалось бежать. И вот, наконец, для окончательной расправы, гитлеровцы вывезли его в лагерь истребления, на остров, откуда еще никто не бежал.

Чрезвычайная осторожность Вальтера иногда мешала работе. Но ненависть к фашизму всегда держала его в состоянии борьбы. И здесь, на острове, он сумел наладить глубоко закоспирированные связи с немцами-антифашистами, имевшимися в арсенале, в госпитале, среди охранников и даже в канцелярии самого штандартенфюрера.

Этими связями он неоднократно помогал и Смурову, который, со своей стороны, увлекал Вальтера революционным порывом к действию, неукротимой энергией и волей к активной борьбе, более сильной организаторской работой с массами.

Как и Смуров, Вальтер был краток:

— По инициативе и настоянию товарища Смурова разработана опасная, но радикальная операция по пополнению наших запасов оружия. — Говорил Вальтер по-русски хорошо, почти без акцента. — Предстоит переоборудование склада оружия. На эти работы отберут западников. Но грузчиков на машину возьмут из вашего сектора. Выделяется одна большая машина-фургон. Она будет завозить на склад необходимые материалы и вывозить строительный мусор. Вам надо отобрать грузчиками проверенных людей. А мы сможем устроить на машину своих шофера и охранника — верных товарищей, антифашистов. С помощью нашего человека на складе можно будет при обратном рейсе машины вывезти с мусором сразу большую партию оружия... У меня — все...

— Риск большой? — спросил Глебов.

— Огромный. В случае провала — и наши и ваши товарищи будут подвергнуты пыткам и казнены. Так что людей надо подбирать железных.

— На сколько дней выделяется туда машина? — спросил Митрофанов.

— На два, три...

— Известно вам, как эсэсовцы проверяют вывоз мусора?

— Конечно. Как же иначе. Надеемся, что останется прошлогодний порядок. Используем его слабые стороны.

— Надо воспользоваться тем, что у гестаповцев сейчас нет даже и мысли о возможности побега с острова, — сказал Смуров. — Это очень важное обстоятельство.

Вальтеру и Смурову пришлось отвечать на множество придирчивых вопросов, выявлявших тщательность подготовки операции.

Наконец вопросы прекратились. Все было ясно.

— Голосую... Кто за?.. Единогласно...

Следующим выступил Цибуленко, высокий смуглый украинец, бывший начальник штаба дивизии. Он четко доложил тщательно разработанный план операции.

— Имею вопрос, — сказал Юзеф Будревич. — Как быть с радиостанцией? У тебя, товарищ Цибуленко, ничего конкретного по ее захвату нет. А это крайне важно.

— Я оговорил, что о радиостанции потребуются специальное решение, — ответил Цибуленко.

— Не будем сейчас останавливаться на радиостанции, — вмешался Смуров. — Вопрос этот надо еще готовить.

— План составлен хорошо. Все предусмотрено и четко расписано, — сказал Митрофанов. — Но меня удивляет, что Цибуленко ничего не сказал о сроке выступления. Почему так? Мы же должны иметь ориентир!

Цибуленко молча посмотрел на Смурова. Тот медленно ответил:

— Вот что, друзья... — Он вздохнул. — О сроке выступления у нас имеются расхождения с нашими западными товарищами. Не станем сейчас его устанавливать. Ясно одно: этот срок приурочивается к приходу судов. Будет ли это в очередной рейс, в ноябре, или позже, — решим потом. Сейчас у нас и наших западных

товарищей единое желание готовиться к такому выступлению, — готовиться заранее, как следует, тщательно. Когда мы будем готовы, — тогда этот вопрос совместно и решим... Так, товарищ Вальтер?

— Да. Надо готовиться тщательно, — сказал Вальтер. — Будем готовиться заранее.

Все промолчали.

— Есть еще вопросы?

Вопросов не было. Почувствовалась какая-то неловкость.

— Вопрос исчерпан! — объявил Смуров. — Основная задача решается захватом оружия и судов. Остальное — попутно. О радиостанции решим дополнительно. Будем готовиться так, чтобы обеспечить бесшумность первого часа, быстроту и одновременность действий... Теперь слово товарищу Митрофанову!

Митрофанов изложил план создания боевых групп и отрядов.

— Главная трудность в том, — говорил он, — чтобы военная организация была массовой и в то же время глубоко законспирированной. Как обеспечивается конспирация? Каждый член организации знает только пятерых товарищей и одного начальника. Таким образом, в случае провала какой-то группы другие остаются неизвестными. Во главе всех отрядов станут опытные офицеры.

Вопросов и пожеланий было много. Наконец повестка заседания была исчерпана. Все встали, чтобы разойтись, но Смуров поднял руку, призывая к вниманию:

— Погодите. Что-то важное хочет сообщить нам товарищ Вальтер.

Сообщение Вальтера было коротким:

— Поступившая к вам сегодня новая группа пленных — команда с торпедированного судна «Нева» — неблагодарна. В ней есть опасный провокатор. Это первый помощник капитана, Борщенко. Он власовец. Вместе с известным вам Шакуном в сорок первом году, в Киеве, расстреливал советских людей. Был старшим в зондеркоманде. Все это выяснилось сегодня на допросе у Хенке. Сегодня Борщенко задержан в гестапо для инструктирования. Но он скоро явится. Возможно, даже сегодня. Предупредите об этом капитана Шерстнева.

После информации Вальтера установилось тягостное молчание.

— Какая неприятность Шерстневу! — с огорчением сказал Смуров. — Как будем решать, друзья?

— Что же здесь раздумывать! — сказал Медведев. — Решение может быть только одно: немедленно уничтожить изменника!

— Учтите, — он очень сильный и опасный негодяй, — добавил Вальтер. — У него, вероятно, есть оружие. Будьте осторожны и не делайте шума..

— Пригласим его в большую пещеру и там — киркой по черепу! — предложил Митрофанов.

— Кто берется за это дело? — спросил Смуров.

— Я и Медведев! — предложил Митрофанов. — Вдвоем справимся.

— И я с вами, — сказал Глебов.

— Хорошо, — согласился Смуров. — Вы трое задержитесь здесь — на случай, если предатель явится, — и выполните акт возмездия за измену Родине, как решение комитета. Так, товарищи? Будем считать это нашим решением?

Все подняли руки.

— Теперь можно расходиться!

Смуров и Вальтер вышли из кладовки первыми. В сенях, из темноты, к ним шагнул человек.

— Это вы, товарищ Смуров? Кончили? Посты можно снимать?

— Да, товарищ Данилов, снимайте. Пусть люди отдыхают. Уже поздно... А я провожу товарища Вальтера...

РАЗГОВОР В ПЕЩЕРЕ И ЧТО ПРОИЗОШЛО В ОТСУТСТВИЕ СМУРОВА

Над ущельем неслись бесконечные тучи. Колючий ветер врвался в лагерь, с шорохом пробежал по крышам барачков...

Со сторожевой вышки вспыхнул луч прожектора и зигзагами пробежал между лагерных строений. Ни единого движения, ни одной тени не метнулось под лучом. Притаившиеся бараки представлялись безжизненными. Казалось, измученные узники погружены в тяжелый сон.

Но лагерь и ночью, как всегда, жил своей второй, напряженной, скрытой жизнью.

Смуров и Вальтер быстро спустились с крыльца и скрылись за углом, в черном узком пространстве между стеной барака и скалой.

В темноте по узкому проходу они прошли до места, где барак вплотную примыкал к скале. Здесь Смуров наклонился и первым пролез в низкую расщелину. За ним последовал и Вальтер. Согнувшись, они несколько минут осторожно продвигались в темноте на ощупь. Потом Смуров зажег электрический фонарь, и, пройдя несколько поворотов, они проникли в небольшую подземную пещеру, откуда разветвлялось несколько ходов.

Смуров остановился.

— Каждый раз, когда вы приходите к нам, Вальтер, я беспокоюсь. Заблудиться в этом огромном лабиринте — это наверняка погибнуть.

— Не беспокойтесь, Михаил. Я осторожен и строго руководствуюсь вашими указателями.

Они двинулись дальше, тщательно следя за знаками, переходя из одной пещеры в другую, оворачивая то вправо, то влево. В просторной пещере с множеством ходов они задержались и присели на ящики, уложенные у стены.

Вальтер вытер вспотевший лоб.

— Ваша просьба, Михаил, не выполнена. Рихтер погиб.

— Когда и как?

— Вчера. Сорвалась вагонетка и сбила с ног. Встать сам не смог. Пока подоспели товарищи, — эсэсовец пристрелил.

Смуров молча выслушал печальную новость и задумался.

— Много уже накопилось этого вещества? — спросил Вальтер, кивнув на ящики.

— Порядочно.

— Вы, Михаил, все еще надеетесь осуществить свою операцию?

— Она не только моя, но и ваша...

— Ваша потому, что вы ее автор, Михаил, — продолжал Вальтер и без улыбки пошутил: — Назовите ее операцией «Инфаркт»... Право, это подойдет,

— Напрасно шутите, Вальтер. — Густые брови Смурова сдвинулись. — Если это дело удастся, оно действительно будет ударом в самое сердце фашистской кухни на острове.

— Да вы не обижайтесь, Михаил. Если бы я не понимал его значения, я не стал бы вам помогать. А вашу просьбу выполнит другой товарищ.

— Благодарю, Вальтер.

Они условились о следующей встрече, и Вальтер встал:

— Пора. Дальше меня провожать не надо.

Они попрощались и разошлись.

...Пока Смуров отсутствовал, к седьмому бараку подошел Борщенко. Он только что переговорил с Шерстневым и теперь разыскивал Смурова.

Оставшийся на посту Данилов провел его в кладовую, где еще сидели три члена комитета.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался Борщенко.

— Здорово, коли не шутишь, — отозвался Глебов. Остальные промолчали.

Пораженный таким приемом, Борщенко спросил:

— Кто из вас Смуров?

— А зачем он тебе? — грубо спросил Глебов.

— Он мне нужен по очень важному и срочному делу.

— А кто ты?

— Я Борщенко. Эта фамилия вам ничего не говорит.

— Почему не говорит? Она нам знакома! — продолжал грубо Глебов. — Ты первый помощник капитана Шерстнева!

— Бывший помощник. Теперь такой же, как и вы, узник...

— Такой ли?

— Подожди, Глебов! — оборвал его Митрофанов и обратился к Борщенко: — Если вам нужен Смуров, то он сейчас в пещере.

— Он мне нужен по важному и очень срочному делу! — повторил Борщенко. — Если не трудно, — проводите меня к нему!

— Мы вас проводим, — сказал Митрофанов. — Втроем вас проводим... Глебов! Возьми фонарь! И дай мне кирку...

Все четверо вышли в темноту ночи и осторожно направились к скале, где была большая пещера. Впереди шел Глебов, позади — Митрофанов и Медведев. В руках у Митрофанова была острая и тяжелая кирка.

В это самое время у входа в седьмой барак столкнулись вернувшийся Смуров и торопившийся к нему, обеспокоенный Шерстнев.

— Товарищ Смуров, — вы?

— Василий Иванович? Очень кстати! Заходите. Вы мне нужны...

Данилов все еще был на посту.

— Товарищи меня ждут? — спросил его Смуров.

— Нет. К ним зашел кто-то из новых. Высокий. Спрашивал вас. Они с ним ушли в большую пещеру.

— Ага... Хорошо. — Смуров открыл дверь в кладовку. — Проходите сюда, Василий Иванович.

Он зажег коптилку и подал ее Шерстневу.

— Подержите, пожалуйста.

— А где Борщенко? — спросил Шерстнев. — Вы его видели?

Смуров переставил бочку в угол, и в кладовке сразу стало свободнее.

— Садитесь, Василий Иванович... А насчет Борщенко я должен вас огорчить.

— Что с ним? — Коптилка в руке Шерстнева задрожала. Смуров взял ее и поставил на бочку.

— Видите, Василий Иванович, в чем дело... Борщенко провокатор...

— Вы с ума сошли! — резко сказал Шерстнев. — Кто посмел сочинить такую мерзость?! Если имеется в виду история, как его на допросе приняли за власовца, то именно по этому поводу он и торопился к вам. У него важные новости!..

Смуров был поражен.

— А вы его хорошо знаете? — спросил он.

— Мне ли его не знать, когда это мой приемный сын. Он вырос в моей семье, никогда не разлучался со мной, никогда не был в Киеве и с первых дней войны — он мой неразлучный помощник. Где он сейчас?! Он должен быть у вас?!

Смуров, выслушав Шерстнева, вдруг ухватился за голову.

— Подождите здесь! — крикнул он и бросился вон.

Вскоре Смуров вернулся к бараку в сопровождении нескольких человек.

— Товарищ Данилов, — тихо позвал он.

— Я здесь.

— Срочно пригласите ко мне Анисимова, Виндушку и Будревича...

— Хорошо. Понятно.

Все вошли в кладовую.

— Садитесь! — пригласил Смуров.

— Андрей! — бросился к Борщенко Шерстнев. — Я уже начал за тебя волноваться.

— И не напрасно, Василий Иванович. Вот видите! — Борщенко поставил в угол кирку, которую держал в руке. — Если бы я случайно не оглянулся, то уже лежал бы с проломленной головой. А если бы не появился при этом товарищ Смуров, вот этой тройке пришлось бы, вероятно, попасть в лазарет!

Митрофанов, Медведев и Глебов сидели опустив головы.

— Это, товарищ Смуров, похоже на самосуд! — строго сказал Шерстнев. — Стало быть, если бы я не поторопился к вам, был бы убит честный коммунист руками таких же коммунистов. Разве можно в подобных случаях действовать без допроса обвиняемого, без тщательной проверки фактов? А в данном случае — без разговора со мной? И как можно было ожидать такое от вас — от авторитетного руководителя подпольного комитета коммунистов!.. Это поразительно!

Смуров виновато молчал. Возможно, Шерстнев и дальше продолжал бы выражать свое возмущение, если бы не заговорил Борщенко:

— Отложите этот разговор, Василий Иванович, на потом. У меня, как вам известно, есть более важное дело.

ДИРЕКТИВЫ КОМИТЕТА

В кладовую вошли вызванные Смуровым члены комитета. Шерстнев замолчал, нервно подергивая себя за седые усы.

Смуров снова переставил бочку из угла на середину.

— Занимайте, товарищи, места и знакомьтесь: Василия Ивановича Шерстнева вы уже знаете, а это — его

первый помощник и приемный сын, член партии товарищ Борщенко...

Вновь пришедшие с недоумением переглянулись. Смуров продолжал:

— Мы допустили грубую ошибку, и товарищ Борщенко был на волосок от гибели...

— Что прошло, то прошло, — холодно сказал Борщенко. — Сейчас важнее поговорить о другом. Шакун знает о подготовке восстания, о комитете и о том, что его возглавляет Смуров.

Слова Борщенко произвели впечатление взрыва. Все застыли, пораженные известием.

— Расскажите подробнее, — попросил Смуров.

Борщенко рассказал историю своего «перевоспложения» во власовца и подробно передал разговор с Шакуном.

Установилось тягостное молчание.

— Что будем делать? — спросил Смуров. — Вопрос серьезный.

— Шакуна надо было уничтожить уже давно! — сказал Медведев. — А теперь придется сделать это с опозданием.

— Нельзя откладывать больше! — добавил Анисимов.

— По этому предложению вряд ли будут возражения? — Смуров посмотрел на Шерстнева.

— А я как раз и возражаю, — отозвался Шерстнев.

Все повернулись к нему, недоумевая. Он объяснил:

— Раздавить такую гадину, как Шакун, — изменника Родины и палача советских людей, — святое дело. Но в данном случае это рано. Мы обязаны узнать, как полно осведомлен он о наших делах, что и когда гестаповцы собираются предпринять против нас и кто предатель. Это нам надо знать! Это слишком важно... От этого будут зависеть наши действия. Как же не воспользоваться такой возможностью?.. Мы были бы идиотами и простофилями...

— О какой возможности вы говорите? — спросил Митрофанов.

— Неужели непонятно?.. Эта возможность — Андрей Васильевич Борщенко!

Борщенко запротестовал:

— Нет, Василий Иванович! Меня сегодня уже чуть не убили свои же товарищи. А что будет, если я надену

форму охранника? Да мне обязательно проломают череп, как предателю!

— Выяснить это должен ты, Андрей! — твердо сказал Шерстнев. — Придется тебе и дальше понести свою тяжелую ношу — личину врага. Это необходимо во имя жизни товарищей...

Борщенко опустил голову.

— Ну как, товарищ Борщенко? Согласен?.. — спросил Смуров.

Борщенко медленно встал.

— Слова Василия Ивановича для меня — закон. Я согласен. Хотя боюсь: справлюсь ли я с такой ролью. Тяжкая она очень...

— Справишься, Андрей, — убежденно сказал Шерстнев. — Следи только, чтобы не прорвалась горячность. Предлагаю сейчас посоветоваться и наметить для Андрея линию поведения.

Смуров оживился и повел заседание в обычном для него деловом духе. Когда с вопросом о Шакуне было покончено, Смуров сказал:

— Есть еще одна большая задача для вас, Борщенко. Надо добиться разговора с помощником лагерьфюрера по строительству — майором Ключейтером. Он может нам помочь. Вам придется поговорить с ним от имени комитета... Как вы смотрите, товарищи?

— Разговаривать с Ключейтером надо нашему комитету! — убежденно подтвердил Митрофанов. — Западные товарищи с этим не хотят торопиться. Поручим Борщенко...

— Вести переговоры о помощи с немцем? — медленно переспросил Борщенко. — Да вы что, товарищи, сошли с ума?..

— Мы лучше знаем, с кем из немцев можно разговаривать, — уверенно сказал Смуров. — Здесь, как и везде, немцы — разные...

— Но этот немец — помощник главного палача на острове! — еще больше возмутился Борщенко. — Я отказываюсь!

— Андрей! — укоризненно остановил его Шерстнев. — Удивляюсь! Неужели тебе нужна элементарная политграмота?..

Борщенко перестал возражать и угрюмо выслушал указания комитета относительно разговора с Ключехейтером.

— Теперь у меня есть вопрос к вам, товарищ Смуров, — заявил Шерстнев. — Как вы думаете, почему задержали Рынина? Его судьба меня очень беспокоит.

— Трудно ответить на ваш вопрос, Василий Иванович. Кто он по специальности?

— Он — ученый.

— А конкретнее?

— Строитель. Эта сторона его специальности имеет секреты...

— А еще конкретнее можете что-либо сказать?

Шерстнев замаялся. Потом добавил:

— Он специалист по подземным сооружениям.

— Больше не продолжайте, Василий Иванович. Все ясно. Немцы могли узнать об этой его специальности?

— Могли заподозрить по отнятому служебному удостоверению.

— Так... — Смуров в раздумье потер переносицу. — Не повторилась бы для Рынина судьба Андриевского.

— Кто такой Андриевский и какова его судьба? — забеспокоился Шерстнев.

— Андриевский — инженер-метростровец!

— А почему вы это так подчеркнули?

— Извините, Василий Иванович, я не успел еще вам сказать, что фашисты строят здесь секретную базу подводных лодок. Идут подземные работы, на которых они и «вырабатывают» нас до смерти. И они буквально охотятся за специалистами по подземным работам.

— Но что же случилось с инженером Андриевским?

— Его выдал провокатор. И вот уже больше месяца мы ничего о нем не знаем... Но он не работает. Стало быть, его терзают гестаповцы... И, стало быть, — он все еще держится, если уже не замучен насмерть...

— Рынина тоже не сломить, — заметил Шерстнев. — Я его знаю почти двадцать лет...

— А мы, Василий Иванович, очень сожалеем, что не можем связаться с Андриевским и дать ему директиву принять предложение Реттгера...

— Как вас понимать? — спросил Борщенко.

— В подземном управлении строительством у нас нет своих людей. А нам надо вывести эту базу из строя...

— Как же это можно сделать? — заинтересовался Шерстнев.

— Мы уже накопили большой запас взрывчатки. Но не можем подобраться к подземному сердцу адской кухни острова. Может быть, не поздно еще связаться с Рыниным?.. Подойдет он для этого?..

— Давайте обсудим ваше предложение, — согласился Шерстнев. — Борис Андреевич выдержанный и решительный человек. Поручим Борщенко связаться с ним, пока не поздно... Если удастся...

Быстро покончили и с этим поручением Борщенко и разошлись.

Было уже поздно. Приближалось начало нового каторжного дня — первого тяжелого испытания для бывшей команды «Невы»...

РЫНИН ОТВЕРГАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛКОВНИКА

Обстановка в кабинете главного управителя острова, штандартенфюрера Реттгера, была суровой. Несколько простых стульев и два деревянных кресла у широкого письменного стола — вот и все. Единственным предметом роскоши, резко бросающимся в глаза, был чернильный прибор Реттгера. Но было ясно, что стоял он на столе не для практических надобностей, и не как украшение, а как символ...

В центре большой малахитовой доски, обрамленной по краям невысоким золотым парапетом, между хрустальных чернильниц в золотой оправе и с золотыми крышками возвышался на черном коне тяжелый рыцарь в золотых доспехах и с золотым оружием. Забрало его можно было открывать и закрывать, а на щите и плаще рыцаря чернел крест тевтонского ордена. Множество разнокалиберных карандашей и ручек лежало по сторонам от чернильниц, на лесенках из перекрещивающегося золотого рыцарского оружия.

Сейчас штандартенфюрер Реттгер сидел за столом и внимательно слушал доклад почтительно стоявшего перед ним оберштурмфюрера Хенке. Дослушав до конца, Реттгер снял трубку с телефонного аппарата.

— Инженер Штейн? Да, это я... Вам знакомо имя советского ученого Рынина?.. Так... Даже встречались

с ним на международных конференциях?.. Так... Дальше... Очень крупный специалист? Консультант по подземным сооружениям?.. Так-так-так!.. Дальше... Ну, ну!.. Очень интересно!.. И труды его читали?.. Ага... А он вас не знает?.. Жаль... Все?.. Благодарю!..

Реттгер бросил трубку на рычаг и повернулся к Хенке.

— Рынин — это важный трофей. Прошу относиться к нему вежливо. Не трогать. И сейчас же доставьте его ко мне!

— Слушаюсь, господин штандартенфюрер! Разрешите выполнять?

— Да...

Хенке четко повернулся и направился к двери, но Реттгер остановил его:

— Еще одно! Напишите мне рапорт об этом нашем агенте, бывшем на советском судне.

— Слушаюсь.

Через двадцать минут конвойные ввели Рынина в кабинет Реттгера.

— Выйдите в вестибюль! — приказал Реттгер конвоирам. — А вы, доктор Рынин, проходите ближе и садитесь.

Рынин молча прошел к столу и сел в кресло. Кисти рук, с которых только что были сняты тесные наручники, ныли, и он стал растирать их, стараясь разогнать уже образовавшиеся отеки.

Реттгер несколько минут молча рассматривал Рынина, затем спросил:

— Как вы попали на судно? Куда вы направлялись?

— Это что — вопрос или допрос?

— И то и другое, доктор. Вы наш пленник.

— Я не военный.

— Это ничего не значит. Вам положено отвечать...

— У меня нет привычки, полковник, рассказывать посторонним о своих личных переездах.

— А вы, оказывается, разбираетесь в воинских знаках различия?

— Это не сложно освоить в военное время. И даже неизбежно, хотя бы и не было к тому желания.

— А все же, — куда вы направлялись? — вернулся Реттгер к интересовавшему его вопросу.

— Повторяю: отвечать не хочу. Это мое личное дело. Реттгер нахмурился.

— А вы, доктор, оказывается, строитель? Консультант по подземным сооружениям? Может быть, с этим и была связана ваша поездка?

Рынин промолчал. Подумал, откуда этот гестаповец так быстро мог узнать то, о чем на судне знали только Шерстнев и Борщенко? Странно... Очень странно...

— Что же вы молчите, доктор Рынин?

— Вопрос о моей специальности имеет значение только для меня и моей гражданской деятельности на Родине.

— Не совсем так. Этот вопрос может иметь для нас большое значение и здесь, на далеком острове...

— Каким образом, полковник?

— Вы могли бы здесь приложить свои знания и хорошо на этом заработать.

— Я не продаюсь, полковник. Учтите это сразу.

— Я уточняю, доктор, — сухо продолжал Реттгер. — Не стану скрывать от вас — в этом нет надобности! — здесь, на острове, мы проводим подземное строительство. Вы могли бы заработать.

Рынин молчал. Реттгер по-своему истолковал это молчание и добавил:

— Заработать сможете очень хорошо, если, конечно, будете хорошо работать...

Рынин продолжал молчать.

— Вы что, — не хотите отвечать?

— Я уже ответил, полковник, и не люблю, когда один и тот же выясненный вопрос задают снова.

— Что вы ответили?! — повысил голос Реттгер.

— Что я не продаюсь! — тихо, но с ожесточением и по слогам повторил Рынин. — У меня, полковник, есть честь!

Реттгер с раздражением взял один из карандашей, открыл им забрало рыцаря и зловеще сказал:

— У нас здесь был такой инженер... Работал в Москве, на строительстве метро. И он так же, как и вы сейчас, сидел передо мной и так же, как и вы сейчас, ответил мне теми же словами, что он не продается и что у него есть честь.

Рынин внимательно слушал, рассматривая неприятное, лоснящееся от сытости лицо Реттгера.

— Так вот, доктор Рынин, нам пришлось его замуровать живого в каменную гробницу. Он и сейчас там... жив еще...

Рынин содрогнулся и с ненавистью посмотрел в острые глаза Реттгера, который, наблюдая за Рыниным, продолжал:

— Хочу предупредить вас, доктор Рынин, что и вы можете последовать туда же, если не измените своей позиции!

— Вот что, полковник! — медленно заговорил Рынин. — Запугивать меня — бесполезно. Страх я уже однажды пережил, — он остался там, позади... А у меня от него вечная отметина — вот эта полосатая седина... Больше разговаривать с вами я не хочу и не буду!

Реттгер раздраженно стукнул по забралу рыцаря, бросил карандаш и вышел из-за стола. Он прошелся по кабинету, поглядывая на Рынина, который опять принялся растирать все еще ноющие руки. Профессиональным взглядом Реттгер разглядел, что у инженера были слишком тесные наручники, и стал раздумывать... Может быть, не стоило так угрожать?.. Характеры у людей бывают разные, и один и тот же подход ко всем, возможно, и непригоден! К московскому инженеру угрозы не подошли. Видимо, и тут то же самое... Вообще советские люди загадочны. А уничтожить такого специалиста сразу, не использовать его, — жаль. Уж очень он нужен именно теперь!.. Придется, видимо, выждать...

Реттгер вернулся за стол, подобрал карандаш, аккуратно положил его на место, закрыл забрало золотого рыцаря и спокойно сказал:

— Не будем ссориться с самого начала нашего знакомства, доктор Рынин. Вы подумайте над моим предложением. Мы еще вернемся к этому вопросу.

Рынин молчал.

Реттгер нажал на кнопку звонка. Дверь открылась. Вошел дежурный эсэсовец и вытянулся у порога, ожидая приказаний.

— Пусть конвойные отведут доктора Рынина обратно. А ко мне пришлите оберштурмфюрера Хенке.

Рынина увели, и немедленно вошел Хенке. Он ожидал в вестибюле.

— Доставьте мне завтра же того агента! — приказал Реттгер.

— Слушаюсь, господин штандартенфюрер! Разрешите идти?

— Да. Вы свободны... И распорядитесь, чтобы наручников на Рынина не надевали.

БОРЩЕНКО ДОПУСКАЕТ ОШИБКИ

После возвращения с изнуряющей работы, где Борщенко выполнил три нормы — за себя, за Шерстнева и за Кузьмича, — по лагерному репродуктору раздался вызов его на выход.

— Ну, Андрей, желаю удачи, — стараясь не показать волнения, сказал Шерстнев. — Будь осторожен. Не сорвись... Помни, что у комитета на тебя большие надежды. И еще раз узнай, что с нашими ранеными товарищами, как им помочь...

Они сидели со Смуровым в его кладовке.

— Секретным ходом пользуйся только в крайнем случае. — Смуров встал. Встал и Борщенко. — И не забудь: фонарь должен быть надежный.

Смуров и Шерстнев проводили его до выхода из барака.

Репродуктор продолжал вызывать:

— Борщенко, на выход!

За воротами его ожидал Шакур.

— Пошли скорей! — заторопил он. — Начальство ждет...

Через полчаса они были в главной канцелярии.

Когда Борщенко впустили в кабинет штандартенфюрера Реттгера, там уже находились майор Ключейтер и оберштурмфюрер Хенке. Майор, в форме тодтовских¹ частей, сидел в кресле у стола, Хенке почтительно стоял.

Реттгер оторвался от какой-то бумажки и недовольно посмотрел на Борщенко.

— Подойди ближе! — приказал он.

Борщенко продолжал стоять у дверей.

— Господин штандартенфюрер, он не понимает по-немецки, — доложил Хенке.

¹ Т О Д Т — военно-строительная организация гитлеровской Германии.

— Тогда вы сами спросите, — почему он так поздно? Или это ваш зубастый дурак где-то так долго болтался?!

— Господин штандартенфюрер, вы же знаете, что я ничего не понимаю по-русски. Пусть господин майор...

Майор Ключейтер повернулся к Борщенко.

— Подойди ближе! — на чистом русском языке приказал он.

Борщенко, четко отбивая шаг, подошел ближе и остановился напротив стола, вытянув руки по швам.

Реттгер с любопытством уставился на него.

— Ты и есть Черный Ворон?

Майор повторил вопрос полковника.

— Так точно, господин полковник! — четко отпаровывал Борщенко.

— Это твоя кличка? А как твое настоящее имя?

— Как твое настоящее имя? — повторил майор.

— Павел, господин полковник!

— Полностью, полностью! Как по отцу? Как фамилия? Где родился?

— Как твое отчество и фамилия? — спросил майор, внимательно разглядывая Борщенко. — Откуда родом?

— Павел Андреевич Корчагин, господин полковник! Родился в Харькове! — чеканил Борщенко, смело глядя прямо в колющие глаза Реттгера.

Майор с интересом поглядел на Борщенко и перевел:

— Павел Андреевич Бугров. Уроженец города Харькова.

Борщенко продолжал не мигая смотреть на полковника, но мысли его залихорадило: «Почему майор так перевел, назвал иную фамилию? Ловушка? Может, проверяют, понимаю ли я их разговор?»

Полковник опустил голову, заглядывая в бумажку.

— Тут то же самое, — сказал он и глубокомысленно добавил: — У русских много Иванов и Андреевичей... А спросите, майор, кто были его последние начальники?

Борщенко твердо запомнил фамилии эсэсовцев, названных Шакуном. И вдруг засомневался, — кто из них майор, кто капитан. Но это же надо сказать! Спина сразу вспотела...

Майор повернулся к нему.

— Кто были твои последние начальники? И почему ты понес сейчас околесицу о твоей фамилии? Зачем выдумал новую?

— Последними моими начальниками были Мейер и Кунст! — отрубил Борщенко и добавил: — Мне так часто приходилось менять свои фамилии, что я теперь сам в них путаюсь!

— Ты не запутался, а заврался, любезный! — оборвал майор.

Борщенко еще больше вытянулся, а майор перевел:

— Он был в распоряжении гауптштурмфюрера Эрнста Мейера и штурмбанфюрера Густава Кунста.

Отметив, что майор при переводе добавил имена и звания, Борщенко зарубил все это в памяти и еще более насторожился.

Реттгер заглянул в бумажку и, неудовлетворенный, задал новый вопрос:

— А кто был твой непосредственный начальник?

Никаких других фамилий Шакун не называл. Что отвечать? Кажется, влип!

— Почему не назвал своего непосредственного начальника? — спросил майор. — Кто он?

— Шарфюрер Бауэр! — выпалил Борщенко, решив, что если нужно еще какое-то лицо, то лучше его выдумать, чем растеряться и ничего не ответить.

С замиранием сердца он смотрел, как вчитывался Реттгер в свою шпаргалку, как недоуменно поднял голову и посмотрел на мнимого агента. Потом опять установился в бумажку, пожал плечами и вопросительно обернулся к Хенке:

— Бауэр? Это после его откомандирования из Киева, что ли?

— Так точно, господин штандартенфюрер! — подтвердил Хенке, не желая ставить себя в неловкое положение. — Это после откомандирования его из Киева...

— А почему же он не назвал унтерштурмфюрера Зейтца? — недовольно сказал Реттгер. — Шакун указывает эту фамилию. Спросите у него, майор, о Киеве...

— Кто в Киеве был твоим непосредственным начальником? — строго спросил Ключейтер.

— Унтерштурмфюрер Зейтц! — отчеканил Борщенко.

— А Бауэр кто?

— Это — после Киева...

— Аа-а... — Майор повернулся к Реттгеру. — Все верно. Унтерштурмфюрер Зейтц был в Киеве, а Бауэр — это после Киева.

Реттгер отложил в сторону бумажку, подумал и сказал:

— Спросите, майор, с какой целью он был заброшен на советское судно? Что ему было поручено?

— Я должен был установить, куда следовал караван и его маршрут! — объяснил Борщенко. — А по прибытии на место сообщить об этом и получить указания.

— А как сообщить?

— У меня был портативный передатчик!

— Где он теперь?

— Утонул!

— Ты сам должен был обеспечить передачу?

— Нет, господин полковник! Со мной был радист.

— Он жив?

— Он погиб, господин полковник!

— Позывные и шифр сохранились?

— Никак нет, господин полковник! Все погибло с радистом!

— Как же ты теперь свяжешься со своим начальством?

— Теперь я под вашим начальством, господин полковник!

Реттгер сухо улыбнулся.

— Пожалуй, этот для нас подойдет, — повернулся он к Хенке. — Зачислите его в команду охранников.

— Он, кажется, посмышленее Шакуна, — заметил Хенке.

— Смышленее вашего зубастого чурбана быть не трудно, — с издевкой сказал Реттгер. — Пусть будут вместе. Только запомните: когда придет пора срезать головы этим славянским насекомым, — вы мне доложите.

Реттгер опять перенес свое внимание на Борщенко:

— Майор, предупредите его, что он будет в команде охранников.

— Бугров! Будешь охранником! — перевел Ключейтер.

— Никогда ни одного выстрела я не совершу по заключенному! — твердо заявил Борщенко. — Это исключается!

Клюгхейтер посмотрел на Борщенко с изумлением.
— Это как же тебя понять? — спросил он, по-новому всматриваясь в лицо Борщенко. — Отвечай!

Борщенко почувствовал, что сорвался с роли, и стоял молча, не находя, как ответить.

— Что он говорил? — заинтересовался Реттгер, наблюдая за лицом Борщенко.

— Он говорил, что будет стараться, — коротко передал Клюгхейтер. — Но он отвык стрелять.

— Черт его знает что за странный агент! — удивился Реттгер.

— За время пребывания в советском тылу он не мог практиковаться в стрельбе, — пояснил майор. — Был все время в трудной обстановке...

— Аа-а... Ну тут он быстро восстановит свою прошлую практику. — Реттгер задумался. — Спросите его, майор, — не поручали ли ему следить за Рыниным?

— Никак нет, господин полковник! — несколько оправившись, ответил Борщенко.

— А ты хорошо его знаешь? — продолжал допрашивать Реттгер.

— Познакомился только на судне.

— Как он к тебе относится?

— Он мне доверяет.

Реттгер подумал и сказал:

— Прикажите, майор, чтобы завтра ровно к двум он явился сюда! Я попробую использовать его в разговоре с Рыниным. А сейчас пусть уходит — у меня от него заболела голова...

— Бугров! — повернулся к Борщенко майор. — Завтра в два часа дня ты должен быть здесь. А в восемь вечера явишься ко мне.

— Слушаюсь, господин майор.

— Повтори приказание!

— Завтра в два часа быть здесь, для разговора с Рыниным. А в восемь вечера — явиться к вам.

Майор загадочно посмотрел на Борщенко. Тот устал от долгого и трудного допроса и не заметил, как последним ответом выдал майору свое знание немецкого языка.

— Можешь идти!

Борщенко четко повернулся и вышел из кабинета. В вестибюле его нетерпеливо поджидал Шакун.

— Ну как? — коротко спросил он, всматриваясь в лицо Борщенко. — Намылили голову? Ты аж вспотел весь!

Борщенко почувствовал, что еле держится на ногах. Он вытер пот с лица и, собрав все силы, засмеялся.

— Ну и работенку задал мне полковник! Пришлось башкой поработать и попотеть. Но зато, Федор, дело у нас с тобой будет! Я же тебе сказал, что со мной не пропадешь! Словом, — мы с тобой и здесь сумеем наладить житуху! Вот только не знаю, где я сегодня буду ночевать! В лагерь я больше не хожу. К дьяволу!

— Со мной в казарму пойдешь! — уверенно сказал Шаун. — Попрошу нашего обер-прикомандировать тебя к той же команде, где и я. Согласен?

— Идет! — согласился Борщенко. — Готовь мне место. А сейчас давай выйдем на свежий воздух. Упарился у полковника. Такая жарница!

НА ВЕРШИНЕ СКАЛЫ

На следующий день, с утра, Шаун водил Борщенко, уже переодетого охранником, по Центру, показывал и рассказывал, где что находится. Борщенко слушал и смотрел внимательно, и запоминал, запоминал. Все это нужно было для будущего...

Но вот, кажется, все осмотрено, а времени впереди, до явки к полковнику, все еще много.

— Куда дальше, Федор?

— А дальше пойдем сейчас в мое потаенное местечко. Есть тут у меня такое...

-- Пойдем.

Они прошли к северному ущелью, по которому уходила дорога к эсэсовским казармам, и по каменному карнизу стали подниматься на вершину скалы. Карниз был такой узкий, что могучей фигуре Борщенко было тесно и трудно. Он быстро устал и тяжело дышал.

— Ослаб ты, Павел, я гляжу, — говорил зубастый поводырь. — Но еще немного — и конец!

Они вышли на вершину, обогнули массивную каменную глыбу и оказались на небольшой уютной площадке, заросшей тощим лишайником. Импровизированная ска-

мейка — широкая доска, пристроенная на двух камнях — придавала этому месту обжитой вид.

— Садись, отдыхай! — пригласил Шакун. — Тут моя конура... Хочется иногда укрыться куда-нибудь от нашей кутерьмы.

Усталый Борщенко тяжело плюхнулся на доску, которая затрещала под его тяжестью.

— Ты полегче, медведь, — озабоченно сказал Шакун. — Доски здесь — редкость. Эту я спер удачно, отодрал от уборной моего обера. Потихоньку притащил сюда, когда никого не оказалось близко... Уж очень здесь место удобное. В такой день, как сегодня, когда нет тумана, — все видно...

Действительно, остров просматривался отсюда очень хорошо. «Не больше пяти километров в поперечнике», — прикидывал Борщенко, стараясь запомнить расположение возвышенностей и очертания берегов.

Бухта была видна как на ладони, с пристанью и складами. Высокие скалистые берега хорошо защищали ее от океанских штормов. Шум прибоя доносился от прибрежных скал, как грохот от движущегося курьерского поезда.

— Так ты и не знаешь, Федор, где находится наш остров? — спросил Борщенко.

— Бес его знает. Спросил я как-то у своего обера, — он зарычал... Хотя... — Шакун пренебрежительно хмыкнул, — я думаю, он и сам не знает... А мне все равно где быть, лишь бы хорошо платили!

Но как ни интересовало Борщенко местоположение острова, его томили сейчас более животрепещущие дела. Он искоса поглядел на Шакуна и, как бы между прочим, спросил:

— А как подвигаются твои дела с заговорщиками?

— Тиш-ше!.. — зашипел Шакун, невольно оглядываясь, как будто здесь мог кто-либо подслушать. — Об этом замкнись! Это дело должно быть моим... Понимаешь, — только моим!

— Так ведь я спросил потому, что ты сам предлагал мне действовать сообща.

— Не пришло еще это время. Будет час, — сам позвоу. А пока — ни звука!..

Борщенко замолчал, боясь напортить. Потом добродушно сказал:

— Конечно, ты прав, Федор... Растреплешься раньше времени, и выхватят дело из рук... Еще и под зад дадут. А мне оно ни к чему... У меня — свое, поважнее. Пользуйся этим делом сам. Я если только советом когда помочь — не откажу.

Шакун благодарно поглядел на Борщенко, снова оглянулся и доверительно зашептал:

— Готовятся, сволочи: уже отряды создают...

Борщенко словно кипятком обдало. «Все известно... Полный провал... Держись, Андрей!..»

А Шакун продолжал шептать:

— Оружия у них мало. Но рассчитывают добыть. Скоро, скоро я их прихлопну!..

Сердце Борщенко заколотилось. «Все, все известно! Что предпринять?.. Схватить Шакуна за глотку и вытрясти из него, что он знает?.. А потом придушить и завалить камнями. Здесь его никто не найдет. Ну, а если он не скажет или наврет? А может, и еще кто-то в курсе — Хенке, допустим? Тогда дело может ускориться. Нет, горячиться нельзя. Надо выпытать осторожно, затормозить и опередить...»

Не подозревая о том, что творилось в душе Борщенко, Шакун продолжал откровенничать:

— Там у меня есть глаза и уши. Земляк там у меня приставлен. Мне все как есть докладывает.

«Какая же это сволочь завелась в самом сердце дела?! — завопило все нутро Борщенко. — Уничтожить, раздавить гадину быстрее!.. Немедленно!..»

Борщенко напряг всю свою волю, чтобы показать на лице полное безразличие. А внутри у него все кричало: «Ну говори, стерва, говори дальше! Кто он — этот земляк, эти твои глаза и уши?..»

Но Шакун вдруг оборвал свои излияния, испугавшись, что наболтал лишнее. Он впился глазами в лицо Борщенко, а тот, равнодушно зевнул и спросил совсем о другом:

— А не знаешь, Федор, куда девались раненые с судна?

Шакун присвистнул.

— Эка хватился! Не выгружать же их было на остров! Хенке отдал их мне еще на корабле. Ну, я и поговорил с ними той ночью по душам! — Шакун оскла-

бился. — От них теперь одни кости остались — обглодали рыбы давно.

Теряя над собой власть, Борщенко медленно поднялся, — бледный, с горящими глазами, страшный.

Шакун попятился.

— Что с тобой, Павел? Зубы, что ли, опять схватило? — догадался он. — Пойдем в казарму. Там есть аптечка. Приложишь что-нибудь...

— Пошли, — глухо согласился Борщенко.

В ОБЛИЧЬЕ ВРАГА

К двум часам дня Борщенко явился к главной канцелярии. Он не сумел отвязаться от Шакуна. Тот говорил:

— Ты же, Павел, не знаешь немецкого языка. Без меня еще пристрелят тебя ни за что, ни про что.

У входа стоял эсэсовец с автоматом. Немедленно явился второй эсэсовец. Шакун объяснил:

— Мы — по вызову.

— К штандартенфюреру вызывался только Бугров, — сказал эсэсовец. — Ты не вызывался.

— Но я буду нужен как переводчик, — уверенно заявил Шакун.

Эсэсовец ушел для выяснения. Вскоре он вернулся и провел Борщенко и Шакуна в вестибюль.

— Ждите здесь! — приказал он.

Ровно в два часа из жилой части здания в вестибюль вышел Реттгер. Он на ходу глянул на вытянувшихся «смирно» Борщенко и Шакуна, брезгливо поджал губы и прошел в кабинет.

Минуту спустя через вестибюль, ни на кого не глядя, в сопровождении автоматчика, прошел Рынин.

Борщенко еще со вчерашнего вечера готовил себя к встрече с Рыниным, но беспокойные мысли угнетали его все больше: «Ну как я погляжу ему в глаза в этом обличье?.. Поймет ли он?..»

Борщенко взволнованно начал прохаживаться по вестибюлю, но дежурящий у дверей эсэсовец хмуро приказал:

— Стань к стене, не мотайся перед глазами!

— Павел! — позвал Шакун. — Иди сюда. Стой тихо.

Спустя несколько минут в кабинет к штандартен-фюреру впустили Борщенко и Шакуна.

Реттгер, с огромным карандашом в руке, сидел за столом.

— Ближе, ближе! — приказал он.

Борщенко и Шакун подошли к столу.

Рынин молча стоял у окна.

— Вот, Рынин, вы отказываетесь работать на нас, а другие ваши соотечественники охотно согласились! Посмотрите!

Реттгер указал на стоявшего «смирно» Борщенко.

Рынин, до этого не обративший внимания на вошедших, поднял голову.

При виде Борщенко в форме охранника, рядом с рыжим зубастым власовцем, у Рынина глаза полезли на лоб.

— Борис Андреевич, здравствуйте! — поздоровался Борщенко и без паузы произнес дальше заранее продуманную им фразу: — Вам надо принять предложение полковника о работе.

Борщенко предполагал, что Рынин должен будет задуматься над словами вам надо, и произнес их подчеркнуто.

Рынин медленно подошел к Борщенко вплотную и стал в упор его разглядывать.

Сомнений не было. Перед ним стоял помощник капитана «Невы» — Андрей Васильевич Борщенко. «Продался... Ах негодяй!»

Обычно невозмутимое лицо Рынина густо покраснело. Он поднял руку и тяжело ударил Борщенко по лицу.

Борщенко, отшатнувшись не столько от боли, сколько от жгучей обиды.

Рынин, весь пылая от возмущения, вытащил из кармана платок, брезгливо вытер руку и гадливо отбросил платок в сторону. Затем, круто повернувшись, подошел к столу.

Прямо глядя в лицо Реттгера, он медленно сказал:

— Вот что, полковник! Если вы намереваетесь добиваться своего с помощью подобных трюков, — напрасно стараетесь! — Продолжая говорить по-немецки, Рынин обернулся к Борщенко. — А содействие таких вот черных изменников ничего, кроме омерзения, не вызывает! Слушайте вы, гнусный предатель...

Реттгер раздраженно перебил:

— Что вы распинаетесь в пустоту, Рынин? Адресуйтесь к нему по-своему. Вам-то уж следовало бы знать, что, кроме русских слов, он других не знает.

Все еще бледный, Борщенко, силясь овладеть собой, повернулся к Рынину:

— Борис Андреевич, я могу говорить только по-русски... Я еще раз повторяю: вам надо дать согласие на работу. В этом очень заинтересованы все мы.

— Что он говорит? — спросил Реттгер Шакуна.

— Он, господин штандартенфюрер, просит его работать у вас, говорит, что здесь это для всех поголовно очень интересно.

— Тьфу, дурак! — рассердился Реттгер и стал ждать, что будет дальше.

Рынин посмотрел на Борщенко, медленно прошел к креслу и сел, прикрыв рукою глаза.

Реттгер пристально наблюдал. Он заметил, что в настроении Рынина неожиданно что-то переломилось. Кажется, на него действительно подействовали слова Бугрова.

В настроении Рынина и на самом деле произошла перемена. Закрыв ладонью глаза, он думал. Думал анализируя. Думал так, как привык думать, проверяя связи и явления. Почему Борщенко скрывает свое отличное знание немецкого языка? Оно же только способствовало бы карьере предателя. А он скрывает и просит не выдавать его в этом («Я могу говорить только по-русски») ... Догадка, что Борщенко только играет роль перебежчика, вдруг, как молния, озарила сознание Рынина... Но тогда в словах «вам надо», которые Борщенко дважды подчеркнул, скрыт особый смысл. Значит, кто-то («все мы...») предлагает ему дать согласие на работу... Кто и для чего?..

Мысли Рынина оборвал Реттгер:

— Так что же, Рынин? Значит, вы отказываетесь, категорически и раз навсегда? Или вы еще подумаете?

Рынин поднял голову и с нескрываемой ненавистью посмотрел на Реттгера.

— Я еще подумаю, — сказал он глухо.

— Ну, вот и хорошо...

Реттгер повернулся к Борщенко.

— Можешь идти, Бугров, и далеко не отлучайся. Ты еще будешь мне нужен.

Оправившийся Борщенко стоял прямо, вытянув руки по швам.

— Переведи ему, обалдуй, что я сказал! И убирайся. Да помоги ему устроиться!

Шакун схватил Борщенко за руку и потащил к двери.

— Пойдем, Павел! Я тебе сейчас буду помогать!..

Глядя им вслед, Реттгер думал: «А этот Бугров кое-что стоит... Его надо держать около себя, пока нужен Рынин...»

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

К восьми часам вечера Борщенко явился к майору Ключейтеру. Охранник провел его через вестибюль и, предварительно постучав, впустил в кабинет майора.

Ключейтер сидел в кресле, с книгой в руке.

— Проходите, Борщенко, и садитесь! — приказал он. Борщенко насторожился: «Почему Борщенко? Почему на вы?...»

Он прошел к круглому столу и сел в кресло.

Майор отложил книгу.

— Прежде всего, — начал он, — я хочу установить, как разговаривать с вами: как с нашим агентом Бугровым или как с пленным помощником капитана Борщенко?

— Не знаю, господин майор. Вы приказали мне явиться, вы и устанавливайте сами, как со мной разговаривать.

— Тогда вот что, Борщенко, — жестко сказал Ключейтер. — Играть роль Бугрова у меня бессмысленно. Говорите, не теряя времени, что поручили передать мне ваши соотечественники?

Пораженный осведомленностью и проницательностью майора, Борщенко несколько минут молчал, собираясь с мыслями. Затем, отбросив придуманные ранее подходы, решительно сказал:

— Мне поручено просить вашего содействия предполагаемому побегу заключенных!

Ключейтер посмотрел на Борщенко с нескрываемым удивлением.

— Да вы что, в своем уме? Говорить о побеге отсюда, с острова? И говорить со мной — помощником

начальника лагеря?! Вы, Борщенко, затеяли слишком опасную игру! Я прикажу сейчас надеть на вас наручники и вместе с вашим зубастым и глупым приятелем передам полковнику.

Борщенко побледнел и встал. «Эх, товарищи, товарищи! А еще комитетчики! На кого понадеялись — на немца! Он — враг и врагом останется!.. Короткой оказалась моя дипломатическая миссия...»

— Вот что, господин майор, — медленно заговорил Борщенко. — Прежде чем меня уведут отсюда, хочу сказать вам в защиту чести советского моряка, что я действительно не Бугров и что грязный предатель Шакун — не мой сообщник. Он подлинный соратник кровавого негодяя Бугрова и принял меня за него всерьез. Дать вам эту справку по-моряцки прямо — важно для меня лично... А теперь моя совесть чиста!..

— Вот так-то лучше, Борщенко, — спокойно сказал Ключейтер. — Теперь все на своих местах. Что вы не Бугров, мне было ясно еще у полковника. Но я тогда пожалел вас. Уж больно были вы неискушенны в таких делах. Но ваши отношения с Шакуном я не понимал. И ваша справка об этом важна не только для вас, но и для меня. Сядьте!.. Я готов разговаривать с вами дальше.

Борщенко стоял бледный, со сжатыми губами.

— Сядьте, говорю вам! — резко приказал Ключейтер.

Борщенко сел.

— Я предполагал, Борщенко, что просьбы ваших соотечественников связаны с тяжелым режимом их подземной работы и такой же нелегкой жизни... И я думал в чем-то негласно помочь им... Негласно и немного. На многое у меня нет возможностей. Но затея ваших товарищей о побеге не просто фантастика, а прелюдия к кровавой расправе над ними. Надо предотвратить это ненужное кровопролитие!.. Я жалею всех вас как солдат, который никогда не был согласен с бессмысленными жестокостями.

— Нам не нужна ваша жалость, ваша грошовая негласная филантропия! — резко сказал Борщенко. — Нам нужно оружие!

Майор снова остро посмотрел в лицо Борщенко.

— Вы не находите, Борщенко, что переходите всякие границы? Придется мне, видимо, немедленно, в корне пресечь эти опасные замыслы!..

— Вы этого не сделаете, майор!

— Почему вы так думаете?

— Вы же знаете положение на фронтах и понимаете, что дни вашего Рейха сочтены. Скоро Германия Гитлера будет расплачиваться за свои кровавые преступления... Вы обречены, господин майор! И вам выгоднее сейчас стать на нашу сторону.

Глаза Ключейтера загорелись гневом. Но выдержка взяла свое: лицо его снова стало непроницаемым.

— Значит, вы и ваши товарищи полагали, что я соглашусь помочь вам из-за выгоды?.. Из-за страха?.. Этого никогда не будет! — холодно сказал он. — Вы правы, что Германия, по существу, уже проиграла войну... Но я — немец. И я разделю судьбу своей страны, какой бы трудной эта судьба ни была.

Борщенко опять встал.

— Уточню еще один вопрос, майор. Я и наш комитет относятся к вам по-разному. Комитет верит вам и счел возможным раскрыть перед вами свои замыслы. А я не верил вам и, однако, как идиот, эти замыслы вам слепо передал. Вам — помощнику начальника лагеря смерти! Вам — нашему смертельному врагу! Глупо это было с моей стороны!.. Ну, вот и все. Дальше поступайте, как вам и положено поступать.

Ключейтер помолчал, барабанил пальцами по столу.

— Да вы сядьте, Борщенко... Молоды вы еще... и очень горячи. А не думали ли вы, Борщенко, что немцы не все одинаковы? Что не все они фашисты и, тем более, не кровавые палачи?..

Борщенко живо ответил:

— Конечно, и в самой Германии есть честные люди. Немцы-коммунисты так же томятся в тюрьмах и лагерях и так же беспощадно истребляются фашистами, как и советские люди. Они и здесь, на острове истребления, вместе с русскими делят их страшную судьбу.

— Неужели только одни коммунисты честные люди? — тихо спросил Ключейтер. — Разве нет других честных людей?.. Не коммунистов? И это — в целом народе?..

Борщенко опустил голову. Ему стало не по себе: «По-

лучаю урок политграмоты от врага! Эх, Андрей, Андрей, до чего ты докатился!»

— Что же вы молчите, Борщенко? Разве это не так?

— Так, — нехотя выдавил Борщенко.

— А почему так неохотно соглашаетесь с правдой? Где же ваша моряцкая прямота? А вы, быть может, еще и коммунист?

Борщенко поднял голову.

— Да, майор, я коммунист! И я горжусь этим! И, как коммунист, объясню вам, почему правильные мысли не всегда принимаются сердцем... Конечно, немецкий народ и немецкий фашизм — это разное. Но иногда трудно бывает преодолеть горячий голос чувств, который вступает в противоречие с трезвым голосом рассудка. А почему? Да потому, что чувства эти тоже правильны... Временами я начинаю ненавидеть все немецкое только потому, что оно немецкое. Я понимаю, что это неправильно, но не могу освободиться от таких чувств. Слишком много крови и страданий миллионов людей стоят за этими чувствами, за этими эмоциями!.. Хотите знать, откуда вырастают эти эмоции?

— Да, Борщенко, хочу.

— Ну, так я вам сейчас кое-что прочту...

Борщенко нагнулся, вытащил из-за голенища тщательно сложенный листок, бережно развернул его и стал читать, — читать горячо, резко подчеркивая отдельные места:

— Близ Смоленска, у Гедеоновки, в большой яме, похоронены трупы тысячи восьмисот убитых фашистами... женщин, детей и стариков... Мертвых гитлеровцы здесь закапывали вместе с живыми. И долго после расстрела земля еще колыхалась сверху могил и слышались стоны... В Краснодарском крае гитлеровские мерзавцы умертвили семь тысяч советских граждан, в том числе многих детей, и зарыли их в противотанковом рву, за заводом измерительных приборов.

— Хватит, Борщенко! — дрогнувшим голосом оборвал Ключейтер. — Это действовала не регулярная армия, а эсэсовцы и...

— Какая разница! — горячо сказал Борщенко. — Все они — немцы!..

— ...И всякие иные мерзавцы вроде Шакуна! — нервно закончил Ключейтер. — Дайте мне эту бумажку!

Разгоряченный Борщенко передал майору бумажку — «Сообщение Совинформбюро» — и, не смирясь, добавил, как бы продолжая прочитанное:

— Все эти массовые расстрелы невинных, виселицы на улицах и дорогах, печи для сжигания живых, «душегубки» — все это на века покроет позором вашу нацию!.. И вот эти-то факты и поднимают в груди бурю, подавляют добрые мысли и вызывают гнев при одном слове «немец»... А вы, майор, — как вы сами подчеркнули, — тоже немец! И не простой, рядовой немец! Нет! Вы — важная спица в военной колеснице Германии, которая на поколения изранила землю многих народов, оставила после себя ненависть ко всему немецкому и — кровь!..

Клюгхейтер слушал не перебивая, сжав губы и нервно теребя бумажку, положенную на стол.

— Я вас понял, Борщенко! — сказал он после долгого молчания. — И извиняю за горячность... А лично у меня — своя биография и свои причины пребывания здесь. Но об этом нет дела никому, кроме меня.

Борщенко, не обращая внимания на слова Клюгхейтера, с гневом продолжал:

— Надеюсь, вы не станете отрицать, что вам знакомы вот эти заповеди, которые распространяются среди ваших солдат? Они написаны не только для эсэсовцев! Они адресуются всем немцам!

Борщенко вытащил печатную листовку малого формата и положил ее перед Клюгхейтером. Тот молча посмотрел на знакомый текст и несколько минут вглядывался в подчеркнутые строчки:

ПАМЯТКА ГЕРМАНСКОГО СОЛДАТА

...Для твоей личной славы ты должен убить ровно 100 русских, это справедливейшее соотношение — один немец равен 100 русским.

...Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливаясь, если перед тобой старик или женщина, девушка или мальчик...

Ни одна мировая сила не устоит перед немецким напором. Мы поставим на колени весь мир. Германец — абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Ты германец, как подобает германцу, уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоём пути...¹

¹ Полный текст этой «Памятки» напечатан в книге «Зверства фашистских варваров». Издание Всесоюзной книжной палаты, М., 1943.

Клюгхейтер утратил свою обычную выдержку, нервно скомкал листовку и отбросил ее в сторону. Потом взволнованно встал и, подойдя к окну, долго всматривался в темноту. Наконец он взял себя в руки, медленно вернулся к столу и ровным голосом сказал:

— Передайте, Борщенко, вашим товарищам мое предупреждение: никаких попыток к восстанию нельзя допустить! Все это привело бы к ужасному кровопролитию, к поголовному истреблению русских.

— Вы забыли, майор, что передать это я не смогу. Я арестован вами.

— Сегодня, Борщенко, вы — парламентар. И потому я вас отпускаю... тем более, что сбежать отсюда все равно некуда. Но это не значит, что вы останетесь на свободе долго. Запомните: попадетесь в чем, — вряд ли тогда я сумею вам помочь, как мне удалось это у полковника. А теперь можете идти!

Борщенко долго стоял молча, опустив голову. Затем прямо поглядел в глаза Клюгхейтера.

— Благодарю, майор...

ОРАНЖЕВАЯ ПАПКА

Реттгер сидел рядом с шофером. Позади, вместе со своим новым, угрюмым конвоиром Кребсом, находился Рынин. Автомобиль остановился около каменной пристройки к скале. У входа стоял часовой. Кребс торопливо вышел первым и почтительно распахнул переднюю дверцу, помогая Реттгеру выбраться из машины. Вышел и Рынин.

Одновременно из пристройки выскочили два эсэсовца. Они широко открыли дверь в проходную и, пропуская Реттгера, взяли «на караул». Изнутри, встречая штандартенфюрера, в проходную уже входил технический руководитель строительства, инженер Вильгельм Штейн — тучный эсэсовец, с короткими волосатыми руками, с железным крестом на груди.

— Встречайте, инженер Штейн, знакомого! — пригласил Реттгер. — Судя по нашему последнему разговору, вы его должны помнить.

— Доктор Рынин?! Рад вас приветствовать! — осклабился Штейн.

Реттгер поморщился, но ничего не сказал, наблюдая, как сухо поздоровался Рынин с инженером. Затем, через короткий тоннель, все прошли в просторный вестибюль, а оттуда двинулись по коридору, с ковровой дорожкой посередине и дверями по обеим сторонам.

У последней двери остановились. Штейн привычно всунул в замок плоский ключ и распахнул дверь. Открылся небольшой кабинет с бетонированными стенами, окрашенными в белый цвет.

— Входите, господа! — пригласил Штейн, тревожно поглядывая на Реттгера.

— Нет, инженер Штейн! — сказал Реттгер. — Прежде посмотрим, что у вас тут случилось. А потом уже зайдем к вам и я сделаю свои указания.

— Пожалуйста, пожалуйста! — поспешно согласился Штейн и захлопнул дверь.

От кабинета Штейна коридор под прямым углом заворачивал налево. Все направились по нему. Примерно от середины коридора свернули в узкий тоннель, который вывел в небольшой полукруглый вестибюль, где у широкой двери сидел дежурный эсэсовец. При виде высокого начальства он вскочил и торопливо распахнул обе половины двери.

— Вы, доктор Рынин, можете пройти первым, — пригласил Реттгер.

Рынин спокойно шагнул вперед и остановился, широко раскрыв глаза. Он очутился в огромном гроте, уходящем далеко вперед. Цепочки электрических лампочек, освещающих грот, яркими бликами отражались в черной воде. И в этом просторном, искусственном подземном водоеме, посередине его, стояла подводная лодка с вооруженным часовым на мостике.

— Ну как, доктор Рынин, нравится вам это сооружение? — самодовольно спросил Реттгер. — Солидно? Производит впечатление?

— Я знаю лучшие, — коротко ответил Рынин, стараясь подавить охватившее его волнение.

Теперь ему было ясно, какое строительство имел в виду Реттгер. Стало быть, здесь, на неизвестном острове Арктики, немцы сооружают секретную базу для подводных лодок, чтобы отсюда совершать нападения на караваны, идущие в Советский Союз и из Советского Союза.

— Ну, что же вы молчите, доктор Рынин? — продолжал Реттгер, явно довольный впечатлением, которое грот произвел на Рынина. — Вот здесь и понадобятся ваши знания и опыт.

Рынин прищурился. Лицо его вновь стало бесстрастным.

— Показывайте дальше, полковник.

Реттгер оживился.

— Инженер Штейн! Показывайте, что у вас здесь стряслось?..

— Прошу за мной! — пригласил Штейн.

Они находились на площадке, замыкающей грот. От площадки по обеим сторонам грота, вдоль высоких бетонированных стен, тянулись широкие платформы с рельсами, на которых стояли вагонетки, с ложами для торпед и скамейками для людей.

Все уселись на скамейку пустой вагонетки, и она, управляемая дежурившим здесь эсэсовцем, медленно покатилась, рождая ровный гул под просторными сводами.

Вагонетка двигалась осторожно, и Рынин заметил, что через небольшие интервалы в стенах грота имелись металлические двери. Одна из них была открыта, и он увидел полуосвещенный зал, по бетонному полу которого от двери также были проложены рельсы, уходившие куда-то в глубь зала.

По стенам тянулись оцинкованные провода и трубки разной толщины. На высоте человеческого роста встречались неглубокие зарешеченные ниши, с рубильниками и кнопками.

Вагонетка медленно докатилась до конца пути. Здесь на рельсах стояла легкая ферма из дюралюминиевых трубок. Внутри фермы висела лесенка, ведущая наверх. Такая же ферма стояла и на рельсах противоположной платформы грота. Вверху, под сводами, обе фермы соединялись подвесным мостиком. Все это сооружение можно было передвигать по рельсам вдоль грота, обеспечивая возможность осмотра и ремонта свода в любом месте.

Вагонетка остановилась, и все вышли на платформу.

— Мы в устье, если можно так выразиться, — сказал Штейн. — Тут ворота в океан...

Действительно было слышно, как набегающие волны плескались, ударяясь о тяжелый металлический щит, запирающий выход из грота в бухту.

— Показывайте то, что надо! — приказал Реттгер. — Океан меня сейчас не интересует. Я хочу видеть, что здесь у вас случилось!..

— Вот, смотрите! — Штейн указал вверх. Там, в сводах, зияло отверстие, более полуметра в диаметре. — Обрушилось...

Реттгер долго всматривался в темную глубину отверстия.

— Это опасно для подлодки? — спросил он обеспокоенно. — Может быть, ее надо вывести отсюда?

— Нет, господин штандартенфюрер! В данном случае никакой опасности для лодки нет! — заявил Штейн. — Эту дыру мы быстро заделаем.

— Когда случился обвал?

— Два часа назад. Я позвонил вам немедленно.

— А не распространится этот обвал на соседние области свода?

— Сейчас такой опасности нет. Но что может быть в дальнейшем, — сказать не могу.

— А кто может сказать?

— Это надо глубоко исследовать...

— Кто должен это сделать?

— Забираться в такие отверстия лично я не могу, господин штандартенфюрер. С моей комплекцией это трудно.

Реттгер сердито посмотрел на Штейна. Тот добавил:

— Наш остров, господин штандартенфюрер, вулканического происхождения и сложен из пород разных эпох. Карстовые образования, типичные совсем для других районов, здесь широко распространены. Множество пещер, целые лабиринты их имеются в возвышенностях острова. В этих вопросах я разобраться не могу и не знаю, что предпринять, чтобы предотвратить опасность обвалов в наших сооружениях. Вот если бы господин Рынин взялся осмотреть это, тогда все было бы ясно!

— И у вас имеются основания опасаться распространения обвалов в будущем? — беспокойно спросил Реттгер.

— Да. На новом строительстве обвалы участились. Вчера задавило многих.

— Сколько? — спросил Рынин.

— Ну кто же здесь ведет счет мертвецам! — пренебрежительно махнул рукой Штейн.

— Пустое, Рынин! — вмешался Реттгер. — Нехватки в людях не будет! Это не страшно. Страшны сами обвалы.

Рынин отвернулся и, успокаивая себя, стал рассматривать подводу цепей и тросов к щиту. Он даже нагнулся над водой, заглядывая вниз.

Реттгер поморщился.

— Можете, Рынин, даже нырнуть. Глубина здесь достаточная, чтобы не вынырнуть. Вы лучше смотрели бы и слушали то, что касается вас.

Не обращая внимания на грубый юмор Реттгера и его недовольство, Рынин продолжал внимательно разглядывать систему управления щитом, стараясь разобраться в ней и запомнить ее.

Реттгер повернулся к Штейну:

— Продолжим разговор в вашем кабинете!

— Пожалуйста, пожалуйста, господин штандартен-фюрер!

Обратный путь прошел в молчании. Молча вошли в кабинет.

— Вот что, инженер Штейн! — мрачно заговорил Реттгер, усаживаясь за стол инженера. — Покажите нашему гостю оранжевую папку.

Штейн встал, прошел к сейфу и неуверенно начал возиться с ключами...

— Ну, доктор Рынин, с чего вы думаете начать? — спросил Реттгер.

— Я начну с исследования. С сегодняшней дыры, пожалуй... Но, прежде чем начать, я должен договориться с вами кое о чем.

— Это что, предварительные условия, что ли?

— Может быть, полковник...

— Говорите, что вы хотите.

— Мне будет нужна рабочая сила.

— Этого добра вы получите сколько надо!

— Не то, полковник! Мне нужно будет немного — человек пять.

— И в чем же дело?

— Эти люди должны быть одни и те же. Им предстоит кое-что освоить. Они должны быть постоянными.

— Хорошо. Эти люди будут прикреплены к вам на постоянную работу. На какой срок?

— Месяца на три.

— Сегодня же люди будут у вас. Кого вы хотите? Англичан, французов?..

— Этих людей укажу я, полковник!

— Мы русских сюда не допускаем! — со злобой сказал Реттгер.

— Вы забываете, полковник, что я русский!

Реттгер промолчал. Потом с раздражением сказал:

— Очевидно, вы хотите облегчить положение каких-то ваших знакомых. Вероятно, с этого судна...

— Может быть, полковник. Ну и что, это для вас так разорительно?

Реттгер прищурился.

— Ладно. Но предупреждаю: они будут при входе и выходе тщательно обыскиваться и находиться постоянно при конвоире. Утром — доставляться сюда, а на ночь — обратно в лагерные казармы.

— Против этого я не возражаю, полковник.

— Напишите мне их фамилии.

Рынин повернулся к Штейну:

— Разрешите... листочек бумажки и карандаш.

— Пожалуйста.

Рынин взял бумагу и написал: «Шерстнев, Кузьмин, Муратов, Степанов, Парменов».

Реттгер принял бумажку и спросил:

— Что еще?

— Больше ничего.

— А относительно себя?

— Лично мне ничего не нужно.

— А о вознаграждении вы не желаете условиться заранее?

— Нет.

— Учтите, Рынин, и у меня тоже есть условие: около вас всегда будет охрана.

Рынин промолчал.

Теперь Реттгер повернулся к Штейну:

— Ну что вы там возитесь, черт возьми?!

Штейн, с толстой папкой в плотном оранжевом переплете, поспешно подошел к столу.

— Передайте папку доктору Рынину! — приказал Реттгер.

Штейн растерялся.

— Господин штандартенфюрер! Осмелюсь напомнить, что материалы эти строго секретные.

— Выполняйте мое распоряжение! — раздраженно сказал Реттгер. — И учтите: доктор Рынин будет здесь работать, а чтобы сделать все по-настоящему, он должен знать, что и как сделано до него.

Немец все еще стоял не двигаясь, почтительно слушая.

— Разве я не ясно выразился? — наливаясь яростью, поднялся Реттгер из-за стола. — Секреты здесь охраняете, а своды начинают рушиться!..

Испуганный Штейн торопливо сунул Рынину оранжевую папку и, тяжело отдуваясь, застыл в ожидании дальнейших распоряжений.

Реттгер направился к двери.

— Я уезжаю! — сердито бросил он на ходу. — За вами, Рынин, машина придет к восьми часам. А вы, инженер Штейн, поставьте ему стол для работы в вашем кабинете. Персональная охрана его также будет здесь!

— Слушаюсь, господин штандартенфюрер!

Штейн грузно бросился провожать Реттгера. Рынин остался один. Он взглянул на оранжевую папку, которую держал в руках. На обложке стояла лаконичная надпись:

«ОПЕРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЮВ»

Гриф над этой надписью гласил: «Секретные документы государственной важности». Рынин знал, что эта формула означала высшую степень секретности в немецком делопроизводстве. Но какое значение это имело, когда физическое уничтожение Рынина, по миновании надобности в нем, Реттгер заранее предпринял?..

«Раскрывая папку с этими материалами, я подписываю себе смертный приговор, — подумал Рынин. — Но я должен все знать, чтобы лучше действовать...»

Рынин открыл папку, а в кабинет вошел его угрюмый конвоир и молча уселся на стуле у двери,

Рынин потребовал, чтобы для его рабочей бригады было приготовлено отдельное помещение, с большим столом и принадлежностями для чертежных работ, а также все необходимое для обследования карстовых лабиринтов: электрические фонари, веревки, мел, компасы, часы, геологические молотки и три кирки.

Все требования Рынина были немедленно выполнены. Помещение выбрал сам Вильгельм Штейн. Оно находилось в стороне от служебных кабинетов сотрудников Управления. Дверь его выходила в вестибюль, около тоннеля, где постоянно стоял часовой.

На следующее утро, под конвоем автоматчика, в распоряжение Рынина прибыли все выписанные им пять человек. После тщательного обыска при входе, дежурный эсэсовец провел прибывших в приготовленное для них помещение и приказал:

— Ждите здесь!

Встреча Рынина и Шерстнева была очень сдержанной. Оба понимали, что осмотрительность сейчас требовалась прежде всего. Молодежь настороженно молчала. Один Кузьмич невозмутимо разглядывал подземное сооружение.

— Эти двое, — Рынин указал на Шерстнева и Кузьмича, — останутся здесь, в помещении... А эти трое будут моими подсобниками во всех разведочных и иных работах, требующих физической силы.

— Хорошо, доктор Рынин, — согласился Штейн. — Они присланы в ваше распоряжение, вы ими и командуйте. Но с кем же будет конвойный? Он-то один!

— А это уже решайте вы, — сказал Рынин.

Штейн задумался.

— Конвоир останется здесь, у двери, в вестибюле! — решил он. — А трех, которые будут с вами, мы поручим вашему охраннику.

— Ну вот и решено все, — согласился Рынин.

— А когда вы приступите к работе, доктор? — поинтересовался Штейн.

— Сейчас же. Прежде всего надо обследовать отверстие обвала, на всю его глубину. А потом придется изучить карстовые образования в районе строительства.

Через десять минут Рынин со своими помощниками уже находился в гроте. Штейн сразу же ушел, сделав какие-то указания дежурному эсэсовцу, который стал размеренно прохаживаться по платформе, не выпуская из вида русских.

Тем временем молодежь придвинула фермы*с подвесным мостиком под самое отверстие, и Рынин со Степановым поднялись наверх. По раздвижной лестнице Рынин забрался внутрь отверстия. Оно было обозримо на глубину около трех метров. А выше следовала какая-то пустота.

Вскоре Рынин спустился на мостик.

— Вот что, Сережа, ползай теперь туда ты и попробуй забраться повыше без лестницы.

Степанов поднялся в отверстие и полез дальше, опираясь руками и ногами в ячеистые стены. Вот он и вовсе скрылся в темной дыре, а затем оттуда послышался его шепот:

— Борис Андреевич... Поднимитесь сюда...

Рынин опять забрался внутрь отверстия. Луч электрического фонаря осветил вверху возбужденное лицо Степанова.

— Здесь пещера, Борис Андреевич!

— Большая?

— Нет, маленькая... Но она уходит куда-то... И от нее несколько ходов в стороны.

— Хорошо, Сережа. Подожди...

Рынин спустился на мостик и позвал к себе Муратова и Парменова. Хмурый Кребс с автоматом остался внизу, а ребята живо поднялись к Рынину.

— Вот что, друзья, стойте здесь и время от времени делайте вид, что вы тихонько разговариваете со мною, будто я нахожусь в дыре. И следите: если сюда станет подниматься наш охранник или сюда вернется толстый эсэсовец, начальник, — ты, Женя, поднимись по лестнице в дыру и крикни вверх погромче, чтобы я услышал. Я буду там. Понятно, что вам надо делать?..

— Ясно, Борис Андреевич. Надо делать вид, что вы в дыре, а вас там не будет.

— Правильно.

Рынин снова забрался по лестнице внутрь отверстия, а затем с помощью Степанова поднялся выше, в пещеру. Осмотрев ее, он спросил:

— Ты, Сергей, с компасом обращаться умеешь?

— Элементарно, Борис Андреевич... Как все. Специально не обучался.

— Но ориентироваться сможешь?

— Да.

— Вот компас. Смотри сюда и слушай внимательно. Попробуй вот по этому направлению проникнуть по лабиринту как можно дальше. Конечно, все эти ходы ломаные. Поэтому следы: ушел правее — следующий поворот выбирай левее...

— Понятно, Борис Андреевич. Ориентируюсь я хорошо. В лесу ни разу не заблудился.

— Это не плохо, но здесь все серьезнее. Запоминай дальше: считай шаги...

— Чтобы потом определить расстояние?

— Да. Но только — приблизительно. Ну, с этим все. Надевай компас на руку. Так... Теперь слушай дальше... Естественно, тебе надо видеть свой путь. Вот тебе второй фонарь.

— А зачем мне два, Борис Андреевич? Тут такие батарейки, что и одного хватит на несколько часов.

— Молчи и слушай. Один фонарь повесь на грудь, а этот положи в задний карман. Он — на запас. Мало ли что может случиться: упал, разбил. А в темноте вернуться невозможно. Вообще, если останешься вдруг без света, — сиди на месте. Иначе мы тебя не сумеем найти. А чтобы самому вернуться, — держи вот это.

Рынин подал Степанову несколько палочек мела.

— Тоже с запасом. Это очень важно. По направлению своего движения делай на стене мелом стрелки. И чтобы они были острием в одну сторону. Условимся, что стрелки будут всегда острием вперед, по ходу твоего движения отсюда... Запомнил?

— Да. Острием вперед, по ходу моего движения отсюда...

— Так, слушай дальше...

— Борис Андреевич, если бы вам пришлось инструктировать Тома Сойера, он никогда бы не заблудился со своей Бекки в пещере индейца Джо.

— Если бы он руководствовался такими советами, Сережа, — не было бы на свете чудесной книжки... — Рынин улыбнулся, но озабоченность сразу же вернулась к нему.

— Теперь учти еще вот что: лично я далеко отойти от этой дыры не могу. Может случиться даже, что я вынужден буду спуститься вниз. Ты тогда будь осторожен. Прежде чем спускаться, посмотри в дыру, послушай... Понял?.. Нам важно, чтобы враги ничего не узнали об этом лабиринте над гротом.

— Все ясно, Борис Андреевич.

— Ну, в добрый путь! Впрочем, стой! Еще одно: шагай осторожно. Не прыгай. Это — чтобы не было шума и чтобы случайно не провалиться тебе на голову часовому-подводнику.

— Я все понял, Борис Андреевич.

— Последний тебе вопрос: не страшно? Если страшно, — не стесняйся сказать.

— Раньше было бы и страшно, пожалуй, а теперь уже нет.

— Почему?

— Слишком много страшного кругом. А здесь я все-таки с вами, хотя и на расстоянии.

— Ну, иди быстрее, но не спеши.

Степанов нагнулся и скрылся в темноте.

Рынин подошел к дыре, наклонился над ней и тихо спросил:

— Ну как там, друзья, — все в порядке?..

— Пока порядок, Борис Андреевич, — вполголоса сказал в дыру Муратов.

Рынин начал осмотр ближайших ходов и, чутко прислушиваясь, занимался этим, пока не вернулся Степанов. Выслушав его обстоятельный отчет, Рынин дал ему новое задание:

— Теперь, Сережа, пройди, насколько только сможешь, вот по этому направлению... В сторону... И еще раз — будь осторожен.

По новому направлению Сережа шел быстрее. Идти было трудно. Приходилось задевать за острые выступы стен, ударяться головой о низкие своды. Душный воздух и одиночество начали угнетать сильнее. Стало казаться, что вот-вот рухнет позади и заживо похоронит. И уже не придется больше увидеть солнца и голубого неба, не вдохнуть чистого воздуха.

По-настоящему страшно стало Сереже, когда он чуть ли не шагнул в темную расщелину. Он инстинктивно отшатнулся от нее, отступил. Из расщелины ударило в

лицо тяжелой, затхлой сыростью. Чтобы узнать глубину, Сережа бросил туда камень, и он несколько раз ударился о стены, прежде чем плеснулся на воде.

Ширина расщелины была немногим более метра. Ее можно было легко перепрыгнуть, но сковывал страх. Если противоположный край расщелины обрушится от прыжка, — он, Сергей, полетит туда, в эту душную тьму, будет захлебываться черной водой, в которой, наверно, плавают какие-нибудь скользкие гады.

Сережа с трудом успокоил разыгравшееся воображение. Конечно, можно уже и возвращаться: он прошел далеко. Но пережитый страх не позволял этого сделать. Надо было преодолеть свою слабость. Стиснув зубы, он перепрыгнул на ту сторону и пошел дальше.

Вдруг что-то живое, ползающее, юркнуло между ног. Похолодев от омерзения, Сережа метнулся вперед и почувствовал, что куда-то проваливается. Он выбросил вперед руку и весь сжался, в ожидании падения и боли. Но боли не последовало. Был только сильный удар в пятки. Рука уперлась в стену. Фонарь сорвался с груди, ударился о камни и погас. И в то же время свет был: серый, тусклый, он исходил из круглого отверстия впереди.

Продолжая держаться за стену, Сережа свободной рукой вытащил запасной фонарь, нажал кнопку и увидел, что находится в просторной пещере. Впереди был выход из нее. И оттуда вливался скупой свет и холодный чистый воздух...

Сережа подобрал фонарь, прошел к выходу и осторожно вылез из пещеры.

Перед ним было глухое ущелье. Ни одного живого существа. Слева слышался шум прибора, справа был виден крутой поворот ущелья куда-то к северу.

Сережа проверил направление по компасу, внимательно заметил место и вернулся в пещеру. Теперь надо было торопиться обратно. Борис Андреевич наверняка уже беспокоится. И мало ли что могло там случиться за это время!.. На плечах у каждого из них теперь постоянно висела вероятность любой неожиданности — неприятной и страшной...

Сережа осторожно тронулся в обратный путь.

...Вечером, перед тем как новых помощников Рынина конвоир увел в лагерь, Рынин и Шерстнев улучили

возможность поговорить с глазу на глаз. Оба они остались очень довольны. Неожиданно открылась возможность решить важную задачу, которая до сих пор не поддавалась решению...

В КОМЕНДАТУРЕ ГЕСТАПО

Борщенко и Шакуна вызвали в комендатуру.

Шагая по каменистой дороге, Борщенко с беспокойством раздумывал, зачем он понадобился вместе с Шакуном. Неужели предстоят новые расспросы о его прошлом? В конце концов он запутается и тогда расправа с ним будет короткой! Провалится и его важная миссия. Начнут таскать затем еще и других товарищей...

Шакун, на ходу заглядывая в хмурое лицо Борщенко, по привычке разглагольствовал:

— Я ведь о тебе, Павел, все написал, все как есть! Полный рапорт...

Борщенко насторожился.

— Что ты написал обо мне и кто тебя об этом просил?

— Наш обер Хенке. Я так тебя разрисовал, — закачаешься!

— Когда ты это писал?

— Сразу, как ты появился... На второй день. И настоящую фамилию твою тогда вспомнил.

Теперь Борщенко стало ясно, откуда майор взял фамилию Бугрова и почему он по-своему перевел ответ Борщенко полковнику. Вот, оказывается, в какую бумажку все время заглядывал Реттгер... Но что еще мог вспомнить Шакун?..

— Рассказывай мне всю свою писанину, от начала и до конца! — потребовал Борщенко. — Может, напутал там что-либо нечаянно?..

Пока дошли до комендатуры, Борщенко вытянул из Шакуна в подробностях и с комментариями все содержание его рапорта.

Обогатившись, таким образом, еще некоторыми новыми фактами из биографии своего двойника, запоминая даты, имена, Борщенко вошел в комендатуру более уверенным в себе.

Дежурный гестаповец тщательно проверил документы явившихся и приказал:

— Вот здесь сидите и ждите!

Они уселись на скамью, приставленную к стене, у выхода, и стали ждать.

Борщенко сидел молча, мысленно систематизируя сведения, полученные от Шакуна, а тот, не решаясь беспокоить своего хмурого спутника, попытался завязать беседу с дежурным гестаповцем, которого знал.

Гестаповец коротко бросил:

— Сиди и молчи! Здесь не разрешается разговаривать! Не знаешь, что ли?!

Шакун замолчал и, не находя выхода своему нетерпению, беспокойно вертелся на месте.

Наконец из кабинета выглянул взъерошенный и злой Хенке. Увидев вскочивших со скамьи Борщенко и Шакуна, он приказал:

— Входите сюда! Живо!

Они вошли и остановились у порога, вытянув руки по швам. Хенке уселся за стол и начал рыться в бумажках.

— Подойдите ближе!.. Вот пропуск на обоих! — сказал он, обращаясь к Шакуну. — Сейчас же отправитесь в каземат и вывезите оттуда труп... Закопаете, где всегда... Если что найдете у мертвеца, — можете взять себе. Ясно?

— Ясно, господин оберштурмфюрер! — отрапортовал Шакун. — Разрешите идти?..

— Идите быстрее.

По пути в каземат Шакун принялся гадать:

— И кто же это мог сдохнуть?.. Чеха и поляка закопали в мое отсутствие... Югослав еще держится... Никак это инженер...

Борщенко насторожился: «Неужели, Андриевский?»

— Какой инженер? — заинтересовался он. — Расскажи!

— Русский. В Москве метро строил. Большой специалист. Его хотели заставить работать на строительстве, а он — ни в какую! Отказался наотрез.

— Ну и что было дальше?

— Били, ломали. Не помогло. Отказался — и всё!

— Что же, его расстреляли?

— Нет,

— Повесили?
— Да нет... Не то!
— Так что же?
— Закрыли в каменную гробницу и перестали кормить. Ни хлеба, ни воды! Понимаешь?..
Борщенко содрогнулся.
— И давно это?
— Почитай, недели две. А может, меньше, — не помню...

Потрясенный Борщенко помолчал. Шакун оживленно продолжал:

— После этого его два или три раза открывали и опять предлагали работать. Все равно отказался. Упрямый!.. Язык уже плохо ворочался, а фюрера такими словами обзывал, что повторить нельзя.

— А ты не сочиняешь это, Федор?

— Ну что ты! Там мой приятель работает. По моей рекомендации. Он мне все рассказывает.

Подошли к железным воротам, с небольшой калиткой в одной половине.

Шакун постучал. В калитке открылось окошечко, и оттуда выглянул эсэсовец.

— Давай документы! — приказал он, а затем, получив пропуск, захлопнул окошко.

Спустя несколько минут эсэсовец снова выглянул и, удостоверившись, что у ворот ожидают именно те самые, двое, — отодвинул тяжелый засов калитки и пропустил их во двор.

КАЗЕМАТ СМЕРТНИКОВ

За воротами Борщенко и Шакуна встретил начальник внешнего караула.

— Следуйте за мной! — приказал он и прошел к каменному строению у скалы. У массивной двери эсэсовец нажал кнопку звонка. Открылся глазок, после чего залязгали запоры и прибывших впустили внутрь.

Здесь уже ожидал начальник внутреннего караула. Он также внимательно проверил пропуск и молча провел их в глубь помещения. Там стоял еще один часовой. По знаку начальника он открыл тяжелую дверь и пропустил Борщенко и Шакуна дальше.

Тусклая лампочка освещала узкую площадку, от которой вниз уходили такие же узкие каменные ступени.

— Иди за мной, Павел! — пригласил Шакун и уверенно начал спускаться.

Внизу их встретил коренастый тюремщик, нетерпеливо позвякивая тяжелыми ключами, нанизанными на огромное кольцо.

— Что ты так долго канителился?! — грубо спросил он Шакуна по-русски. — Машина ожидает уже целые полчаса. И я из-за тебя торчу тут, внизу... Пошли скорее!..

Они двинулись по узкому, низкому коридору, вырубленному в скале. Стены и потолок были неровные, необтесанные. На полу лежал настил из досок, сколоченных поперечными планками. Под тяжелыми шагами Борщенко доски прогибались и из-под них брызгала грязная вода.

По обеим сторонам коридора, на равном расстоянии друг от друга, высоко от пола чернели толстые деревянные двери — короткие, почти квадратные, с зарешеченными вентиляционными окошечками в верхней половине. У одной из таких дверей тюремщик остановился.

— Здесь! — сказал он. — Ты, Федор, пойдешь со мной; я дам носилки. А он, — тюремщик кивнул в сторону Борщенко, — пусть стоит у этой двери и никуда не отходит. Иначе — беда!

— Да-да, Павел, замри на месте! — подтвердил Шакун и повернулся к тюремщику: — Осипов, познакомься! Это наш, из Киева... Бугров!

Осипов тяжело посмотрел на Борщенко и угрюмо добавил:

— Тут железный закон! Кто из нашего брата вступит в разговор со смертником, — сам немедленно попадает в гробницу. Железный закон!..

— Не двигайся, Павел! — еще раз подтвердил Шакун. — Это и есть каменные гробницы... А до Осипова тут был один, любопытный, так я же его потом и закапывал... Так что, не отходи!

Шакун и Осипов ушли в глубь коридора и свернули в какой-то закоулок, а Борщенко остался у квадратной двери. Несколько минут он стоял неподвижно, подавленный угнетающим душу подземельем и с трудом дыша тя-

желым воздухом. Глухо доносился тихий разговор Шакуна с Осиповым. Где-то капала вода...

У Борщенко сжалось сердце. Стало быть, здесь томятся товарищи. И нет возможности помочь им, хотя бы шепнуть несколько слов ободрения... Борщенко сделал несколько шагов к следующей двери, но тут же застыл на месте. Заскрипели мостки. Возвращались Шакун с тюремщиком.

Они подошли, продолжая перешептываться. Шакун приготовил носилки, а Осипов вложил ключ в скважину и с огромным усилием повернул. В замке заскрежетало, пронзительно взвизгнули проржавевшие петли, и дверь медленно открылась...

Осипов вытащил из кармана электрический фонарь и ярко осветил узкую дыру, выдолбленную в скале. Каменная гробница была пуста. Лишь два огромных паука, потревоженные светом, один за другим быстро пробежали в темный угол.

Осипов с усилием закрыл тяжелую дверь и мрачно посмотрел на Борщенко.

— Ты, наверное, отходил. Я не мог перепутать двери! — и он грубо выругался. — Тут лежал поляк, а инженер — рядом.

— Молчи, Ефим! — вмешался Шакун. — Ты можешь сбиться!..

Осипов еще раз выругался и, зловеще лязгая ключами, подошел к следующей двери.

В соседней гробнице лежал труп инженера.

— Вынимай! — бросил Осипов Шакуну.

Тот легко переложил мертвеца на носилки.

— Берем, Павел...

По спине Борщенко прошла дрожь, но лицо его, со стиснутыми челюстями, было непроницаемо. Он занял свое место, и они пошли... А вскоре уже сидели в машине, которая на большой скорости мчалась к побережью. Добравшись до главной дороги, машина понеслась еще быстрее, а затем внезапно свернула в узкое ущелье. Еще минут десять она двигалась по ущелью, все медленнее и медленнее и, наконец, остановилась.

— Выходи! — предложил Шакун. — Дальше не проехать: осыпь... Понесем на себе.

Они вышли из машины.

С трупом на носилках перебрались через подмерзшую осыпь. Ноги скользили, звенела щебенка, скатываясь вниз. За поворотом, обогнув скалу, Шакун, шедший впереди, скомандовал:

— Стоп, машина! Опускай носилки! Перекур! — и, хихикнув, добавил: — Все эти, которые здесь, отказывались работать. Вот и получили вечный покой!..

Только теперь Борщенко увидел, что они остановились перед длинной ямой-могилей. Он подошел ближе и заглянул в нее. Она еще не была заполнена до краев.

Борщенко смотрел в могилу и думал: кто они — эти неизвестные герои, не пожелавшие работать на врага? Почти у каждого из них где-то остались мать, жена, дети... И сколько еще людей будет оплакивать окутанные мраком неизвестности судьбы таких вот «без вести пропавших»!..

Полный горечи, Борщенко медленно повернулся — и оторопел. С папиросой в зубах, Шакун бесцеремонно шарил в карманах мертвого Андриевского.

Борщенко не выдержал. Одним прыжком он очутился около Шакуна, схватил его за плечи и отшвырнул в сторону. Тот кубарем отлетел к скале и с трудом встал, испуганный и обозленный.

— Ты что, Павел, сдурел?! Думаешь, я нашел что-то ценное? Да у него всего-то один паршивый портсигар. Вот смотри!..

Он, прихрамывая, подошел к Борщенко и виновато протянул руку.

Борщенко, все еще не в силах успокоиться, молча рассматривал потертый портсигар из карельской березы, с выжженной на крышке монограммой «ЕА» и датой «8 мая 1941 года». По неуверенному рисунку букв чувствовалось, что трудились над ним неумелые детские руки...

Стараясь удержать мысли Шакуна в том же русле, Борщенко резко приказал:

— А ну, раскрой!

Шакун торопливо открыл портсигар. В нем оказались лишь сложенная бумажка и изжеванный окурочек.

— Дай бумажку сюда!.. А больше там ничего и не было?

— Ничего... Это все его богатство...

Борщенко стоял мрачный, а Шакун продолжал оправдываться:

— Ты не подумай, Павел! Если бы нашлось что ценное, разве бы я скрыл...

Морщась от боли, он начал растирать ногу и плечо.

— Набросился, как медведь! Ведь я мог напороться на собственный нож. От твоего швырка все тело гудит. Не нагнуться к лопате...

Борщенко уже овладел собой полностью.

— Ладно. Иди к машине, посиди. С лопатой я и один управлюсь.

Успокоенный Шакун, прихрамывая, ушел.

Борщенко вытащил записку, развернул ее, но прочесть мелкие карандашные строчки в сумерках было невозможно, и он снова аккуратно сложил бумажку и спрятал в карман.

Затем Борщенко ухватился за лопату, выбрал место и принялся быстро рыть могилу. Он работал, как одержимый, временами используя и кирку. Грунт был трудный, смерзшийся. Скрипела галька, выворачивались камни, трещала лопата. Но вот и готово все...

Борщенко снял фуражку и осторожно уложил легонькое тело героя-москвича в могилу, затем быстро засыпал, прикатил от скалы тяжелый острозубый камень и установил его на могильном холмике.

— Прощай, дорогой товарищ Андреевский! Прощай!..

Дальше задерживаться было нельзя. Борщенко надел фуражку и быстро зашагал к машине, где его ожидал Шакун.

ПОРТСИГАР С МОНОГРАММОЙ

Ночью Борщенко приснилось, что его заживо замуровали в каменную гробницу и там на него напали липкие, холодные пауки. Он отбивался от них, содрогаясь от отвращения и ужаса. Проснулся Борщенко в холодном поту и долго лежал с открытыми глазами.

Несколько успокоившись, он снова заснул и снова оказался в подземном каземате смертников. И опять Борщенко проснулся и опять долго не мог заснуть. Лишь под утро он забылся тяжелым сном.

Разбудили его сменившиеся с ночных постов охранники. Они уже успели в столовой позавтракать и теперь,

укладываясь спать, спорили по поводу неоконченной накануне игры в кости.

Шакуна уже не было, и Борщенко смог без помех вернуться ко вчерашней записке.

Инженер Андриевский Е. А. указывал адрес семьи и писал жене: «...Он дорог был мне — этот скромный твой подарок, с каракулями нашего мальчика... Пусть сохранится у вас, как память о моей короткой тропе, на трудных путях от человека к человечеству...»

Борщенко прочел записку до конца и долго не мог успокоиться, взволнованный множеством интимных деталей, говорящих о больших чувствах любви и дружбы в семье Андриевских, оборванных злым врагом. Затем он бережно сложил листочек, тщательно обернул его чистой бумагой и спрятал.

Завтракать Борщенко пошел с другими охранниками. Но место свое за столом занял не сразу, поджидая Шакуна. Однако тот так и не появлялся.

Встретился с ним Борщенко уже вечером в казарме.

Посередине комнаты, за длинным и широким столом группа охранников с азартом играла в кости. Другие следили за игрой и активно реагировали на капризы «фортуны».

Шакун подсел к Борщенко на койку, возбужденный и довольный.

— У меня, Павел, хорошие новости, — зашептал он, опасливо поглядывая на увлеченных игрой немцев. — В славянской зоне — готовятся повсюду...

— К чему готовятся? — Борщенко сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

— К побегу. Я же тебе рассказывал.

— Ну куда отсюда бежать, Федор? Ерунда все это.

— И все равно готовятся, сволочи. Точные сведения...

— Все это враки! — решительно сказал Борщенко и, подчеркивая свое пренебрежение к распивавшим Шакуна новостям, попросил:

— Дай мне посмотреть вчерашний портсигар... На нем что-то было нарисовано.

— Портсигара у меня уже нет, — отдал земляку! — отмахнулся Шакун. — Да он ерундовый, ничего не стоит... Нет, все это серьезно, Павел!.. Уже организуется один отряд. Понимаешь?..

Борщенко весь сжался. «Разнюхал уже и это, сволочь!.. Правда, только об одном отряде... Какая же гадина ползает там? Но как узнать?»

Он повернулся к Шакуну и безапелляционно заявил:

— Бежать отсюда некуда, разве только утопиться! И все эти твои новости — чистейшая фантазия! Выдумка твоего осведомителя.

Шакун загорячился:

— Он не будет выдумывать! Это человек верный. Из нашего лагеря, власовец! Это мой земляк! Он в полном курсе и скоро подаст подробный рапорт.

— А ну тебя! — отмахнулся Борщенко, озаренный догадкой: «Тогда, на скале упоминался «земляк», сейчас — опять «земляк», и портсигар отдал «земляку», — одно и то же лицо...»

Продолжая демонстрировать пренебрежение к новостям, Борщенко сказал:

— И у меня там свои люди. Не один, а трое! Они мне тоже рассказывали о побеге. Но они забрались в дело глубже твоего земляка. Разговоры о побеге ведутся для отвода глаз. Там замышляется что-то другое. Побег отсюда — фантазия!..

Шакун озадаченно вцепился взглядом в лицо Борщенко. Тот продолжал:

— Не вздумай вдруг раззвонить об этом раньше, чем выяснишь, в чем там дело... Осрамишься... Когда будет настоящее, — можно действовать. И я тебе помогу тогда. Расскажи лучше, — где пропадал весь день?..

— А я был там.

— Где там? — непонимающе переспросил Борщенко.

— Да там... — замялся Шакун. — А что ты делал без меня? Наверно, отсюда ни шагу... Учись разговаривать по-ихнему.

— Да... Без тебя сидел весь день в казарме.

Шакун закурил и после продолжительного раздумья спросил:

— Так ты не советуешь пока докладывать?

— Кому? О чем?

— Начальству о заговоре.

— Ну что ты! Надо прежде выяснить все по-настоящему, что у них на самом деле. Поспесишь — людей насмешишь... И себя подрежешь!

Шакун молча докурил папиросу и встал,

— Пожалуй, ты прав. Ты помоги мне. Поручи своим ребятам разузнать все получше. И я своему скажу...

— Ладно, Федор. Раз сказал помогу, — значит, помогу!

— Ну, я пойду спать, — успокоился Шакун. — Устал до чертиков... Так наведайся к своим поскорее.

— Обязательно... Скоро наведуюсь... Ложись, а я пройдусь перед сном. Надоело весь день в казарме...

И Борщенко «прошелся»... В этот же вечер он имел встречу со Смуровым. Когда он вернулся в казарму, — Шакун уже крепко спал.

Через три дня после этого, отделившись от Шакуна, Борщенко с наступлением темноты снова улизнул «на прогулку». Он быстро добрался до знакомой пещеры и вошел внутрь.

Засветив электрический фонарь, Борщенко, следя за знаками, осторожно углубился в подземный лабиринт, тщательно проверяя по знакам, куда сворачивать.

Наконец он выбрался к стене седьмого барака. У крыльца его встретил Данилов и молча провел в знакомую уже кладовку.

— Садитесь, товарищ Борщенко. Сейчас все соберутся.

Не прошло и пяти минут, как члены комитета уже сидели на своих местах, вокруг бочки, заменяющей стол. Кроме уже знакомых Борщенко товарищей, было еще двое. Тусклая коптилка освещала суровые лица комитетчиков и создавала ощущение глубокой таинственности происходящего.

Смуров открыл заседание комитета и объявил:

— Докладывай, товарищ Ракитин, как обстоит дело с отрядом...

Ракитин, худошавый блондин, говорил спокойно, тихо.

— Отряд получился хороший, — заключил он. — По отделениям мы его разбили учитывая, кто в каких частях был на фронте. Ребята подобрались подходящие. Я доволен...

Задав Ракитину несколько вопросов, Смуров обратился к его помощнику:

— Не найдется ли у тебя, Гуров, сигаретки для гостя?

Гуров охотно вытащил из кармана портсигар, открыл его и протянул Смурову. Тот, не трогая сигареты, передал портсигар Борщенко.

Борщенко впился взглядом в знакомую монограмму «ЕА», выжженную на крышке, и дату «8 мая 1941 года». Он осторожно закрыл портсигар и вернул Смурову.

— Я не курю, товарищ Смуров.

Потом встал, прошел к ящику, на котором сидел Гуров, и стал за его спиной.

Смуров внимательно посмотрел в лицо Борщенко, перевел глаза на портсигар, который продолжал держать, и, разглядывая монограмму, спросил:

— Что это за монограмма на твоём портсигаре, Гуров?

— А это инициалы моего старого друга, который преподнес мне когда-то этот скромный подарок. Он дорог мне как память...

— Интересно. Поглядите, товарищи...

Портсигар пошел по рукам. А Смуров, как бы продолжая прерванный ранее разговор, спросил:

— А что ты, Гуров, скажешь об отряде?

— Я присоединяюсь к словам товарища Ракитина.

— А как фамилия товарища, подарившего тебе портсигар? — неожиданно, в упор спросил Смуров.

— Фамилия? — забеспокоился вдруг Гуров. — Фамилия Ефремов... Андрей Ефремов... Андрей Петрович Ефремов...

— Когда он подарил тебе портсигар? Отвечай быстро! Ну!

— Перед войной.

— Где?

— В Одессе. Да что ты, товарищ Смуров, так меня, словно допрашиваешь?..

— В Киеве был?

— Нет, не был.

— Врешь! Ты был там вместе с другими власовцами! Гуров побледнел, но продолжал держаться:

— Я протестую!..

— Тебе подарил этот портсигар твой земляк Шакун, с которым ты в Киеве расстреливал наших людей! — с ненавистью сказал Смуров и встал.

Вскочил и Гуров. Он рванулся к выходу, но был брошен на ящик обратно, придавленный рукой Борщенко.

— Выкладывай, Гуров, начистоту, кто ты и кого уже успел предать! — предложил Смуров.

Неожиданным прыжком Гуров попытался снова вырваться к двери, но снова был придавлен к ящику с такой силой, что затрещали доски. Тогда он сунул руку в карман. С обеих сторон его схватили Глебов и Анисимов.

— Обыщите его! — приказал Смуров.

Борщенко быстро вывернул карманы Гурова и вытащил оттуда пистолет и какие-то документы и бумаги. Все это он положил на бочку, перед Смуровым. Тот просмотрел документы, развернул большой лист бумаги и начал молча читать.

Лицо Гурова побелело.

— Вот, товарищи, смотрите, — медленно начал Смуров. — Донос в гестапо о наших планах, со списком руководящего центра и актива. — Смуров передал бумагу Митрофанову, и она пошла по рукам.

— Так, — продолжал Смуров. — Значит, ты уже трижды информировал о нас своего «земляка». Информировал предварительно, устно. А теперь приготовил рапорт, по всей форме, для высшего начальства. Сейчас мы будем судить тебя нашим революционным судом!.. Будешь отвечать на вопросы?..

Гуров молчал, стиснув зубы.

— Товарищи! Вещественные, неопровержимые доказательства предательской деятельности власовца Гурова — Пенкина перед вами, и они неопровержимы. Будут ли вопросы к подсудимому?

— Что же тут спрашивать? — сказал Виндушка. — Оружие и документы дают ответы на все вопросы. А рассказывать о своей провокаторской, изменнической деятельности он не хочет.

Гуров молчал, злобно сверкая глазами.

— Немедленно казнить предателя! — предложил Медведев.

— Немедленная казнь! — сказал Митрофанов.

— Немедленная казнь! — повторил Будревич.

— Вы не посмеете меня тронуть! — крикнул Гуров. — Меня будет искать гестапо, и вас всех заберут. Отпустите меня немедленно, и я больше о вас ничего не скажу.

— Нет, грязная тварь! Ты живешь последние минуты! — неумолимым голосом сказал Смуров. — Будут ли другие предложения?

Лица членов комитета были суровы и беспощадны.

... На следующее утро труп Гурова был обнаружен у подножия скалы, на узком повороте дороги. В его карманах нашли пистолет и пропуск гестапо на выход из лагеря.

Погоревал о Гурове один Шакун. Вечером, укладываясь спать, он рассказал Борщенко о потере «земляка» и попросил:

— Ты, Павел, уступи мне одного из своих. А то у меня нет сейчас подходящего человека. Помоги.

— Ладно, Федор, — великодушно согласился Борщенко. — Одного тебе, так и быть, отдам. Пользуйся...

Через несколько дней Борщенко свел Шакуна с человеком, выделенным для этой цели Смуриным. Комитет получил новую возможность использовать Шакуна для дезинформации врага.

БОРЩЕНКО ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩНИКОВ

Шли дни. Они складывались в недели, а с ними продолжалась и жизнь на острове — явная и скрытая. Явная — это издевательство над человеческим достоинством заключенных, расстрелы, каторжный труд до полного истощения сил... Скрытая — все нарастающая подготовка заключенных к восстанию и побегу.

... Хмурым и холодным днем, под свист пронзительного ветра, перемешанного с острым сухим снегом, хлеставшим в окна, — за столом казармы охранников в Центре разразилась ссора. Играли в кости. И широкоплечий, низкорослый Карл нарушил правила игры.

— Ты нарушил правила! — зловеще сказал его проигравший соперник, высокий, длинноносый Адольф.

— Я не мог нарушить правила!.. — не согласился Карл. — Не ври, глиста!

Рука у Адольфа была длинная, и за «глисту» Карл немедленно получил через стол сильный удар в нос.

Оба сцепились, нанося друг другу удары кулаками и тяжелыми сапогами. В драку ввязались другие: одни — на стороне Карла, другие — на стороне Адольфа. И вскоре всеобщая потасовка приняла угрожающие размеры.

Драка прервалась длинными рассуждениями Шакуна о русской зиме, и он заинтересованно стал наблюдать за ходом сражения.

— Павел, разними их! Что тебе стоит с твоей силой! Расшвыряй их в разные стороны. А то они еще порешат друг друга!

— Что ты, Федор, — разве можно нам лезть в их дела. Они — немцы. Ты как хочешь, а я уйду от греха. — И Борщенко, опасаясь нежелательных осложнений для своего положения, вышел в соседнюю комнату, наблюдая оттуда, как озверевшие немцы наносили друг другу здоревенные удары.

Шакун не выдержал. Он подскочил к наседавшим друг на друга Адольфу и Карлу и завертелся около.

— Карл, Карл, что ты делаешь! — выкрикивал Шакун. — Адольф! Ну зачем ты!..

— Да что ты суешься к нам, русская свинья! — обернулся рассвирепевший Карл, и Шакун получил от него меткий удар в зубы. Искры посыпались из глаз Шакуна. Он отлетел в сторону Адольфа и получил от того новый удар в ухо. Обалдевший Шакун свалился к ногам Карла, под быстрые удары его кованых сапог.

Несколько минут немцы нещадно дубасили взывшего Шакуна кулаками и ногами, пока, наконец, он не сумел подкатиться под чью-то койку.

Борщейко, наблюдая за побоищем, заметил, что дерутся немцы по-своему, по-немецки. Все они не щадили друг друга, но в то же время обегали столы, боясь их опрокинуть. И даже табуретки, разбросанные по комнате, были перевернуты случайно, при падении немцев, сбитых с ног.

Драка прекратилась мгновенно, с появлением оберштурмфюрера Хенке. Видимо, ему позвонили, и он явился на место происшествия самолично.

Всех пострадавших немедленно отправили в лазарет, который, кстати, был рядом.

Шакун успел добраться до своей койки и прикладывал лезвие ножа к огромной шишке на лбу. При появлении Хенке он встал и вытянул руки по швам.

Пока Хенке выяснял причину драки и кто ее затеял, из лазарета сообщили, что четверо на несколько дней останутся там. Остальные пострадавшие, после обработки, постепенно возвращались в казарму, залепленные пластырными лентами.

Хенке не на шутку встревожился.

Война на Восточном фронте до предела выжала людские резервы Германии. Армии на Востоке ощущали по-

стоянную нехватку в живой силе, таявшей под все нарастающими ударами русских. Здесь, на далеком островке, ресурсы охранных частей тоже были без излишков. И вдруг сразу выбывают четыре единицы! И хотя все пострадавшие обслуживали «западников», где было спокойнее, чем у русских, такой урон был чувствительным. Его надо было кем-то восполнять.

Тут Хенке увидел стоявших у своих коек Шакуна и Борщенко.

— Это еще что такое? — грозно спросил он, подходя ближе и разглядывая распухшую физиономию Шакуна. — Неужели ты посмел ударить кого-либо из них?..

— Нет, господин оберштурмфюрер, я пробовал их разнять.

— Ааа-а, ну это другое дело, — смягчился Хенке. — Кто же это тебя так разделал?

— Карл и Адольф, господин оберштурмфюрер, — виновато отрапортовал Шакун.

— Молодцы, здорово обработали! — похвалил Хенке и перенес свое внимание на Борщенко:

— А ты не пробовал разнимать?

— Нет, господин оберштурмфюрер! — ответил за Борщенко Шакун. — Он и меня останавливал, да я по глупости не послушался.

— Постой, постой, — вдруг вспомнил Хенке. — Ты, Бугров, говорил мне, что среди моряков с тобой были трое своих, власовцев. Живы они еще?..

— Павел, докладывай! — заторопил Шакун, переводя вопрос Хенке.

— Так точно, господин оберштурмфюрер, пока еще живы! — отрапортовал Борщенко. — Затаились. Они мне докладывают, что там делается.

— Ага... Это хорошо. А если забрать их сюда? Пусть послужат в охране.

— Павел, докладывай! — снова заторопил Шакун. — Плохо только, что не останется там моих глаз.

Борщенко коротко подумал и решил:

— Одного там надо оставить, господин оберштурмфюрер! А двух можно взять. Только их нельзя наряжать в охрану к русским. Их там сразу прикончат. А к западникам — вполне можно.

— Именно к западникам и нужно, — согласился Хенке. — А как их фамилии?

— Силантьев и Пархомов, господин оберштурмфюрер!

Хенке вытащил книжку и записал.

— Явишься сейчас в комендатуру! Я выдам распоряжение, и ты немедленно отправляйся в лагерь и выведи их из бараков. А завтра утром, к десяти, приведи ко мне!

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер!

— А они тоже говорят только по-русски?

— Они знают немецкий, господин оберштурмфюрер!

— Видишь, Бугров, они понимали, что немецкий язык им будет нужен. А ты — никак... Приказываю тебе учиться!

— Слушаюсь, господин оберштурмфюрер! Разрешите поставить их койки рядом с моей. Они мне помогут...

— Хорошо!..

Хенке тут же распорядился приготовить две новые койки и освободить для них место.

— Пойдешь за ними один! Там тебе переводчик не нужен! — приказал он.

— Разрешите мне пойти с ним, господин оберштурмфюрер! — попросил Шакун, бывший переводчиком в разговоре Хенке с Борщенко.

— Ты что, не слышал разве моего приказа?! — крикнул на него Хенке. — Оттуда тебя живого не выпустят! Понял?

Через десять минут Борщенко получил в комендатуре необходимую бумажку и зашагал в лагерь, к «славянскому» сектору, обдумывая неожиданную возможность расширить свои силы в рядах врагов.

Когда Борщенко пришел в ущелье, — было уже поздно. Измученные трудом люди укладывались спать. В седьмом бараке он разыскал Смурова, и тот, обеспокоенный, сразу же провел его в кладовую.

— Что случилось? По какому поводу так открыто?

Борщенко рассказал, что случилось.

— Теперь у нас есть возможность усилить связь с западными товарищами, — заключил он. — Разыскивай ребят. Надо с ними потолковать...

Смуров вышел и через несколько минут вернулся вместе с Силантьевым и Пархомовым.

Борщенко объяснил, что от них требуется.

— А ну их к черту! — заругался Пархомов. — Андрей! Ну как у тебя хватило нахальства втягивать Кирилла

Пархомова в такое грязное дело?! Нет, Пархомов не согласен!

— Да ты что, товарищ Пархомов, называешь грязным делом?! — сурово напустился на него Смуров. — Такая работа связана с постоянной смертельной опасностью и чаще всего заканчивается гибелью наших товарищей. А ты — «грязное дело»!

Пархомов слушал угрюмо, опустив голову.

— Я, товарищ Смуров, потомственный сибиряк! У меня вся семья коммунистическая. Отец, братья... Да они, если узнают, что я носил на себе форму врага и служил им, хоть и не взаправду, — не подадут мне руки! Нет, Кирилл Пархомов не согласен!

— Замолчи, Кирилл! — прикрикнул вдруг Борщенко. — А как же я, твой друг и коммунист, хожу в этой самой форме?.. Я служу не врагам, а всем нам, нашему делу!..

— Ты, Андрей, можешь. Ты выдержишь! — другим тоном заговорил Пархомов. — А я сразу же сорвусь, — как пить дать, сорвусь! Не выдержу и заеду в ухо настоящему охраннику. А то и прострочу его из автомата! Вот и провалю всех. И тебя — в первую очередь!.. Нет, Андрюха, я не гожусь. Не годен для таких штук Кирилл Пархомов! Не годен...

Смуров вопросительно посмотрел на Борщенко.

— А не завалит он тебя, товарищ Борщенко, на самом деле? С такими настроениями посылать его туда, пожалуй, действительно опасно.

Пархомов обиженно поднял голову.

— Это меня, Кирилла Пархомова, надо опасаться? Ты хватил через край, товарищ Смуров! Под самую печень подковырнул!

Борщенко улыбнулся.

— А ты, Кирилл, не городи чепухи. Не ломайся. Ты, товарищ Смуров, меньше его слушай. Он меня никогда не подведет! Он хитрый!.. Он любого гестаповца вокруг пальца обведет. Не притворяйся, Кирилл, и не отнимай понапрасну время.

— Ну и черт! — восхитился Пархомов. — Ведь уговорил! Ладно, Андрюха! За тобой я пойду хоть в самое пекло!.. Записывай, что Пархомов согласен. Давай инструкцию!..

Силантьев слушал разговор с Пархоновым молча. Теперь была его очередь что-то сказать.

— А я справлюсь, Андрей Васильевич, как вы думаете?

— Если Кирилл хитрый, то ты, товарищ Силантьев, смелый. А смелость и хитрость будут там как раз на месте. Собирайтесь оба быстрее. Сейчас вас проинструктирует товарищ Смуров. Наматывайте все на ус крепко. Понятно? А со мной еще вы успеете поговорить в дороге.

Через полчаса Борщенко шагал к Центру, в сопровождении Парконова и Силантьева — своих новых помощников в трудном и опасном деле.

Так еще двое коммунистов вступили на дорогу, требующую нечеловеческой выдержки, находчивости и бесстрашия, а в первую очередь — самоотверженности до конца.

Близился решающий день.

КАПИТАНСКАЯ ЗАСТОЛИЦА

Второй день стоят у причала транспортные суда «Берлин» и «Одёр». Круглые сутки заключенные — «славяне» и «западники» — выгружают доставленные на суда мешки, бочки и ящики с продуктами, строительные материалы.

Прибыла новая партия обреченных. С ними в лагерь пришли свежие вести о победах советской армии. Жажда активных действий нарастала с каждым часом. Требовались суровая выдержка и железная дисциплина.

Обычно, для развлечения эсэсовцев, корабли доставляли на остров длинные кинофильмы, героями которых были вездесущие гестаповцы. Казармы эсэсовцев снабжались свежими газетами и журналами, новыми приключенческими повестями и романами, где властвовал тот же герой — вооруженный с головы до ног ариец, неудержимо покоряющий все новые и новые «жизненные пространства» для Великой Германии...

На этот раз привезенные газеты и журналы заметно отличались от тех, которые были доставлены четыре месяца назад. О победах на Восточном фронте сообщалось довольно скупо. Но зато обстоятельно объяснялась воен-

ная целесообразность «выпрямления» Восточного фронта, что потребовало глубокого «отхода» немецких армий на запад.

Но, кроме этих газет, с кораблями прибыли живые люди. А в их передаче события на Востоке выглядели настолько мрачно, что говорить о них можно было только верным приятелям, и то с оглядкой.

Особенно нетерпеливо ожидал прихода судов Густав Рейнер — капитан подводной лодки, базирующейся на острове.

Ремонт подлодки затянулся почти на три месяца. Теперь, с окончанием ремонта, капитан Рейнер получил приказ в течение двух суток привести лодку в состояние боевой готовности. Стало быть, предстояла новая операция. А чем она кончится, — было известно только одному богу.

Вот почему капитана Рейнера очень потянуло отвлечься от черных предчувствий и «по-сухопутному» провести время со своим давнишним знакомым и собутыльником — капитаном «Берлина» — Штольцем.

В последний раз оба судна — «Берлин» и «Одер» — были здесь в июле. С того времени прошло четыре месяца. Срок не малый! И потому, как только суда пришвартовались к причалу и капитаны их выполнили все необходимые формальности, Рейнер уже сидел в капитанской каюте «Берлина» за столом, уставленным бутылками.

Два капитана — подводный и надводный — то и дело прикладывались к рюмкам.

— Куда девался обер Хенке? Почему он меня не встречал? — поинтересовался Штольц. — Его еще не убили заключенные?

— Нет еще, но обязательно убьют! — безапелляционно заявил Рейнер. — Хенке не угробили до сих пор только потому, что он завел себе телохранителей из русских перебежчиков. Но они же его и прихлопнут при первом удобном случае.

— А как майор Клюгхейтер? Все еще страдает либерализмом?

— Майор неисправим! — категорически отрубил Рейнер. — Видимо, и отправка его сюда, на остров, не повлияла на его убеждения, что на Россию не надо было нападать, что наша политика по отношению к славя-

нам — не уничтожение сорняков, а недопустимая жестокость. Он плохо кончит!..

— Да-а-а, майор добром не кончит! — согласился Штольц.

— Он всегда был белой вороной! — продолжал Рейнер. — Вся их фамилия такова. Там, где в семье есть музыканты и писатели, там настоящего немца никогда не получится!

— Что и говорить! У майора не такие руки, которыми Германия делает свою историю, — заметил Штольц.

— Интеллигентские руки в лайковых перчатках не смогут служить фюреру! — продолжал Рейнер. — Нужна железная хватка и стальные когти, чтобы на наших дорогах всегда оставались глубокие следы. И чем глубже эти следы, тем тверже будут шаги Великой Германии!..

Откровенную беседу собутыльников нарушил почтительный стук. В дверь осторожно просунулась голова боцмана.

— Господин капитан, вам напоминает о себе капитан Лутц.

Штольц встал.

— Придется тебе, дружище, побыть здесь одному, — сказал он Рейнеру. — Тут у нас одно неотложное дельце. Я вернусь быстро. Можешь пока почитать свежие газеты.

Оставшись один, Рейнер взялся за газеты.

Пробегая глазами по заголовкам, он накалялся все более, вслух выражая свое неудовольствие:

— Черт знает что стало с генералами фюрера! Уже две трети наших территориальных завоеваний в России отдали обратно! Украина потеряна, русские форсировали Днепр, Киев оставлен. Какое же это, к черту, выпрямление фронта! И куда смотрит фюрер! К стенке надо таких генералов! К стенке!

Рейнер смял газету и бросил ее под стол.

— Хватит! Эти русские обнаглели после Сталинграда. Надо сбить с них спесь!.. Пора!..

В тридцатых годах Рейнер, изучив русский язык, два года жил в Советской России в качестве помощника атташе, но был уличен в шпионаже и выслан. После этого и началась «подводная» карьера Рейнера. Но злоба к русским осталась у него навсегда.

Когда через час в каюту вернулся Штольц в сопровождении Лутца и оберштурмфюрера Хенке, Рейнер был уже пьян. Увидев Хенке, он налился яростью:

— А тебя, оказывается, еще не уколошил твой зубастый приближенный?! Придется эту миссию выполнить мне!

Рейнер начал шарить рукой у пояса, позабыв, что снял с себя всю свою сбрую, с пистолетом и кортиком, сразу же, как только пришел в каюту.

Хенке грубо осадил его на место.

— Сидите, капитан Рейнер! Вы забываете, что со мной подобные шутки неуместны и опасны!

Рейнер мешком завалился в кресло, но продолжал злобно выкрикивать:

— Почему ты, чистокровный ариец, якшаешься со всякой славянской неполноценностью? Изменяешь идеям нашего фюрера! Уничтожать, уничтожать надо славянскую моль! Беспощадно! Пачками!.. А ты?! Тыфу, слюнтяй!..

— Заткнитесь, капитан! — еще грубее оборвал Рейнера Хенке. — Придет время, — все будут уничтожены! А сейчас они еще нужны...

— Не хочу ждать! — заревел в ярости Рейнер. — Выпалывать надо эти славянские сорняки! Они постоянно стоят на нашей дороге! Еще раз, обер, — вы слюнтяй! Сухопутная крыса!.. Тыфу!..

Хенке окончательно рассвирепел:

— Вы много позволяете себе, капитан Рейнер! Очевидно, вы еще ни разу не были в гестапо! Я сейчас вызову своих людей, и вам придется отрезвляться в нашем изоляторе!

— Меня?! Капитана подводной лодки?! Старого члена нацистской партии?! Ах ты, сморчок!..

Штольц и Лутц с трудом предотвратили скандал. Но их попытка примирить бушевавшего Рейнера и кипевшего от ярости Хенке не удалась. Хенке уехал.

Сожаления по поводу его отбытия никто из капитанов не высказал. Даже и они не любили гестаповцев.

Всю ночь из капитанской каюты доносились песни вперемежку с буйными выкриками Рейнера и его проклятиями на голову либерала майора и «сухопутной крысы» Хенке. Только к утру капитаны заснули и в каюте установилась тишина.

Разгрузка прибывших судов шла безостановочно. Работа заключенных, казалось, была дисциплинированной как никогда. Но это только казалось...

... В темный ноябрьский вечер вновь собрался подпольный комитет «славянского» сектора, с участием председателя комитета «западников» Вальтера и с командирами всех отрядов и групп, которые впервые встретились вместе. Пришлось комитету переселиться на этот раз в помещение склада. Посты самоохраны были усилены.

Смуров доложил о готовности восстания. Говорил он недолго, но торжественно. Заключение его доклада также было коротким:

— Итак, товарищи, подвожу итоги. Важным обстоятельством явилась согласованность действий и взаимопомощь между нашим комитетом «славян» и комитетом «западных» товарищей. Теперь разногласия между нами о сроке восстания сняты самой жизнью. И сейчас мы действуем согласованно.

Смуров сделал небольшую паузу и повернулся к спокойно сидевшему рядом Вальтеру. Тот согласно кивнул головой. Смуров продолжал:

— Если одновременный захват складов оружия и пароходов мы проведем, как предусмотрено — внезапно и бесшумно, — успех первой половины нашего дела будет обеспечен. Нерешенным пока остался важный вопрос о радиостанции. Но если мы не выведем ее из строя в самом начале, — фашисты вызовут самолеты. И тогда нам отрежут пути к бегству или потопят, если мы даже успеем покинуть остров. Поэтому сегодня, в конце нашего заседания, нам предстоит еще рассмотреть два проекта захвата радиостанции. Ну вот, как будто все... Теперь по отдельным вопросам доложат другие товарищи.

Первое сообщение сделал начальник штаба Цибуленко:

— Известная комитету операция по вывозу со склада оружия и взрывчатки на машине (второй рейс, правда, чуть ли не кончился катастрофой) позволила нам вооружить все ударные группы. С сегодняшнего вечера они и другие отряды приведены в боевую готовность. Каждый

командир получил часы и знает, что ему предстоит сделать точно по минутам. Маловато эсэсовского обмундирования: только двадцать шесть комплектов. Оно нам понадобится всего на первые полчаса, но именно эти полчаса будут решающими.

Дальше последовали краткие сообщения командиров боевых групп и отрядов. Особое внимание привлекли группы захвата склада оружия, судов и связи. План захвата оружия имел два запасных варианта, на случай преждевременного обнаружения группы проникновения.

— Теперь слово предоставляется самому молодому командиру нашей подрывной группы, Сереже Степанову! — объявил Смуров.

Все насторожились.

Сережа, смущаясь, заговорил так тихо, что Смуров попросил его начать снова.

— Рассказывать особенно нечего! — еще более смущаясь, но громко продолжал Сергей. — Взрывчатку, завезенную в ущелье, мы перетаскали в лабиринт над гротом, а там делали то, что нам говорил и показывал Борис Андреевич. Он все соединял сам и экзаменовал нас здорово. Все вызубрили назубок! Завтра мы с Женей и Лёшей заберемся в пещеру, в назначенный час пройдем в лабиринт, подожжем бикфордов шнур и уйдем. Вот и всё. Часы нам Борис Андреевич отдал свои...

Сережа замолчал, не зная, что еще надо сказать.

— Теперь переходим к рассмотрению проектов захвата радиостанции. Слово командиру группы захвата — Пархомову. Рассказывай, товарищ Пархомов, — что намерен делать твой отряд?

Стало тихо. Все уставились на Пархомова. Он встал и громко шмыгнул носом.

— Прошу извинить, что выступаю перед комитетом в таком обличье, — Пархомов потряс себя за шинель охранника. Меня и Силантьева Андрей Васильевич представил перед фашистами, как своих «сообщников». Конечно, все это было нужно, но Пархомову приходится теперь шеголять в этой шкуре!

— Все это мы знаем, — перебил Смуров. — Ты держись ближе к делу.

— Можно и ближе к делу... Но тут Пархомов скажет, как всегда, прямо: плохо это дело. Проникнуть на мыс без боя невозможно. А захватывать радиостанцию с тре-

вогой по всему острову и жертвами наших товарищей — нам ни к чему. Радисты все равно успеют вызвать самолеты, о которых говорил товарищ Смуров. Поэтому отряд по захвату радиостанции Пархову не нужен! Берите этот отряд на другие дела.

— Погоди, товарищ Пархов! — перебил Смуров. — Что радиостанцию захватить в лоб без шума нельзя, это мы и так знаем. Но мне показалось, что ты придумал, как ее захватить хитростью. А ты начинаешь нам вроде доказывать, что ее надо вообще оставить в покое. Может быть, ты не понимаешь значения радиостанции для нас?..

Пархов подождал, пока Смуров кончит, снова шмыгнул носом и лихо сдвинул фуражку на затылок. По лицу его расплылась широкая улыбка.

— Да ты что, товарищ Смуров! Пархову ли не понимать значения радио? Я сам радист! И как можно оставлять радиостанцию в покое! Меньше, чем на вечный покой, для нее Пархов не согласен!

— Не понять тебя, Пархов, — удивился Цибуленко.

— Сейчас все объясню. Так уж у Пархова всегда получается, когда он выступает. Короче говоря, раз захватить станцию нельзя, — надо дать ей под дыхало изнутри! Вот в этом и есть мой план.

Пархов остановился, победно глядя на Смурова. Тот с недоумением ждал дальнейших слов докладчика.

— Но кто, когда и как сможет совершить эту операцию? — спросил Шерстнев. — Объясни это комитету, товарищ Пархов.

— Отвечаю, Василий Иванович, — охотно отозвался Пархов. — Никого из своих людей на радиостанции у нас нет. Ясно теперь, что вышибить дух из нее сможет только Пархов! Я отправлюсь туда один, но прихватчу с собой карманную артиллерию... А что в аппаратной более чувствительно к потрясениям и повреждениям, Пархов знает и сработает как надо... в самую точку!..

Пархов сделал паузу и снова самодовольно посмотрел на Смурова.

— Но как же ты туда попадешь? — спросил Смуров.

Пархов немедленно объяснил:

— А это обеспечил мне Андрей Васильевич. Он сегодня, вот только что, перед заседанием, добыл мне пропуск для прохода на мыс, на метеорологическую станцию.

Пропуск всего на один раз, по ерундовому поручению. Но на радиостанции побыть Пархому за глаза довольно будет и пяти минут. Это я говорю точно!..

Пархомов оглядел притихших товарищей и, явно довольный впечатлением от своих слов, спокойно сел.

— А как ты вернешься, если все это тебе удастся? — спросил Цибуленко.

— Пархомов — коммунист! — коротко и энергично отозвался Пархомов, не вставая с места.

— Ну и что? — допытывался Цибуленко.

— Что «что»? — огрызнулся Пархомов. — Не все же мы вернемся на Родину, к сожалению. Моя задача — чтобы вернулось как можно больше...

— Погоди, погоди, Пархомов! — встал Шерстнев. — Ты что же, сам, что ли, не хочешь вернуться?

— Хочу, Василий Иванович! Очень даже хочу! И долго ломал голову, как это сделать. Но никак не выходит, чтобы вернуться. Никак... Придется Пархому остаться. Но за жизнь свою я с фашистами поторгуюсь по-моряцки!.. В этом Пархомов постарается. Возьму патронный запас посolidнее.

После этого разъяснения Пархомова установилась глубокая тишина. Слышно было только тяжелое дыхание закашлявшегося Шерстнева.

Наконец встал Юзеф Будревич.

— Товарищи! Предложение надо принять. Но после взрыва на станции отряд должен пробиться на мыс и выручить товарища Пархомова. Обязательно!..

— Я возражаю! — сразу же встал Пархомов. — Чтобы пробиться на мыс, надо положить немало жизней. Потом, еще и охрана радиостанции не останется в стороне. Сколько это будет жертв из-за одного Пархомова? Пархомов все это уже прикинул, будьте спокойны! А в моем плане — коллектив наш теряет только одного человека. Тут простая арифметика подсказывает, что Пархомов, как всегда, прав!..

И он снова сел.

— Здесь, кроме арифметического, имеются еще и другие измерения, товарищ Пархомов! — медленно сказал Смуров. — А план твой надо принять. Он очень удачный. Что же касается твоих «арифметических» расчетов, то мы о них сейчас разговаривать не будем. Согласны, товарищи?.. Ну, тогда всё! Можно расходиться,

Все встали и направились к выходу.

Смулов попросил Шерстнева и Борщенко задержаться, а сам пошел проводить Вальтера.

Когда Смулов вернулся, он спросил:

— Уверен ли ты, Андрей Васильевич, в своей завтрашней операции? Ведь если мы не вызволим Рынина в первой половине дня, — его растерзают фашисты сразу же, как только рухнет грот.

— К похищению Рынина я приложу завтра все силы! — сказал Борщенко. — Видимо, Реттгер уже задумал что-то черное. Всю последнюю неделю Рынина не выпускают из подземелья...

— Да, это осложняет дело...

— Плохо еще, что к Рынину приставлен очень мрачный охранник, — добавил Борщенко. — От такого можно ожидать всего.

— Странно, — удивился Смулов. — А Вальтер говорил, что устроит к Рынину верного товарища. Очень странно... Жаль, что ты мне не сказал об этом раньше.

— Ну, подождем, чем кончится твоя, Андрей, попытка! — заключил Шерстнев и встал. — А сейчас пора расходиться. Уже поздняя ночь.

— Долгая будет для нас эта ночь, — задумчиво сказал Смулов, — ночь кануна...

ПОДЗЕМНЫЙ ХОД

Разгрузка прибывших судов шла полным ходом. Но не прекращались работы и по сооружению второго грота. Надводная часть его вчерне была уже готова. Теперь вынимали котлован для будущего водного бассейна.

Медленно прохаживались по боковым платформам эсэсовцы с автоматами, сверху следя за порядком в котловане. На своих обычных местах находились и надзиратели. Как и каждый день, заключенные вытаскивали на себе вагонетки, наполненные вынутой породой.

...Борщенко и Силантьев, в форме охранников, прошли в зону строительства грота рано утром. Как было условлено накануне, они разыскали Ракитина в самом заднем тупике грота. Здесь, на конечной платформе, работала в полутьме небольшая группа из отряда Ракитина.

Не выпуская из вида надзирателя, Ракитин провёл Борщенко и Силантьева в темный угол, к высокому деревянному щиту, большими железными скобами притянутому к каменной стене.

— За этим щитом начинается тоннель, о котором мы говорили, — тихо сказал Ракитин и, пошарив у стены, за бревном, вытащил оттуда небольшой острый ломик с загнутой рассеченной лапкой для выдергивания гвоздей. — Это я приготовил для вас. Иначе не оторвать ни одной доски. Теперь действуйте быстро, пока надзиратель в стороне.

Борщенко вложил ломик в зазор между бревном и доской и с большой силой нажал. Поржавевшие от сырости гвозди вырвались из бревна с резким скрежетом.

— Стой, — придержал Ракитин Борщенко. — Подожди...

Надзиратель завертел головой, не понимая происхождения необычного звука. Он повернулся и пошел в сторону щита, оглядываясь по сторонам. Потом на несколько секунд остановился, посмотрел вверх и снова пошел, приближаясь...

Неожиданно среди работающих поднялся гвалт. Несколько человек, споря между собой, бросились к надзирателю, как бы на его суд.

— Это мои ребята. Им сейчас здорово попадет от надзирателя, но на время они отвлекут его внимание, — пояснил Ракитин и скомандовал: — Отрывай другую!..

Борщенко одним коротким нажимом оторвал другую доску. При этом раздался не менее резкий скрежет, чем в первый раз.

Крики и брань около надзирателя усилились. Но он отмахнулся от скандалистов и поднял голову, с тревогой всматриваясь в темные своды.

— У нас тут были обвалы, — шепнул Ракитин, продолжая наблюдать за надзирателем. — Как видно, ему померещилось, что трещат своды. Эту его мысль я сейчас поддержу и, может быть, вызволю ребят. А вы исчезайте... Скорее!..

Борщенко и Силантьев один за другим пролезли в щель.

— В добрый путь, друзья, — шепнул на прощанье Ракитин. — Желаю удачи! Ребята здесь будут ждать вас обратно.

— Спасибо.

Ракитин придавил доски на старое место, и Борщенко с Силантьевым оказались в полной темноте.

Несколько минут они двигались в глубь тоннеля ощупью, проверяя каждый свой шаг. Лишь отойдя от щита подальше, они включили приготовленные заранее электрические фонари и, освещая дорогу, пошли дальше.

Шли минут пятнадцать, пока добрались до закругленного поворота. Отсюда тоннель стал просторнее. Стены и пол здесь были бетонированные.

— Теперь, Фома, держи фонарь ниже и свети только под ноги, — предложил Борщенко. — И шагай мягче.

Стараясь ступать тихо, они быстро прошли эту, сравнительно короткую, часть тоннеля и остановились перед таким же деревянным щитом, с каким они уже имели дело вначале.

— Проверим, не просвечивается ли он, — шепнул Борщенко.

Погасили фонари. Ни единой светлой точки. Полная тьма.

Борщенко приложился ухом к щиту и долго слушал. Тишина. Ни малейшего шороха. Сюда ли они пришли? Ведь за этим щитом должен быть освещенный коридор. По нему можно пройти к кабинету инженера Штейна, где под охраной мрачного Кребса работает Рынин.

— Включай фонарь, Фома, и свети мне...

Пока Силантьев светил, Борщенко внимательно осматривал доски. Они были прибиты изнутри тоннеля, и отрывать их отсюда было неудобно. Мешала стена. Однако Борщенко нашел щелку между нижними досками — их покорежило от сырости — и всунул туда острую лапку ломика.

— Гаси фонарь опять!..

Осторожно раскачивая ломик, Борщенко оторвал один конец доски без особого шума и осторожно оттянул его на себя. За открывшимся отверстием было темно.

— Что такое? — забеспокоился Борщенко. Он осторожно просунул руку с фонарем и осветил пространство по ту сторону щита. На расстоянии около метра впереди выход из тоннеля был завешен плотным брезентом.

— Все в порядке, Фома. Свети мне опять...

Отрывая вторую доску, Борщенко не рассчитал силу, и раздался такой треск, что оба невольно замерли.

Послышались голоса. Какие-то люди, разговаривая подошли к брезенту.

— Гаси фонарь, — шепнул Борщенко. Нагнувшись к оторванным концам досок, он плотно пригнул гвозди, затем придавил доски к бревну на старое место.

Разговор у брезента был слышен отчетливо.

— Нет, Курт!.. Кто-то лезет сюда из тоннеля. Отрывает доски.

— Давай проверим, Генрих. Ты стань с автоматом здесь, а я подниму брезент.

Борщенко и Силантьев затаили дыхание. Щели между досками засветились.

— Как видишь, Генрих, здесь никого нет. И доски на месте.

— Но я слышал, как отрывали доски!

— Померещилось это тебе, Генрих.

— Нет, не померещилось. Сейчас я прострочу щит автоматной очередью, туда-сюда... И если за ним кто есть, — там и останется!

— Стрелять нельзя, Генрих. Поднимешь напрасную тревогу.

— Молчи, Курт, — я ясно слышал. Держи брезент!

Щелкнул затвор автомата. Борщенко и Силантьев прижались к стене. Но неожиданно щит потемнел. Брезент опустился...

— В чем дело?! — раздался начальнический окрик.

— Господин шарфюрер! Генриху показалось, что кто-то лезет сюда из тоннеля! Трещали доски! — по-военному четко доложил Курт.

— Посмотрим! Подними брезент!.. Здесь все в порядке!

— А если, господин шарфюрер, кто-то там, за щитом. Затрещало так, будто выдергивали гвозди! Разрешите прострочить автоматной очередью!

— Отставить! Некому и незачем туда залезать! Доски трещат потому, что оседает грунт, садятся своды. А от стрельбы они могут и рухнуть. Расходитесь по своим местам!

Брезент снова опустился, и голоса, удаляясь, затихли.

— Фу-у! — облегченно вздохнул Силантьев. — Я аж вспотел.

— Рано потеешь, Фома. Впереди еще не то будет. А мы идем именно туда, — вперед... Прихвати ломик на всякий случай.

— Слух у этого черта хороший, — продолжал шептать Силантьев, пролезая за Борщенко в дыру, которую они снова открыли.

— У него слух, — у нас выдержка. Вот и выйдет наш перевес.

Они выбрались к брезенту и прислушались. Было тихо.

— Приготовься, Фома. Сейчас у нас будет самый трудный перевал. Попадемся — молчи до конца, чтобы делу не повредить.

— Все понятно, Андрей Васильевич, не повторяй.

Борщенко знал куда идти дальше. Он еще раз внимательно прислушался и, осторожно отодвинув брезент, выглянул в коридор. Никого не было.

— Пошли... Наблюдай, что будет позади...

Они выскользнули из-за брезента и зашагали по коридору направо. Ковровая дорожка позволяла идти бесшумно. Но также бесшумно из-за поворота мог появиться и встречный враг.

Подойдя к повороту, Борщенко придержал Силантьева за собой и выглянул за угол. Оттуда медленно шел эсэсовец с автоматом на груди.

Борщенко протянул руку назад, перехватил от Силантьева ломик и стал ждать.

Эсэсовец шел опустив голову, задумчиво отбивая пальцами на автомате какие-то такты. Не дойдя несколько шагов до поворота, он круто повернулся и также медленно пошел обратно.

Из-за угла Борщенко видел сейчас дверь с цифрой 1, в кабинет инженера Штейна. Чтобы дойти до нее, осталось только пересечь коридор. И сделать это надо немедленно. Сзади тоже мог появиться патруль.

Не спуская глаз с уходящего эсэсовца, Борщенко сделал знак Силантьеву, и они быстро перешли коридор, остановившись у желанной двери. Эсэсовец услышал шорох и обернулся, но одновременно Борщенко распахнул дверь и загородил ею себя и Силантьева, оставаясь на пороге.

Борщенко пропустил вперед Силантьева, закрыл за собою дверь и осмотрелся, готовый на все, с ломиком в руке...

В кабинете, кроме Рынина, удивленно наблюдавшего за происходящим, никого больше не было.

— Борис Андреевич, где ваш охранник? — спросил Борщенко.

— Вышел ненадолго. Сейчас вернется.

— Борис Андреевич, мы за вами! Нам поручено вывести вас отсюда. Иначе вас сегодня растерзают.

— Уйти не могу. Сейчас прибыл Хенке с автоматчиком. Вероятно, по мою голову. Они уже идут сюда. Вам надо сию же минуту исчезнуть.

— Борис Андреевич! Я действую по поручению комитета. Вы должны подчиниться!

Рынин встал.

— Если я сейчас исчезну, — будет объявлена тревога по всему острову. Понимаете, что это может означать для сегодняшнего дня?!

— Это действительно важно, — согласился Борщенко. — Но и с вами тут наверняка расправятся!

— Я сказал всё. Передайте это комитету. Разве можно из-за одного меня ставить под угрозу общее дело? Я остаюсь, а вам надо немедленно уйти. Немедленно!..

В коридоре послышались приближающиеся голоса.

— Ну, вот и они! Прячьтесь. — Рынин указал за портьеру, закрывающую небольшой альков, где стояла широкая кушетка Штейна.

Борщенко и Силантьев поспешно скрылись за портьерой.

В КАБИНЕТЕ ИНЖЕНЕРА ШТЕЙНА

В кабинет вошли Хенке с автоматчиком, Штейн и Кребс. Гестаповец был в состоянии явного возбуждения.

— Что вы тут натворили, доктор Рынин? Надо вывести из грота подлодку, а ворота не поднять. Почему?!

Рынин слушал гестаповца спокойно, не перебивая. А тот, нервно шагая между столом и альковым, где притаились Борщенко и Силантьев, продолжал выкрикивать:

— Не связано ли все это с тем, что вчера здесь завершили работы, которые были проделаны по вашим

расчетам?! И действительно ли эти работы были направлены на укрепление грота?! А может, — наоборот?!

Рынин продолжал молчать.

— Ну?! — Хенке все более распалялся. — Что же вы молчите, доктор Рынин?!

— Вы задали сразу столько вопросов, что, прежде чем на них ответить, надо серьезно подумать.

— Думать некогда! Подводная лодка должна выйти в рейс — и не может. Это не шутка! Отвечайте!!

— Вам я вообще отвечать не обязан, — невозмутимо сказал Рынин. — Я подчиняюсь только господину полковнику.

— Будете отвечать и мне! — угрожающе выкрикнул Хенке. — Мне поручено расследовать это дело!

Рынин молчал.

— А что думаете вы?! — остановился Хенке против перепуганного инженера Штейна. — Вы тоже отвечаете за состояние грота!

— Да, история с воротами очень странная, — согласился Штейн. Он достал из кармана большой платок и вытер вспотевшую толстую шею и жирный подбородок.

— Вы тоже усматриваете в действиях доктора Рынина сознательную злонамеренность? — спросил Хенке.

— Да, это похоже...

Хенке злобно глянул на Рынина и снова зашагал по кабинету.

— Надо быстрее поднять ворота! — приказал Хенке Штейну. — Как можно быстрее! Сколько вам потребуется для этого времени?

— Я еще не могу ответить, господин оберштурмфюрер.

— А когда вы ответите мне на этот вопрос точно?

— Сегодня, господин оберштурмфюрер.

— Ваш срок слишком неопределен. Ответите мне на этот вопрос ровно через полчаса. А через час ворота должны быть подняты! Не позже! Иначе — пеняйте на себя! Всё!

Штейн промолчал.

Хенке опять повернулся к Рынину.

— Вы сейчас поедете со мной! Собирайтесь!

— Мне нечего собирать... Все мое имущество — моя трубка,

Хенке вышел первым. За ним — Рынин, в сопровождении Кребса и эсэсовца с автоматом.

В кабинете остался один инженер Штейн, да затаившиеся за портьерой Борщенко и Силантьев.

Инженер Штейн, не подозревая, что в нескольких шагах от него находятся незваные гости, грузно уселся за стол и снял телефонную трубку.

Он набрал номер и, услышав знакомый голос своего помощника, спросил:

— Как с подъемом счита?.. Ничего не получается?.. Обер Хенке дал мне только час времени... Конечно, все это из-за проклятого Рынина и русских! Да-да, только один час!.. Торопитесь. Иначе придется отвечать и вам тоже!..

Дверь без стука отворилась, и в кабинет ввалился возбужденный помощник капитана подводной лодки — лейтенант Бютнер. Не скрывая своего раздражения, он спросил:

— Скоро ли поднимут щит? Или мне прикажете пробивать его торпедой? Но тогда и от вас останутся одни клочья, черт возьми!

Штейн раздраженно встал.

— Извините, лейтенант, но вы же знаете, что там работают сейчас мои техники. Надо подождать!

— Ждать я не буду! Вы ожирели здесь, тыловые крысы!

— Как вы смеете, лейтенант! — вскипел Штейн, тяжело отдуваясь. — Я член нацистской партии и верно служу фюреру.

Штейн задохнулся и, не имея сил продолжать, молча ткнул пальцем себя в грудь, где красовался железный крест. Бютнер презрительно отмахнулся:

— Мне сейчас на вас наплевать! Потрудитесь освободить для моей команды какое-либо помещение в вашем управлении. На время, пока не откроется для лодки выход из грота. Если, как мне объяснили, сели ворота, то почему не может вдруг сесть весь грот? Не очень-то приятно ждать, когда тебя живо похоронят в каменной могиле. К черту!.. Прошу распорядиться!

Штейн набрал номер телефона:

— Господин Бауэр!.. Из третьего и четвертого кабинетов переселите сотрудников в соседние. Временно. Сделайте это срочно, сейчас же!..

— Да-да! Срочно! Сейчас же! — подтвердил Бютнер. — Если сели ворота, — может сесть и весь грот!

Он поспешно вышел, а Штейн направился к алькову, чтобы отдохнуть хоть немного от пережитых волнений, но телефонный звонок заставил его вернуться к столу.

— Слушаю... Да... Слушаю вас, господин штандартенфюрер!.. Объявляете наше помещение на чрезвычайном положении?.. Слушаюсь! Да... Охрана при входе усилена еще раньше, по вашему личному указанию... Внутри по коридорам ходят автоматчики. Нет, немного, — двое. Пришлите дополнительно?.. Хорошо. А когда?.. Уже послали? Понятно... Я сейчас же распоряжусь и предупрежу всех сотрудников, чтобы имели личные документы наготове. Слушаюсь! Сейчас же сделаю!

Штейн положил трубку и торопливо вышел из кабинета, защелкнув дверь на замок.

Борщенко и Силантьев вылезли из-за портьеры.

— Фуу-у! — Глубоким вдохом Борщенко расправил грудь. — Ну, Фома, теперь наша задача — унести отсюда ноги подобру-поздорову... Но инженер, кажется, закрыл дверь на замок.

— Ломик у меня, — напомнил Силантьев.

— От ломика дверь трещать будет.

— Попробуем тихонько.

— Подожди, — может быть, дверь только на французском замке? — Борщенко осторожно повернул пуговку замка и тихонько нажал. Дверь открылась. Путь из кабинета был свободен. Но что в коридоре?..

Борщенко осторожно выглянул. Коридор был пуст.

— Пошли, Фома. Делай то же, что и я. И опять следы за тылом. Я буду впередсмотрящим.

Они вышли в коридор. Борщенко закрыл дверь. Замок щелкнул. Обратный путь в кабинет был закрыт.

ЧЕРЕЗ АВАРИЙНЫЙ КОЛОДЕЦ

Борщенко и Силантьев решительно шагнули от двери, в несколько секунд пересекли расстояние до угла и с ходу завернули во второй коридор.

Первое, что они увидели, был эсэсовец с автоматом. Но он шел не навстречу, а уходил от них, — медленно, размеренно шагая по ковровой дорожке.

Борщенко не повернул обратно, а пошел за ним следом, так же медленно и бесшумно. Силантьев, ошарашенный опасной близостью врага и не понимая действий Борщенко, пошел следом, не забывая наблюдать за тылом...

Чтобы добраться до завешенного брезентом входа в тоннель, надо было пройти примерно треть коридора. И Борщенко решил, что, если эсэсовец не оглянется и не появится кто-либо сзади, — они, поравнявшись с брезентом, юркнут за него — и тогда опасность останется позади.

Но у Борщенко сложился и другой вариант: если эсэсовец задержит их, — оглушить его и втащить в тоннель. И в этом случае путь к свободе будет открыт.

Так они шли все дальше и дальше, стараясь ступать неслышно. Неожиданно эсэсовец повернул голову и, вдруг что-то уловив, оглянулся. Пораженный, он остановился.

Борщенко и Силантьев продолжали идти, приближаясь к нему.

Не допустив их до себя на несколько шагов, эсэсовец вскинул автомат.

— Стой! Как вы сюда попали? — По голосу Борщенко узнал в эсэсовце Генриха.

— Убери автомат, — спокойно сказал он. — Не видишь, что ли, кто мы?..

— А кто вы? — продолжал допытываться недоверчивый эсэсовец, не опуская автомата.

— Мы пополнение для внутренней охраны. У вас введено чрезвычайное положение. Не слыхал, что ли?..

— Аа-а, только что слышал, — согласился эсэсовец, но автомата не опускал. — Не приближаться! Предъявите ваши пропуска!

— Да ты что, очумел?! — прикрикнул на него Борщенко. — Как же мы, по-твоему, прошли сюда? Пропуска у нас отобрали при входе. Иди и проверяй, если у тебя есть время. А нам надо срочно явиться к вашему шарфюеру. Где он?..

Эсэсовец, сбитый с толку спокойствием и уверенностью Борщенко, сообразил, что без пропусков они действительно не могли пройти сюда, через тройную внешнюю охрану. Он автоматом мотнул в ту сторону, откуда они пришли.

— Господин шарфюрер там. Вам надо назад...

— Ну, так бы и сказал давно! А то завел канитель. Нам надо срочно!.. Ну шагай, шагай своей дорогой! Да смотри в оба: чрезвычайное положение...

Борщенко круто повернулся и зашагал обратно. Силантьев последовал за ним, не забывая оглядываться.

Эсэсовец остался на месте, смотря им вслед, и только когда они уже подошли к повороту в первый коридор, встрепенулся.

— Погодите! — крикнул он. — А как же вы могли пройти мимо шарфюрера, если пришли оттуда?!

Борщенко и Силантьев, делая вид, что вопрос этот их уже не касается, продолжали спокойно уходить.

— Стойте! — крикнул эсэсовец и поспешил за ними.

Борщенко и Силантьев завернули за угол и сразу же бросились вперед.

Первый коридор был свободен, но пробежать его до появления преследующего их эсэсовца было невозможно. Куда бы свернуть?

Почти сразу же после поворота, против кабинета инженера Штейна, Борщенко заметил небольшой тупичок и светящийся красный шар с надписью «Аварийный колодец», а в конце тупичка — гофрированную дверь с такой же красной надписью.

Борщенко свернул в тупичок, подбежал к двери и ухватился за ручку. Дверь легко открылась. Красная лампочка тускло осветила нижний тамбур аварийного колодца, с начинающимися отсюда металлическими ступенями в виде прочных железных скоб, вбитых в заднюю стенку.

— Давай сюда, Фома!

Они вскочили внутрь, и Силантьев прикрыл за собой дверь.

Надо было быстро, в секунды, решать, что делать дальше.

В застекленное круглое окошечко в двери, напоминающее небольшой иллюминатор, Борщенко стал наблюдать за видимой частью коридора.

Если эсэсовец не появится здесь, — значит, он оставил их в покое, надеясь, что уйти им отсюда некуда и они будут проверены в зоне другого патруля. В таком случае, выждав благоприятный момент, можно будет сделать новую попытку добраться до тоннеля.

Если же эсэсовец появится в этом коридоре, — значит, он решил их задержать. И тогда дело осложнится.

Борщенко через иллюминатор увидел, как эсэсовец пробежал мимо, беспокойно оглядываясь назад. Значит, преследование началось. И, пожалуй, вряд ли сейчас будет возможно выбраться отсюда незамеченными.

А может быть, воспользоваться колодезем?.. Борщенко поднял голову и посмотрел вверх. Как высоко уходят эти ступеньки? И куда они выводят?.. Вверху колодца было темно, как в могиле. Но раз колодец приготовлен на случай аварии, — значит, по этой лестнице можно перебраться в какое-то другое помещение, выше...

И Борщенко решил:

— Лезем, Фома!

— Лезем, — Силантьев, не желая расставаться с лодком, засунул его за пояс.

Карабкались в темноте молча. Слышалось лишь шумное дыхание Борщенко.

Вдруг он остановился.

— Осторожно, Фома!.. Лестница кончилась.

Борщенко потрогал край колодца, а за ним — ровную каменную поверхность. Он стал на ощупь обследовать пространство впереди. Всюду — ровный каменный пол.

— Фома, вылезай сюда. Здесь просторно.

Они вылезли из колодца и прислушались. Внизу все еще было тихо.

Силантьев нащупал около себя холодную стену. «Что же тут такое?» Он вытащил фонарь и нажал кнопку. Яркий луч осветил небольшое каменное помещение кубической формы.

Быстрым движением Борщенко вырвал у Силантьева фонарь. Снова — тьма.

— Ты что, спятил? — зашипел он. — Ведь если снизу заметят здесь свет, — нас быстро найдут.

Однако пора двигаться дальше. Колодец должен иметь продолжение. Важно опередить погоню. Ведь эсэсовец сейчас ищет их там, внизу...

Эсэсовец действительно их искал. Он успел заглянуть в вестибюль и теперь устремился к аварийному колодцу — единственному месту, где они могли укрыться. Как гончая собака, почуявшая добычу, раздувая ноздри и держа наготове автомат, он подбежал к двери тамбура и открыл ее.

В тамбуре беглецов не было. Эсэсовец осторожно вошел внутрь и поглядел вверх. Темно. Но они там, только там!.. Теперь можно действовать. Дать тревогу или отличиться самому?..

Поколебавшись несколько секунд, он вытащил из кармана электрический фонарь, повесил его на нагрудную пуговицу, включил и осторожно полез вверх, следя за цифрами, показывающими высоту.

Пять метров... десять... пятнадцать... Двадцать... двадцать пять... тридцать... Высоко, черт возьми!.. Страшно!.. Но он всегда отличался смелостью. Еще несколько метров — и показался край площадки.

Высунувшись над краем колодца, эсэсовец сразу же увидел стоявшего Борщенко. Но это было последнее, что он увидел. На голову эсэсовца обрушился страшный удар, и он полетел вниз, лязгая автоматом о металлические скобы.

Тяжелый удар внизу разнесся далеко по коридору и загудел в колодце.

— Ну, Фома, замри!..

Внизу слышались голоса. Сначала один, затем еще один, а потом сразу несколько. Слова доносились вверх отчетливо:

— Насмерть!.. В смятку!..

— Да это Генрих!.. Он дежурил во втором коридоре.

— За каким же чертом его сюда понесло?!

— А кто дежурил в этом коридоре? — раздался властный голос шарфюрера.

— Я господин, шарфюрер!

— Ах ты, Курт?.. Ты все время был на посту?..

— Да, господин шарфюрер.

— Ничего подозрительного не замечал?

— Никак нет, господин шарфюрер.

— А как сюда попал Генрих?

— Не могу знать, господин шарфюрер. Но ему сегодня все время что-то мерещилось.

— Ах, да-да... Это он хотел стрелять...

— А не проверить ли колодец, господин шарфюрер? — предложил Курт. — На всякий случай...

— Да, проверить надо. Фридрих и Ганс! Снесите труп в вестибюль, вернитесь сюда и проверьте колодец снизу доверху! А ты, Курт, смотри здесь внимательно. Будь начеку!..

Голоса Курта и шарфюрера удалились. Все стихло. — Вот теперь давай свет! — приказал Борщенко.

При свете фонаря они обнаружили, что никакого продолжения колодца не было. Но куда-то вела металлическая дверь, плотно закрытая на тяжелый засов. Засов проржавел, и Борщенко с трудом отодвинул его с помощью пригидившегося и на этот раз ломика.

Дверь была тяжелая и открылась с трудом.

В лицо беглецов ударил дневной свет и свежий холодный воздух.

Борщенко и Силантьев быстро вышли и, плотно прикрыв за собой дверь, осмотрелись вокруг. Они были на вершине плосковерхой горы.

Теперь надо было незаметно спуститься отсюда и поскорее добраться до Центра. И они зашагали вниз — навстречу новым опасностям.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ ШАКУНА

Наконец-то Борщенко и Силантьев вздохнули свободно. Они благополучно добрались до казармы. Силантьева сразу же направили с поручением в комендатуру, а Борщенко пошел в столовую.

Шакун появился, когда столовая уже опустела. Увидев Борщенко, он быстро подошел.

— Павел! Ты мне нужен сейчас вот так! — еще на ходу заговорил он и выразительно чиркнул пальцем по своему горлу.

Шакун снял с груди автомат, с которым в последнее время не расставался, положил его на свободный стул и тяжело плюхнулся рядом. Подошла официантка, но он от нее отмахнулся:

— погоди! Потом!..

— Что с тобой, Федор? Чем так расстроен? — спросил Борщенко. — Может, требуется моя помощь?

— Мне нужна сейчас твоя голова, Павел! — заторопился Шакун. — Действовать надо немедленно, а с чего начать, — не соображу.

Он нагнулся ближе к Борщенко и, приглушив голос, зловеще сообщил:

— Русские сегодня начинают восстание.

Борщенко отшатнулся, точно ошпаренный кипятком. «Пронюхал, стервоза! Что делать?.. Убить его сейчас здесь же, на месте... И, пока будут возиться со мной, наши успеют сделать свое дело...»

Борщенко потянулся к автомату Шакуна, но тот понял это движение по-своему и придержал его руку:

— погоди, Павел. Слушай...

«Да-да, надо выслушать... Сообщил ли он уже начальству или сам узнал от начальства... Надо все выяснить».

Шакун торопливо продолжал:

— Узнал об этом только что... Случайно. Они притихли в последнее время, а сами, оказывается, готовились. Будут захватывать оружейный склад. Я еще не докладывал, но теперь надо действовать быстро, чтобы не опоздать, опередить. Помогай, как сделать это выгодней, — у тебя всегда это получалось.

Борщенко с облегчением вздохнул.

— Стой, Федор!.. Если дело идет о складе, то ты уже опоздал.

Шакун вскочил и тоже ухватился за автомат. Но теперь его удержал Борщенко:

— Дело со складом они уже оставили. Об этом и майор в курсе. Они затеяли другое. Ты сядь...

Борщенко усадил Шакуна рядом, отобрал у него автомат и положил на стул по другую сторону от себя.

— Я тебе все расскажу, ты слушай...

Шакун весь напрягся, нагнулся к Борщенко, ухватился за его руку.

— Они решили захватить мыс с радиостанцией, окопаться там за перешейком и вызвать по радио советские самолеты и корабли. Понял, какое дело затевают? Это тебе не склад!..

Шакун широко открытыми глазами уставился на Борщенко, переваривая полученную новость и готовый к действию.

— А когда? — выдохнул он.

— В том-то и дело, что скоро! — продолжал импровизировать Борщенко. — Вот разгрузят суда, потом будут перевозить на мыс какие-то грузы... Тогда они и собираются ударить...

Шакун обмяк и стал вытирать вспотевшее лицо.

— Раз это не сегодня, можно и пообедать, — решил он. — Очень хочу жрать. А ты мне рассказывай дальше. Помогай, Павел!

Шакун поманил пальцем официантку, приказал подать обед и снова повернулся к Борщенко, жадно ожидая его дальнейших слов.

Борщенко лихорадочно соображал, что говорить и как действовать дальше. «Надо куда-нибудь завести его и убить... Но куда?»

— Я тебе все расскажу, только не здесь. И даже дам кое-что. Полный план, со всеми подробностями и фамилиями. Словом, солидно все будет. Заработаешь хорошо.

— А у тебя всё с собой? — глаза Шакуна сверкали, ноздри раздувались от нетерпения.

— Ты обедай. А потом уйдем куда-нибудь. На твою горюшку, что ли?.. Надо все хорошенько обмозговать. Составим наш — твой! — план... Материалы все при мне. Все передам тебе, раз обещал. Бугров для тебя не жадный...

Шакун нетерпеливо заерзал. Ему расхотелось обежать. Он рвался к действию.

Подошла официантка с подносом. Шакун вскочил, отмахиваясь от нее. Она испуганно попятилась, а алюминиевые миска и тарелки полетели на пол.

Вскочил и Борщенко, суп выплеснулся ему на шею. Он торопливо расстегнул гимнастерку и начал вытираться.

— Да ты что же это натворила, шалава! — набросился Шакун на официантку. — По харе захотела?!

В желании угодить приятелю он изрыгал на нее грубую ругань, перемешивая русские и немецкие слова.

Угожливо повернувшись к Борщенко, который вытирал грудь салфеткой, сдернутой со стола, Шакун вдруг поперхнулся, подавился на полуслове и с ужасом уставился на Борщенко, словно увидел на нем скорпиона.

— Ну, что с тобой? — удивился Борщенко.

— А где же, Павел, твой бородатый водяной?

— Какой водяной? Что ты городишь?

— Как какой?.. В короне... С рогатиной... Татуированный... — Шакун тыкал пальцем в сторону обнаженной груди Борщенко и вдруг замер, бледнея и все шире открывая глаза.

— Так ты — не ты? — выдавил он наконец. — Вот почему ты все время какой-то другой. Обман. Подмена... Ага-а-а!.. Шпион-двойник!.. Аааа-а!..

Шакун по-звериному оскалил желтые зубы, быстро оглянулся и, не имея возможности достать автомат, ухватился за кобуру пистолета, лихорадочно расстегивая ее.

Борщенко все понял, и решение пришло немедленно: «Только бы не выпустить отсюда живым...»

— Да, стерва продажная, — процедил он с нескрываемой ненавистью. — Я — не он... Но я — это я! Советский моряк Борщенко.

Он легко притянул Шакуна к себе, перехватил пистолет и вместе с кобурой рванул вниз. Ремни лопнули, пистолет тяжело ударился об пол. Шакун в этот момент вывернулся и бросился к выходу, но Борщенко одним прыжком перехватил дорогу.

— Не уйдешь, гадина, никуда!..

Схватив стул, Борщенко швырнул его с такой силой, что в воздухе свистнуло.

Шакун присел, и стул пронесся над ним через весь зал, вломился в легкую фанерную перегородку посудомойки и обрушил с полок миски и тарелки. Звон рухнувшей на пол посуды смешался с пронзительным визгом находившихся там официанток и уборщиц.

Движения Шакуна стали расчетливыми. Он тяжело дышал и, не выпуская из вида Борщенко, рыскал глазами, выискивая возможность выскочить из зала.

Борщенко подхватил новый стул и медленно наступал, загоня врага в угол.

От страшного удара Шакун опять успел уклониться. Стул с воем пронесся над его головой, врезался в окно и вместе с рамой вывалился на улицу.

Звон стекла и треск рамы вызвал очередной взрыв женского завывания за перегородкой. Заглянувший в дверь эсэсовец немедленно отпрянул обратно. Он знал, что, когда русские дерутся, надо держаться в стороне, если хочешь сохранить в целости собственную голову.

Шакун не оборонялся. Он знал медвежью силу Борщенко. Нельзя было попасть в его железные руки. Спасение Шакуна было в увертливости. Дважды он пробежал мимо автомата, но схватить его не успевал. И вот, загнанный в угол, задыхаясь, по-крысиному тоненько

взвизгнув, он неожиданным прыжком вскочил на подоконник и, в последнем, отчаянном усилии, через зияющее отверстие выпрыгнул на улицу.

Борщенко схватил автомат и кинулся к двери. «Прострочить его очередью!» На ходу он подобрал пистолет Шакуна и вместе с кобурой засунул в карман. «Пригодится еще. Теперь уж наверняка пригодится...»

Заглядывавший в дверь эсэсовец отшатнулся, когда Борщенко пронесся мимо и выскочил на улицу.

Шакуна не было. С автоматом в руках Борщенко пробежал за угол, к дороге. Пусто и на дороге. Вдали виднелась машина, но она шла сюда. Борщенко вернулся и обежал столовую с другого угла. И здесь — никого. Шакун словно провалился сквозь землю.

«Прячется где-то здесь. Искать, искать гадину! Найти его во что бы то ни стало!..»

Борщенко ворвался в столовую через заднюю дверь. Два повара в белых халатах и белых колпаках, толкая друг друга, бросились в соседнее помещение и плотно захлопнули за собой дверь. Борщенко огляделся. Нет Шакуна и здесь. Он рванул на себя какую-то дверь в стене. Она с треском открылась, и с полок посыпались консервные банки. Метнулся еще к одной двери. Толкнул ее, и сразу же навстречу вырвался отчаянный визг женщин. Он отпрянул. Заглянул за перегородку — горы коробок, какие-то ящики... Нет Шакуна и здесь.

Борщенко выскочил на улицу, обежал здание и снова очутился у дороги, чуть не налетев на стоящий автомобиль. У машины стоял эсэсовец и разговаривал с Хенке.

— Бугров, в машину! — резко приказал он. — Быстро! Ну!

Мысли Борщенко были четки. «Если это арест, — буду стрелять». Но Хенке не расстегивает кобуру. Не проявляет враждебности и сидящий в машине переводчик-эсэсовец Хефтлигер. Автомат его спокойно лежит на коленях.

— Переведи ему! — крикнул Хенке переводчику, усаживаясь в машину рядом с шофером. — Надо торопиться!..

— Залезай скорее! — крикнул Хефтлигер. — Господин штандартенфюрер ждет!

Борщенко влез в машину, держа автомат на изготовку.

— Что тут у тебя произошло с Шакуном? — спросил Хенке не оглядываясь. — Из-за чего такая драка? Придется вам расплачиваться за погром... Да...

Борщенко молчал.

— Переведи ему! — приказал Хенке Хефтлигеру. — Пора бы уже научиться нашему языку. И пусть он приведет себя в порядок!

— Подрались! — коротко сообщил Борщенко. — Поспорили.

Он осторожно положил автомат на колени, платком вытер вспотевшее лицо, быстро застегнул гимнастерку и удивился, что из нагрудного кармана не выпала расческа. Причесался.

Делая все это, он думал: «Если Шакун при мне появится у полковника, — буду стрелять в него, в полковника, в Хенке. Все равно разоблачение — дело минут. Конец...»

Он извлек из кармана пистолет Шакуна, вытащил его из кобуры и, вместе с запасными обоймами, опять засунул в карман. Кобуру бросил под ноги и запихнул под сиденье.

Теперь он был готов к бою и твердо положил руки на автомат. «Живым не сдамся...»

Машина остановилась у главного управления, и все трое прошли в вестибюль.

ПОДВИГ МАТВЕЕВА

В это самое время, когда Борщенко очутился в вестибюле штандартенфюрера Реттгера, ожидая появления там Шакуна и своего разоблачения, — в это время в гавани шла разгрузка судов. Стучали лебедки. Отряды Митрофанова и Анисимова, скрывая под одеждой оружие, уже давно занимали свои места.

В капитанской каюте судна «Берлин» продолжалась попойка. Капитан подводной лодки — Густав Рейнер — разбушевался до штормового балла.

— Мне надо быть на месте майора! — кричал он. — Я давил бы русских каждый день — перед завтраком, обедом и ужином! Для повышения аппетита!..

— Если у тебя так горит нутро, — выйди на палубу и отведи свою душу, — предложил Лутц. — Там этих русских сейчас полным-полно.

Рейнер несколько секунд ошалело смотрел на Лутца, а затем загорелся:

— И выйду! И выдеру несколько сорняков!

Шатаясь, Рейнер встал, разыскал свои ремни с пистолетом и кортиком, с трудом напялил все на себя и отправился на палубу. Следом за ним, ожидая развлечений, поддерживая друг друга, зашагали и оба надводных капитана.

На палубе Рейнер наткнулся на Митрофанова, который был за старшего над русскими. Он расставил их по заранее намеченному плану и наблюдал за работой, помогая там, где было особенно трудно. Настроение у Митрофанова было решительное. С нетерпением ожидал он приближающегося часа, когда должен будет дать сигнал для действий отрядов на обоих кораблях одновременно.

Когда Рейнер вылез на палубу, Митрофанов стоял около своего земляка Матвеева, с которым до войны работал на Кировском заводе в Ленинграде.

— Ты позаботься вон о том охраннике, что стоит у канатной бухты.

Матвеев коротким крюком гасил раскачивание троса от лебедки, поднимающей из трюма тяжелый ящик с каким-то оборудованием. Не глядя на Митрофанова, он коротко ответил:

— Понял. Вижу. Хорошо.

— Вот ты мне и нужен! — заорал Рейнер по-русски, направляясь к Митрофанову. Тот, не понимая, оглянулся.

— Ты есть славянский сорняк на нашем арийском пути! — продолжал кричать Рейнер, приближаясь вплотную. — Я тебя сейчас буду выдергивать!..

— Уйди быстрее, тебе нельзя вступать! — бросил Матвеев Митрофанову и загородил его от Рейнера.

— Ты есть славянская моль! — снова выкрикнул Рейнер и, не разобравшись, что перед ним уже другой русский, выстрелил. Пуля врезалась в палубу. Пистолет плясал в непослушной руке пьяного капитана.

— Ах ты, фашистская мразь! — И Матвеев обрушил на голову Рейнера свой крюк.

Рейнер рухнул на палубу, обливаясь кровью. К Матвееву одновременно бросились несколько охранников и ударами автоматов сбили его с ног.

Штольц и Лутц попытались поднять своего незадачливого коллегу, но сами не удержались на ногах и растянулись рядом. Рейнер не шевелился. Лишь слабое мычание говорило, что он еще жив.

Подоспевшие два матроса снесли Рейнера на пирс, где дежурила машина, и она сразу же увезла его в Центр, в госпиталь.

Работа по разгрузке приостановилась. Всех заключенных собрали вместе. Охранники стояли с автоматами на изготовку.

Матвеева подвели к борту.

Вышедший вперед начальник охраны, шарфюрер Краух, прокричал через переводчика:

— Всякий, кто посмеет поднять руку на немца, — расстреливается на месте!

Стоявшие против Матвеева автоматчики приготовились.

В груди Митрофанова бушевала буря. Ведь выступить ранее срока, несогласованно с другими — это значит сорвать всю операцию, загубить все дело, вызвать кровопролитную расправу, в которой сотни людей будут беспощадно растерзаны. Но и молчаливо смотреть на казнь товарища, пожертвовавшего собой во имя общего дела, было нечеловеческой пыткой. «Дорогой Матвеев, друг... Сашка... Прости...» Слезы ползли из глаз Митрофанова неудержимо, застилая глаза, мешая видеть.

Все заключенные были точно наэлектризованы. Не сговариваясь, они приготовились броситься на мучителей, выступить на защиту товарища. Одно движение — и вся масса людей ринулась бы на охранников. Но сильный голос Митрофанова приковал всех к месту:

— Ни шагу! Стоять!..

— Товарищи! Спокойствие! — крикнул, в свою очередь, Матвеев. — Сохраните выдержку! Прощайте! Да здравствует свобода! Передайте...

Автоматные очереди оборвали его голос. Он, словно подрезанный, опустился на палубу. Эсэсовцы подняли его тело и бросили за борт.

Плеск воды полоснул по сердцам замерших заключенных.

— Теперь снова за работу! — прокричал переводчик.

— За работу! По местам! — скомандовал дрожащим, но отчетливым голосом Митрофанов. Слезы продолжали ползти по его щекам. — Спиридонов! Займи место Матвеева!..

Люди рассыпались по своим местам. Каждый понимал, почему сейчас так нужна выдержка, почему Митрофанов удержал их на месте. Да, иного выхода не было. Но пусть трепещут палачи!..

НА ГРАНИ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Хенке приказал Борщенко и Хефтлигеру ожидать в вестибюле, а сам прошел в кабинет Реттгера. Нервы Борщенко были напряжены. Каждую минуту он ждал появления Шакуна и лихорадочно строил всякие варианты своих действий.

Мятущиеся мысли Борщенко перебросились на Рынина. Если опасность, в лице Шакуна, еще только подкрадывалась к Борщенко и сам он имел возможность встретить ее во всеоружии, с автоматом в руках, то положение Рынина было намного хуже. С неотступным угрюмым Кребсом, безоружный и беспомощный, он не имел путей к спасению. Рынина увезли сюда. Он должен быть где-то здесь. Здесь должен остаться и Борщенко. Он обязан быть около. Если бы удалось еще передать Рынину пистолет...

По большим настенным часам, висевшим в простенке, Борщенко видел, что до начала восстания осталось менее двух часов. Но сколько же времени придется еще сидеть здесь, в ожидании неизвестности?..

Наконец Борщенко и Хефтлигера впустили к полковнику.

Оба вошли в кабинет с автоматами на груди и, прошагав в ногу, остановились перед столом, вытянув руки по швам.

Реттгер сидел беспокойно; толстым карандашом необыкновенной длины он нервно постукивал по золотому рыцарю. Рынин сидел в кресле; Хенке, как обычно, почтительно стоял. У двери дежурил мрачный Кребс с автоматом на груди.

Реттгер резко говорил:

— Вы, доктор Рынин, так и не объяснили мне, почему после дополнительных работ по вашим указаниям перестал действовать подъемник. Что случилось с выходным щитом? Почему его так заело, что сегодня невозможно было поднять, чтобы вывести из грота подлодку?.. Вы вместо объяснения напустили туман! Я не такой дурак, как вам кажется, доктор Рынин!

— Я, полковник, сделал то, что надо было сделать.

Реттгер злобно шелкнул карандашом по золотому забралу рыцаря, отчего оно закрылось, и, медленно отчеканивая слова, добавил:

— Еще вопрос, кому надо то, что вы сделали! Но если вы не освободите подлодку, мы, Рынин, не просто расстреляем вас, — нет! Вы по-настоящему узнаете, что такое гестапо, да! Узнаете и пожалеете, что родились!..

Рынин посмотрел на часы, стоявшие на сейфе, и холодно сказал:

— Вы, полковник, оказывается, всего лишь мелкий гестаповец застенка.

— Молчите, Рынин! — стукнул Реттгер кулаком по столу. — Не доводите меня до крайности!.. Обеспечьте немедленное освобождение подлодки!.. Иначе я применю к вам крайние меры!

— Я вам однажды уже объяснил, — невозмутимо продолжал Рынин, — с угрозами ко мне нет подхода...

Красное лицо Реттгера повернулось к Борщенко.

— Ты сможешь на него воздействовать?.. Переведи, Хефтлигер!

— Разрешите мне, господин полковник, переговорить с Рыниным наедине, — сказал Борщенко. — После разговора со мной он станет перед вами шелковым!

Все еще не остывший от ярости полковник подозрительно посмотрел на Борщенко и неуверенно повернулся к Хенкс. Тот пожал плечами.

— Вы ничего не потеряете, господин штандартенфюрер. Бугров очень решительный субъект. В этом я сегодня убедился.

— Ладно, Бугров. Сейчас ты поговоришь с Рыниным здесь. И помни, — за обман мы не поощрим и тебя!..

Резко зазвонил телефон. Реттгер снял трубку и стал слушать.

— Что-что?.. Как это случилось?.. Так... После окончания работы расстрелять каждого десятого русского!.. Проследите за этим лично и об исполнении доложите мне!..

Реттгер бросил трубку на рычаг, злобно посмотрел на Рынина, затем на Борщенко и нажал звонок. Немедленно вошел дежурный эсэсовец. Реттгер приказал:

— До моего возвращения надеть на Рынина наручники! Держать здесь, в карцере. А ты, Кребс, будь около!

В кабинет торопливо вошел майор Ключейтер. Он быстро приблизился к Реттгеру и что-то ему шепнул.

— Уже знаю! — раздраженно ответил Реттгер. — Еду сейчас в госпиталь. Вернусь через час.

И Реттгер вышел, сопровождаемый Хенке. Проклиная русских и Рейнера, он поехал в госпиталь. Не беспокойство за жизнь капитана понудило Реттгера лично посетить пострадавшего. Его беспокоил приказ о предстоящем выходе лодки в море. Если бы капитан Рейнер в другое время отправился в более далекое «плавание» — в самый ад! — Реттгер не моргнул бы и глазом. Но сейчас, когда каждый час надо быть готовым к отплытию, было о чем задуматься! А тут еще заклинился щит в гроте...

Ключейтер, задержавшись в кабинете Реттгера, повернулся к Борщенко.

— Бугров, следуй за мной! — приказал он по-русски.

Борщенко глянул на Рынина и медленно пошел позади майора.

У крыльца стояла машина. Мотор ее работал. Указав Борщенко на заднее сиденье, где никого не было, Ключейтер сел рядом с шофером, и машина тронулась.

Расстояние до тодтовской канцелярии майора было небольшое, и через несколько минут Борщенко уже входил в знакомый кабинет.

Ключейтер сел за стол и, поглядывая на молчавшего Борщенко, задумался. Ему было о чем подумать.

Полчаса назад в кабинет майора ввалился растерзанный и перепуганный Шакун. Прерывисто дыша, он еще с порога начал выкрикивать:

— Господин майор!.. Надо принять срочные меры. Бугров не Бугров!.. Он меня сейчас чуть не убил!..

Майор, не выносивший Шакуна, на этот раз отнесся к его выкрикам со всей серьезностью.

— Рассказывай все по порядку! — приказал он.

Шакун слизнул кровь, сочившуюся из пальца, порезанного стеклом, и, все еще тяжело дыша, продолжал:

— Понимаете, господин майор, — мне водяной помог! С рогатиной, большой!

У обычно сдержанного майора глаза округлились. Шакун пояснил:

— Он был у него на груди. Бородатый, в короне. И — вдруг его нету! Понимаете? Рогатина тройная, страшная! И он меня хотел убить!

— погоди, Шакун. Я ничего не понимаю. Что, тебя Бугров пытался заколоть, что ли, рогатиной?

— Да нет, господин майор! Этот водяной был с давних лет. Когда он был еще моряком. Бородатый, с трехзубой рогатиной. А теперь его у него не оказалось. А он исчезнуть не мог. Понимаете?

— Я ничего не понимаю! — начал терять терпение майор. — Отвечай лучше на мои вопросы; может быть, я и сумею разобраться в твоей ереси...

После ряда вопросов и путаных ответов майор Ключейтер постепенно уяснил события и задумался. Что Борщенко не Бугров, он знал уже давно. До сих пор майору не хотелось подводить под расстрел понравившегося ему умного, прямого и честного советского моряка, не по своему желанию принявшего на себя личину перебежчика. Майор понимал и всю сложность положения мнимого Бугрова и даже подумывал взять его в услужение к себе. Но как же быть теперь? Теперь, как видно, придется принять меры к задержанию Борщенко... А к чему это приведет?.. Еще к одной кровавой расправе над невинным.

— И потом, я должен сделать вам еще одно важное сообщение! — спохватился Шакун. — Русские замыслили напасть на арсенал, но потом передумали. Теперь они хотят захватить радиостанцию и вызвать сюда советские корабли и самолеты.

Майор молча посмотрел на Шакуна, продолжая думать о Борщенко.

— Ты кому-нибудь рассказывал о сегодняшней истории с Бугровым? — спросил он.

— Нет, господин майор. Господина оберштурмфюрера на месте не оказалось. И я поспешил к вам — по ранжиру...

Майор снова задумался.

— Я, господин майор, уже давно заметил, что он не тот! — изливался Шакун. — Не так он себя держал! Не пьянствовал... И не убил за все время ни одного человека... Бугров был не такой...

— Так ты давно заметил, что он не тот, не Бугров? — заинтересовался майор.

— Да, почитай, с первого дня!.. И после тоже...

— Что-то не пойму тебя, Шакун! — кривя душой, нарочито строго сказал майор. — Похоже, что ты все время был с ним заодно!

— Да что вы, господин майор! — испугался Шакун. — Я совсем другой!..

— Так получается, Шакун! — неумолимо продолжал майор. — Ты его выдал за Бугрова!.. Ты рекомендовал его в охранники! Большое хвалебное послание о нем сочинил. Я ведь читал. И господин штандартенфюрер читал.

— Что вы, что вы, господин майор! — в отчаянии воскликнул Шакун. — Да если бы я что-нибудь почуял в нем, — я бы в ту же минуту доложил. Я бы...

— Что ты меня путаешь! — сердито оборвал майор. — Ты передо мной не выкручивайся! Ты же сейчас признался, как с первого дня заметил, что он не тот, что он не Бугров! И молчал об этом, пока не подрался с ним сегодня! Заврался ты, Шакун...

Шакун сразу вспотел, не зная, как выбраться из тупика, в который сам себя загнал.

— Придется мне тебя арестовать! — еще строже сказал Ключейтер. — Ты обманул самого господина штандартенфюрера! И когда он узнает все это дело, он наверняка прикажет немедленно расстрелять вас обоих... вместе.

Шакун побелел. Ноги его задрожали, и он зашатался.

— Господин майор, спасите! — взмолился он.

— Вот что, Шакун! — строго сказал майор. — Придется тебе намертво прикусить язык об этой истории!.. Я к Бугрову приму меры, а тебя сейчас отправлю в карцер недельки на две! Может, поумнеешь! Но если об этой истории узнает господин штандартенфюрер, — ко-

нец тебе будет, Шакун! Понял?.. Скажешь, что я арестовал тебя за пререкания.

— Буду вечным вашим рабом, господин майор! — От пережитого ужаса и открывшейся надежды на спасение Шакун ослабел. Слезы вдруг поползли по его грязным щекам. Вид его вызывал непреодолимое отвращение.

Майор вызвал по телефону комендатуру и приказал выслать конвой за арестованным Шакуном. Через пять минут счастливый Шакун уже шагал под конвоем в карцер.

Оставшись один, майор Ключейтер вспомнил вдруг предупреждение Шакуна о замысле русских захватить радиостанцию. Конечно, это глупая фантазия Шакуна. Но нет ли здесь чего-либо другого, более реального? Например, попыток русских установить связь с работниками радиостанции?..

Майор забеспокоился. Вчера он подписывал пропуск, правда — разовый, на мыс некоему русскому Пархомову. Нет ли в этом начала каких-либо неприятностей?

Опасаясь всякого повода к массовым карательным мерам по отношению к заключенным, майор снял телефонную трубку и, связавшись с начальником караульной команды мыса, сказал:

— Вчера мною подписан разовый пропуск на проход через перешеек некоему Пархомову. Я аннулирую этот пропуск. Что?.. Только что прошел? Догоните! Отберите пропуск, а Пархомов пусть немедленно явится ко мне!.. Всё! Доложите затем об исполнении!

А потом поступило известие о трагической истории в гавани... Встревоженный майор поспешил к Реттгеру и там встретил Борщенко.

...И вот теперь, глядя на Борщенко, стоявшего с автоматом на груди, майор с беспокойством думал о тех репрессиях, которые неизбежно последуют за Рейнера.

Но что же делать с этим советским моряком?..

— Вот что, Борщенко!.. — начал майор. — Я вас предупреждал, что, если вы попадетесь, я уже не сумею вам помочь. Так вот, возникло важное обстоятельство...

Продолжительный звонок телефона прервал его мысль.

Майор снял трубку и обеспокоенно выслушал какое-то сообщение.

— Хорошо. Я сейчас же приеду.

Ключейтер посмотрел на часы.

— Разговор с вами, Борщенко, я прерываю на полтора часа. На это время можете быть свободным.

Борщенко облегченно вздохнул: «Эх, майор, майор! Если бы ты знал, как мне нужны именно эти полтора часа!.. Спасибо тебе, майор!.. Большого мне от тебя не надо!..»

— Разрешите идти, господин майор?

— Да, идите! Нет, постойте... Сдайте ваш автомат!

Борщенко заколебался, но, взглянув на майора, снял автомат и положил его на стол.

— Ну, теперь идите! И помните — только на полтора часа!

— Точно через полтора часа буду у вас, господин майор!

Борщенко повернулся и вышел.

ПАРХОМОВ ИДЕТ К ЦЕЛИ

Отяжелев от груза в карманах, Пархомов, пока добрался до мыса, здорово устал. Шагая по узкому началу мыса, вытянувшемуся чуть ли не на полкилометра, Пархомов успел хорошо рассмотреть высокую стену, перегораживающую мыс в узкой части, у самого входа на территорию, где были радиостанция и метеорологическая станция.

Стена была сложена из местного камня. Посередине ее зияла амбразура для пулеметов. Судя по глубине амбразуры, стена была толстая. А поверх ее, на вделанных в стену железных столбах, тянулась колючая проволока. С левой стороны к стене прижималась каменная пристройка, у входа в которую стоял часовой. Как видно, там были караульное помещение и проходная.

«Тут с маху не перескочишь!» — решил Пархомов, приближаясь к проходной.

Часовой, проверив документы Пархомова и его разовый пропуск на метеорологическую станцию, дал сигнал. Из караульного помещения вышел дежурный эсэсовец. Он тоже проверил документы и пропуск и молча провел Пархомова в проходную.

Там документы проверил сам караульный начальник.

— Куда ты идешь? — спросил он.

— На метеорологическую станцию.

— А зачем?

— По спецзаданию господина майора. Понятно?

— По какому спецзаданию?

— А ты инструкцию свою знаешь? — раскипятился Пархомов.

Эсэсовец недоумевая уставился на Пархомова. Тот, энергично размахивая рукой, продолжал:

— По инструкции, — твое дело проверить документы... А заданиями господина майора интересоваться тебе не положено!.. Понятно?

Начальник караула сердито промолчал. Пропуск у этого нахального власовца в порядке, и по инструкции его надо пропустить. А о дальнейшем пусть заботятся другие — те, к кому он направляется.

— Ты что, не пропускаешь меня, что ли? — грозно спросил Пархомов. — Может, мне вернуться к господину майору и доложить?..

— Проходи, проходи! — отмахнулся эсэсовец. — И не заблудись. Метеорологическая станция — прямо и налево.

— Найду без тебя! — огрызнулся Пархомов и пошел дальше.

Очутившись по ту сторону стены, он быстро зашагал прямо, а потом обогнул какое-то грязное сооружение и свернул направо. Пархомов твердо помнил, как ему идти, и, по описанию, сразу узнал единственное двухэтажное строение радиостанции с радиомачтами.

Именно в эту минуту в караульное помещение позвонил майор Ключейтер. Выслушав его, начальник караула, не опуская трубку, подозвал дежурного эсэсовца, который только что проводил Пархомова от наружного часового, и приказал:

— Верни этого охранника! Он пошел к метеорологической станции... Бегом!..

Выслушав майора до конца, начальник караула повесил трубку и выглянул за дверь. Никого не было. Он снова подошел к столу и взялся было за телефон, но передумал.

Вбежавший обратно запыхавшийся эсэсовец доложил, что охранника он не догнал и на дороге к метеостанции его не увидел.

— Может быть, он в уборную завернул? — высказал предположение начальник караула. — Как раз он мимо должен пройти. Беги туда! А я позвоню на метеостанцию.

Эсэсовец убежал, а начальник караула принялся звонить. Но с метеостанции ответили, что по дороге к ним никакого пешехода не видно. Когда же вернулся эсэсовец и доложил, что в уборной никого нет, начальник караула не на шутку встревожился. На его звонок из соседней комнаты выскочили другие эсэсовцы, и он немедленно разослал их на поиски строптивого охранника.

Все это произошло в течение каких-нибудь пяти — восьми минут. И, пока Пархомов шагал к радиостанции, эсэсовцы уже выбежали из караульного помещения на его розыски.

Подходя к радиостанции, Пархомов внимательно ее осмотрел. Строение было каменное, двухэтажное, но очень небольшое. Второй этаж — это всего лишь невысокая башенка. Но именно там и находилось аппаратное отделение, — это Пархомов знал. А внизу были вестибюль и две комнаты, где производились шифровальная работа, обрабатывались полученные радиосообщения, составлялись сводки и хранился архив.

Все окна в здании радиостанции были заделаны массивными железными решетками. У входа, поеживаясь на холодном ветру, прохаживался пожилой эсэсовец с автоматом.

— Стой! Тебе что тут надо? — остановил он Пархомова.

— Если бы не надо, — не приперся бы сюда в такую стужу, чтоб ее черт забрал! — выругался Пархомов в ответ и, поправив автомат, подошел к часовому вплотную. — Вот пропуск! У меня все по форме...

Эсэсовец, увидев знакомую голубую картонку, протянул руку. (Пропуск был написан действительно по всей форме, только подписи на нем были фальшивыми.)

Пока эсэсовец рассматривал пропуск, Пархомов вытащил пачку сигарет и закурил.

— Держи! — протянул он сигареты эсэсовцу. — Погрейся...

Тот снял перчатку, вытащил из пачки одну сигарету и вернул пропуск.

— А что тебе тут надо? — мирно спросил он, закури-
вая от своей зажигалки. — Тут сейчас только дежурный
радист и его помощник.

— Вот он-то как раз мне и нужен, — неопреде-
ленно ответил Пархомов.

— А что так?

— Срочное спецзадание от майора.. Понял?

— Аа-а-а-а, — протянул эсэсовец, не обращая внима-
ние на слова Пархомова, но заинтересовавшись его са-
погами. — Русские?

— Они самые... — Пархомов протянул пачку с сига-
ретами. — Бери еще, и я пошел. Дело срочное...

Эсэсовец вытащил еще одну сигарету, засунул ее за
ухо и, отвернувшись спиной к ветру, стукнул ногой об
ногу. Натягивая поплотнее фуражку, он заметил, что к
радиостанции спешили два эсэсовца, делая ему какие-то
знаки и выкрикивая что-то.

Часовой сделал вид, что не замечает их. Он на посту.
Они отсиживаются в тепле, а он — на ветру... И если им
что нужно от него, — пусть подойдут.

Пархомов тем временем прошел внутрь. Прямо пе-
ред собой он увидел крутую деревянную лестницу. На-
чинаясь с середины вестибюля, она верхней частью вре-
залась в площадку второго этажа. А внизу, по одну и
другую стороны от нее, бросались в глаза двери, обитые
железом, с крупными надписями: «ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН. ЗВОНИТЕ».

Пархомов, не задерживаясь, поднялся по лестнице и
очутился на площадке второго этажа, огражденной по
переднему краю деревянной балюстрадой. И здесь не-
ожиданно лицом к лицу встретился с другим эсэсовцем,
стоявшим у такой же, как и внизу, двери, обитой желе-
зом и с такой же крупной надписью: «ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН. ЗВОНИТЕ».

— Ты куда? — остановил его эсэсовец, преграждая
дорогу автоматом. — Не видишь, что ли, что сюда
нельзя!..

— У меня пропуск.

— Какой сюда пропуск? Иди вниз!..

— А я говорю — у меня пропуск! — напирал Пархо-
мов. — Вот смотри...

Эсэсовец взял пропуск и начал его внимательно рас-
сматривать. Радиостанцию посещали ежедневно разные

посыльные: и от самого штандартенфюрера, и от майора, и от гестапо... Но в аппаратную никто из них не заходил. А этот вдруг лезет...

— Вниз, вниз иди! — повторил эсэсовец, вглядываясь в подписи на пропуске. Лампочка была тусклая и висела высоко. Видно было плохо. Продолжая держать пропуск в руке, эсэсовец пристально посмотрел в лицо Пархомова.

— А кто ты? Я ни разу не видел тебя здесь до сих пор.

— Я вместо Фрица! — ляпнул Пархомов, наивно полагая, что среди немцев Фрицы есть всюду.

— Какого Фрица? — подозрительно уставился эсэсовец на Пархомова. — Предъяви-ка мне свои документы!

— Фу-ты, ну-ты, какой строгий! На, смотри! — Пархомов выхватил удостоверение и сунул его под самый нос эсэсовца. — А это вот мне зря, по-твоему, дали?! — Пархомов сорвал с груди автомат и потряс им перед лицом эсэсовца.

— Ты этим не маши! — отстранился тот. — А документы дай! Я тебе, как и всем русским, не верю. Хоть ты и власовец, — все равно ты свинья!

Пархомов энергично сунул эсэсовцу удостоверение, но сделал это так, что тот не удержал картонку с наклеенной на ней фотокарточкой. Желая подхватить документ на лету, эсэсовец нагнулся.

Это движение стало для него роковым. Коротким, но сильным выпадом Пархомов ударил его по затылку кованным прикладом автомата, и эсэсовец беззвучно уткнулся лицом в пол. Пархомов оглянулся: «Куда бы его убрать?» Площадка была маленькая — ни одного укромного уголка! Все открыто. «Разве только в ящик...»

Около стены стоял большой деревянный ларь с наклонной крышкой. Пархомов открыл его и заглянул внутрь. Ларь наполовину был заполнен песком. «Ага, — на случай пожара...» Пархомов подхватил эсэсовца под мышки и быстро засунул в ларь. Автомат с немца снял: «Это еще пригодится...»

Действовал Пархомов быстро. Но все же наверху он находился уже минуты четыре — пять. И за это время эсэсовцы из караульного помещения уже достигли радиостанции и сейчас внизу, у входа, набросились на часового: почему тот не обратил внимание на их знаки

и крики и не задержал русского. Пархомов слышал их ругань. Медлить было нельзя.

Он с силой нажал на окованную железом дверь, но она даже не дрогнула. Тогда он стал резко, с короткими перерывами нажимать на кнопку звонка... Послышался лязг задвижки, в двери открылось маленькое окошечко, и оттуда показались мясистый нос, лохматые брови и маленькие острые глазки.

— Что случилось? Что надо? — спросил радист.

— Открывай скорей! — приказал Пархомов. — Не видишь, что ли, кто я?

Немец непонимающе впился взглядом в лицо Пархомова.

— Сюда нельзя! Не разрешается!

— Открывай, говорю! Быстро! У тебя сейчас будет авария, — взрыв! Поворачивайся, черт возьми! Дорога каждая секунда!

Внизу тревожно хлопнула дверь, и в вестибюль с громкими криками ввалились эсэсовцы.

— Открывай, стерва! Или получишь сейчас вот это! — Пархомов сунул в окошко ствол автомата.

Перепуганный радист торопливо отодвинул тяжелый засов, и Пархомов вломился внутрь. Перехватив в одну руку оба автомата, он закрыл за собой дверь и задвинул засов. Также быстро он захлопнул окошко, затолкав до отказа задвижку.

Растерянный и перепуганный радист молча смотрел на действия Пархомова, ничего не понимая.

— Ну, показывай быстрее аппаратуру! — приказал Пархомов, повесив один автомат на грудь, а второй взяв в руки.

Радист заспешил вперед.

Коридорчик был короткий — не более двух метров. А за ним, сразу за портьерой, аппаратная.

— У тебя оружие есть? — на ходу спросил Пархомов.

— Нет.

— Может, кинжал имеется?

— Только перочинный нож и вилка.

— А не врешь?

Немец испуганно оглянулся.

— Ты не оглядывайся, а быстрее показывай, где какая у тебя тут аппаратура...

— Адская машина, что ли, здесь? — все более пугаясь, спросил радист.

— Хуже! — обрезал Пархомов. — А есть ли где запасная аппаратура, если эта окажется взорванной?

— Есть, но она здесь же.

— Где?

— Вот в этой кладовой.

— Но, может быть, есть еще где на острове?

— Нет. Только здесь.

Пока бледный радист, запинаясь и торопясь, показывал и объяснял расположение аппаратуры, резко зазвонил звонок. Одновременно в дверь загрохотали тяжелые удары прикладами.

Радист бросился в коридор, но Пархомов его остановил. *

— Ты не лезь... Я сам...

Он прошел к двери, отодвинул задвижку и рывком открыл окошко. Сунув в него автомат, он веером дал очередь.

От двери отвалились двое, срезанные насмерть.

Пархомов быстро выглянул. Больше на площадке никого.

— Живее выходи отсюда! — приказал он побелевшему радисту. — Будет взрыв — пострадаешь... Ну, поворачивайся! Сейчас Кирилл Пархомов будет показывать, что такое сибиряк!..

Радист, шатаясь, боком вышел на площадку и, споткнувшись о труп, почти без сознания скатился по лестнице.

Пархомов подобрал автоматы мертвых эсэсовцев и вернулся в коридор. Он плотно закрыл за собой дверь, до упора задвинул тяжелый засов, также тщательно закрыл окошечко и прошел в аппаратную.

ПЕРВЫЙ РЕШАЮЩИЙ ЧАС...

Короток день в ноябре на острове обреченных — всего два часа! — и мучительно длинна ночь. Но на этот раз она — эта ранняя долгая ночь — была союзницей в борьбе за свободу. Только под ее покровом смогли двадцать смельчаков спуститься с высокой скалы в расположение склада с оружием.

Территория склада была невелика. К отвесной скале были пристроены блокгаузы, где хранились оружие и боеприпасы. Скала была прочным тылом склада, а спереди и по бокам он ограждался высокими столбами с густыми рядами колючей проволоки и с вышками для часовых по углам; по сторонам железных ворот имелись амбразуры с пулеметами наготове.

С самого основания этого склада тишину на нем нарушали лишь завывания ветра да неумолкаемый грохот прибоя. И к ровному, усыпляющему покою здесь привыкли, как к должному.

В этот темный ранний вечер от блокгаузов к воротам подошла группа вооруженных людей в форме эс-совцев.

— Почему не вовремя и откуда вас так много? — удивился караульный у ворот. — Что случилось?

— Сейчас объясню, — ответил шедший впереди. — Держи пока папиросу!..

Но часовой так и не успел ни закурить, ни получить ответ. Оглушенный ударом в голову, он беззвучно опустился на камни.

Действия ударной группы разведчиков были четки, быстры и рассчитаны до мелочей заранее. Через несколько минут на вышках уже стояли другие люди, в караульном помещении у телефона сидел Медведев, а в открытые ворота бесшумно прошел большой отряд. Еще через десять минут склад с оружием находился в руках восставших.

Несколько позже во двор склада въехали восемь фургонov, захваченных на автобазе. Две машины с оружием были отправлены в гавань, а другие, с вооруженными людьми, разъехались в разные пункты, для дальнейших действий и перехвата коммуникаций острова. К арсеналу потянулись пешие отряды. Они вооружались и в строгом строю уходили по назначению.

В гавани в это время события развернулись по-другому.

После расстрела Матвеева прошло около двух часов. Уже давно опустились над островом густые сумерки. Горели яркие фонари, освещая палубу. Все это время работа на судах продолжалась в молчании и была как никогда четкой. Дисциплина и порядок казались образцовыми.

Шарфюрер Краух снова поднялся на палубу, в сопровождении двух автоматчиков и переводчика. Медленно шагая, он внимательно всматривался в лица работающих, выискивая непочтительность или дерзость, к чему можно было бы придаться.

Наконец он остановился. Ему показалось, что нашлось нечто, заслуживающее внимания. Группа русских, напрягая силы, безуспешно пыталась высвободить металлическую сетку, наполненную тяжелыми ящиками, которая застряла в люке.

Несколько минут эсэсовец молча наблюдал за бесплодными усилиями ослабевших от многочасовой работы людей. Затем он подошел ближе.

— Вы что же это возитесь столько времени?.. Закупорили люк!.. Живее, живее!

Не глядя на эсэсовца, работающие снова попытались высвободить тяжелый груз, но снова ничего не вышло.

— Быстрее, говорю! — злорадно крикнул эсэсовец, подходя еще ближе. Молчание и казавшееся покорное безразличие работавших поднимало у него желание поиздеваться, показать свою власть.

— Молчите? Притихли, наконец?! Поняли теперь, что значит поднять руку на немца?! — все более распалялся эсэсовец. — Я сейчас буду плевать вам в глаза, и вы не посмеете мне возражать!..

Эсэсовец подошел к работающим вплотную и, ухватив за ухо стоявшего ближе к нему украинца Григория Марченко, попытался вывернуть его голову лицом в свою сторону.

В это время зеленая ракета с шипением пронеслась мимо судов — и одновременно эсэсовец получил сильный удар в переносицу. Он отпрянул назад, хватаясь за автомат, но на обеих его руках повисли двое. Автомат с него сорвали.

Здоровый, как бык, откромленный эсэсовец рванул руки. Казалось, что истощенные, измученные люди должны были бы сразу же оторваться. Но накопившаяся ненависть утравила их силы, и они впились в руки врага, как клещами.

— Этого надо взять живым! — крикнул, задыхаясь, Марченко. — Он главный палач Матвеева.

Люди сплелись в клубок. Позади, где эсэсовец оставил автоматчиков, он тоже услышал борьбу, глухие удары, затем треснули выстрелы. Наливаясь злобой, эсэсовец с силой ударил коленом в живот наседавшего на него Марченко. Тот застонал, надломился, но не оставил руку врага, впился в нее еще и зубами.

Эсэсовец получил новый удар в лицо. Огромным усилием он вырвал другую руку, дотянулся до кобуры, вытащил пистолет, но выстрелить не успел. Кто-то ударил его прикладом в лоб, и он рухнул, как подкошенный.

В эти несколько секунд палубы судов и причал наполнились треском выстрелов, шумом рукопашной борьбы и разноголосыми — русскими и немецкими — выкриками. В течение короткого времени суда и пристань оказались в руках восставших, неотвратимых в своем бешеном натиске.

Радиорубки обеих кораблей были захвачены в первые же минуты. На «Берлине» группа бойцов, под командой старшины Алексея Самохина, вломилась в радиорубку, вооруженная пистолетами и гранатами.

— Хенде хох!¹ — скомандовал Алексей.

При виде гранаты на лице радиста, сидевшего с наушниками на голове, отразился ужас, и он свалился на пол. Наушники с треском сорвались с его головы, гулко ударились о металлическую дверцу шкафа. Радист, ожидая взрыва, крепко закрыл глаза и перекатился в угол.

— Вылезай, вылезай! — крикнул Алексей по-немецки, направляя на радиста пистолет.

Радист открыл глаза, шатаясь встал и поднял руки. Был он в форме гражданского связиста.

Алексей быстро обыскал его.

— Где оружие?

— Мне оружие не положено. — Радист трясся, как в лихорадке.

— Показывай свое хозяйство! — приказал Самохин. — А ты, Петр, осматривай аппаратуру.

Дрожащими руками радист открывал ящики, шкаф, показывал Петру Лемешко, где что находится.

— Всё показал?

— Всё.

¹ Руки вверх!

— Ну, теперь пошли!

— Куда? — Челюсти радиста мелко дрожали. — Вы хотите меня расстрелять?.. Но я не воевал... Я только хотел здесь получше заработать.

— Чего ты трясешься, как овечий хвост! — презрительно сказал Самохин. — Мы таких не трогаем. Мы же не эсэсовцы!.. Мы советские люди!..

Радиста увели в трюм, где собирали всех пленных.

В капитанской каюте на «Одере» забаррикадировалась группа эсэсовцев, отстреливаясь из автоматов и пистолетов. Бойцы отряда Анисимова выломали дверь, и эсэсовцы были перебиты. Понесли потери и нападавшие...

Бои шли не только на судах, но и на территории гавани.

Действия восставших были решительными. И, пока подавлялись последние очаги сопротивления, часть отряда Анисимова, по заранее намеченному плану, отрезала пути из гавани в глубь острова.

Немногочисленные команды судов, не оказавшие сопротивления, были изолированы в трюмах, как пленные.

Пьяные капитаны не обратили внимания на стрельбу и шум на судах. Не заметили они и того, как в каюту вошли двое оборванных людей с автоматами в руках. Один из вошедших — поляк Казимир Шиманский — негромко по-немецки сказал:

— Прошу, господа капитаны, поднять руки и сказать, где ваше оружие.

Штольц начал протирать глаза.

— Лутц! — обратился он к коллеге. — Ты не спишь? Мне что-то мерещится.

Сразу протрезвевший и побледневший Лутц попытался поднять руки, но они его не слушались. Он со своей стороны попросил Штольца:

— Густав, помоги мне поднять руки, а то... эти... меня прихлопнут.

— Ну! Скоро вы очухаетесь?! — прикрикнул Шиманский. — Где ваше оружие?

Штольц молча показал на письменный стол. Шиманский прошел туда и из ящика стола вытащил пистолет.

— Другое оружие есть? — обратился он к Штольцу.

Штольц окончательно протрезвел.

— А ты кто такой?! — закричал он вдруг и, дотянувшись до кнопки, нажал ее, наваливаясь всем телом.

Шиманский ядовито улыбнулся.

— Жми, жми сильнее. А ну, руки вверх! — крикнул он, направляя автомат на Штольца. — Пображничали на наших мұках — и хватит!

Побелевший Штолец отшатнулся от кнопки и поднял руки. Низко сидевший в кресле Лутц уже держал свои руки поднятыми, положив их на горлышки высоких бутылок, стоявших на столе.

Шиманский обыскал капитанов, извлек из их карманов пухлые бумажники, записные книжки, портсигары, ключи и всякую мелочь. Он сложил все это в большую коробку из-под сигар и скомандовал:

— Встать! Пошли в штаб!

В штабе было немногочисленно. Все повстанцы — в прошлом военные — докладывали своим командирам по-военному кратко и указания командиров выполняли как военные приказы на фронте.

А в штабе продолжалась напряженная работа.

Бывший французский лейтенант Блюм и бывший английский майор Джексон организовывали «западников» в отряды, которые тут же вооружались доставленным в гавань оружием и поступали под объединенное командование восставших.

В гавань, где обосновался штаб, на машине приехал Смуров. Цибуленко с командирами отрядов по карте острова уточняли операции. А Шерстнев уже организовал работу по очистке судов от ненужных грузов, по созданию запасов продовольствия и воды и по подготовке судовых помещений для приема людей. Из доставленных на остров строительных материалов плотники уже строили в трюмах нары.

Пока в гавани шли бои, а отряды повстанцев продвигались по разным направлениям, согласно разработанному штабом плану, произошли важные события и в Центре...

КРЕБС ВЫПОЛНЯЕТ ПОРУЧЕНИЕ

Штандартенфюрер Реттгер вернулся из госпиталя темнее ночи. Врач сообщил, что у капитана Райнера проломлен череп и положение его безнадежно. Теперь

надо было думать не только о проклятом щите, но еще и о командире для подлодки.

Реттгер снял телефонную трубку и приказал соединить его с Управлением строительства.

— Инженер Штейн?.. Да, это я. Как со щитом?.. Еще не подняли! В чем же дело, черт побери?! Да что вы твердите все о Рынине! Рынин от меня никуда не уйдет! И вы не пытайтесь за него спрятаться. Вам тоже придется отвечать, да!.. Сейчас мне надо от вас одно — поднимите щит! Надо вывести лодку... При чем тут осадка и перекося? Перекос в вашей голове, черт вас возьми! Если не доложите мне через час о поднятом щите, — придется вам испытать перекося собственной туши!..

Реттгер бросил трубку на рычаг и, стараясь успокоиться, прошел на свою половину. Там он плотно пообедал и позволил себе короткий отдых, обдумывая что предпринять. Неприятности следовали одна за другой...

Мысли Реттгера перепрыгнули на Рынина, и сонливость сразу прошла. Наливаясь злобой, полковник быстро встал, оделся, прошел в свой рабочий кабинет и приказал немедленно доставить к нему русского ученого.

Рынина ввели в кабинет. Он был в наручниках и с трудом сел. Кребс, еще более помрачневший, с автоматом на груди, как обычно, стал у двери.

Некоторое время Реттгер молчал, раздраженно постукивая карандашом по забралу рыцаря. Потом бросил карандаш и уставился на Рынина.

— Что надо сделать, чтобы поднять щит и освободить лодку?

— Не могу ответить, полковник. Строили щит без меня. А пока я работал у вас, наблюдение за щитом меня не касалось.

— Вас все должно было касаться.

— Нет, полковник. Вы сами когда-то указали, что это меня не касается.

— Вы, Рынин, зубы мне не заговаривайте! Эта авария, очевидно, вызвана теми работами, которые проводились в гроте по вашим указаниям?

— Дополнительные работы по моим указаниям, полковник, привели, в частности, к прекращению обвалов

на новом строительстве. Стало быть, они были эффективны.

— Эффективность бывает разная. — Реттгер прищурился. — Это зависит от того, в какую сторону она направлена. На новом строительстве давило ваших товарищей, а в гроте стоит наша лодка. Это разница!..

Рынин улыбнулся.

— Вы что смеетесь? Считаете меня дураком?

— Да нет, полковник. Наоборот...

— Так вы не хотите обеспечить подъем щита?

— Нет, полковник, не хочу.

— Вполне сознательно?

— Кто же в таких случаях действует бессознательно, полковник!

— Ага, так-так... Кажется, вы начали разговаривать без обиняков, а я начал понимать вас, Рынин!

Реттгер с ненавистью поглядел на невозмутимого Рынина и вызвал дежурного эсэсовца.

— Где оберштурмфюрер Хенке и русский Бугров?

— Бугрова увез с собой майор Ключейтер, а оберштурмфюрер Хенке срочно выехал к мысу. Там что-то случилось, господин штандартенфюрер, пока вы отдыхали. Он не хотел вас беспокоить...

— Разыщите его, или, в крайнем случае, унтерштурмфюрера Штурца!

— Унтерштурмфюрер Штурц только что явился сюда сам, господин штандартенфюрер!

— Пропусти!

Эсэсовец не уходил.

— Что еще? — недовольно спросил Реттгер.

— В гавани слышится стрельба, господин штандартенфюрер!

— Ну и что же?! Я знаю, что там должна быть стрельба. Больше ничего?

— Нет, больше ничего, господин штандартенфюрер. Но стрельба — большая...

Глядя на эсэсовца, продолжающего стоять у порога, Реттгер задумался. Кто знает, как поведут себя русские после расстрелов... Он нахмурился и спросил:

— Кто с тобой дежурит здесь?

— Меер и Дюррфельд, господин штандартенфюрер!

— Немедленно все трое садитесь на мотоциклы с пулеметами и поезжайте в гавань, в распоряжение шар-

фюрера Крауха. Поможете отконвоировать русских в лагерь. Может, и в чем другом понадобится. Вернетесь — доложите мне!

— Слушаюсь, господин штандартенфюрер! Но вы останетесь без охраны.

— Со мной Кребс и Штурц. Выполняйте приказ!

Эсэсовец вышел. Через минуту послышалось урчание отъезжающих мотоциклов. Одновременно в кабинет вошел помощник Хенке — гестаповец Штурц.

— Меня направил к вам оберштурмфюрер Хенке! — доложил он.

— Хорошо. Сейчас получишь распоряжение вот о нем! — Реттгер зловеще кивнул в сторону Рынина. — Его сейчас же надо взять и...

Реттгер не договорил, прислушиваясь к шуму подъехавшей машины. Хлопнула дверца. Послышались тяжелые шаги, а затем — нервный стук в дверь.

— Ну кто там еще? Войдите!

Дверь распахнулась. В кабинет грузно вошел инженер Штейн. Лицо его было багровым, шинель расстегнута. Он тяжело дышал.

Реттгер медленно встал и на несколько секунд замер от изумления.

— Вы?! Кто вам разрешил оставить свой пост в такое время и явиться ко мне без разрешения, без вызова?!

Квадратной фигуре Штейна, казалось, было тесно в черном мундире. Он неловко вытянулся перед Реттгером и отрапортовал:

— Несчастье, господин штандартенфюрер!.. В гроте произошел какой-то взрыв. Своды рухнули. Все раздавлено... Даже близко не подобраться... Телефоны не работают. Мои сотрудники покинули Управление. Там тоже может обрушиться... Меня даже могло раздавить... Я поспешил к вам... Жду ваших приказаний.

Слушая Штейна, Реттгер побледнел. Крах! Полный крах «Операции Железный Ключ»!.. И его — матерого эсэсовца! — обманул, обвел вокруг пальца вот этот советский ученый Рынин! А глупая ожиревшая крыса Штейн ничего не понимает и уже бежит с тонущего корабля!..

— Жаль, что не раздавило такого идиота, как ты! — крикнул Реттгер, не владея собой от ярости. — Но раз

ты не раздавлен, я сумею повесить тебя, ожиревший осел! Отправляйся немедленно в гестапо и доложи, что я приказал тебя арестовать!

Красное лицо Штейна стало белым. Заикаясь, он спросил:

— Что разрешите взять с собой?

— Ничего тебе больше не понадобится, кроме веревки! И скажи, чтобы тебя посадили в одиночку! Тьфу!

Шатаясь, Штейн повернулся и вышел. Слышно было, как под его неровными шагами заскрипели на крыльце ступеньки.

Реттгер опустился в кресло и зловеще уставился на Рынина.

— Так, Рынин. Значит, ты свою задачу решил. Грот рухнул. Лодка раздавлена. И ты думаешь, что мы тебя просто расстреляем? Нет, будь ты проклят, — нет!!

Стоявший у двери Кребс молча подошел ближе и, взяв автомат на изготовку, стал около Рынина.

— Теперь ты узнаешь, что такое гестапо! — Реттгер повернулся к Штурцу. — Дай ему для начала в морду! — приказал он. — Хочу посмотреть на это со стороны.

Штурц подошел к Рынину. Тот встал, бледный, гордый.

— Я тебе, советская морда, выбью сейчас только один зуб! И даже скажу который! Чтобы ты проверил меткость моего удара...

— Унтерштурмфюрер! Отойдите в сторону! — предупредил вполголоса Кребс. — Доктор Рынин находится под моей охраной.

— Это еще что такое?! — У Реттгера выпучились глаза. — Эту охрану тебе поручал я!..

— Не только вы, господин штандартенфюрер, — медленно сказал Кребс.

— Да что это за бедлам! — Реттгер подпрыгнул с кресла. — Штурц!..

Штурц кинулся к Кребсу, но сильный удар автомата между глаз свалил гестаповца с ног.

Реттгер попятился назад, шаря рукой в кармане... Кребс опередил его:

— Положите пистолет на стол, господин штандартенфюрер! Иначе — стреляю!

Реттгер медленно вытащил пистолет и положил на стол.

— Ближе, ближе ко мне! — приказал Кребс.

Реттгер осторожно подвинул пистолет на самый угол стола, ближе к Кребсу.

Тот, не отнимая пальца со спуска автомата, левой рукой взял пистолет со стола и сунул его в карман Рынина.

— Повернитесь, доктор Рынин, ко мне спиной, — я сниму с вас наручники.

Реттгер настороженно следил за каждым движением Кребса. И когда тот снял руку с автомата, освобождая Рынина от наручников, он сильным прыжком бросился к выходу.

Кребс рванулся за ним, полоснул автоматной очередью, но промахнулся. Реттгер выскочил на улицу и скрылся в темноте.

— Пошли и мы, доктор Рынин, — забеспокоился Кребс. — Он сейчас же вернется сюда.

— Одну минуточку, Кребс.

Рынин подошел к столу и снял телефонную трубку.

— Алло! Это кто?.. Говорит Рынин. Можете соединить меня со славянским сектором?.. Там уже никого нет? А с западным?.. То же самое?.. Спасибо! — Рынин положил трубку. — Теперь пошли, товарищ Кребс!

ПОПРАВКА К РЕШЕНИЮ МАЙОРА КЛЮГХЕЙТЕРА

Точно к назначенному сроку Борщенко подошел к тодтовскому управлению майора Ключгейтера, и не один...

Машина майора еще стояла у крыльца. Очевидно, он приехал только что.

Через пять минут, которые не обошлись без некоторого шума при входе и в вестибюле, Борщенко постучал в дверь к майору и, получив разрешение, вошел.

Ключгейтер был необычайно возбужден и нервно прохаживался по кабинету. Он посмотрел на Борщенко с неприязнью и холодно сказал:

— Я, как видно, ошибся в вас, Борщенко, и понял это слишком поздно... Скажите, — Пархомов ваш протеже?..

— Да, майор. Это мой земляк, сослуживец и, если хотите, друг!

— А вы знаете, где он сейчас и что с ним?

— Где он, я знаю, а что с ним, — нет. И, признаюсь, это меня — и не только меня! — очень тревожит.

— Ну вот, я так и подозревал, что вы знали, куда он отправился. И быть может, не без вашего содействия?.. А знаете ли вы, что он натворил?..

— Нет, майор. Но могу предполагать.

— И это, стало быть, не без вашего ведома? — Майор покраснел от гнева. — Так вот! Он совершил какой-то взрыв на радиостанции и теперь никого туда не пускает, отстреливается... Вы представляете, чем все это кончится?!

— Конечно, майор.

— Что значит конечно?..

— Кончится его героической гибелью, майор!..

Клюгхейтер остановился против Борщенко и в упор посмотрел ему в глаза.

— И вы, Борщенко, видите героизм в том, что Пархомов своим геростратовским поступком вызовет такие карательные меры, какие будут стоить жизни сотням его невинных товарищей?! И ваших, разумеется, товарищей! Я вас не понимаю, Борщенко!..

— Это героизм потому, майор, что Пархомов жертвует своей жизнью ради жизни других! Именно ради вот этих самых своих товарищей, ради их освобождения!

— Что это значит, Борщенко?

— Это вы скоро поймете, майор. А не можете ли вы узнать, держится ли он еще? — Голос Борщенко дрогнул.

— Этим я и сам интересуюсь, но позвонить не могу: поврежден коммутатор.

— А может быть, вы позволите посодействовать вам в этом разговоре? Обеспечить работу коммутатора?..

— Вы сегодня говорите загадками, Борщенко. Но мне теперь не до загадок! Я вынужден арестовать вас. К сожалению!.. Думал еще раз выручить вас, но вижу, что допустил ошибку, не арестовав ранее.

Борщенко подошел к телефону и снял трубку.

— Алло!.. Коммутатор?.. Это Борщенко. Соедините меня с караульным помещением мыса. Спасибо...

Майор остановился пораженный. Затем подошел к Борщенко вплотную, ожидая, что будет дальше. А тот продолжал на чистом немецком языке:

— Это кто?.. Начальник караульной команды?.. Сейчас с вами будет говорить майор Ключейтер! Пожалуйста, майор!..

Ошеломленный Ключейтер машинально взял трубку и приложил ее к уху.

— Да, это я. Что?.. Все еще отстреливается?.. Пока не надо!.. Нет, не надо. Оставьте его в покое! Я потом дам указание...

Майор положил трубку на место и дважды нажал кнопку звонка.

Дверь открылась. Вошли два охранника с автоматами и, пройдя к Борщенко, остановились в ожидании распоряжений.

Ключейтер, продолжая недоуменно разглядывать Борщенко, сказал:

— Перед тем как вас, Борщенко, уведут, объясните, — что означает эта история с коммутатором?

— Господин майор, вы же умный человек! Неужели вы не понимаете, что коммутатор находится сейчас в наших руках!

Ключейтер вздрогнул.

— В чьих это... наших?..

— В руках восставших узников вашего проклятого острова, господин майор!

— Час от часу не легче! Да знаете ли вы, безумные, что это будет означать поголовное истребление всех русских и других славян?! — Ключейтер, потрясенный этой новостью, бессильно опустился в кресло. — Чего же вы добились, Борщенко?.. Крови! Невинной крови своих товарищей, а в частности — и моей! Из-за вас и меня повесят рядом с вами!.. И элементарная честность не позволит мне возразить против этого.

— А мы не дадим, майор Ключейтер, вас повесить! Вы тот честный немец, в которого не верило мое сердце. И вы еще понадобитесь новой Германии, мирной Германии. Объявляю вас нашим пленником, майор Ключейтер! Где ваше оружие?..

— Вы начинаете бредить раньше времени, Борщенко! — резко сказал Ключейтер. — Это еще у вас впереди, в нашем страшном гестапо, будь оно проклято!..

Клюгхейтер повернулся к охранникам:

— Уведите его... — и остановился, окончательно сраженный: на него смотрели совершенно не знакомые ему люди.

ПОЛКОВНИК УГРОЖАЕТ

Майора Ключейтера на машине отправили в гавань. Но важные события этого вечера в его кабинете еще не окончились.

Убежав из своего управления, Реттгер бросился к майору, рассчитывая оттуда объявить остров на чрезвычайном положении и вызвать к себе эсэсовские части.

Введенный в заблуждение формой находившегося у входа караула и не успев удивиться его многочисленности, полковник, ни на кого не глядя, торопливо прошел через вестибюль и, не постучав, вломился в кабинет майора.

Там он прежде всего наткнулся на Борщенко, который инструктировал Силантьева.

— Бугров! Как ты сюда попал и где майор? — на ходу, устремляясь к телефону, спросил Реттгер, забыв, что Бугров не сможет его понять.

— Аа-а-а-а! — обрадовался Борщенко. — Вы-то мне и нужны, господин полковник! Очень нужны!..

Не заметив в расстройстве чувств, что Бугров, с которым всего два часа тому назад приходилось объясняться через переводчика, сейчас свободно разговаривает на немецком языке, Реттгер торопливо сорвал с рычага телефонную трубку.

— Алло!.. Алло!.. Коммутатор?.. Говорит Реттгер! Что?! Дайте мне караульное помещение казарм! Что?! Я приказываю!.. Да ты что там, не понимаешь, с кем разговариваешь?! Что?! Ах, мерзавец!!! Я сейчас же прикажу тебя арестовать!!!

Борщенко быстро шепнул несколько слов Силантьеву, и тот с автоматом на изготовку ближе подошел к полковнику.

Реттгер, все более распаляясь, изрыгал в телефон угрозы расстрелять всех работников коммутатора и, слушая в ответ издевательские подковырки и откровенный смех, в ярости с-лязгом бросил трубку обратно на рычаг и ухватился за другой, красный аппарат тревоги.

Но в трубку этого телефона он опять услышал тот же насмешливый голос...

Борщенко холодно сказал:

— Хватит, полковник. Сядьте!

Пораженный дерзостью Бугрова, Реттгер озадаченно вытаращил глаза и, остывая и настораживаясь, оглянулся по сторонам. В двух шагах от него, с автоматом на изготовку, стоял рослый Силантьев.

При виде незнакомого автоматчика в глазах у полковника забегали тревожные огоньки. Он перевел глаза на Борщенко.

— Что это значит, Бугров? И где майор?

— Майор Ключейтер взят в плен и сейчас находится под стражей! — спокойно сказал Борщенко.

— В какой плен?.. Кем?.. Что за бред! Где же нахожусь я?

— А вы, полковник, попросту говоря, находитесь сейчас в руках восставших узников вашего проклятого лагеря смерти.

— Кто же ты, Бугров? — все еще не веря своим ушам, спросил ошеломленный Реттгер.

— Я не Бугров, полковник! Я советский моряк Борщенко, если это вас интересует, — невозмутимо продолжал Борщенко. — Кроме того, еще и член комитета, руководящего восстанием.

Реттгер сжался, точно от удара и, озираясь по сторонам, вскочил с кресла, готовый к борьбе.

— Сидеть! — грозно крикнул Борщенко.

Реттгер молча сел, продолжая исподлобья осматриваться.

— Во избежание неожиданностей, поднимите руки, полковник! Придется вас обыскать.

Реттгер поднял руки. Силантьев содрал с круглого столика салфетку и быстро вывернул на нее все содержимое карманов полковника.

— Где же ваше оружие, полковник?

— Как видишь, я безоружный.

— Да, это странно, — удивился Борщенко. Он извлек из вещей, найденных у Реттгера, ключи от сейфа и стола.

— Тебе важное поручение, Силантьев! Покончим с полковником — отправившись с автоматчиками в его управление и все содержимое сейфа и письменного стола

выгрузи и увяжи. Все до единой бумажки! И, вместе с картотекой, на машине доставь немедленно в штаб.

— Есть, товарищ Борщенко!

Думая о своем, Реттгер вдруг ударил кулаком по столу:

— Это все Шакун! Продажная собака! Расстреляю!

— Этого предателя расстреляем мы, полковник, как только поймает. К сожалению, он убежал. А вас мы расстреляем раньше.

— Вы что, мне угрожаете? — Реттгер грозно посмотрел на Борщенко. — Вся ваша затея с восстанием через несколько часов обернется по-иному. И моя расправа с вами будет беспощадная! Предупреждаю! Будете валяться у моих ног и просить милости!..

Наглость Реттгера удивила Борщенко.

— Не знал я, что вы такой твердолобый, полковник! Учтите: нами захвачены арсенал и гавань. И здесь мы находимся не случайно. Комендатура и казарма — в наших руках. А сейчас уже заняты и ваше управление, и каземат. Все коммуникации острова перерезаны. Центр и гавань для эсэсовских команд уже недоступны! Вообще спасение для ваших отрядов теперь только в том, чтобы прятаться от нас в ущельях. Ясно вам теперь положение?

Реттгер побледнел, однако продолжал также угрожающе:

— Даже это не спасет вас от нашей расправы, от нашей руки! И единственная возможность для тебя, Бугров, избежать страшной смерти — это слушаться сейчас моих приказов.

Наливаясь тихой яростью, Борщенко сказал:

— Чтобы вам было ясно все до конца, сообщу вам, полковник, что радиостанция нами выведена из строя! Так что не рассчитывайте на помощь извне!.. Порвана здесь ваша черная сеть истребления! Порвана навсегда!

Глаза Реттгера засверкали. Все более меняясь в лице, он оглянулся и неожиданно прыгнул на Силантьева, ухватившись за его автомат. Силантьев резко отбросил Реттгера, и тот кинулся к двери. Здесь эсэсовца перехватил Борщенко и, сдерживая кипевшую ярость, потрянул его за шиворот и сунул в кресло, придавив к сидению.

Реттгер не издал ни звука и тяжело дышал. Он был красный. Глаза сверкали не только злобой, но и страхом, который начал, наконец, наполнять все его существо.

— Вот что, полковник, предупреждаю! — резко сказал Борщенко. — Если с вашей стороны будет еще хоть малейшая попытка сопротивляться, мы вас скрутим веревками! Понятно?

Реттгер продолжал молчать, в бессилии озираясь, как хищник, попавший в ловушку.

— У вас есть единственная возможность отсрочить конец своей поганой жизни!.. — жестко сказал Борщенко. — Но вы должны принять одно условие — условие нашего комитета.

— Говорите ваше условие, — хрипло выдавил Реттгер. — Я, возможно, приму его.

— В помещении радиостанции находится наш товарищ. Прикажите, чтобы эсэсовцы его не трогали. Пока он будет жить, ваша жизнь в безопасности. Если его там убьют, — вы будете немедленно казнены!

— Соедините меня с мысом. Я прикажу, чтобы его не трогали, — глухо сказал Реттгер.

ПАРХОМОВ УХОДИТ В ДАЛЬНЕЕ ПЛАВАНИЕ

В конторе гавани, где расположился штаб восставших, Смуров впервые близко рассмотрел главного палача лагеря истребления, штандартенфюрера Реттгера. Он уже не напоминал того наглого гестаповца, который еще вчера угрожал восставшим кровавой расправой. Сейчас он вздрагивал от каждого взгляда, какие бросали на него входившие в штаб люди.

— Так вот, полковник, — говорил ему Смуров. — Вас надо было повесить. И мы сделали бы это, если бы против вашей жизни не стояла жизнь нашего товарища.

Борщенко, переводивший Реттгеру слова Смурова, добавил:

— А ваши эсэсовские команды, полковник, не подготовлены для честного прямого боя. Они смелы и кровавады с безоружными. Здесь же они смогли действовать только из-за угла, то есть из ущелий, чтобы потом сразу же прятаться. Но сейчас и это прекратилось, после того

как нами были перехвачены и полностью истреблены две полных ваших команды.

Реттгер поежился.

— Можно мне закурить? — спросил он Борщенко.

— Пожалуйста, закуривайте.

Реттгер вздрагивающей рукой вытащил портсигар и закурил.

Борщенко предупредил:

— Учтите, полковник, что, если с вашей стороны при обмене вас на нашего товарища последует какое-либо коварство, — мы задержимся на острове для того, чтобы полностью очистить его от всей, подобной вам, нечисти!

Борщенко повернулся к Смурову:

— Я предупредил, как условились. И нам, пожалуй, пора отправляться.

— Да, поезжайте, пока светло, — согласился Смуров. — Будем ожидать.

Машина Реттгера была просторной. Его посадили рядом с шофером. Позади уселись Борщенко и Силантьев, с автоматами, ручным пулеметом и гранатами.

— Саулич, трогай! — приказал Борщенко и повернулся к Реттгеру: — Под каким названием значится остров на картах?

— Он на карте не значится...

— Ну, мы его теперь обозначим! — медленно сказал Борщенко. — Больше островом истребления он не будет!

Реттгер не отозвался и зябко поежился.

Дальше ехали молча. Слышался лишь свист пронзительного ветра да попискивание амортизаторов тяжелой машины. Мела легкая поземка.

Когда добрались до главной дороги, поехали быстрее. И вскоре машина, обогнув скалу, остановилась у начала мыса.

— Подъезжайте ближе, — предложил Реттгер. — Отсюда идти не меньше трехсот метров.

— Ничего, полковник. Так надежней...

Реттгер вынул платок и помахал им над головой.

От караульного помещения какой-то эсэсовец неуверенно, с оглядкой направился к машине. Когда он подошел близко, Реттгер обрадовался:

— Это ты, Хенке? Хорошо, что ты жив. Теперь слушай... Бери с собой вот этого, — полковник кивнул на вышедшего из машины Силантьева, — и проводи его к

русскому, который засел на радиостанции. Потом доставь обоих сюда, ко мне...

— Но, господин полковник, тот русский уже убил шестерых наших. Как же можно его выпустить после этого?.. Да и этот — с автоматом...

— Молчать! — Реттгер покраснел. — Выполняй мой приказ! Он этого зависит мое освобождение.

Хенке откозырнул и, с беспокойством, часто оглядываясь, зашагал впереди Силантьева.

Борщенко проследил, как Силантьев и Хенке прошли мимо часового и скрылись за дверью проходной.

Минуты ожидания тянулись медленно. Реттгер сидел мрачный, беспокойно ворочаясь, опасаясь, что произойдет что-либо непредвиденное и он в последнюю минуту получит в спину автоматную очередь.

Но вот дверь открылась и из проходной вышли трое: Хенке, Силантьев и Пархомов. Фуражка Пархомова была лихо сдвинута на затылок, на поясе висели гранаты, в руках был автомат.

— Выходите, полковник! — приказал Борщенко.

В машине остался только шофер, который сразу же развернул ее для обратного пути.

— А вы не пристрелите меня здесь на прощанье? — спросил Реттгер, ежась под жестким взглядом Борщенко. — Или, может быть, вздумаете увезти меня обратно?

— Зачем спрашиваете, полковник? — резко обрезал Борщенко. — Вы же хорошо знаете коммунистов. Сколько их замучили? И разве коммунисты продавали вам свою честь? Или слово у них расходилось с делом? Нет, полковник, успокойтесь... Нам чужды ваши грязные приемы коварства!

Реттгер побагровел от ярости, но не сказал более ни слова.

Подожел Хенке со спутниками.

Борщенко ухватил руку улыбающегося Пархомова и крепко стиснул.

— Садись скорее в машину. Разговор — потом. Мне надо еще выполнить некоторые свои обязанности.

Пархомов послушно влез в машину, а Борщенко повернулся к Реттгеру.

— Вы свободны, полковник!

— А ты еще постой здесь! — приказал Реттгер Хенке. — Пока я отойду подальше.

И он зашагал по перешейку, беспокойно оглядываясь и все ускоряя шаги.

— Можете идти, Хенке! — предложил Борщенко.

Пораженный Хенке, ничего не понимая, спросил:

— А разве ты, Бугров, не с нами? И как ты...

Борщенко, не отвечая, повернулся к машине, открыл дверцу и сел рядом с Пархомувым. С другой стороны сразу же сел Силантьев.

— Поехали, Саулич!.. Быстрее...

Машина рванулась и, завернув за скалу, быстро помчалась прочь.

Только теперь Борщенко разглядел, что голова Пархимова в крови. Кровью был пропитан и платок, стягивающий левую руку.

— Ты что, ранен?

— Да, слегка. Лезли сволочи! Но Пархимова отправить на тот свет не легко!

— Сейчас тебя перевяжем.

— Это не надо. Потом. А вот если найдется что поесть, — не откажусь... Ведь Пархомов не рассчитывал долго существовать. Поэтому и не запасаю продуктами. Понимаешь?.. А теперь Пархомов опять готов в далекое плавание.

— Ах ты, неумный сибиряк! — Борщенко любовно хлопнул его по плечу и приказал:

— Саулич, остановись! Короткий привал. Тут у меня под сиденьем есть сумка с едой.

Машина остановилась.

— Вылезайте пока... Я все достану и приготовлю...

Пархомов и Силантьев вышли и, согреваясь, закурились около машины.

Вдруг Силантьев остановился, внимательно вглядываясь. Какой-то человек, размахивая руками и что-то выкрикивая, торопливо спускался с осыпи. Вот он споткнулся, потом вскочил на ноги и, выбравшись на дорогу, бегом припустился к машине...

Это был Шакун.

Он узнал машину полковника и, разглядев около нее людей в форме охранников, поспешил, боясь, что машина уедет раньше, чем он успеет добежать.

Тяжело дыша, он еще издали закричал:

— Господин полковник, подождите! Важные новости!..

— Чего он орет? — спросил Пархомов, не разобрав слов. Неожиданно выйдя из машины, он схватил подбежавшего Шакуна за руку.

— Стой! Кого ищешь, иуда?!

Ошеломленный Шакун несколько секунд стоял недвижимо, но, поняв, что попал не к тем, к кому хотел, рванулся, пытаясь освободиться.

— Не торопись, стерва продажная! От Пархомова уйти трудно!

— Пусти! — закричал Шакун, изворачиваясь, и вдруг, выхватив свободной рукой нож, ударил Пархомова в грудь.

Пархомов охнул и упал на колени, а затем завалился на бок.

Силантьев бросился к ним, перехватил руку влазовца и стиснул ее, как клещами. Шакун скорчился, тяжелый нож выпал из его руки и вонзился в землю, зловеще раскачиваясь.

Из машины выскочил Борщенко. Он подбежал к Пархомову, подхватил его за плечи, перевернул на спину и осторожно приподнял голову.

— Кирилл, что с тобой? Кирилл.

Пархомов задыхался.

— Пар-хо-мов е-ще пой-дет в да-ле-кое пла-ва-ни-е...

Он сильно вздрогнул, как бы напрягаясь в усилии освободиться от чего-то, стиснувшего его, и сразу вытянулся, застывая.

Пархомов был мертв.

— Кирилл... Дорогой... Друг... — тихо окликал Борщенко. Но Пархомов уже ничего не слышал, и открытые его глаза не видели, как менялось лицо друга.

Борщенко осторожно опустил голову Пархомова на землю и поднялся, грозный и страшный.

Шакун с ужасом смотрел, как Борщенко молча прошел к машине, взял с сидения свой автомат и вернулся на дорогу. Власовец истошно заверещал и попытался вывернуться, но, стиснутый железными руками Силантьева, заплясал на месте.

— Павел! Не убивай! — дико закричал он. — Не убивай, Павел! Я буду тебе служить!

Борщенко молчал, ненавидящим, беспощадным взглядом прожигая Шакуна насквозь.

— Я отдам тебе свое золото!.. Павел!.. Вот оно у меня, — бери!.. — Шакун полез к себе за пазуху, но Силантьев ударил его по руке, и он взвыл...

Борщенко поднял автомат.

— За измену матери-Родине и родной матери, родившей тебя для добрых дел! За кровь невинных людей, убитых тобой! За наших раненых товарищей, расстрелянных тобой! За жизнь героя Пархомова! За все твои черные злодеяния примешь сейчас свою смерть! Примешь от меня! Я буду мстителем! Духом твоих многочисленных жертв! Приготовься!..

Шакун упал на колени:

— Я буду твоим рабом, Павел! Не убивай только меня!.. Павел!

— Силантьев, отпусти его! — сказал Борщенко умолимо.

Получив свободу, Шакун вскочил на ноги и прыгнул в сторону. Он успел пробежать несколько шагов, а затем, прошитый автоматной очередью, споткнулся. Голова его подвернулась, зубастый рот по-звериному оскалился.

Борщенко стрелял, пока не опорожнился весь диск. Потом, шатаясь, вернулся к мертвому Пархомову. Вдвоем с Силантьевым они внесли его тело в машину и усадили между собой.

Когда подъехали к штабу, там уже собралась толпа. Все бросились к медленно подошедшей машине, но сразу же отпрянули от нее, когда Борщенко и Силантьев бережно вытащили тело Пархомова и понесли его в штаб.

Не так, совсем не так готовились встретить своего героя его друзья и товарищи!..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отвод отрядов на территорию гавани для посадки на суда закончился к середине дня. Одновременно все подходы к гавани были густо заминированы. На это не пожалели всех мин, которые, неизвестно для какой надобности, были завезены в арсенал острова. Пусть они останутся здесь мстителями за погибших...

И вот, наконец, посадка закончена. Суда с новыми именами — «Москва» и «Нева» — дали длинные гудки,

отозвавшиеся многократным эхом в ущельях острова, над могилами погибших, замученных и расстрелянных узников лагеря истребления, никогда не склонявших своих гордых голов перед фашистскими палачами.

Уже на пути к советским берегам, когда остров был далеко позади, в кают-компании «Москвы» впервые собрались вместе оба комитета — для первого в таком составе и последнего заседания. Но заседание пришлось прервать...

Радиостанции Советского Союза начали передавать Тегеранскую декларацию трех держав. Из репродуктора кают-компании четкий голос диктора разносил торжественные слова:

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер-министр Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице нашего союзника — Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику...

...Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. Наше наступление будет беспощадным и нарастающим...

...Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время...

...Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранил бедствия и ужасы войны на многие поколения...

Все члены обоих комитетов — представители «славянских» и «западных» народов — невольно встали, соединились в общий круг и в едином порыве подняли руки, скрепленные в пожатии дружбы...

Никто из них в то время еще не подозревал, что верным борцом за эти торжественные принципы останется только один Советский Союз, что другие участники этой декларации уже тогда начали втайне готовить новую войну, а затем вновь и вновь будут возрождать тот же, трижды проклятый народами немецкий милитаризм и кровавый фашизм, которые на многие поколения оставили на земле память о неисчислимых страданиях и гибели миллионов людей...



ЛЕОНИД СЁМИН

ВОЛЧИЙ (ЛЕД

КИНОПОВЕСТЬ



*Посвящается немецкому коммунисту
Генриху Рау*

то произошло совсем недавно в небольшом западногерманском городе.

На кровати, натянув до подбородка едко-лиловое одеяло, лежал поджарый, со впалыми щеками человек. Его холодные, водянисто-зеленые глаза тупо смотрели в потолок. Там, на белой до синевы штукатурке, четко выступал ржавый подтек. Подтек чем-то напоминал голову с очень узким лицом и острым носом...

У окна, прижавшись лбом к стеклу, стояла женщина и пристально смотрела на улицу. Ее фигуру скрывал свободный, с широкими рукавами, халат. На плечах лежали темные пышные непричесанные волосы. Женщина напряженно смотрела на большой серый дом, около которого стояли двое мужчин и полицейский. Мужчины, размахивая руками, что-то доказывали полицейскому. Тот невозмутимо слушал и молчал.

— Ну?.. — не разжимая губ, выдавил из-под одеяла человек.

— Собираются, — ответила, не оборачиваясь, женщина.

— Ага... — Он опять уставился в потолок.

Прошло несколько минут. От напряжения глаза у лежавшего на кровати подернулись влагой. Он нервно и резко позвал:

— Адель!

Женщина вздрогнула, сжалась и, медленно повернувшись, прошептала:

— Да, Макс...

Человек под одеялом неожиданно мягко улыбнулся и по-детски капризно приказал:

— Да вытри же мне глаза.

На миловидном, но уже немолодом лице Адели вспыхнул румянец. Она стыдливо прижала к груди чуть распахнувшийся халат, торопливо принесла полотенце и осторожно накрыла расслабленное, чем-то виноватое и как будто даже нежное лицо Макса... Но потом, когда сняла полотенце, лицо его было бледно, с брезгливо-злыми глазами. Прошла еще минута. Адель все еще стояла около Макса. Макс, не отрывая глаз от потолка, облизал сухие губы... Адель метнулась к столику, вынула из коробочки сигарету, сама прикурила и сунула в рот Максу. Глубоко затянувшись, Макс выдохнул вместе с клубком дыма:

— Ну что там?..

Адель вернулась к окну и радостно воскликнула:

— Толпа, Макс!.. Настоящая толпа.

— Ага!.. — И Макс громко рассмеялся.

На улице около большого серого дома шумела толпа. Здесь были и женщины с продуктовыми сумками, и рабочие в кепках, в легких не по сезону пальто, и обыватели в кожанках с меховыми воротниками, в калошах, и возбужденные, радостные ребяташки, и — один полицейский.

Человек в кожаной куртке соскребал ножом со стены дома свежую черную краску. Однако огромная свастика плотно впились в стену... Толпа возбужденно гудела:

— Долой фашизм!..

— Наци! Ваши волчьи следы видны снова... Мы не потерпим, слышите, наци!..

— Тихо. Тихо надо. Прошу разойтись, — твердил полицейский. — Разберемся.

Адель оторвалась от окна. Лицо теперь у нее было бледное, испуганное и усталое.

— Они идут сюда, Макс, — прошептала она.

— Ну и что?..

Адель зябко закуталась в халат и вяло опустилась на стул.

Полицейский и двое штатских вошли прямо в спальню.

— Прошу встать и одеться, — сказал полицейский.

Человек под одеялом усмехнулся. Адель рывком сбросила на пол одеяло. Полицейский вздрогнул и переступил с ноги на ногу. Штатские растерянно переглянулись. На кровати лежал безрукий инвалид. Что-то жуткое было в его фигуре, завернутой в безукоризненно чистое белье... Он очень напоминал статую. Бледное, с бескровными губами и холодными глазами лицо, тонкое, как ствол, туловище с обрезанными плечами и длинные жилистые ноги с плоскими ступнями. Человек вдруг закашлял. И туловище заходило, словно на шарнирах, а ступни ног застучали по спинке кровати, как деревянные. Полицейский солидно нагнулся, поднял одеяло и аккуратно покрыл им безрукое туловище...

Допрос был коротким.

— Как вас зовут?

— Макс Оссе.

— А вас?

— Адель.

— Жена?

— Да.

— Свидетельство о браке?

— Потеряно.

— Когда поженились?

— О, это длинная и забавная история, — усмехнулся безрукий. — Были знакомы, потом любили. Потом война и прочее. Все перемешалось. В сутолоке внезапно потерялись...

— А потом?..

— А потом... — Он бросил на Адель жесткий взгляд. Та опустила голову. — Как видите, она снова со мной. И опять счастливы.

Полицейский подошел к шкафу и распахнул дверцы. Среди костюмов висел голубой мундир с серебристыми погонами.

— Осторожней, не запачкай мой мундир, — предупредил Макс.

Один из штатских прикусил губу. Другой — смотрел в окно, затем, обернувшись, резко спросил:

— Скажите, знаком ли вам Карл Шульц?.. — Помолчав, добавил: — И Антон Штрейвизер?..

Безрукий передернул обрубками плеч:

— Может быть, и знакомы... Какое это имеет отношение ко мне?

— Они члены «немецкой имперской партии», замешаны в антиконституционных действиях.

— Чепуха, — нахмурился Макс. — Наша партия, в отличие от коммунистов, на легальном положении.

Полицейский, взглянул на штатских, потом на Макса и, вздохнув, протянул ему бумагу:

— Распишитесь.

Макс высоко поднял ногу с плоской, как доска, ступней.

— Какой прикажете? Правой?.. — Он поднял ногу и протянул ее в сторону штатских: — А хотите, могу и левой!..

— Извините, — смешался полицейский и растерянно повертел в руках листок бумаги.

— Такие вещи не забывают. В другом случае я бы вас ударил... — стальным голосом отчеканил Макс. — Адель, распишись там, — равнодушно добавил он и отвернулся.

Они ушли...

Макс все еще лежал лицом к стене. Адель нервно вышагивала по спальне.

— Макс, — наконец осмелилась спросить она. — Они могут арестовать нас?

— Черта с два, — пробурчал Макс. — Это будет полнейшим нарушением демократии Федеративной Республики Германии. Успокойся, детка. Дай мне сигарету.

Адель наклонилась, подавая ему дымящуюся сигарету. Макс сжал зубами сигарету и уткнул ее в шею женщины. Адель дернулась в сторону, на глазах ее блеснули слезы.

— Что, больно? — прищурясь, спросил Макс. — А мне разве не было больно, когда вы, как вонючие крысы, бежали из лагеря?.. Помнишь?

Я тоже помню! Я был не только очевидцем, но и участником тех событий, о которых хочу рассказать. В эти дни, когда в Западной Германии вновь подняли головы недобитые гитлеровцы, когда опять начали они бряцать оружием, мне особенно ярко вспоминаются картины прошлого, и все пережитое встает перед глазами во всех подробностях.

Концлагерь... Узкая, темная, как труба, комната мастерской бытового обслуживания, вся завалена рамами и колесами от старых велосипедов, патефонами, электроплитками, кусками жести, мотками проволоки, фанерой и прочим хламом. На стене — часы. Бесшумно и медленно качается маятник. На столе — радиоприемник. Около него — седенький, щуплый австриец Лемке и русский майор Новодаров. Они напряженно к чему-то прислушиваются. Одежда на них полосатая, с черными номерами и знаками. Головы от лба до затылка прострижены дорожкой.

Лемке смотрит на часы. Стрелки показывают ровно девять.

Мусс опять запаздывает. Это хорошо. Как пала Вена, он ходит, словно пришибленный...

— Да и все они, как волки... Думают об одном: как бы унести ноги, — говорит Новодаров.

С улицы в открытую форточку голос скрипки неожиданно доносит вальс Штрауса «Над прекрасным голубым Дунаем».

Лицо Лемке оживает:

— Адам подает сигнал!..

Новодаров прикрывает форточку. Лемке осторожно включает радиоприемник, насмешливо качает головой:

— На двенадцатом году каторги я впервые «удостоен такой высокой чести» — отремонтировать приемник самому коменданту герру штурмбанфюреру Штофхену...

— Стоп! Москва... — Новодаров припадает к динамику. Он медленно поворачивает регулятор, и комнату наполняет уже другая музыка.

С боями взяли город Познань,
Город весь прошли.
На последней улице название прочли:
— На Берлин!

С шумом падает в углу лист фанеры. Новодаров и Лемке резко оборачиваются. С пистолетом стоит эсэсовец Мусс:

— Руки вверх!

Первым идет к двери щуплый Лемке. За ним — Новодаров. Он на голову выше старика. Мусс рывком включает приемник. На какое-то мгновение дуло парабеллума оказывается у виска Новодарова. Майор тяжело дышит, косит глазом на руку эсэсовца. Вдруг сильно бьет по этой руке. С тяжелым стуком ударяется о каменный пол мастерской массивный пистолет... Мусс и Новодаров, оба рослые, сильные, сцепившись, не выпускают друг друга. Лемке все еще стоит с поднятыми руками у двери. Мусс ловким приемом швыряет Новодарова в угол и тотчас кидается к пистолету. Новодаров с трудом успевает ухватить эсэсовца за начищенный до блеска сапог. Мусс плашмя растягивается на бутонном полу... Лемке, опустив руки, потянулся к парабеллуму. Мусс ногой бьет старика в живот и, откинув полуфренча, выхватывает узкую, с чуть загнутым концом, как щучий нос, финку. Но — поздно. Новодаров успевает раньше: тяжелой рукояткой с маху оглушает эсэсовца...

На полу с проломленным виском — Мусс. В углу, оцепенев от ужаса, скорчился Лемке. Новодаров растерянно вертит в руках парабеллум. За окном поет скрипка: «Над прекрасным голубым Дунаем»...

Недалеко от лагеря — кучка молодых кудрявых лип. Сквозь листву проглядывают стены небольшого коттеджа. Широкие окна смотрят в сад. Одно из них распахнуто. Виден стол, трюмо, платяной шкаф. Макс Оссе — адъютант коменданта — стоит перед зеркалом. На нем новая форма. На груди, среди черных фашистских крестов, — советский орден Красной Звезды. Пустые рукава мундира заправлены под ремень... Рядом с Максом — Адель. Она — его руки. Адель на голову ниже Макса. На петлицах ее черного костюма белая брошь «мертвая голова», такой же знак и на берете.

Улыбаясь одними губами, Макс спрашивает:

— Ну как?.. К лицу мне этот пурпурный орден?..

— Да, Макс, — говорит Адель.

— А ты знаешь, как я его взял? — Макс остекленело смотрит в зеркало, и перед его глазами всплывает картина...

...Бугристое, голое поле, изрытое взрывами снарядов и перепаханное танками. Рослые эсэсовцы бежали в тонких зеленых рубашках с расстегнутыми воротами. Впереди всех — Макс. Он упирал затыльник шмайссера в живот и беспорядочно стрелял. Вдруг из окопчика поднялись те самые, которых надо убивать. На них мятые гимнастерки и пилотки с красными звездочками... Обгоняя всех, бежал светловолосый командир. Макс угадал в нем офицера по ремням на гимнастерке. И вот они уже один на один. На какое-то мгновение Макс отчетливо увидел белый пушок над верхней губой русского и широко открытые глаза: в них не было ни страха, ни злобы — ничего. Они были очень светлые, как осенний ледок. Может быть, в них отражалась синева неба. Макс не стрелял. Он с плеча ударил прикладом по лицу офицера. И, когда тот упал, обхватив голову руками, Макс выпустил очередь в узкую грудь юного лейтенанта. А потом, наклонясь, вырвал с куском материи орден и опустил в свой карман. Но затем... затем случилось все остальное: он увидел спускавшийся ему навстречу с бугра танк... Он не помнил, как упал, окутанный разрывом, не видел и не чувствовал, как оторвало ему руки. Поднялся — вместо рук болтались окровавленные клочья рукавов рубашки. Макс кинулся прочь. Долго ли он бежал, сейчас не вспомнить. Но бежал изо всех сил... Потом сознание покинуло его.

— Да... Этот пурпурный орден я взял под Ленинградом. Место то называлось Пулкоф...

За окном назойливо пилит скрипка.

— Черт его знает, заладил одно и то же... Ты бы сходила, Адель, стукнула болвана по затылку... Да напомним ему, я люблю солдатские песни!

Женщина в черной форме покорно поднимается с дивана. Но в это время звонит телефон. Адель снимает трубку, подносит ее к уху Макса. Макс слушает и чеканно отвечает:

— Яволь, герр штурмбанфюрер!.. Яволь!.. Яволь!..

На другом конце провода телефонную трубку держит комендант Штофхен. Он сидит в кабинете за массивным столом. На столе телефонные аппараты: белый и черный. Между ними разлегся ангорский кот. Канцелярские принадлежности из бронзы. Пресс-папье изображает сходни, волны и русалку. Пепельница в виде черепахи. Справа от стола на стене большой из черного бархата ковер. На ковре серебристыми нитками вышит череп с костями и буквы СС. На другой стене картина: Гитлер с цветами.

Комендант держит трубку белого телефона:

— Макс! Принесите мой приемник... Если он все еще не готов, сведите старого колдуна к виселице и примерьте петлю на его тощую шею...

— Яволь, герр штурмбанфюрер!.. Яволь!.. — чеканно отвечает адъютант.

Адель кладет трубку на рычаг.

— Адель, сними эту... — подбородком трогает он Красную Звезду.

Пройдясь по комнате, Макс останавливается у окна и, резко обернувшись на каблуках, приказывает:

— Коньяку!..

Адель ставит на стол бутылку, стопку. Наливает, подносит к губам Макса.

— Хочешь, выпей и ты, — милостиво разрешает Макс, высасывая лимон.

Адель с благодарностью смотрит на него, наливает себе.

Они выходят на улицу. На гранитной арке ворот лагеря высечено:

«Arbeit macht Frei!»¹

Над лагерной площадью переливается мелодия штраусовского вальса.

— Не сошел ли этот болван с ума? — говорит Макс. — Целый час пилит одно и то же!.. Сейчас я на него взгляну...

Адель смеется:

— Может быть, этот идиот наказан. Их блокфюрер любит такие шутки: пять часов подряд играть что-нибудь...

По площади маршируют заключенные. Они в корот-

¹ Работа дает свободу.

ких полосатых пиджачках и брюках, в деревянных колодках на босу ногу, в мятых чепцах.

«Хлык, хлык, хлык!..» — глухо стучат колодки.

— Линкс, цвай, драй, фир... Линкс унд линкс!.. Равнение, равнение! — командует идущий сбоку строя заключенный. У него сытый вид, на рукаве черная повязка с белой готическим шрифтом надписью «Блокэльтестер» (блоковый старшина).

Завидев Макса, блокэльтестер зычно командует:

— Линкс, цвай, драй, фир!.. Линкс унд линкс!..

«Хлык, хлык, хлык!..» — стучат колодки.

Макс с Аделью направляются к каменному сараю. Над ним — высоченная мачта. На флагштоке, как флюгер, черный жестяной эсэсовский флаг.

Если смотреть с высоты этого жестяного флага, залитая асфальтом площадь лагеря напоминает квадрат с рядами барачков. Перед бараками — газоны и бледно-серые вазы с цветами. За бараками — густая сеть колючей проволоки и сторожевые вышки. С круглых вышек на лагерь направлены дула пулеметов. Неподалеку от каменного сарая мастерской бытового обслуживания — виселица. Легкий весенний ветер лениво покачивает петлю.

В прозрачной синеве неба беспечно, радостно смеется солнце. Грустно поет скрипка. Скрипач стоит у открытого окна. По изможденному лицу его катятся капли пота. Резко обозначены скулы и челюсти. Глаза беспокойно косятся на каменный сарай. Заметив на площади безрукого адъютанта, Адам резко обрывает игру... Он с минуту наблюдает за Максом, затем поднимает скрипку и, взмахнув смычком, начинает играть «любимую солдатскую песню».

Макс усмехается:

— Заметь, Адель. Этот польский пес не дурак. Увидел нас, сразу переменял пластинку!

В каменном сарае тоже замечают смену «пластинок». Взглянув в окно, Лемке отскакивает как ужаленный.

— Безрукий идет! К нам...

В руках Новодарова замирает лопата. Он стоит в яме, вырытой посреди мастерской, и не может оторвать взгляда от листа фанеры, из-под которого торчат ноги эсэсовца Мусса.

— К нам идут! К нам, — заплетающимся языком повторяет старик.

Лицо Новодарова становится белым. Он достает из кармана парабеллум, ставит ударник на предохранитель.

— Линкс, цвай, драй, фир!.. Линкс унд линкс!.. — доносятся слова команды.

Страшно звучит «любимая солдатская песня». Скрипач играет как невменяемый, то и дело сбивается с такта.

— Понимаем тебя, Адам... Понимаем, — бормочет Новодаров, сжимая рукоятку пистолета.

Макс и его «руки» в черной юбке приближаются к мастерской. Мимо проходит строй заключенных. Блок-эльтестер, размахивая резиновой дубинкой, протяжно командует:

— Заключенные, шапки долой!

Прижав к бедрам чепчики, повернув простриженные головы, в сторону безрукого, мы все громыхаем колodками.

— Куда идете? — спрашивает Макс.

— В баню, герр оберштурмфюрер! — докладывает на ходу блокeвый старшина.

— Сигарету! — приказывает Макс.

Адель ловко прикуривает и вставляет в рот Максy дымящуюся сигарету.

Они сворачивают к низкому продолговатому зданию бани...

Скрипач выбегает из барака и торопливо идет за ними.

Концлагерная баня мало чем отличается от обычной. Но здесь иной порядок... Юркий арестант в комбинезоне с черной повязкой на рукаве и надписью: «Дезинфектор», увидев входящего безрукого и эсэсовку, ошалело подает команду: «Ахтунг!» и четко докладывает.

Макс разрешает мыться. У всех на шее висят на шнурочках железные номерки.

Из леек брызжет теплый дождь.

— Эй, Адам, музыку!..

В душевой появляется Адам в длинной до колен рубаше и без кальсон. В руках у него скрипка с голубым

бантом на грифе. Видно, он не успел снять рубашку. Обычно его заставляют играть раздетым.

— Играй нашу любимую!

Жилистые пальцы Адама касаются струн. Дезинфектор, как дирижер, взмахивает руками, а обтянутые кожей скелеты дружно восклицают:

— Лили Марлен!

Член подпольного комитета заключенных, Сергей Кленов, говорит своему соседу:

— Лучше петь, чем получать оплеухи или принимать холодный душ...

Стонет скрипка, поют заключенные. Макс смотрит на Адель, улыбается.

— Сегодня, наконец, мы получим новости... Уже тридцатое апреля. Может, наши уже в Берлине?.. — шепчет Кленов.

— Кто такое мытье придумал? — смеется Адель.

— Он, — кивает Макс на дезинфектора.

— Забавно придумал, — замечает Адель. — Я, пожалуй, дам ему сигарету...

В баню входит коротконогий, толстый эсэсовец с добродушной, словно застывшей, улыбкой. Это военврач. Он приказывает принести «инструмент». Дезинфектор стремглав кидается в боковую комнатку, приносит тетрадь, банку и кисточку.

Заключенные выстраиваются в очередь. Врач берет кисточку. Мельком взглянув на «пациента», он обмакивает кисточку в банку с красными чернилами и небрежно рисует на лбу цифру. Дезинфектор делает пометку в тетради. Самые истощенные получают единицу. Люди средней упитанности — двойку. Свежие — тройку. Кое-кому врач ставит дробь: один на два, два на три.

Подходит Сергей Кленов. Он получает тройку.

— Что означают цифры? — спрашивает Адель.

— Это новое распоряжение из политшлессхаймлагга. Шульц знает, что делает, — поясняет Макс. — С единицами пойдут носить камни и скоро передохнут сами. С тройками отправим в газкамеру. Потому что они еще здоровы, а ждать некогда.

Выйдя из бани, Макс направляется в сторону мастерской бытового обслуживания. С вышки раздается пулеметная очередь. Макс останавливается. С высочен-

ной березы, стоящей за лагерем, срывается стая грачей. Птицы с тревожным криком кружат над лагерем.

— Ах какая прелесть, — восторгается Макс. — А ты знаешь, раньше я был страстным охотником...

Адель восхищенно смотрит на Макса.

— О да, — продолжает Макс. — Россия чертовски богата дичью. Однажды водил нас на охоту старый русский дед. Он знал, где лежит медведь. Это была великолепная охота. Мы подняли медведицу-маму с двумя ее сынками. Шкуру потом взял наш ротный, а малых медвежат сам командующий. Специальным самолетом отправил он их к себе домой вместе со старым русским дедом. То был его рождественский подарок семье. Великолепно!..

Летают потревоженные грачи... На проволоке повис расстрелянный человек.

— Это американский летчик, — поясняет спутнице Макс. — А второго так и не поймали. Как сквозь землю провалился... — Макс вспоминает ту ночь, когда над лагерем был сбит американский бомбардировщик и два летчика выбросились с парашютами. — Скорее всего он утонул в Дунае..

Обойдя виселицу кругом, они останавливаются у мастерской.

— Есть подозрение, — небрежно сплевывает Макс, — что Лемке подслушивает радиопередачи. Потому весь лагерь и знает, что делается на фронтах. Так сказал вчера Штофхен.

— Я бы его повесила, — спокойно замечает Адель.

— А я бы выдержал ему язык.

В мастерской в это время Новодаров торопливо прилаживал на прежнее место бутовую плиту. Лемке разметал веником землю.

При входе Макса с Аделью Лемке вытягивается и, как старший арбайтс-команды, хрипло выкрикивает «Ахтунг» и докладывает. В руке его веник. Он забыл его бросить. Макс подозрительно смотрит на этот веник.

— Чем вы сейчас занимались?

— Коммандорфюрер приказал произвести генеральную уборку! — не моргнув глазом, докладывает Лемке.

— Где он сам?

— Только что куда-то вышел.

Макс пристально смотрит на старика. Руки Лемке мелко дрожат.

— Радиоприемник исправлен?

Макс подходит к столу, смотрит на приемник, коротко приказывает:

— Несите его за мной.

Новодаров осторожно поднимает приемник.

Грачи возвращаются к гнездам на березе. Далеко за лагерем видна широкая голубая лента реки. Обрывистые берега поросли лесом. Километрах в четырех от реки высятся горы.

За каменными глыбами прячется американский летчик Джонни Доул, капрал. Он среднего роста, худощавый, небритый. Доул смотрит вдаль, на виднеющийся лагерь:

— Я видел черный флаг. Черный негнувшийся флаг. Чертово логово. Где ты, Майк? Что будет с твоей матерью, когда она узнает... Ах, Майк, Майк... Что я скажу ей, когда вернусь? Она ведь живет только ради тебя. Ты должен остаться живым, Майк. Черт побери, умирать в двадцать три года, в конечном счете, глупо. Поразмысли над этим, Майк... Я ведь видел, ты спускался следом за мной. Твой парашют раскрылся тотчас, как только раскрылся мой. Жаль, что тебя потом отнесло в сторону. Я слышал лай собак и выстрелы. Ах, Майк... Твоя старушка не выдержит, если тебя... Возвращайся, Майк. Мы все будем рады... Но что же мне теперь делать? Должно быть, ждать ночи...

Доул забирается в расщелину. Лес здесь редкий. Но и в этом редком лесу поют, радуясь весне, птицы.

— Да хранит тебя бог, Майк. Да хранит он и меня, — бормочет капрал Доул.

Вниз под уклон тянется от лагерных ворот дугообразная мощенная булыжником дорога. Она обрывается возле остроконечной скалы, переходя в лестницу. Узкая и крутая лестница с гранитными ступенями ведет к карьере, на ровном дне которого, поднимая белую каменную пыль, работают каменотесы. Под скалой видны штольни. В подземных цехах строятся ракетоснаряды Фау.

В пыли копошатся сгорбленные фигуры каменотесов. Уши разрывает грохот молотов и трескотня долбежных зубил. Рядом работают старик и юноша в синем берете. Время от времени они перебрасываются фразами. Сильно нажимая на затыльник зубила, старик горько усмехается:

— У тебя, Коля, мозги набекрень... Ты вот не подумал о том, что тут, в каменоломне, было десять тысяч немецких антифашистов. И все накрылись... Почему же они не устроили побег, ежели так все по-твоему просто: раз-два — и смотался?..

Серые глаза Коли укоризненно смотрят на старика:

— Значит, дядя Аверьян, они не сумели организоваться!

Дядя Аверьян искоса посматривает на бригадира каменотесов с черной повязкой на рукаве и надписью «капо». Тихо отвечает:

— Значит, была такая обстановка.

— Да нам же не революцию тут устраивать, — возмущается Коля. — Тут только поднеси спичку, сразу вспыхнет. Люди, как порох!

Дядя Аверьян хмуро глядит на капо, который продирается между каменных глыб крадущейся походкой. Вот он останавливается позади одного из каменотесов и сильно бьет его кулаком по спине:

— Арбайт!.. Арбайт!.. Арбайт махт⁷ фрей!.. — кричит он.

— Видно, не активно действовали, потому и дали себя перебить, — продолжает возражать Коля.

— Не активно?.. — Дядя Аверьян щурит глаза. — Милый дружок, не все здесь думают так, как мы с тобой. Другой может и шкурником оказаться. Вот тебе и провал.

— Ну чего же тогда ждать?.. Думаешь, они выпустят нас?.. Говорят, есть приказ Гиммлера: лагерь уничтожить при подходе наших войск... Уж лучше броситься на проволоку, как сегодня сделал это американец, чем ждать, когда тебя задушат в газовой камере...

Терпеливо выслушав Колю, дядя Аверьян качает головой:

— Об американце я слышал и другое: его загнали на проволоку,

— Все-таки он умер смело. А о нас кто хорошее скажет? Попали к ним в лапы, подошли в концлагере. Безвестно и бесславно!

— Не совсем так, Коля. Попадают при сложных обстоятельствах даже герои.

— Нет, прежде всего — трусы!

Дядя Аверьян снимает очки, оборачивается всем корпусом к парню:

— Стало быть, дорогой дружок, мы с тобой — те же трусы?

— Ну... я, например, попал... — Коля растерянно смотрит на камень, — попал нелепо. У нас было просто аховое положение...

Видя, что Коля собирается объяснять, дядя Аверьян останавливает его:

— Об этом ты уже рассказывал мне... Знаю... Нет, друг, ты не вешай всем подряд ярлык труса и не выгораживай себя.

Коля перестал работать, сердито смотрит на старика. Потом упавшим голосом говорит:

— Ну и пусть. Пусть я трус, как думают некоторые. Все равно я не сдамся им в последнюю минуту. Зубами хоть одному да перерву глотку...

— Арбайт, арбайт! — кричит издали капо. — Арбайт махт фрей!

Не работающего Колю увидел эсэсовец. Крадучись, он пробирается меж каменных глыб, расстегивает кобуру...

Дядя Аверьян заметил, начал усиленно долбить камень. Коля понял, что близко опасность, оглянулся. Эсэсовец поднял пистолет.

— А-а... гад... — кричит Коля.

Он хочет прыгнуть с камня, но не успевает. Гремит выстрел.

Работают каменотесы. Среди них и я. Несется трескотня долбежных зубил. Поднимается белая пыль.

Труп юноши лежит на каменной квадратной глыбе, которую он обтесывал.

Дядя Аверьян долбит камень. Рядом стоит эсэсовец. По щекам старика текут и текут слезы...

А рядом, в подземном цехе, тускло светят электрические лампочки, гудят станки и всюду тоже ходят над-

смотрящие. Но и здесь люди не перестают думать о том, о чем думал Коля. Вот два станка: фрезерный и строгальный. Человек, работающий на строгальном станке, скептически замечает фрезеровщику:

— Брось, братишка, все это болтовня... Успеют наши подойти к лагерю — будем живы. Не успеют — всем каюк.

— Ну, если так рассуждали бы все, можно быть уверенным: нас давно бы передавили, как блох!.. А мы все-таки не блохи.

— Значит, ты считаешь, что они нас боятся и потому не могут расправиться? Так, что ли?

— В какой-то мере и боятся. А что?

— А я так думаю: Гитлер хватается, как утопающий, за соломинку. На что-то еще надеется. Потому мы и нужны ему. По слухам, от Германии остались только ключья, а война все ж таки продолжается. Не будь мы нужны, нас бы давно испекли.

— Ну-ну, строгай, строгай усерднее. Да скажи прямо: не хочу, боюсь. А то развел антимию... — Фрезеровщик зло сплевывает. — Попомни, найдутся, которые не испугаются!

— Дело не в страхе, — возражает строгальщик. — Я не понимаю одного, почему ты скрываешь от меня подробности?..

— А ты слыхал, есть такое слово: конспирация?..

— Если бы все это серьезно, я бы первый загробил этот станок! А то сыграешь в подпольную организацию и за эту игру повесят!

— Позволь тебя спросить, — сдерживая раздражение, говорит фрезеровщик. — Откуда мы получаем новости о положении на фронтах? Может, ты думаешь, что об этом любезно рассказывает сам Штофхен или его помощники? Или их приносят новички, которые уже по году, а то и больше просидели вот в таких же пещерах?..

— Я не знаю, — смущенно признается строгальщик. — Можно, конечно, догадываться, что кто-то нас информирует... Но, пойми, все-таки очень трудно представить организацию в наших условиях.

— Трудно представить? А вот кто-то не представляет. Кто-то во всю действует! И от нас требуется только одно: подбирать подходящих людей.

Задумавшись, строгальщик не сразу отвечает:

— Люди, конечно, найдутся... Вот тут есть паренек боевой, камни обтесывает. Хоть сейчас пойдет на что угодно.

— Вот и поразмысли хорошенько, может, еще кого вспомнишь. И держи их на уме, пока при себе...

Мимо разговаривающих проходит высокий, изможденный узник. В руках у него какие-то детали, которые он несет к своему станку. Глянув на фрезеровщика и строгальщика, он на ходу, скороговоркой сообщает:

— Осторожнее разговаривайте. Сейчас только что эсэсовцы убили каменотеса. Паренька в синем берете... Тоже разговаривал.

Строгальщик широко открытыми глазами смотрит вслед прошедшему, шепчет:

— В синем берете?.. Колю?!.

Солнце скатилось за горы. Медленно цепляясь за сучья кустов, оставляя белые клочья на проволоке, в лагерь заползает туман. Около одного из барачных прогуливается Кленов. Когда он проходит мимо дверей, над которыми, покачиваясь на ветру, мигает лампочка, свет падает на его лицо. И на лбу четко выступает красная цифра три. Смыть ее запрещено в течение двух суток.

Арестантская одежда на Кленове аккуратно подогнана. Этим он слегка выделяется среди заключенных. Кленов ходит, озабоченно поглядывая на переулочек. Брови его сдвинуты, в глазах напряженное ожидание. В сумраке появляется высокий Новодаров. Кленов взволнованно шагает навстречу, тихо говорит:

— Товарищ майор, уже думал, вы не придёте.

Новодаров жмет его руку:

— Знаешь, я теперь в новом бараке. Надо было осмотреться, люди незнакомые.

— Перевели?

— Да. Часа два назад.

— Почему?

— Откуда ж мы знаем, — пожимает плечами Новодаров. — Кроме того, я — заложник. Может быть, хотят куда-то отправить, вот и сортируют... — Он кладет широко ладонь на плечо Кленова: — Ну а у тебя что?..

— Генрих ждет вестей.

— Вести разные. — Новодаров берет Кленова под руку. Они медленно идут по переулочку между бараками.

— Опусть руку в мой карман, да смотри, не обожгись, — говорит Новодаров.

Кленов опускает руку в его карман и, дотронувшись до пистолета, удивленно поднимает глаза.

— Пойдем на «проспект», — смеется Новодаров. — Там все-таки меньше подозрений... Удивляешься, откуда эта штука? Н-да... Здесь ее достать можно лишь... — Он медлит, потом спрашивает с усмешкой: — Не понимаешь, в каком случае?

Кленов с недоумением смотрит на Новодарова. Лицо майора становится суровым.

— Я говорю, надо отнять у того, кто имеет!

— А-а! — вскрикивает ошеломленный Кленов.

— Тихо! — Новодаров прикладывает к его губам пальцы. — В двух словах скажу, как было.

Уже совсем стемнело. Над лагерем маячат черные трубы крематория. Они выбрасывают багровые языки огня.

«Проспект» ярко освещен. На сто метров в длину тянется густая проволочная сеть. На проволоке цепочка красных попеременно с белыми электрических лампочек. Свет от них падает на асфальтированную панель, по которой ходят заключенные. В гладком влажном асфальте шеренга ламп отражается, как в зеркале.

По «проспекту» разгуливают преимущественно аристократы лагеря: капо, блоковые старосты, кухонные работники. У них свои дела: разработка комбинаций по добычанию продуктов и табака. Здесь они мало обращают внимания на рядовых каторжан, редко придираются к ним.

Глядя на мокрый асфальт, Кленов вздыхает:

— Зажмурить бы глаза и вдруг оказаться на Невском... Что можно за это отдать? Все! Кроме жизни... А как хочется жить.

— В моей части служил один ленинградец, твой земляк. Кажется, жил он на бульваре... Профсоюзов.

— Профсоюзов?! — восклицает Кленов и взволнованно продолжает: — Тихий, зеленый бульвар. Там мой дом. — Он останавливается и, закрыв рукой глаза, старается представить себе бульвар, дом, жену и маленькую дочку... Вот они идут по бульвару... Июль. Ветерок

колышет над головой зеленую листву. «Пап, а ты надолго уезжаешь?» — «Глупышка, наш папа уходит на войну». — «На войну? А это интересно? Как в кино?»

— Иди к Генриху. Надо ночью собраться, — говорит Новодаров.

— Хорошо.

Новодаров смотрит на взволнованного, растерянного товарища, вздохнув, предлагает:

— Может, выпьем по кружечке пивка?

Кленов радостно кивает:

— Я как раз об этом подумал!

Они подходят к углу синего барака. Один прислоняется плечом к одной стене, другой — к другой стене. Их разделяет угол. Кленов щелкает пальцем по стенке барака...

— Хозяйка! Две кружки пива, пожалуйста.

Новодаров, зажмурясь, добавляет:

— По нашей традиции — ему большую, мне маленькую... — Помедлив, машет рукой. — А, впрочем, налейте мне большую. Сегодня был тяжелый день!

Кленов с застывшей улыбкой смотрит в сумерки, вздыхает.

— Н-да... Очень трудный день был у тебя, товарищ майор... А жить очень хочется!

Так они долго стоят, грустно улыбаются, каждый думает о своем.

В это время на «проспекте» назревает драка.

Два капо спорят, зло наступая друг на друга. У одного крючковатый нос и толстые губы. У другого сильно выпячена нижняя челюсть.

— Украл, не я. Хельмут украл.

— Врешь, сука!

— Клянусь пуговицей моего деда! Но, если бы украл я, — это все равно, что Хельмут. Ты же знаешь, Орлан, что Хельмут и я — одно целое. Живем-то на пару!

Грубый смех прерывает глухой удар в подбородок. Мелькает блеск стали. Тишину «проспекта» разрывает протяжный стон упавшего капо. Со звоном падает на асфальт нож. Один из дравшихся бросается в темный переулок между бараков.

Новодаров и Кленов с минуту растерянно смотрят друг на друга, затем торопливо уходят от «пивного ларька» к своим баракам.

В переулке они расстаются.

— Вот их удел!.. Можно подумать, что вся Германия из таких и из эсэсовцев! — говорит Кленов.

— А Генрих?

— Да, конечно, Генрих — это другая Германия, — признается Кленов.

— Итак, жду! — уходя, бросает Новодаров.

— Есть! — по-военному, но тихо отвечает Кленов.

В кабинете Штофхена Макс и один из главных са-трапов коменданта — тучный Штрайтвизер. Адель осталась за дверьми. Ей не все дозволено знать. Она ведь только «руки» адъютанта.

Включив радиоприемник, комендант кивает Максу: — Докладывайте.

Вытянувшись и выпятив грудь с орденами, безрукий рапортует:

— Штурмбанфюрер! Исчезновение командофюрера Мусса остается, к сожалению, тайной!

— О аб меньше! — презрительно цедит сквозь зубы Штофхен и переводит взгляд на Штрайтвизера: — Ваш доклад!

— Я проверил все личные вещи и документы пропавшего Мусса. Все на месте. Никаких следов дезертирства... Я знаком с Эрихом Муссом очень хорошо.

Штофхен мрачно поворачивает голову к Максу:

— Что вы еще имеете?

— Все ваши распоряжения, герр штурмбанфюрер, выполнены.

— Чепуха! — гневно восклицает комендант. — Вы принесли приемник, я включил и... что вы думаете?..

Макс испуганно замер.

— Я услышал голос Москвы, — усмехается Штофхен. — Понимаете теперь? А вы говорите, все распоряжения выполнены.

Комендант делает знак, чтобы Макс и Штрайтвизер вышли. Оставшись один, снимает трубку черного телефона.

— Шульц!.. Меченых номерами «три» приготовить к отправке под «теплый дождь». Сведения послать в блоки в полночь. Радиотехника Лемке допросить и присоединить к меченым номерами «три». Заложника майора Но-

водарова и трех англичан перевели?.. Приготовьте их к «особой» эвакуации.

Отдав распоряжения, Штофхен включает приемник. Потом нажимает кнопку — черный ковер на стене сдвигается в сторону. Под ним — географическая карта. Крупным планом обозначен концлагерь. С востока и с запада к лагерю направлены красные стрелы. Штофхен угрюмо смотрит на карту, затем нажимает кнопку, бархатный ковер с вышитым на нем черепом и буквами СС встает на свое место. Штофхен еще несколько минут слушает радиопередачу, потом резко выключает приемник и снимает трубку с белого аппарата:

— Макс!.. Напомните всем: через пятнадцать минут совещание. Без опозданий!

Офицеры собрались вовремя и, в ожидании коменданта, ведут себя вольно. Развалясь, закинув ногу на ногу, беспрерывно курят, сбрасывая пепел сигарет на красный плюш диванов, беззлобно переругиваются, сплетничают, перебирают старые солдатские анекдоты. Штофхена в кабинете нет. Но вот он входит:

— Ахтунг!

Офицеры вскакивают, вытягиваются. Сигареты брошены, дымят в пепельнице.

— Хайль! — бросает Штофхен, вытянув руку.

— Хайль!

— Садитесь.

Все усаживаются.

— Кто слушал последние сообщения? — спрашивает Штофхен.

Один из эсэсовцев, худой, длинный, глядя исподлобья, отвечает за всех:

— О том, что на улицах Берлина идут бои, знает каждый.

Штофхен, выпрямляясь, обводит собравшихся взглядом, затем бесстрастно сообщает:

— На улицах Берлина спокойно.

Лицо длинного эсэсовца кривится в усмешке: «Знаем, мол, опять врешь».

— На улицах Берлина бои кончились, — уже глухим голосом повторяет Штофхен. — Берлин пал.

Эсэсовцы, вскинув головы, смотрят друг на друга.

Кое-кто зашевелился, поднимаясь.

— Сидеть! — рывкает комендант. — Тихо!

Он нажимает кнопку, черный ковер сдвигается в сторону.

— Наше положение чрезвычайно сложно, — взяв указку, подходит к карте Штофхен. — Захватив Пассау, американцы подошли к Линцу. В Вене уже давно хозяйничают большевики. Наш лагерь еще управляется войсками фюрера. Здесь сосредоточено пять тысяч заключенных. Сегодня русские от нас вдвое дальше американцев. Против большевиков брошено все. Несмотря на это, они идут. Ночью пал Мельк...

Один из офицеров дрожащей рукой достает сигарету, закуривает. Но никто не обращает внимания, хотя это чрезвычайное нарушение дисциплины. Комендант тоже, кажется, не замечает нарушения.

Курящий мрачно усмехается:

— Мельк... Это шестьдесят километров отсюда.

В другое время за это офицер получил бы взыскание. Но Штофхен продолжает, словно он ничего не слышал:

— Обратите внимание на моральное состояние арестантов. Лагерь кипит! Известно, рабы жаждут свободы. Они еще надеются рассчитаться с нами.

Офицеры подавленно смотрят на карту...

— Но во имя расы, государства и фюрера, — продолжает металлическим голосом комендант, — мы обязаны держаться до последнего приказа Гиммлера. Наша газкамера пропускает восемьдесят человек в десять минут, но...

Длинный офицер, вынув изо рта сигарету, развязно сплевывает и, скептически передергивая плечами, строит гримасу:

— Хм... выполнить приказ... Когда он еще поступит... Да и поступит ли? Если пал Берлин, то где же сейчас герр Гиммлер?

Штофхен запнулся, нахмурился:

— Я вас не понимаю!

Офицер нехотя тушит сигарету, встает, поправляет ремень. Комендант смотрит ему в глаза. Лицо Штофхена мрачно, на скулах играют желваки.

— Что вы хотели этим сказать, гауптшарфюрер фон Шмутциг?

Вяло ворочая языком, точно пьяный, Шмутциг отвечает:

— Я хотел сказать — мы не в безопасности. Коммандофюрер Мусс об этом побеспокоился раньше всех.

Штофхен растерянно озирается, багровеет и затем, едва сдерживаясь, произносит:

— Об опасности знают и наши дети! Исчезновение Мусса еще расследуется.

Шмутциг, совсем еще недавно верный помощник коменданта, теперь демонстративно покидает помещение, заложив руки за спину.

— Куда вы?!

— Собрать вещички.

Когда за ним закрывается дверь, Штофхен раздраженно восклицает:

— Оберштурмфюрер Штрайтвизер! Поручаю вам покончить со Шмутцигом. Он сошел с ума.

— Яволь!

Эсэсовцы выжидательно смотрят на Штрайтвизера. Ведь Шмутциг его лучший друг.

— О выполнении доложите!

— Яволь, герр штурмбанфюрер!..

Грузный Штрайтвизер выходит из кабинета.

Шмутциг долго и тяжело ходит по своей комнате. Время от времени останавливается у портрета молодой женщины, висящей над кроватью, пристально разглядывает фотографию.

Тихо открывается дверь. Высовывается рука Штрайтвизера с пистолетом. Шмутциг в испуге кричит:

— Всех передают, всех!..

Гремит выстрел.

Штрайтвизер перешагивает через труп, вытаскивает из-под кровати чемодан, открывает его и прячет в карман какой-то сверток.

Ночь. Мигают, покачиваясь на ветру, лампочки. Часы, висящие над лагерными воротами, отбивают двенадцать ударов.

Из барака торопливо выходит Новодаров. Оглядываясь, он пробирается вдоль серой стены, пересекает узкий освещенный промежуток между бараками и, добравшись до крайнего, исчезает в его дверях.

В прихожей вошедшего встречает немец Генрих — единственный в лагере блокэльтестер из политических

заключенных. Остальные блоковые, как правило, из уголовников. Генриху за пятьдесят лет. Я знал его хорошо. Знал, что он сражался в Испании на стороне республиканцев. Тюрьмы, пытки, концлагери не сломили этого человека, но отложили на его лице суровый отпечаток пережитого.

— Проходи, проходи. Уже все собрались.

Койка Генриха отделена от спального зала дощатой перегородкой.

— Давайте поговорим, но не более десяти минут. Начнем с вас... — обращается Генрих к Новодарову.

— У меня пятнадцать надежных товарищей. Все русские офицеры.

— Кленов?

— У меня четырнадцать. Тоже русские...

— Ларго?

— Всего десять.

— От французов, чехов и поляков прийти не смогли, — сообщает далее Генрих. — Но я виделся с ними вечером. Их тридцать наберется... Немцев шестеро. А всего, значит, около восьмидесяти. Это — сила. Итак, товарищи!.. Лагерь накануне уничтожения. Приказ о ликвидации пришел полтора часа назад. Впрочем, каким методом они хотят сразу убить пять тысяч людей — неизвестно. Но надо быть готовыми. За час до начала приведения этого приказа в исполнение мы будем предупреждены. Сигнал к выступлению — крик совы. Остальной план действий вам известен. Баня. Стена, граничащая со складом эсэсовского оружия. Пролом в стене обеспечат товарищи, которые к этому давно готовились. Восемьдесят наших людей должны первыми взять оружие в руки. Вопросы?.. Нет?.. Прошу расходиться. Осторожно...

Оставшись один, Генрих долго ходит в полутьме по барaku, останавливается возле окна, смотрит на пустынный двор. Луч прожектора то рассекает над лагерем небо, то вдруг стремительно падает на бараки, скользит по их крышам, шупает переулки.

Генрих отходит от окна и, не раздеваясь, ложится поверх одеяла. Слышен бой лагерных часов. Час ночи. И тотчас шаги за дверью. Входит эсэсовец. Генрих вскакивает. Эсэсовец молча подает лист бумаги. Генрих подбегает к окну, бегло в сумерках читает список,

сильно вздрагивает. Оглянувшись на спальный зал, берет за руку эсэсовца, тревожно спрашивает:

— Сколько всего таких списков?

Эсэсовец молчит.

Эрих... — просит Генрих.

— Это первый список. Всего будет пятнадцать, — нехотя, сквозь зубы, цедит Эрих. — Начало завтра ночью. — Эсэсовец поспешно уходит.

Оставшись один, Генрих смотрит и смотрит на список. Десятки номеров и ни одного слова. «Пятнадцать списков... По одному в ночь. Неужели они надеются продержаться еще пятнадцать суток? А может быть, в ночь — пять списков? Газкамера сработает... Утром он зачитает список, скажет: вызванные по номерам «переводятся в другой лагерь».

Генрих внимательно просматривает список, замечает номер Сергея Кленова. «Как спасти его?!» Генрих долго задумывается.

Темно в бараке. Все спят. Генрих бесшумно шагает по прихожей: пять шагов вперед, пять назад.

Утро. Перед баракom строй узников — четыреста человек в помятых чепчиках и рваных полосатых костюмах. Блокэльтестер Генрих, обойдя строй, подает команду: «Равняйсь... Смирно!». Он щурит глаза, и на мгновение стоящие шеренги заключенных преобразуются из арестантов в бойцов республиканской армии испанцев... Они в беретках, а за плечами у них оружие...

Подходит писарь, молча смотрит в лицо Генриху.

— Дайте, я буду читать сам, — говорит Генрих и берет список.

Люди тревожно смотрят на испуганное лицо писаря, на хмурое, непроницаемое лицо Генриха.

— Внимание! Сегодня на работу не идут...

В рядах взволнованный ропот:

— Лотерея смерти.

— Опять лотерея смерти.

Генрих читает. Четыреста человек замерли в страхе.

— 25880! — объявляет Генрих.

— Здесь!

— 17091!

— Здесь!..

Они выходят из строя и становятся в отдельную шеренгу.

Как от удара дергается Кленов, когда Генрих называет его арестантский номер.

— По распоряжению политишеабтайлюнга вызванные переводятся в другой лагерь, — заявляет Генрих и поспешно уходит в барак. Строй не расходится. Все словно оцепенели... Мой номер пока не назван. Но...

Кленов застывшим взглядом смотрит на покрытый булыжником дворик, на подернутую синей дымкой даль. Там, за колючей проволокой, старая береза, усыпанная гнездами; по-весеннему задорно кричат белоносые грачи.

Внезапно раздается тоскливый голос скрипки. Он все нарастает и нарастает. Это играет Адам. Скрипка в его руках плачет.

Из барака выбегает Генрих. Схватив Кленова за рукав, он испуганно шепчет:

— Что он, с ума сошел? Скажи, чтобы немедленно прекратил! Это же наш сигнал: «К бою готовсь».

— А может, так надо? — неуверенно спрашивает Кленов.

— Нет! Старик перепутал. Или, может быть, его номер тоже попал.

Кленов колеблется. Уж пусть лучше будет бой, чем так умирать.

— Иди же! — приказывает Генрих.

Адам стоит у дверей барака и, сгорбившись, водит по струнам смычком.

— Прекрати, — тихо говорит Кленов. — Еще не время.

Адам мутными глазами смотрит на него, опускает скрипку. Но, как только Кленов отходит, он начинает играть. Кленов возвращается:

— Прекрати! Мой номер тоже вызван... Подожди же до вечера.

Адам недоверчиво смотрит на Кленова. Пальцы у него дрожат.

— Ну, успокойся же, друг. Играй что-нибудь другое.

Адам поднимает скрипку, зажмурясь играет вальс «Над прекрасным голубым Дунаем».

Не забыть, нет, никогда не забыть мне этот грустный вальс!

Вечером к Генриху приходит Новодаров.

— Понимаете, Генрих, план ваш мне не нравится. Спасая одного, судьбой остальных мы вроде не интересуемся... Так получается?

— Мне он тоже не очень нравится. А что еще можно придумать? — спрашивает Генрих.

— Кто знает об этом?

— Все члены подпольного комитета.

— Они собираются уничтожить сто человек, меченых цифрой три. Мы же надеемся спасти одного Кленова... Но как же остальные?

Генрих опускает голову.

Новодаров мрачно смотрит в сторону.

— Я бы на их месте сопротивлялся. Забаррикадировались бы в мастерской бытового обслуживания. Стены крепкие, из пушки не пробьешь. Дверь обита железом. Единственное окно можно закрыть бутовыми плитами. Взломать пол и закрыть. Один из них будет иметь парабеллум и четырнадцать патронов. Что может Штофхен предпринять?

— Стоп! Ты говоришь дело. — Лицо Генриха оживляется. — Что эсэсовцы могут предпринять? Поджечь сарай невозможно. Гранатами его не пробьешь... Но они, конечно, что-нибудь придумают. И соберется их здесь, в самом лагере, много... Тогда может наступить благоприятный момент и для нас...

— Правильно, Генрих. Их силы будут раздроблены. Вахтманы с вышек не смогут обстреливать. Иначе станут бить по своим. Пойдет рукопашная.

— Теперь надо срочно посоветоваться с нашими. Сумеешь через два часа вернуться ко мне?

— Надо суметь. — Новодаров задумывается.

— Хорошо. Готовь остальных... Немцев, французов и испанцев я беру на себя, — решает Генрих.

Новодаров быстро идет по переулочку. Он думает о Кленове. «Точно ли известно, что вор-испанец не только вор, но и предатель? Если так утверждают испанцы и даже собираются его сами убить, почему бы нам не воспользоваться?.. Убить испанца и выдать его за Кленова...»

Новодаров входит в барак, отыскивает музыканта Адама, дает ему знак выйти. Старик тотчас появляется

на улице. Новодаров, наклонясь к нему, излагает план действий.

Старик широко открытыми глазами смотрит на Новодарова, кивает в знак согласия и спешит обратно в барак. Там он подходит к одному, потом к другому, к третьему, ко мне...

Вскоре Новодаров возвращается к Генриху. Генрих встречает его сдержанной улыбкой.

— Дверь в мастерскую отперта... Теперь наши люди поднимут их тотчас по сигналу. Свою «игрушку» я успею передать одному парню. Оказывается, он в свое время брал призы по стрельбе.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо перебивает Генрих Новодарова. — Есть последняя новость: с востока идет артдивизия под командованием Зеппа Дитриха. Штофхен заручился обещанием генерала. Лагерь будет сметен с лица земли артиллерийским огнем. Эта операция по уничтожению заключенных называется «Последний залп».

— Они не останутся с нами в лагере под огнем артиллерийской дивизии.

— Вероятно, — усмехается Генрих.

— Значит, надо смотреть в оба. Когда они начнут тайный отход... Но как же быть с Кленовым? Газовая камера не будет бездействовать в ожидании подхода дивизии. Первый-то список они наверняка пропустят через нее. — Новодаров, поджав губы, вопросительно смотрит на Генриха.

— Вот что, — решает Генрих, — Кленовым я займусь сам. Вы поддерживайте связь с остальными. Главное, вовремя их отправить в каменный сарай и передать эту... как вы сказали... игрушку.

— Есть!

Майор Новодаров поспешно возвращается в свой барак.

Сумерки сгущаются. Уже дан отбой. Узники заняли места на нарах. Генрих ходит взад — вперед, чутко прислушивается. За стеной начинается шумная возня, потом все стихает. Подождав немного, Генрих выходит в уборную, открывает дверь. На веревке, в одном нижнем белье, покачивается труп. Генрих закрывает дверь, воз-

вращается в барак. К нему подходят трое рослых арестантов в нижнем белье.

— Все готово, Генрих, — говорит один из них, — предатель и вор уничтожен.

— Хорошо, Ларго. Сейчас я позову Кленова. Приготовьтесь. Как выйдет — бейте в лицо. Только в лицо!

Ларго и его товарищи прячутся за шкаф.

Генрих тихо входит в спальный зал. В правой половине, на верхнем ярусе видна голова Кленова. Он лежит лицом вверх, смотрит в потолок. Вокруг него все спят. А он думает о своем, вспоминает прошлое.

...Вот он получил новое назначение. Простясь с семьей, прямо из Ленинграда прибыл на побережье Рижского залива. «Товарищ политрук, знакомьтесь, вот ваше подразделение, — сказал ему батальонный комиссар. — Конечно, трудно морякам расставаться с подводной лодкой, но ничего не поделаешь. Ремонт механизмов займет не меньше недели, а гитлеровцы уже рядом...»

«Здравствуйте, товарищи!.. Не падайте духом, будем бить врага на суше!» — стараясь придать своему голосу бодрую интонацию, произнес Кленов. Однако моряки лишь мрачно посмотрели на него и снова отвернулись к морю. Возле тирса покачивалась на легкой зыби подводная лодка. На перископе сиротливо торчала командирская фуражка — с белым верхом и черным околышем. Сам командир стоял впереди матросов. На лоб ему свалилась прядка русских волос. На затылке волосы стояли хохолком. Офицер не мигая смотрел и смотрел на лодку, на то, как волны накатывались на ее пологие борта. Но вот он вынул карманные часы, посмотрел и, подняв руку, крикнул: «Ложись!» Матросы повалились на землю. Комиссар толкнул в плечо Кленова: «Ложись, товарищ политрук!» Через несколько минут огромный фонтан воды, перемешанный с огнем и дымом, взлетел высоко над морем. Взвилась в поднебесье офицерская фуражка, покружилась на одном месте и ласточкой понеслась вниз, нырнула в волны. У многих матросов на глаза навернулись слезы...

Не сразу подружился Кленов с моряками. А потом его ранило и матросы, переодев его в форму рядового, несли на руках по топким прибалтийским болотам, выходя из вражеского окружения.

Размышления Кленова прерывает Генрих:

— Не спишь?

— Который час? — тихо спрашивает Кленов.

— Одиннадцать. Пойдем ко мне.

Кленов начинает надевать брюки.

— Не надо, — Генрих вырывает из его рук брюки, швыряет на нары. — Идем.

Кленов выходит в прихожую. Генрих плотно закрывает за ним дверь. Из-за шкафа выскакивают трое. Испанец сильным ударом в лицо сбивает Кленова с ног. Двое других тоже бьют его, стараясь попадать по лицу. Кленову все же удается вскочить.

— Ах вот вы как!.. Бойтесь, что перед смертью я стану предателем?.. Как вы смели забыть, что я русский, что я политрук?! — Сжав кулаки, он бросается на испанца.

Но его вновь сбивают.

Собрав все силы, Кленов выворачивается из-под навалившихся на него тел и завинчивает такой подзатыльник испанцу, что тот кубарем летит к порогу и долго не может прийти в себя. Но в эту же минуту на Кленова наваливается Генрих и еще двое и долго бьют уже лежащего. Кленов больше не сопротивляется. Он лежит на полу окровавленный.

— Ларго, скорей бинты! — распоряжается Генрих.

Испанец подает бинты. Генрих поднимает голову Кленова. Лицо его неузнаваемо.

— Эх как тебя разукрасили, друг... — вздыхает один из подпольщиков.

— Так надо, друг, так надо... — шепчет, глядя Кленова по плечам, испанец. — Теперь тебя никто не узнает.

На Кленова накидывают пиджачок повешенного испанца.

Скоро избитый приходит в сознание, открывает глаза. Но, увидев Генриха и Ларго, пытается вскочить, однако кулаки его бессильно разжимаются.

— Успокойся, иначе тебя не спасти.

Кленов долго смотрит на подпольщиков, пытаясь осмыслить случившееся.

— Теперь ты испанец, — сурово поясняет Генрих, — известный лагерный вор и предатель. Понял?

Кленов смотрит на свой костюм,

— За меня вы убили другого?..

— Да его давно уже пора было прикончить. Сколько он наших продал, — говорит Ларго.

Утренняя поверка. Среди заключенных — забинтованный Сергей Кленов. Блоковый писарь громко вычитывает по списку номер за номером. Каждый узник четко отвечает за себя из строя: «Здесь!»

Писарь называет номер Кленова.

Над строем тишина.

Писарь громко повторяет номер. Блоковый староста Генрих, чуть наклонившись к писарю, нарочито громко произносит:

— Этот русский повесился.

— Ах да... — вспомнил писарь. Он делает пометку в журнале и продолжает вызывать другие номера. Среди прочих «испанец» тоже отвечает «Здесь!».

К строю приближается блокфюрер. Звучит команда «Ахтунг», блокэльтестер делает шаг навстречу эсэсовцу и докладывает. В докладе упоминается, что русский номер такой-то ночью повесился в уборной.

Блокфюрер проходит в помещение взглянуть на висельника. Вскоре он возвращается с усмешкой на лице. Взгляд его останавливается на забинтованном Кленове.

— Кто это? — спрашивает эсэсовец.

Все смотрят на забинтованного.

Огромным усилием воли Генрих подавляет в себе волнение, на лице его появляется улыбка.

— Этот испанец ночью пытался украсть хлеб, его крепко измордовали.

Рука эсэсовца ложится на кобуру пистолета.

— А ну, выйди из строя! — приказывает он.

Кленов выходит из строя.

Рука эсэсовца расстегивает кобуру...

— Сколько тебе лет? — спрашивает эсэсовец.

Кленов молчит.

— Эй, спроси, у него, — кивает эсэсовец испанцу, — сколько ему лет и как долго он еще намерен жить?

Кленов молчит: он не знает испанского языка.

— Господин блокфюрер, — обращается Генрих к эсэсовцу. — Его так отделали, что языком не пошевелить. Мне кажется, — неделю не сможет рта открыть.

Эсэсовец подзывает писаря:

— Запиши в журнал моих приказаний... Этому типу прополоскать солью рот. Сегодня же!..

Генрих натянуто улыбается:

— Мудрейший вы человек, герр блокфюрер!.. Согласно вашего совета, мы его сегодня — «полечим»...

Довольный своей выдумкой, эсэсовец, посмеиваясь, уходит.

Солнечное майское утро. Генрих и Новодаров стоят во дворике перед блоком.

— Я думаю, — говорит Новодаров, — они решили отказаться от услуг газовой камеры. Слишком хлопотное дело.

— Крематорий не успеет сжечь отравленных, — соглашается с ним Генрих. — Огонь артдивизии сотрет лагерь с лица земли. Это, видимо, лучший вариант...

— Н-да... Пожалуй, верно. Пойду прогуляюсь. Скоро вернусь... — С этими словами Новодаров уходит.

Через несколько минут он появляется на площади. Здесь многолюдно. Возле крематория, из труб которого тянется ввысь ровный столб дыма, расположился оркестр из заключенных. Среди музыкантов — скрипач Адам. Поблескивают на солнце медные трубы. По приказанию эсэсовцев музыканты исполняют марши германской армии, вальсы, танго. Пришел послушать музыку безрукий адъютант с Аделью...

Завидев их, узники спешат уйти подальше. Слышны возгласы:

— Осторожно!..

— Форзихт!

— Увага!

— На площади безрукий!..

Новодаров возвращается в барак.

— Ты обратил внимание, — спрашивает он Генриха, — оркестр сегодня играет без перерыва. А гром артиллерии сильнее и сильнее... Наши подходят.

— А может, артдивизия Зеппа Дитриха дает знак Штофену?

Новодаров отрицательно качает головой:

— Залпы слышны уже давно.

Оба прислушиваются. С площади доносится марш германской армии. Опять слышны далекие взрывы.

— Вот это сила! — шепчет Новодаров, поглядывая на лагерные часы. — Третий час гудит земля.

— Мне думается, русские совсем недалеко. Если, конечно, это их залпы, — вслух размышляет Генрих.

— Товарищ лейтенант! — докладывает офицеру солдат с биноклем на груди. — Они подняли белый флаг...

Лейтенант подносит бинокль к глазам:

— Да, над ратушей... Вижу.

Лейтенант бежит на КП. Остановясь перед полковником, радостно прикладывает руку к пилотке. Полковник, словно не замечая его, смотрит в стереотрубу.

— Разрешите доложить, товарищ полковник.

— Да.

— Они сдают город!

— Сдают? Ошибаешься, лейтенант. Вот, посмотри... — Полковник уступает место у стереотрубы растерявшемуся лейтенанту. Тот всматривается, и лицо его мрачнеет. Там, где еще минуту назад мелькал белый флаг капитуляции, снова полощется на ветру черный флаг эсэсовцев.

Полковник берет трубку телефона, стальным голосом приказывает:

— Третьей, четвертой, пятой и восьмой батареям, огонь!

Небо и земля, кажется, смешались над городом, по которому бьют батареи советских орудий.

Полковник смотрит на карту.

— Они не зря сопротивляются. Понятно: позади — большой концлагерь. Там наши люди... — Опять берет трубку телефона: — Усилить наблюдение за шоссе. Кажется, они начинают отходить... Не дать им уйти. Десятой и двенадцатой батареям — оседлать шоссе за городом.

Снова гремят залпы орудий. За небольшим городом на шоссе встают столбы черного дыма.

Полковник смотрит на часы.

— Семнадцать ноль-ноль. В городе что-то происходит. Дважды поднимался белый флаг и дважды его заменял флаг эсэсовцев. Надо доложить командующему... — Внимательно рассматривает карту. — Наши союзники примерно здесь. Как-то там у них сейчас?

Небольшое селение. Стоят танки. На борту каждого — синяя пятиконечная звезда в белом круге. Американские танкисты собрались в доме, окна которого настежь открыты. Из окон несется джазовая музыка.

В просторной комнате десятка полтора американских танкистов и несколько немецких девушек. Танцы. На столе — вино, закуски.

Один солдат разговаривает с девушкой:

— Ваш жених фашист?

Девушка презрительно поджала губы, молчит.

Танкист сердится, повторяет грубо:

— Фашист, да?..

Девушка вдруг откидывает голову, пристально смотрит на солдата, резко отвечает:

— Мой отец коммунист!

Американец несколько ошеломлен ответом.

— О! — только и восклицает он и растерянно смотрит на партнершу. — Где же он сейчас?

— В концентрационном лагере.

— В каком?

— Не знаю.

— Старый? ..

— Шестьдесят девять лет. Зовут его Лемке... Он радиотехник. Последнее время он был, кажется, в Австрии.

— Завтра мы перейдем границу Австрии. Давайте познакомимся. Меня зовут Фрэнк. Я водитель головного танка... Впрочем, девушек это не может интересовать.

Играет джаз.

Извилистое шоссе поднимается в гору. По шоссе бешено мчится мотоциклист. Останавливается он возле комендантского коттеджа. Запыленный, усталый, небритый, входит мотоциклист без всякого разрешения прямо в кабинет Штофхена. Вяло выбрасывает руку вперед, бормочет «Хайль» и, не ожидая ответного приветствия, сообщает:

— Герр Штурмбанфюрер! Генерал просил передать вам, что не позднее завтрашнего утра русские будут здесь. Наша артдивизия меняет направление отхода. Лагерь остается далеко в стороне.

— А приказ Гиммлера?

Связной пристально смотрит на коменданта красными, воспаленными от бессонницы и дорожной пыли глазами. Потом, медленно выговаривая каждое слово, резко бросает:

— Гимmlера уже нет! Он скрылся! — Помедлив, сухо и устало добавляет: — Помните, русские ждать не будут. Их уже ничто не остановит.

С этими словами, вяло буркнув «Хайль», он выходит, садится на мотоцикл и уезжает.

Штофхен долго стоит в оцепенении. Затем вынимает из шкафа обитый кожей чемодан, берет плащ.

Через несколько минут по той же дороге, по которой умчался мотоциклист, едет уже Штофхен. Он сидит в коляске, держит на коленях чемодан. Перед развилкой дорог дает знак водителю свернуть в сторону.

Комендант бежал.

В лагере оркестр все еще играет марш германской армии.

Неподалеку от комендантского коттеджа, в небольшом домике с надписью «Политишеабтайлюнг» два человека — начальник отдела Шульц и его помощник, долговязый штурмфюрер, жгут документы.

Шульц поторавливает:

— Шевелись, шевелись.

Пока штурмфюрер роется в шкафу, Шульц снимает френч, надевает штатский костюм, потом шляпу и светлый плащ, внимательно смотрится в зеркало.

Неподалеку, в эсэсовском гараже суетятся офицеры, толпятся около мощного грузовика. Кузов быстро наполняется чемоданами, рюкзаками...

Коротконогий толстый медик пытается втащить в кузов большой, как сундук, желтый чемодан. Ему это никак не удастся. Он просит помощи. Но никто на него не обращает внимания.

К комендантскому коттеджу бегут Макс и Адель, следом за ними эсэсовец, дежуривший у буфа. Позади еще несколько солдат.

Остановясь перед дверью коменданта, Макс кивает Адели.

Адель осторожно стучится. Из кабинета раздается протяжное кошачье:

— Мя-а-у-у...

Адель нерешительно открывает дверь. Под ноги юркнул ангорский кот.

Макс кидается к столу. На столе записка:

«Я вызван на фронт. Эвакуируйтесь: сегодня. Лучшее место — туннель в районе Каменной Головы».

Макс смотрит на Адель. Она отводит глаза.

— На фронт! — истерично кричит Макс, топая ногами. — На фронт! Я знаю, какой это «фронт»! Подлец!

Адель стоит потупясь.

— Звони скорее Шульцу, — приказывает ей Макс. — Пусть примет командование! Дезертира надо поймать, чего бы это ни стоило!

Адель набирает номер. Но никто не подходит к телефону.

— Беги сейчас же к Штрайтвизеру! — орет в ярости Макс. — Куда они все, сволочи, подевались?

Адель выбегает. Навстречу ей катит грузовик, наполненный до отказа эсэсовцами.

— Стойте, стойте! — кричит она, подняв руки и загораживая дорогу.

— Прочь! Прочь! О, аб! Доннер веттер! — горланят из кузова машины. Однако шофер с офицерскими погонами тормозит и, высунувшись из кабины, зло бросает:

— Скорей садись!

— Скорей же, сука!.. — кричат на замешкавшуюся Адель.

Испуганно оглядываясь на комендантский коттедж, Адель влезает в кузов автомобиля...

Оставшись один, Макс нервно ходит по кабинету коменданта. Услышав шум мотора, подскакивает к окну. Мимо проносится грузовик, переполненный офицерами.

— Свины, свиньи! — иступленно кричит Макс.

Ему никак не удается открыть дверь: французский замок зашелкнулся. Макс в ярости бьет в дверь ногами. Зубами крепко сжав головку замка, он открывает ее.

Как рушится весной лед, так рушилась и гитлеровская военная машина. Однако обезумевшие сатрапы фашистского строя, надеясь на чудо, продолжали цепляться за жизнь и держать народ под дулом пистолетов, под страхом смерти. Правда, их было уже немного. Единицы. И такой единицей явился безрукий. Ему уда-

лось, хотя и ненадолго, удержать в подчинении сильно поредевший эсэсовский гарнизон концлагеря.

...Вечереет. Притихли на старой березе грачи. Синие волны реки с наступлением сумерек становятся седыми. Возле лагерных ворот, под гранитной аркой с надписью «Арбайт махт фрей!» ходит перед строем вооруженных эсэсовцев адъютант сбежавшего коменданта оберштурмфюрер Макс. Лицо его совсем посерело и осунулось. Он резко выбрасывает слова, охрипшим голосом отдавая распоряжения о ночном марше в район Каменной Головы, в тридцатиметровый туннель.

— Там мы и кончим этот наш последний поход! Там выполним до конца свой долг перед отечеством, расой и фюрером!

Звучит сигнал. Ворота лагеря открываются. Выбежав вперед, Макс истошно подает команду:

— Хе-эфтлинге-эн, ма-арш!

Шеренги узников качнулись и медленно поплыли.

«Хлык, хлык, хлык!..» — стучат деревянные колодки.

— Линкс, цвай, драй, фир!.. Линкс унд линкс! — рывкает Макс, притопывая ногой.

Все громче и громче ритмичный стук колодок.

Макс взбегает на помост:

— Кто нарушит порядок — будет расстрелян на месте! Линкс, цвай, драй, фир...

Строй заключенных замкнут дулами автоматов. Я помню. Я был среди них... Эсэсовцы шли в голове колонны, на флангах и в хвосте, держа оружие наготове. В конце колонны оркестр.

В такт стучащим о камни колодкам гремит музыка.

Лагерь, над которым на флагштоке чернеет жестяной эсэсовский флаг, остается позади.

В распахнутые ворота видно, как несколько солдат бегают от барака к барaku с зажженными факелами. Смотря на колонну заключенных, обтянутую жидкой цепочкой солдат в тускло-зеленой униформе, Макс, гордо вскинув голову, произносит:

— Вот как надо отступать, герр штурмбанфюрер Штофхен!.. Впрочем, ты свинья! — Он бросает короткий презрительный взгляд на опустевший комендантский домик, у дверей которого одиноко сидит крупный пушистый кот.

— Ты свинья, Штофхен! — продолжает Макс. — Если бы я знал раньше, все было бы иначе... Теперь же ты удираешь, свинья, на юго-запад, в Зальцбург, а мы выполним свой священный долг перед фюрером...

В середине колонны в одном ряду идут Генрих, Новодаров и забинтованный Кленов.

— Их около тысячи... Нас — пять, — вполголоса говорит Новодаров. — Пятеро безоружных — на одного вооруженного.

Все трое меряют взглядом расстояние до эсэсовской цепи.

— Перед туннелем дорога резко сужается — они пойдут с нами почти вплотную. Это то, что нам и нужно; — приглушенно бормочет Генрих.

— Главное, не упустить момент, — шепчет Кленов. — Они пойдут рядом недолго. Потом, наверное, отстанут и откроют огонь в спину.

— А я думаю, они сделают иначе, — вслух размышляет Генрих. — Засада из нескольких пулеметчиков будет ждать нас у выхода из туннеля. Эти же все — отстанут... Все произойдет быстро, никто из каменной дыры не выскользнет... Впрочем, может быть, они готовят что-то иное.

Играет оркестр. Позади, на месте лагеря, бушует багровое море огня. Это горят бараки.

Луна слабо освещает горы. Внизу, под отвесными скалами, вьется лента дороги. Одна из вершин скал похожа на голову гигантского человека. Это и есть Каменная Голова. Внизу, под нею, дороги уже не видно. Она проходит через туннель. Тишину ночи нарушает монотонное журчание горного ручья.

К ручью подходит человек в форме — американский летчик Доул. Уже несколько суток бродит он по горам, в незнакомых местах. Ночью капрал идет, а днем, спрятавшись, отсиживается.

Присев на корточки, Доул черпает горстями холодную воду, жадно пьет. Американец исхудал, оброс бородой. Грязная, мятая одежда висит клочьями.

Напившись, Доул бормочет:

— Да, Джонни... ты, кажется, зашел в край, где никогда не было войны. Тут и людей-то нет... А что если

я уже давно в Швейцарии? Тогда какого дьявола я прячусь?

И словно в ответ, доносится вдруг гул приближающегося автомобиля. Американец поспешно прячется в тени каменной глыбы.

Через несколько минут появляется автомобиль. Он останавливается как раз напротив камня, за которым притаился американец. На дорогу выходят четверо эсэсовцев. Один из них сильно хромот.

— Отсюда и будем начинать, — говорит хромой. — Туннель рядом. Отто, отмерь от туннеля четыреста метров!

— Зачем мерить, — возражает один из эсэсовцев, забегая вперед и прикидывая расстояние. — У меня глаз верный. Вот отсюда!

Капрал Доул вынимает из кармана пистолет, ставит на предохранитель.

Из автомобиля эсэсовцы выносят взрывчатку, мотки бикфордова шнура. «По дороге кто-то должен ехать или идти. Но кто? Конечно же, наши или русские», — размышляет Доул.

С двух сторон скалы эсэсовцы закладывают шашки мелинита. Работают трое, а четвертый, стоя возле машины, покрикивает, поторапливает.

Трое солдат с грузом взрывчатки подходят к засаде Доула.

Слышно их частое дыхание. Из-за камня показывается дуло пистолета, а потом и голова капрала.

Доул тщательно прицеливается в переднего фашиста. Гремит выстрел. За ним второй, третий... Голосистое эхо разносится по горам.

Трое в тускло-зеленой форме распластались на камнях. Возле них разбросаны шашки мелинита, мотки бикфордова шнура.

Хромой эсэсовец бежит к дороге. Доул поспешно спускается за ним. Хромой прыгает за камень, выхватывает из кобуры парабеллум. Начинается поединок. Один за другим раскатываются по ущелью сухие пистолетные выстрелы.

Австрийская деревня. Посреди улицы — американские танки. Дремлет на крыльце часовой. Он сидит на ступеньках, прислонив голову к перилам... Далеко-да-

леко в предутренней тишине раздаются выстрелы. Часовой поднимает голову, сонно таращит глаза, напрягает слух. Да, это не приснилось, как вначале подумалось молодому американцу. Он отчетливо слышит стрельбу. Вскочив, бежит в дом, толкает первого попавшегося под руку спящего танкиста.

— Что такое? — не понимает тот. И, услышав взволнованные слова часового, посылает его ко всем чертям: — Молокосос... Все тебе мерещится!..

Часовой, оправдываясь, смущенно возвращается на свое место, прислушивается.

Разбуженный еще долго ругается, потом, повернувшись на другой бок, снова засыпает.

Молодой американец замер на крыльце, испуганно смотрит в редеющие сумерки. И в самом деле, никаких выстрелов больше не слышно. Да, наверное, он трус и ему померещилось, как в прошлый раз.

В ущелье, на дороге, лицом вниз лежит капрал Доул. Хромой эсэсовец, опасливо поглядывая на горы, садится в кабину автомобиля. На лице его вопрос: «Куда ехать? Назад, навстречу колонне, или бежать отсюда, пока не поздно?.. Но где же американцы?..» Он снимает фуражку и, высунувшись из кабины, бросает. Фуражка падает на конусообразный камень, надевается на него, точно на голову.

Машина трогается и исчезает в туннеле.

И снова в ущелье наступает полнейшая тишина. Слышно только, как журчит ручеек. Угрюмо маячит в редеющей мгле Каменная Голова. Лежит на дороге американец. Видна надетая на камень фуражка эсэсовца...

Но тишина в ущелье держится недолго. Доносится слабый звук. Через минуту он повторяется отчетливей, и теперь уже нетрудно догадаться: где-то лает собака, к ней присоединяется лай другой собаки, потом еще и еще.

Далеко растянувшись по дороге, движется колонна узников. (Хочу еще раз напомнить, что среди них был и я.) Конвойные подгоняют отстающих криками, толкают в спины дулами автоматов. Рвутся с поводков крупные овчарки,

Впереди колонны шагает безрукий. Рядом два коренастых эсэсовца со шмайссерами в руках. Скалы становятся теснее. Расщелина, где проходит дорога, заметно сужается, но Каменной Головы пока еще не видно.

Новодаров, Генрих и Кленов зорко всматриваются вперед. По рядам колонны шепотом передается приказ:

— Крик совы — сигнал к нападению.

Напряжение нарастает. Громко и необыкновенно отчетливо стучат колодки.

Эсэсовец, идущий рядом с безруким, достает из планшета карту. Не останавливаясь, он смотрит то на карту, то на горы.

— Кажется, это здесь, — говорит эсэсовец. — Вот начинается большой поворот.

Колонна, круто заворачивая, втягивается в узкую горловину расщелины.

Капрал Доул тяжело приподнимает голову. Слышен лай собак, глухой топот. Музыка!

— Странно... — шепчет Доул, трогая рукой свои уши, глаза, лицо. Он с усилием поднимается, ищет свой пистолет.

Оркестр уже где-то совсем близко, за поворотом.

Доул сползает с дороги, прячется за гранитной глыбой.

В эту минуту показывается колонна заключенных.

— Вот она... Каменная Голова, — произносит Генрих.

Безрукий с эсэсовцами сходят на обочину, пропуская вперед ряды колонны. Внезапно обрывается музыка.

— Где же этот хромой идиот? — злобно ругается Макс.

Эсэсовская цепь замирает на обочине. А колонна все дальше и дальше втягивается в горловину ущелья.

Новодаров и Кленов тревожно переглядываются.

— Это Каменная Голова. И, кажется, я вижу туннель, — шепчет Кленов. Он сбрасывает бинты, подносит ко рту ладони. Рука Новодарова опускается в карман, вынимает парабеллум...

Внезапно над ущельем, над пиками скал проносится зловещий крик совы... Новодаров стреляет в Макса, но падает коренастый эсэсовец.

Колонна смешивается. Кто-то ошалело кричит:

— Бейте их!.. Бейте эсэсовцев!..

Ущелье оглашается трескотней автоматов, людскими криками, лаем и рычанием собак.

Эсэсовец из ручного пулемета длинными очередями стреляет в густую массу людей...

Изможденный человек, лежа на дороге лицом вниз, тщетно закрывается руками, — громадная овчарка остервенело рвет его. Рядом валяется саксофон.

Высокий парень в арестантской одежде, держа в руках автомат, действует прикладом: размозжил череп одному фашисту, сбивает наземь другого...

Бой в ущелье разбудил австрийскую деревню. Выбегают на крыльцо сонные американские танкисты, смотрят в одну сторону, прислушиваются к глухим выстрелам.

— Я и раньше слышал выстрелы, — оживленно рассказывает часовой. — Мне не поверили. А потом все почему-то затихло... И вот — опять!.. Неужели русские?..

— Нич-чего не понимаю! — Американский офицер передергивает плечами. — Вечером они были еще в шестидесяти километрах...

В американской танковой части — сигнал тревоги. С ревом трогаются тяжелые машины.

— Сообщите генералу, — отдает офицер последние указания связным, — русские передовые части в районе ущелья. Отчетливо слышна перестрелка. Идем на помощь союзникам! Прошу поддержки с воздуха...

Танк с командиром американской части трогается последним, но скоро догоняет остальных, уходит вперед.

В эти минуты к туннелю, отбиваясь от наседающих узников, многие из которых теперь уже вооружены, откатывается цепь эсэсовцев во главе с безруким Максом. Фашисты ожесточенно отстреливаются. Поодаль, у отвесной гранитной стены, подняв руки, стоит большая группа обезоруженных гитлеровцев. В то же время несколько десятков их карабкаются на скалистый гребень. Этих никто не преследует. Всюду на дороге — убитые в полосатом или тускло-зеленом. Ползет, волоча задние ноги, раненая собака...

В организованно отступающей группе фашистов — значительные силы. Макс отдает какие-то приказания, но его уже мало кто слушает. Десяток эсэсовцев, отходя

к туннелю, ведут непрерывный огонь из автоматов и пулеметов.

Сверху из-за камня тревожно выглядывает Доул. Он понимает: гитлеровцы могут расстрелять сотни повстанцев. Мелькает в его руках бензиновая зажигалка. Доул ползет туда, где еще с полчаса назад трое эсэсовцев закладывали взрывчатку.

Совсем недалеко от Доула — отступающие фашисты. Американец торопится. Но вот и бикфордов шнур. Доул щелкает зажигалкой — вспыхивает крохотный огонек. Капрал подносит огонек к кончику шнура и сам затем стремглав кидается вниз, прячется в выемке под скалой. Здесь надежно.

В последние секунды Доула увидел Макс. Он зовет солдат, но крики его заглушает взрыв. Каменный шквал низвергается на головы эсэсовцев.

Спасться удастся немногим. Среди них Макс. Чудом уцелевшие гитлеровцы в панике кидаются к спасительному туннелю. Доул выскакивает из каменной ниши, бежит наперерез безрукому. Вот они уже почти рядом. Напрасно эсэсовский вожак окликает убегающих сослуживцев — никто уже не подчиняется ему. Доул сильно размахивается — Макс быстро нагибается. Американец промахнулся — едва не падает. Этим ловко пользуется Макс. Ударом ноги в живот он сбивает Доула, а сам бежит прочь и скрывается в темноте туннеля.

На помощь Доулу спешат десятка два узников во главе с Сергеем Кленовым. Капрал корчится от боли. Кленов и его товарищи (был с ними и я) переползают через каменные глыбы завала, под которыми погребены многие фашисты...

Выстрелы постепенно смолкают. Все чаще слышны стоны раненых. Подоспевшие узники, а также их пленники фашисты стоят друг против друга. Все смотрят вверх, прислушиваются к нарастающему гулу.

— Самолеты... — говорит Новодарову Генрих

— А мне думается, это танки, — возражает Новодаров.

За каменным завалом тоже замерла группа повстанцев во главе с Кленовым. Затаив дыхание люди прислушиваются к тяжелому гулу. Рядом с Кленовым — Доул.

— Слушать мою команду! — подняв руку, кричит Новодаров.

Все оборачиваются к нему.

— Без паники, товарищи! Сосредоточиваться по правому склону. Танкам сюда не пройти!

Вскоре на горе показываются танки. Они останавливаются. И тотчас Доул восторженно, что есть силы, кричит, махая шлемом...

Всем ясно: танки американские.

— Ура-а! — несется по ущелью. Люди радостно машут чепцами, потрясая кулаками.

Танки стоят на горе. Потом открывается крышка люка одного из них, другого, третьего. Удивленные танкисты вылезают из своих бронированных машин.

Доул и Кленов обнимаются.

По шоссе движется колонна людей. Впереди идут руководители повстанцев. В их руках трофейные шмайсеры. Следом, опустив головы, бредут толпой эсэсовцы. За ними, оставляя на асфальте следы гусениц, ползут танки, густо облепленные людьми в полосатом. За танками три грузовых автомобиля везут раненых. И уже за машинами толпами идут освобожденные узники, которым не нашлось места ни на танках, ни на подножках автомобилей.

В арьергарде всей этой движущейся массы танк американского офицера Коллинза. Он сидит на башне рядом с Новодаровым. Новодаров немного знает английский, немного немецкий. Они говорят слово по-английски, слово по-немецки, а чаще просто жестикулируют. Коллинз с приятным удивлением узнает, что Новодаров — майор танковых войск.

— Надо немедленно отправить танки на юго-запад, — поясняет Новодаров. — Там еще два или три лагеря под властью фашистов.

— Я доложу генералу... Может быть, вы примете участие?

— Безусловно. Я был бы очень рад, мистер Коллинз!

— Ол райт! — американец пожимает руку Новодарова.

— Только поскорей!..

Колонна приближается к городу.

На городских улицах шум, суета. На зданиях висят белые флаги. Капитуляция. Конец гитлеровской власти!

Раненых повстанцев подвозят к высокому коричневому дому с острой черепичной крышей. Над этой готической крышей ветер полощет белый с красным крестом флаг.

Медицинские сестры ведут в палату под руки Кленова, Доула и Генриха. Американец что-то говорит медикам, указывая на Кленова и Генриха. Те растерянно переглядываются, не понимают. Тогда на помощь им приходит Генрих.

— Товарищ настаивает, чтобы нас троих — американца, русского и немца — перевязали и немедленно отпустили. Мы ранены легко.

— Хорошо, хорошо, — соглашаются медики.

Провожая взглядом раненых, седой доктор качает головой.

— О, если бы эти три народа были едины, — вздыхая, вслух размышляет он. — Не было бы горя на нашей планете.

Во дворе госпиталя Кленов прощается с Генрихом. Рядом стоит капрал Доул и еще один американский солдат.

— Еще не поздно, Генрих. Подумай хорошенько, — говорит Кленов.

— Нет. Мой долг оставаться на родине, чтобы строить новую Германию, — отвечает Генрих.

Крепко обнимаются. Генрих уходит. Доул весело шлепает по плечу задумавшегося Кленова:

— Я тебя доставлю прямо в штаб ваших войск. Здесь меньше часа езды. А хочешь — можем ехать до самой Вены...

Двор госпиталя запрудили автомобили разных систем и марок. Здесь стоят крытые французские семитонки, похожие на автобусы без окон, разноцветные легковушки, пожарные машины со складными лестницами, с ярко блестящими на солнце медными брандспойтами.

Взгляд Доула останавливается на одной из легковых машин. Песочного цвета, она вся разрисована сверху донизу зелеными листьями. Два черных креста на ее бортах указывают, что машина служила гитлеровской армии.

— Какая же из них самая исправная? — спрашивает Доул у стоящего рядом солдата.

— Только эта, капрал.

— Ну черт с ней. Идем!

Солдат-шофер садится за руль. Кленов и Доул усаживаются на заднее сиденье.

Машина выкатывается из ворот, осторожно проезжает по переполненным народом весенним улицам и, выйдя наконец из города, набирает скорость. Впереди — широкое придунайское шоссе. Пятнистая машина бешено мчит по ровному шоссе. В кабину врывается ветер, бросая в лица смолистый запах хвои. От быстроты движения чайки над рекой кажутся застывшими.

— Хорошо! — восклицает Кленов.

— Хорошо! — повторяет за ним Доул.

Оба улыбаются.

На шоссе ни пешеходов, ни автомобилей. Слева — горы и цветы. Справа — река и чайки.

— Так бы ехать до самого дома, — мечтательно произносит Кленов. — И вдруг подняться по лестнице, позвонить в свою квартиру... А дверь открывает девчонка. «Вам кого?» — спрашивает она. «Ленка?! Ух, какая ты стала большая!..» — «Папа!» — Глаза Кленова становятся влажными.

Стрелка спидометра на предельной шкале.

— Великолепная скорости!

— Это же наша марка, — поясняет шофер. — Они где-то подхватили ее и перекрасили.

Впереди, километрах в трех над рекой, нависла скала. Дорога проходит под ней в громадном, похожем на арку, вырубке. Только один край этой арки нависает над рекой, словно оборван. И потому кажется, будто скала, раскрыв громадный рот, собирается хлебнуть воды из Дуная. За скалой шоссе резко поворачивает.

— О! — восклицает шофер, как только скала остается позади. — Смотрите!

Навстречу движется колонна грузовиков с прицепленными к ним пушками.

— Что за дьявольщина? — Доул и Кленов всматриваются.

Но вот уже видна форма солдат. Голубые мундиры!

— Эсэсовцы, — тревожно произносит Кленов. — Но у них белые флаги. Значит, едут к вам, сдаваться?

— Раз у них мирные намерения, опасаться нечего, — успокоительно замечает шофер.

— Кто-кто, а мы с ним, — кивает Доул на Кленова, — хорошо их знаем. Сверни-ка лучше, дружище, с шоссе. Поедем стороной. Советские части где-то близко.

— Возможно, идут за ними по пятам. Видите, как они спешат? — говорит Кленов.

Движение на шоссе становится все гуще. То идут толпы пешеходов, то едут мотоциклисты, то снова — грузовики с пушками. Солдаты запыленные, усталые. Некоторые несут в руках сапоги, потому что стерли ноги. Кое-кто из солдат пытается влезть на обгоняющие их грузовики, но там уже полным-полно. Хватающихся за борт машины бьют по рукам.

Все это видят Кленов и его американские спутники.

Но вот и проселочная дорога, пересекающая шоссе. Этого только и надо. Пятнистая машина сворачивает.

Новая дорога ухабиста и сплошь заросла травой. Очевидно, по ней ездят очень редко.

— Как бы не сбиться, — нервничает Доул.

Шофер напряженно всматривается вперед. Дорога ведет в отроги гор, круто поднимается вверх, делает неожиданные зигзаги. Еще несколько минут езды, и путники оказываются среди крутых гор. Скалы покрыты кустами и мохом. Дороги почти нет — вьется перед машиной убогая тропинка. Ее безжалостно теснят к обрыву каменные громады. Зеленые ветки хилых берез и лапы корявых елей, выросших на худосочной каменистой земле в расщелинах, закрывают тропу от солнца, местами хлещут машину по стеклам, как по глазам.

— Не дорога, медвежья тропа... Поворачивай-ка назад, — приказывает Доул шоферу.

— Пожалуй что так. Но тут очень трудно развернуться. Попробую.

Пятнистая машина начинает маневрировать на узкой тропе, пытаясь развернуться.

Неподалеку от нее, за поворотом, стоит грузовик. Возле него суетятся, часто поглядывая назад, солдаты в голубых мундирах. Сыплется отборнейшая немецкая брань. Наконец безрукий эсэсовец, постучав ногой по пустой канистре, швыряет ее в темный, заросший

кустами, обрыв. И вдруг все слышат приближающийся гул, испуганно озираются, хватаются за оружие.

— Гудит там, — показывает безрукий Макс.

Прижимаясь к скале, гитлеровцы гуськом идут вперед. Крутой поворот. Эсэсовцы вытягивают шеи, выглядывая из-под камней. И взглядам их представляется такая картина: маневрирует пятнистая машина. Того и гляди она упадет в пропасть. Развернуться ей трудно.

— Что же мы стоим? Это наша машина!.. Э-ге-эй! Остановись! Стой! Стой!..

Эсэсовцы размахивают оружием.

— Стой!..

Оставаясь возле грузовика, Макс смотрит на противоположную сторону огромной впадины. И вдруг он видит танки. На их башнях пятиконечные звезды.

— Русские! — в панике кричит Макс.

Над танками вспыхивают белые дымки, и тотчас на тропе начинают с грохотом рваться снаряды.

Макс вытаращил глаза. Горы, лес, австрийская земля под ногами — все это сразу будто вывалилось из памяти, а всплыло другое: бугристое поле под Ленинградом, окопчик, из которого, поднявшись во весь рост, бежали навстречу те самые, которых надо было убивать, короткая схватка, и русский танк, медленно спускавшийся с холма... Макс затрясся, хотел окликнуть убегающих, но только открыл рот и выдавил что-то, похожее на стон человека, проснувшегося от страшного сна... «Боже мой, они пришли сюда от Пулкофа». И он лишь теперь понял, что это конец.

Над его головой раздается ужасный грохот. Макса подхватывает взрывная волна и ударяет о ствол деревца. Ноги Макса конвульсивно обхватывают его. Макс вниз головой повисает над обрывом.

Так он висит, наверное потеряв от страха сознание, не замечая, что танки уже перестали стрелять. А совсем неподалеку, возле поворота, стоит пятнистая машина, и трое людей, открыв дверцу кабины, смотрят на него.

Сергей Кленов медленно поднимает пистолет. Пуля щелкает о камень возле самой головы Макса.

— Смотри, у этой сволочи, кажется, свело ноги судорогой, — говорит он Доулу.

Американец держит перед собой пистолет. Затем, усмехнувшись, опускает его в карман, потом берет Кленова за руку:

— Не надо... Он сейчас сам свалится и раскроит себе череп...

...Но Доул ошибся!

Прежде чем успокоиться, Адель долго стояла у окна. Макс, сбросив ногами одеяло, лежал, глядя в потолок. Все так же что-то жуткое было в его фигуре, затянутой в безукоризненно чистое белье: бледное, с холодными глазами лицо; тонкое, как ствол, туловище с обрезанными плечами; длинные жилистые ноги с плоскими ступнями упираются в спинку кровати.

— Как там на улице? — наконец спросил он. — Ага! Любуются. Пусть! — Макс резко поднялся, стальным голосом приказал: — Подай мой мундир!

А через несколько минут безрукий уже стоял перед зеркалом в новом с иголочки голубом мундире.

— Адель! Принеси мои ордена.

— Может быть, еще рано, Макс?

Он зло рассмеялся:

— Самое время... Не забывай, моя детка, я член легальной немецкой имперской партии.



ИГОРЬ РОСОХОВАТСКИЙ

ШЛЯПКОЛОВЫ

ПРИКАЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Т

ВСТРЕЧА НА ТЕПЛОХОДЕ

Теплоход «Поэт Пушкин», совершающий очередной рейс по Днепру, отошел от пристани. Волны, словно выплавленные из зеленого стекла, глухо зашуршали о борта. Мимо медленно поплыли живописные берега: леса, застывшие в спокойной задумчивости, будто только что снятые с картины; луга, такие ярко-зеленые, что не верилось в их естественность; размахнувшиеся до горизонта поля.

На палубу вышел человек в темно-синем костюме и, оглянувшись по сторонам, прошел сначала на нос, затем в салон. Едва успел он присесть к шахматному столу, как услышал позади голос:

— Может, сыграем?

Он посмотрел на говорившего. Это был паренек лет семнадцати — девятнадцати, с приветливым взглядом, бледным лицом и красивыми пухлыми губами. На лацкане его пиджака спортивного покроя выделялся комсомольский значок.

— Ну что ж, я не прочь, — сказал человек в темно-синем костюме.

— Меня зовут Константином.

— Кротов, — пожимая руку паренька, ответил человек в темно-синем костюме.

Константин быстро расставил шахматы на доске, и сражение началось. Кротов играл уверенно, даже чуть-чуть небрежно.

— Предупреждаю, — улыбнулся его противник и задорно тряхнул головой, рассыпав по лбу волосы, — я играю не так уж плохо!

Если вы великодушный и упорный шахматист, то собственное поражение обязательно внушит вам уважение и дружелюбие к победившему противнику. Кротов принадлежал как раз к таким людям. Первые симптомы расположения к юноше с комсомольским значком появились у Кротова после того, как он сам вынужден был признаться:

— Через два хода вы мне дадите мат. Вижу и ничего не могу сделать.

Константин снова улыбнулся и, молча передвинув коня противника, сказал:

— А если бы так?!

— Верно! Так я избежал бы мата! — воскликнул Кротов и посмотрел на юношу с явной почтительностью.

Они разговорились, и через полчаса Кротов знал всю подноготную попутчика. Константин ехал из Херсона в Киев, собирался поступать в Политехнический институт. Школу он окончил хорошо и надеялся на успех. Под большим секретом он сообщил новому знакомому, что в Херсоне ему очень нравилась Машенька из пятой школы, парашютистка и вообще «очень смелая», что и сам он не из трусливого десятка и был дружинником. Он показал грамоту за борьбу с хулиганством. Последнее обстоятельство заинтересовало Кротова, и он долго расспрашивал о работе дружинников в Херсоне.

Константин охотно отвечал на вопросы, а после реплики: «Это дело не только смелости, головы требует» — с горячностью заявил:

— Хотите докажу, что я с головой?

— Докажи, докажи, — похлопал его по плечу Кротов.

— Вы не обычный пассажир. Вы из милиции.

Кротов засмеялся:

— У вас в Херсоне все такие?

— Догадливые?

— Вот именно.

— Все, конечно. У нас в дружинники только таких и берут.

Из-за поворота как-то неожиданно открылись остроугольные и круглые башенки, трубы, золоченые купола. И вот уже виден сказочный бело- и розово-каменный город-сад. Зеленые парки, зеленые берега...

Одними из первых на берег сошли Кротов и его новый юный друг. Прощаясь, Кротов сказал:

— Ты мне позвонишь, Костя, расскажешь, как экзамены сдал, — ладно? Может, чем-нибудь помогу...

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Девушка с тонкой шеей, прикрытой воротником из серого каракуля, шла по осеннему парку. Ее зеленое пальто и шляпа казались необыкновенно свежими на фоне желтеющих листьев. Уходящее солнце провело последними длинными лучами по верхушкам деревьев. Прошел ветерок, и листья тихо шелестели, падая на землю. Девушка легко наклонилась и подняла листок. Какой он красивый! Может быть, это солнце, уходя, оставило на нем крупинку своего золотого запаса? А вдали, на склонах, деревья отгорожены, словно тонким сизым стеклом — осенним воздухом.

Девушка остановилась. Тишина. Легкое дыхание невидимой отсюда, но близкой реки. Такая тишина, что хочется слушать ее, как музыку. Но слушать лучше вдвоем. И девушка спешит. Вот за тем поворотом на круглой цементированной площадке с балюстрадой, откуда открывается могучая река и широкая даль, ее ждет друг.

Внезапно, рассекая тишину, послышался резкий свист, и девушка, вскрикнув, схватилась руками за лицо. Она ничего не поняла, лишь ощутила резкую боль. И жалобный крик огласил парк. Стали сбегаться люди. Они окружили девушку. Послышалось участливое: «Что с вами?»

Расталкивая локтями людей, вперед пробрался подросток в расстегнутом пальто, из-под которого виднелся синий шерстяной свитер с белыми оленями. Он громко крикнул:

— Люся? Ты? Что случилось?

Девушка отняла руку от лица. Через все лицо от подбородка до лба тянулась узкая рваная рана.

У подростка в свитере задрожали брови.

— Люсенька, нужно скорее к врачу!..

...Легковой автомобиль с крестом на переднем стекле увез Люсю.

* * *

«12 октября. 15 ч. 00 м. В парке. У двух девушек неизвестным образом стащили с голов шляпки. Воров не удалось обнаружить. Девушки их также не видели».

«13 октября. 19 ч. 30 м. В парке. У гр-ки Лупич К. О. сняли чернобурку и порвали пальто. Похитителей гражданка не видела. Она услышала резкий свист и почувствовала сильный рывок. Гр-ка Лупич упала. Когда она поднялась, чернобурки на ней уже не было, а пальто в тех местах, где к нему на крючках прикреплялся воротник, было порвано...»

«13 октября. 20 ч. 00 м. В парке. Супруги М. Л. и П. Ч. Полотан присели на скамейку. М. Л. Полотан положила около себя сумочку, в которой находилась зарплата. Когда собрались уходить, сумочки на скамейке не оказалось. Поблизости никого не замечали...»

«14 октября. 18 ч. 55 м. В парке. Ученице 9-го класса Евченко Л. И. неизвестным образом и неизвестным предметом рассечено лицо...»

Младший лейтенант Кротов положил донесения в ящик стола, подпер рукой подбородок и стал смотреть в окно.

В дверь постучали. В комнату вошел запыхавшийся Костя Дереза. Это Кротов рекомендовал его в народную дружину. На бледных щеках Кости горел румянец, каштановые волосы были в беспорядке.

— Упустил! Смекалки не хватило! — с гневом крикнул он.

— Кого упустил? Расскажи толком.

— Понимаете, шла женщина. К ней подошел парень лет двадцати, взял под руку, шепнул: «Не шуми, а то кровь пушу» — снял с ее руки золотые часы и преспокойно ушел. Тогда только она закричала. Я близко был, парня того приметил, еще подумал: «Такой молодой, а под руку с солидной дамой». Как только я услышал ее крик, сейчас же за ним припустился. На углу Пушкин-

ской догнал. «Постойте, гражданин», — говорю. И напрасно это сказал. Он, видно, все понял — рванул по Пушкинской. Забежал в городскую кассу. Я за ним. Тут откуда-то старшина Мыкытенко взялся. Обшарили мы все помещения. Там, как на грех, уезжающих полным полно, — Костя отчаянно махнул рукой. — Не нашли, исчез!

— Да, досада, — сказал Кротов. — Но унывать не надо. В нашем деле уныние горше болезни, браток. — Младший лейтенант помолчал, а потом, взглянув на огорченное лицо юноши, принял бодрый вид и ни с того, ни с сего предложил: — Порасскажи, — как учеба?

— Ничего учеба, Иван Игоревич. Лабораторные занятия интересные.

— Товарищей завел?

— Ребята у нас в группе хорошие. А чтоб дружить, — пока еще ни с кем не подружился.

— Где разместился, живешь где, в общежитии? — заботливо спросил Кротов.

— Живу у тетки. Ко мне относится — лучше не надо.

— Ну, добре, Костя. Пойдем, я тебя немного провожу. Мне на Тимофеевскую нужно.

Они вышли из дома, миновали площадь с увядающими клумбами и направились по шумной прямой улице. Их обогнал трамвай. На ступеньке висели два мальчугана. Один из них, постарше, вдруг сбил с головы другого шапку. Тот прыгнул за ней на асфальт. Раздался гудок автомобиля, взвизгнули тормоза, истерично закричала женщина.

Костя рванулся вслед за трамваем, крикнул на ходу Кротову:

— Догоню его на остановке!

«Горячий парнишка, сердце чистое», — подумал о Косте младший лейтенант.

В ТИХОМ СЕМЕЙСТВЕ

— С нашим Витенькой что-то неладно. Уж не заболел ли? — встревоженно говорила высокая, пышная женщина, обращаясь к мужу, сидящему за столом с газетой в руках. — Он только с прогулки пришел, а мое материнское сердце почуяло — неладно. Съезжился весь, глаз не

подымает. И сразу к себе — в детскую. Я заглянула в щелку. Он лежит на диване, губы стиснул и в потолок смотрит.

— Н-да, странно, — сказал мужчина, не отрывая глаз от газеты.

— Ты слушаешь, когда я говорю, или нет! — закричала пышная женщина.

— Я слушаю, — ответил мужчина и бросил на нее отсутствующий взгляд. — Ты рассказывай.

— Да что тебе рассказывать? Разве ты своими детьми интересуешься? И я, и они тебе безразличны. Тебе лишь бы Леонтий Макарович да Карп Леонтьевич были здоровы, да шахматы не ломались, да пивная на Красноармейской была открыта — больше ничего не нужно. Истукан!

В это время в столовую вошел юноша в синем свитере с оленями. Его черные глаза-угольки с явным пренебрежением остановились на родителях.

— Опять? — кивнув в их сторону, спросил он у домашней работницы. — Ну, сейчас пойдет: «Для кого я жизнь погубила?..» Правда, весело у нас, Люба?

Спор неожиданно прекратил тринадцатилетний мальчик, пухлый, с висячим двойным подбородком. Он распахнул дверь детской комнаты и крикнул, чуть не плача:

— Мама! Папа! Давайте обедать!

— Не называй его папой, Витенька. Это же бездушное животное! — прогудела женщина.

— Первое остывает, — примирительно сказал мужчина. — Примемся за еду, моя кисонька. Довольно говорить друг другу гадости.

Он первым подал пример: налил из графина вина и наколол на вилку кусок огурца.

Юноша в синем свитере решительно подошел к столу, сел и придвинул к себе тарелку с супом.

Обед прошел в молчании. Так же молча супруг удалился в свой кабинет. Жена продолжала сидеть за столом, меланхолическим взглядом следя за домашней работницей Любой, убиравшей посуду. Мальчики ушли в свою комнату.

Спустя несколько минут из детской послышался сначала стук, затем отчаянный крик: «Мама!» — и в столовую влетел Витя с трясущимися щеками.

— Мама, мамочка, мамуся! Я с тобой, мне страшно! — вопил он, оглядываясь назад.

— Что случилось, Витенька? Что с тобой? Сергей обидел? Я его сейчас...

— Мне показалось... кто-то за окном. Мне страшно! — всхлипывал мальчик.

— Я с тобой, маленький, успокойся! — Мать стала целовать Витю в лоб, в глаза, в щеки. Она вынула из глубин своего халата носовой платок, на котором красовался разноцветный попугай, и вытерла сыну слезы. — Ну, вот и всё. Теперь давай я сама отведу тебя в детскую и мы посмотрим за окно. Увидишь, там никого нет.

— Не пойду! Буду весь день с тобой! И спать буду с тобой! Пусть перенесут мою кровать! — выкрикивал сквозь слезы мальчик.

— Но, Витенька...

— Сказал: не пойду, и не пойду! Не хочу туда! Бесчувственное животное! — топал он об пол ногой.

— Откуда ты набрался таких слов?

— Я буду спать с тобой! — твердил свое мальчик.

— Ну, хорошо. Чего ты боишься?

Она прошла в детскую. Старший сын Сергей поспешно спрятал под подушку какую-то коробку.

— Почему плачет Витенька? — гневно вскрикнула мать.

— А я знаю? Он же твой любимчик, ты и должна знать; у меня своих дел хватает.

— Как с матерью разговариваешь? — возмутилась она и, подойдя ближе к кровати, взялась за подушку. — Что это ты там прячешь?

— Ничего. Крючки.

— Сейчас же покажи!

— Но я же сказал. Ты что, мне не веришь?

— Ты вечно лжешь, Сергей! Я тебя знаю.

Юноша ничего не ответил матери. Он протянул ей коробку и отвернулся.

Она быстро открыла коробку. В ней лежало несколько рыболовных крючков.

— Ты должен был бы смотреть за младшим братом! Но как ты можешь это делать, если у тебя даже для занятий не остается времени! — резко сказала она и вышла, демонстративно хлопнув дверью.

Сергей встал, медленно подошел к окну и долго смотрел на осеннюю улицу. Его губы дрожали. Из окна на него укоризненно смотрело лицо Люси, обезображенное шрамом.

* * *

Подполковник Котловский остановился у двери квартиры первого этажа, на которой висел синий почтовый ящик с надписью: «Для писем и газет Шулика Б. Н.». Он позвонил и услышал за дверью женский голос:

— Люба, где вы запропалились? К нам звонят!

«Голос принадлежит той, что приходила ко мне вчера», — подумал Семен Игнатьевич и вспомнил женщину, по одному виду которой можно было определить: она выросла в деревне и тщательно скрывает это. В ушах Котловского снова зазвучал ее грудной голос. «Я женщина, мать; вы, надеюсь, понимаете мою тревогу? Мой мальчик, мой сынок в опасности».

Тогда первым желанием подполковника было выпроводить ее из кабинета, но он сдержался и выслушал ее до конца. То, что рассказывала женщина, само по себе ничего не означало, но в сопоставлении с участвовавшим детским хулиганством — настораживало. А когда подполковник Котловский услышал, что мальчик учится в школе, где была раскрыта группа малолетних воров и где наиболее процветало хулиганство, он сам поспешил на квартиру работника Министерства просвещения — Бориса Николаевича Шулика.

Дверь открыла домработница. За ней, на пороге комнаты, стояла хозяйка дома.

— Здравствуйте, Аделаида Фоминична, — обратился к ней Семен Игнатьевич. — Как видите, я свои обещания выполняю исправно.

— Входите, входите, — сказала женщина. — Витенька с минуты на минуту придет из школы.

Подполковник вошел в столовую. На буфете красного дерева стояло семь фаянсовых слоников; у переднего на шее был повязан огромный красный бант. На стене рядом с «Девятым валом» Айвазовского висела в золоченой рамке вышивка — два целующихся голубка.

Из коридора послышался звонок. Аделаида Фоминична встрепенулась:

— Витенька, наверное...

В комнату вошел подросток, очень легко одетый, в синем шерстяном свитере, но без пальто и даже без пиджака. По недовольному выражению лица хозяйки Котловский определил, что это не ее любимец.

— А где Витенька? Почему не привел его? — спросила Аделаида Фоминична.

— Здравствуйте, — поздоровался подросток, увидев чужого, потом спокойно ответил матери: — Витя со своими товарищами задержался. Скоро будет.

— Ты вечно грубишь, Сергей! Воспитывай не воспитывай тебя — все равно толку не будет, — пророческим голосом произнесла она и отвернулась от сына.

— Это старший. Никакого сладу с ним. Непослушный, учится неважно! А младшенький мой — почти отличник! — до приторности ласковым голосом сообщила она.

Семен Игнатьевич посмотрел в черные блестящие глаза подростка, и сердце его дрогнуло. Ясным, любопытным, как у галчонка, взглядом этот мальчик напомнил ему сына, погибшего от руки хулигана. И звали его так же — Сергей.

Боясь выдать свое волнение, Котловский подав руку пареньку и нарочито сурово сказал:

— Давай познакомимся.

Сергей улыбнулся Котловскому одними глазами: ладно, мол, знакомиться так знакомиться.

В коридоре вторично раздался звонок — длинный, залиvistый, торопящий.

— Иду, иду! — крикнула Аделаида Фоминична и повернула лицо к подполковнику. — Это уж точно Витенька.

Она ввела в комнату пыхтящего мальчугана с двойным подбородком, одетого в клетчатое пальто и такого же цвета кепку. Витя бросил портфель на стол и стал раздеваться.

— Люба! Витенька пришел! Давайте на стол! — приказала она.

Пока домашняя работница подавала на стол и убирала на вешалку пальто, сброшенное Витей, Аделаида Фоминична заставила своего младшенького показать гостю дневник, где красовались пятерки, четверки и изредка — тройки, и четырежды чмокнула его в голову.

С видимым удовольствием принимая ее ласки, мальчуган тихим голосом рассказал Семену Игнатьевичу о математической олимпиаде, проходившей в их школе.

— Он взял первый приз! — гордо сказала Аделаида Фоминична.

Подполковник дождался, пока мальчики поели, и стал расспрашивать Витю о его страхах. Мальчик вдруг съежился и начал запинаться.

— Скажи все, Витенька; этот дядя из милиции, он им покажет! — подбодрила его мать, да так неудачно, — он совсем умолк.

Котловский, увидев, что от мальчика ничего не добиться, собрался уходить. Он решил поговорить с директором школы и классным руководителем.

— Так как вы думаете, моему мальчику ничто не угрожает? — спросила Аделаида Фоминична. — Он ведь такой тихий, беззащитный. Вот о старшем этого не скажу. И чего ему не хватает?

«Ласки», — подумал подполковник и стал прощаться. Вместе с ним вышел и Сергей.

— Тебе куда? — спросил его Котловский.

— На Красноармейскую.

— И мне туда же. Пошли вместе, — обрадовался подполковник.

Дорогой они говорили о школе, о занятиях, трудных и легких предметах. Семен Игнатьевич спросил Сергея, почему у них в школе и в классе такая плохая дисциплина.

— Неинтересно у нас в девятом классе. Всё — мероприятия. Культпоход — мероприятие и лыжная вылазка — мероприятие. Вот и проходят так: ничего нового. Ну и ребята шумят, бузят. А есть и другие... — Он спохватился, что говорит лишнее, и встревоженно глянул на спутника. Лицо Котловского не выражало ничего, кроме дружелюбия, но все-таки Сергей перешел на другую тему: стал рассказывать о прыжках с трамплина.

Они остановились одновременно.

— Мне сюда, — сказал Сергей, кивая в сторону трехэтажного особняка.

— И мне тоже, — Котловский прищурил глаз, словно знал об этом раньше, и спросил: — Тебе в какую квартиру?

— Тут одни знакомые... — протянул юноша. — В четвертую квартиру...

— Значит, вместе. Мне к Люсе Евченко, — сказал Котловский.

С Люсей Евченко Семен Игнатьевич говорил недолго. Она сказала, что того, кто ее ранил, она не видела и, кроме свиста, ничего не слышала. Когда Семен Игнатьевич проговорил: «Вам нечего бояться, доверьтесь, и виновники будут сурово наказаны» — она с такой болью посмотрела на него, что подполковник понял: девушка чего-то не досказывает. А когда он заметил ее взгляд, направленный на Сергея, ему стало ясно: знает об этом и он, но они ничего ему не скажут. Котловский попрощался.

* * *

С директором школы, где учились дети Борца Николаевича Шулика, Котловский уже сталкивался, расследуя дело о группе малолетних воров. Он сразу же попросил позвать руководителя шестого класса.

Классным руководителем в шестом «б» была молодая женщина с красивой седой прядью в иссиня-черных волосах, Мария Федоровна. Она сказала:

— Витя Шулика учится в моем классе. Как же охарактеризовать его? Мальчик учится хорошо, блестящие математические способности. Ведет себя тихо, не хулиганит. Плохо лишь — наушничать любит. Да! Как ни удивительно, доносит на товарищей.

— Никаких шалостей? — переспросил подполковник.

— Он и так болезненный, малоподвижный. Где уж ему шалить? Он и спортом не занимается. Единственное увлечение — рыбная ловля. Отчаянный рыболов. Всюду со спиннингом, с крючками. Рыболовы у нас группой держатся. По-моему, там старший брат Вити руководит.

— Сергей? — заинтересовался Семен Игнатьевич. — А что он?

— О Сергее Шулика вам директор скажет, — быстро проговорила Мария Федоровна.

Директор для чего-то водрузил на длинный нос пенсне и, внимательно посмотрев на подполковника, сказал:

— Как бы вам точнее определить его?.. Озорник — выдумщик... Вся энергия уходит на выдумки, так что на

учебу остается ее мало... Способный мальчик. Посмотрите его дневник. Троек почти нет. То пятерки, то — двойки. Смотря по настроению. А на выдумки горазд. Однажды в восьмом классе, в прошлом году, явился на урок анатомии и за ворот майских жуков натолкал. Во время урока рубашку расстегнул, — жуки оттуда по одному начали вылетать. В классе — смех. Какой уж тут урок? Или вот еще: купил конфет и роздал ребятам с условием — есть на уроке. Учитель вызывает отвечать, а ученики говорить не могут: конфеты липкие, в зубах завязли. Или на уроке шумовой оркестр устроил на перьях. Да чего там, всего не перечислишь! — Директор махнул рукой. — Одна лишь у него хорошая черта: правдив. Спросите его — или правду выложит, или смолчит. А с ложью не знает. Ни-ни. Если кого-то за него станут ругать, сейчас же вскочит: «Я виноват, и больше — никто!» Такой уж индивидум. Товарищи его любят, поэтому он опаснее других. Хотели мы за хулиганство его из школы исключить, отец вступился. Он в Министерстве просвещения работает, нельзя отказать. Дали последнее предупреждение.

— Правдивый, говорите? — повторил Семен Игнатьевич. Ему было приятно еще раз услышать это.

УДАР В СПИНУ

Подполковник Котловский нажал кнопку звонка. В кабинет вошла секретарша.

— Женя! Там меня ожидают лейтенант Рябцев и старшина Мыкытенко. Пусть войдут.

Женя вышла, и тотчас же перед Котловским появились нескладный, с длинными руками и хитро прищуренными глазами старшина и молодцеватый, подтянутый и вежливый лейтенант.

— Товарищ подполковник, к операции все готово! — отрапортовал лейтенант Рябцев.

Семен Игнатьевич коротко изложил план действий и под конец сказал:

— Едем!

Двумя крытыми машинами они выехали к месту операции. Недалеко от улицы Льва Толстого остановились. По одному, по два милиционеры выпрыгивали из

машины и занимали свои места во дворе и в подъезде большого дома. Старшина Мыкытенко остался дежурить на улице, наблюдать за окнами и балконом второго этажа.

Недавно подполковнику Котловскому сообщили, что три вора-рецидивиста — Лапатый и братья Чирики, известные под кличками Потраш и Сенька Плюгавый — после разгрома их шайки в Сталино прибыли в Киев. Братья Чирики были выслежены в квартире своей дальней родственницы, возможно, и не подозревавшей о настоящей деятельности двоюродных племянников. На поимку их и выехала оперативная группа, возглавляемая подполковником Котловским.

Семен Игнатьевич и лейтенант Рябцев, в сопровождении дворника и двух оперработников, поднялись по лестнице на второй этаж, там же встретили младшего лейтенанта Кротова. Он находился на посту уже больше двух часов. Один из милиционеров постучал в дверь квартиры номер тридцать два. Рябцев стал у двери боком, так, чтобы иметь возможность как только дверь приоткроют, неожиданно проникнуть в квартиру. Кротов загораживал собой подполковника.

Из квартиры послышался женский голос:

— Кто там?

Ответил дворник.

В прямоугольнике распахнувшейся двери перед Кротовым предстала пожилая женщина в длинном халате. Увидав милиционеров, она удивилась и немного испугалась.

— Пожалуйста...

Семен Игнатьевич и Кротов вошли в комнату, тесную от мебели. Всюду стояли статуэтки, лежали альбомы фотографий. Рябцеву и его помощникам достаточно было беглого осмотра квартиры, чтобы определить: братьев Чириков и след простыл.

— Они ушли еще часа в четыре. Как только получили письмо, так и ушли, — ответила хозяйка квартиры Котловскому и тут же задала, в свою очередь, вопрос: — Скажите, пожалуйста, разве они сделали что-нибудь плохое, что вы их ищете?

Подполковник подробно ответил на ее вопрос. Женщина, побледнев, опустила на стул.

— Не может быть, — простионала она.

— Какое письмо они получили, когда, от кого, кто принес? — спросил Семен Игнатьевич.

— Письмо заказное. От кого, — не знаю. А принес паренек, почтальон. В первый раз его увидела, наверное, новенький.

— Опишите его внешность.

Женщина смутилась.

— Извините, я не успела как следует его рассмотреть. Он так быстро повернулся... И ушел. Разве вот губы заметила: пухлые, нежные, как у девушки.

С улицы вдруг донесся короткий крик.

— Что там такое? — всполошился Кротов и первым бросился вниз по лестнице. За ним прогремели Рябцев и Котловский.

У стены, уткнувшись лицом в асфальт, лежал старшина Мыкытенко. Вокруг него быстро расплывалась лужа крови. В ней плавал клочок бумаги, сложенный вчетверо. На листке из ученической тетради в косую линейку, на каких учатся писать первоклассники, были крупно выведены слова: «Подарок от меня и брата. По-траш». Из спины старшины торчала рукоятка ножа.

...Возвращался домой в этот вечер Семен Игнатьевич, как обычно, пешком. Шел медленно, опустив голову. На душе было тяжело. В смерти старшины он готов был обвинить только себя: «Не подготовил как следует операцию, плохо работаю, ослабил бдительность».

Бандитов кто-то предупредил, и, сомневаться не приходилось, этот «кто-то» был в числе работников милиции, людей, окружавших Котловского. Кто же? При разговоре о предстоящей операции присутствовали только Рябцев да старшина Мыкытенко. В кабинет два раза входила Женя. За дверью, в приемной сидели младший лейтенант Кротов и Костя — парнишка, рекомендованный Кротовым. Но они сквозь дверь, конечно, не могли слышать разговора.

* * *

Семен Игнатьевич Котловский третий раз проходил по Красноармейской, хоть прогуливаться здесь ему было вовсе не нужно, и к тому же некогда. Наконец Котловский вынужден был признаться себе, что он, старый

черт, подполковник из уголовного розыска бегаёт здесь, ища встречи с подростком, так напомнившим сына Сережу. Семен Игнатьевич решился и зашел вторично в квартиру Шулика. Ему повезло. Сергей оказался дома. Он открыл подполковнику дверь.

Котловский начал расспрашивать его о ничего не значащих вещах, время от времени вглядываясь в мальчика: он был так похож на погибшего сына! Точно так же падали на лоб волосы, такая же горькая складка появлялась изредка в уголках губ, так же порывисто двигались длинные пальцы.

— Как Люся? Боли уже не чувствует? — спросил Котловский.

— Боли нет. А вот тяжело ей, что шрам... — глухо проговорил Сергей и, взглянув в грустные глаза подполковника, едва слышно доверительно шепнул: — Лучше бы это на моем лице... Я все-таки парень...

В желании взять на себя Люсино горе Котловский почувствовал настоящую живую душу Сергея, закрытую от всех внешней грубостью, хулиганством. Добраться бы до этой юной души! Но как же найти ключ к сердцу Сергея?

Семену Игнатьевичу неудержимо захотелось погладить его мягкие волосы. Котловский посуровел и отвернулся к окну.

— О, у нас гости! Товарищ подполковник!

Котловский обернулся.

К нему подошла Аделаида Фоминична и, подавая руку, озабоченно и благодарно произнесла:

— Как хорошо, что вы зашли! А я уж собралась вам звонить. С моим Витей опять беда.

— Что-нибудь случилось?

— Он встал сегодня утром. Я глянула и ахнула: у него через все лицо от лба до подбородка — багровая полоса. Можете себе представить мой ужас! Ведь я думала — это кровь. Оказалось — краска. Но если бы вы видели, как он испугался, мой бедный малыш! Губки посинели, затряслись... Уже потом, когда мы убедились, что это краска, Витя немного успокоился. Даже в школу пошел... Как вы думаете, кто его мог измазать? Вечером я его видела — личико было чистое... Я, знаете ли, ничего не понимаю... — Она притронулась пальцами к вискам,

— Вы разрешите мне посмотреть комнату, где спят мальчики? — попросил Семен Игнатьевич.

— Пожалуйста!

Она провела Котловского в небольшую комнату, где стоял стол, две кровати, две тумбочки и четыре стула. Между кроватями находилось окно. Семен Игнатьевич осмотрел задвижки, осведомился, было ли окно утром закрыто. Он подошел поочередно к кроватям. На подушке одной из них он заметил крошечное красное пятнышко.

— Чья это кровать?

— Витеньки, — ответила Аделаида Фоминична.

Семен Игнатьевич подошел ко второй кровати, осмотрел ее. На спинке висело полотенце. Он снял его и развернул. Потом снял полотенце с другой кровати. На обоих были красные пятна.

Разглядывая комнату, подполковник остановился у шкафа, из-за которого торчала бамбуковая палка. Он вытащил ее. Это был спиннинг необычной формы. Две тонкие тростинки, прикрепленные к нему, складывались наподобие буквы «у».

Котловский в сопровождении хозяйки квартиры вышел в переднюю и как-то странно взглянул на Сергея.

— Мне пора на работу. А ты никуда не идешь? — обратился он к нему.

«Нет», — хотел сказать Сергей, но пристальный взгляд подполковника вынудил его сказать: «Да, иду».

Они вместе вышли из дома. Когда завернули за угол, Котловский спросил:

— Зачем сделал это? За что мстишь брату?

Сергей молчал. Он сжал губы и зашагал шире. Семен Игнатьевич взял его за локоть:

— Я тебе не желаю плохого, мальчик. Почему не отвечаешь?

Сергей покачал опущенной головой.

— Не хочешь говорить — не нужно. Конечно, жаль, — признался Котловский. — Тогда ответь мне, — зачем у спиннинга приспособление. Для меткости?

Мальчик резко остановился.

— Знаете, что я вам скажу, Семен Игнатьевич. Лучше бы вы всё узнали, только все равно вы ничего не узнаете. А я сказать не могу! — почти крикнул он, круто повернулся и пошел в обратном направлении.

Семен Игнатьевич, не двигаясь с места, проводил его взглядом. Вздыхнул и направился к зданию управления. В дверях он столкнулся с худеньким бледнолицым пареньком.

— Здравия желаю, товарищ подполковник! — весело приветствовал его паренек.

— Здравствуй, Костя. Как твои занятия?

Костя вынул из кармана матрикул...

„РЫБОЛОВЫ“

Два мальчика, непринужденно болтая, шли по улице. Один из них, смуглый и бойкий, нес спиннинг. Он говорил своему товарищу:

— Я вчера «Зоркий» купил. Но, понимаешь, нужно же как-то соврать старухе. Она не поверит, что семьсот рубликов валялись на улице. Что бы такое придумать?

— Скажи: в фотокружок записался, и тебе его на время выдали, — недолго думая, ответил ему товарищ в клетчатом пальто и кепке. — Потом отдашь мне, с недельку полежит у меня, и обратно его возьмешь. Чтоб никаких подозрений...

— Ну и здоров же ты врать, Витька! — воскликнул смугляк и так хлопнул товарища по плечу, что тот согнулся. — А вот на хранение тебе «Зоркого» не отдам. К твоим пальцам прилипнет — не оторвешь.

— Дурак ты, круглый дурак. Нужен мне твой «Зоркий»? У меня, если захочу, «Киев» будет. Понял, оболтус?

Слово «оболтус» показалось мальчику чересчур обидным. Он сжал кулак и нахохлился:

— Ну ты, потише!

— А то что?

— Думаешь, в морду не дам?

— Не очень-то. Видали таких. Знаешь, что тебе за это будет?

— Пацанов натравишь?

— А то благодарить тебя буду?

— Так это ж нечестно!

— А при чем тут честность? Считаешь, красть и продавать ворованное честно?

Сраженный этим доводом, первый мальчик замолчал. Они продолжали путь, не глядя друг на друга.

Под ногами зашелестели рыжие листья. Они падали тихо, кружась. Начался парк. Мальчики прошли мимо высокого здоровенного милиционера с погонями младшего лейтенанта.

— Ого, каланча! — сказал Витя и, сворачивая на боковую аллею, настороженно оглянулся. Младший лейтенант шагнул в противоположную сторону. Мальчики остановились.

— Можно здесь, — определил Витя. — Тут парами редко ходят, все больше в одиночку. Скамеек нет. Это место вроде нарочно для нас придумано.

— Скажешь тоже — придумано, — проворчал второй, но возражать не стал.

— Ты полезай, а я на шухере буду.

— Опять... — насмешливо проговорил смугляк. — И трус же ты, Витька! Чужими руками жар загребать — на это ты мастак. Ну, да спорить бесполезно. Все равно побоишься.

Он сбросил ветхое пальтишко и, поплевав на руки, полез на дерево. Витя спрятал его пальто в кусты и стал прохаживаться, делая беззаботный вид и посвистывая.

— Тюлька плывет, — слышалось с дерева.

Из-за поворота аллеи медленно вышла полная пожилая женщина с плетеной кожаной сумкой, наполненной провизией. Старомодная шляпка на ее голове сбилась на сторону. Женщина ступала тяжело, с одышкой, ежеминутно перекладывая сумку из руки в руку, и часто останавливалась.

Она миновала дерево, на которое взлез мальчик. Витя пренебрежительно поглядел на ее шляпку и сделал знак своему товарищу. Его жест означал: не нужно, не стоит. Но сидящий на дереве не понял его. Раздался резкий свист, и пожилая женщина, почувствовав рывок, схватилась двумя руками за голову. Ее шляпка мелькнула в воздухе и исчезла.

Витя, кусая губы, сдерживая смех, глядел, как женщина щупает свои черные с густой проседью волосы и оглядывается по сторонам, все еще не понимая, что произошло.

Внезапно он почувствовал на плече тяжелую руку. Его крепко держал неизвестно откуда взявшийся тот са-

мый здоровенный младший лейтенант, мимо которого они проходили.

Из кустов, где было спрятано пальто мальчика, вышел второй милиционер и, задрав голову, крикнул:

— А ну слезай!

Витя остолбенел. Откуда они взялись? Что делать? Он принял решение. Скосив глаза на огромную руку, лежавшую на его плече, он вдруг упал на землю, крича:

— А-а! Не трогайте меня, я больной! А-а!

Младший лейтенант схватил его за ворот, как нашкодившего щенка, и моментально поставил на ноги.

— Это ты брось, — беззлобно, но с гадливостью сказал он. — Над старушкой издеваться — это ты, пожалуй, еще можешь, а от меня не вырвешься, будь спокоен.

Вокруг них быстро собралась толпа. Мальчик с портфелем подошел к младшему лейтенанту, исподлобья посмотрел на него и укоризненно произнес:

— За что вы его? Может, по ошибке?

— Воровал. У женщины шляпку с головы стащили удочкой.

— Удочкой?! Вот оно что! Вор... — Мальчик решительно повернулся к младшему лейтенанту. — Я знаю обоих. Из нашей школы. Тот Генька Чаплык, семиклассник, а этот — Витя Шулика из шестого «б». Теперь понятно, за какой рыбкой они охотятся. Сегодня же соберем комитет. Мы вам полный список этих рыболовов представим. Их человек семь. Вы лишь скажите, куда принести. — Щеки мальчика побагровели от ярости и стыда. — Мы же только вчера беседу проводили: о чести школы, — тяжело вздохнул он и еще раз с презрением посмотрел на поникших воришек.

* * *

У девушки лихорадочно блестели глаза и такими же лихорадочными были движения рук. Розовый шрам, пересекающий ее лицо, побагровел.

— Успокойтесь, Люся, верьте, все будет хорошо, — сказал Котловский.

— Не нужно меня успокаивать, Семен Игнатьевич! — воскликнула девушка, взглянула ему в глаза и произнесла спокойнее: — Странное у меня сейчас чувство.

Ведь вот я в милиции, в месте, которым меня пугали с детства: «Не будешь слушаться, отдадим в милицию». А пришла я сюда сама искать защиты...

— А мы как раз для этого и существуем, — просто сказал подполковник. — Но вы должны нам помочь.

— Что я могу? — с болью спросила Люся.

— Рассказать все, что знаете, ничего не скрывать.

— Я за этим и пришла. Сережа и не подозревает. Вы же его знаете. Я опять перескакиваю, Семен Игнатьевич. Ничего, я постараюсь рассказывать по порядку. С чего же начать? Вите захотелось купить у мальчика самодельный приемник. А ему только что мать фотоаппарат купила. Может, он побоялся, что мать денег не даст. А она дала бы! Ведь он у нее любимчик!.. Где взять деньги? Пошел он как-то в парк. Сел на скамейку рядом с двумя студентками. Девочки болтали между собой. Рядом лежала книга, в ней — стипендия. Может быть, они говорили о том, как бы растянуть эту стипендию... Вите нужен был приемник, а он привык не отказывать себе... Я, наверное, болтаю лишнее, но это он втянул Сергея во всю эту гадость... Он взял книжку с деньгами. Девочки ничего плохого не могли подумать о нем... Толстый мальчик в приличном костюме...

Витя свернул на другую аллею, и тут его схватил за локоть какой-то мужчина. Он перепугался. А мужчина так ласково спрашивает: «В милицию хочешь?» Витя в слезы: «Пустите, я больше не буду». А тот: «Ты дурак. Разве так воруют? В первый раз сошло, во второй обязательно попадешься. А я тебя научу такие штуки проделывать, что будешь в масле кататься и никто не подкапается. Согласен?» Витя начал отказываться. Мужчина и говорит: «Тогда придется отвести тебя в милицию. Выбирай — в масле кататься или садиться за решетку». Вите было нечего делать. Он же трус! Начал он так действовать, как велели. Потом и своего товарища подбил.

Он и о брате тому мужчине рассказал, о том, какой Сергей и что его хотели исключить из школы. Тот и велел познакомить его с Сергеем. Они даже подружились. Сергею нравилось, что тот умеет все выдумывать... Это Витя меня тогда в парке ранил. Не узнал со спины, хотел шляпку снять, а попал по лицу... Они стаскивали

спиннингом шляпки и продавали их. Сергей этого не знал. Он думал: просто озорство. Романтика всякая... Потому что опасно. И азарт: попадешь крючком или нет, заметят тебя или не заметят, как будут реагировать? Он, когда сам стаскивал, то тут же отдавал, мол: «Тетя, у вас ветер унес шляпку, нате». Его благодарят, а он потом смеется: ловко.

А тот мужчина, видно, понял, что лучше иметь дело с Сергеем, а не с Витей. Вы же знаете, на Сережу можно положиться. И ребята в классе его уважают. Стал он через Сергея шайку шляпколовов организовывать. И организовал. Сергей слово ему дал, что никому ничего не скажет. А на днях вдруг узнал, что шляпколовы не озоруют, а воруют. Тогда он говорит тому мужчине: «Зачем вам эти шляпколовы нужны? Они ж воруют». «Ах, воруют?! — ответил тот. — Ну, я им, мерзавцам, покажу. Мне вору не нужны. А ты никому ни слова не говори. Я с ними сам разделаюсь». Сергей говорит, что ни ворованного, ни денег мужчина ни с кого не брал. Он бы и сам вам все рассказал, да не может — слово дал. А у него слово свято.

Девушка положила руки на стол и опустила на них голову.

— Знаете, Семен Игнатьевич, мне очень тяжело. Сережа мне во всем доверял, все рассказывал. А я слова не сдержала. Теперь ведь ребят поймают. Скажите, — их не посадят? Их будут перевоспитывать?

— Их уже поймали, — ответил Котловский. — А то, что вы рассказали, нам очень поможет. Так говорите, что мужчина ворованного не брал? И денег не брал?

— Нет, нет, — уверенно сказала девушка. — Разве бы тогда Сергей... Что вы?!

— А кто он такой? Где находится?

— Этого не знаю. Сергей, что хотел — рассказывал, сама я не спрашивала. Он не любит...

— Ну, спасибо вам, Люся. — Котловский крепко пожал маленькую ручку. — Будьте спокойны. И Сергей вам спасибо скажет. Вы ему — настоящий друг.

Он проводил ее по коридору и, прощаясь, у дверей подъезда, повторил:

— Будьте спокойны, Люся.

Подполковник Котловский вызвал к себе Сергея.

Сергей неуверенно вошел в кабинет. Семен Игнатьевич заметил, что вид у него какой-то нездоровый: лицо побледнело, под глазами залегли синие тени.

— Зачем вы меня вызывали, Семен Игнатьевич? — с трудом произнес он.

— Присаживайся... А что, если тот мужчина, твой руководитель, бандит и убийца? — внезапно спросил Котловский.

Брови Сергея подпрыгнули, потом медленно опустились.

— Не может быть, — произнес он и совсем тихо добавил: — Что же это такое?

— Может! — твердо сказал Семен Игнатьевич. — Больше того: я уверен. И ты должен рассказать все, что знаешь о нем. Ты ведь понимаешь: от этого зависит судьба и даже жизнь десятков таких, как ты, мальчик. Чем больше мы узнаем о нем, тем скорее поймем его.

— Но я почти ничего о нем не знаю, — с отчаянием сказал Сергей. — Не знаю, где он живет, где его можно найти. Мне известно лишь его имя-отчество: Илья Ильич.

— Опиши его внешность. Ты знаешь, что такое особые приметы?

— У него нет особых примет, Семен Игнатьевич. Среднего роста, крепкий. Волосы каштановые. Лет ему — двадцать пять. Глаз не запомнил. Кажется, серые... или карие. Одет в коричневый костюм, иногда в серый, а однажды пришел в темно-синем. — Сергей замолчал.

— Где он назначал тебе свидания?

— Нигде. Он не назначал. Он подходил ко мне всегда внезапно. Раз встретил меня у школы, раз — в парке, потом еще — у Люсиного дома...

Сергей морщил лоб, мучительно напрягая память, припоминая подробности. Он беспомощно смотрел на подполковника. Потом сбивчиво и горячо заговорил:

— Помогите мне, Семен Игнатьевич. Только вы один можете мне помочь... У меня в прошлом году был брюшной тиф. Лучше бы я умер тогда! Честное слово. Поверьте мне, хоть вы и не должны мне верить. Но

если... — у него перехватило дыхание. — Если вы все-таки хотите помочь мне, поручите мне сделать что-то такое, чтобы поймать того... бандита, чтобы я рисковал жизнью. Чтобы это было очень трудно... невозможно. Я его поймаю! Не для оправдания... Нет, для оправдания, но не перед другими. Перед собой. Чтобы я мог жить.

— Хорошо, мальчик, — сказал Семен Игнатьевич ласково и печально. — Ты прав. Только это может оправдать тебя перед своей совестью. Ты получишь трудное задание и поможешь нам. Мы сделаем так: ты скажешь, что это ты выдал шайку.

— Я не могу так сказать, — повесил голову Сергей. — Это бы выглядело как... как спасительная ложь, как ложь в оправдание.

— Нет, мальчик. Слушай внимательно. Ты скажешь, что выдал шайку, и тогда Илья Ильич, если он захочет сохранить влияние на ребят, попытается отомстить тебе.

— И я сражусь с ним насмерть! — глаза Сергея снова заблестели.

— Пока нет. Пока ты будешь остерегаться его и по вечерам не выходить из дома. Это приказ. Так ты поможешь нам.

— Семен Игнатьевич, это совсем не то! Это же легко! — чуть не плача, срывающимся голосом крикнул Сергей.

— Нет, сейчас это как раз то, что нужно. Ты будешь дисциплинированным и послушным. И ты подумаешь о том, мальчик, почему бандит избрал для своих планов именно тебя.

ОБЛАВА

В кабинете Котловского находились старшина Малюк и лейтенант Рябцев. В приемной тихо беседовали между собой Кротов и Костя Дереза. Несколько раз Семен Игнатьевич вызывал к себе Женю, так что она слышала почти весь разговор, происходящий в кабинете.

— Через три часа мы начнем операцию. «Объект» — бандит Лапатый. Он обнаружен на Подоле, — подполковник громко назвал улицу и номер дома. — Все ясно? Идите готовиться.

...Младший лейтенант Кротов и Семен Игнатьевич, одетые в штатское, сидели в той самой квартире, куда, по словам подполковника, должен был прийти бандит Лапатый, и молчали. Между ними на столе, накрытом скатертью с бахромой, стоял будильник и отчетливо выстукивал секунды.

Дверь в небольшой темный коридор была слегка приоткрыта; сквозь нее с улицы доносились шаги. «Пак-пак, пак-пак», — чеканные шаги на асфальте — так ходят военные. А вот «шшарп-шшарп» — идет старик. Потом «гуп-ту-гуп, гуп-ту-гуп» — тяжелая поступь грузного мужчины...

В темном коридорчике притаились лейтенант Рябцев и старшина Малюк. Все внимательно прислушиваются к шагам, — не подойдет ли кто к двери? Вот Кротову почудилось, что стук каблуков стал громче; он невольно приподнялся со стула, чувствуя, как наливаются мускулы, натягиваются стальными струнами нервы. Глядя на его напряженное лицо, не может сдержать нервной дрожи ожидания и подполковник Котловский. Как будто все рассчитано правильно.

План Семена Игнатьевича предельно прост: состоявшийся разговор слышали те же люди, что и тогда, когда речь шла о поимке братьев Чирик. Тот из них, кто захочет на этот раз предупредить бандита, попадет в ловушку.

Подполковник взглянул в окно. В углу маленького дворика дети гоняли обручи.

Будильник стучит громко и размеренно. Ему некуда торопиться: время должно идти своим чередом. Но вот в стук будильника вливаются почти созвучные с ним и все же посторонние звуки. Это стучат каблуки. Стучат мелко, дробно. Идет парень или девушка. Кто-то останавливается у дверей. Несколько секунд тишины, и наконец раздается резкий звонок. Кротов вливается ногами в ладони, открывает дверь в коридор и спрашивает спокойным голосом:

— Кто там?

Тишина.

— Кто там? — еще раз спрашивает он.

— Какая это квартира? — раздается за дверью ломкий мальчишеский голос.

— Вторая, — отвечает Кротов, подавшись вперед.

— А где седьмая?

— Пройдите во двор и направо. Третий подъезд.

Шаги удаляются. Семен Игнатьевич смотрит в окно. Тот, кто спрашивал седьмую квартиру, должен пройти мимо.

— Товарищ подполковник, — шепчет вдруг младший лейтенант, бросаясь к двери. — Он почему-то не свернул во двор. Он пошел обратно, и как пошел — быстро.

Подполковник тоже бросился к двери и, приоткрыв ее, выглянул на улицу. Парень в форменном коротком пальто, с почтовой сумкой на боку, из которой виднелись газеты, сворачивал за угол.

— Кротов, за мной! Остальным оставаться на месте! — скомандовал Семен Игнатьевич. «Почему он не пошел во двор? Почему спросил, а не пошел?» Он решил догнать парня и заговорить с ним. Но, когда Котловский и Кротов вынырнули из-за угла, форма почтового работника мелькала уже на расстоянии сотни шагов, около трамвайной остановки.

«Значит, он ускорил шаги, почти бежал», — определил Семен Игнатьевич и скомандовал Кротову:

— Догнать его!

Младший лейтенант побежал к остановке, но парень уже сел в трамвай. Вагон тронулся.

Котловский оглянулся по сторонам: такси! Он махнул рукой Кротову, показывая на стоящую у тротуара легковую машину, и побежал к ней. Они прыгнули в машину, показав удостоверения и бросив шоферу:

— За трамваем!

Трамвай они догнали на следующей остановке, однако парня с почтовой сумкой в нем уже не было.

Послышался тревожный свисток регулировщика. Кротов выскочил из трамвая и побежал к нему.

— Почтальона не видел?

— Он прыгнул на ходу и сел во встречный трамвай. Потому я и свисток дал.

Младший лейтенант бросился к автомобилю.

— Там! — показал он на удаляющийся в обратную сторону трамвай.

Машина развернулась и рванулась в погоню. И как раз вовремя. Семен Игнатьевич и Кротов успели заметить, как черная фигурка соскочила с подножки и скрылась в подъезде одного из домов. Через одну — две

минуты они вбежали в тот же подъезд. Сверху по лестнице спускался старичок. Они спросили у него, не встречал ли он почтальона.

— Он зашел то ли в четырнадцатую, то ли в пятнадцатую квартиру, — ответил старичок и начал словоохотливо объяснять: — Это на третьем этаже: четырнадцатая квартира — прямо, пятнадцатая — направо. А я задумался, потому и запомнил...

Котловский и младший лейтенант уже не слушали его объяснений. Они устремились наверх, перепрыгивая через две ступеньки.

— Вы в четырнадцатую, я — в пятнадцатую, — сказал подполковник, нажимая кнопку звонка.

Ему тотчас открыли. Из дверей в коридор высунулись головы любопытных соседей. Семен Игнатьевич осведомился, не заходил ли сюда паренек с сумкой почтальона, — получил отрицательный ответ и, убедившись в его достоверности, поспешил к Кротову. Младший лейтенант все еще стоял перед закрытой четырнадцатой квартирой, нажимая по очереди кнопки всех звонков. Увидев подполковника, он ударил в дверь носком сапога. Наконец в квартире послышалось шарканье комнатных туфель, и старушечий голос спросил:

— Вы к кому?

— Откройте, пожалуйста, — попросил Кротов, стараясь сделать свой голос тише и нежнее.

— А к кому вы?

Семен Игнатьевич прочитал под одним из звонков фамилию «Сурма» и назвал ее. Дверь отворилась. На пороге стояла ветхая старушка с накинутой на плечи такой же ветхой шалью.

— Их нету дома. Может быть, хотите что-то передать?

— А у Копеечных кто-нибудь есть? — спросил Семен Игнатьевич, прочитав фамилию над вторым звонком.

— Постучите к ним в дверь. Направо вторая будет, — раздраженно проворчала старуха. Видимо, к этим соседям она не была расположена.

Семен Игнатьевич начал стучаться к Копеечным. На стук открылась соседняя дверь, и оттуда высунулась голова Кости Дерезы.

— Товарищ подполковник, как вы сюда попали? — удивился он.

— Здравствуй, Костя. А ты что здесь делаешь? — спросил Кротов.

— Я здесь живу. У тетки. Зайдите к нам.

Котловский кивнул Кротову: посторожи, мол, у дверей, чтоб никто не вышел. Он вошел в светлую четырехугольную комнату с узорными гардинами на окнах и обратился к Косте:

— Ты не слышал, никто не входил к вам в квартиру за последние пятнадцать минут?

Парнишка пожал плечами.

— Нет. Но это легко проверить. У Сурмы никого нет. Он и жена с утра на работе. Он — в райкоме партии, она — в газотрубопроводном управлении. У Копеечных сын пришел из школы, но он, наверное, во дворе. А вы на лестнице хорошо смотрели, когда подымались?

— На лестнице его не было. Да и старичок сказал, что он вошел в четырнадцатую или пятнадцатую квартиру.

— Тогда другое дело... — протянул Костя. — Но, может быть, он только звонил, а старичку показалось, что вошел? Увидел, что кто-то спускается, позвонил, а потом бросился наверх, когда старик прошел. Там еще три квартиры и чердак.

— Пошли, — сказал Котловский.

Они расспросили жильцов из верхних трех квартир и убедились, что туда последние полчаса вообще никто не проходил. Оставался чердак. Костя принес карманный фонарик. Кротов открыл тяжелую дверь. Луч фонарика заплясал по какому-то хламу, по балкам металлических перекрытий. Вдруг что-то черное, задетое лучом, метнулось в сторону. Семен Игнатьевич не успел опомниться. Костя самоотверженно ринулся вперед. Раздалось мяуканье и резкий противный скрежет.

— Черт! — с досадой крикнул Костя. — Руку оцарапал, проклятый.

— Чего ты чертей поминаешь, комсомолец? — иронически спросил Кротов, убедившись, что панику вызвала всего-навсего кошка, и смеясь над приключением.

— Кота так зовут — Черт, — пояснил парнишка.

— Ну и смелый же ты! — с восхищением оглядел его младший лейтенант. — А если бы и вправду там — бандит?

— А вы разве не рискуете? — простодушно ответил Костя.

Они внимательно обследовали чердак.

— Товарищ подполковник! Идите сюда! — позвал паренек и показал Семену Игнатьевичу на крючок люка. Он был выбит из гнезда. Котловский рассмотрел крючок. Он заржавел, — видно, его до этого давно не открывали.

Младший лейтенант приподнял крышку люка и вылез на крышу. Она примыкала вплотную к соседнему дому.

— Мог уйти по крыше. — Он устало посмотрел на подполковника. — Прозевали.

Кротов захлопнул люк и вбил крючок на прежнее место. Опять раздался тот же противный скрежет ржавого железа, и по крыше словно что-то зашуршало. Младший лейтенант мгновенно приподнял крышку люка и выглянул. Черный кот, подняв хвост трубой, важно шагал по жести.

Они попрощались с Костей и спустились на улицу.

— Славный парнишка, — сказал младший лейтенант, думая о юноше.

Семен Игнатьевич не ответил ему. Он думал сейчас совсем о другом: почему парень, услышав голос Кротова, убежал? Чем поразили его этот голос? Он звучал без особого напряжения, хоть это далось Ивану Игоревичу с трудом. Через закрытую дверь он ничего не мог увидеть. Исключая невозможное, оставалось предполагать, что голос был ему знаком, и очень хорошо знаком, если он после нескольких слов узнал его. Вспоминая его вопросы: «Какая это квартира? А где седьмая», подполковник утвердился в своем мнении: он спрашивал, чтобы еще раз услышать голос.

* * *

Темнота была вязкая, как кисель, и такая же сырая. Она выкрасила в черный цвет небо и затянула желто-серой пленкой огни электрических фонарей. В решетке дождя мелькали лица редких прохожих.

Лейтенант Рябцев, неотступно следовавший за Сергеем, пройдя театр музыкальной комедии, упустил его из виду. Ему показалось, что мальчик свернул к стадиону. Это было бы нелепо, но мало ли что может прийти в голову подростку, когда в его жизни случилась

такая история. Лейтенант набавил шагу и увидел перед собой две фигуры. Одна из них принадлежала высокому широкоплечему мужчине, другая — подростку.

Рябцев шагнул вперед, отведя предохранитель пистолета и нажав кнопку карманного фонарика. Он увидел незнакомые перепуганные лица и, забыв извиниться, спросил:

— Не видели мальчика в спортивном костюме?

— Не... не видели, — запинаясь, ответил подросток.

— Не встречали, — подтвердил мужчина.

Лейтенант обежал всю площадь перед стадионом и, повернув опять на Красноармейскую, устремился к дому, где жил Сергей.

...Сергей шел медленно, заложив руки в карманы спортивных шаровар. С его непокрытых волос десятками тоненьких струек стекала вода. На бровях и на ресницах сидели рядышком блестящие круглые крупинки, и сквозь них тусклый свет электрических фонарей казался даже красивым. Под ногами изредка хлюпали лужицы, и всю дорогу жалобно всхлипывали ботинки.

Сергей не торопился. Для чего? Чтобы увидеть дома привычную картину — нахмуренные лица родителей, их косые взгляды? Их молчание тяжелее самых обидных слов, оно всегда выражает одно и то же: ты, хулиган, пропащий совершеннолетний преступник, завлек Витеньку, опутал его, а потом, чтобы спастись, выдал. И, конечно, самым плохим было не то, что Сергею не могли простить другие, — самым тяжелым было то, что он сам не мог себе ничего простить.

Домой идти надо было все равно. Сергей свернул в свой двор. У ворот горела лампочка, но в двух шагах дальше уже было темно. Сергей не спеша шел по двору, и вдруг сердце его встрепенулось и замерло. Прямо перед собой, у стены он увидел знакомую фигуру и услышал сдавленный шепот:

— Ну, здравствуй, помощничек...

Да, это был Илья Ильич. Он тихо засмеялся, и у Сергея внезапно прошел страх. Он понял: бандит боится его. Ведь он, Сергей, на своей улице, на своей земле, и стоит ему крикнуть, как все люди придут на помощь. А на что надеяться бандиту?

Сергей высвободил из кармана руку с зажатым в ней

ключом. Илья Ильич заметил это движение и резко схватил его за плечи.

— На помощь! — закричал Сергей и начал отчаянно колотить бандита ключом по голове, по плечу, по зубам. Илья Ильич вдруг рванулся в сторону, и в тот же миг Сергей почувствовал острую боль в вывернутой руке. Он попробовал сопротивляться, но бандит ударил его кулаком по голове...

* * *

Иван Кротов, дежуривший у дома, где жил Сергей, укрылся от моросящего дождя под своды ворот. Полой длинной шинели он стряхнул с рукавов и плеч капли, распрямился, и тут на него едва не налетел подполковник Котловский.

— Не приходил еще? — спросил он.

— Нет, товарищ подполковник.

Котловский в сопровождении Кротова зашагал по двору и свернул в парадное, где находилась квартира Шулика.

— Я задержусь недолго, — сказал Семен Игнатьевич, как вдруг во дворе раздался крик: «На помощь!» Младший лейтенант побежал на крик. Подполковник последовал за ним, расстегивая кобуру пистолета. Недалеко от сводчатых каменных ворот он увидел Илью Ильича и лежащего на земле Сергея.

— Стой! — приказал Семен Игнатьевич.

Бандит хотел было юркнуть в ворота, но путь ему неожиданно преградил лейтенант Рябцев.

КОСТЯ ДЕРЕЗА

Илья Ильич смело смотрел то на подполковника Котловского, то на Кротова. На его мускулистом лице не было и тени беспокойства. Взгляд его нагло говорил: «Меня поймали, но я еще не поймался».

Котловский негромко спросил:

— Фамилия, имя, отчество?

— Чирик Семен Ильич... Кличка Сенька Плюгавый.

Подполковника несколько удивила такая откровенность, но он сразу же решил, что, видимо, бандиту пока выгодно не изворачиваться, не лгать.

— Профессия?

— До недавнего времени вор, — бойко ответил Плюгавый.

Семен Игнатьевич невольно усмехнулся: интересно, до каких пор он будет правдив?

— Вы говорите: до недавнего времени... А сейчас?

— Готовился им быть опять, гражданин начальник, — цинично заявил Плюгавый.

— Объясните подробнее.

— Создавал, так сказать, условия, плацдарм.

— Точнее, — потребовал подполковник, — и без фигурства.

— Хорошо. Я скажу. Но учтите, гражданин начальник, я сам признаюсь...

Лицо Котловского осталось безразличным. «Ты расскажешь то, что мы и без тебя знаем, — подумал он. — Всего ты все равно не выдашь, пока не убедишься, что лгать или молчать бесполезно».

— В Киеве братья Чирики не совершили ни одного противозаконного дела, гражданин начальник...

«Уже начал лгать, — подумал Котловский. — А убийство старшины Мыкытенко?»

— Мы и дальше не собирались марать свои руки. Как раз наоборот. Мы хотели ввести все в норму, в рамки. Всю здешнюю шпану объединить. Конечно, и нам выгода немалая; без этого ж нельзя, вы понимаете... А что делать? В Сталино нашу шпану застукали... В одиночку — какая работа? На хлеб и квас... Вот мы и решили... Да чего говорить теперь? Все пропало. Мы ведь еще ничего не успели сделать. Но вы не забудете, что я сам раскололся, все наши планы раскрыл?

— Значит, решили поставить дело на широкую ногу? Начать с несовершеннолетних? — не обращая внимания на последние слова Плюгавого, спросил Котловский.

Он думал: «Видно, больше никого ты не мог найти. Не было готовой стаи. Вот и решил создать ее. Искал среди воришек, среди хулиганов, а они не подчинялись тебе. И нашел ты Витю Шулика, шляпколовов, Сергея. Но и Сергей ушел от вас, еще даже не поняв, а только почувствовав, кто вы такие. Не за кого тебе уцепиться, бандит, нет для тебя среды. И это хорошо...»

— Каких несовершеннолетних, что вы? — Плюгавый изобразил возмущение.

— А шляпколовы? Для чего они нужны были?

— Шляпколовы... — Плюгавый неопределенно пожал плечами. — Это же безобидное озорство, ребячьи шутки.

— Они занимались воровством! — не выдержав, повысил голос Котловский. — И вы это знали!

— Я денег с них не брал... — обиженно произнес Плюгавый и, сообразив, что сказал лишнее, добавил: — Это их дело.

— Адреса тех, с кем вы связаны! — строго спросил Котловский.

— Я же вам сказал: мы ничего не успели сделать...

Видя, что больше от Плюгавого ничего не добьешься, Котловский нанес ему решительный удар.

— А убить старшину милиции успели?!

— Я не понимаю, о чем вы говорите! — У Плюгавого нервно задвигался кадык. Он глотал слюну. — У вас что, невыполнение плана по смертным приговорам? Меня на этот крючок не поймаете, гражданин начальник.

Котловский взял из папки окровавленную записку, найденную рядом с телом старшины Мыкытенко, и показал ее побледневшему Плюгавому.

— Узнаёте?

Плюгавый взглянул на записку и, откинувшись на спинку стула, как-то сразу обмяк.

— Идиот! — пробормотал он и замолчал.

— Что же вы молчите? — после небольшой паузы спросил Котловский.

— Это всё брат. Я ему говорил: не надо. Вы должны мне верить, — неожиданно быстро заговорил Плюгавый. — Виноват Потраш и...

Он вдруг умолк. Его глаза округлились от страха. Семен Игнатьевич быстро посмотрел в направлении его взгляда и заметил, что дверь кабинета приоткрыта.

— Что там такое? — громко произнес Котловский.

За дверью стояла Женя, а из-за ее плеча высывалась голова Кости Дерезы.

— Вот Костя хочет вас видеть, — сказала девушка. — Я говорю ему: вы заняты, а он говорит: срочно.

— Что случилось, Костя? — спросил подполковник.

— Мы хулиганов задержали. У кинотеатра «Ударник» дебош устроили.

— Вы молодцы. Но сейчас я занят, извини,

Котловский перевел взгляд на Плюгавого.

— Продолжайте.

— Этой записки я никогда не видел... — тихо выдавил Плюгавый.

— Вы сказали: «Виноват Потраш и...» — напомнил ему Котловский. — Продолжайте.

— Я хотел сказать... если он писал записку, то виноват он. А я не убивал...

Семен Игнатьевич нажал кнопку звонка. Конвойный увел Плюгавого.

— Почему вы прервали допрос? — спросил Кротов.

— Он почему-то переменял решение, — задумавшись, медленно ответил Семен Игнатьевич. — Сначала решил сказать часть правды, но потом ему что-то помешало. Что же? В кабинете ничего не произошло. Только Женя открыла дверь. Значит, причиной была эта дверь, — вернее то, что за ней находилось...

* * *

Котловский ходил по кабинету. Он думал вслух:

— Почему замолчал подследственный? А он замолчал, думаю, потому... — Семену Игнатьевичу вспомнились неприметные детали: черное чердачное отверстие и бросившаяся в него фигура юноши. Потом — скрежет ржавого железа, выбитый крючок люка... И теперь — лицо в дверях. — Подследственный замолчал потому, что увидел Костю. Совершенно верно... Я начинаю подозревать, что Костя каким-то образом замешан в этих делах.

— Все его документы в полном порядке. Такой парень... — заметил Кротов.

— В том-то и дело, что все у него в порядке. Поэтому и не вызывал подозрений. А присмотреться к нему давно стоило, теперь это ясно. Если взять хотя бы такой случай: Костя и Мыкытенко заметили, что вор снял у женщины часы, и пустились вдогонку. Костя настиг вора первым и упустил. Так вот, мне теперь кажется, что Костя помог ему уйти. Ведь и в других случаях он лишь мешал. Его заслуги — задержание нескольких мелких хулиганов. И самое главное: мы преследовали парня, почтальона. Он забежал в тот дом, где живет Костя. Я думаю: не случайно забежал. Костя ему помог скрыться. Поэтому на чердаке так смело на кота

бросился и в то же время незаметно крючок люка выбил, чтобы мы подумали, будто парень ушел этим ходом, и сбились со следа. Одурачил он нас тогда, надо честно признаться. Меня насторожил скрежет ржавого железа. Мелькнула смутная догадка. Но Костя был вне подозрений.

— Если это так, то во всем виноват я! — воскликнул Кротов. — Я рекомендовал его к нам в дружину.

— Подождите обвинять себя. — Котловский подошел к телефону, снял трубку: — Вызовите Херсон, городское управление милиции.

Через несколько минут начальник управления милиции Херсона был на проводе.

— Не можете ли вы охарактеризовать бывшего члена народной дружины Костю Дерезу? — спросил подполковник. — Узнайте, пожалуйста, и позвоните мне. Буду ждать вашего звонка.

Он снова заходил по кабинету. Потом сел рядом с Кротовым, закурил. Прошло минут десять. Раздался длинный звонок. Подполковник схватил трубку.

— Слушаю. Подполковник Котловский, — сказал он и минуту спустя бросил трубку на рычаг. — Из Херсона сообщили, что Константин Дереза в народной дружине не состоял и вообще в городе не был прописан.

— Не может быть! — застонал Кротов. — Я же сам видел его документы, грамоту за борьбу с хулиганством...

— Нельзя тратить времени! — перебил его подполковник и надел плащ.

* * *

Котловский, Рябцев и Кротов выскочили из машины и бросились в подъезд четырехэтажного дома. На третьем этаже у квартиры номер четырнадцать они остановились. Кротов нажал кнопку звонка. Дверь открыла низенькая полная женщина. Увидев людей в милицейской форме, она тихо ахнула.

— Ваш племянник Костя где? — спросил Семен Игнатьевич.

— Не знаю, ничего не знаю, — испуганно пролепетала она.

— Осмотреть квартиру! — приказал подполковник.

— Они спешили, как сумасшедшие, собрали чемоданы и куда-то уехали. Мне они ничего не сказали... Я ничего не понимаю... — на ходу сбивчиво заговорила женщина.

— Кто был с Костей?

— Мужчина, черный и высокий...

— Вы его раньше видели? Как его зовут?

— Он пришел вчера. Ночевал. Костя сказал, что это его знакомый из Сталино... Как зовут, — не сказал...

Они тщательно осмотрели комнату. Кротов вытащил из-под кровати почтовую сумку и показал Котловскому.

— Все ясно, — Семен Игнатьевич кивнул головой. — На вокзал! Быстро!

На вокзале они распределили свои силы. Лейтенант Рябцев и несколько человек из железнодорожной милиции направились обследовать поезд, который должен был отправиться в ближайшее время. Семен Игнатьевич, Кротов и старший уполномоченный из отдела милиции при вокзале устремились ко второму, московскому. Они начали проверку двумя группами, одновременно с обеих концов поезда.

В одном из средних вагонов Семен Игнатьевич и Кротов увидели парня с пухлыми губами, сосредоточенно смотревшего в окно.

— Чего же ты не подождал в приемной, Костя? — сдержанно сказал Семен Игнатьевич, шагнув к парнишке.

Парень продолжал смотреть в окно, делая вид, будто не замечает, что вопрос обращен к нему.

Кротов тронул его за плечо:

— Приехали, Костя! Остановка!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

У окошка кассы кинотеатра собралась очередь. Люди терпеливо ждали, когда начнут продавать билеты. Окошко открылось, и к нему, отталкивая передних в очереди, бросилась кучка ребят. Старшему из них было лет семнадцать, младшему — четырнадцать. В очереди закричали: «Безобразия! Хулиганы! Привести их к порядку!»

В вестибюль вошел юноша с девушкой в осеннем темно-синем пальто. Его черные глаза-угольки, увидев хулиганов, зажглись.

— Сережа, не надо, — попыталась его удержать девушка.

Но он уже не слышал ее, выбрал атамана ватаги и подошел к нему:

— А ну, сдай назад, спекулянт! Билеты перепродаешь? В милицию захотел? — крикнул Сергей, проталкивая плечо между пареньком и его приятелями.

— А ты кто такой, чтоб командовать? — угрожающе спросил паренек.

— Просто школьник, — сдержанно сказал Сергей. — Но хулиганить не дам.

— Ах ты гад! — выругался атаман ватаги. — Ну держись!

Он занес кулак, но тут же взвыл от боли. Сергей вывернул ему кисть. Несколько мужчин из очереди подошли к Сергею и молча стали рядом с ним.

— Наших бьют! — закричал атаман, для устрашения вращая округлившимися от испуга глазами.

Один из его дружков хотел было броситься на выручку, но второй остановил его:

— Он, наверное, из дружины. Лучше не связываться.

— Черт! — проворчал подросток и остановился. Ватага незаметно рассеялась. Главаря, оставшегося в одиночестве, Сергей сдал подоспевшему милиционеру.

— Здорово, Шулика! — сказал тот. — Доложу начальству. Это уже третий на твоём счету.

Сергей вернулся к девушке:

— Пойдем, Люся. Очередь большая, все равно билетов не достанется.

В очереди зашумели:

— Молодец парнишка! Дать ему два билета!

— Спасибо, — ответил Сергей. — Только уж если соблюдать очередь, то для меня не должно быть исключения.

Он раскрыл дверь перед девушкой. Они вышли на улицу. Падал снег хлопьями — фиолетовыми, красными, белыми, сверкающими в электрических огнях фонарей, окон, реклам.

Они дошли до площади Льва Толстого, и тут их окликнул сутуловатый человек в форме подполковника милиции.

— Ну, как живешь, Сережа, как твои успехи? — спросил Котловский.

— С него сегодня выговор сняли, хотят даже в учком избрать, если не испортится, — сказала девушка, глядя на подполковника из-за плеча юноши.

— А вы не к нам случайно направились? — спросил Сергей.

— Нет, не к вам. Мне — на Жилианскую. Дела.

Подполковник сказал это небрежно, стараясь не выдать своих чувств. Ведь этот юноша был дорог ему не только тем, что напоминал сына...

Сергей подошел к подполковнику совсем близко и, чтобы не слышала Люся, сказал:

— Семен Игнатьевич, заходите к нам почаще. Вы нам все равно... как родной...

Котловский молча кивнул головой — мол, постараюсь, мальчик, — и быстро пошел своей дорогой.

У ТЕБЯ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ

ПОВЕСТЬ

Ч

ЧИЖИК РЕШАЕТСЯ

1

Чижик вышел из трамвая на площади Богдана Хмельницкого и, беспокойно оглядевшись по сторонам, направился к будке телефона-автомата. Набирая несуществующий номер, он внимательно осмотрел площадь. Все было обычным. Вздрыбил коня грозный гетман, чирикали и перепархивали с места на место воробы, фотограф готовил к съемке экскурсантов. Чижик закусил губу, и все-таки она дрожала. Неужели ему не удалось обмануть их? Он четыре раза пересаживался с трамвая на трамвай. Неужели они все еще следят?

Чижик прижался спиной к стенке будки. Нужно выходить. Собирается очередь.

Вдруг его взгляд встретил темные глаза. Перед будкой стояли двое. Кто они? Может быть, те... Темноглазый почему-то держит руку в кармане и смотрит с любопытством. Только выйдешь, взмахнет рука с ножом. Отскочить не удастся. Слишком близко. А если схватить за руку? Тогда второй всадит нож в бок...

Недалеко остановился милиционер. Эти двое его тоже заметили. Один что-то сказал другому... Чижик толкнул дверь будки. Парень вынул руку из кармана.

В тот же миг — резкая боль в животе. Чирик вскрикнул и схватился руками за живот.

— Что с вами? — спросил парень.

Темноглазый держал наготове пятнадцатикопеечную монету.

— Ничего, ничего, — поспешно ответил Чирик и за-
вернул за угол ближайшего дома.

Боль в животе прошла. Когда-то ему говорил веселый доктор: «Вы склонны к самовнушению, молодой человек». Он пошел быстрее, стараясь ни о чем не думать. Но блеск оконного стекла наводил на мысль о блеске металла, а тень, падавшая от дерева, напоминала тень крадущегося человека.

Он почувствовал облегчение, войдя в здание и увидев милиционеров. Подумать только, что совсем недавно Чирик их так боялся!

...Из скверика, что напротив здания, вышел приземистый паренек с длинными руками и ногами, похожий на паука. Он скользнул взглядом по окнам, сплюнул и, растерев плевков ногой, зло сказал:

— Крышка тебе, Юрка!

— «Чирик Юрий Викторович. Год рождения — 1939. Место рождения — Киев», — подполковник вслух начал читать протокол допроса, изредка поглядывая на юношу.

Юра сидел совершенно прямо. Серые глаза его были устремлены в одну точку. Большие оттопыренные уши покраснели от волнения. В школе его дразнили Лопухим Утенком, наверное потому, что лопухих утят не бывает.

Не дочитав, подполковник отложил листки и предложил:

— Рассказывай, Чирик.

— Сначала? — спросил юноша. Чирик говорил одно и то же лейтенанту, капитану, и они все записывали.

— Да, — сказал подполковник. — Сначала.

— Я, Чирик Юрий Викторович, в мае этого года познакомился с Гундосым и Яковом...

— Постой, постой, — подполковник улыбнулся. Улыбка была мягкой и немного грустной. — Быстро ты привык. Давай-ка, Юра, рассказывай, а не докладывай. Не арестован — сам пришел...

Юра почувствовал, как пиджак давит на плечи. Он устал. Разве можно рассказать все? Свои мысли, свое горе — чужому? Подполковник глядел сочувственно, словно понимал, как ему трудно.

— Весной я окончил десятилетку. Поступал в институт. Не прошел по конкурсу. Пробовал устроиться на работу в экспедицию — мама не пустила. Потом — в лабораторию. Не было места. На стройку или на завод не захотел. Туда надо в ученики. Думал: школу закончил — и в рабочие? Дома мать больная. Врачи говорят: плохо с сердцем...

В памяти Юры отчетливо жили те дни, но рассказывать о них было очень тяжело.

2

Болезнь матери Юру не испугала. Мать хворала часто. «Полежит несколько дней и выздоровеет», — успокаивал он себя. Но прошла неделя, месяц, а мать не вставала. Доктор твердил что-то о режиме, питании. Хотел отправить мать в больницу, но она запротестовала. Часто Юра ловил на себе ее долгий внимательный взгляд и начинал тревожиться: «Словно прощается со мной». От этого взгляда становилось тоскливо на душе. Юра уходил из дома и бесцельно бродил по городу. А матери говорил, что ищет работу.

Каждый раз, когда возвращался, мать спрашивала, где он был и что ему там сказали. Все труднее и труднее было выдумывать причины отказа в работе. В глазах матери застыла тревога. Юра понимал, что это из-за него, что не поправляется долго она тоже из-за него. Но побороть себя не мог. В душе поселилась обида: другие ребята учатся, а он должен работать.

Однажды Юра пришел домой раньше обычного. Мать лежала в постели и плакала. Сердце Юры сжалось, захотелось утешить ее, одинокую, больную. Он подошел к ней и бодро произнес:

— Можешь поздравить, мамуся. Твой сын — работник проектного института.

Теперь каждое утро ровно в восемь часов Юра просыпался по требовательному звонку будильника. Неторопливо собирался, завтракал и отправлялся на «работу». Эти утренние часы были самыми неприятными: к

Игорю не пойдешь — он на занятиях в институте, в кино — рано, да и деньги нужны.

Он шел по известным ему адресам проектных институтов. После того как Юра сказал матери, что устроился в проектный институт, у него была одна цель: найти такую работу. Но свободных мест не оказывалось. Обычно ему говорили: «Опоздали, молодой человек. Вот если бы немножечко раньше. Летом мы взяли сотрудников».

Теперь Юра завидовал этим счастливым. Он мог бы быть на их месте, если бы не пропадал летом целыми днями на пляже, если бы не мечтал о какой-то необыкновенной должности по его призванию. А в чем оно, Юрино призвание, этого никто не знал. И он сам не знал.

Прошло две недели. Завтра он должен принести маме свою зарплату. Она ждет, волнуется, радуется. Как же быть? Юра шел по улице и с тоской смотрел на объявления: «Требуются плотники, каменщики, бетонщики»... Почему он не пошел на стройку раньше? Испугался тяжелой грязной работы? Мать всегда говорила: «Будешь инженером, как твой отец». В школе его считали одним из самых способных.

Сколько бы он заработал на стройке или на заводе? Конечно, вначале получал бы немного, но это был бы постоянный заработок. Семнадцатого, в день зарплаты, у него в кармане хрустели бы новенькие деньги. Он принес бы маме ее любимых пирожных.

Можно поступить на работу и сегодня. Но денег-то придется ждать две недели. А они необходимы обязательно завтра. Сколько ни думай, сначала надо занять деньги, а потом устраиваться на работу.

К родственникам Юра не хотел идти: там придется все объяснять, откроется его обман. Забежал к школьному товарищу Игорю Соловейчику — его не оказалось дома. У нового приятеля, с которым вместе загорали летом на пляже, было всего три рубля.

Он медленно шел домой, жалкий, ожесточенный. Мимо двигались люди, занятые своими делами. Юра был одинок. Ему стало страшно. В школе он всегда знал, что о нем кто-то заботится. Постоянно чувствовал внимание учителей, рядом были товарищи. Иногда заботы взрослых казались назойливыми, и он протестовал про-

тив них. Почему кто-то загружает его делами? Какое право имеют другие люди навязывать ему свою волю, читать нравоучения, направлять его поступки? Он хотел жить самостоятельно.

И вот такая пора настала. Он должен сам заботиться о себе и о больной матери, сам искать себе занятие, — как раз то, о чем мечтал в школе. Но он никогда не представлял, что это так трудно. Его сейчас уже не страшила работа, как то, что он должен все решать самостоятельно. Ему казалось, что это и есть одиночество.

Юра подошел к своему подъезду. Домой идти не хотелось. Мать сразу заметит его плохое настроение. Да и денег-то он не достал.

Из подъезда вышел приземистый паренек. Увидев Юру, он ухмыльнулся и спросил.

— Как поёшь, Чижик? Старуха выздоровела?

Юра всегда сторонился этого паренька, соседа; у него были слишком развязные манеры, вкрадчивый голос и неизвестные занятия. Но теперь Юра вспомнил, что у Коли водятся деньги. Он протянул ему руку:

— Здравствуй.

— Ого! — удивился сосед. — За ручку? Чем обязан? Юре стало неудобно. Но он вспомнил о маме.

— Денег занять не можешь? Рублей сто хотя бы? — Он поспешил добавить: — Устраиваюсь на работу. Скоро верну.

Коля понимающе закивал головой:

— Рад бы. Да у самого нет.

Он посмотрел вслед прошедшему мимо мужчине, задумался.

— Подожди. Надо тебе помочь. Не пропадать же человеку. — Он наморщил лоб, словно выискивая способ, где раздобыть денег.

Молчание становилось тягостным.

Наконец озабоченный взгляд Коли прояснился:

— Придумал. Вот только... — Он замялся. — Как бы тебя не затруднить. Ты, кажись, субъект деликатный, ручек марать не станешь.

— Да ты говори! — Юра думал о завтрашнем дне.

— Один хороший человек привез три пары сапог. Их надо загнать. Только осторожно. — Он посмотрел на встревоженное лицо Юры. — Не беспокойся, ничего такого. Просто они ему не нужны, а другие бы не отказа-

лись. Охотники до них всегда найдутся, особенно среди колхозников. Если их продать по магазинной цене, убытка не будет. А ты заработаешь четвертной. Потом я еще что-нибудь придумаю. По рукам?

Юра заколебался. Продавать чужие вещи... осторожно... Все это было ему не по душе. Но где же тогда взять денег? Может быть, потом Коля ему еще и одолжит...

Он спросил:

— А где продавать? На толкучке?

— Чудак жук, — засмеялся Коля. — Там сразу застукают.

Через час Юра и Коля вышли из трамвая на рынке. Остановились за углом ларька. Коля указал на двух мужчин, продававших картошку, и шепнул:

— Начинай с них.

Ноги у Юры стали непослушными, негибкими. Несколько раз он прошел мимо мешков с картофелем, тоскливо глядя по сторонам.

«Надо подходить, — думал он. На душе было скверно. — Дождусь, пока он посмотрит на меня, и сразу же спрошу: «Вам не нужны ли...»

Но, как только продавец картофеля бросал взгляд в его сторону, Юра отворачивался и делал вид, будто его ничто не интересует.

Время шло.

«Подожду, пока вон тот отойдет...»

«Подожду, пока...»

«Остыну. А то красный, наверное, как свекла».

«Пора. Так ничего не выйдет. Надо решаться».

Подошел к колхознику. Тот с любопытством посмотрел на него. Юра покраснел еще гуще и выдавил из себя:

— Вам не нужны сапоги? Нам на стройке выдали. Да они велики...

Это объяснение ему пришло в голову сейчас. Все, что он придумал раньше и обсудил с Колей, забылось.

— Какие сапоги? — спросил мужчина.

— Новые, крепкие.

Юре казалось, что колхозник попался на редкость медлительный. Ну чего тут размышлять?

— Надо поглядеть. Где сапоги?

— Тут совсем рядом, у товарища.

Мужчина попросил своего соседа присмотреть за картошкой. Юра заметил, как он вынул из кармана деньги и передал тому на сохранение. «Бойтся», — пронеслось в голове. Хотел повернуться и уйти, да вспомнил о матери...

Колхозник мял в руках голенища сапог, чертил твердым ногтем по подошве. Когда он уплатил и ушел, Юра вытер пот со лба.

— Пугливый же ты, фрей, — ухмыльнулся Коля. — Привык в лото играть...

Потом дело пошло легче. Юра вместе с Колей продавал самые различные вещи: швейную машину, пылесос, какую-то краску, рулоны толя.

— А кто всё достает?

— Увидишь его. Парень первый сорт. Бывалый, — нахваливал Коля.

Как-то вечером они вместе отправились в кино. В фойе к ним подошел молодой человек в спортивном костюме. У него было яркое, изнеженное лицо южного типа — нос с горбинкой, большой рот с полными губами.

— Познакомься, — проговорил Коля, заискивающе глядя на подошедшего. — Тот, кто все достает, — шепнул он Юре.

— Яков, — представился молодой человек. — А что я достаю?

— Все, — быстро ответил Коля. — В магазинах, по блату.

— А? Да, да. Так тяжкий млат, дробя стекло, готовит блат, как говорил Пушкин.

Яков пошел в зал, бесцеремонно расталкивая людей. Юра шел следом за ним и смотрел на широкие, чуть покачивающиеся плечи. Ему нравились такие сильные, смелые, уверенные в себе люди.

В зале Яков вынул из кармана небольшую коробку конфет.

— С ромом. Алкоголь малыми порциями. — Он протянул конфеты приятелям.

— Как мать, выздоравливает? — спросил Яков у Юры и окончательно покори́л его. Рядом с таким человеком Юра почувствовал себя уверенно.

Спустя несколько дней они встретились снова. Долго гуляли по Крещатику. В зелени деревьев зажглись матовые луны. Воздух был теплый и мягкий.

На площади Калинина к ним присоединился друг Якова, высокий неуклюжий увалень со странным прозвищем Гундосый. Он постоянно держал глаза полужакрытыми, словно дремал. В углу его рта торчала незажженная папираса.

Два раза они измерили Крещатик из конца в конец. Коля рассказал несколько плоских анекдотов. Смеха Гундосого не было слышно, только подрагивала папираса в углу рта. Яков же хохотал безудержно и заразительно. Потом Яков рассказал «забавную», по его словам, историю, случайно услышанную в поезде.

— Один субъект, — он улыбался, словно предвкушая веселый конец, — попал в кутузку. Субъект был хлипкий, мамин сыночек. А посадили его по-дурному. Один раз спекульнул — и сразу же попался. Смехота!

Гундосый кивнул головой, будто хотел сказать: такие всегда сразу попадают.

— Судили его, послали в лагерь. Пригляделась к нему братва, видит — негодный субъект, ферть. На допросе своих выдал. Да еще ноет: «Я должен загладить свою вину. Маме это такой удар». А братве скучно. Ну, и был там один остроумный мальчик.

— Как наш Вампир, — вставил Гундосый.

«Кто это Вампир? — подумал Юра. Он перевел взгляд на Колю: длинные руки, ноги — паук-кровосос, и только. — Не он ли?»

— Вот мальчик и говорит субъекту, — рассказывал Яков. — «Мы поможем тебе исправиться, отстрадать». Снимает он свой пояс и дает субъекту. «Слышал я, — говорит, — в старину люди себя плетью хлестали за грехи. На, пожалуйста, похлещись». Тот принял это за шутку. Но не тут-то было. С него стащили брюки и вложили как следует. Он просит отпустить, молит, маменьку вспоминает. Опять дают пояс. «Не хочешь, чтобы били, сам хлещись. И стал сам себя-стегать. Смехота! Он стегает, а ребята заливаются. С того дня скуку как рукой сняло. Приходит вечер — садятся вокруг субъекта и ждут представлений. Но как-то лагерное начальство, «пираты», пронюхали про это. Атамана посадили в карцер. Остальным внушение сделали. Братва при-

уныла. А тут атамана выпустили из карцера. Он новое придумал. Говорит субъекту: «Как услышишь свист, ложись на землю и жди второго свиста. Ерепениться не советую». Ох, и началась потеха! Идет субъект по двору. Свист. Он ложится. Братва в окошки смотрит. Смехота! Зайдет в уборную — свист.

Коля хохотал. Папироса прыгала во рту Гундосого. Юра почувствовал, как по спине забегали мурашки. Он спросил:

— А что с ним стало?

— С субъектом-то? А что станет? Простудился и помер. Это он уже после простудился, когда братва ему воды в сапоги наливала да куски льда за шиворот опускала...

Яков заметил ужас в Юриных глазах и улыбнулся:

— Быть может, и «звонил» тот парень... Наверное, прибрехал для складности.

Юра был рад, когда распрощался с приятелями и очутился в своей комнате. Мать не спала. Он слышал, как она ворочается на кровати. Послышался шепот:

— Юраша...

Он зажег свет и присел на край постели.

Мать повернула к нему серое, словно затянутое паутиной лицо.

— Ты какой-то беспокойный стал, Юраша. И с Колей сдружился. Вид у тебя измученный. Тяжело очень работать? Не нравится? Может, неприятности какие? — Мать беспокойно заглядывала в Юрины глаза.

Юра старался смотреть в сторону и твердил одно:

— Нет, ничего. Все хорошо.

Мать тяжело вздохнула.

Юра лег на диван. Задумался: «Мать что-то чувствует. Надо кончать эти встречи и дела с Колей и поступать на работу... А может, заработать еще немного и уж тогда... Собственно, куда спешить? Успею... Подыщу подходящую работу и с Колей покончу...» Он боялся признаться себе в том, что новое «занятие» постепенно засасывает его. Он начал привыкать к легкой добыче денег. Нравилось обедать в кафе. Нравилось угощать бывших товарищей по школе дорогими папиросами и видеть удивление на их лицах. Можно было фантазировать сколько угодно и рассказывать ребятам о дяде,

инженере-конструкторе, который никому, кроме него, не доверяет копирование своих чертежей.

Утром Коля сказал ему:

— Пошли. Яков зовет.

Во дворе их ожидал Яков. Он кивнул в знак приветствия и молча пошел впереди. Когда немного отошли от дома, Яков повернул голову и сказал:

— Придется поработать. Ящики разгружать. Не легко, зато оплата мировая: три ящика — в столовую, четвертый — себе.

Он скользнул взглядом по Юре, заметил настороженность на его лице. Будто вскользь, обмолвился:

— Договоренность с директором.

Коля ухмыльнулся. Юра поверил.

Они подошли к столовой, завернули во двор, где стояли два грузовика; груженные ящиками. Возле автомашины сутились три человека. Рыжий, в спецовке, подмигнул Якову, и тот подал знак ребятам.

Коля вразвалку подошел к машине, взялся за ящик и сказал Юре:

— Ну-ка, подсоби!

— А вы кто такие? — удивился шофер.

— Директор прислал вам помочь.

— У него тут работников хоть отбавляй. Каждый день меняются, — успокаивающе сказал человек в спецовке и прикрикнул на ребят:

— Чего встали? Давай носи!

Юра и Коля внесли тяжелый ящик в подъезд. Направо была дверь в кладовку столовой. С другой стороны слышался шепот Якова:

— Ставьте. Мы внесем.

Рядом с Яковым был Гундосый.

«Откуда появился Гундосый?» — едва успел подумать Юра, как Гундосый потянул ящик к себе и подтолкнул Юру к выходу во двор. Юра поплелся к машине.

Так они перетаскивали в подъезд три ящика и передали их Якову. Когда внесли четвертый, Гундосый сказал:

— Шабаш. Сорвемся.

Яков проговорил, предназначая свои слова для Юры:

— Директор нас отпускает. Пошли.

Ошарашенный быстрой сменой событий, Юра вслед за Яковым поднялся на несколько ступенек и вышел через парадную на улицу. Здесь стояла «Победа». За ру-

лем сидел незнакомый, вычурно одетый парень. Гундосый захлопнул багажник и втиснулся на заднее сиденье рядом с Юрой и Колей. Под их ногами стояло два ящика.

Яков оглянулся по сторонам, плюхнулся рядом с водителем и скомандовал:

— Гони, пока не очухались!

Юра все понял. Он рванул дверцу, но Гундосый оглушил его кулаком.

«Победа» мчалась по улице...

Яков повернулся к Юре:

— Понял?

— Понял, — ответил Юра. — Я не хочу.

— Чего не хочешь? — поинтересовался Коля.

— Этим заниматься не хочу, вот что! — выкрикнул Юра.

— Заставим, — отрезал Гундосый.

Яков недовольно поморщился и назидательным тоном произнес:

— Дурачок ты. Чего перетрусил? Мы ничего особенного не делаем, просто берем у государства взаймы. Потом отработаем. — Яков засмеялся. — А деваться тебе от нас некуда. Одной веревочкой связаны. В случае чего, пожалуйста...

Перед глазами блеснуло лезвие ножа в волосатой лапиче Гундосого. Юра на миг зажмурился. Когда открыл глаза, встретился со взглядом Якова. Тот смотрел на него в упор. Взгляд его был жестоким, «Садист», — мелькнуло в голове. Стало еще страшнее.

Утром Коля поджидал Юру на лестнице.

— Ну как, успокоился за ночь? Какие сны видел? — спросил он, и Юра понял, почему его прозвали Вампиром. Не только за длинные руки и ноги.

— Ладно. Пошли. Яков зовет, — строго сказал Коля.

Юра молчал и не трогался с места.

— Ты не дури, не дури, — быстро заговорил Коля. — Если не пойдешь, — знаешь, что будет?

Юра вспомнил сизое лезвие и жестокий взгляд. Он стиснул локоть Коли.

— Понимаешь, я не могу. Скажи им всем. Не могу. Ты не думай — я никому не расскажу. Не продам вас.

Слово даю. Только и вы меня оставьте в покое. Я на работу буду устраиваться.

— А в нашем отделе кадров рассчитался?

— Не шути, Коля. Я серьезно. Честное слово, — не могу.

— И я серьезно, — в прежнем тоне ответил Коля.

Видно было, что этот разговор ему по сердцу. Нравилось выступать в роли повелителя и очень нравилось мучить. Он внимательно смотрел на Юрины дергающиеся губы и кривил рот в довольной улыбке.

— Знаешь что, — предложил он. — Скажи это сам Яше. Может быть, он отпустит.

Юра ухватился за обманчивую надежду. А вдруг Яков действительно отпустит? Какая им от него польза?

Он вместе с Колей вышел на улицу, к Якову. Поздоровался. Тот, не ответив на приветствие, бросил «пошли» и зашагал так быстро, что Юра едва поспевал за ним. Он пытался что-то говорить, объяснять, но Яков невозмутимо отвечал:

— Позже поговорим.

Они вошли в маленький грязный двор, свернули в закоулок. Юра увидел Гундосого и остановился.

— Иди, не бойся, — подтолкнул его в спину Коля.

— Говори! — приказал Яков.

Юра повернулся к нему и заговорил, все время боясь, что его не дослушают:

— Не могу я, ребята. Неправильно все это. Хочу честно жить. Никому не скажу о вас. Только нельзя мне с вами.

— Сам к нам пришел? — спросил Яков.

— Да. — Юра искоса взглянул на Гундосого. Тот стоял сбоку, спрятав волосатые руки за спину.

— Ты пришел к нам за помощью. Помогли мы тебе?

— Да.

— Мы дали тебе заработать и спасли тебя от позора?

— Но я же не знал...

— Не знал, что мы — воры?

Юра хотел ответить «да», но не решился.

— А знаешь, сколько ты нам должен?

Юра удивленно посмотрел на Якова.

— Да, должен. И не притворяйся, будто не понимаешь. Крали-то мы, а ты только продавал. Мы за тебя работали.

— Я отдам. Пойду на работу и отдам.

— Сначала отдай, потом иди на работу.

— А сколько я должен? — с облегчением спросил Юра. Ему казалось — еще немного, и это мученье кончится.

— Ты должен пять тысяч рублей.

— Так много?

— Выходит, я вру?

Юра хотел сказать, что его не так поняли, но перед глазами мелькнул волосатый кулак. Удар!.. Он покачнулся и почувствовал соленый привкус во рту.

— Подожди, Гундосый, — сказал Яков. — Может быть, субъект одумается?

Слово «субъект» напомнило о рассказе из лагерной жизни. Видно, это воспоминание отразилось как-то на Юрином лице, потому что Яков улыбнулся и спросил:

— Знаешь, кто придумывал развлечения в лагере над тем субъектом?

Юра не отводил от него взгляда.

— Я. — Яков помолчал, любясь впечатлением, произведенным на Юру, потом снова спросил:

— Понял, субъект?

Холодный пот выступил у Юры между лопатками. Он почувствовал, как рубашка прилипает к спине. Не знал Юра, что Яков рассказывал о той «лагерной истории» не так, как она происходила на самом деле, а так, как ему хотелось бы. Не мог же он признаться, что при первой попытке к издевательствам его осудили дополнительно на три года.

Яков остался доволен выражением Юриного лица. Он продолжал свои поучения:

— Вот ты выдал бы нас. Думаешь, только нас посадили бы, а тебя оставили на воле? Нет, субъект. Ты тоже сядешь. А там тебе придется не сладко. Если и не попадем в один лагерь, то дадим знать о твоей личности друзьям. Они тебя просветят.

За Юриной спиной захихикал Коля.

— Надеюсь на твою понятливость, — закончил Яков.

— Не могу я с вами! Не хочу! — закричал Юра. Ему стало омерзительно само присутствие этих изгаженных, жестоких людей. — Вы меня не заставите!

Его ударил по затылку Коля. Юра обернулся к нему и был сбит оглушительным ударом в ухо. Удары сыпались со всех сторон.

— В лицо не бейте. Лучше в живот. И не видно, и дольше помнить будет, — командовал Яков.

На шум прибежали две женщины и пожилой мужчина в вылинявшей железнодорожной форменке.

— Ворюга проклятый! — воскликнул Яков. — Он еще опрызается!

— Не смейте так бить! — вмешался пожилой мужчина. — Отведите в милицию, там разберутся.

Юра попытался обратиться к нему. Но распухший язык едва ворочался. Гундосый схватил избитого за шиворот и поволок со двора. В воротах зашипел на ухо:

— На улице цыкнешь — зарежу!

Юру подхватили под руки с одной стороны — Яков, с другой — Гундосый.

— Мы отвеем тебя домой. Проспишься, завтра с нами пойдешь «на арапа». Гляди только — без фокусов. А за науку спасибо скажешь, — говорил Яков.

— Не вздумай — в милицию. Все одно не дойдешь — прирежем, — шипел Гундосый. — Никто тебе не поможет.

— Каждый человек — за себя. А за тебя — никто, — сказал Яков.

Юра долго не засыпал. Опухло ухо. Болели живот и поясница. Тяжело было дышать. Он лежал и думал. До чего дошел! Начал со спекуляции — попал к ворам. Что его ждет впереди? Если он не пойдет к ним, его убьют. Если пойдет, то станет вором, будет бояться милиции, дворников, собак, случайных прохожих, будет презирать себя. Отправиться в милицию... не дойдет... А если дойдет, то его посадят вместе с ними.

Ныло сердце, как больной зуб.

Он старался не ворочаться на постели, чтобы не разбудить мать. Но она все равно слышала. Позвала:

— Юраша,

Он подошел к ней.

— С кем ты сегодня дрался?

Юра удивился. Он был уверен, что мать ничего не заметила. Ответил упрямом:

— Было — прошло...

Разве мог он рассказать обо всем? О том, как продавал ворованное на рынке? О краже? О ноже в руке

Гундосого, о холодно вспыхнувших глазах Якова? Удары, десятки ударов в живот, в бок, в спину. А что ждет его впереди?

— Расскажи все, сын...

Он вспыхнул. Закричал на нее, на себя, пытаюсь заглушить свой страх:

— Отстань от меня! Слышишь, отстань! Ты еще ко всему!..

Мать приподнялась на постели. Сын впервые так разговаривал с нею. Что это — дурное влияние? Или ему так трудно?

Материнское сердце говорило: да, ему трудно. Захотелось привлечь его к себе, пригладить вихры, спрятать на своей груди его мальчишечью, глупую и любимую голову.

У нее появилось тревожное предчувствие.

— Юрий, — сказала она. — У нас в роду все были честными людьми.

— Знаю, — буркнул он.

— Расскажи мне все и давай вместе подумаем, как быть.

— Потом, — снова буркнул Юра.

...На следующий день он пошел в городское управление милиции...

3

Подполковник Котловский слушал Юру и одновременно вспоминал... Сколько он видел таких вот юных лиц, истерзанных страхом или болью...

Семен Игнатьевич понимал людей. Движение губ, улыбка, взмах бровей и особенно руки — изнеженные или мозолистые, нервные и гибкие или тупые, с короткими пальцами, дрожь пальцев или наглое постукивание по столу — открывали ему не одну черту в характере подследственного.

Подполковник внимательно приглядывался к сидящему перед ним Юрию Чижику. И этому юноше он должен помочь стать настоящим человеком.

Сняв папиросу, Котловский спросил:

— Боишься их?

— Боюсь, — ответил Юра.

— Они сами всех боятся, — сказал Семен Игнатьевич. — Ясно?

— Ясно, — ответил Юра. Но ему было совсем ничего не ясно.

— А тебе надо лечиться, — проговорил подполковник. — Не делай больших глаз. Да, тебе нужно лечиться от страха, от лени, от эгоизма. И мы поможем тебе устроиться в лечебницу.

Он снял телефонную трубку и набрал номер.

— Приветствую тебя, — сказал Семен Игнатьевич в трубку. — Это я, Котловский. С просьбой к тебе. Есть у меня один знакомый паренек, ему срочно требуется лечение. От чего? Ну, скажем, от лени и страха. Нет, болезнь пока не запущена... Да... Так не примешь ли его в свою лечебницу?.. Что? Думаю, согласится. Сейчас спрошу у него.

Он повернулся к Юре:

— Пойдешь учеником расточника на завод?

— Да я... Да я... — Юра не находил слов.

— Ясно, — сказал подполковник и проговорил в трубку: — Пойдет..

Котловский передал привет какому-то Кузьме Владимировичу, попрощался и положил трубку на рычаг. Взял листок бумаги, написал несколько строк, протянул листок Юре:

— Вот адрес завода. Завтра явишься.

— А сегодня нельзя?

Семен Игнатьевич засмеялся:

— Припекло? Смотри же, — ты — мой подшефный. Буду справляться, как работаешь. А теперь — пошли со мной. Надо же тебе на что-то жить до первой зарплаты.

Юра сделал протестующий жест.

— Стесняться тут нечего, — строго проговорил подполковник. — Думаешь, — жалею? У меня на всех таких жалости не хватит. У нас есть специальный фонд помощи. Будешь зарабатывать — отдашь. Ну, давай пропуск, подпишу.

В коридоре Семен Игнатьевич попросил Юру подождать. А сам вошел в большую комнату и направился к старшему лейтенанту, сидящему за столом в углу. Тот хотел встать, чтобы приветствовать начальника.

— Сиди, Иван Игоревич, — положив руку ему на плечо, сказал Котловский. — Деньги у тебя есть?

— Есть. На штатский костюм собрал.

— А он тебе к спеху?

— Не то чтоб очень... — замялся старший лейтенант.

— Одолжи мне сотни три, до получки.

Подполковник вручил Юре деньги.

— Большое спасибо. Как только получу зарплату, сразу отдам.

— Пока я в этом не сомневаюсь, — ответил подполковник. — Ну, иди. До свидания.

Котловский пошел обратно, к своему кабинету.

— Товарищ подполковник, — догнал его Юра, — куда мне сейчас идти?

— Как куда? Домой. Или ты очень боишься своих прежних приятелей? — Семен Игнатьевич насмешливо прищурился: — Может быть, тебе в няньки милиционера приставить?

Юра круто повернулся и вышел на улицу.

Мимо промчалась «Победа». Ему показалось, что за рулем сидит тот самый вычурно одетый парень, приятель Якова и Гундосого.

„ЛЕЧЕБНИЦА“

1

— Они следили за Чижиком, — сказал подполковник Котловский на совещании. — Они видели, что он пошел к нам, и не станут сидеть дома и ждать, пока мы явимся. Но узнать домашние адреса Якова и Гундосого все равно нужно. Необходимо выяснить также личность водителя «Победы». Этот может остаться дома, так как Юрий Чижик видел его всего один раз, улик против него нет. «Водителем» займется старший лейтенант Кротов. К соседу Чижика, Коле, пойдет лейтенант Рябцев. Юру они сейчас оставят в покое, им не до него. Но на всякий случай надо соблюдать все меры предосторожности. Возможно, они глупее, чем мы думаем.

Мать Коли, низенькая женщина с глазами-щелочками, загораживала дверь в комнату своим выпирающим животом.

— Я же говорю русским языком — его нет дома. Куда ушел, — не знаю. Он мне не докладывается. Куда хочет, туда идет... Ты меня не учи... Знаю, что — мать...

Чего, чего?.. Когда у самого будут дети, воспитывай, как хочешь, а в мое воспитание носа не суй.

Подтянутый, подчеркнуто вежливый лейтенант Рябцев долго убеждал ее сам и с помощью дворника. Но женщина даже не хотела взглянуть на ордер.

— Ордер тебе даден на обыск сына. А его дела — не мои дела. Найдешь его, тогда и обыскивай.

Лейтенант Рябцев посмотрел на переминающихся с ноги на ногу понятых и, осторожно, но решительно отстранив женщину, шагнул в комнату.

Однако мать Коли была не из тех женщин, которые так просто сдаются. Она разинула рот, неожиданно ставший большим, и закричала осипшим, жестяным голосом:

— Караул! Гра-а-абят! Милиция грабит!

Очень скоро на лестничной площадке собрались соседи и стали заглядывать в квартиру.

Лейтенант Рябцев делал свое дело. Он обыскивал двухкомнатную квартиру. Попадались самые неожиданные вещи: альбомы с марками и автомобильный насос, дюжина теннисных ракеток и пишущая машинка. В кладовке, громоздясь друг на друга, стояло два мешка сахара.

— Зачем вам столько сахара? — удивился лейтенант.

— Сколько надо, столько и покупаю. На свои кровные, на рабочие денежки, потом политые! Мы — трудящие!..

Лейтенант поморщился. Мешки навели его на новую мысль. Он подошел к иконам, закрывающим угол.

— Ого! Целый иконостас! — воскликнул один из понятых.

Женщина бросилась в угол, размахивая руками и крича:

— Уйдите, ироды! Головы порасшибаю! Не троньте святого, антихристы!

Настороженное ухо лейтенанта уловило на этот раз в ее голосе нотки страха. Рябцев внимательно осмотрел иконы и стену за ними, но не обнаружил никакого тайника. Многое, однако, в этой квартире было подозрительным, и лейтенант продолжал поиски. Случайно он повернул одну из икон и увидел в ее задней стенке отверстие. Запустил в него руку и извлек три пары золотых часов

на браслетах. Во второй раз улов был не менее богат — связка из двенадцати золотых обручальных колец.

Рябцев молча посмотрел на женщину. Она опустилась на стул и сказала с вызовом, но уже без крика:

— Не ворованные. Горбом своим нажила. Советская власть не запрещает...

Лейтенант не вступал с ней в спор. Он думал о мешках с сахаром.

Дальнейший обыск больше ничего не дал. Прошло три с половиной часа. Понятые устали. Когда хозяйка квартиры не смотрела на них, дворник делал знаки лейтенанту: пора, мол, уходить. Но Рябцев медлил.

В этой затхлой квартире, похожей на скупочный магазин, заполненный случайными вещами, все наводило молодого лейтенанта на мысль о нарушении законов. И сахару здесь столько не случайно.

Рябцев осмотрел кухню. Он не обращал внимания на едва плетущихся за ним понятых. Заставлял их заглядывать под плиту, столик, приподнимать крышки кастрюль. Не обошел даже помойных ведер. Поднял одно из них, встряхнул. В ведре что-то звякнуло. Розовое лицо лейтенанта не изменило своего невозмутимого выражения. Он осторожно слил грязную воду и вынул из ведра часть от самогонного аппарата.

— Зачем это вам? — спросил он у женщины, хотя и так все было ясно.

— Сынок где-то подобрал, а я выкинула в ведро, — затараторила женщина. — Говорю ему — зачем такое барахло в дом тащить? Неужели же вы мне не верите, товарищ капитан? — В разговоре с Рябцевым она перешла на «вы» и величала его то капитаном, то майором. — Разве ж я похожа на тех, что брешут? Двадцать лет честно трудимся для нашего государства.

— Где вы работаете?

— Та не я, не я, а муж мой. Он на заводе браковщиком. Передовой человек, премии получал...

— Вам придется пройти со мной, — перебил ее лейтенант.

— Да за что, товарищ майор? Я же честная женщина. Та я ж знать не знаю, ведаю не ведаю, где он ее взял — эту пакость, что в ведре!

— Вам придется пройти со мной, — вежливо, но настойчиво повторил лейтенант.

Сверкающие потоки автомобилей текут по киевским улицам. Среди них — «Победы», темно-синие, серые, зеленые, коричневые. Сотни машин с занавесками на окошках, с плюшевым медвежонком или куклой над рулем и с буквами «УЧ» перед номером. И среди этих частных «УЧ» — синяя «Победа», за рулем которой сидит вычурно одетый парень. Именно эта автомашина нужна старшему лейтенанту Ивану Кротову.

Он снимает телефонную трубку и говорит человеку на другом конце провода:

— Автомашина марки «Победа», частная, синего цвета, проезжает по центральным улицам, водитель — молодой человек лет двадцати, блондин, с длинными волосами, с пестрым галстуком, в бархатной куртке с тремя застешками «молниями».

Спустя некоторое время раздается телефонный звонок. Старший лейтенант Кротов слышит в трубке:

— «Победа» «УЧ» 75-83, владелец — гражданин Фесенко Никифор Львович, директор обувной фабрики. Интересующий вас водитель — его сын, гражданин Фесенко Никита Никифорович, студент университета, права водителя получил в июне пятьдесят шестого года.

В кабинет вошел высокий блондин с длинными волосами, взбитым коком над лбом, в галстуке, на котором были представлены почти все животные зоологического парка, в бархатной куртке с тремя застешками «молниями».

Кротов окинул коротким взглядом его невыразительное лицо с бледными щеками и тусклыми выпученными глазами и определил: «балбес».

Никита Фесенко, или попросту Ника, тоже присмотрелся к старшему лейтенанту, оценил его глыбящиеся плечи, широкие кисти рук, тяжелый подбородок и определил: «дубина».

— Садитесь, — предложил старший лейтенант.

Ника поспешно сел, стараясь придать себе ошеломленный, испуганный вид.

«Бойтся балбес. Ну, с ним чем строже, тем лучше», — подумал Кротов.

— Признание может смягчить вашу вину. Расскажите о связи с шайкой атамана Яшки.

«Эта стоеросовая дубина принимает меня за идиота. Тем лучше», — подумал Ника. Он подергал щеками, недоуменно развел брови и ответил:

— Я не понимаю, товарищ начальник, — о каком Яшке идет речь? У меня есть несколько приятелей с таким именем: «Яша с белыми зубами», «Яша-победитель», «Яша с перекрестка»...

— Меня интересует Яша — атаман воровской шайки.

— Простите, но я, честное слово, впервые слышу о таком... И потом... вы говорите «шайка». У нас, простите, есть компания... — зубы Ники стучали, словно от испуга.

«Эге, а он, кажется, притворяется. Может быть, он не такой уж балбес», — усомнился в своем первоначальном мнении старший лейтенант. Он в нескольких словах нарисовал портрет Якова, и Ника с преувеличенной радостью воскликнул:

— Знаю, знаю! Это же «Яшка-штучка»! Так мы его называем. Я с ним знаком.

— Так вот и расскажите о вашем знакомстве, — предложил Иван Кротов, внимательно приглядываясь к «балбесу».

— Пожалуйста, пожалуйста, — с готовностью произнес Ника. — Но, видите ли, знакомство у нас, так сказать, шапочное... Случайно встретились на танцах в Доме офицеров. Нас познакомил «Яша-победитель». Говорит: «Тезка мой». Ну, я и подал руку. Если бы знать, что нельзя...

— Яков когда-нибудь ездил на вашей машине?

— Пару раз.

— Он был один или с товарищами?

— Простите, я плохо помню... Может быть, с товарищами. А может быть, и один...

— Он никогда не просил вас перевезти его вещи?

— Какие вещи? — поднял редкие брови Ника. В это время он напряженно соображал: «Кто из них попался? Что знают обо мне в милиции?»

«Он хитрей, чем я думал, — определил старший лейтенант. — Хотя на вид балбес балбесом. Хочет выпытать, что мне известно. Если я заикнусь о ящиках, он поймет, что шайку выдал Чижик и что мы почти никаких улик против него не имеем. Нужно перевести его догадку на другого. Пусть думает, что попался Коля. А тот должен

много знать о делах шайки. Но предварительно проведем «подготовку».

Он внимательно посмотрел на Нику. Дождался, когда тот под его взглядом опустит глаза, и назидательно произнес:

— Гражданин Фесенко, от милиции ничего нельзя утаить! Знакомы вы с гражданином Николаем Климовым?

«Колька попался. Это плохо», — пронеслось в голове у Ники.

— Да, я знаком с Климовым. Это товарищ Яши. — Ника снова подергал бровями, свел их и вдруг радостно закричал: — Товарищ начальник, я вспомнил! Яша действительно просил меня два или три раза перевезти его товары. Он же работал экспедитором на заводе. Так мне говорили. Я еще тогда отказывался: что я — грузовое такси? Но у меня характер слабый. Как отказать знакомому?

— Расскажите подробней.

Ника назвал несколько мест, откуда он вывозил «товары», и адрес, по которому их доставлял. Старший лейтенант записал адреса, ничем не выдавая своего волнения. Он спросил:

— Что это были за товары?

— Не знаю. Они же в запакованном виде... Ах, если бы знать, что вам понадобится...

Иван Кротов отпустил Никиту Фесенко. Старший лейтенант понял, что Ника притворяется, будто не знает, что товары были краденые. И он, конечно, не признается, что брал за перевозку деньги. Уличить его можно будет только на очных ставках с членами шайки. А для этого надо прежде всего изловить их. Но допрос не был безуспешным: Ника выдал адреса.

— До свидания, товарищ начальник, — проговорил Ника в дверях и мысленно добавил: «Прощай, дубина!»

— До свидания, — ответил Кротов и подумал: «И все-таки ты балбес».

2

Юра Чижик открыл дверь и был оглушен лавиной звуков: гулом, скрежетом, завыванием, стуком, визгом. Он переступил через порог и оказался в длинном помещении с большими окнами, уставленном станками.

Навстречу Юре шел узколицый паренек в темном берете, из-под которого выбивался черный чуб. Юра спросил у него, где начальник цеха. Паренек ответил и неожиданно улыбнулся; улыбка его была широкой и подбадривающей. Юра почувствовал себя увереннее.

Начальник цеха подвел его к пожилому человеку, стоявшему у большого станка.

— К вам, Кузьма Ерофеевич, за наукой. Ученик, в общем.

Кузьма Ерофеевич осмотрел Юру, потом спросил:

— В первый раз на заводе?

— С классом ходил, — ответил Юра.

— Ясно. Тогда постой около меня, присмотришься. В первый день положено только смотреть.

Юра отступил немного, чтобы не мешать Кузьме Ерофеевичу, и стал разглядывать станок. Вместе с толстым стержнем быстро вращалось зубчатое колесо. От заготовки летели мелкие кусочки, и то место, где прошли зубцы, становилось ровным и блестящим, «новеньким».

«Как положили на станок такую огромную деталь? Наверное, трудилось несколько человек, — подумал Юра. — Без помощников и не снять ее».

За станком на стенке висел небольшой плакатик. На нем был нарисован рабочий с поднятой рукой: «Станочник! Работай только с застегнутыми рукавами или в нарукавниках!» На другом плакатике Юра прочитал: «Станочник! Проверь, убрана ли со станка стружка и посторонние предметы!» Совсем как в парке: «Цветов не рвать!», «На траве не лежать», «Бросайте окурки и бумажки только в урны»...

Юра улыбнулся. Ему почему-то понравились эти плакатики, хотя он и не понимал, к чему они.

Кузьма Ерофеевич повернул рукоятку, и зубчатое колесо остановилось. Бросив на ходу «я сейчас!», он куда-то ушел. А вскоре вернулся. В одной руке он держал кусок толстого стального каната, в другой — продолговатую черную коробочку. Длинный шнур от нее тянулся к потолку, где двигался крючок.

Всего этого, оказывается, было достаточно, чтобы снять со станка обработанную деталь и поставить новую.

Кузьма Ерофеевич долго ходил вокруг станка, приподнимал и опускал деталь, отыскивая на ней полоски и точки.

— Разметчик хап-лап, а ты за него возись, — ворчал он.

Подошел начальник цеха. Он был озабочен:

— Торопись, Кузьма Ерофеевич. Сегодня надо окончить.

— Да уж постараюсь. Разметчик тут сплеховал.

Прошло еще минут пятнадцать. От безделья Юре стало не по себе: «Стою как неприкаянный». Подошел паренек в темном берете и остановился около Юры.

— Надо ее повернуть, — указал он на деталь.

Он помог Кузьме Ерофеевичу установить деталь в нужном положении. Почти все время паренек улыбался, и Юре показалось: это оттого, что он все знает и умеет.

— Самое трудное — настройка, — сказал он Юре. — А теперь хоть вальс играй.

Паренек пошел к своему станку.

Кузьма Ерофеевич посмотрел ему вслед и произнес:

— Ветрогон... Вот учитель...

Юре показалось, что в голосе старого рабочего прозвучала гордость.

В перерыве Юру задержал все тот же паренек с черным чубом.

— Хочешь, покажу тебе цех? — спросил он.

— Хочу.

Они пошли между рядами станков.

— Этот станок...

— Этот я знаю — карусельный, — перебил Юра.

— Точно. Вот видишь, тебе уже кое-что известно. Если что будет непонятно, давай ко мне. Меня Михаилом зовут.

Ни с того, ни с сего он перескочил на другую тему:

— Ты знаешь, как вертолет устроен? Я вчера брошюру читал. Интересно...

Михаил водил Юру от станка к станку и, пока не кончился перерыв, все рассказывал, рассказывал...

— Михаил, чего это мой ученик к тебе приклеился? — наконец услышали они ворчливый голос Кузьмы Ерофеевича и направились к нему.

— Вот он, ваш ученик, Кузьма Ерофеевич, не бойтесь, не отобью, — сказал Михаил и ушел к своему станку.

Кузьма Ерофеевич опять долго колдовал над деталью. При этом он тихо говорил, как бы про себя:

— Думаешь, небось: черепаха твой учитель; вон Михаил за это время две детали снял. А невдомек, что мне, старику, дают самые сложные детали.

— Мишка — воображала известный. Небось, и вам указания дает, — слышался голос молодого художника, работающего за соседним станком.

— Объявился! Без тебя бы мы не обошлись, — обрушился Кузьма Ерофеевич на рабочего. — Сумей ты дать две нормы, как Михаил, тогда и указывай другим. Выдумал тоже — «воображала»! Чтоб я таких прозвищ больше не слышал!

Кузьма Ерофеевич включил станок. Он заметил, что Юра едва сдерживает смех, и прикрикнул на него:

— Нечего уши развешивать! К работе приглядывайся!

— Вот шаблон. По нему заточи резец, — сказал Кузьма Ерофеевич и отвернулся, всем своим видом показывая, что дело он поручил самое пустяковое и не справиться с ним нельзя.

Юра пошел к точилу, обдумывая, как бы лучше выполнить задание. Ему хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы удивить всех. Пусть и Кузьма Ерофеевич и другие рабочие скажут: «Да, недаром парень десятилетку окончил, — голова, и не пустая, на плечах имеется». Юра не раз видел, как затачивают резцы, — на глаз. Незначительное отклонение от образца не мешало в работе. Он решил заточить резец точно по шаблону. Должна же для чего-то пригодиться геометрия, над которой ученик Чижик корпел в классе и дома! Юре вспомнился учитель математики Сергей Алексеевич, который говорил: «Без геометрии ни в каком деле не обойтись. Это наука точная, не стишки».

Сейчас Юре предстояло применить геометрию на деле. Он выпросил у мастера линейку и штангель. Перенес на бумагу размеры резца-шаблона. Чертеж получился хотя и грязноватый, но правильный. «Посмотрел бы сейчас Сергей Алексеевич на своего ученика. Навер-

няка сказал бы: «А из вас, Чижик, кажется, получится толк». От старательности Юра даже высунул язык. Теперь остается разделить угол. Нужно достать транспор-тир. Где? Спросил у соседа, тот посоветовал сходить к жестянщикам.

Когда Юра вернулся, Кузьма Ерофеевич встретил его недовольным ворчанием:

— Чего мудришь?

«Ладно, пусть поворчит, зато потом скажет: «Ишь ты, как в аптеке», — подумал Юра и про себя улыбнулся.

В спешке он и не заметил, как содрал мозоль. Боль почувствовал позже, когда, сравнив заточенный резец с шаблоном, понял, что резец никуда не годится.

«Как же это получилось? Ведь я чертил, измерял угол», — чуть не плакал от досады Юра.

Он стоял растерянный; резец валялся на полу, когда подошел Миша.

— Провались пропадом эта геометрия, — прошипел Юра.

— Что-о-о? — изумился Миша. — Ты что, слетел с катушек?

— Провались она, геометрия, и все, что мы зубрили в школе!

Миша прикоснулся ладонью к его лбу. Юра дернул головой.

— Не смейся. Я хотел, как лучше. На математику понадеялся.

Миша слушал Юру и делал отчаянные усилия, чтобы не расхохотаться. Поднял с пола испорченный резец.

— Ну и Пифагор! Зачем чертеж делал? У нас же есть специальный угломер. И еще школу хулишь!.. А я кончаю вечернюю. Уроки после смены, сон морит... Чудак ты. Смотри — не тот угол замерял.

Юра взял резец, потом взглянул на чертеж. Вот оно что! Он в спешке разделил не тот угол. Вместо тупого — острый. А это — «наука точная, не стишки».

Честь геометрии была восстановлена.

Юра видел, что рабочие смотрят на него и некоторые смеются. Ему стало обидно. Он был зол на резец, на себя, на всех смеющихся. А тут еще Кузьма Ерофеевич позвал.

— Ну, как поживает твой резец?

— Испортил... — Юра со злостью швырнул резец в

угол и, избегая взгляда старого рабочего, наклонился над гудящим станком. И вдруг — удар! Резкая боль. Юра схватился за щеку.

Кузьма Ерофеевич заворчал:

— Стружка ударила. Не нагибайся! Вон там аптечка, смажь щеку-то йодом...

Отчаяние и злость распирали Юру. Ничего у него не получится...

Откуда-то выскочил белесый худощавый паренек, предложил:

— Пошли в медпункт. Я тоже туда.

По пути он учил Юру:

— Тут сам на себя надейся. Никто не поможет. Учат плохо и платят гроши, а сами так хапают. Насмотрелся я тут за год-то.

Юра промолчал, он понимал, что это не так. Случай с заточкой резца показал, чего он сто́ит сам. Но слова белесого немного успокоили, — не он один виноват... У самой двери на стене он увидел плакатик. Там был нарисован все тот же рабочий с поднятой рукой: «Станочник! Остерегайся стружки!»

Щека разболелась. Пришлось ходить на перевязки. В эти дни Юра подружился с пареньком, вместе с которым был в медпункте. Его звали Леней. Работал он токарем и занимался на курсах технического минимума.

— И тебя погонят на техмин, — пугал Леня. Он любил сокращать слова. А еще больше любил обсуждать дела цеха, его людей.

Леня знал всё обо всех.

Однажды в клубе они увидели знакомого слесаря. На нем был дорогой костюм. На руке блестели золотые часы.

— Это еще что, — быстро зашептал Леня на ухо Юре. — У него наверняка скоро «Москвич» свой будет. А где деньгу берет? То-то. Он с начехом в дружбе. Рука руку моет. Ему наверняка дают выгодную работу. Понял? А меня и тебя на дешевую поставят. Старая механика. Э-э... Я все их штучки изучил. Тут каждый думает только о себе...

Наслушавшись Лениных рассказов, Юра невольно стал смотреть на всех с подозрением. Он и к Мише начал относиться с опаской. Его внимание воспринимал

как оскорбительную для себя опеку. Кузьма Ерофеевич опостылел ему так же, как уборка станка.

Юра все чаще вспоминал слова Яшки: «Каждый человек — за себя, а за тебя — никто», и от этого страх перед Яковом и Гундосым вырастал, как на дрожжах. Чудился смешок Яшки, сипенье Гундосого. А что, если снова встретишься с ними? В новой драке он будет таким же беспомощным, как и в первой, что была в том зловонном дворе. Никто не станет рядом с ним. Никто не вступится за него, если каждый — только за себя.

В эти дни Юра не ходил, а крался по улицам. «Все равно убьют, все равно убьют», — настойчиво стучала одна и та же мысль.

До этого он знал, что красивы киевские улицы и бульвары — просторные, с зелеными шеренгами деревьев. Теперь же он узнал, сколько на улице темных углов, где можно устроить засаду, сколько деревьев с толстыми стволами, за которыми удобно спрятаться и караулить свою жертву...

3

Лейтенант Рябцев разговаривал с отцом Гундосого, Филиппом Никандровичем Лесько, все время держась на некотором расстоянии. Этот слесарь внушал лейтенанту боязнь одной своей внешностью — угрюмым низким лбом, квадратной головой, вросшей в покатые литые плечи, руками, больше похожими на медвежьи лапы. Случайно заденет — мало не будет...

Филипп Лесько долго не понимал, о чем идет речь. «Может быть, притворяется», — мелькнуло в голове у лейтенанта, и он перешел на суровый тон:

— Ваш сын участвовал в воровской шайке. И вы этого не могли не знать.

— Мой Сева? — прохрипел Филипп Никандрович и стукнул кулаком по столу.

— Ваш Сева, по прозвищу Гундосый, — твердо ответил лейтенант, не отводя взгляда от побагровевшего лица слесаря.

Филипп Никандрович Лесько сидел на табурете. Из его горла вырывался грозный клекот:

— Как же это? Был тихий, лишнего слова не вымолвит. На заводе работал как все. Как же это? Сын старого Лесько — вор?

— Участие Севастьяна Лесько, по прозвищу Гундосый, в воровской шайке доказано, — официально сказал лейтенант.

— Да... — Лесько тяжело вздохнул и притихшим голосом сказал: — Верю... верю вам... Сам замечал — возвращается он с гулянок поздно, пьяненький. Несколько раз дома не ночевал. Думал я, — балуется, молодость в нем бродит. Перебесится — в разум войдет... — И вдруг закричал: — Но и ты пойми! Меня на этой улице каждая собака знает! Вот этими руками я завод подымал, когда с фронта вернулся. Тут пусто было, ветер свистал, а мы поставили на ноги всю махину. Два сына в моей бригаде слесарят. Мы по городу первенство держим. Привыкли работать на совесть. Старший сын во флотилии «Слава». Вот он на портрете — Федор Филиппович Лесько.

Лейтенант взглянул на портрет, висевший на стене рядом с семейной фотографией. На нем во весь рост был снят человек в морской форме с двумя орденами на груди.

Рябцеву все стало ясно: в этой хорошей рабочей семье Гундосый — паршивая овца, выродок.

— Далеко он не удрал, — успокоившись, сказал старший Лесько. — Ищите в пригородах. Там все его дружки живут. А если домой пожалует, положитесь на меня.

— Надеюсь на вас, Филипп Никандрович. — Лейтенант Рябцев крепко пожал его большую руку с твердыми рабочими мозолями и добавил: — Извините...

4

Адрес Гундосого нашли сравнительно просто. Юра Чижик указал район города и — приблизительно — улицу, где он жил. Участковые получили приметы Гундосого, и через три дня адрес стал известен.

Для выяснения фамилии и домашнего адреса Яшки пришлось посылать запрос в центральную картотеку, указав приметы и те немногие сведения, что были известны работникам Управления милиции со слов Юры. Прошла неделя, прежде чем подполковник Котловский получил толстый пакет с печатями и вскрыл его. В протоколе следствия указывалось, что Яков Черенок (кличка — Волк) был исключен из восьмого класса средней школы за хулиганство. В возрасте семнадцати лет он

организовал воровскую шайку из несовершеннолетних, которая совершила свыше тридцати хищений. Шайка специализировалась на ограблении ларьков и продовольственных палаток. В характеристике, выданной Черенку, отбывшему в лагере четыре года и досрочно освобожденному по амнистии, указывалось: «Чрезмерно услужлив, коварен, жесток, совершенно беспринципен, с задатками садизма. Находясь в лагере, пытался издеваться над заключенным и был осужден дополнительно на три года».

Семен Игнатьевич долго рассматривал фотографии Яшки — Волка, откладывал их, закрывал глаза, стараясь представить себе атамана шайки, понять его. На фотографиях у Якова были большие серьезные глаза, но Котловский не видел, как они умеют недобро вспыхивать. На фотографии застыло красивое холеное лицо с чуть горбящимся носом, с четко очерченным ртом, а подполковник не знал, как умеет кривиться этот рот, обнажая хищные зубы, и не слышал, какие слова из него вылетают.

Семен Игнатьевич так и не смог представить себе, какой же Яков, и поступил так, как всегда поступал в подобных случаях — направился к людям, хорошо знавшим Якова, — прежде всего к его матери.

...Еще нестарая женщина, с бледным нездоровым лицом, встретила Семена Игнатьевича с тупым безразличием. Указала взглядом на стул. Это означало — «садитесь».

— Очевидно, вы догадываетесь, почему я пришел? — спросил подполковник.

— Догадываюсь, — ответила женщина. — Но я вам ничем помочь не смогу. Я уже больше трех месяцев не видела сына.

— Вы мать. Вы знаете сына лучше других и можете вместе с нами сделать все для его исправления или для его изоляции.

Женщина удивленно взглянула на Котловского:

— Вы предлагаете это мне, матери?

— Да, вам. Потому, что вы в первую очередь ответственны за него и за те следы преступления, которые он оставляет на своем пути. Я выражаюсь ясно?

Она кивнула.

— Чем скорее мы изловим его, тем меньше он успеет натворить. Меньше будет жертв и легче мера наказания... для него. — Последние слова подполковник выделил. — Но для этого мы должны знать многое о его привычках, поведении, о его друзьях.

— Спрашивайте, — устало сказала женщина.

— Когда впервые в поведении вашего сына обнаружились... ненормальности?

Подполковник знал, что наносит удары в открытую рану. Женщина поправила его.

— Вы хотели сказать: «Когда впервые обнаружились преступные наклонности?» В восьмом классе. Он сдружился с плохой компанией, его втянули. А до того был очень хорошим мальчиком. Отличник, общественник. Шалил, как все дети, в меру.

«Мера — понятие растяжимое, особенно материнская мера», — подумал подполковник.

— А потом он был уже запятнан. Это называется «на плохом счету». А он самолюбивый, гордый. Учителя его не любили, директор школы хотел избавиться от него любой ценой. От школы оттолкнули, он и качнулся к темным людям.

— Вы тяжело обвиняете учителей, — заметил Котловский, — и ничего не говорите о себе.

— Я не избегаю ответственности. Конечно, прежде всего виновата я. Не уследила, как его втянули. Он дружил с плохими мальчишками, они отравляли его своими манерами, учили разным гадостям. А после того как его исключили из школы, приличные родители запрещали своим детям водиться с Яшей. Ему некуда податься...

Котловский понял, что здесь ничего не добьется. Эта женщина внушала уважение своим печальным мужеством, но раздражала материнской слепотой. Подполковник представил, как она когда-то вступалась за сына, укрывала его от справедливого наказания, обвиняла учителей. А птенец вырастал в стервятника, достаточно жестокого, чтобы напасть на беззащитного, и достаточно трусливого, чтобы в минуту опасности укрыться под материнское крылышко.

— Вы все время говорите: «Его втянули». А знаете, скольких он втянул?

Женщина спокойно выдержала удар. Она попросила подполковника подождать и принесла из другой комнаты несколько бумажек.

— Вот планы. Они составлены не рукой моего сына, а его товарищами.

На листках, вырванных из тетрадей, были грубо начерчены планы улиц, перекрестков. И везде крестиками обозначены ларьки. Около некоторых — две буквы «б. с.». «Шайка специализировалась на ограблении ларьков и продовольственных палаток», — вспомнил Семен Игнатьевич строки из протокола следствия. Но что значит «б. с.»?

— Если эти планы составлены и не вашим сыном, а его товарищами, то это ничего не доказывает, — сказал Котловский. — Или доказывает только то, что вы и на этот раз хотите выгородить сына и свалить его вину на других. А вы очень помогли бы нам, указав, где он может быть сейчас.

— Не знаю, — ответила мать Якова.

— Не хотите, — сказал Котловский.

— Я мать, — печально проговорила женщина. — Если бы вы были на моем месте, то поступили бы так же. Подполковник встал со стула.

— Если ваш сын пробудет еще долго на воле, то, пожалуй, докатится до убийства. А за убийство — смертная казнь, гражданин Черенок.

Женщина пошатнулась, оперлась рукой о стол.

— Я видела его несколько дней назад... случайно... на вокзале. Позвала, но Яша не оглянулся. Он вскочил в вагон поезда. У него много друзей в Ирпене, в Ворзеле...

«Опять указание на пригород, — подумал Семен Игнатьевич. — Но что же такое «б. с.»?

Услышав о Черенке, директор школы приложила руку к виску, словно у нее разболелась голова.

— Вы хотите знать, почему мы его исключили из школы? Пожалуйста. Вот вам такой случай. Это произошло, когда Черенок был еще в шестом классе. С ним на парте сидел отличник Витя Мухин. Яша тогда учился неплохо, но хуже Вити. И за это он возненавидел Мухина. Потом выяснилось, что это он заливал чернилами тетради Мухина, вырывал из них листы. Когда Мухина

вызывали к доске, Яша бросал в него бумажные шарики, мешая отвечать урок. Подобные пакости он причинял и другим ученикам, а те, случалось, колотили Черенка. Однажды он украл у Сени Пончика разноцветный карандаш. Тот решил посчитаться. Подкараулил Яшу по дороге в школу и поколотил его. За Яшу вступился Витя Мухин. Одним словом, завязалась драка уже между Сеней и Витей. А Яша стоял в стороне до поры до времени. Потом, уловив момент, вложил камень в руку одного из мальчиков. Думаете, в руку своего защитника? Ничуть не бывало. Чувство благодарности вовсе чуждо Якову Черенку. Так вот, он вложил камень в руку Сени, и тот в пылу драки проломил голову своему противнику. Витя Мухин после этого стал хуже заниматься. Сеню Пончика наказали, а Яше ничего не было. Он все отрицал. Тут вам весь Черенок. Я беседовала с матерью Яши, но она постоянно защищала сына.

Семен Игнатьевич Котловский созвал совещание. Старший лейтенант Кротов и лейтенант Рябцев доложили о ходе поисков.

— Итак, мы можем предположить, — сказал в заключение подполковник, — что шайка скрывается где-то в пригородах Киева, вернее всего, в Ирпене или Ворзеле. Кроме показаний родителей Леско и Черенка, у меня есть такие соображения. В этих дачных поселках, куда ежедневно приезжают и откуда уезжают десятки людей, очень удобно скрываться. Затем, там много продовольственных ларьков, по которым Черенок специализировался. Нужно поехать на место; может быть, там нам станут понятными эти загадочные «б. с.»

5

В цехе часто появлялся пенсионер Кузьма Владимирович. Никто не сказал бы о нем «старик». Это был именно «старичок», маленький, бойкий, с впалой грудью, похожий на петуха с ошипанной шеей.

— Директоров любимчик, — зашептал Ленья Юре Чижику, когда старичок появился и в цехе. — На пенсии, а имеет право в любое время посещать цехи. И квартиру ему дал завод. Все говорят: «Новатор!» Подумаешь, — новатор. Придумал, как лучше подлизываться к

начальству. Делать ему нечего, вот и прыгает по заводу. Одного клюнет, другого...

Старичок еще издали кивнул Кузьме Ерофеевичу:

— Как живешь, тезка? Да у тебя новый ученик?! Не обижаешь? А то я тебя знаю, старый ворчун.

— Их обидишь, — отмахнулся Кузьма Ерофеевич.

Старичок остановился перед Леней, оклонил набок голову, присмотрелся. Леня повернулся к нему спиной. Он чувствовал себя беспокойно под пристальным взглядом старичка.

— Чего стали, папаша? Что я, на выставке, что ли?

Кузьма Владимирович улыбнулся и спокойно сказал:

— Наслышан я о тебе. Не меняешься. Все пилось бы да елось, да работа б на ум не шла. Папаша выручит, так, что ли?

Ничего, доберусь я до него, хотя он и большой начальник. — Юрины щеки вспыхнули. Он подскочил к Кузьме Владимировичу:

— Что вы к нему пристали? Если нечего делать дома, так показали бы лучше, как надо работать. А то укоряют все...

Внутри у него что-то оборвалось. «Без году неделя на заводе и уже наскандалил», — с отчаянием подумал Юра.

Но, к его удивлению, тот не обиделся, а предложил:

— Пойдем к станку, сынок. Что тебе непонятно?

Юра был готов сгореть со стыда. Он поплелся за мастером, смущенно бормоча:

— Да я... вообще... ничего...

— Вообще?.. Горяч ты, сынок. Ишь, за приятеля как вступился. Ты околько времени на заводе?.. Маловато... Ну, если что невдомек, спрашивай меня, — и сердито глянул на Леню. — Вот этого парня не люблю, в глаза говорю — не люблю. Целый год на заводе лодырничает и всех хает. Известно, трутни горазды на плутни...

Кузьма Владимирович взъерошил хохолок седых волос и, глядя Юре в глаза, произнес:

— Только понадежней дружков выбирай.

Он пошел дальше по цеху, часто останавливаясь у станков. Краем глаза Юра увидел, как он что-то объяснял Мише, горячился, сам становился к станку.

Юре очень хотелось послушать, о чем говорил этот взъерошенный, заботливый старичок.

В субботу перед концом смены к Юре подошел Миша.

— Ты уже встал на учет в нашей организации?

— Нет еще, — ответил Юра.

— Ну, все равно. Завтра у тебя срочных дел нет? Тебе говорили, что наши рабочие коллективно строят дом? Хочешь, я нарисую план дома? Замечательный будет домище! Там завтра работает комсомольская смена. О чем тебя попрошу? Поработай пару часов на стройке. Понимаешь, мы помогаем Петровне. Ты ее знаешь — нормировщица. Не откажешься?.. Ну. и хорошо.

Миша ушел. Тотчас же к Юре подскочил Леня.

— Кто она такая — Петровна? Не знаешь? То-то. Говорит — нормировщица. Стали бы они для простой нормировщицы стараться! Не иначе, как тетка шефа или мать главинжа.

— Тогда не пойдем на стройку — и точка! — резко сказал Юра.

Леня всполошился:

— Очумел? Ты потише.

Юрины глаза стали злыми:

— Боишься?

— Тоже придумал — боюсь... Связываться неохота...

Утро выдалось пасмурное. Накрапывал дождик. В воздухе пахло пригорелым молоком.

Юра и Леня вышли из автобуса на окраине города. В Киеве есть такие окраины, похожие на села, — тихие, с зеленью садов и огородов.

Недостроенная коробка будущего здания показалась Юре похожей на сооружение из детских кубиков.

— А, Юра! Иди сюда! — закричал Миша. — Мы тут тебе учительницу выделили. Разрешите представить: каменщица-самоучка Нина Незивайко... А Леня будет работать со мной.

— Пошли, я тебе все объясню, — сказала Нина.

Юра послушно последовал за девушкой.

— Ты у нас на заводе давно? Какую школу кончал? Куда поступал? У нас тебе нравится? — так и сыпала вопросы Нина.

Они подошли к штабелю кирпичей, у которого хлопотала худенькая девушка.

— Будешь вместе с ней подавать мне кирпичи, — приказала Нина Юре. — Познакомься.

Юра ощутил в своей руке узкую, чуть шероховатую ладонь.

Как он ни старался, Майя — так звали худенькую девушку — подавала кирпичи намного быстрее. Юрино самолюбие было задето. Он заторопился и разбил несколько кирпичей.

— Фу, какие дырявые фуки! — с досадой сказала Нина Незивайко.

Юра не обиделся. Очень уж дружелюбно смотрела на него Нина.

Постепенно он стал опережать Майю. Юра и не заметил, что девушка просто старается не обгонять его! Он несколько раз посмотрел на Майю. У нее были русые косы, какое-то удивительно чистое лицо, и вся она была нежная и чистая.

Он не знал, как заговорить с девушкой, и, наконец, осмелился спросить:

— Кто такая Петровна?

— Это моя тетя... и мама. Она меня удочерила, — пояснила Майя и указала глазами на пожилую женщину в клеенчатом фартуке, укладывающую кирпичи. Руки женщины двигались быстро и проворно. Видно было, что у нее любая работа спорится.

В перерыве Юра отвел в сторону Мишу и стал расспрашивать о Петровне.

— Чудак человек, как можно не знать Петровну? — удивился Миша. — На нашем заводе вся ее семья работает... и работала. До войны ее муж был лучшим слесарем. В сборочном цехе работали ее братья. А потом война началась — сам знаешь. Муж ее в ополчении был. У самого завода убит. Братья погибли на фронте. Дочь Машу и мать — бомбой... Одна осталась. После такой семьи — одна. Потом Настю к себе взяла. Родных Нasti, коммунистов, фашисты расстреляли, а девочку Петровна с немецкой машины стащила...

Юра живо представил себе военный Киев, Крещатик весь в развалинах и Петровну, которая прижимает к себе девочку.

Миша продолжал:

— Когда пришли наши, вернулся из эвакуации Кузьма Владимирович. Он забрал Петровну и Настю к

себе. Случайно нашлась племянница Петровны — Майя. Сейчас у них в семье еще два мальчика. Их Петровна тоже усыновила. Майя на нашем заводе работает в штамповочном, Настя — в сборочном. Вот тебе и вся биография Петровны. Ясно?

— Ясно, — сказал Юра. У него странно блестели глаза. Вспомнились Ленины слова: «Тетка шефа или мать главинжа».

А Леня тут как тут:

— Юра, пошли, курнем.

— Отстань, — процедил сквозь зубы Юра.

Леня заглянул ему в лицо и отошел.

— Белены объелся? Ну и пожалста.

«Какой же он негодяй! Клеветать на такого человека! Вот негодяй!» — думал Юра. Но, взглянув на удаляющуюся фигурку, смягчился: «Может быть, он и сам не знал?» Вспомнил, как Леня ему сочувствовал, и подумал о себе и Лене почему-то в третьем лице: «Один из них поможет другому исправиться, побороть в себе злое, завистливое, и это будет победой для них обоих...»

Юра пробыл на стройке до четырех часов. Он говорил вместе со всеми «наш дом» и научился ловить на лету кирпичи.

К автобусу пошли все вместе. Юра несколько раз оглядывался. Вон он, виднеется в зелени пока недостроенный их дом.

На площади Льва Толстого распрощались. Майя пошла с Петровной. Юра стал за деревом и смотрел им вслед.

Юра заметил у Майи легкие, как пух, волосики, — это было так трогательно. И самое главное — Яшкины слова: «Каждый за себя, а за тебя никто» — потускнели в его памяти, словно их начали вытраивать химическим раствором. Юра понял: эти люди помогут в беде. Станут рядом, как сейчас, передавая кирпичи, и он почувствует локоть Миши, коснется Майиной руки.

Страх перед Яковым, блеском ножа еще жил в его сердце, но и он отступал.

Только теперь Юра заметил, что воздух в городе не похож на воздух окраины. Здесь тоже было много деревьев и цветов, но не чувствовалось дыхания земли, скованной панцирем асфальта. Он подумал, что всегда

помнил запахи ландыша, сирени, аромат цветущих деревьев, но не замечал, как неповторимо пахнет земля...

Шли дни... Уходило лето...

Как-то, идя на работу по улице Горького, Юра поднял пожелтевший листок — первую записку осени. Листок был окружен ярко-желтым сиянием. Юра спрятал его в страницы записной книжки.

Кузьма Ерофеевич, встретив Юру, как-то по-особенному, многозначительно посмотрел на него и почти торжественно произнес:

— Сегодня пофрезеруешь самостоятельно.

Показав, что надо делать, он отступил в сторону и жестом пригласил Юру к станку.

Юра взялся за рукоятку, пустил станок и принялся за дело. Вначале металл казался неподатливым, руки дрожали, а тут еще Миша дышал над ухом. «Как он не поймет, что мешает», — с раздражением подумал Юра и с надеждой взглянул на Кузьму Ерофеевича, но тот был настроен благодушно, не заворчал, как бывало: «Тут не цирк и зрителей не требуется».

Миша повернул голову, полузакрыв один глаз, прислушался.

— Нет, не поет у тебя станок, — сказал он Юре.

— Как это станок может петь? Что он — тенор? — обиделся Юра. — Гудит себе, как все остальные.

— Сказал тоже — как все остальные. Петь-то может, и не поет, а голос имеет свой особенный, — заметил Кузьма Ерофеевич. — Вот поработаешь на нем с мое, узнаешь.

От напряжения у Юры скоро заболели плечи. Еще не втянувшись в работу, он постоянно чувствовал усталость. Утром не хотелось вставать, тяжелые веки слипались, руки висели, как плети, и только после умывания сонливость немного проходила. Каждый раз, когда наступал обеденный перерыв, он с облегчением думал, что половина смены уже закончена. Но, вспоминая, как он зарабатывал деньги на рынке вместе с Колей Климовым, Юра готов был работать в три раза больше, до полного изнеможения, лишь бы никогда не вернулось то время...

Наконец Кузьма Ерофеевич, наблюдавший за фрезой, мигнул Юре: выключай! Юра вставил вместо фрезы

развертку и расчистил отверстие, расточенное Кузьмой Ерофеевичем. Миша привел тельфер и помог снять деталь.

Это была первая деталь, которую Юра обработал своими руками. Недавно она лежала ржавая и безучастная, а теперь блестит, отражает свет, станки, людей. И такой ее сделал Юрий Чижик!

В новом заводском клубе с красивыми портьерами и строгими рядами стульев начался вечер молодежи. Лектор рассказал о новостройках страны и славных делах комсомольцев.

Потом включили радиолу, и понеслось:

«Вчера говорила: навек полюбила,
А нынче не вышла в назначенный срок...»

Юра протолкался поближе к группе девушек из штамповочного. Он был уже совсем близко от Майи, но она не смотрела в его сторону.

— Майя, — тихо позвал он.

Девушка повернулась.

— Здравствуйте, Майя!

Она кивнула головой в ответ, но тут из-за ее плеча выглянуло лицо Насти.

— Пошли танцевать.

Сестры всегда танцевали вдвоем. Все попытки заводских танцоров разбить эту пару ни к чему не приводили. Майя, увлекаемая сестрой, растерянно посмотрела на Юру.

В это время его кто-то схватил за плечо.

Юра обернулся и увидел Леню.

— Пошли со мной. Выпьем за твое приобщение к рабочему классу.

Юра отказался. Леня посмотрел на него умоляюще и зашептал:

— Не напускай на себя «вид», прошу тебя. Я же хорошо знаю, какой ты на самом деле. Поэтому и прошу тебя. Другого не стал бы, а тебя прошу. Идем...

Юре вдруг стало жалко Леню. Никто с ним не дружит, все от него отмахиваются, как от слепня. Пусть он в чем-то виноват, и все же его жалко. И потом... Юре очень хотелось услышать, — какой же он на самом деле?

— Далеко идти?

— Кафе за углом. Мы скоро.

Они выпили по две рюмки коньяку. Леня долго говорил о своей привязанности к Юре, о том, что желает ему только добра. Он говорил громко, размахивал руками:

— Ты добрый. Ты один понимаешь меня... А они не понимают... Потому что ты умный, а они... Ты, Юра, друг. Будем дружить всю жизнь. Мы такие дела совершим, что — ого! А они... Понимаешь?

Юра машинально кивал головой и ничего не понимал. Перед глазами стоял сизый туман, и сквозь него пробивался огонь люстр. Ему стало неприятно. Вспомнилось, как сидел в кафе с Колей и Яшей. Леня чем-то напоминал их... И чего он так размахивает руками?

А Леня говорил все быстрее:

— Ты как только к нам пришел, я сразу понял... Да, да. Я потянулся к тебе. Ведь больше не к кому. Что они? Ты сам не знаешь, какой ты... Понял?

Юра из всего сказанного Ленией понял только то, что сам не знает, какой он. А Леня знает...

Они вернулись в клуб.

Юра шагал словно на ходулях. Все вокруг казались маленькими и расплывчатыми. Плясали лампы, кружились стены и пол. Юра блаженно улыбался.

— Кружитесь? Танцуете? Ну и танцуйте.

— Юра, ты тоже иди вальсом, — подзуживал Леня.

Юра обнял какую-то девушку и попытался закружиться с нею в вальсе, но ноги не слушались. Девушка оттолкнула его. Обидевшись, он протянул руки, чтобы поймать ее. На пути встал парень.

Подскочил Леня, засуетился, выпятил прудь и крикнул:

— Смойся, мелочь пузатая!

Парень не уходил с дороги. Юра возмутился. Да что они, с ума сошли? Ведь это же он, Юрий Чижик. Его дружбы добиваются Миша, Кузьма Владимирович. Да о нем завтра же узнает весь завод. Что завод? Весь город... Вот он какой, — он все может...

Он оттолкнул парня, а заодно опрокинул и стоявший рядом столик.

— Дай ему по зубам! А то у меня рука болит, — пелушился Леня, гордо поглядывая вокруг, какое впечатление произвели его слова.

Леню и Юру схватили три паренька с красными повязками на рукавах.

— Как вы смеете? Да знаете, кто я? — кричал Леня, пытаясь вырваться.

— Знаем, знаем, — насмешливо сказал один из дружинников. — Получишь пятнадцать суток за хулиганство.

Юра увидел, как противно затряслись щеки дружка. Леня захныкал:

— Я не виноват, ребята, честное слово. Я никого не трогал, это все он, и столик он опрокинул. За что меня?

— Ладно. В милиции разберутся. Получите оба.

«Пятнадцать суток? Мне?» — В голове у Юры сразу просветлело. Он вспомнил, как, услышав об указе, сам говорил: «Правильно. Так им и надо».

Он не сопротивлялся, не просил. Молча пошел с дружинниками.

Вдруг откуда-то появилась Майя.

— Отпустите, ребята. Он больше не будет.

Ребята заколебались. Все-таки дочь Петровны.

Леня воспользовался их раздумьем и исчез.

Майя взяла Юру за руку и вывела из клуба. Она ничего не говорила.

Матовый свет фонарей мягко лежал на рыжих деревьях. А над головой висела полная круглая луна, словно кто-то забросил в небо один из светящихся фонарей.

Они прошли в парк Шевченко и сели на скамейку.

Ветер шелестел в сухих листьях.

Юра прошептал:

— «В баgreц и золото одетые леса...»

Свежий ветерок выдул из его головы остатки хмеля.

— Прочтите... — попросила Майя.

Он прочитал стихи об осени.

— Еще...

— О дожде. Ладно? «Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам...»

Юра читал стихи поэта Гончарова тихо, стараясь не привлекать внимание прохожих.

«Я сегодня дождь,
уйду походкой валкой,
Перестану, стану высыхать.
...А наутро свежие фиалки
Кто-то ей положит на кровать».

— Никогда не представляла, что дождь может быть таким, — задумчиво произнесла Майя. — Таким человеческим.

На плечо девушки упал листок. Майя не сняла его. Глаз ее не было видно в тени ресниц.

— О чем ты думаешь, Майя?

— Так. Обо всем.

Девушка встала.

— Я провожу. Можно? — спросил Юра.

Навстречу им, пошатываясь, спотыкаясь, шел пьяный человек и орал песню. Юрино приподнятое настроение вмиг исчезло. Он не мог отвести глаз от пьяного. Так вот каким был он сам недавно! Это только ему тогда казалось, что он стал сильным и значительным, а другие видели его другим — жалким и слюнявым. И Майя видела...

Краем глаза он успел заметить мимолетный насмешливый взгляд девушки и опустил голову. Поняв, что творится с Юрой, Майя крепко сжала его руку.

Вдали сверкала телевизионная вышка, вся в красных и зеленых огнях, словно праздничная елка.

— Знаешь, Юра, — воскликнула Майя, — давай в первый же дождь погуляем по улицам. И — чур — без зонтика! — Она спохватилась и с досадой добавила: — Я погуляю, а ты как хочешь.

Они подошли к ее дому. Навстречу им из-за угла вышло двое парней. Юра узнал в одном из них Колю Климова.

Страх, противный судорожный страх на миг охватил его. Но или потому, что рядом была девушка или по какой другой причине, он не побежал и даже не отвернулся. Он выставил левое плечо вперед, закрывая собой Майю.

Парни, не взглянув на него, прошли мимо...

И вдруг Юра понял, что угроза Яшки и его дружков не осуществится. Они только запугивают слабонервных. «Сами всех боятся», — так сказал ему подполковник. Как же он, Юра, этого не понимал раньше? Ведь бандиты, как мелкие грызуны, только высматривают легкую добычу и вечно всех боятся: милиционера, дворника, прохожего — даже одинокого, если он смелый.

Юра пришел на завод за два часа до начала вечерней смены, — дома не сиделось. Вахтер в проходной сказал ему:

— Тебя просили, как только придешь, зайти в комсомольский комитет к Чумаку.

Юра удивился: что за официальность? Неужели Миша не может поговорить с ним в цехе? Но воспоминание о вчерашнем дне лежало тревожным грузом на сердце: «Из-за этого...»

В комитете комсомола Миша был один. Его узкое лицо еще больше вытянулось, наверное потому, что на нем не было привычной улыбки. Он указал рукой на стул, и Юра послушно сел. Миша походил по комнате, поглядывая на него исподлобья, ожидая, что он заговорит первый.

Юра молчал. Ему просто нечего было сказать.

— С какой это радости ты напился? — спросил наконец Миша.

— Ты бы хоть о нас вспомнил, — снова заговорил Миша. — Всех опозорил. Подумал об этом?

Что мог сказать Юра? Он тогда ни о ком не думал, и Миша это знает.

— Может быть, это все затея Лени? — допытывался Миша, хотя меньше всего ему хотелось, чтобы Юра взвалил вину на другого.

— При чем тут Леня? — пробормотал Юра.

«Все же я не ошибся в нем», — подумал Миша с облегчением и сказал:

— Леня остался опять в стороне. Это он умеет делать. Но мы все равно решили вызвать его отца в партком. Там с ним как с коммунистом поговорят. Попробуем еще и эту меру. А тебе придется держать ответ перед комсомольским собранием. Ребята очень злы, так что подумай обо всем как следует.

Он подошел к Юре, положил руки ему на плечи.

— Теперь иди.

Миша легонько подтолкнул Юру, и тот вышел.

Он быстро шел по улице. «Что случилось? Ничего особенного. Поговорят со мной на собрании. Подумаешь, как страшно...»

Но где-то в этих мыслях скрывалась фальшь, и Юра опять и опять спрашивал себя: «Что случилось?» Он выискивал фальшь в своих рассуждениях. И совсем это

неправда, что он не боится комсомольского собрания. Ему даже страшно идти сегодня в цех: как он войдет, как поздоровается, что скажет Кузьме Ерофеевичу?.. А потом будет собрание. Его поставят одного перед всеми.

Юра представил себе строгие лица, колющие глаза, сотни глаз, устремленных на него. Там будет Майя...

От этой мысли тоскливо замирало сердце. Он не хотел думать о собрании, ускорял шаг, пытаясь уйти от воспоминаний, а они догоняли его. Юра пошел к Днепру, побродил по склонам, присел на скамейку. В сотый раз открыл свой чемоданчик, где лежал завернутый мамой завтрак. «Как рассказать ей обо всем?..»

Юра резко поднялся со скамейки и устремился к Крещатику. Но, чем дальше он шел, тем шаги его становились все более медленными и вялыми. От себя не убежишь. Нужно идти на завод... Он подумал о Мише, о Кузьме Ерофеевиче. Удалось ли утром починить сверлильный станок? Прибыла ли документация на детали?

Юра представил, как лучи солнца сверкают на металле, как рокочут станки, и Кузьма Ерофеевич тыльной стороной ладони вытирает пот. Он смотрит строго, взгляд какой-то чужой, холодный...

Ну ладно же! Не один завод на свете. Вон на «Продмаше» тоже требуются расточники. Можно хоть сегодня приступить к работе. Он придет и скажет Мише как бы между прочим: «А я ухожу на «Продмаш». Миша растеряется и забормочет...

Нет, Юра честно признался себе, что Миша не забормочет, а презрительно посмотрит на него и подумает:

«Испугался. Бежит. Скатертью дорога».

А что скажет подполковник, Семен Игнатьевич?

..Комсомольское собрание было бурным и долгим.

— Чижик опозорил нас всех, — говорили молодые рабочие. — Наказать его надо так, чтоб запомнил.

— Я понимаю... — сказал Юра, глядя в пол. — Я виноват, напился, хулиганил...

С последнего ряда на него смотрела Майя. Ее губы шевелились, словно шептали что-то...

Юра получил строгий выговор с занесением в личное дело.

В Ворзеле, неподалеку от вокзала, стоял ларек. Это было ничем непримечательное строение. Ассортимент товаров в нем был более чем скромный. Однажды, к великому удовольствию дачников, к ларьку подъехала машина, до верху груженная ящиками.

У ларька никогда не было сторожа. Ведь мимо по дороге ходили люди, на вокзале дежурили милиционеры, а ларек заливала синеватым светом лампочка.

Но в эту ночь лампочка не зажглась. Вечером какой-то паренек хотел попасть камнем в воробья, но быстрый воробей улетел, а лампочка пострадала. Паренек с непомерно длинными руками и ногами был похож на паука. Он успел скрыться раньше, чем кто-либо из слышавших звон стекла понял, в чем дело.

Позднее, когда на дачный поселок спустилась ночь, к ларьку подкрались три фигуры. В их ловких руках замок даже не звякнул.

— Быстрей, быстрей! — командовал угрюмый парень, беря ящик с бутылками массандровского муската. — Сейчас Яшка приедет.

Воры вынесли из ларька четыре ящика и поставили их в два ряда, один на другой.

На дороге показался «Москвич». Он остановился у ларька.

— Ну? — спросил Яшка, сидевший рядом с водителем, в котором один из местных отставных полковников мог бы узнать своего сына.

— Лафа! — ответил Гундосый. — Товар тут. Колька на шухере...

Он не успел закончить. Вокруг них вспыхнуло кольцо холодного белого света. Яркие лучи ударили в глаза, ослепили, забегали по ящикам, по лицам и судорожно стиснутым кулакам.

— Руки вверх! — послышался голос из-за светящегося кольца.

Трое подняли руки.

— Вылезай из машины! — приказал тот же голос.

Яшка толкнул в бок водителя, зашипел:

— Стреляй!

Тот вскинул руку и выстрелил. За светящимся кольцом послышался стон. Один фонарик погас.

Яшка закричал:

— Шпана, рви когти!

Гундосый, повинаясь голосу атамана, бросился бежать, размахивая ножом. Его сбили с ног, связали.

«Москвич» рванулся с места. На повороте Яшка вывалился из кабины и пополз по траве. Он был единственный, кому удалось вырваться из ловушки, устроенной подполковником Котловским.

СТАНОК ПОЕТ

1

Приближался конец месяца.

Юру поставили на старый станок, долгое время бездействовавший, и дали самостоятельную работу — растачивать несложные детали.

— А что я говорил? — бубнил Леня будто бы себе, но так громко, чтобы Юра слышал. — Развалину дали, а не станок.

Эти слова раздражали Юру. Хотелось назло Лене приноровиться к капризному станку, заставить его работать четко. Не так-то скоро удалось этого добиться!

Однажды, когда Юра с остервенением отбросил от себя очередную испорченную деталь, к нему подошел Миша.

— Как идут дела?

— Голова пока цела, — недовольно ответил Юра.

— И то хорошо, — шутливо сказал Миша и уже серьезно добавил: — А брюзжать, как Леня, перестань — не получается у тебя... Не все сразу. Так вот... Да, кстати, знаешь, какой сегодня день?

Юра недоуменно повел плечами.

— Сегодня ты получишь свою первую зарплату, — торжественно сказал Миша.

После смены Миша взял на рабочих цеха по доверенности зарплату и стал выдавать ее. Первым подскочил Леня:

— Гони мои деньжата.

Миша поднял на него взгляд.

— Был бы ты на работу такой же скорый.

— А он и так скорый. Даже чересчур, — слышалось ворчание Кузьмы Ерофеевича. — Глядите, что наворил.

Все подошли к Лениному станку. Леня, очевидно, поворачивал резцедержатель, а отвинтить до конца рукоятку поленился. Силы же ему не приходилось занимать, и он согнул фиксатор.

— Чистый тебе буйвол по силе, а по лене — не найти равных, — вздохнул Кузьма Ерофеевич.

— Напустились! Сами будто ничего не ломали, — проговорил Леня и сплюнул под ноги Кузьме Ерофеевичу.

— А ну вытри! — угрожающе произнес Миша.

— Чего, чего?

— Вытри, говорю. — Миша подошел вплотную к Лене. Тот отступил. — А зарплату получишь позднее. Сначала попросим, чтобы с тебя удержали за фиксатор.

— Не имеешь права!

— В правах-то он разбирается, будто юрист, — проговорил пожилой рабочий.

— Идите вы все к черту! Я уйду с завода! — Леня сильно хлопнул дверью.

Настроение у всех испортилось. Особенно неприятно было Юре. Казалось, что Леня нарочно полез без очереди, чтобы омрачить ему такой день.

— А ну его, этого лоботряса, — заговорили рабочие. — Пусть уходит, если думает, что ему где-то приготовили легкую жизнь. На зависти да злобе далеко не уедет.

Миша продолжал выдачу зарплаты. Делал он это с душой. Каждому рабочему что-нибудь говорил.

Юра с волнением ждал, когда назовут его фамилию.

— Чижик, — наконец выкликнул Миша и переглянулся с Кузьмой Ерофеевичем. Тот вынул из кармана металлическую коробочку.

— Поздравляем тебя, Чижик! Теперь ты, можно сказать, настоящий рабочий.

Кузьма Ерофеевич крепко пожал Юре руку и вручил коробочку. Это была незатейливая самодельная шкапулка. На крышке написано: «Первая зарплата».

Юра растерялся. Он вертел в руках шкапулку и говорил без конца:

— Спасибо, спасибо, спасибо.

Юра подошел к большому зданию на площади Богдана Хмельницкого. Все здесь было так же, как и в тот день, когда он познакомился с подполковником Котловским. Смотрел вдаль грозный гетман с высоты вздыбленного коня. Прыгали воробы, фотограф снимал группу экскурсантов.

Вспомнил Юра, с какой тревогой входил он первый раз в управление милиции, и улыбнулся. Позвонил по телефону подполковнику Котловскому и услышал в трубке знакомый хриловатый голос:

— Слушаю вас. Подполковник Котловский.

— Это я, Чижик, — взволнованно произнес Юра и затих. Сейчас Семен Игнатьевич скажет: «А, Юра Чижик! Почему так долго не приходил?»

— Какой Чижик? — слышалось в трубке.

— Ну, Юрий Чижик, — сказал Юра, и настроение у него изменилось.

— По какому делу? — сухо спросил тот же голос. — Говорите, пожалуйста, внятно, гражданин Чижик.

Юра уныло объяснил:

— Чижик, Юрий Викторович... по делу шайки Яшки — Волка. Я вам принес деньги, долг.

— А, Юра Чижик! Заходи, заходи, — слышались долгожданные слова.

Он прошел по длинному коридору к кабинету подполковника. Из кабинета выходил высоченный старший лейтенант, и в открытую дверь Юра увидел Котловского. Семен Игнатьевич кивнул головой, и Юра подошел к нему.

В правой потной руке он держал скомканные бумажки.

— Вот долг принес, товарищ подполковник. Вы мне из фонда давали.

— Прежде всего, здравствуй, — сказал Семен Игнатьевич, протягивая ему руку.

Юра поспешно сунул деньги в карман и пожал подполковнику руку. Потом вынул деньги и положил на стол.

— Как живешь, Чижик? Кузьма Владимирович говорил, что из тебя, может быть, выйдет толк. — Он заметил

недоумение у Юры на лице и спросил: — Обиделся, что не сразу узнал тебя? Бывает. Дел много.

Юра не успел рассказать о своих новостях, как раздался телефонный звонок.

— Введите, — сказал подполковник в трубку и подмигнул Юре: — Сейчас увидишь старого знакомого.

Милицонер ввел в кабинет Колю Климова. Арестованный заискивающе улыбнулся.

— Добрый день, гражданин подполковник. Вот и соседа у вас встретил. Привет, Юра!

Он протянул руку, но Юра спрятал свою в карман. — Коля не обиделся. Он жалобно подмигнул Юре и обратился к Котловскому:

— Хотя у него спросите. Я ж раньше никогда... Он меня знает...

— Знаю. А лучше бы не знать, — сказал Юра и повернулся к подполковнику: — До свидания, Семен Игнатьевич. Большое спасибо.

— До свидания. Смотри же, не подведи.

Юра мялся, не уходил. Наконец проговорил вполголоса:

— Семен Игнатьевич, знаете, как я благодарен вам! Если от меня что нужно, только скажите.

— Хорошо, — серьезно ответил подполковник.

3

На заводе Юру ожидала новость. На месте старого разваленного станка, на котором он работал, стоял новенький «СЗС», точно такой же, как у Миши и у Кузьмы Ерофеевича!

— Будешь теперь работать на нем, — сказал Миша.

— Спасибо, — Юра с силой потряс ему руку.

— Спасибо говори не мне, а Кузьме Владимировичу. Если бы не он, не видать бы тебе нового станка еще месяц. Наш старичок выступил на партийном собрании и так сказал, что все попритихли. Забыли, мол, о том, как сами начинали работать. Юнцов, которые только учатся, ставите на старые станки. А там ведь и опытный рабочий норму не вытянет. Кузьме Владимировичу никто не возражал.

— А что, его боятся, да? А он депутат? — спросил Юра.

— Он вообще замечательный человек. Старый большевик. Всю жизнь проработал на этом заводе. Когда уходил на пенсию, в приказе записали: «За безупречную долголетнюю работу занести навечно в списки коллектива завода». Навечно! Как Героев Советского Союза. Вот он какой — наш старик! А ты заметил, как с ним Кузьма Ерофеевич разговаривает? С уважением. Они друг друга давно знают. Когда-то Кузьма Владимирович был в парткоме и за нашего мастера заступился, против директора, своего друга, пошел. Он всегда за правду. Он тогда директору прямо так и сказал: «Не кричи. Правда — она говорит тихо. Ее голос хочу услышать. И помни: у нас одна правда. И для тебя, и для беспартийных».

Юра внимательно слушал Мишу и думал: «Может, и у них будет такая дружба? Чтоб на долгие годы и настоящему...»

— Заговорил я тебя, — спохватился Миша, — пора работать.

Юра запустил станок. Он чувствовал под рукой успокоительный холодок металла. Ему очень хотелось выработать сегодня полную норму. Но станок что-то не слушался. Сломались два резца. Вскоре из отдела технического контроля вернули забракованную деталь. Юра начал нервничать.

— Позвал бы меня, — проговорил Миша, словно выросший за спиной. — Всю жизнь учусь настраивать станок и все равно всякое бывает. Тут еще столько неизведанного.

Он остановил Юрин станок.

— Шпиндель убери, — объяснил Миша, — так ничего не выйдет. Оправку ставь в летучий суппорт. Мы пользуемся им редко, а он для этой детали — в самый раз.

Юра последовал совету товарища. Все стало на свои места. Можно легко расточить и первое, и второе отверстие. И не надо ни поворачивать стол, ни двигать деталь.

Юра снимает одну деталь за другой. Он уверен — сегодня, наконец, даст полную норму. Увеличивает обороты резца. Станок гудит все ровнее, все ритмичнее. Руки двигаются точно, словно играют. Гудение станка становится тоньше... И происходит чудо — станок поет!

— Миша! — кричит Юра. Его лицо сияет. — Миша!

— Что случилось? — спрашивает Миша.

— Послушай.

Миша обходит станок со всех сторон, тревожно говорит:

— Ничего не слышу. Перебои?

— Да поет ведь станок-то. Поет! Помнишь, я спорил с тобой. А он поет!

Миша понимающе улыбается:

— Как же это я сразу не расслышал? Конечно, поет.

Радость поселилась в Юриной груди. Теперь он сам все может. Уверенно снимает со станка тяжелые блестящие детали, которые совсем недавно были чугунными чушками. Это он, Юрий Чижик, создал своими руками девять металлических деталей!

Как-то к Юре подошел начальник цеха. За ним по пятам следовал худенький паренек лет пятнадцати.

— Это девятиклассник из подшефной школы. Они будут проходить практику у нас на заводе, — сказал начальник цеха Юре и повернулся к пареньку: — Прикрепим тебя к Юрию Викторовичу. Поучись у него...

Паренек быстро взглянул на Юру, потупился.

Они стояли друг против друга: растерянный лупоглазый девятиклассник и «мастер», не очень-то отличающийся от своего ученика, с ярким румянцем на щеках и со странно сосредоточенным взглядом. Но было в его лице и что-то такое, что делало его старшим — какая-то трудно добытая уверенность в себе, озабоченность.

«Учитель. Вот я и учитель. И когда только успел? — с удивлением подумал Юра. — Я, конечно, поделюсь с ним всем, что знаю сам».

Он уже волновался о судьбе ученика, видел трудности, которые ожидают его. Ну что ж, беспомощный птенец — это только птенец. Птицей станет лишь тогда, когда научится летать. Чем скорее мальчик поймет это, тем будет лучше для него. А он, Юра, постарается помочь, расскажет не только о станке...

Юра вдруг увидел весь цех — для этого теперь ему не надо было обводить его взглядом, достаточно было обратиться к памяти: ряды сверкающих рокочущих станков и умные руки людей над металлом. Он увидел всех: Мишу, Кузьму Ерофеевича и хорошую, добрую Майю... Они были рядом с ним...

Юра улыбнулся своему ученику ласково и чуть-чуть покровительственно.

— Не робей, — сказал он. — Здесь тебе будет хорошо.

Юра вышел из проходной завода вместе с Мишей. Листья шуршали под ногами, а на деревьях они были такими яркими, словно их выковал из меди умелец-кузнец. Юре показалось: если ударить легонько по листку, он зазвенит.

Свернули на бульвар. Неожиданно Юра увидел знакомое лицо. «Может быть, показалось? Неужели он?»

— Постой, куда ты? — удивился Миша, хватая товарища за рукав.

Услышав громкий разговор позади себя, человек оглянулся. У него был нос с горбинкой, густые брови, решительный рот. Глаза смотрели настороженно. При виде Юры он вздрогнул, отвернулся и заспешил, почти побежал.

— Сдурел? — разозлился Миша. — Ну и беги ко всем чертям!

— Это же Яшка Волк, атаман... — успел бросить ему на ходу Юра.

Преследуемый свернул в первый попавшийся двор. Заметался, ища хоть какой-нибудь закоулок. Но Юра и Миша уже вбежали во двор.

Яшка повернул к ним злобное лицо.

Они продолжали приближаться.

Яшка угрожающе сунул руку в карман.

Они были уже в пяти шагах...

Яшка вытащил нож.

Они были в двух шагах...

Тогда атаман отступил на шаг и предложил:

— Даю вам полкуса... тысячу... две!..

Они не остановились.

Яшка заскрежетал зубами, лицо его перекосилось. Он замахнулся ножом. Юра перехватил его руку. Несколько мгновений их руки были сплетены. Но мускулы того, кто стоял за станком, оказались крепче. Нож упал на землю.

Юра посмотрел в глаза Яшке Волку, в бесцветные глаза под дергавшимися бровями. Эти глаза, когда-то жестокие, теперь были наполнены страхом.

— Ну и трус же ты, атаман, — сказал Юра.



С. ГАНСОВСКИЙ

ГОСТЬ

ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА

НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Х

отите послушать одну историю? За подлинность ручаюсь. Сам участник.

Все согласились. Подполковник посмотрел на нас и прикрыл дверь в коридор.

— Первый раз решаюсь рассказывать вот так, в компании. Вернее, однажды попытался, но приняли за сумасшедшего... Да. Так вот, это было лет двадцать назад. Точнее, в апреле 1941 года. Мы с товарищем потерпели аварию в Сибири. Летели из Эглонды на Акон, и нам пришлось сделать вынужденную посадку в тайге.

Не буду долго рассказывать, как это случилось. Я был пилотом, Виктор Комаров — штурманом. В метеорологической разведке сбились с курса — вышел из строя гирокомпас, потом попали в болтанку. В облаках самолет вдруг начал проваливаться: наскочили на нисходящее воздушное течение. Я взял штурвал на себя, задрал нос машины, чтобы набрать высоту. Но самолет уже стал вялым. Отдал штурвал, машина меня не слушается: начали обледеневать. Беру круто влево, но и тут никакой опоры, как будто весь мир падает вместе с нами. С двух

тысяч метров покатались мы по наклонной. На высоте метров в сто пятьдесят выскочили из облаков. Снежная долина и реденький лес бешено несутся навстречу. Еще несколько попыток взять контроль над машиной — все происходит так быстро, что даже не успеваешь испугаться. Удар, треск, скрежет. Нас бросает вперед, ремни врезаются в плечи. Еще удар, стекла кабины вываливаются, пол становится стеной, и мы висим на ремнях.

А потом начинаются неприятные открытия. Чувствуем запах жженой резины: машина горит. Выкарабкались из самолета, Виктор сразу упал — сломана нога.

Пришлось оставить его лежать на снегу и прежде всего нырнуть в кабину за нашим «НЗ». Потом я оттащил Виктора метров на пятьдесят в сторону. И вовремя, так как через минуту огонь добрался до бензобака, и самолет взорвался.

Теперь представьте себе наше положение. До Акона километров триста. Мы в глухой тайге, где человека не бывало, может быть, от самого сотворения мира. Еды всего лишь на неделю, а у Виктора сломана нога. На то, что нас заметят с самолета, надежда плохая — ведь мы сильно сбились с курса. Рация погибла вместе с машиной, и связаться с людьми не можем.

А кругом таежная тишина, сыпал снежок, и приземистые корявые северные елки стояли, как приговорившие нас к смерти безжалостные судьи.

Я старался, чтобы мой голос прозвучал уверенно:

— Ну как, Витя?

Виктор пожал плечами, словно говоря: «Ерунда. Бывало и хуже».

На самом деле хуже у нас никогда еще не бывало. Мы ведь оба были совсем мальчишки. Ему двадцать четыре, и мне столько же.

Из веток я сделал лубки для ноги Виктора и устроил его на сложенном в несколько раз парашюте. Вечер и ночь мы провели у костра. У Виктора начался жар, нога распухла и побагровела. Он терпел. О катастрофе старались не разговаривать.

Утром я оставил товарищу разведенный костер, запас сучьев и пошел на разведку. Снег в лесу был рыхлый, я проваливался иногда по пояс.

Часа через три лес поредел, начался мелкий тальник, чахлые низкорослые березки. Потом и они кончились,

передо мной раскинулась равнина. Снег сделался плотным, его утоптали ветры. Тут я почти не проваливался. Но радоваться оказалось рано: равнину прямо, справа и слева закрывала стена горного кряжа. Каменная гряда тянулась с запада на восток, как будто специально затем, чтобы закрыть нам путь на север, к Акону.

Я подошел ближе к горе. Кое-где снег осыпался, обнажились отвесные в трещинах скалы. О том, чтобы втащить туда Виктора, не могло быть и речи.

Помню, что в тот день я прошел километров пять и повернул назад по своим следам, лишь когда совсем стемнело.

Костер еще тлел. Виктор лежал в полузабытьи. Когда я рассказал о своем путешествии, он вдруг совершенно некстати улыбнулся:

— А ко мне мамонт приходил.

— Какой мамонт?

— Какой? Обыкновенный мамонт. Приходил, постоял тут. Поколдовал хоботом над костром.

Я подумай, что Виктор бредит, и, чтобы отвлечь его, заговорил о другом.

Он обиделся.

— Ты что, не веришь?

— Нет, почему не верю? Что тут особенного?

Виктор отвернулся и замолчал. Вскоре заснули. Ночью прошел снегопад, но погода стояла удивительно теплая.

Днем я снова искал перевал через горы. Теперь я пошел в другом направлении и прошагал километров десять, но каменная стена оказалась неприступной. Было похоже, что мы попали в ловушку — в огромную долину, из которой нет выхода.

Усталый и разбитый, я возвращался к Виктору и, не доходя до костра, увидел на поляне большую копну сена. Подавленный, я даже не удивился этому и мимоходом подумал, что вот, мол, Виктор раздобыл где-то сена, теперь тепло будет спать и не придется собирать топливо для костра. (Мне и в голову не пришлось спросить себя, откуда могло здесь, в нехоженной тайге, взяться сено и как Виктор со сломанной ногой сумел его притащить.)

Огромный черный предмет, загородивший от меня костер и освещенный по бокам его красными отсветами, в самом деле издали походил на стог сена.

Я подошел ближе, сердце у меня быстро забилося, и я остановился, спрятавшись за небольшую ель.

На поляне стоял мамонт.

Гигантский зверь, не меньше четырех метров высоты. Он был неподвижен, только хобот извивался над костром, выделявая в нагретом воздухе какие-то петли, круги, восьмерки.

Помню, что первым моим движением было выхватить наган. Но, к счастью, я сдержался. Сообразил, что револьвером тут не поможешь.

Между тем в позе мамонта не было ничего угрожающего. И Виктор вовсе не выглядел обеспокоенным. Лежал на спине и улыбался; губы его шевелились, он что-то говорил мамонту.

Несколько минут я смотрел на них. Неожиданно живая гора двинулась, мамонт протянул хобот к Виктору. Замер я. Но ничего страшного не произошло. Виктор поднял руку, засмеялся и потрепал мамонта по хоботу. Мамонт снова качнулся и, повернувшись к костру, принялся описывать над огнем свои круги и петли.

Я обошел костер и поляну стороной и, зайдя за спину Виктора, опустился рядом с ним на парашют. У меня было инстинктивное чувство, что не следует самому подходить к мамонту, а Виктор должен меня ему представить, как очень важному и значительному гостю.

Виктор обернулся ко мне. У него было мокрое и совершенно счастливое лицо.

— Мамонт, — сказал он. — Видишь, мамонт.

Увидев меня, мохнатая громадина пришла в движение. Тяжелые ноги переступили, глянцевитые увесистые бивни проплыли в воздухе и повисли надо мной. Протянулся хобот, розовый на конце, и откуда-то с самого верха горы посмотрели два маленьких старых и умных глаза.

— Не бойся, — услышал я голос Виктора. — Он совсем ручной.

В лицо ударила струя воздуха. Мамонт выдохнул, и хобот убрался, бивни поплыли назад, зверь повернулся к огню.

Он был так велик, что только хобот и глаза ощущались живыми, а все остальное казалось каким-то огромным механизмом.

— Но ведь это мамонт, — сказал Виктор. — Это не бред, верно? Мне сперва казалось, что я брежу. Он пришел днем и постоял тут.

— Мамонт, — ответил я. — Какой же это бред? Настоящий мамонт.

Мы смотрели на мамонта, потом друг на друга, и вдруг мною овладел припадок какого-то глупого смеха. Это было слишком неожиданно, парадоксально, нелепо. Это ломало привычные представления. Мамонты вымерли много тысяч лет назад. Каждый школьник знает, что мамонт — это «ископаемое животное, в самом начале четвертичного периода населявшее Европу, Азию и Северную Америку и являвшееся современником первобытного человека».

И вот теперь «ископаемое» стояло рядом с нами и вертело хоботом над разложенным мною костром.

Неестественно. Даже глупо. Все равно, что увидеть летающего по небу Георгия Победоносца с копьем или, например, архангела.

Наверное, эта нелепость и вызвала у меня дурацкий смех.

Виктор тоже начал смеяться. У него тряслось все тело и дергалась больная нога, но он не мог остановиться.

Мамонт покосился на нас и оттопырил маленькие, поросшие шерстью уши.

Насмеявшись, мы, наконец, успокоились и, вытирая слезы, посмотрели друг на друга.

— Об этом надо скорее сообщить, — сказал Виктор.

— Как можно скорее, — согласился я. — Представляешь, какая сенсация?

Теперь я внимательно рассмотрел мамонта. Конечно, он был гораздо больше всех слонов, каких я видел в зоологических садах или в цирке.

Глаза только сначала показались мне маленькими. На самом деле они были гораздо больше человеческих. Умные и немного усталые. Казалось, мамонту, такому гигантскому и неуклюжему, неуютно жилось на свете.

Удивительными были клыки. Два огромных серых кольца, каждое килограммов в семьдесят, а может быть и больше. Они так загибались назад, что кончиками едва не вонзались в морду мамонта у самого основания хобота. Большой горб делал гиганта похожим на зубра.

Макушка заросла особенно густой и длинной шерстью, будто мамонт по самые глаза нахлобучил меховую шапку.

Вообще он был одет как раз по сезону.

Интересно, что он почти совсем не напоминал слона. Все крупные животные в Индии и в Африке — слон, носорог, бегемот — голые. Это делает их какими-то чужими для русского человека. А этот зарос густой рыжеватой шерстью, мохнатый, лохматый — наш, северный, российский зверь, словно немислимых размеров медведь, только с хоботом и бивнями.

Мы смотрели на мамонта, а он все стоял над огнем. Наверное, ему нравилось ощущать непривычное тепло костра.

Проснувшись утром, мы с Виктором увидели, что наш гость ушел.

Вся поляна была изрыта, а на юго-восток между елками тянулись круглые, полметра в поперечнике следы.

И тогда мы договорились не «отпускать» мамонта и двинуться по этим следам.

Теперь мне даже трудно понять, чем было вызвано такое решение. Как будто от нас зависело, «отпустить» его или нет! Разве мы в состоянии были догнать мамонта, если б он захотел от нас отделаться!

О своем положении мы не думали. И Виктор и я были страшно возбуждены все последующие дни и по какому-то молчаливому соглашению совсем не вспоминали о том, что продукты кончаются, что выход из долины еще не найден и до ближайшего селения триста километров нехоженой тайги. Мы разговаривали только о мамонте.

По всей вероятности, нас обоих сделала счастливыми мысль о том, что один из самых жестоких и непреклонных законов природы, который дарит силу и развитие одним видам животных и обрекает на гибель другие, дал, наконец, осечку. Мамонт должен был вымереть, но вот он жил. Он жил, и об этом в целом мире никто, кроме нас двоих, еще не знал.

Два дня мы шли за мамонтом. А он вовсе и не пытался от нас скрыться.

В первый же день, когда я тащил Виктора по следу, мы настигли гиганта километров через семь. Это, правда, было уже к вечеру. Он стоял в мелком ельнике,

обламывал самые верхушки елочек и очень спокойно и методически засовывал их в рот.

Один раз с елочки прыгнула белка, молнией мелькнула по хоботу, спине и скатилась с хвоста. Он не обратил на нее никакого внимания.

Нас он тоже подпускал так близко, как мы хотели. Видно, в долине у него нет никаких врагов, хотя тайга полна зверья. Ночью часто слышался волчий вой, ревел олень или лось. А на второй день утром, когда мы снова тащились за мамонтом, в тальнике раздался треск, на нас вдруг вылетел молодой лось с задранной головой и выпученными кровавыми глазами, шарахнулся в сторону и ткнулся мордой в снег. На спине у него был какой-то серый нарост, и, когда зверь упал, мы увидели вцепившуюся в него рысь с узкими желтыми глазами и кисточками на ушах. Мы отогнали рысь двумя выстрелами, и лось достался нам.

Схватка с рысью происходила на глазах у мамонта. Выстрелы и незнакомый запах обеспокоили его. Он перестал жевать еловую ветку, шерсть на спине поднялась дыбом. Потом мамонт вытянул хобот, пригнувшись, с силой втягивая и выталкивая воздух. И вдруг затрубил.

Трудно описать этот звук. Что-то похожее на далекий гудок парохода, доносящийся в сырую погоду из-за поворота реки. Звук, источник которого трудно определить и который кажется раздающимся сразу повсюду.

Мамонт сделал несколько шагов к нам и остановился, переминаясь с ноги на ногу. Казалось, он усомнился: так ли уж безобидны эти маленькие существа, которых он видит впервые.

Мы здорово испугались, но ревом и качаньем все и кончилось. Он потоптался, затем шерсть на спине опустилась, и зверь повернулся к елкам.

Когда стоишь рядом с мамонтом, из-за его огромных размеров кажется, что ты находишься возле стены, завешенной грубым, жестким мехом. И глаз, который подозрительно косился издали, представлялся мне принадлежащим совсем другому существу.

Но это впечатление пропадало, если мы с Виктором смотрели на мамонта издали. Тогда он выглядел компактным, собранным зверем и гармонировал с полу-

тундровым пейзажем — с мелким леском, кустарником, снежными сугробами и серым низким небом.

Особый оттенок придавала зверю грива. Длинные седые космы начинались на спине и бахромой висели над брюхом. По этой седине мы решили, что мамонт очень стар.

Вечером второго дня, когда мы развели костер, мамонт снова подошел к нам и грел над огнем хобот. Конечно, это была удивительная картина. Мы двое на расстеленном парашюте, поджаривающие куски лосиного мяса, и над нами качает хоботом мамонт — огромная, заросшая мехом махина, живой делегат Природы, Вечности, первобытного доисторического прошлого.

Странно, но мы очень спокойно чувствовали себя в тайге. По всей вероятности, присутствие этой огромной живой глыбы казалось нам гарантией того, что мы не погибнем в долине.

В самодельных лубках у Виктора перестала болеть нога. И мы весь вечер рассуждали о том, как доберемся до Акона, сообщим о мамонте в Москву, в Академию наук, и вернемся сюда с большой экспедицией...

Вечер был необычайно теплым для этого времени года, но вдруг резко похолодало. К ночи погода испортилась. Начался ветер, через сугробы потянулись струи поземки, костер стало задувать.

Мамонт забеспокоился. Он тревожно топтался, несколько раз поднимал хобот вверх, принюхиваясь к чему-то. Маленькие уши оттопырились.

Неожиданно в монотонный вой ветра вплелся долгий, как гудок далекого парохода, звук. Мы даже не сразу поняли, что это такое. Низкий печальный звук, возникший где-то далеко за окружавшими нас и освещенными костром елками, во мраке за сугробами и холмами заброшенного края.

— Мамонт! — первым догадался Виктор. — Понимаешь, другой мамонт. Где-то там.

Я вскочил. И Виктор приподнялся, опираясь на локти.

Мы оба почему-то считали, что наш мамонт единственный оставшийся на земле. Очевидно, оттого, что он казался нам очень древним.

Теперь выходило, что он не один в долине. Может быть, целое стадо.

Наш мамонт тоже услышал призыв своего собрата. Он поднял хобот высоко к небу и испустил ответный тревожный рев. Он волновался, кивал головой, раскачивался, переступал передними ногами.

Снова издали раздался тоскливый зов.

Мамонт неуклюже попятился от костра, повернулся и, ломая ветки, пошел в лес, в темноту. Некоторое время до нас доносился шум, потом все стихло.

И тогда мы переглянулись и двинулись вслед за мамонтом. У нас уже было к этому времени приготовлено из веток что-то вроде саней. Я впрягся и потащил Виктора.

Теперь мне трудно объяснить, почему мы не стали дожидаться утра. Скорее всего, считали, что там, вдали, куда ушел наш мамонт, произойдет что-то очень важное.

Это была трудная ночь. Ветер быстро усиливался. Из темноты вырывались и летели навстречу струи снега, слепили глаза и резали щеки и лоб. Кругом все кипело, стонало, выло. Казалось, будто весь космос взбесился, двинулся с места, пустился в какую-то сумасшедшую пляску. Ветер свистел и выл, и сквозь страшный шум его все время доносился тревожный и печальный рев мамонтов. Оттого, что он так походил на гудок парохода или даже заводской гудок, казалось, что где-то вдалеке происходит кораблекрушение, наводнение, какая-то огромная катастрофа, и настойчивые звуки все просят и просят о помощи.

Глубокие следы мамонта быстро заносило снегом.

В конце концов мы поняли, что должны двигаться, просто чтобы не замерзнуть. Останься мы у костра, нас занесло бы снегом. Я падал, вставал и снова падал. Виктор помогал мне, отталкиваясь большим суком. Так мы тащились и тащились и через несколько часов из мелколесья выбились на равнину.

И сейчас стоит у меня перед глазами взбаламученное непогодой движущееся снежное море. Следы здесь кончились, их совсем замело.

Но вот буря начала стихать, осталась только поземка, которая все змеила, и змеила белые струи. Из-за тучи низко выглянула луна, осветила синие снега, холмы вдали и равнину с черными перелесками. А рев мамонта донесся откуда-то совсем близко.

Всматриваясь, мы увидели впереди, метрах в тридцати, большой темный силуэт.

Я подтащил сани с Виктором еще ближе. Это был наш мамонт, он провалился в снег больше чем наполовину. Снаружи была морда с хоботом, клыки, плечи, спина с поднявшейся шерстью. Сначала я подумал, что он просто старается выбраться из снега, но это было не так. Очень скоро мы с Виктором разглядели, что рядом с нашим мамонтом темнеет спина другого огромного животного. Второй мамонт был без клыков. Очевидно, самка. Она провалилась еще глубже, могучие плечи были уже вровень с поверхностью снега.

Хоботы мамонтов все время сталкивались и переплетались. Казалось, гиганты стараются выгresti снег, который поземка все насыпала и насыпала между ними.

Я подобрался так близко, что пар от дыхания зверей касался лица.

Они выгребали не снег. Меня вдруг ударило по сердцу. Там, в снежной яме, был детеныш, которого они пытались вытащить, с каждым движеньем сами увязая все глубже.

Рядом с нами погибала последняя, может быть, семья мамонтов.

По всей вероятности, первым попал в яму маленький. Мать хотела его вытащить, но сама начала тонуть в снегу. Тогда она позвала на помощь. А теперь здесь погибал и наш мамонт.

Позже, месяца через два, мы с Виктором много раздумывали о том, как это случилось. Веками обитавшие в замкнутой долине мамонты, вероятно, знали ее достаточно хорошо и, будучи умными и осторожными животными, не попались бы в ловушку. Пожалуй, дело в том, что весь этот край десятки тысячелетий назад был зоной распространения ледника. Потом ледник отступил, оставив в низинах большие массивы льда. На этот лед с гор и холмов скатывались камни и почва. За сотни и тысячи лет образовался слой, на котором выросла трава, кусты, даже деревья. Под ними весенняя вода вымывала во льду предательские пустоты. В одной из них, по мнению ученых, погиб знаменитый исполин с реки Березовки, чучело которого находится в Зоологическом музее в Ленинграде. Скорее всего, подземная пещера и сейчас была причиной трагедии...

Между тем рядом с нами разворачивалась именно трагедия.

Через час лишь хобот самки иногда высывался из ямы. Детеныш был совсем засыпан, и злобный ветер катил целые снежные волны на взрослых животных. Самец перестал откапывать маленького и принялся бешено отгребать снег со спины своей подруги. Но она просто на глазах уходила в землю. Ветер был сильнее даже этого исполина; мамонт ничего не мог сделать.

Время от времени он вытягивал хобот и выпускал тоскливый, хриплый, режущий сердце рев.

Бесконечная безлюдная равнина, освещенная лунным светом. Скучный северный лес. Воющий ветер. Тучи, бегущие по низкому небу, которые то и дело закрывали луну. Что-то заброшенное, одинокое, дикое...

Казалось, все это происходит в доисторическом первобытном мире, когда древний человек и мамонт вели отчаянную, беспощадную борьбу за жизнь с суровой природой и между собой. Потом, в госпитале, я много думал о том, почему мамонты исчезли с лица земли. Считается, что они вымерли сами собой. Но мне представляется, что это не так. Я думаю, их истребил первобытный человек. Всех до одного, до последнего. И мясо огромных животных помогло ему пережить невероятно трудную, жестокую эпоху обледенения. Быть может, без этого мяса человек не перебил бы и исчез так же, как исчезли шерстистый носорог и гигантский олень. Первобытное стадо людей преследовало стада мамонтов, пока не уничтожило всех. Ведь мамонт не такой зверь, который может скрыться в лесной чаще или в степи замести следы.

Возможно, конечно, все это и не так. Но в ту ночь нам с Виктором казалось, что этот едва ли не последний гигант, чудом укрывшийся от людей в замкнутой долине дикого, неисследованного края, зовет нас на помощь.

Но что можно было сделать? Стараться вытащить мамонта из снежной топи — все равно, что руками поднимать дом.

Да ведь и мы были на краю гибели. Мне все время приходилось откапывать Виктора, и я почти плавал вокруг мамонтов по грудь в жидком снегу...

Часа через два после того, как мы добрались до зверей, самку окончательно поглотил снег, а у самца только

голова осталась на поверхности. Мамонт сделал титаническое усилие, почти что стал на задние ноги. Он высунулся из ямы по плечи, но затем сразу увяз еще глубже.

Начало рассветать. Были ясно видны его глаза, налитые кровью. Он протянул хобот и испустил последний отчаянный хриплый рев.

Этого уже просто было не вынести. Мы с Виктором двинулись прочь. Прочь, подгоняемые ветром.

Я тащил его, не знаю сколько времени. Стало светло, и мы увидели, что каменная стена далеко впереди прерывается узким ущельем.

Это был выход из долины, который я искал два первых дня...

Подполковник замолчал, и в купе стало тихо. За окном неслись ели и сосны сибирского леса. Проводник в коридоре, позванивая ложечками, разносил чай.

— А что дальше? — спросил инженер, который прежде рассказывал об ихтиозавре. — Как вы сами спаслись?

— А сами просто шли. Это уже другая история, как двое летчиков спаслись в тайге. Шли по компасу. Двадцать дней, пока на нас не наткнулись якуты-охотники. Последняя неделя как-то исчезла у меня из памяти. Мы с Виктором были похожи на привидения. Израненные, ободранные, голодные. Виктор все время просил меня, чтобы я оставил его и спасся хотя бы один. Я оставил его и шел какое-то время один. Я шел и мучился и проклинал себя. Потом повернул было обратно, но тут же оказалось, что я вовсе не оставлял его, а продолжаю тащить за собой. Это превратилось в навязчивую идею. Мне все казалось, что я выпустил из рук «салазки» с Виктором... Позже рассказывали, что в госпитале меня никак не могли от него оторвать. Я в него прямо-таки вцепился...

Подполковник усмехнулся и продолжал:

— Виктор поправился раньше и выписался. А я довольно долго был в тяжелом состоянии. И вот когда встал, первым делом отправился к главному врачу. Принялся было рассказывать, но кончить не пришлось. Он тотчас вызвал женщину, оказавшуюся психиатром, и оба стали меня успокаивать: «Ничего, ничего. Вы отдохнете, и все пройдет. Старайтесь не думать о мамонтах. У вашего друга то же было, но теперь ему гораздо

лучше». Я вспылil, те двое переглянулись, покачали головами. Понял, что лучше все отложить до выписки. Но и тогда не пришлось нам заняться мамонтами.

Я вышел из госпиталя, у дверей меня встречал Виктор. Но это было 22 июня 1941 года. Настало время других забот...

Только сейчас, спустя двадцать лет, я еду в Акон принять участие в экспедиции Академии наук. Теперь это будет не случайность, не катастрофа...

— А Виктор?

— Под Берлином. В 1945 году... Знаете, — сказал после паузы подполковник, — а мне теперь кажется, что и та семья мамонтов не погибла. Ведь буря вскоре кончилась, животные могли утоптать снег под собой и в конце концов выкарабкаться из ямы. Пусть в течение нескольких дней... Не говоря уже о том, что это могла быть и не единственная семья мамонтов в долине.



АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ
БОРИС СТРУГАЦКИЙ

СВЕЧИ ПЕРЕД ПУЛЬТОМ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Б

ыло непривычно темно и неудобно, зарево городских огней ушло за черные холмы, и Званцеву казалось, что машина идет через пустыню. В полночь пошел дождь. На шоссе стало скользко, и Званцев сбавил скорость. Впереди на шероховатом мокром бетоне плясали белые пятна света фар. Встречных машин не было. Последнюю встречную машину Званцев видел перед тем, как свернул на шоссе к институту. В километре от поворота был поселок, и его удивило, что, несмотря на поздний час, почти все окна освещены, а на веранде большого кафе, у дороги, полно людей. Званцеву показалось, что они чего-то ждут.

Акико оглянулась.

— Они все смотрят нам вслед, — сказала она.

— Наверное, они думают, что мы врачи.

Освещенный поселок был последним, который они видели. Кажется, они проехали еще два поселка, но огней больше не было.

— Где-то здесь должен быть завод бытовых приборов, — сказал Званцев. — Ты не заметила?

— Нет, — ответила Акико.

— Никогда ты ничего не замечаешь.

— За рулем — ты, — сказала Акико. — Пусти меня за руль, я буду все замечать.

— Ну уж нет.

Он резко затормозил, и машину занесло. Она боком проползла по взвизгнувшему бетону и остановилась. Фары осветили сигнальный столб. Сигнальных огней не было, надпись на указателе казалась выцветшей: «Свердловский институт биологического кодирования — 21 км». Под указателем был прибит перекошенный фанерный щит с корявой надписью: «Внимание! Включите все нейтрализаторы! Сбавить скорости! Впереди заставка!» И то же самое на китайском и английском. Буквы были большие, с черными потеками.

— Ого, — сказал Званцев, полез под руль и включил нейтрализаторы.

— Какая заставка? — спросила Акико.

— Какая заставка, я не знаю, — сказал Званцев, — но, видимо, тебе нужно было остаться в городе.

— Глупости, — сказала Акико.

Когда машина тронулась, она осторожно спросила

— Ты думаешь, что нас не пропустят?

— Я думаю, что тебя не пропустят.

— Тогда я подожду, — спокойно сказала Акико.

Машина медленно и беззвучно катилась по шоссе. Званцев сказал, глядя перед собой:

— Мне бы все-таки хотелось, чтобы тебя пропустили.

— Мне бы тоже, — я очень хочу проститься с ним..

Званцев молча глядел на дорогу.

— Мы редко виделись последнее время, — продолжала Акико. — Я очень люблю его. Я не знаю другого такого человека. Никогда я не любила отца, как люблю его. Я даже плакала...

«Да, плакала, — подумал Званцев. — Океан был черносиний, и небо было синее-синее, и лицо Окадо было опухшим и синим, когда я и Хен Чоль осторожно вели его к конвертоплану. Под ногами скрипел раскаленный коралловый песок; ему было трудно идти, он то и дело повисал у нас на руках, но ни за что не соглашался чтобы мы несли его. Глаза его были закрыты, и он

виновато бормотал: «Гокуро-сама, гокуро-сама». Сзади и сбоку молча шли океанологи. Акико шла рядом со мной, держа обеими руками, как поднос, знаменитую на весь океан потрепанную белую шляпу, и горько плакала. Это был первый, самый страшный приступ болезни — шесть лет назад, на безымянном островке в пятнадцати милях к западу от рифа Октопус».

— ...я тридцать лет знаю его. Почти столько, сколько тебя. Мне очень хочется проститься с ним, — прервала его думы Акико.

Из мокрой темноты выплыла и прошла над головами решетчатая арка микропогодной установки. На синоптической станции не было огней. «Установка не работает, — подумал Званцев. — Вот почему эта мерзость с неба». Он покосился на жену. Акико сидела, забравшись на сиденье с ногами, и глядела прямо перед собой. На ее лицо падали отсветы от циферблатов на пульте, и оно казалось сосредоточенным и очень молодым, как тридцать два года назад, когда она вот так же сидела справа от работника Океанской Охраны Званцева в его одностойной субмарине, в первом своем глубоководном поиске. Только тогда лицо ее освещали огоньки глубоководных креветок, стукавшихся об иллюминатор.

— Что здесь происходит? — сказал Званцев. — Какая-то мертвая зона.

— Может быть, он уже...

— Вздор.

— И все ушли к институту...

— Вздор, — решительно повторил Званцев. — Вздор.

Далеко впереди показался неровный красный огонек. Он был слаб и мерцал, как звездочка на беспокойном небе. На всякий случай Званцев сбавил скорость. Теперь машина катилась очень медленно, и стал слышен шорох дождя. В свете фар появились три фигуры в блестящих мокрых плащах. Они стояли прямо посередине шоссе; перед ними поперек шоссе лежало мокрое бревно. Тот, что стоял справа, держал над головой большой коптящий факел. Он медленно размахивал им из стороны в сторону. Званцев подвел машину поближе и остановился. «Ну и застава», — подумал он. Человек с факелом что-то крикнул неразборчиво в шорохе дождя, и все трое быстро пошли к машине, неуклюже шагая в огромных мокрых плащах.

— Двигатель! — крикнул человек с факелом. Он по-
дошел вплотную. — Выключите двигатель, наконец!

Званцев выключил двигатель и вылез на шоссе под
мелкий частый дождь.

— Я океанолог Званцев, — сказал он. — Я еду к ака-
демику Окада.

— Выключите свет в машине! — сказал человек с
факелом. — Да побыстрее, пожалуйста!

Званцев повернулся, но свет в кабине уже погас.

— Кто это с вами? — спросил человек с факелом.

— Океанолог Канда, — сказал Званцев сердито. —
Моя жена.

Трое в плащах молчали.

— Мы можем ехать дальше? — спросил Званцев.

— Я оператор Михайлов, — сказал человек с факе-
лом. — Меня послали встретить вас и передать, что к
академику Окада нельзя.

— Об этом я буду говорить с профессором Каспа-
ро, — сказал Званцев. — Проводите меня к нему.

— Профессор Каспаро очень занят, — сказал Ми-
хайлов. — Мы бы не хотели, чтобы его тревожили.

— Я имею для академика сообщение чрезвычайной
важности, — сказал Званцев. — Проводите меня к Кас-
паро.

Трое молчали, и красный неровный свет пробегал
по их лицам. Лица были мокрые, осунувшиеся.

— Ну? — сказал Званцев нетерпеливо. Вдруг он за-
метил, что Михайлов спит. Рука с факелом дрожала
и опускалась все ниже. Глаза Михайлова были за-
крыты.

— Толя, — сказал один из его товарищей и толкнул
его в плечо. Михайлов очнулся, мотнул факелом и уста-
вился на Званцева припухшими глазами.

— Что? — сказал он хрипло. — А, вы к академику...
К академику Окада нельзя. На территорию института
вообще нельзя. Уезжайте, пожалуйста.

— Я имею чрезвычайной важности сообщение для
академика Окада, — терпеливо повторил Званцев. — Я
океанолог Званцев, а в машине океанолог Канда.

— К Окада сейчас нельзя, — сказал Михайлов. —
Он умрет в ближайшие четверть суток, и мы можем не
успеть. — Он едва шевелил губами. — Профессор Кас-
паро очень занят и просил не беспокоить.

Он вдруг повернулся к своим товарищам.

— Ребята, — сказал он с отчаянием, — дайте еще две таблетки.

Званцев стоял под дождем и думал, что еще можно сказать этому человеку, засыпающему на ходу. Михайлов стоял боком к нему и, запрокинув голову, что-то глотал. Потом Михайлов сказал:

— Спасибо, ребята, я совсем падаю. У вас здесь все-таки дождь, прохладно, а у нас просто валяются с ног, один за другим, поднимаются и опять валяются... Тогда уносим... — Он все еще говорил невнятно.

— Ничего, последняя ночь...

— Девятая, — сказал Михайлов.

— Десятая.

— Неужели десятая? У меня голова как чугун. — Михайлов повернулся к Званцеву. — Извините меня, товарищ...

— Океанолог Званцев, — сказал Званцев в третий раз. — Оператор Михайлов, вы должны нас пропустить. Мы только что прилетели с Филиппин. Мы возим академику информацию, очень важную информацию. Он ждал этого всю жизнь. Поймите, мы знаем его тридцать лет... Это чрезвычайно важная информация.

Акико вылезла из машины и встала рядом с ним. Оператор молчал, зябко потирая руки.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Только вас слишком много. — Он так и сказал: «Слишком много». — Пусть идет один.

— Ладно, — сказал Званцев.

— Только, по-моему, это бесполезно, — сказал Михайлов. — Каспаро не пустит вас к академику. Академик изолирован. Вы можете испортить весь опыт, если нарушите изоляцию.

— Я буду говорить с Каспаро сам, — сказал Званцев. — Проводите меня.

— Хорошо, — сказал оператор.

Званцев оглянулся на Акико. На лице Акико было много больших и маленьких дождевых капель. Она кивнула и сказала:

— Иди, Николай.

Потом она повернулась к людям в плащах:

— Дайте ему плащ кто-нибудь, а сами полезайте в машину. Можно поставить машину поперек шоссе.

Званцеву дали плащ. Акико хотела вернуться в машину и развернуть ее, но Михайлов сказал, что двигатель включать нельзя. Он стоял и светил своим неуклюжим коптящим факелом, пока машину вручную разворачивали и ставили поперек дороги. Затем все забрались в кабину. Званцев заглянул внутрь. Акико снова сидела свернувшись на переднем сидении. Товарищи Михайлова уже спали, уткнувшись головами друг в друга.

— Передай ему... — сказала Акико.

— Да, обязательно.

— Скажи, что мы будем ждать.

— Да. Скажу.

— Ну, иди.

Званцев осторожно прихлопнул дверцу и подошел к оператору.

— Пойдемте.

— Пойдемте, — откликнулся оператор совсем новым, очень бодрым голосом. — Пойдемте быстро, нужно пройти семь километров.

Они пошли, широко шагая, по мокрому шершавому бетону.

— Мерзость, верно? — сказал оператор.

— Что?

— Факел — мерзость, правда? Такая дрянь. Чувствуете, как он воняет?

Званцев принялся и отошел на два шага в сторону.

— Да, — сказал он. От факела воняло нефтью. — А зачем это?

— Так приказал Каспаро. Никаких электроприборов, никаких ламп. Мы стараемся свести все неконтролируемые помехи к минимуму. Кстати, вы курите?

— Да.

Оператор остановился.

— Дайте зажигалку, — сказал он. — И ваш радиопhone. Есть у вас радиопhone?

— Есть.

— Давайте все мне. — Михайлов забрал зажигалку и радиопhone, разрядил их и выбросил аккумуляторы в кювет. — Извините, но так надо. Здесь на двадцать километров в округе не работает ни один электроприбор.

— Вот оно в чем дело, — пробормотал Званцев.

Они снова быстро пошли под непрерывным дождем.

— Теперь я понимаю, откуда этот дождь, — сказал Званцев, помолчав. — То есть, я понимаю, почему выключены микропогодные установки.

— Нет-нет! — воскликнул оператор. — Микропогодные установки — это само собой, а дождь нам гонят специально с Ветряного Кряжа. Там есть континентальная установка, знаете?

— Зачем это?

— Закрываемся от прямого солнечного излучения.

— А разряды в тучах?

— Тучи приходят пустые, их разряжают по дороге. Вообще опыт получился гораздо грандиознее, чем мы сначала думали. Весь Северный Урал работает на нас.

— И пока все благополучно? — спросил Званцев.

Оператор промолчал.

— Вы меня слышите? — спросил Званцев.

— Я не могу вам ответить, — сказал Михайлов неохотно. — Мы надеемся, что все идет как надо. Принцип проверен, но это первый опыт с человеком. Сто двадцать триллионов мегабит информации, и ошибка в одном бите может многое исказить начисто.

Михайлов замолчал, и они долго шли молча. Званцев не сразу заметил, что они идут через поселок. Поселок был пуст. Слабо светлели матовые стены коттеджей, в окнах было темно. За ажурными изгородями в мокрых кустах кое-где чернели распахнутые ворота гаражей.

Оператор забыл про Званцева.

«Еще часов шесть, и все будет кончено, — думал он. — Я вернусь домой и завалюсь спать. Великий Опыт будет закончен. Великий Окада умрет и станет бессмертным. Ах, как это хорошо! Но пока не придет время, никто не скажет, удался ли опыт. Даже сам Каспаро. Великий Каспаро». Михайлов потряс головой — тяжесть снова ползла на глаза, заволакивала мозг.

«Нет-нет, надо думать. Валерио Каспаро сказал, что надо начинать думать уже сейчас. Все должны думать, даже операторы, хотя мы слишком мало знаем. Но Каспаро сказал, что думать должны все. Великий Каспаро, в просторечии Валерий Константинович. Забавно, когда он работает-работает и вдруг скажет на весь зал: «Достаточно. Посидим немного, тупо глядя перед собой!» Эту фразу он где-то вычитал. Если в этот момент

спросить его о чем-нибудь, он скажет: «Юноша, вы же видите. Не мешайте мне сидеть, тупо глядя перед собой». Опять я не о том думаю...

Итак, прежде всего поставим задачу. Дано: комплекс физиологических нейронных состояний, говоря по-простому — живой мозг, жестко кодируется по третьей системе Каспаро — Карпова на кристаллическую квазибиомассу.

При должной изоляции жесткий код на кристаллической квазибиомассе сохраняется при нормальном уровне шумов весьма долго — время релаксации кода составляет ориентировочно двенадцать тысяч лет. Времени достаточно.

Требуется найти: способ перевода кода с квазибиомассы на живой мозг, то бишь, на комплекс физиологически функционирующих нейронов в нуль-состояниях. Кстати, для этого требуется еще и живой мозг в нуль-состоянии, но для такого дела люди всегда находились и найдутся, — например я. А может быть, обойдемся без живого мозга, если ленинградцы построят искусственный.

Вот... Короче говоря, мы закодировали мозг Окада на кристаллическую биомассу. Мы имеем шифр мозга Окада, шифр мыслей Окада, шифр его «я». И теперь требуется найти способ перенести этот шифр на другой мозг. Вопрос: как это сделать? Как? Хорошо бы догадаться прямо сейчас и порадовать Старика. Каспаро думает об этом четверть века. И вот сейчас прибежать к нему в мокром виде, как Архимед, и возопить: «Эврика!». Михайлов споткнулся и чуть не уронил факел.

— Что с вами? — спросил Званцев. — Вы опять засыпаете?

Михайлов посмотрел на него. Званцев шагал, поднимая капюшон, засунув руки под плащ. Лицо его в красном бегающем свете казалось очень длинным и очень жестким.

— Нет, — сказал Михайлов. Я не сплю. Я думаю.

Впереди замаячила какая-то темная гряда. Они шли быстро и скоро догнали большой грузовик, который медленно тащился по шоссе. Званцев не сразу понял, что грузовик идет с выключенным двигателем. Его волокли два здоровенных верблюда.

— Эй, Санька! — крикнул оператор.

Щелкнула дверь кабинки. Высунулась голова в берете, повела блестящими глазами и скрылась.

— Чем могу? — спросили из кабинки.

— Дай шоколадку, — сказал Михайлов.

— Возьми сам, не хочется вылезать. Мокро.

— И возьму, — бодро сказал Михайлов и куда-то скрылся вместе с факелом. Стало очень темно. Званцев пошел рядом с грузовиком, приноравливаясь к верблюдам. Верблюды еле плелись.

— Быстрее они не могут? — проворчал он.

— Они, подлые, не хотят, — послышался голос из кабины. — Я пробовал лупить их палкой, но они только плюются. — Голос помолчал и добавил: — Четыре километра в час. И заплевали мне плащ.

Верблюды пренебрежительно засопели.

— Вы бы отошли в сторонку, — сказал водитель. — Впрочем, сейчас они, кажется, ничего.

Понесло нефтью, и рядом снова появился Михайлов. Факел его чадил и трещал.

— Пойдемте, — сказал он. — Теперь уже близко.

Они легко обогнали упряжку, и скоро по сторонам дороги появились невысокие темные строения. Приглядевшись, Званцев увидел впереди в темноте огромное здание — черный провал в черном небе. В окнах кое-где слабо мигали желтые огоньки.

— Смотрите, — шепотом сказал Михайлов. — Видите, по сторонам дороги — блоки.

— Ну? — сказал Званцев тоже шепотом.

— Это блоки. В них квазибиомасса. Здесь он будет храниться.

— Кто?

— Мозг, — прошептал Михайлов. — Мозг!

Они вдруг свернули и вышли прямо к подъезду здания института. Михайлов откатил тяжелую дверь.

— Заходите, — пригласил он. — Только не шумите, пожалуйста.

В вестибюле было темно, прохладно и странно пахло. На большом столе посередине мерцало несколько толстых оплывших свечей. При свечах было плохо видно. Званцев сделал несколько шагов, зацепился плащом за стул, и стул повалился со звоном.

— Ай, — сказал кто-то сзади. — Толя, это ты?

— Я, — ответил Михайлов.

Званцев оглянулся. В углу вестибюля стояла красноватая полутьма, и когда Михайлов с факелом прошел туда, Званцев увидел девушку с бледным маленьким лицом. Она лежала на диване, закутавшись во что-то черное и длинное.

— Ты принес чего-нибудь вкусенького? — спросила девушка.

— Санька везет, — сказал Михайлов. — Хочешь шоколадку?

— Хочу, — сказала девушка.

Михайлов стал рыться в складках плаща.

— Иди смени Зину, — сказала девушка. — Пусть идет спать сюда. Теперь в двенадцатой спят мальчишки. А на улице дождь?

— Дождь.

— Хорошо. Теперь уже немного осталось.

— Вот тебе шоколадка, — сказал Михайлов. — Я пойду. Это товарищ к академику.

— К кому?

— К академику.

Девушка тихонько свистнула.

Званцев прошел через вестибюль и нетерпеливо оглянулся. Михайлов шел следом, а девушка сидела на диване и разворачивала шоколадку. При свете свечей только и можно было разобрать, что ее маленькое бледное лицо и странный серебристый халат с капюшоном. Михайлов сбросил плащ, и Званцев увидел, что он тоже в длинном серебристом халате. Он был похож на привидение в неверном свете факела.

— Океанолог Званцев, — сказал он, — подождите здесь немножко. Я пойду и принесу вам халат. Только, пожалуйста, пока не сбрасывайте плаща.

— Хорошо, — сказал Званцев и присел на стул.

* * *

В кабинете Каспаро было темно и холодно. Усыпавшись шумел дождь. Михайлов ушел, сказав, что позывает Каспаро. Факел он унес, а свечей в кабинете не было. Сначала Званцев сидел в кресле для посетителей у большого пустого стола. Потом поднялся, пробрался к окну и, упершись лбом в холодное стекло, стал глядеть в ночь. Каспаро не приходил.

«Будет очень тяжело без Окада, — думал Званцев. — Он мог бы жить еще лет двадцать, надо было больше беречь его. Надо было давным-давно запретить ему глубоководные поиски. Если человеку за сто пятьдесят и из этих полутора ста лет сто он провел на глубинах больше тысячи метров... Вот так и зарабатывают Синий паралич, будь он проклят...»

Званцев отошел от окна, направился к двери и выглянул в коридор. В длинном коридоре вдоль стен горели свечи. Откуда-то доносился голос, повторяющий одно и то же с размеренностью метронома. Званцев прислушался, но не разобрал ни слова. Потом из красноватых сумерек в конце коридора выплыли длинные белые фигуры и прошли мимо, словно проплыли по воздуху. Званцев увидел осунувшиеся темные лица под козырьками серебристых капюшонов.

— Хочешь есть? — сказал один.

— Нет. Спать.

— Я, кажется, поем...

— Нет, нет. Спать. Сначала только спать.

Они разговаривали негромко, но в коридоре было слышно далеко.

— Джин чуть не запорола свой сектор. Каспаро схватил ее за руку.

— О, черт побери...

— У него было такое лицо...

— Черт возьми!.. Черт возьми... Какой сектор?

— Двенадцать шестьсот три. Ориентировочно — слуховые ассоциации.

— Ай-ай-ай-ай-ай!..

— Каспаро послал ее спать. Она сидит в шестнадцатой и плачет.

Двое в белом исчезли. Было слышно, как они разговаривают, спускаясь по лестнице, но Званцев уже не разбирает слов. Он прикрыл дверь и вернулся в кресло.

Итак, какая-то Джин запорола сектор слуховых ассоциаций. Дрянная девчонка. Каспаро поймал ее за руку. А если бы не поймал? Званцев стиснул руки и закрыл глаза.

Он почти ничего не знал о Великом Опыте. Знал только, что это — Великий Опыт, что это самое сложное, с чем когда-либо сталкивалась наука. Закодировать распределение возбуждений в каждом из миллиардов

клеток мозга, закодировать связи между возбуждениями, связи между связями... Малейшая ошибка грозит необратимыми искажениями... Девчонка чуть не уничтожила целый сектор... Званцев вспомнил, что это был сектор номер двенадцать тысяч шестьсот три, и ему стало страшно. Если даже вероятность ошибки или искажения при переносе кода очень мала... Двенадцать тысяч секторов, триллионы единиц информации.

Каспаро все не приходил.

Званцев снова вышел в коридор. Он шел от свечи к свече на странный однообразный голос. Потом он увидел настежь распахнутую дверь, и голос стал совсем громким. За дверью был огромный зал, мерцающий сотнями огоньков. Званцев увидел протянувшиеся вдоль стен панели с циферблатами. Перед панелями сидели люди. Все они были в белом. Воздух в зале был тяжелый и теплый, пахло горячим воском. Званцев понял, что система вентиляции и кондиционирования отключена. Он вошел в зал и огляделся. Он искал Каспаро, но, если Каспаро и был здесь, его все равно нельзя было узнать среди людей в одинаковых серебристых халатах с низко надвинутыми капюшонами.

— Сектор восемнадцать семьсот двадцать два заполнен, — сказал голос.

В зале было нестерпимо тихо — только этот голос и шорох многих движений. Посредине зала Званцев разглядел большой стол и несколько кресел. Он прошел к столу и сел.

— Сектор восемнадцать семьсот двадцать три заполнен...

В одном из кресел напротив Званцева, уронив голову на руки, сидел широкоплечий человек. Он спал и громко вздыхал во сне.

— Сектор восемнадцать тысяч семьсот двадцать четыре заполнен...

Званцев поглядел на часы. Было три часа ночи. Он увидел, как в зал вошел человек в белом и исчез в полумраке, где ничего не было видно, кроме мигающих огоньков.

— Сектор восемнадцать семьсот двадцать пять заполнен...

К столу подошел человек со свечой, поставил свечу в лужицу воска и сел. Он положил на стол пачку бу-

маг, перевернул страницу и сейчас же уснул. Званцев видел, как его голова опускалась все ниже и ниже и, наконец, уткнулась в бумагу.

— Сектор восемнадцать семьсот двадцать шесть заполнен...

Званцев снова взглянул на часы. На заполнение двух секторов ушло полторы минуты. Десять суток идет Великое Кодирование, заполнено меньше двадцати тысяч секторов...

— Сектор восемнадцать семьсот двадцать семь заполнен...

Чья-то сильная рука легла на плечо Званцева.

— Почему не спите?

Званцев поднял голову и увидел усталое лицо под капюшоном. Званцев узнал его.

— Спать. Сейчас же...

— Профессор Каспаро... — Званцев встал.

— Спать, спать... — Каспаро глядел ему в глаза. — Если не можете спать, смените кого-нибудь.

Он быстро пошел в сторону, остановился и снова поглядел пристально.

— Не узнаю, — сказал он. — Но все равно — спать, спать...

Он повернулся и быстро зашагал вдоль рядов людей, сидевших перед пультами. Званцев услышал его удаляющийся резковатый голос:

— Полделения... Внимательнее, Леонид, полтора деления... Хорошо... Отлично... Тоже хорошо... Деление, Джонсон, следите внимательней... Хорошо... Хорошо...

Званцев встал и пошел за ним, стараясь не терять его из виду. Каспаро вдруг крикнул:

— Товарищи! Все идет прекрасно! Будьте внимательней! Все идет очень хорошо!.. Только следите за стабилизаторами, и все будет очень хорошо!..

Званцев наткнулся на длинный стол, за которым спало несколько человек. Никто не обернулся и ни один из спящих не поднял головы. Каспаро исчез. Тогда Званцев пошел наугад вдоль желтой цепочки огоньков перед пультами.

— Сектор восемнадцать семьсот девяносто заполнен, — сказал новый, бодрый голос.

Званцев понял, что заблудился и не знает теперь, где выход и куда девался Каспаро. Он сел на подвернув-

шийся стул, упер локти в колени, положил подбородок на ладони и уставился на мигавшую свечу. Свеча медленно оплывала.

— Сектор восемнадцать семьсот девяносто восемь... Семьсот девяносто девять... Восемьсот... Заполнен... Заполнен...

— А-а-а-а!!

Кто-то закричал протяжно и страшно. Званцев подскочил. Он увидел, что никто не обернулся, но все как-то разом застыли, напрягли спины. Шагах в двадцати у одного из операторских кресел стоял высокий человек и кричал, схватившись за голову:

— Назад! Назад! А-а-а!..

Откуда-то, стремительно шагая, возник Каспаро, кинулся к пульту. В зале стало совсем тихо, только шипел воск.

— Простите! Простите... Простите, — повторял высокий человек.

Каспаро выпрямился и крикнул:

— Слушать меня! Секторы восемнадцать семьсот девяносто шесть, семьсот девяносто семь, семьсот девяносто восемь, семьсот девяносто девять, восемьсот — переписать! Заново!

Званцев увидел, как сотни людей в белом одновременно подняли правые руки и что-то сделали на пультах. Огни свечей заколебались.

— Простите, простите, — повторял человек.

Каспаро подтолкнул его в спину.

— Спать, Генри, — сказал он. — Спать быстро. Успокойтесь, ничего страшного...

Человек пошел вдоль пультов, повторяя одно и то же: «Простите, простите...» Никто не оборачивался. На его место уже сел другой.

— Сектор восемнадцать семьсот девяносто шесть заполнен, — сказал бодрый голос.

Каспаро постоял немного, затем медленно, сильно сутулясь, пошел. Званцев шагнул ему навстречу и вдруг увидел его лицо. Он остановился и пропустил Каспаро. Каспаро подошел к небольшому отдельному пульту, вяло опустился в кресло и так сидел несколько секунд. Потом встрепенулся и, весь подавшись вперед, сунул лицо в большой нарамник перископа, уходящего в пол.

Званцев стоял неподалеку у длинного стола и не от-

рываясь глядел на согнувшуюся от усталости спину Каспаро. Он все еще видел его лицо в колеблющемся свете свечи. Он вспомнил, что Каспаро уже не молод, всего на пять — семь лет моложе Окада. «Сколько лет унесли эти десять суток. Все это скажется, и очень скоро», — подумал Званцев.

К Каспаро подошли двое. У одного вместо капюшона тускло поблескивал круглый прозрачный шлем.

— Не успеем, — тихо сказал человек в шлеме.

— Сколько? — спросил Каспаро, не оборачиваясь.

— Клиническая смерть наступит через два часа. С точностью плюс минус двадцать минут.

Каспаро повернулся.

— Но он хорошо выглядит... Посмотрите, — он ткнул пальцем в нарамник.

Человек в шлеме покачал головой.

— Нервный паралич, — сказал второй очень тихо. Он оглянулся, скользнул выпуклыми глазами по Званцеву и, наклонившись к Каспаро, что-то сказал ему на ухо. Званцев узнал его. Это был профессор Иван Краснов.

— Хорошо, — сказал Каспаро. — Сделаем так.

Двое разом повернулись и быстро ушли в темноту.

Званцев снова сел и закрыл глаза. «Конец, — подумал он. — Не успеют. Он умрет. Он умрет совсем».

— Сектор девятнадцать ноль ноль два заполнен, — повторял голос. — Сектор девятнадцать ноль ноль три заполнен... Сектор девятнадцать ноль ноль четыре...

Званцеву представлялось, что Окада лежит на странном столе под белым мертвым светом, тонкая игла медленно ползет по извилинам его обнаженного мозга и на длинную ленту знака за знаком ложатся сигналы импульсов. Он отлично понимал, что в действительности это происходит совсем иначе, но воображение рисовало именно такую картину: блестящая игла ползет по мозгу, а на бесконечную ленту таинственными значками записывается память, привычки, ассоциации, опыт... А откуда-то наползает смерть, разрушая клетку за клеткой, связь за связью. И нужно ее обогнать.

Званцев почти ничего не знал о кодировании нервных связей, но он знал, что до сих пор не известны границы участков мозга, ведающих отдельными мыслительными

процессами; что Великое Кодирование возможно лишь в условиях самой глухой изоляции и при точнейшем учете всех нерегулярных полей. Поэтому свечи и факелы, и верблюды на шоссе, пустые поселки, и черные окна микропогодных установок, и остановленные самодвижущиеся дороги... Званцев знал, что до сих пор еще не найден способ контроля кодирования, не искажающий код. Каспаро работает наполовину вслепую и кодирует в первую очередь, может быть, совсем не то, что следует. Но Званцев знал и то, что Великое Кодирование — это дорога к бессмертию человеческого «Я», потому что человек — это не руки и ноги. Человек — это память, привычки, ассоциации, мозг. МОЗГ.

— Сектор девятнадцать двести шестнадцать заполнен...

Званцев открыл глаза, поднялся и подошел к Каспаро.

— Профессор Каспаро. Я — океанолог Званцев. Я должен поговорить с академиком Окада.

Каспаро сидел, глядя перед собой. Он поднял глаза и долго смотрел на Званцева снизу вверх. Глаза у него были полузакрытые.

— Это невозможно, — сказал он.

Некоторое время они молча глядели друг на друга.

— Академик Окада ждал эту информацию всю жизнь, — тихо сказал Званцев.

Каспаро ничего не ответил. Он отвел глаза и снова уставился в пространство. Званцев оглянулся. Тьма. Огоньки свечей. Белые серебристые халаты с капюшонами.

— Сектор девятнадцать двести девяносто два заполнен, — сказал голос.

— Все. Конец, — устало сказал Каспаро.

И Званцев увидел маленькую красную лампу, мигающую на пульте рядом с окулярами перископа. «Лампочка, — подумал он. — Значит, все».

— Сектор девятнадцать двести девяносто четыре заполнен...

Из темноты зала изо всех сил бежала маленькая девушка в развевающемся халате. Она кинулась прямо к Каспаро, сильно оттолкнув Званцева.

— Валерий Константинович, — сказала она отчаянно, — остался только один свободный сектор...

— Больше не нужно. — Каспаро поднялся и на-
ткнулся на Званцева. — Кто ты? — спросил он.

— Я океанолог Званцев. Я хотел поговорить с ака-
демиком Окада.

— Это невозможно, — сказал Каспаро. — Академик
Окада умер.

Он перегнулся через пульт и один за другим повер-
нул четыре рубильника. Ослепительный свет вспыхнул
под потолком огромного зала.

* * *

Было совсем светло, когда Званцев спустился в ве-
стибюль. В огромные окна вливался сероватый свет ту-
манного утра, но чувствовалось, что вот-вот проглянет
солнце и день будет ясный. В вестибюле никого не было.
На диване валялось скомканное покрывало. Свечи до-
горали на столе между банками и тарелками с едой.
Наверху шумели голоса. Званцев оглянулся на лест-
ницу. Где-то там был Михайлов, который обещал прово-
дить его.

Званцев подошел к дивану и сел. По лестнице спусти-
лись трое молодых людей. Один подошел к столу и при-
нялся жадно есть. Он двигал тарелки, уронил бутылку
с лимонадом, подхватил ее и стал пить из горлышка.
Второй спал на ходу, с трудом раскрывая глаза. Третий,
придерживая его за плечи, возбужденно говорил:

— ...Каспаро говорил Краснову. Только это и сказал.
И тут же Старик повалился прямо на пульт. Мы его
подхватили и отнесли в кабинет, а там спит Сережка
Круглов. Так мы их рядом и положили.

— Даже не верится, — невнятно сказал первый. Он
жевал. — Неужели так много успели?

— Вот чудак! Сколько раз тебе повторять?.. Девяно-
сто восемь процентов. С какими-то десятитысячными, я
не запомнил.

— Неужели девяносто восемь?

Возбужденный разозлился:

— Ты, я вижу, совсем отупел — не понимаешь, что
тебе говорят.

— Я понимаю, но я не верю. — Тот, что ел, вдруг сел
и придвинул к себе банку с консервами. — Не верится.
Казалось, дело совсем плохо...

— Р-ребята, — пробормотал сонный. — Пойдемте, а? Сил нет...

Все трое вдруг засуетились и вышли.

По лестнице спускались все новые и новые люди. Сонные, еле передвигающие ноги. Возбужденные, с опухшими глазами, с хриплыми от долгого молчания головами. Смеялись. Спорили. Болтали.

«На похороны это не похоже», — подумал Званцев и повеселел. Он знал, что Окада умер, но в это не верилось. Казалось, что академик просто заснул, только никто пока не знает, как его разбудить. «Ничего, узнают. Девяносто восемь процентов. Совсем не плохо».

Михайлов тронул Званцева за плечо. Он был без плаща и без халата.

— Пойдемте, океанолог Званцев.

Званцев встал и пошел за ним к двери. Тяжелые створки разошлись сами, бесшумно и мягко.

Солнце еще не поднялось, но было светло и по сероголубому небу быстро уходили облака. Званцев увидел плоские кремовые корпуса и улицы между ними, засыпанные красивым опавшим листом. Люди выходили из института и растекались по улицам группками и по двое, по трое. Кто-то крикнул: «Товарищи из Костромы отдыхают в корпусе номер шесть, этажи второй и третий!»

Вдоль улиц редкими цепями продвигались небольшие многоногие кибердворники. За ними оставался сухой серый чистый бетон.

— Хотите шоколаду? — спросил Михайлов.

Званцев покачал головой. Они пошли к шоссе между рядами приземистых желтоватых зданий без дверей и окон. Зданий было много — целая улица. Это были блоки с квазибиомассой, хранилище мозга Окада — двадцать тысяч секторов биомассы, двадцать приземистых зданий с фасадами в три десятка метров, уходящих под почву на шесть этажей.

— Для начала неплохо, — сказал Михайлов. — Но дальше так нельзя. Двадцать зданий на одного человека — это слишком много. Если каждому из нас отводить столько помещений... — он засмеялся и бросил обертку от шоколада на бетон.

«Кто знает, — подумал Званцев, — тебе, может быть, хватит и одного. Да и мне тоже». К брошенной бумажке

неторопливо ковылял кибердворник, постукивая по бетону голенастыми ногами.

— Эй, Санька! — закричал вдруг Михайлов.

Обогнавший их грузовик остановился, и из кабины высунулся давешний водитель с блестящими глазами. Они залезли в кабину.

— Где твои верблюды? — спросил Михайлов.

— Пасутся где-то, — сказал водитель. — Пропади они пропадом! Пока я их выпрягал, они меня снова заплевали.

Михайлов уже спал, положив голову на плечо Званцеву.

Водитель — маленький, черноглазый — быстро вел тяжелую машину и тихонько пел, почти не двигая губами. Это была какая-то очень старая, полузабытая песенка. Званцев сначала прислушивался, а потом вдруг увидел идущие низко над шоссе вертолеты. Их было шесть. Тогда он подумал, что теперь вновь закипит жизнь в этой мертвой зоне. Пошли самодвижущиеся дороги. Люди спешат к своим домам. Заработали микропогодные установки и сигнальные световые столбы на шоссе. Кто-нибудь, наверное, уже отдирает фанерный лист с корявыми буквами. Радио передает, что Великое Кодирование закончено и прошло удовлетворительно. На вертолетах, наверное, прилетела пресс-группа — будут передавать на весь мир изображения приземистых желтых зданий и оплывших свечей перед выключенными пультами. И кто-нибудь, конечно, ползет будить Каспаро... И весь мир узнает, что человек совсем скоро станет вечным. Не человечество, а человек, каждый отдельный человек, каждая личность. Ну, положим, сначала это будут лучшие... Званцев посмотрел на водителя.

— Товарищ, — спросил он, улыбаясь, — хотите жить вечно?

— Хочу, — ответил водитель, тоже улыбаясь. — Да я и буду жить вечно.

— И я тоже хочу, — сказал Званцев.



ВАЛЕНТИНА ЖУРАВЛЕВА

"ОРЛЕНОК" НЕ ВЕРНЕТСЯ

РАССКАЗ

М

мой друг,
мой далекий друг, я буду говорить с тобой. Капитан дал нам сорок минут. Кристаллофон запишет мои слова. Шифратор сожмет, спрессует записанное, и на мгновение корабельные реакторы отдадут всю свою мощь передатчику. Короткий всплеск энергии, несущий мои слова, будет долго идти сквозь Космос — туда, где за невообразимой далью находится невидимая Земля. Но настанет время, — и ты услышишь мой голос.

Я должна многое сказать тебе. Еще несколько минут назад, выслушав распоряжение капитана, я знала, что именно надо сказать. Я бежала по трапу, чтобы скорее попасть в свою каюту. Но стоило мне включить кристаллофон — и я почувствовала, что слова, казавшиеся такими необходимыми, совсем не нужны.

Вероятно, это усталость. Да, все мы безмерно устали. Через двадцать девять дней после старта, когда корабль достиг субсветовой скорости, приборы отметили повышенную плотность межзвездного газа. С этого времени

аварийные автоматы почти беспрестанно подают сигналы опасности. Я слышу их звон и сейчас, когда говорю с тобой. Межзвездный газ постепенно разрушает оболочку корабля. Установки магнитной защиты, доведенные до предельного режима, работают с перебоями. Частицы межзвездного газа проникают сквозь экраны реактора, вызывая побочные реакции. Электронные машины захлебываются в потоке бесконечных расчетов. По шкалам приборов мечутся ослепшие стрелки...

Мы свыклись с опасностью. Сигналы аварийных автоматов вызывают только одно ощущение — глухую досаду. Сигналы означают, что снова надо идти к пультам управления. Снова думать, рассчитывать, искать. Усталость сделала нас неразговорчивыми. Мы молча работаем, молча едим. И если кто-нибудь пытается шутить, мы лишь молча улыбаемся.

Но раз в сутки все меняется. В двадцать часов по корабельному времени капитан выключает систему аварийной сигнализации. Управление кораблем полностью передается электронным машинам, а мы идем в кают-компанию. Час — с двадцати до двадцати одного — все разговорчивы, оживленны, веселы. Мы ведем себя так для единственного пассажира корабля. Этот пассажир выходит из своей каюты только на час. И тогда мы стараемся скрыть усталость. Наш полет имеет смысл лишь в том случае, если этот человек будет доставлен благополучно...

Мой далекий друг, над кристаллофоном висят часы, и я слежу за минутной стрелкой. У нас так мало времени, а я еще ничего тебе не сказала. Мое сердце бьется в такт часам — взволнованно, быстро и... растерянно. Мне трудно найти нужные слова.

Помнишь вечер накануне твоего отлета? Ты улетал утром, на три недели раньше меня, и это было наше прощание. Ты помнишь, в тот вечер мы почти не говорили. Мы долго стояли у реки, а над городом полз багровый от бесчисленных огней весенний туман. Сквозь туманное марево пробивался свет кремлевских звезд, и казалось, эти звезды так же далеки от нас, как и те, к которым нам предстояло лететь. А потом ты спросил:

— Любишь?

И я ответила:

— Спроси, когда вернемся.

— Через полтора года...

«Это для нас, — подумала я. — А на Земле пройдут десятилетия. Что будет здесь, на этом месте?»

И, словно угадав мои мысли, ты тихо произнес:

— Мы придем сюда. Правда?

Туман поднимался снизу, с реки, и полз к нам. Ты молча снял теплую куртку и накинул мне на плечи... Почему? Быть может, я ждала, что ты спросишь еще раз?.. Или нечто, более властное, удержало меня от короткого «да»?

Через несколько дней я снова пришла на это место. Я пришла одна. Твой корабль уже набирал скорость где-то там, в звездной бездне. Я до боли в глазах всматривалась в затянутое тучами небо. Было удивительно тихо, и только изредка шелестели листья, словно скупой ветер пересчитывал, много ли их осталось.

Я знала: меня уже ждут на ракетодроме. Да, обстоятельства сложились так, что я покинула Землю раньше, чем мы предполагали. К системе звезды Росс-154 ушел — с особым заданием — звездный корабль «Орленок», и меня назначили дублером радиоинженера. В этот последний вечер я смотрела с нашего холма на серебристые огни Москвы. Их было много, они простирались до горизонта, сливаясь там в широкую светлую полосу. Мне не верилось, что очень скоро и эти огни, и все огни Земли, и сама Земля превратятся в светящуюся точку. А потом исчезнет и эта светящаяся точка, и останется лишь беспредельная черная пустота...

Мы летели к Электре — планете в системе звезды Росс-154. «Орленок» должен был доставить на Электру термоядерный генератор. Я не буду рассказывать о полете: ты прочтешь о нем в рапорте капитана. Мы достигли Электры и на озерном ракетодроме, пока кургузые, похожие на майских жуков, буксировщики тянули корабль к причалу, узнали, что предстоит срочный обратный рейс.

Через три часа, когда заканчивалась погрузка, по трапу поднялся человек в сером свитере. Это был наш единственный пассажир — человек, о котором на Земле рассказывали легенды. Здесь его называли Открывателем.

Лишь в редких случаях одно слово может вместить жизнь человека. Легенды, которые я слышала на Земле,

казались мне поэтической выдумкой — не больше. Но здесь, на Электре, я поняла, что эти легенды слабый отзвук действительности.

Человек, которого называли Открывателем, родился на первом корабле, летевшем к Электре. Тридцать один год назад корабль достиг Электры. Чужая планета стала родиной Открывателя. Это была странная планета. В ее атмосфере содержалось вчетверо больше кислорода и вдвое больше углекислого газа, чем в атмосфере Земли. Вода, насыщенная углекислотой, бурлила и пенилась. Над ржавыми скалами поднимались огни бесчисленных газовых источников. Растения и животные жили буйной, не похожей на земную, жизнью. В каменистых пустынях за несколько часов возникали непроходимые леса и так же быстро исчезали. Ветер уносил в небо потоки горючих газов. Они сгорали, и на иссохшую почву падали струи кипящего дождя...

Люди дорого платили за каждую тайну Электры. Открывателю было шестнадцать лет, когда он остался один. Быть может, его спасли прирожденные способности исследователя: он умел понимать, помнить, предвидеть. Быть может, он, выросший на этой планете, каким-то шестым чувством догадывался о приближающейся опасности. Быть может, ему просто везло. Но он выжил. Семь лет он был единственным человеком на Электре. С Земли прилетали лишь транспортные ракеты с оборудованием. Позже он узнал, что вторая экспедиция, вылетевшая на Электру, погибла в пути.

Семь лет он один исследовал Электру. Спускался на дно ее океанов, взбирался на покрытые пенистым снегом пики, пересекал кочующие леса. Сражался с хищниками, строил опорные станции, посадочные площадки, радиомаяки. Семь лет с ним были только машины.

Потом прилетел корабль с людьми. Открыватель мог вернуться на Землю. Он говорил именно так: «вернуться» — хотя никогда не был на Земле. Быть может, он и вернулся бы, но корабль прибыл в период весенних бурь. Серая, клокочущая вода стеной шла по равнинам. Ураганный ветер разбрасывал тяжелые валуны. Из болотистых лесов, подгоняемые ветром, выползали низкорослые черные кустарники; их источавшие кислоту ветви цепко опутывали все, что встречалось на пути...

Открыватель знал: только он может предостеречь людей, остающихся на Электре, без него они погибнут. Он умел читать следы на влажном песке. Умел по едва уловимому запаху, по едва приметным изменениям в окраске неба определять приближение урагана. Он любил планету, еще чужую для других людей. Для них Электра была непонятной, вероломной, необузданно яркой и потому дикой. Он же видел и дикую красоту планеты.

И он остался.

На Электру все чаще прибывали корабли. Открыватель указывал людям залежи бериллия, титана, урановой руды. Он отыскивал места для будущих городов. Его роботы всегда появлялись в тот момент, когда люди нуждались в защите или помощи. Роботы, как и сам Открыватель, были ветеранами. Их электронная память хранила все необходимое для жизни на этой планете. Другим роботам предстояло еще годами приспосабливаться. Роботы Открывателя уже знали Электру. Могущество Открывателя было могуществом человека, управлявшего немногими из прижившихся на планете машин. Но людям казалось, что Открыватель наделен какой-то особой силой. Теперь я знаю: в этом есть немалая доля истины. Этот человек создан Открывателем. Суровая борьба, закалившая его интуицию и волю, сделала его человеком необычным.

Время шло. Люди наступали на Электру. В скалах гасли вечные огни. Каналы прорезывали каменистые пустыни. Отчаянно сопротивлявшиеся хищники уходили в леса. Открыватель чувствовал: теперь он может вернуться на Землю.

Ракетодром, с которого улетал наш корабль, был полон провожавшими Открывателя людьми. Но где-то рядом сверкали огни сварки. Там строили стартовую площадку для полетов к неисследованным звездным системам. Люди работали и в день отлета Открывателя.

С верхней площадки трапа Открыватель долго смотрел на черную дымку, скрывавшую горизонт. Красный диск звезды Росс-154 медленно погружался в эту похожую на предштормовое море дымку. Никто из нас не решался поторопить Открывателя. «Орленок» был готов к старту, но мы ждали...

В первые же часы полета мы поняли, как трудно будет Открывателю. Регенеративные установки поддерживали на корабле атмосферу такого же состава, что и земная. Открыватель не мог дышать земным воздухом; он вырос на Электре, и теперь ему не хватало кислорода. Его поместили в отдельную каюту, в которую подавался насыщенный кислородом воздух. Только раз в сутки Открыватель выходил из своей каюты. Ему было трудно дышать, но он хотел привыкнуть к земному воздуху.

Он появлялся в кают-компании точно в двадцать часов. Он шел наклонившись вперед, словно преодолевая сопротивление ветра. Медленно, избегая лишних движений, подходил к своему креслу. Темные очки защищали его глаза от корабельных ламп, излучавших солнечный, богатый ультрафиолетовыми лучами свет. Атмосфера Электры, содержащая в верхних слоях много озона, не пропускала ультрафиолетового излучения, и лицо Открывателя, никогда не знавшее загара, было неестественно белым. Откинувшийся на спинку кресла, глубоко дышавший через полуоткрытый рот, в темных очках, подчеркивающих его бледность, Открыватель производил впечатление тяжело больного.

Мы, не сговариваясь, старались развлечь своего пассажира. Расспрашивали Открывателя о его работе (он писал историю покорения Электры). Говорили о Земле. Охотно смеялись над каждой шуткой и ни словом не обмолвились о том, что угрожает кораблю. В этот час для нас не существовало никаких опасностей.

О чем думал Открыватель, слушая наши разговоры? Понимал ли он, что мы только играем? Возможно. Не знаю, как другие, но в присутствии Открывателя я чувствовала себя ребенком. Все мы, в сущности, еще очень мало сделали в жизни, а Открыватель сделал столько, что хватило бы на много жизней.

Да, вероятно, Открыватель с самого начала видел нашу игру. Но он молчал. А на лице его ничего нельзя было прочесть. Когда он изредка снимал очки, меня поражал контраст между живыми, очень выразительными глазами и совершенно неподвижным лицом, похожим на мраморное изваяние.

— Результат одиночества, — сказал как-то наш врач. — Все чувства ушли внутрь.

... Стрелка часов неумолимо движется по циферблату. Надо спешить — и я буду говорить о главном.

Однажды Открыватель, спустившись в кают-компанию, никого там не застал. Обстоятельства сложились так, что экипаж должен был работать. Никто не мог покинуть пост управления. И только мне капитан приказал идти в кают-компанию. Я — дублер, и для меня полет считался учебным...

С капитаном не спорят. Я оставила товарищей и прошла в кают-компанию. Открыватель, как обычно, сидел в кресле. Он встал, увидев меня, и молча кивнул головой. Он не удивился тому, что я одна, ни о чем не спросил. А я старалась говорить весело и беспечно. Это было трудно. Темные стекла очков бесстрастно поблескивали под светом корабельных ламп, но мне казалось, что Открыватель видит всё. После нескольких фраз наступило молчание. Сквозь гул двигателей пробивался тревожный звон аварийных автоматов. Я тщетно искала, что сказать. И, когда молчание стало невыносимым, услышала негромкий, спокойный голос Открывателя:

— Скажите... какая она... Земля?

Я уже хотела ответить первой пришедшей на ум фразой, как вдруг что-то заставило меня насторожиться. Я подумала: «Ведь этот человек никогда не был на Земле. Как ему объяснить?» Странно, но только в тот момент я впервые осознала, что это такое — никогда не быть на Земле.

Открыватель ждал ответа, а я думала о том, что никакие слова не могут передать красоту Земли. Слова — жалкие копии. Они действуют лишь тем, что пробуждают живые воспоминания. Но если воспоминаний нет, — слова бессильны.

Мысль эта нахлынула внезапно, и в течение какой-то доли секунды я вдруг — до боли остро — почувствовала непередаваемую прелесть Земли. Нет, в это мгновение я увидела не те праздничные, украшенные людьми уголки, с которыми часто связывается наше представление о красоте. Я увидела заброшенный лесной пруд: шершавые стволы над зеленой, присыпанной золотом солнечных стружек водой, и сморщенный желтый лист, который, покачиваясь, плывет мимо мокрой травы... Как передать это тому, кто никогда не видел, как падают в воду листья, кто никогда не слышал, как ветер ласкает

гибкие ветви, никогда не прикасался к нагретому солнцем камню, никогда не держал в зубах кисловатую травинку, никогда не вдыхал влажный, пронизанный сотнями запахов лесной воздух?

— Спасибо, — неожиданно произнес Открыватель. — Я понял.

Он встал и направился к трапу. Он ничего больше не сказал, но я знала, что он действительно понял меня. В этот день я по-новому увидела Открывателя.

На следующий день в кают-компании собрался весь экипаж. Говорили о Земле, о том, что изменилось на ней за время нашего отсутствия.

— Земля всегда изменяется, — сказал капитан. — Это видно уже издалека. Помню, в прошлый рейс мы обнаружили в солнечной системе две планеты с кольцами. Когда штурман доложил мне об этом, я рассмеялся. Сатурн — один, у другой планеты не может быть колец. Но штурман оказался прав. Пока мы были в полете, у Земли появилось кольцо Черенкова. Теперь меня ничем не удивишь. Возможно, будет создана атмосфера на Марсе. Или изменится орбита Венеры... Знаю только, что мы еще издалека увидим эти изменения. Это как возвращение в родной город: уже в пригороде видно, как переменялось все за время твоего отсутствия...

Я сидела в углу, там, куда не достигал свет ламп, и следила за Открывателем. Он слушал капитана, но лицо его ничего не выражало. И, глядя в черные стекла очков, я подумала, что он ждет совсем других изменений на Земле. Словно угадав мои мысли, Открыватель посмотрел в мою сторону. Это был беглый взгляд — не больше. Но, подчиняясь неведомой силе, я сказала:

— На Земле изменится атмосфера.

Капитан обернулся ко мне. До сих пор все мы — по молчаливому соглашению — избегали говорить о земной атмосфере.

— На Земле изменится атмосфера, — повторила я.

— Почему? — спросил врач.

— Она обогатится кислородом, — ответила я. Эта идея появилась у меня внезапно, но я сразу поверила в нее. — Атмосфера будет такой же, как на Электре. Это лучше для людей. Исчезнут многие микроорганизмы. Повысится мощность двигателей. Станут обитаемыми высокогорные районы.

Никто не ответил мне. И только после долгого молчания Открыватель сказал:

— У вас щедрое сердце.

Позже, когда мы расходились из кают-компаний, я спросила врача:

— А вы верите, что так будет? Вы — медик и должны...

— Нет, — перебил он. — Не верю. Но я вижу, что вы любите... его.

Он ошибался, наш старый доктор, и я не виню его в этом. Мог ли он знать, что меня связывало с Открывателем совсем иное — однажды до боли осознанная любовь к нашей Земле...

Шли дни, и как-то рация впервые уловила сигнал. Он был еще очень слаб, этот пришедший из черной бездны неведомый голос. Мы ничего не могли разобрать. Мы только знали, что кто-то говорит с нами. Невыносимая мука — слышать Землю и не понимать, что именно тебе говорят... Сейчас мне кажется, что все эти дни я не выходила из радиорубки. И, может быть, прошло не четверо суток, а один до бесконечности растянувшийся день, пока мы, наконец, смогли понять далекий голос.

Это была не Земля. С нами говорил «Памир» — корабль, летевший к звезде Струве-2398. Когда наш главный радиоинженер в сотый раз изменил схему дешифратора и послышался тихий, но явственный голос, мы были так обрадованы, что не сразу поняли смысл радиogramмы.

Мы летели к Земле, и уже давно для нас существовали лишь Земля и наш корабль. А мир был велик, и в этом мире к другим звездам шли другие корабли.

«В звездной системе Струве-2398, — гласила радиogramма, — пропала без вести первая исследовательская экспедиция, отправленная на планету Аэлла. Экипаж «Памира» — четыре человека — ведет к Аэлле транспортную ракету с оборудованием. Сообщение о потере связи с первой экспедицией было получено в пути. Первая экспедиция успела лишь передать, что встретила на Аэлле с какой-то неведомой опасностью. Экипаж «Памира» решил продолжать полет. Аэлла — грозная планета, во многом подобная Электре. Просим Открывателя передать возможно более подробные инструкции и советы...»

Я помню наизусть эту радиограмму. Она лежала на моем рабочем столике в долгую ночь дежурства. Мы ждали Открывателя. Сколько времени ему нужно, чтобы составить ответ? Час, три часа, сутки?.. Рация была подготовлена к ответной передаче. Капитан приказал установить круглосуточное дежурство.

В полночь главный радиоинженер ушел из рубки. Я осталась одна. Я думала о тех четырех не известных мне астронавтах, которые шли к Аэлле. Они не повернули свой корабль. Четверо против Аэллы... Но ведь мог же Открыватель выстоять против Электры! Кто эти четверо?..

Мой далекий друг, в ту ночь я думала о тебе. Мне казалось, что люди на «Памире» такие, как ты.

Я думала, положив голову на столик. В полусне я увидела рубку «Памира» и четырех людей, удивительно похожих на тебя. У них были твои глаза — ласковые, все понимающие, с золотыми, как солнечные блики на воде, искорками, вспыхивающими при улыбке...

В половине четвертого по трапу поднялся Открыватель. Я услышала тяжелые шаги и машинально посмотрела на часы. Открыватель кивнул мне и медленно прошел к креслу штурмана.

— Радиограмма? — спросила я, пытаюсь стряхнуть сон.

Открыватель не ответил.

— Радиограмма готова?

Он снял очки и обернулся ко мне. В его глазах было что-то новое, еще не виданное мной.

— Где... Земля? — странным голосом спросил он.

Я включила обзорный экран. Там, где перекрещивались нити, было черное пятно, окруженное густой россыпью фиолетовых звезд. Скорость корабля исказила вид звездного неба.

— Она там, — тихо сказал Открыватель.

— Ее не видно, — возразила я. — Солнце будет заметно месяца через три, не раньше.

Открыватель покачал головой.

— Она там...

Сон окончательно прошел, и я поняла, что возражать нельзя. Я молча стояла за креслом Открывателя и смотрела на обзорный экран. Это продолжалось долго.

Потом Открыватель, все еще склонившись к экрану, едва слышно произнес:

Есть голубая звезда, Джаннета,
Езды до нее двенадцать лет,
Если мчаться со скоростью света.
И белая есть звезда, Джаннета.
Езды до нее сорок лет,
Если мчаться со скоростью света.
К какой же звезде
Мы с тобой поедem —
К голубой или белой?

Мой друг, ты знаешь эти стихи. Это «Детская песенка» Сэндберга. Однажды (с тех пор прошла вечность) ты читал их мне там, на Земле. Но в голосе Открывателя была недетская грусть. И я вдруг все поняла.

— Вы ... решили? — спросила я.

Открыватель быстро надел очки и обернулся ко мне.

— Выключите экран, — сказал он.

— Вы решили? — повторила я.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Да, конечно.

— Но ...

Движением руки он остановил меня.

— Скажите капитану: нужно пересчитать курс. Я перейду на «Памир».

... Неудержимо бежит стрелка часов, а я еще не сказала тебе самое главное.

В эту ночь аварийные автоматы молчали. И только под утро раздались тревожные воющие сигналы. Через минуту весь экипаж был в рубке. Прошло несколько часов, пока мы восстановили магнитную защиту. И когда капитан отошел от пульта управления, я передала слова Открывателя. Странно, но капитан не удивился. Он сказал:

— Хорошо. Идите. Я сам пересчитаю курс.

Однако никто не вышел из рубки.

— Идите, — повторил капитан.

Казалось, никто не слышит приказ.

— Хорошо, — сказал капитан. — Пусть будет так. Идите и подумайте. Если все решат лететь к Аэлле, — мы полетим. Но если хоть один из нас захочет вер-

нуться, — мы вернемся на Землю. А Открыватель перейдет на «Памир».

Он посмотрел на часы и добавил:

— Через пятьдесят минут. Я буду ждать здесь. Идите же...

Капитан наклонился к пульту управления. Я заметила: капитан смотрит туда, куда ночью смотрел Открыватель...

Пятьдесят минут — они тянулись бесконечно. Я сидела в своей маленькой каюте и думала. На «Орленке» одиннадцать человек. Капитан остался у пульта управления. Десять человек разошлись по каютам. «Если хоть один из нас захочет вернуться, — мы вернемся на Землю». Так сказал капитан. А что скажут мой товарищи? За стальной переборкой — каюта доктора. Старый, добрый доктор! Это был его последний рейс... Главный радиоинженер — он оставил на Земле семью... Мои подруги, механики — их тоже ждут дома...

Пятьдесят минут — они тянулись бесконечно, и лишь в последние секунды время стремительно рванулось вперед. Надо было встать и идти в рубку. Но какая-то сила мешала мне подняться. Быть может, у меня больше, чем у других, права вернуться на Землю? Я дублер радиоинженера. Для меня этот рейс учебный. А там, на Земле... И вдруг я услышала Землю. Среди бесчисленных звуков я вдруг услышала один — шум морского прибоя. Это было так явственно, что я машинально посмотрела на динамик кристаллофона. А шум моря слышался сильнее и сильнее. Рокот морских волн, гул прибоя и еще — всплеск покачивающейся на волнах лодки... В этот момент вся Земля воплотилась в пригрезившемся мне голосе моря. Ты слышал, как плещется вода под покачивающейся на волнах лодкой?..

С последним ударом часов я встала, поднялась по трапу и увидела, что все-все, кроме меня, уже в рубке. Они пришли сюда давно, я сразу поняла это. Никто, кроме меня, не ждал пятидесяти минут.

— Надо идти к Аэлле, — сказала я и удивилась, насколько чужим показался мне собственный голос.

— Да, — ответил капитан. — Мы рассчитываем курс.

Десять человек стояли вокруг меня. Никто из них не сомневался, что я скажу «да». Они давно собрались

здесь, и сейчас электронная машина уже пересчитывала курс. Десять человек знали, что я скажу «да»...

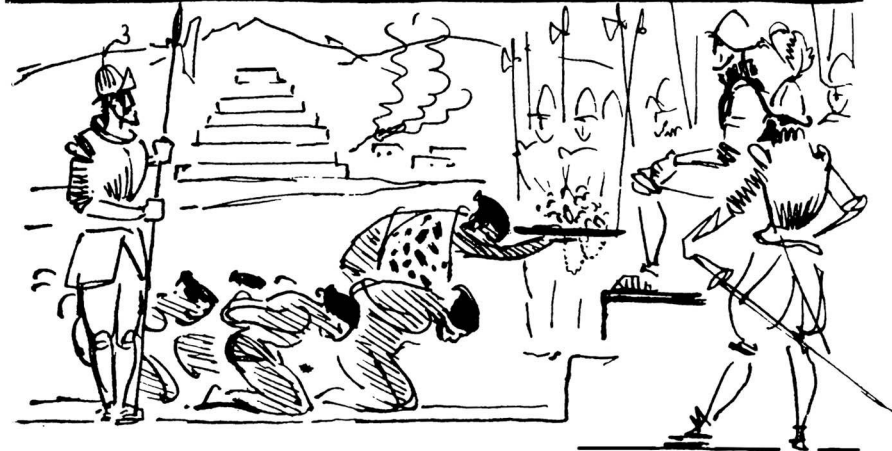
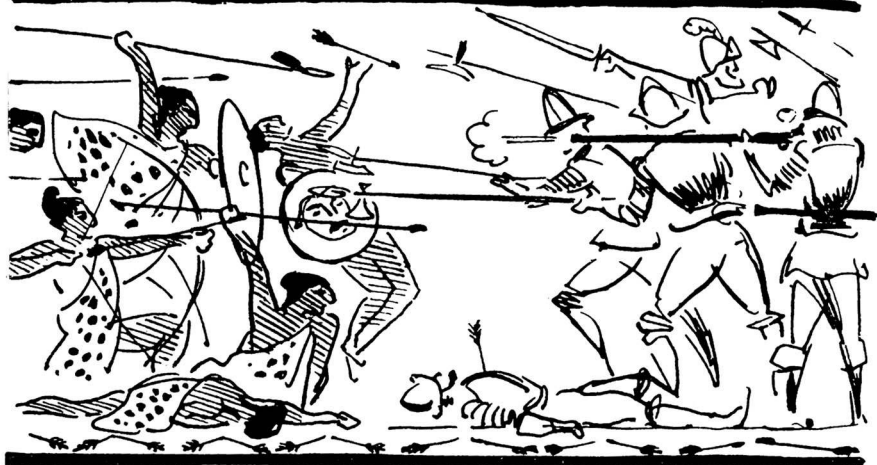
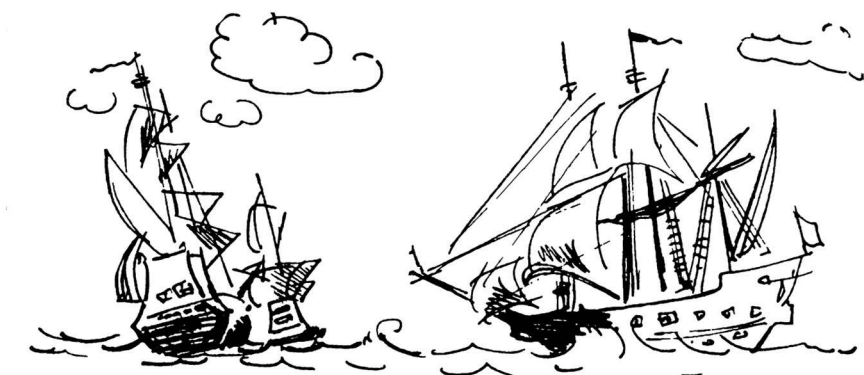
Непередаваема красота Земли, но если меня спросят, что самое красивое на Земле, я не задумываясь отвечу: «Люди».

Мой друг,
мой далекий друг, стрелка часов летит по циферблату. Я должна сказать тебе все. Сейчас, когда я говорю с тобой, твой корабль летит где-то в черной бездне Космоса. Но пока мои слова достигнут Земли, ты вернешься туда и будешь ждать меня на нашем холме.

Мой друг, мы уходим к Аэлле. «Орленок», изменив курс, удаляется от Земли. С каждым часом, с каждой секундой увеличивается расстояние между нами. И все-таки мы ближе друг к другу, чем раньше. Что значит жалкая арифметика расстояний, если я люблю тебя!

Не знаю, что ждет нас на чужой и злобной планете. Но, как бы ни бушевало и ярилось небо Аэллы, я буду искать в нем твой корабль. Я знаю, мы встретимся с тобой. Ты не собьешься с пути, ты придешь, потому что я люблю тебя!

В этот первый полет я взглянула в бездонные глаза вселенной. Да, мой друг, мой далекий и близкий друг, бесконечность сильна. В сравнении с ней наша Земля — ничтожная пылинка. Но есть нечто сильнее черной бесконечности. Это разум и воля людей. Это право людей стоять плечом к плечу. Это простые слова, перед которыми отступают пространство и время, я люблю тебя!



3. ВЫГОДСКАЯ

КАПИТАН КОРТЕС

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

4

Глава первая
ЛОПЕ БЕНИТО САНЧЕС¹

Человек бежал ночью с острова в море, в беспокойную погоду, на индейской лодке. Никто не видел, когда и как он пробрался из крепости на пустынный берег, как успел сговориться с гребцом-индейцем. Они отплыли перед самым рассветом, в час, когда спали даже крепостные собаки. Только поздно утром спохватились часовые, но не нашли уже ни следа на берегу, ни темной точки на горизонте. Беглеца звали Лопе Бенито Санчес.

Утром волнение на море усилилось. Большая лодка из цельного ствола шла, неуклюже покачиваясь на волнах. Гребец-индеец греб стоя; Лопе Санчес сидел на днище лодки. Индеец поднимал то один, то другой конец единственного весла, лодка шла тихо, тупым носом зарываясь в волну. Волна крепла, лодку раскачивало все сильнее. Лопе посидел недолго, потом привстал и взял весло из рук индейца.

¹ Первая часть неопубликованной повести.

Путь был недалекий, но трудный: с острова Черепахи к форту Мира, на Эспаньолу, семь — восемь морских миль под ветром, в открытом море. Только индейцы отваживались иногда пускаться на лодках в такой путь. Решился и Лопе Санчес.

Двое людей гребли весь день, до темноты. Упрямая волна поднималась все выше, все сердитее; у Лопе ныли плечи, горели ладони, он то греб, то отдавал весло индейцу, а сам валился на днище лодки. Берег был недалек, но их относилло все время восточным ветром, и лодка, казалось, не движется вперед. Ночь Лопе Санчес помнил плохо, волны рвали весло из рук, лодка тяжело скрипела. Раза два тихо вскрикнул индеец: казалось, весло вот-вот выпадет из рук. Лопе сжимал зубы и не отдавал весла волнам.

Утром снова греб индеец. Солнце поднялось, зеленым ядовитым блеском наполнилось море от края до края, солнце беспощадно жгло голову и плечи. Индеец греб и греб, пока не свалился на доску, приколоченную с борта на борт. Лопе накрыл индейцу голову и спину обрывком парусины, черным от смолы, и снова взял весло в руки.

Так они плыли много часов по бурному морю. Волы вставали все сильнее, все круче; море темнело, потом светлело, качка усиливалась, потом опять слабела, а они все плыли вперед и вперед. Лопе не помнил уже, через сколько долгих часов пути, наконец, приблизился берег.

Очертания острова Черепахи скрылись позади. Перед ними высоко поднялись вершины дальних гор Эспаньолы, блестящие и белые на солнце. Потом показались полосы рифов и пена бурунов.

— Берег! — сказал Лопе.

Индеец привстал, отвел весло, посмотрел вперед, и тут, впервые, Лопе увидел испуг на его неподвижном лице.

В этом месте берег Эспаньолы мысом выдавался в море. Редкие пальмы росли на мысу у самой воды. В центре пальмы расходились неровным полукругом, и там Лопе увидел что-то вроде прохода, по обоим сторонам которого расположились острые камни, а между ними кипели буруны.

Это был мыс Пальмовая Карусель, самое опасное место по всему скалистому северо-западному берегу острова Эспаньолы. К воротам Пальмовой Карусели

прибило океанским ветром первые суда испанцев, подошедшие к Эспаньоле со стороны острова Черепахи, и из пяти каравелл две погибли. Еще несколько судов разбилось у Пальмовой Карусели, пока испанцы не научились поворачивать на юг еще в открытом море и обгибать опасный мыс задолго до того, как можно было разглядеть с мачты белую пену бурунов.

Но Лопе этого не знал; не знал, должно быть, и гребец-индеец; и теперь ветер гнал их прямо на рифы. Лопе уже хорошо различал берег, полосы рифов, стволы пальм, гнувшиеся под напором ветра. Он попытался резко повернуть, но едва не опрокинул тяжелую лодку. Индеец молча оттолкнул Лопе, взял весло у него из рук и с силой погреб обратно от берега. Жилы надулись у индейца на неподвижном лице, на шее, пересеченной черными и красными полосами племенного рисунка. Индеец греб назад, но ветер гнал их вперед, и лодка точно завертелась на месте. Нет, она все же медленно приближалась к берегу. Ветер гнал волны, уже слышно было, как ревет прибой у ближних рифов. Их гнало прямо на берег, на камни.

— Правее!.. Санта Мария, греби правее! — закричал Лопе.

Но индеец тряс головой. Никакая сила не могла бы уже удержать лодку вдали от берега; она поворачивалась сама и, кренясь, шла на буруны.

Индеец крикнул что-то, показывая на воду. Потом кинул весло на дно лодки.

— Да! — сказал Лопе. Он понял индейца. — Прыгай!

Индеец прыгнул в воду, ушел в волны с головой, потом выплыл и, загребая к берегу, повернул голову, точно приглашая и Лопе. Так было вернее: лодку разобьет о камни, а вплавь можно добраться живым. Но Лопе смотрел на волны колеблясь. Он не боялся воды. Но как плыть в одежде? Индейцу хорошо, ему нечего терять, кроме своих красных и черных полос на коже. А как быть ему, Лопе? Два арбалета, меч, пояс, панталоны, плащ... Неужели все отдать морю? А шпага, стальная подруга? Нет, он останется в лодке. Лопе туже затянул кожаный пояс и взялся за весло.

Еще минут десять — пятнадцать он боролся в виду берега, отгребая назад и поворачивая лодку наперерез волне. Так он держался на одном месте, потом ослаб и

сам не помнил, как у него выскользнуло весло из рук, как лодку вдруг неотвратно понесло на берег. Начи-
нался прилив.

Лодку несло среди пены и рева, потом с ужасным треском ударило о камень, а Лопе выкинуло за борт. Он успел ухватиться за скользкий камень и ждал волны. Волна набегала сзади, огромная, как дом, и Лопе видел, как она идет на него.

— Санта Мария! — сказал Лопе. — Санта Мария, пречистая дева!..

Никогда еще до того Лопе не знал, как силен удар океанской волны. Он оглох, ослеп, задохнулся. Руками он вцепился в скользкий камень, приник к нему, прилип всем телом — и удержался. Труднее всего было, когда волна откатывалась назад: она тянула его за собой в море. За первой бежала вторая, за второй — третья. Кровь сочилась у Лопе из пальцев, рассаженных о камень. Кое-как, обдирая руки, Лопе перебрался на другой, соседний, камень, побольше первого. Так, от камня к камню, пережидая волны, терпя удары, Лопе подобрался ближе к берегу и скоро нащупал под собою дно. Еще и здесь его раза два опрокинуло навзничь волной и потащило назад, в море. Но тут уже всякий раз он быстро вставал на ноги, плыл, полз и вышел на берег.

Индеец давно ждал его на берегу. Он сидел на камне и растирал мокрое, озябшее тело какими-то жесткими листьями. Солнце выглянуло из-за скал и согрело их обоих. Лопе стоял мрачный и смотрел на море. Арбалеты погибли! Оба, вместе с лодкой. Два добрых толедских арбалета! Он с таким трудом добыл их у часового. И меч — сколько раз в бою он выручал его! Теперь все — на дне моря. Лопе ощупал пояс. Шпага цела! Чудо, — не сломалась о камни, даже не погнулась. Морская соль осела на старом камзоле, на коротких солдатских панталонах. Лопе разостлал мокрый плащ и сел погреться на солнце. Нельзя явиться в Сант-Яго голым и нищим. Кому нужен такой солдат для армады — безоружный, в рваном плаще, голь... Лопе осматривал плащ. Еще послужит добротное сукно из Альмари. Весь материковый поход проделал он в нем, от Дариана до Южного моря. Плащ хорош, а вот камзол очень стар, отслужил службу. Четыре индейских стрелы проткнули его в разных местах, изорваны полы, потерт воротник.

Лопе вздохнул: отслужил службу камзол, надо добыть новый.

Лодку швыряло в море о камни. Индеец все ждал, он еще надеялся отнять ее у моря. Они дождались конца прилива, и индеец выловил лодку почти у самого берега, легко прыгая с камня на камень. Лодка была прочная, из цельного ствола, волны не разбили ее. Но весло пропало!

Ветер затих, море лежало перед ними гладкое, распаренное, как теплое молоко в чашке. Лопе с индейцем пошли берегом, волоча лодку за собой, миновали опасное место, обогнули мыс и снова сели в лодку. Индеец отодрал перекидную доску и греб ею, как веслом. Так они поплыли вдоль берега.

Море с подветренной стороны острова было совсем тихим, точно вовсе не буйствовало двое последних суток. Долго плыли они, держась берега. Лопе вглядывался в пустынный берег, в заросли поодаль. Когда вдали, высоко над лесом показался большой белый крест, сколоченный из досок, индеец молча причалил к берегу. Лопе выпрыгнул на мокрую гальку.

— Спасибо, друг! — сказал Лопе. — Я заплачу тебе. — Он порылся в поясном кармане, достал маленький ножик без ножен, с бронзовой ручкой, подкинул на руке, вздохнул и протянул индейцу. — Бери!

Индеец взял, покорно улыбнулся, взмахнул своей доской и отчалил. Индеец привык не обижаться, если белые люди дают мало, и молчать, если ничего не дают. Он поплыл той же дорогой домой, второй раз рискуя жизнью, от берега Эспаньолы обратно к острову Черепахи.

— Прощай, индио!

Индеец уплыл. Лопе заторопился к лесу, — солнце стояло уже низко.

Лопе шел быстро; он узнавал знакомые места. Вот лес повырублен, вот следы костров, обгорелые сучья; вот кучки пепла на месте сожженной деревни. А вот и ров, и башня из бревен, и высокий частокол старого форта. Здесь, в служебных тростниковых домах, жили солдаты гарнизона, здесь был у Лопе старый друг — Гонсало Перес, товарищ по-материковому походу.

Две огромные черные овчарки с лаем бросились на Лопе, но, обнюхав, отошли. Испанцев здешние собаки

не трогали. Лопе разыскал дом и окликнул Гонсало в низкое незастекленное окно, похожее на прорез в стене. Гонсало все понял, ни о чем не спросил и впустил Лопе в хижину.

В открытой ветрам, неудобной бухте, у самого берега, на глубоком месте стояла ветхая черная каравелла.

— Вовремя пришел! — сказал Гонсало. — Завтра утром уходит в море.

Ночью Лопе пробрался на каравеллу и лег на носу. Гонсало накрыл его старым, брошенным парусом.

— Ничего, Лопе, бодрись! — тихонько сказал Гонсало. — Долговая тюрьма — не позор солдату. Попадешь в армаду — добудешь денег и славу, и новый камзол.

— Пускай дьявол уносит мою душу в ад, — сказал Лопе, — если я не попаду в армаду.

— Помоги тебе бог и святой Яго! — Гонсало дал товарищу круг жесткого индейского хлеба и ушел.

Утром судно отплыло. С рассвета шел дождь; парусина над Лопе обмякла; он боялся, что под ней обозначится его тело, и лежал тихо, не шевелясь, боялся дышать. Один раз кто-то наступил ему на руку, но Лопе стерпел и боль. Весь день и всю ночь шел дождь, теплый, сильный, какой редко бывает в этих местах в ноябре. Все попрятались в закрытом кормовом помещении, на носу никого не было, и Лопе никто не обнаружил. Ночью дождь лил еще сильнее; струи воды затекали под парусину. Лопе пил воду с палубы, кусал жесткий хлеб и плакал от злости. Кони стучали копытами в трюме, фыркали громко, жевали траву; Лопе знал — это везут коней в Сант-Яго, на остров Фернандину. Губернатор острова, Диего Веласкес, снаряжает большую армаду в ближние и дальние земли, для этого похода везут коней, и люди едут туда же, искать счастья на новых островах.

До Лопе доносились обрывки разговоров. Он лежал тихо и старался не шевелиться. Только бы добраться до Сант-Яго! Диего Веласкес снаряжает людей в поход? Неужели он не примет его, Лопе Санчеса, старого солдата, участника двух походов, одного из первых завоевателей материковых земель? Только бы попасть в армаду, а там ему простят и сорок песо долгу, и кости, и драку. Оружие дадут, денег дадут, — только иди, Лопе, воюй, добывай золото и себе, и капитанам!

Лопе не видел, как вдали показался неровный берег Фернандины, как старая каравелла, борясь с волнами, скрипя всем своим ветхим, давно не осмоленным корпусом, вошла в узкую бухту Сант-Яго. По крикам и беготне на палубе он догадался, что берег близко. Когда сводили коней на лодки и вокруг поднялась суета, Лопе, улучив минуту, выглянул из своего укрытия и замер.

Вся площадь и порт Сант-Яго были оцеплены стражей. Вооруженный альгвасил стоял у самого причала и смотрел, кто сходит с каравеллы, а еще двое альгвасилов, конные, скакали наискось через площадь, держа собак на длинных ремнях.

— Ищут кого-то! — Лопе забился под парус. Когда свели коней, он сполз в трюм и спрятался в грязной соломе. Каравеллу отвели от причала и поставили на ночь в стороне, недалеко от берега. Ночью Лопе вылез из соломы, снял плащ, намотал его на голову, взял шпагу в зубы и тихонько прыгнул с борта каравеллы в черную ночную воду.

Берег был плоский, пустынный, усыпанный серой галькой. Кое-где, повыше, — крупные камни, кусты. Лопе плыл со шпагой в зубах, наверх плащ на голову, как чалму, обросший бородой, похожий на турка в морском бою. Вода была по-ночному холодна, Лопе ругался и высматривал места, где бы вылезть на берег. В одном месте редкие кусты росли у самой воды. Лопе подплыл и вдруг увидел, что из-под одного куста торчит чья-то наклоненная голова и босые ноги. Какой-то человек сидел в кустах и внимательно смотрел на Лопе.

Холодная дрожь пробрала Лопе. Кто-то следил за ним из кустов. Но деваться уже было некуда. Лопе выпрыгнул на берег, и тут ему сразу стало еще холоднее, в мокрой одежде, на ночном ветру.

— Силы небесные! — сказал Лопе и запрыгал на месте, пытаясь согреться. — Второй раз за последние трое суток купаюсь в море в одежде и полном вооружении!.. Силы небесные и земные!

Лопе стянул камзол, чтобы выжать из него воду, и уже с вызовом повернулся к кусту. Тут он увидел, что человек, который следил за ним, молод, плохо одет и что он, не прячась, смотрит на него и смеется.

Лопе потер кривой нос, давно когда-то перебитый камнем из индейской пращи, подтянул панталоны, выпятил грудь. Вода струйкой еще стекала с него.

— Чему ты смеешься? — заорал Лопе, вдруг взбесившись. — Или ты хочешь сказать, что в этом наряде я похож на турка? Или на нечистого мавра? — Лопе выхватил шпагу, дрожа от холода и от злости. — Подойди-ка сюда, скажи мне это прямо! Да!..

Лопе подскочил к кусту и только тут разглядел, что человек одет в рваный подрясник и опоясан веревкой.

— Монах! — изумился Лопе и отступил. — Нет, с монахом я не стану драться.

Монашек встал. Он был еще очень молод, лет девятнадцати, не больше. Короткий подрясник задирался у него выше голых колен.

«Послушник!..» — уже с сочувствием подумал Лопе.

Монашек твердо шагнул к Лопе. Он принял вызов всерьез.

— Шпаги у меня нет! — сказал монашек, как-то необычно, с легкой хрипотой и картавостью выговаривая слова. — Шпаги у меня нет, но если хочешь, — на кинжалах!

Он распахнул рваный коричневый подрясник, и под одеждой послушника Лопе увидел второй пояс — широкий, расшитый сложным восточным узором. Пояс был надет прямо на голое тело, и из-за пояса торчала рукоятка кинжала, серебряная с чернью, арабской росписи.

— Если хочешь, — на кинжалах! — повторил монашек и выхватил кинжал из-за пояса.

— Послушник — и с кинжалом! — ахнул Лопе. Он не успел больше ничего ни сказать, ни подумать — лошадиный топот донесся из-за дальних кустов, — разъезд конных альгвасилов скакал по берегу, почти у самой воды. Оба, и Лопе и послушник, вместе шарахнулись в кусты и сели рядом на земле, тесно друг к другу, как заговорщики.

«Эге, да ты, монашек божий, кажется, боишься того же, что и я!» — подумал Лопе.

Монах молчал. Он напряженно вслушивался.

Один разъезд альгвасилов скрылся, второй, чуть отстав, скакал выше по берегу. Передний всадник конных вел на длинном поводу двух огромных псов.

— С собаками ловят! — прошептал Лопе. — Кого же это они ищут в Сант-Яго? Здесь, в Новом свете, с собаками охотятся только на индейцев, подобно тому, как в Старой Испании — только на разбойников и переодетых мавров.

Почти совсем стемнело, но и в полутьме Лопе, обернувшись к послушнику, увидел, что тот вдруг побледнел от этих его слов.

— Молчите, тише! Тише! — сказал послушник, все с тем же странным акцентом, что-то напомнившим Лопе.

Лопе взгляделся в лицо юноши, в горячие темные глаза, обведенные кругами, в смугло-желтые, точно чем-то опаленные щеки, в резкий изгиб ноздрей.

— Послушай, земляк, твое преподобие, или как там тебя называть, — мне кажется, это ты похож на мавра, а не я! — сказал Лопе.

Монашек сразу отшатнулся, вскочил и такими яростными глазами поглядел на Лопе, так злобно осерился на него мелкими белыми зубами, что Лопе сейчас же замолчал.

— Ну, ну, сиди, сиди спокойно! — Лопе тронул послушника за локоть. Смуглый сердитый монашек начал ему нравиться. Они посидели еще несколько минут. Конский топот затих вдали; больше ничего не было слышно, никто не показывался. Было уже совсем темно. У Лопе дробно стучали зубы от холода.

— Спать хочу, есть хочу, обогреться хочу, помилуй меня святая дева! — вздохнул Лопе. — Ты знаешь здешние места, паренек? Сведи меня куда-нибудь, где дадут поесть. Я заплачу, слово христианина!

Лопе неуверенно брякнул двумя последними бланками в кармане.

— Честное слово, за еду заплачу!

Послушник согласно кивнул, огляделся осторожно и выполз из-под куста. Он повел Лопе за собою сначала каменистым берегом, потом кустами, ямами, болотистым леском, подальше от земляного вала, на котором перекликалась стража, мимо жалких тростниковых хижин еще сохранившегося в окрестностях Сант-Яго индейского поселка. На пороге одной из хижин стоял старый индеец. На его голой груди была выжжена буква «М».

— Здесь! — сказал послушник.

— Ну что же, здесь так здесь. Ты тоже будешь есть, земляк? Лопе обернулся к послушнику, но уже не нашел его. Монашек исчез, точно провалился сквозь заросли.

«Ладно, бог с тобой!» — подумал Лопе. Индеец кланялся, молча приглашая его под навес открытой половины дома. Лопе прошел под навес, огляделся.

— Есть давай! — коротко сказал он индейцу.

Индеец еще раз поклонился и убежал за загородку, в темную половину хижины. Лопе услышал там какое-то движение, приглушенную суету.

— Я тебе заплачу! — крикнул Лопе. — Честное слово, заплачу!

Присмотревшись, он выбрал обрубок дерева и сел у навесной плетеной двери.

Индеец скоро вернулся. Он внес на деревянной площадке еду и молча поставил плошку на колени Лопе.

Это была жирная поросычья голова, сваренная с бананами и еще какими-то, не знакомыми Лопе, мелкими красными плодами.

— Вино есть? — спросил Лопе.

— Вина нет, — нечисто выговаривая, сказал индеец. — Водка индья есть.

— Вашей поганой индейской я пить не стану! — мрачно сказал Лопе. — Давай вина!

Индеец виновато развел руками. Потом принес глиняный жбан и подал его Лопе. Лопе отпил из жбана и еще сильнее помрачнел.

— Водка! Ну, дьявол с ней, пускай водка! — сказал Лопе.

Он пил и хмелел, и злился все сильнее. Синий, перебитый камнем в бою нос темнел и наливался кровью. «И на Фернандине нет тебе удачи, Лопе Санчес!.. — думал он. — Восемь лет в Новом свете — и ни денег, ни земли, ни дареных индейцев! Два похода в индейских землях да итальянский поход, четырнадцать больших сражений и до полусотни малых! Что ты заслужил за все это? Долговую тюрьму. Теперь поймают тебя альгвасилы, как мышонка, посадят насильно на судно, лишат шпаги, доброго имени, повезут обратно в Старую Испанию и старую нищету».

А как отплывали сюда, восемь лет назад, — сколько обещано было солдатам? Там, в Новом свете, говорили, золото грудями лежит прямо по берегам рек и ручьев, —

наклонись и бери! Корзинами индейцы загребают золото из воды, — есть такие места, где русло речное сплошь выстлано золотым песком. Еще говорили: землю здесь, в Новом свете, раздают всем, кто пожелает, и грамоту дареную и индейцев для обработки; выбирай себе надел, какой хочешь, сиди, богачей на индейской земле!.. Вот и разбогател... Сначала по морю мотало их три месяца бурей, едва каравеллу не разнесло в щепы, не знали, как добрались живыми до твердой земли. Потом — Дариен, на материковых землях. Сидели в крепости, как мыши в ловушке, кругом лес, змеи, индейцы, отравленные стрелы. Индейцы там свирепые, не похожие на здешних, островных: двойной длинной пикой с кремневым наконечником за двадцать шагов бьют прямо в глаз!.. Хлебнули горя в Дариене, что сказать... Жрать нечего было, — траву, лягушек ели, павших коней; ходить разучились от голода, от жары, от жажды, по земле ползали, как скоты. А капитаны?.. Именитые дворяне, в бархате и перьях, бродили по лесу и искали коренья. А походы, стычки, боевые труды?.. Хуан де ла Коса, умерший от ран? А несчастный Никуэса, попавший в плен... В Севилье думают: в Новом свете золото ложками гребут прямо со дна рек. Пускай попробуют!..

Разъяряясь все сильнее, Лопе привстал и сдвинул полку с колен. Вареные бананы рассыпались по полу.

Пускай попробуют, как он: грудью пройти через страну с капитаном Бальбоа, через все материковые земли, до Южного моря. Леса валили на дороге и лес на себе несли — строить бригадины в новом порту; так приказал капитан. Четыре тысячи мирных индейцев, не вынеся, умерло в походе да больше полтора ста христиан. Гиены стаями шли за ними следом... А встречи с немирными индейцами? Две копьевых раны, шесть ножевых да нос, перебитый камнем из пращи. А стрелы? Сколько стрел его проткнуло — не сосчитать! Лопе провел пальцем по шее, по плечу, потер кисть. До сих пор плохо сгибается в кисти левая рука. И после всего этого — пропадать за жалких сорок песо долгу в долговой тюрьме или прятаться от стражи здесь, у индейца, в грязной хижине?.. Святая Мария, допустишь ли?

Лопе стукнул жбаном о пол, и водка пролилась на земляной пол. Он встал, шатаясь.

Нет, пойти, пойти сейчас же, пока еще не поздно, пока на площади стоят столы, пока горят свечи, пока не отслужили в церкви вечернюю службу — пойти, пробиться, сказать: «Я, Лопе Бенито Санчес, из Новой Кастилии, солдат капитана Бальбоа, дрался в Дариене, в Номбре, де Диос, на Белене, первый завоеватель материковой земли!.. Задолжал сорок песо в кости, — берите меня в поход!.. Пускай алькальд простит мне долг. К самому губернатору Веласкесу пойду, — скажу: берите меня, сеньоры, в армаду».

Лопе швырнул жбан на землю и пошел к двери. Тут собачий лай послышался невдалеке от хижины, и снова топот копыт. Точно в ответ на это, отчаянно завозился за перегородкой индеец и испуганно выскочил к Лопе. Лопе обернулся.

— Ты что, индейская голова, боишься, что я тебе не заплачу? — сказал Лопе. — Вот, бери!

Он кинул индейцу монету. Но старик даже не подобрал ее. Индеец молча прислушивался к собачьему лаю, чем-то ужасно напуганный.

— Что с тобою, индио? — спросил Лопе.

Индеец весь затрясся и буква «М» запрыгала у него на морщинистой коже. Буква «М» означала «Мир»; индеец был мирный; таких собаки не трогали; и все же индеец дрожал и с ужасом прислушивался к топоту копыт и лаю собак.

— Они уже близко! — сказал индеец.

Легкий, едва различимый стон донесся из-за перегородки. Кто-то шевелился в темноте, за тонкой стенкой, в закрытой половине хижины.

— Кто там у тебя? — спросил Лопе.

Индеец не успел ответить. Громкий лай раздался у самого порога; циновки у входа откинулись, и темно-рыжий пес огромной тенью метнулся по хижине. В одну секунду пес проскочил под навесную дверь за перегородку, в темный угол, и тут сразу лай затих, слышно было только злобное рычание и чей-то тихий стон.

— Леонсе, Леонсе! Он здесь! Нашел! Молодец, Леонсе! — Несколько человек сразу вбежали в хижину.

— Света, сеньоры, света!.. Здесь темно!

— Вон, вон там, за перегородкой. Смотрите, смотрите!..

Кто-то зажег свечильню. В углу, под соломой, под наваленным тряпьем, за перегородкой метался молодой

индеец, опрокинутый на землю. Пес крепко держал его, навалившись лапами, и свирепо рычал.

— Это он, он, Мельчорехо!..

— Молодец, Леонсе! От этого пса никто не уйдет!

Вбежали еще люди; в хижине сразу стало тесно и шумно. Лопе оттеснили к стене.

— Отдай, Леонсе! — Худой носатый сеньор в плаще, отороченном беличьим мехом, подскочил к собаке. — Отдай мне, Леонсико!

Пес зарычал еще более грозно и оскалился.

— Не отдаст!..

— Хозяину отдаст, хозяину!..

— Самому сеньору Кортесу!..

Конский топот затих у порога; и, тяжело спрыгнув на землю, через порог переступил еще один человек.

— Отпусти его, Леонсе! — негромко сказал вошедший.

Пес слегка взвизгнул, точно жалея выпустить добычу, но сейчас же покорно снял лапы с груди индейца, отскочил и стал неподвижно, глядя в глаза хозяину.

— Молодец, Леонсико! — так же тихо сказал вошедший сеньор.

Он был невысок ростом, чуть выше среднего, в плечах широк, в талии тонок, как сеньорита, лицом бледен, темен, горяч в движениях и холоден взглядом. Коричневый гладкий плащ был на нем без всяких украшений. Из-под плаща виднелся боевой панцирь кордовской кожи.

— Молодец, Леонсико! — еще раз повторил сеньор и улыбнулся.

Пес снова взвизгнул, потом бросился и благодарно лизнул хозяина в плечо.

— Леонсико! — Лопе смотрел на собаку, теряя голову. Леонсико?.. Да это тот же самый пес!.. Такой же огромный, темно-рыжий, та же черная морда и обвисшие уши, блестящие с подпалинами глаза!.. Леонсико, пес капитана Бальбоа! Как же он попал сюда с материковых земель?..

Лопе точно забыл, что почти семь лет прошло с той поры, как они шли с капитаном Бальбоа и его знаменитым псом через леса Панамы, к Южному морю, что тот Леонсико уже был бы стар, если бы выжил, что пес не выжил, а давно убит индейцами, что самого капитана

уже нет в живых, его давно осудили и казнили свои же друзья и соратники по походу.

— Леонсико! — еще раз громко сказал Лопе.

Никто не слушал его. Индейца вытащили из тряпья, поставили на ноги. Он был молод, бледен от страха, на голой разрисованной груди у него висела шкурка кролика, и эта шкура, изодранная псом, вздрагивала на груди индейца от частого судорожного дыхания.

— Вот видишь, мы тебя нашли, Мельчорехо, — холодно сказал сеньор в панцире. — Теперь у меня будет переводчик в походе, язык в чужих землях.

— Я не хочу быть языком! — завыл Мельчорехо. — Лучше пусть мне отрежут язык, как моему отцу и брату!.. Я не хочу быть языком у белых.

Индеец упал и забился на земляном полу.

— Дайте ему водки, пускай успокоится, — так же холодно сказал сеньор в панцире.

Шляпа с завернутыми краями не прикрывала его лица, темных глаз под ровными бровями, большого, резко очерченного носа, худых подтянутых щек. Непонятен был взгляд человека: быстрый, стремительный и вместе с тем холодный.

— Отпустите меня, сеньор Кортес! — Мельчорехо подполз к самым ногам человека в панцире. Кровь лилась у индейца из прокушенной псом ноздри. Он пытался схватиться за рукав сеньора, но Кортес выдернул руку.

— Отведите его на капитанское судно.

Индейца увели. Только тут Кортес заметил Лопе Санчеса. Лопе стоял, все так же окаменев, у стены и не видел ничего, кроме темно-рыжей собаки с черной мордой.

— Леонсико! — в третий раз, громко сказал Лопе. — Пес капитана Бальбоа!..

Кортес живо обернулся к нему.

— А ты знавал сеньора? — спросил Кортес.

— Я служил у него, ваша милость! — выступил Лопе вперед.

Тут все заметили солдата. Несколько сеньоров обернулось.

— На Панаме, на материковых землях, в Дариане, на реке Белен! — не дожидаясь вопроса, торопливо и радостно перечислил Лопе. — Весь поход с капитаном до

Южного моря я прошел, ваша милость!.. И этот самый пес с нами был, Леонсе.

— Это не тот самый, — улыбнулся Кортес. Он провел рукой по рыжей пышной шерсти на шее собаки. — Это тоже Леонсе, но Леонсе-младший. Оба они от одного отца, знаменитого пса Барбастро с острова Сан-Иохан. Я взял моего щенком.

— А у капитана Бальбоа?..

— У капитана Бальбоа был старший брат. Леонсе-старший, тоже замечательный пес.

— О, такого пса, как тот Леонсе, не было в целом свете! — задыхаясь от волнения, сказал Лопе. — Если бы вы могли его видеть, ваша милость!.. Мирного от немирного индейца он различал по запаху, за сто шагов, в любой местности, будь то в лесу или на болоте. Даже мавра в испанской одежде он отличал от испанца за двадцать — тридцать шагов. А как охотился!.. До десяти человек приводил в крепость за одну вылазку в лес. Капитан Бальбоа даже долю этому псу назначил из доходов.

— Долю? Собаке? Долю из доходов? — Все сеньоры теперь подошли ближе, слушая Лопе. — Долю золота собаке! — Это было неслыханно.

— Да, да, за каждую удачную вылазку Леонсе получал свою долю золота и индейцев. Капитан велел вести его доходам счет и записывать в особую грамоту. О, этот пес был богаче любого из наших капитанов!..

— Слышал, слышал, — все так же спокойно улыбаясь, сказал Кортес. Он очень внимательно оглядел Лопе с головы до ног. — Ты служил у самого Бальбоа? Мне опытные солдаты нужны. Как тебя зовут?

— Лопе Бенито Санчес, с позволения вашей милости, — Лопе поклонился. — Лопе Санчес, или Лопе Меченый, из Новой Кастилии, ваша милость.

— Ты еще не записался ко мне в армаду, Лопе Санчес?

— Еще нет, ваша милость!.. — Лопе замолчал, задыхнувшись от волнения. Он не знал, как объяснить капитану все сразу: и про долг, и про тюрьму, и про надежды, и про свою солдатскую обиду, и как он добрался сюда, прячась, точно вор. Он молчал, смешавшись.

— Ну что же? Почему? — спросил Кортес, все так же приветливо.

— Я наделал долгов, ваша милость! — выпалил Лопе, не помня себя.

— Наделал долгов? Велика важность! Я тоже наделал долгов, — Кортес повернулся к своим капитанам. Сеньоры засмеялись, засмеялся и сам Кортес, весело и беспечно. — Я немало наделал долгов, собираясь в эту армаду. Большой нам предстоит поход, много нужно мне и людей, и судов... Пришлось и моим капитанам пораскрыть кошельки. Но мы покроем все!.. Каждый из вас, — он широким жестом обвел всех стоящих, точно включая их всех в этот жест: и носатого в отороченном плаще, и другого, без плаща, в зеленом камзоле, и низенького, курносого, с длинными перьями на шляпе, спускающимися до самых лопаток, и альгвасила у двери, и даже Лопе, — каждый из нас, с помощью господ бога и святой девы, вернется из похода богатым. Мешки будут ломиться от золота и жемчуга. Половину Испании можно будет купить на то золото, что мы привезем... Рыцари африканского похода не снискали той славы, которая покроет наши имена.

Все молчали, и Лопе затих, слушая сеньора. По властному голосу, по силе слова, по всей повадке он узнавал в нем настоящего капитана.

— Если позволит ваша милость... — несмело выступил вперед Лопе. — Сорок песо, которые я проиграл в кости...

— Забудь о них! — оборвал его Кортес. — Все долги и вины снимаются с того, кто идет с нами в поход. Рассчитываться будешь тогда, когда придешь с добычей. Завтра утром, у моего дома, по моему приказу ты получишь боевое снаряжение, пятнадцать песо жалованья и суконный камзол с моего плеча!

— Благодарю вас, ваша милость! Высокородный сеньор, благодарю... — кланялся Лопе уже в спину сеньору. Кортес, не слушая, торопливо вышел; за ним — его офицеры. Лопе стоял на месте, затихший, восхищенный. Он слышал, как сеньоры вскочили на коней, как снова громко залаял Леонсико, опережая кавалькаду.

— Скорее, друзья! Мы опоздаем к вечерней мессе! — донесся голос Кортеса.

— 'Каков сеньор!.. — прошептал Лопе. — Со времени Васко Нуньес Бальбоа я не слышал таких слов, такого обращения.

Лопе повернулся к старому индейцу, притихшему в углу.

— Васко Нуньес Бальбоа был великий капитан, — сказал Лопе, точно решив доверить индейцу свою тайну. — Бальбоа был великий капитан, пока его не заковали в цепи и не казнили его собственные друзья и земляки. Только бы с этим сеньором, охрани нас, святая дева, не случилось того же!..

Глава вторая **СЛУГА ДВУХ ГОСПОД**

Паж Ортегиля внес жаровню и поставил ее подле кровати, у шелкового полога. Он постоял, прислушался и вышел, легко ступая в мягких полотняных сандалиях. За пологом было тихо. Только к вечеру начиналось кряхтенье, сонное фыркание, громкие зевки. Хозяин спал весь день и просыпался к вечеру. Своим делом хозяин Мильян де Карнас мог заниматься только по вечерам.

На террасе, завешанной циновками, на высокой подставке чернела большая, уставленная в небо труба. Чертежи, карты, глобус с выпуклостями гор и провалами морей, схемы созвездий и непонятные рисунки раскиданы были по террасе, на полу, по столам. Прикрытый медным экраном, в углу стоял небольшой горн, рядом какие-то сосуды, перегонные кубы. Хозяин дома, сеньор Мильян де Карнас, был космограф, алхимик и звездочет.

К вечеру сеньор де Карнас проснулся. Он долго грел ноги у жаровни, вздыхал — ночью и в тропиках пробирала сырость, дом стоял низко, среди болот. Потом сеньор оделся и прошел на террасу. Губернатор Веласкес просил де Карнаса этой же ночью, не откладывая, составить гороскоп на ближайшую треть года. Губернатор хотел знать, что сулит ему новый поход.

Де Карнас долго возился, устанавливая трубу. В Старом свете все было так понятно. Ясным светом сиял Орион, и рядом, привычной парой, расположились Близнецы. Лебедь простирал многозвездные крылья над Дельфином, а возле них сияла Лира. Дракон и Гончие Псы, Малый Лев и Большой Лев — все были на своих

местах. Здесь, в Новом свете, все непривычно, все не то. Медведица скрылась за чертой неба, зато сиял Стрелец, и рядом с ним длинный звездчатый хвост раскинул Скорпион. Южная Рыба мерцала непривычно большим глазом, а Водолей переместился куда-то в сторону, на край неба, к самой черте горизонта. Нет, непривычное, непонятное небо было здесь, над чужими островами.

Де Карнас долго возился, устанавливая трубу. Туман покрыл левую нижнюю четверть неба. Ауспиции неясны, весной здесь так много падающих звезд, словно осенью в Испании. У самого края горизонта, точно обрывок туманности, дождь мелких звезд, в которых невозможно разобраться. Плохая армада предстоит тебе, губернатор Веласкес!..

Сеньор де Карнас засопел, набрасывая на бумагу поспешные кривые значки.

— Сеньор, ваша милость, сам губернатор изволил прибыть к нам! — Ортегиля, худой, губастый мальчишка, слуга астронома, просунул голову меж циновок.

— Сеньор губернатор? Сам? У меня еще не готово! — де Карнас смял листок и пошел навстречу Веласкесу. Но губернатор уже поспешно поднимался на террасу.

Губернатор Веласкес был чем-то очень смущен. Жидкие волосы упали на вспотевший лоб, воротник камзола губернатор расстегнул, задыхаясь, и даже перевязь шпаги ослабил, так что шпага волочилась по полу. Губернатор ужасно спешил.

— Сеньор де Карнас, дорогой, скорее, мне нужна ваша помощь сейчас, немедленно!

— Что случилось с вами, сеньор? — спросил де Карнас, пугаясь. — В силах ли я буду вам помочь?

— Мне нужен совет, ваш совет, гадание, сейчас, не откладывая до утра. Мой шут... о, этот ужасный негодяй...

— Сумасшедший Сервантес? Знаю, знаю... Что же он сделал с вами, дорогой сеньор?

— Он лишил меня покоя вдруг, в одну минуту. Сегодня в полдень, у церкви на паперти, после мессы, при всем народе, он крикнул мне несколько ужасных слов...

— Какие слова, мой сеньор?..

— «Ты дурак, Диего!» — крикнул он, — «Ты просто старый идиот!.. Зачем ты посылаешь с армадой Фер-

нандо Кортеса генерал-капитаном?.. Ты думаешь, он забыл старую вражду? Ты думаешь, он заботится о твоей чести и твоих доходах?.. Дурак ты, Диего, старый дурак!.. Фернандо Кортес набьет доверху золотом свои каравеллы, а тебе только издали покажет корму, когда повернет суда в Испанию, к самому королю».

— Так сказал шут?

— Так он сказал. Я пришел к вам, дорогой де Карнас! Только вы один скажете мне: какова будет армада. Верить мне или не верить словам шута?

— Гороскоп еще не готов, — сказал де Карнас.

— Не гороскоп, нет... Гадание! — умоляюще попросил губернатор. — Вы так много знаете, дорогой де Карнас. Черное гадание!..

— Гадание? — Сеньор де Карнас стал серьезен. Он задернул циновки у входа на террасу, осторожно отодвинул медный экран. В малом горне медленно разгорелся синий огонь. Де Карнас растопил на этом огне какую-то странную темную смесь, потом вылил коричневую массу в сосуд с водой. Вода зашипела, и темная масса расплылась по поверхности, приняв причудливую форму. Де Карнас наклонился над сосудом. Человек? Дом? Дроги? Он долго стоял и глядел на образовавшуюся фигуру, не говоря ни слова.

— Что вы видите, дорогой сеньор? — теряя терпение, наконец спросил губернатор.

— Я вижу... мой сеньор, я вижу церковь! — замогильным голосом ответил де Карнас. — Я вижу церковь и человека в дверях церкви. Человек молод, ему лет двадцать пять, двадцать шесть — не больше. На человеке странная одежда... — де Карнас еще ниже наклонился, рассматривая фигуру, — да, на нем плащ дворянина, он при шпаге, но под плащом рубище пленника, на ногах срывки цепей. Этот человек убежал из тюрьмы...

— Из тюрьмы?.. — губернатор насторожился.

— Да, из тюрьмы, это ясно видно... Еще есть люди — рядом, у стены церкви, и за углом; я вижу много фигур, все они стоят неподвижно и смотрят на него.

— Это все вы видите в вашем сосуде, дорогой де Карнас?

— Да, сеньор, я вижу все это в моем сосуде, — астролог скрыл, отвернувшись, мгновенную хитрую улыбку. — Я вижу все это так ясно, точно предо мною

живые люди, которых я знавал лично и беседовал с ними не раз.

— Продолжайте, де Карнас, продолжайте!

— Так вот: все эти люди смотрят на него, на молодого дворянина. Они серьезны — он беспечен. Они неподвижны — он в движении. Он сходит с верхней ступеньки на нижнюю, потом снова возвращается к порогу храма. Ему наскучило в церкви, — он укрывается в ней уже семнадцать дней. Пока он внутри церкви, — никто не посмеет его тронуть: сам святой Яго, покровитель Испании, охраняет его. Но, едва он сделает один шаг за пределы храма, эти сеньоры схватят его и бросят в ту же тюрьму, из которой он убежал.

— Кто посадил его в тюрьму? — жалобно спросил губернатор.

— Вы сами, сеньор Веласкес, вы сами...

— Значит, речь идет о...

— Сейчас вам будет ясно, сеньор Веласкес, о ком идет речь; сейчас будет ясно!.. Так вот: молодому дворянину наскучило в церкви, там темно, душно, едва мерцают свечи; он вышел и стоит на ступеньках, на солнце, стоит и улыбается беспечно. Он видит людей, которые притаились рядом, он знает, что ему угрожает. Один шаг, один неосторожный шаг со ступенек на землю, — на него бросятся с четырех сторон люди, его схватят, и тогда он снова в ваших руках, предоставлен вашей милости и вашему справедливому суду. Но он весел. Вот он играет шпагой, легко вертит ее в руках, — вы сохранили ему шпагу в тюрьме — это ужасная неосторожность, сеньор Веласкес! Он играет шпагой, точно хочет вызвать этих сеньоров на дуэль. Вот он вынимает из кармана кусок хлеба, отламывает кусок, жует. К ступенькам церкви подходит птица, большая индейская птица с пестрыми перьями. Индейцы называют эту птицу «гуари»; испанцы еще не придумали ей имя. Дворянин бросает птице крошки хлеба. Птица клюет; он улыбается, бросает ей еще. Кажется, он занят птицей больше, чем людьми, притаившимися рядом. Те стоят, не дышат, зубами скрипят от нетерпения, готовы броситься при первом его неосторожном шаге. Пленник хочет погладить птицу, у нее красивые пестрые перья, синие, золотистые... Птица сердится, она отступает, потом наскакивает на пленника, точно дразнясь. Пленник вы-

нимает шпагу; он шутя фехтует, целясь птице в глаз. Вот он делает, увлекшись, выпад вперед и, сам того не заметив, с последней ступеньки сходит на землю...

Легкий стон послышался за циновкой, в спальне астролога. Паж Ортегиля в ужасе отполз в глубь комнаты, от циновки, под которой подслушивал. Мальчишку трясло от волнения. Но сеньор де Карнас ничего не заметил.

— ... Пленник делает шаг вперед и в это же самое мгновение огромный альгвасил — имя этого негодяя вы знаете, сеньор губернатор, это Хуан Эскудеро, ваш любимый помощник, — огромный альгвасил бросается на пленника сзади, прямо на спину, как ястреб на теленка, и накрывает его своим плащом. Остальные шестеро подсакивают с разных сторон, пленнику вяжут руки, у него отбирают шпагу, его снова ведут в тюрьму...

— Да, но из тюрьмы он снова убегает!..

— Конечно, конечно, он убегает, у него на острове много друзей.

— Вы говорите о Кортесе?..

— Конечно, я говорю о нем, о Фернандо Кортесе. Этот человек помог вам завоевать Фернандину, а вы посадили его в тюрьму, сеньор Веласкес.

Губернатор вскочил и забегал, тяжело дыша, по террасе.

— Это было так давно! — сказал губернатор. — Зачем вы мне про это говорите?.. Я о будущем просил вас гадать, а не о прошлом, сеньор де Карнас! Теперь мы с Кортесом друзья. Я сделал его, худородного дворянского сына, алькальдом города Сант-Яго. Я подарил ему поместье и дом. Я назначил его генерал-капитаном всей армады. Я доверил ему завоевание новых земель во славу нашего короля! Скажите мне о будущем, сеньор де Карнас! Какова будет армада? Много ли золота привез мне из похода Фернандо Кортес?

— Фернандо Кортес еще не забыл о прошлом, дорогой Веласкес.

— Значит, вы думаете, — он мне изменит? Предаст?

— Я ничего не думаю, мой сеньор, я говорю только о том, что вижу.

— Что еще покажет вам ваш сосуд?.. Меня интересует не прошлое, а будущее. Посмотрите еще, дорогой де Карнас!

— Мой сосуд говорит: прошлое живо; Кортес его не забыл. Или вы думаете, — ему легко забыть, сеньор Веласкес, как вы заковывали его в цепи и в рубище пленника гоняли по городу? Как он ободрал в кровь ноги и спину, спускаясь из окна тюрьмы, в цепях, из верхнего этажа? Как он плыл морем, спасая свою жизнь, и едва не погиб, ослабев, у самого берега? Вы думаете, что это можно забыть, сеньор Веласкес?

— Я так и думал, — вяло сказал Веласкес, садясь и опуская голову. — Я так и думал: он не забыл.

— Да, это была большая неосторожность, сеньор Веласкес, большая неосторожность тогда посадить его в тюрьму, а теперь назначить генерал-капитаном.

Веласкес весь поник в кресле.

— Мне кажется, вы правы, сеньор де Карнас, — сказал Веласкес. Он вздохнул и подтянул съехавшую шпагу. — Значит, и шут не шутил?

— Да, и шут не шутил.

— Но погодите, сеньор де Карнас, еще не поздно! — Веласкес снова забегал по террасе. — Еще не поздно! Флотилия еще не ушла в море. Кортес еще в моих руках! Я могу сместить его, пока он здесь. Суда, люди — все принадлежит мне. Остров еще в моих руках. Я сегодня же ночью приказом смещу Кортеса и объявлю генерал-капитаном другого! Памфило Нарваэс — он мне родня, он верный человек. Да, да, еще до наступления утра Памфило Нарваэс станет генерал-капитаном всей армады!

— Нарваэс? — астролог не скрыл насмешливой улыбки, но закивал согласно головой. — Да, да, сеньор Нарваэс, конечно!

— Прощайте, сеньор де Карнас, спасибо! — Губернатор вложил в руку астролога двадцать золотых кастельяно и выбежал вон.

Астролог занялся своим горном. Он крикнул пажа, чтобы тот принес воды вымыть руки: «Паблико!..» Но паж не откликался. Куда он делся, негодник? Только что мальчишка был здесь, за циновкой, подметал пол в спальне. Куда же он делся, безбожник?..

Де Карнас не нашел пажа ни в спальне, ни в других комнатах. Паблико Ортегиля был уже далеко. Он бежал дальней улицей к дому, над которым висело черное с белым крестом знамя, к дому Фернандо Кортеса.

Паблико бежал не оглядываясь. Его мальчишеские губы дрожали. Он нес полный короб вестей для донна Фернандо. Паблико и сам весь дрожал от гордости, от радости, от нетерпения. Он летел быстро, прижав руки к бедрам, точно боялся невзначай просыпать свои важные срочные вести.

Глава третья **ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ**

Весь следующий день Лопе ходил счастливый.

Солдат! Солдат армады! Рано утром Лопе привел в порядок одежду, вычистил плащ, натер мелом рукоять шпаги и серебряные перемычки на поясе. Единственный цирюльник в Сант-Яго бесплатно подбрил ему бороду и усы. К полудню он позавтракал в харчевне в счет будущих доходов. Веселый, гордый, откинув плащ с левого плеча и небрежно приподняв полу сзади кончиком шпаги с щегольством старого солдата, Лопе подошел к дому Кортеса.

Здесь, у столов, у знамени с белым крестом, день и ночь толпились люди. Конкистадоры, дворяне, солдаты со всей Фернандины — из Пуэрто де Лос Пинос, из Макаки, из Тринидада, с острова Ямайки, из Сан-Доминго — толпой стояли у дома: всех привлекала новая армада.

Когда подошел Лопе Санчес, небрежно звеня по камням кончиком шпаги, концом острой бороды упершись в воротник, сияя выпученными глазами и синим перебитым носом, молодежь перед ним расступилась.

— Лопе Бенито Санчес из Новой Кастилии, — важно сказал Лопе писцу, сидевшему за столом.

Писец вписал имя в книгу и пододвинул Лопе пятнадцать песо из кучки, лежавшей на столе.

— Сеньор Кортес обещал мне камзол и полное снаряжение, — гордо сказал Лопе.

Писец небрежно взглянул на него.

— Камзол проси у самого сеньора, если тебе его обещали, — сказал писец. — А снаряжение? Вот, можешь выбрать себе щит на том столе; только за него у тебя отсчитают пять золотых песо из твоей доли доходов.

— Арбалеты? — спросил Лопе.

— Арбалетов у нас не хватило и на первую сотню, — сухо сказал писец.

Лопе огорчился. Без коня, без арбалета, придется идти в поход простым пехотинцем, ни в стрелковую, ни в конную часть.

Лопе долго выбирал щит и выбрал хороший, прочный, обитый кожей, с переплетом из медных прутьев. Щит несколько утешил Лопе. Он прошелся перед домом раз, другой, оглядывая толпу. Может быть, он найдет здесь кого-нибудь из прежних товарищей, участников старых походов?

Людей было много, но все незнакомые, молодежь. Были и совсем мальчишки, лет по шестнадцати, — безусые лица, восторженные глаза. На Лопе смотрели с завистью, — на его шрам, на выправку старого солдата, на перебитый нос. Лопе стало грустно, — он вспомнил себя таким же безусым парнем, молодость вспомнил, итальянский поход... Хосефина тогда еще была ему невестой... Лопе вздохнул. Куда девались товарищи, с которыми он делил опасности давних походов? Где они все? Полегли там, за морем, или здесь, в Новом свете, в болотах Дариена, в лесах Твердой Земли? Где Пабло Руис, где Каталано, где Мигель, верный друг, Мигель Самбора? Луис Кастанья жив, но уже не годен в солдаты: стрелой пробило коленные связки, остался хром. Где-то он теперь? Лопе еще раз вздохнул.

Возле дома и на площади кучками стояли люди, толковали про новости, про поход. Суда пойдут на запад, к Юкатани, к берегам, у которых в прошлом году побывал капитан Грихальва. Сеньор Кортес хотел пройти поначалу тем же путем, что и Грихальва, но потом двинулся в глубь страны, в земли, в которых никто из христиан еще не побывал.

Только в прибрежных деревнях Грихальва наменял золота на тридцать тысяч песо. А там, в глубине страны, его больше, много больше!..

— Индейцы там по берегу живут разные, одно племя не похоже на другое, — рассказывали те, кто побывал с Грихальвой. — В иных местах хорошо принимают: плодов принесут, птицы и к себе на берег зовут. Золота дадут, песку золотого отсыпят целый мешок за железный топорик. А в других местах — презлые живут ин-

дейцы, к берегу ни за что не подпустят. Встречают дротиками, а то и отравленной стрелой.

— Жарко пришлось нам на обратном пути, — рассказывал Берналь Диас, красивый стройный солдат с сухим лицом кастильца. Вокруг Диаса стояло много народу. Диас был опытный, бывалый солдат; он провел весь поход на судах Грихальвы, да еще раньше побывал у тех же берегов и у Флориды, с капитаном Эрнандо де Кордова.

— Плохо пришлось нам на Потончане, на обратном пути, — рассказывал Берналь Диас. — Индейцы не давали набрать пресной воды, не подпускали к своим колотцам. Немало людей положили мы на берегу, и все же ушли без воды, — едва не погибли на судах от жажды.

— Потончан? О, там, говорят, у индейцев и бадьи, и ступки, и даже плошки из чистого золота! Правда ли это? — Люди сдвигались ближе, глаза разгорались, руки сжимали рукоятки мечей и шпаг. Фернандо Кортес, ровный генерал-капитан, — смелый человек, он не станет лепиться к берегу, как этот трус Грихальва. В новом походе они все станут богаты, вернутся с золотом, с пленными, покрытые славой.

— Новые земли!.. — толковали солдаты. — Уже на Эспаньоле, на Фернандине по берегам рек исчезло золото, оскудели рудники. Прошли времена, когда в руслах рек Эспаньолы находили самородки с церковное блюдо величиной; теперь и в королевских рудниках не набирают золота на тысячу песо в год. Поделены земли, розданы грамоты, кто половчее, — прибрал к рукам лучшие участки. Ни одного мирного или немирного индейца не осталось на долю вновь прибывшего человека. Надо искать новых земель!

В Старом свете, в Испании, остались семьи, жены и дети, старики, нищета. Многие солдаты не имели вестей из дому годами. Дома, в Испании, был голод, нищая крестьянская земля, злой сеньор, налоги. Здесь, на островах Нового света, эти люди надеялись стать богатыми и свободными. Мало ли было случаев в прежних походах? Нищие привозили по сто тысяч золотых песо, садились помещиками на плодородной индейской земле. Никто не знает, какие богатства ждут их всех в новых, еще никому неведомых землях.

Лопе переходил от группы к группе. Все ждали Кортеса, — он еще не вернулся от дневной мессы.

Месса кончилась. Несколько женщин показалось вдали, в конце улицы. Это шла из церкви сеньора Каталина Кортес со своей свитой. Открытая карета ехала позади. Не прикрывая лицо платком от дневного зноя, не умеряя шага, донья Каталина шла быстро и развально, как кавалерист, и улыбалась своим сеньоритам. В руке она держала молитвенник. Леонсико шел рядом. Осторожно ставя сильные лапы, пес нес в зубах веер сеньоры.

— Добрый день, сеньора!.. Добрый день, ваша милость, — каждый старался первый поклониться супруге генерал-капитана. Донья Каталина кивала слегка, милостиво и небрежно, точь-в-точь Мария де Толедо, жена наместника Индии. У Марии де Толедо Каталина служила прежде камеристкой.

Не останавливаясь ни с кем для разговора, донья Каталина прошла к себе в комнаты. За нею важно проплыли ее сеньориты.

Нет, Кортес был не таков. Став генерал-капитаном, он нисколько не изменился в обращении, не стал ни груб, ни высокомерен. «Все придет!» — твердил Кортес. Он был терпелив. Он вооружал людей. Он продавал свою землю и покупал порох и пушки. Когда его суда вернутся в этот залив с трюмами, полными золота, остров Фернандина станет тесен для него. Тогда все придет. До той поры ему для себя ничего не было нужно. Походный коврик вместо постели, голые стены да добрый конь на конюшне. Он был равнодушен к лишениям.

— Я приехал сюда не для того, чтобы копать в земле, как простой мужик, — сказал Кортес, когда впервые прибыл на индейские острова, — а для того, чтобы добыть славу и золото вот этим мечом!

Нищий дворянский сын из Эстремадуры, он узнал дома, на родине, всю горечь нищеты: протертый камзол отца, похлебка без мяса в будни и постный пирожок в воскресенье, голые стены, портреты предков и бахвальство заслугами деда. Золото, богатство, и еще сильнее, чем богатство — слава, сила, власть над людьми с первых отроческих лет привлекали Кортеса.

Путь к славе, наконец, открылся ему. Он отправлялся в новые земли, генерал-капитан большой армады.

Все ждали Кортеса. Он показался, наконец, в дальнем конце улицы, и люди перед домом пришли в движение. Каждый хотел подойти поближе, спросить, узнать, перекинуться словом или просто поклониться пониже генерал-капитану. Взволновался и Лопе, — он хотел напомнить сеньору про камзол.

Но на этот раз Кортес шел один, далеко обогнал своих капитанов, не останавливаясь для разговоров, не глядя ни на кого. Он был сердит. Ковыляя, за ним шагал длинный тощий человек в странном наряде: широких сборчатых турецких шароварах, желтом камзоле с большими пуговицами и плоском старомодном берете, сдвинутом на ухо. Это был шут губернатора, Хуан Сервантес.

— Возьмите меня, ваша милость, сеньор Кортес! — негромко умолял шут. — Возьмите меня в поход!.. Я буду вам полезен.

— Как? И ты еще просишь, чтобы я взял тебя с собой? — вдруг останавливаясь, спросил Кортес. — Ты сошел с ума, Сервантес!

— Возьмите меня, ваша милость! Слово шута! Я буду вам полезен, слово шута! У меня есть конь — кобыла, замечательная кобыла!.. Я достану меч. Я биться буду не хуже любого из ваших капитанов!..

— А шутки шутить будешь? — очень серьезно спросил Кортес.

— Буду, ваша милость!..

— И такие шутки, как сегодня у церкви, тоже шутить будешь? — Кортес усмехнулся.

Шут побледнел; видно было, что ему стоит немалых усилий говорить с улыбкой.

— Если вашей милости мои шутки не по вкусу, — я постараюсь придумать другие.

— Я хотел бы знать, кто тебе подсказал твою сегодняшнюю шутку, — медленно сказал Кортес.

— Вы и так это очень хорошо знаете, ваша милость, — смиренно ответил шут.

Кортес улыбнулся.

— Пожалуй, ты прав.

— Возьмите меня с собою, ваша милость!.. — опять заскулил шут. — Вы теперь важный сеньор, у вас — свита; должен же в свите быть шут!

Кортес не отвечал.

— Ай-ай, как разозлится этот старый дурак, Веласкес, когда узнает, что даже его шут ушел с вами! — пропел шут.

Кортес улыбнулся.

— Пожалуй, я тебя возьму! — сказал он.

Шут подпрыгнул на месте и завертелся вокруг сеньора.

— Кортес смел! Кортес добр!.. Кортес великодушен!..

Кортес снова остановился.

— А ты меня не продашь, Сервантес? — спросил он и взглянул шуту в серые глаза.

— Нет, нет, ваша милость! Слово шута, — не продам! — ответил шут, но глаза спрятал.

Кортес поднялся на крыльцо хмурый, ушедший в свои мысли. Никто с ним не заговаривал. Лопе тоже не решился напомнить о себе, — сегодня сеньору, видимо, не до камзола.

Толпа у дома поредела.

— Сегодня в церкви, перед дневной мессой, шут Сервантес что-то громко кричал о генерал-капитане, — передавали в толпе. — Шут хотел поссорить Кортеса с губернатором.

— Поссорить? Они и без того враги, — тихо сказал Алонсо Пуэртокарреро, самый старый из капитанов.

Многие разошлись; другие стояли еще долго, до вечера, точно ожидали чего-то.

Деваться Лопе было некуда; он побродил по улицам и снова вернулся к дому Кортеса. В церкви уже отошла вечерняя месса. Горели фонари у столов, но утреннего писца уже не было; люди стояли вокруг и сидели прямо на столах. Тусклые кормовые огни одиннадцати судов светились на рейде.

Еще не все готово было к отплытию, мало запасли зерна, солонины, мало пороха и оружия. Кортес продал собственное поместье и закупал коней и боевое снаряжение. Зато людей было много — четыреста с лишним человек — большая армада.

Губернатор Веласкес тоже вложил свою долю в расходы по снаряжению армады: две бочки кислого вина.

— Губернатор и так получит свою долю доходов, — толковали вокруг столов. — Пятая часть всей добычи пойдет королю, десятая — наместнику Индии, и двенадцатая — губернатору острова.

— Да еще генералова доля, да капитанам, пушечным мастерам, арбалетчикам, мушкетерам, — всем по двойной и по тройной доле, — сказал кто-то из темноты. — Что же тогда останется нам, простым солдатам?

Никто не ответил солдату. Людям точно не хотелось сейчас думать о будущем.

— Там видно будет! — помолчав, пробормотал пожилой солдат с обвисшими усами.

— Не бойтесь, сеньор Кортес нас не обидит! — крикнул чей-то мальчишеский неуверенный голосок.

— Не обидит, сеньор Кортес не обидит, — поддерживали парня еще два — три голоса.

Кортес все еще не выходил из дому. Он заперся у себя в дальней комнате с секретарем армады и никого не велел пускать.

Было поздно. Толпа уже собиралась разойтись, когда увидели какого-то мальчишку, который бежал через площадь прямо к дому Кортеса. Мальчишка был без шляпы и очень взволнован.

— Пропустите меня!.. Пропустите меня! — кричал он, расталкивая сторожей, нырнул через боковой проход во внутренний двор дома и исчез.

— Чей это мальчик? — Откуда-то появившийся утренний писец уже шнырял между столами. — Чей это мальчик? Что ему нужно от сеньора Кортеса?

— Я знаю парня. Это слуга сеньора Мильяна де Карнаса, астролога, — сказал кто-то из толпы.

Писец нырнул в ту же каменную калитку, во внутренний двор. Не сдержав любопытства, прошел за писцом и Лопе. Никем не замеченный, он добрался до внутренней галереи и здесь, в тени навеса, подошел к неплотно закрытому окну.

Кортес тряс мальчишку за плечи.

— Ты сам слышал? — спрашивал Кортес. — Завтра будет приказ? Ты ничего не спутал?

— Я сам, ваша милость!.. Пускай я умру без святого причастия; я все сам слышал, своими ушами!.. —

Паблико божился, дрожа всем телом, плечи у него так и ходили. — Завтра или еще сегодня ночью будет приказ о новом генерал-капитане...

— Хорошо. — Кортес поверил. Он отпустил плечи мальчика. — Спасибо, Паблико! Сегодня ночью? Значит, еще не поздно!

Дальше Лопе не слышал. Он вернулся к товарищам, на улицу.

Минут через пять из дому вышел Кортес. Он звал к себе своих капитанов.

— Франсиско де Монтехо, Пуэртокарреро, Монтесино... Сеньоры, сюда, ко мне!..

Его окружили. Кортес встал под факелом. Красный колеблющийся свет лег на его непокрытую голову.

— Внимание, сеньоры!.. Внимание, мои солдаты!.. Оружейники, моряки, мушкетеры! Старые и новые мои друзья!.. Приказ по армаде!..

Кортес поднял руку. Плотным кольцом толпа окружила его.

— Во имя Христа и святого Яго, покровителя наших душ! — сказал Кортес. — Сегодня, еще до полуночи, все мои люди должны быть на судах. Мы отплываем на рассвете!

Глава четвертая

ОТЪЕЗД

В несколько часов все было готово. Без излишнего шума, без суматохи четыреста с лишним человек в наступившей темноте переправились на суда. Индейцев носильщиков перевезли связанными по двое, по трое, под конвоем собак. Переводчика Мельчорехо привязали веревкой к скамье лодки; с ним переправились четыре индейские женщины. Женщин взяли для приготовления в пути хлеба из маниоки, — испанцы этого хлеба делать не умели.

Мельчорехо уже на борту судна все упирался и кричал: «Не хочу быть языком! Убегу!» Его заперли в кормовом помещении капитанской каравеллы.

Везли коней, пушки, солонину, везли все, что можно было достать, забрать или купить в городе Сант-Яго за эти последние ночные часы. В единственной мясной

лавке города не осталось ни ливра мяса: все двенадцать коровьих туш, приготовленных для населения, свежесоленные, повисли на крюках в кладовой провиантского судна «Санта Тереса».

Весть о неожиданном отплытии поползла по городу, от дома к дому. Горожане шептались: почти из каждой семьи уходил в армаду брат или сын, или муж, и вскоре после полуночи новость стала уже известна всем. Но только часам к трем утра известие о бесчинстве, о самовольном отъезде Кортеса доползло до стен бревенчатого губернаторского дворца. На пороге спальни сеньора Веласкеса весть задержалась еще надолго: две партии боролись во дворце: одна — за Кортеса, другая — против. Дворцовая охрана была «за», телохранитель — «против». Телохранитель велел ночному пажу разбудить губернатора.

— Разбужу, ваша милость! — сказал ночной паж и молча улегся на пороге спальни у прикрытых дверей. Паж тоже был на стороне Кортеса.

Паж Мануэль дождался, пока побледнеют звезды, глубокое синее ночное небо начнет светлеть, пока за стеной не завоют индейские дудки, по которым индейцы встают на свою молитву, и не закричат хрипылыми головами толстоголовые индейские собаки, — только тогда он вошел в спальню.

— Сеньор губернатор, — неохотно сказал Мануэль. — Сеньор губернатор, проснитесь!

Пока губернатор проснулся, понял, вскочил, — прошло еще довольно много времени. Оседлали коня. Забегали слуги. Губернатор самолично выехал в порт.

Один только спутник был с ним, кроме слуг. Невысокий сутулый человек, в фиолетовом камзоле, обшитый, как патер, без бороды и усов, — Памфило Нарваэс, его племянник.

Все было пусто на берегу. Одиннадцать судов армады отошли в глубь залива и выстроились на линии горизонта, подняв все паруса. Заря уже золотила борта и мачты, и белые крылья парусов.

— Ушли! — растерянно сказал губернатор. — Он ушел, Кортес, без моего приказа.

С одного из судов спустили лодку. Вода была тиха, еще по-ночному сумрачна. Лодка спокойно шла к берегу. Когда лодка приблизилась на полсотни туазов,

кто-то услужливо подал сеньору губернатору подозрительную трубу. В лодке сидел сам Кортес, с ним два его капитана.

Лодка подплыла еще ближе и остановилась. Губернатор опустил трубу. Теперь лодка была на расстоянии человеческого голоса.

— Сеньор Кортес!.. — с усилием крикнул губернатор. — Зачем вы вывели мои суда в море? Что значит это самовольное отплытие?..

Кортес встал в лодке.

— Дорогой сеньор Веласкес! — Кортес кричал, не напрягая голоса, но каждое слово было слышно, точно он стоял рядом. — Прошу простить меня, дорогой сеньор!.. Я очень тороплюсь!.. Еще много дела мне предстоит в тех землях, куда я направляюсь. Потому я и вывел мои суда без вашего приказа.

Кортес махал рукой. Он смеялся открыто; улыбались и оба капитана.

— Нет ли у сеньора каких-либо распоряжений? — вежливо спросил Кортес.

— Распоряжений? — Веласкес, растерянно оглянулся. Слуги отворачивали лица. Паж Мануэль фыркнул в рукав камзола.

Шлюпка уже отплывала.

— Остановить! — вдруг отчаянным голосом закричал губернатор. — Остановить сейчас же лодку!.. Кортеса на берег!.. В цепи, в тюрьму!.. Людей сюда, людей!..

Губернатор подскакал к самой воде.

— Памфило, на помощь! — крикнул губернатор.

Памфило Нарваэс беспомощно огляделся.

— Никого нет! — уныло сказал Нарваэс.

Ни одной лодки не осталось поблизости на берегу, в порту было пусто.

— Остановить! — срываая голос, хрипел губернатор. Слуги топтались на месте. Лодка уходила все дальше от берега.

Когда лодка отошла совсем далеко, из-под скамейки высунулась чья-то голова в плоском берете. Это был шут, Хуан Сервантес. Пока его прежний хозяин был близко, шут прятался под скамейкой.

— Что ты наделал, Диего! — тонким пронзительным голосом закричал шут. — Ай, что ты наделал, дурак

Диего!.. Зачем ты отпустил Кортеса?.. Теперь он разорит тебя в конец!.. Он набьет золотом свои суда, а тебе не вернет денег даже за твое кислое вино!..

— Это шут!.. Взять шута! — Губернатор от ярости задыхался.

Шут плясал на скамейке, насмехаясь над ним. Он что-то еще кричал, но слов нельзя было разобрать. Лодка была уже далеко, ветер относил слова. На капитанской каравелле суетились, готовясь принять лодку на борт.

— Поздно! Уплыли! — сказал Памфило Нарваэс.

— Что мне теперь делать, Памфило?

Памфило думал.

— У Кортеса мало провианта, суда зайдут еще, должно быть, и в Тринидад, и в Макаку. Можно выслать отряд берегом и задержать их в пути.

— Ты прав, Памфило! — закричал губернатор. — Я дам знать в Макаку, в Хавану, в Тринидад, во все порты на пути армады. Сегодня же разошлю отряды по всему побережью!.. Всем алькальдам прикажу задерживать флотилию в пути. Арестовать Кортеса! Он не уйдет далеко!.. На этом острове я еще хозяин...

И, грузно повернув коня, губернатор поскакал обратно во дворец.

Глава пятая

ПЕДРО ДЕ АЛЬВАРАДО

В кормовой башне капитанского судна набилось много народа. Здесь был Кортес, его капитаны Антонио Монтесино, Сандоваль, Алонсо де Авила, Пуэрто-карреро, Франсиско де Монтехо, секретарь армады Диего де Годон и личный секретарь Кортеса — Педро Фернандес. Тут же вертелся и шут, Хуан Сервантес.

— Зачем вы берете шута, сеньор Кортес? — спрашивали капитаны. — Этому человеку нельзя доверять. Он продаст отца и мать!..

— Хуже того: этот человек меня самого продаст, — смеялся Кортес. Но шута все-таки взял.

В последнюю минуту умолил Кортеса взять его с собой и Паблико Ортегиля, мальчик пятнадцати лет, слуга астролога Мильяна де Карнаса.

— Я буду служить вам, как пес Леонсе, ваша милость! — клялся Паблико. — Я буду подавать вам еду и вино, буду спать на пороге вашей спальни. Возьмите меня, сеньор!.. Мне не надо ни золота, ни доли в добыче — я хочу сразиться с неверными в бою, добыть себе славу. Я умею биться, как взрослый воин, — клянусь, высокородный сеньор!..

Кортес взял мальчика к себе в пажи. Он взял на судно даже Эскудеро, Хуана Эскудеро, того самого альгвасила, который когда-то первым наскочил на него у церкви, по приказу губернатора.

— Зачем он вам, дон Фернандо? — удивился Сандоваль, молодой капитан, друг Кортеса.

На капитанском судне было тесно; тесно было и на других судах. Всего отплыло девять больших каравелл и две бригаантины поменьше, без палубы и крытых башен. На двух больших судах в трюмах везли коней. Всего коней было шестнадцать, и заплатили за них неслыханные деньги: по несколько тысяч золотых песо за голову. Кони дороги были в Новом свете.

— Конь мне сейчас дороже дома! — объявил Кортес. В последний час перед отплытием, чтобы заплатить за двух коней, он продал сант-ягскому купцу свой городской дом — последнее, что у него еще оставалось.

— А как же будет с доньей Каталиной, вашей супругой, дорогой сеньор? — наивно спросил паж Ортегилья.

Кортес промолчал, сухо улыбнувшись. Что ж, Каталина вернется к сестрам в нищету, из которой он ее взял...

Лопе Санчес, обладавший чутьем старого солдата, пристроился на «Санта Тересе» — большом, поместительном и сильно нагруженном провиантском судне. В кормовой башне «Санта Тересы» было тесно и грязно. Здесь висели бычьи туши, визжали живые свиньи, в трюме перекачивались бочки с моченым горохом, с вином, с уксусом, с оливковым маслом; по углам были свалены мешки с мукой и с сухарями. Хозяйничал над всем этим эконоом Хуан де Торрес, старый увечный солдат, уже негодный в бою.

Торрес оглядел Лопе, его выпяченную грудь, усы, худой перебитый нос, впалый живот и улыбнулся.

— Какой ты, земляк, худой и длинный! — прохрипел Хуан де Торрес. — Да ничего, с помощью бога на «Санта Тересе» откормишься.

Лопе осмотрел трюм, подсчитал мешки, бочки и огорчился: вина было мало. Всего четыре бочонка на всю армаду! Из четырех три достанутся капитанам.

Без вина в походе!.. У берегов Юкатана весь январь и февраль дули жестокие северные ветры; еще не известно было, какими землями они проникнут в глубь индейской страны, — леса там будут или болота, или пески; так или иначе, без вина лихорадка истреплет солдат. Без вина не согреться ни на море, ни на суше; иной раз в походе среди немирных индейцев и огня нельзя к ночи развести. Примочки из андалузского вина хороши для свежей раны. А если к кому-нибудь прилепится в горах злая простуда, надует ветром горло или щеку, тоже лучшего нет в походе лекарства, чем вино...

— Мало запасли для нас, солдат, вина, земляк Торрес! — Лопе бродил по судну огорченный.

— О вине, Санчес, не беспокойся! — утешил его Хуан де Торрес. — Всего будет вдоволь — и вина, и мяса.

Они плыли на запад, вдоль самого дикого берега Фернандины, еще не везде заселенного испанцами. Леса сползали по горам к самому берегу, у скалистых берегов шумел прибой. Ни одного дыма не было видно над деревьями, — индейцы в этих местах давно ушли от берега в глубь страны, в леса, попрятались в горы. Этот остров назвал Фернандиной еще старый адмирал — Христофор Колумб — в честь короля Фернандо; здешние индейцы называли этот остров Кубой. Берег Кубы здесь был довольно беден золотом; только в одном месте, недалеко от Макаки, в лесах, на берегу большой безымянной реки, расположились королевские прииски.

Суда флотилии, далеко растянувшиеся караваном, шли близко к берегу; капитанское судно впереди. Ночи были безлунные, стоял декабрь; суда шли только днем, к ночи бросали якорь. На шестой или седьмой день пути, к заходу солнца, сигналом с капитанского судна Кортес приказал остановиться.

Лопе разглядел земляной вал на берегу, высокий частокол, башню маленькой крепости, сложенную из

толстых бревен. Здесь, под замком, жили королевские индейцы, работавшие на приисках. Здесь же находились королевские склады.

Когда стало темно, лодки с судов пошли к берегу. К полуночи на провиантское судно выгрузили пять бочек солонины, десяток мешков маниоковой муки, боченок с оливковым маслом.

— Я говорил тебе, — все будет! — обрадовался эконо́м Хуан де Торрес.

— А вино? Вина не везут.

— Погоди, земляк, будет и вино!

Суда шли медленно, лепясь к берегу. Скоро дошли до другого, соседнего склада. Здесь снова остановились и ночью на «Санта Тересу» привезли на лодках много маиса, свиней и бочку индейской пальмовой водки.

— Где это они достали столько добра? — спросил Лопе.

— Где достали! — Хуан де Торрес улыбнулся. Индейская стрела когда-то ранила его в горло; кончик стрелы застрял в горловых связках; Хуан де Торрес долго болел и с тех пор почти потерял голос, — не говорил, а хрипел с натугой, с присвистом. — Где достали? — прохрипел де Торрес. — Наш сеньор Кортес, если негде взять, у самого его величества испанского короля займет.

— Это все из королевских складов? — испугался Лопе.

— Конечно; откуда же еще?

— Как же сеньор Кортес берет из складов, не получив разрешения от самого короля?

— Уж как-нибудь наш генерал-капитан сочтется с его величеством, — улыбнулся де Торрес. — Когда его милость сеньор Кортес отгрузит в испанском порту полную каравеллу золота в королевскую казну, — король Карлос не станет спрашивать с нас нескольких мешков муки и бочек масла.

* * *

Генерал-капитан флотилии, казалось, не торопился. В порту Макака они провели целую неделю: с воскресенья по воскресенье. Здесь Кортес накупил немало военного снаряжения. В ночь на понедельник снялись с

якоря и пошли дальше, с частыми остановками, на запад.

В порту Тринидад целая флотилия лодок двинулась с судов на берег. Впереди, на большом боте, плыл Кортес. Знамя армады — черное с белым крестом — укрепили на носу бота; по бокам шли две лодки с музыкантами. Застучал барабан, запели трубы, — все население Тринидада высыпало в порт. Кортес велел раскинуть свою палатку прямо на площади, в порту. Перед палаткой поставили стол, укрепили знамя, и глашатай в полосатой куртке объявил прием солдат в армаду.

Народ повалил на зов. В поселке Тринидад скопилось много людей из армады конкистадора Грихальвы; были здесь опытные солдаты, стрелки, были и капитаны. В первый день записался де Неса, пушечный мастер, с ним десятка два бывалых солдат. На второй день с утра запись замедлилась, Кортес ушел к себе в палатку. Он велел выкатить на берег бочонок вина, точно ждал кого-то.

В полдень несколько конных дворян подскакало к палатке. Грянула музыка; Кортес поспешно откинул полог. Впереди, на пегом жеребце скакал молодой дворянин без шляпы; светлые длинные волосы золотой гривой разливались у него по плечам; веселые голубые выпуклые глаза улыбались Кортесу. Дворянин соскочил с коня, и Кортес братски обнял его.

— Альварадо!

— Кортес!..

— Я ждал вас, дорогой Альварадо! — сказал Кортес.

Это был Педро де Альварадо, самый известный из спутников Грихальвы, храбрый и удачливый капитан. Вместе с Педро прибыли в стан Кортеса еще три брата Альварадо: Гонсало, Мануэль и Хуан. Все трое очень походили на старшего, Педро: такие же голубоглазые, светлые, рыжие, только братья были пониже ростом, помельче костью и не так бравы.

— Всех принимаю! — с широким жестом сказал Кортес. — Входите, сеньоры!.. Ортегиля, вина!..

В палатке начался пир. Еще несколько дворян, соскочив с коней, вошли к Кортесу. Только один, спешившись, отошел и стоял в стороне, плотный, коренастый, хмурый, в стальной кольчуге, в полном походном

снаряжении. Он стоял, точно не решаясь подойти ближе. Кортес сам подошел к дворянину.

— Добро пожаловать, сеньор Веласкес де Леон! — приветливо сказал Кортес.

Веласкес де Леон еще помедлил, хмурясь, но все же вошел в палатку. Де Леон был дальний родственник губернатора Веласкеса и потому не ждал хорошего приема. Но Кортес обласкал его, усадил рядом с собою. Кортес знал де Леона как храброго и верного капитана.

— Вы будете моей правой рукой, дорогой сеньор! — громко сказал Кортес.

Он всех обласкал. Сегодня Кортес был в особенном воодушевлении, глаза у него сияли; он шутил в веселье, на этот раз, кажется, искреннем. Капитаны из армады Грихальвы прошли Косумел, весь берег Юкатана, Потончан, Бандерас, Кампече. Они знали все устья рек на берегу, прибрежные деревни; сам Педро де Альварадо беседовал и менялся подарками с посланцем из глубины той страны, откуда привозили золото к берегам Юкатана. Теперь, когда люди Грихальвы были с ним, Кортес был уверен в победе.

— Я веду вас к славным делам, мои капитаны! — твердил Кортес. — Горы золота лежат в той стране и только ждут меча конкистадора!.. Несчастливым язычникам индейской земли мы принесем свет истинной веры. Друзья, мы добудем в той земле славу себе и новые богатые владения нашему королю!..

В палатке пили до вечера. Вечером алькальд города прислал приглашение: продолжить пир у него в доме. Алькальд ставил боценок лучшего андалузского вина капитанам, да еще две бочки вина, попроще, для солдат.

— Я говорил тебе, Лопе, вино у нас будет! — повеселел Хуан де Торрес.

Старого эконома снедала забота: людей в Тринидаде прибавилось почти на сотню, а запасы хлеба Кортес не торопился пополнять. Да хлеб и негде было купить в Тринидаде: поселок был маленький, в глухих лесах; хлеб и муку сюда подвозили на судах из Сант-Яго или с Эспаньолы. Хуан де Торрес долго шнырял в порту и высмотрел у берега каравеллу, груженную зерном.

— Кто хозяин этого добра? — любопытствовал де Торрес.

Хозяином каравеллы оказался молодой купец Хуан Седеньо. Ничего не сказав самому Седеньо, де Торрес пошел в палатку Кортеса. Хитро улыбаясь, он доложил генерал-капитану о каравелле.

— Кто хозяин? Ведите сюда хозяина груза! — ожился Кортес.

Через полчаса привели купца, румяного, в пестром камзоле, в золотых перстнях, испуганного насмерть. Кортес поговорил с ним с глазу на глаз, и очень скоро купец вышел из палатки, несколько растерянный, но довольный.

— Хуан Седеньо, мой друг, отдал в дар армаде весь свой груз зерна вместе с судном и сам едет с нами в поход! — объявил Кортес капитанам.

— Купец? В поход? — удивились капитаны. — Разве он годен в бою?

— У него есть зерно! — усмехнулся Кортес. — И каравелла, и слуги, и даже негр для ношения клади. В походе все пригодится.

— Как вам удалось его уговорить, дон Фернандо? — полюбопытствовал Педро Альварадо.

— Я обещаю ему двойную долю в добыче, — весело сказал Кортес. — К тому же, дорогой Альварадо, когда мы завоюем новые богатые земли, я любого купца смогу сделать дворянином.

* * *

Вечером пир продолжался в доме алькальда. Все капитаны сидели за столом; сам алькальд — во главе, и Кортес — по правую его руку. Паблико прислуживал генерал-капитану, стоя за его креслом.

Алькальд Марианно, добродушный пьяный старик, только и просил сеньоров, что пить и есть побольше. Марианно счастлив был видеть у себя в глухом, полудиком поселке блестящих гостей.

— Сеньор Кортес, отведайте индейской курицы! — умолял Марианно. — Клянусь, вы не едали таких кур. У нас здесь водится птица, какой не видывали ни в Старой ни в Новой Кастилии!

Алькальд подкладывал Кортесу в тарелку то ножку, то крылышко большой жирной индейки.

Кортес небрежно жевал крылышко. Ногу и жирную грудку птицы он кинул Леонсико под стол. Кортес был сыт. Он оглядывал гостей.

Пили с полудня, некоторые еще с утра; гости устали. Притих разговор; Кортес оглядывал лица. Вот Пуэрто-карреро, старый ученый льстец, придворный еще покойного короля. При новом короле, Карле, впал в немилость, скитается по Новому свету, ищет себе хозяина побогаче и посильнее. Вот Антонино Монтесино, итальянец по рождению, молчаливый и надменный капитан. В бою, говорят, жесток и неумолим. Вот Франсиско де Монтехо, тоже из придворных, благородный и кроткий старик, помнит еще африканский поход, знает лично паместника Индии и всех именитых дворян, перебравшихся в Новый свет. Вот Хуан Веласкес де Леон — хмурый на вид, но добрый рубака, честен, прям и ограничен. Сандоваль — умница и друг, но беспокоен характером, слишком нервен в бою. Вот Кристабель де Алид, вот братья Альварадо — вступают все вместе в беседу, вместе смеются и сердятся вместе. Вот шут, грызет шкуру индейского плода, прячет от генерал-капитана воровские зеленые глаза. С шутком еще будут счеты... И вот, наконец, старший из четырех братьев, — Педро де Альварадо. На Педро Кортес задержал взгляд. Педро был ему мил — рыжий, веселый, молодой... Беспечный открытый взгляд, и вся повадка беспечна и смела. В бою отчаянный, удачливый, черт... Золото само липнет к его рукам! Из экспедиции капитана Грихальвы привез пять тысяч золотых песо и все в полгода прокутил... Кортес, улыбаясь, смотрел на старшего Альварадо.

Педро перехватил его взгляд. Улыбка мелькнула в выпуклых голубых глазах, точно Педро ждал этого взгляда и хотел что-то сказать с глазу на глаз генерал-капитану, но до поры, до времени откладывал разговор.

— Паблико, вина! — негромко приказал Кортес. Он подставил кубок. Паж Ортегиля налил ему вина, неловкий от излишнего старания, и нечаянно выплеснул немного вина на стол. Кортес усмехнулся и протянул ему кубок: — Выпей и ты, мальчик! — Паблико отхлебнул, счастливый.

— Спасибо, сеньор!.. — Все закружилось вокруг него, от выпитого вина, от смущения; он едва стоял, улыбаясь мальчишескими пухлыми губами.

— Что, захмелел? — Кортес хлопнул Паблико по руке. — А я вот пью и не пьянею!.. — Кортес снова взглядел на Альварадо, и Педро ответил ему веселым понимающим взглядом.

Уже перед рассветом Педро де Альварадо, побледнев от вина, встал и отошел к окну. Встал и Кортес и пошел за ним, легкий в стане, тяжелый в поступи, нисколько не опьяневший.

— Что вы хотите мне сказать, дорогой Альварадо? — сразу дружески начал Кортес.

Педро сморщил губы в улыбке. Он был пьян или чем-то смущен.

— Скажите, что вам нужно, Альварадо? — еще раз сказал Кортес приветливо и твердо. — Я все для вас достану, что попросите!

— Конь у меня не свой, — смущенно сказал Альварадо. — Я приехал сюда на чужом; у меня нет коня для похода, дорогой Кортес.

— Конь? Конь у вас будет, дон Педро!

Кортес снял с себя золотую цепь — единственное украшение поверх гладкого коричневого плаща — и протянул ее Альварадо.

— Берите! За эту цепь вам дадут любого коня.

Педро взял, нисколько не удивленный.

— Я слышал о вас, вы щедры, дорогой Кортес, — сказал Педро.

— Щедр к друзьям! — добавил Кортес. С полминуты они смотрели друг другу в глаза: голубые веселые пьяные глаза Альварадо смотрели в потемневшие от ночного разгула, но совершенно трезвые глаза генерал-капитана.

— Вы правы, я щедр к друзьям! — повторил Кортес. Он притянул Педро к себе. Они поцеловались.

— Вы будете моей правой рукой, моим ближайшим помощником, дон Педро! — едва слышно, на ухо Альварадо, сказал Кортес. Он обращался по имени — «дон Педро», как к близкому, как к другу. — Почестей, золота, добычи, славы — равная половина, как брату, будет ваша!

— Спасибо! — Педро точно протрезвел. — Спасибо, дон Фернандо! — Он сжал Кортесу руку.

И тут, точно почувствовал кого-то за спиной, Кортес резко повернулся. Острая бородка шута ткнулась ему в плечо. Шут подслушивал. Он был серьезен.

— Я вас не звал, Сервантес! — яростно сказал Кортес.

— Мне показалось, ваша милость, сеньор, вы хотели со мной говорить...

— Идите на место! — коротко, как собаке, приказал Кортес.

Шут покорно отбежал к столу.

Кортес вдруг устал. Тени утомления легли на его лицо.

— Я пойду к себе в палатку, — сказал он. — Поди со мной, Паблико.

Он ушел с пажом и собакой Леонсе. Больше никому не велел идти за собой.

Шут Сервантес внимательно посмотрел ему вслед.

— А все-таки наш сеньор Кортес не слишком уверен в своих капитанах! — шепнул он на ухо сеньору Алонсо Пуэртокарреро.

Глава шестая

ПРИКАЗ ГУБЕРНАТОРА

Пили и на следующий день. Пожилые капитаны уже хмурились: почти два месяца потеряно в портах Фернандины, пора плыть дальше. Скоро начнутся северные ветры, немало трудностей будет в плавании к малознакомым берегам. Да и лучше бы поскорее уходить из портов Фернандины. Пока они на острове, длинная рука Веласкеса еще может их достать.

Франсиско де Монтехо, немолодой и самый опытный из капитанов, попытался сказать Кортесу два — три осторожных слова. Но генерал-капитан ничего не хотел слушать; он просил своих сеньоров есть и пить, и веселиться; обо всем остальном подумает он сам.

Пили весь следующий день до вечера. На третий день алькальд вертел в руках письмо с печатью губернатора Веласкеса.

Губернатор приказывал: немедленно задержать са-

мовольно отплывшего из Сант-Яго Фернандо Кортеса со всей флотилией, припасами и людьми.

Алькальд позвал Кортеса к себе в кабинет. Марианно был растерян: весь город на стороне генерал-капитана. Половина офицеров уходит с ним. Как его задержать? Алькальд показал Кортесу письмо.

— Что мне делать, дорогой сеньор? — простодушно спросил алькальд.

Кортес рассмеялся.

— Задержите нас, сеньор алькальд, — сказал он.

— Весь мой город возмутится против меня, если я вас задержу, — вздохнул алькальд. — Завтра же мой дом разнесут по бревнам!

— Что же, если так, — не задерживайте нас, сеньор алькальд, — пожал плечами Кортес.

Кортес улыбался, но оживление двух последних ночей словно сразу слетело с него; он был деловит, серьезен. Время для пира кончилось.

В утро накануне разговора с алькальдом Кортес отдал распоряжение снять часть пушек с судов и перевезти их на берег для проверки и починки, — в Сант-Яго это не успели сделать. Но сейчас Кортес отменил свой приказ; пушки подняли обратно на суда. Письмо Веласкеса еще ничем не угрожало, но вслед за письмом мог прийти вооруженный отряд.

В ту же ночь вся флотилия отплыла.

Пушки свезли на берег в Хаване. Был уже январь, времени терять не приходилось. Всех оружейников Хаваны согнали чинить и проверять пушки и фальконеты с судов.

Индийских женщин посадили за починку обуви, походных солдатских сандалий. Все панцири, безрукавки и кожаные нагрудники Кортес велел простегать в два ряда толстыми хлопковыми нитями, для защиты от индейских стрел. Индейцы тоже носили подбитые хлопковой ватой тесные панцири до бедер; но, что не пробивали индейские стрелы, то легко можно было проткнуть стальным испанским мечом.

И Лопе и Хуан де Торрес очень одобрили эту предосторожность.

Кортес всех оружейников Хаваны взял с собой на суда: кого уговорил, кого и обманул. Оружейники тоже нужны в походе.

Все одиннадцать судов армады собрались на смотр к мысу Сан-Антонио, на крайней оконечности Кубы.

Кортес подсчитал силы. Всего было в армаде пятьсот восемь человек, не считая матросов. Кортес разделил свое войско на одиннадцать отрядов, во главе каждого отряда поставил одного из своих капитанов. Сам он был двенадцатый — старший из капитанов — генерал-капитан.

Восемнадцатого февраля тысяча пятьсот девятнадцатого года флотилия отплыла в море.

Лопе Санчес, стоя рядом с де Торресом, в последний раз поглядел назад, на светлые горы Кубы, на полоску прибоя у берега. Суда отплывали при ясной погоде, подняв все паруса под слабым ветром.

Капитанская каравелла «Санта Роса» шла впереди, все остальные держали курс на «Санта Роса». Они шли на запад, к берегам Юкатана. Пилот Аламинос вел флотилию, седой андалузский моряк — тот самый Антонио Аламинос, который водил суда еще Старого Адмирала — Кристофора Колумба.

Глава седьмая **ОРУЖЕЙНИК АНДРЕС**

Едва отошли полсотни лег на запад, по судам хлестнуло штормом. Огромные валы заходили до самого горизонта. В снастях ревел ветер: это начинались весенние бури Антильского архипелага.

Лопе Санчес присмирел. Он не любил моря. Восемь лет назад ему посчастливилось при переезде: весь путь от Испании до индейских стран через весь океан он проделал при тихой погоде. Зато сейчас «Санта Тересу» трепало ветром и кидало, как малую лодку, с волны на волну. Ветер все усиливался. Людей швыряло от борта к борту.

Тучи налегли на потемневшее небо, к вечеру пошел дождь. Все продрогли под дождем и ветром; одежда намочена от соленых брызг. На палубе «Санта Тереса» не было даже простого навеса из парусины для защиты от непогоды. А тут еще эконо́м Хуан де Торрес не велел разводить огня в корабельном очаге. Хуан де Торрес

боялся, как бы при сильной качке не раскидало головни из очага по судну и не начался бы пожар. Настроение у солдат упало: нельзя было ожидать даже горячего ужина в такую непогоду.

Лопе Санчес, весь взмокший, пробирался по шатким доскам носового настила, от столба к столбу. Поминутно его окатывало волной. Лопе падал, ругался, вставал и шел дальше. В трюме, в кладовых, страшным голосом хрипел Хуан де Торрес: бочку с маслом сорвало с креплений и катало по трюму. Де Торрес звал людей на помощь.

Лопе и еще несколько человек спустились в трюм. Сорвавшаяся бочка перекатывалась в темноте, ударяясь о другие бочки, угрожая каждому, кто попадется на пути. Из бочки струей текло масло, растекалось по доскам; люди скользили и падали. Громко ругаясь, Лопе вылез на палубу за веревкой и фонарем. И какой-то человек в серой куртке оружейника налетел на него, сбитый с ног огромной волной. Лопе тоже упал; оба покатались вместе, вцепившись друг в друга, и только у самого борта остановились.

Лопе встал, отчаянно ругаясь: он сильно ушиб колено.

— Сатана унеси твою душу в ад! — свирепо сказал Лопе. — Какой незадачливый дьявол подбросил тебя мне под ноги?

Оружейник молчал.

— И так тесно было на судне, а тут еще вас, чертей закопченных, подкинули!..

Лопе хотел выругаться еще, но вдруг замолчал, взглядевшись в лицо оружейника. Смуглое горбоносое лицо, совсем еще молодое, под слоем копоти, показалось ему знакомо. Да, конечно, это он, тот самый молодой монашек, которого он встретил на берегу возле Сант-Яго!..

— Это ты? Значит, ты оружейник? — изумился Лопе.

Монах тоже узнал его.

— Да, я оружейник, — просто ответил он.

И опять чуть хрипловатый гортанный голос монаха что-то напомнил Лопе из прежней жизни, из детства.

«А как же... Почему же в ту ночь на тебе была ряса?» — хотел было спросить Лопе, и не спросил. Что-то

удержало его, — может быть, испуг, отчаянная мольба, на секунду проглянувшая в глазах человека.

Времени на разговоры не было. «Ладно, бог с тобой!» — подумал Лопе и снова побежал вниз, к Хуану де Торресу.

Бочку поймали, укрепили; скоро все пошли наверх. «Где же он сел на судно, этот монашек... то есть оружейник? — размышлял Лопе. — Должно быть, в Хаване; там посадили партию оружейников и кузнецов... И как же это он из послушника стал оружейным мастером?!»

Сам того не сознавая, Лопе все искал глазами своего знакомого. Шторм продолжался, дождь хлестал, точно сотни бочек опрокинулись там, наверху, в тропическом небе. Солдаты, матросы, кузнецы ругались вокруг, сбившие с ног штормом. Двое солдат — Эредия, рослый баск с рьяным лицом, и маленький смуглый Пако Тавилья, по прозвищу Арагонец, — нечаянно налетев друг на друга, рассвирепели и затеяли драку.

— Я тебя, червяка, одной рукой придушу! — кричал Эредия. Пако Арагонец налетел снизу, дробно колотя баска кулаками в живот. Штормом их обоих то кидало друг на друга, то раскидывало в разные концы.

Лопе опять увидел своего оружейника: он стоял и смотрел на драку. Куртка на нем была черна от копоти горна, руки обожжены. Лопе подошел к нему.

— Кто ты?.. Да кто же ты? — теряя терпение, спросил Лопе. — Монах? Послушник? Оружейник или сам дьявол?.. Говори, кто же ты, не томи меня, сын мавра!.. Как тебя зовут?

— Андрес, — ответил юноша. — Андрес Морано.

— Из каких мест?

— Медивар, Андалузия.

«Так. Может быть, и правда, а может быть, и нет», — подумал Лопе. Он хотел спросить еще, но тут с кормы донеслось хриплое пение. На капитанском судне служили мессу, и слова молитвы подхватывали на всех судах.

Солдаты, Пако Арагонец и Эредия, все еще дрались. Оба лежали уже на палубе и лежа ломали друг друга.

— Отложите драку! — кричал им сверху штурман Кастро. — Вечерняя месса!

Все вокруг, и матросы, и солдаты, кто где стоял, опустили на колени. Шторм усиливался; темнело. На

всех каравеллах пели молитвы. Подтягивал и штурман Кастро; когда штурман пел, он нисколько не заикался. В реве бури голоса звучали испуганно и глухо. На капитанском судне зажегся тусклый, в роговых пластинах, кормовой фонарь. Свет едва мелькал сквозь брызги и пену. «За грехи наши, господи, покараешь нас!» — слова молитвы звучали как угроза. Ветер все так же яростно трепал и рвал снасти. Лопе присмирел, крестясь. Лево́й рукой он почесывал ушибленное колено. Нечаянно Лопе взглянул на оружейника Андреса. Андалузец стоял, как и все, на коленях. Но он не крестился и не пел молитву. Он стоял на коленях молча, сжав губы, и глаза у него глядели куда-то поверх голов, в море, в темноту.

Холодок пробежал по спине Лопе.

«Что это ты вправду, земляк, уж не язычник ли? Или, помилуй нас святая дева, — нечистый мавр?» — чуть не спросил было Лопе, но вспомнил, как они оба с этим парнем сидели под кустом на берегу, прячась от альгвасилов, и промолчал.

Супу на ужин не дали, да и мало толку было бы от него: штормом все равно расплескало бы весь суп из чашек. Всем дали по полкруга жесткого индейского хлеба, по куску сыра да по флягам разлили свежей воды, подкрашенной вином. Легли кто куда: кто — на доски, кто — на связки канатов в тесной кормовой башне. Случайно или по умыслу, оружейник Андрес оказался рядом с Лопе, на груди мятой пеньки.

Они лежали молча. Лопе не спал.

— Как же ты... — решился, наконец, Лопе, — как же ты, парень? Если ты честный оружейник из Медивара, зачем же ты сидел в Сант-Яго под кустом и прятался от альгвасилов?

Андрес повернулся к Лопе.

— А ты? — сказал оружейник. — А как же ты сидел со мной под тем же самым кустом и прятался от тех же альгвасилов? Разве ты не честный солдат?

Лопе вздохнул.

— Видит бог, — горько сказал Лопе, — видит бог и святая дева, я честно, кровью своей в двух походах и двадцати двух сражениях служил моему королю и моим капитанам!..

Они замолчали оба, слушая ветер. Шторм, казалось, утихал, но ветер еще яростно выл и свистел в снастях.

Каравеллу бросало по волнам то вверх, то вниз. Андрес молча лежал рядом с Лопе. Он закрыл глаза, но дышал неровно, неуспокоенно, — значит, не спал. Юноша дрожал от холода в худой полотняной куртке. Лопе оттянул полу своего широкого плаща.

— Ладно, парень, спи! — примирительно сказал Лопе. — Ты еще молодой, не привык, а я уже всего повидал.

И Лопе заботливо прикрыл андалузца полой своего рваного солдатского плаща.

Глава восьмая

ОСТРОВ ЛАСТОЧЕК

Буря далеко разбросала суда друг от друга, и наутро на «Санта Тересе» не увидели ни капитанской каравеллы впереди, ни других судов позади себя. Шторм затих; до вечера они плыли по гладкому морю, не видя никого, и только перед заходом солнца различили впереди себя силуэт большой каравеллы. Это была «Исабель» — быстроходное судно, на котором плыл старший Альварадо. «Исабель» шла быстро и скоро исчезла из виду.

Наутро «Санта Тересу» обогнало капитанское судно, за ним показались и остальные. Море было спокойно, ветер утих. Суда плыли близко друг от друга, только «Исабель» не было видно, — каравелла Альварадо ушла далеко вперед.

Буря отнесла суда флотилии много южнее первоначально взятого курса. Слабым течением их и сейчас упорно относил к югу. Как ни боролся Аламинос, берег Юкатана уходил в сторону. Течением их несло в обход, южнее, к маленькому островку, недалеко от восточной оконечности Юкатана.

Часам к трем пополудни, в жарком свете дня, они увидели белые слоистые скалы и зеленые холмы острова. Аламинос уже побывал здесь в прошлом году с Грихальвой; он знал и остров и море вокруг. Глубокие узкие заливы в нескольких местах вдавались в берег. Над скалами стаями вились ласточки, хлопали крыльями, перелетали с выступа на выступ. Этот островок ин-

дейцы называли «Косумел», что значит: «Остров Ласточек».

«Санта Роса» вошла в узкую бухту, за ней — другие суда. Вода здесь была глубока и черна, солнце сюда не заглядывало.

Аламинос осторожно вел суда дальше. Узкий извилистый залив глубоко вдавался между скал в сушу. В одном месте под скалами виднелась неширокая полоса плоского берега. Здесь Аламинос велел бросать якорь.

Высоко над водой, на скалах, испанцы увидели белый, сложенный из камня домик с тростниковой крышей, за ним — второй, третий. Людей возле домов не было видно.

До захода солнца оставалось немного времени. Кортес не велел пускать людей на берег до утра.

Ночь провели на судах. Утром отряд в полсотни человек высадился с капитанского судна на берег. Люди вскарабкались на скалы и осмотрели дома. Диего де Ордас, начальник отряда, вернулся смущенный.

— Никого нет! — сказал Диего. — Селение пусто!

Кортес разрешил солдатам и с остальных судов сойти на берег. С «Санта Тересы» пошел Хуан де Торрес с Лопе Санчесом и еще десятка два солдат.

От прибрежной узкой полоски наверх, в скалы, вела крутая тропинка. К скалам лепились дома, сложенные из дикого камня. Ни на Кубе, ни на материковых землях Лопе таких индейских домов не видал: каменной кладки, промазанные глиной.

Испанцы рассыпались по селению, осмотрели дома внутри. Кое-где между загоронок еще бродили куры; теплая зола лежала на камнях брошенных очагов; индейские толстоголовые собаки молча, без лая, удирали от пришельцев. Жители покинули селение совсем недавно, еще этой ночью.

Что же произошло здесь? Испугались косумельские индейцы подошедших судов и убежали в глубь острова? Или готовили нападение и хотели заманить пришельцев в свои дома, чтобы осадить их в селении? Испанцы не знали, что думать.

Капитана Грихальву здесь, на Острове Ласточек, встретили хорошо, об этом рассказывали все, побывавшие в экспедиции Грихальвы, — меняли хлеб и кур на

стекло и ножи. Может быть, кто-нибудь еще из белых навестил этот берег за последний год и напугал прибрежных жителей?

Лопе и Хуан де Торрес пошли искать по домам — чем бы пополнить судовые припасы. Они не нашли ни маиса, ни маниоки, — должно быть, индейцы собирали здесь урожай по два — три раза в год и жили, как птицы; не запасаясь зерном. Зато почти у каждого дома были тростниковые ульи, над которыми роились пчелы. Отбиваясь от пчел, они нашли в одном доме пару щенят особенной, индейской породы; такие попадались и на Кубе — толстоголовые, жирные, с отвислыми мягкими ушами. Индейцы этих щенят ели. Нашлись еще кролики по загородкам да десятка два кур, только и всего.

— Ни людей, ни продовольствия! — ворчал Хуан де Торрес. Они пошли искать пресную воду. Нигде на берегу не видно было ни реки, ни даже маленького ручейка. Хуан де Торрес набрел на колодец — глубокий, каменной кладки, как в Испании. Колодец был пуст.

— Какие здесь дома! — удивлялся Лопе, осматривая стены. — Как построены! Не хуже, чем у нас, в Новой Кастилии!..

Об этих домах рассказывали люди Грихальвы: по всему берегу Юкатана и на ближайших островах индейские дома были не плетеные, травяные или тростниковые, как на Кубе или Эспаньоле, а каменные, грубой кладки, крепленные довольно умело. Только крыши были тростниковые, с крутым скатом.

Испанцы расположились на ночлег частью в пустых домах селения, частью на судах. Генерал-капитан остался у себя на каравелле. Утром большая лодка с «Санта Росы» пошла обследовать берега залива.

Все суда собрались в заливе; не видно было только «Исабель», так и не возвратившейся в строй после шторма.

Кортес заперся у себя в кормовой башне «Санта Росы». Кортес ждал Альварадо.

Лодка пошла в глубь залива и скоро вернулась: «Исабель» стояла на якорю неподалеку, за двумя — тремя поворотами скал. Но Альварадо на судне не было: еще утром предыдущего дня Альварадо, подойдя на «Исабели» к острову раньше других судов, высадился на скалы и с большим отрядом пошел в глубь острова.

Кортес потемнел лицом, выслушав донесение.

— Вот почему индейцы оставили деревню!

Он продолжал ждать у себя в башне.

— Как только сеньор Альварадо вернется, везите его ко мне, на «Санта Росу»! — приказал Кортес.

Уже после полудня голоса и шум слышались в зарослях за селением. Отряд Альварадо возвращался из вылазки в глубь острова. Сам Педро шел впереди, за ним вели двоих связанных индейцев, довольно светлых кожей. Паж Альварадо нес, перекинув через плечо, полупустую кожаную сумку.

Альварадо был весел. Остров мал, беден, добыча ничтожна, но все же он, Педро Альварадо, первый сделал вылазку, первый привел индейцев!

Внизу, под скалами, Альварадо перехватили посланцы Кортеса и повезли на капитанскую каравеллу. Двумя большими прыжками, кичась своей прославленной ловкостью, Педро взобрался на «Санта Росу». Кортес ждал его у входа в кормовую башню. Он собрал на корме всех своих капитанов.

Альварадо легко подбежал к Кортесу.

— Дон Фернандо! — с детской улыбкой сказал Альварадо. — Я несу вам все!

Он взял у пажа сумку и бросил ее к ногам генерал-капитана. Несколько тонких колец желтого металла выкатились из сумки, где — три пластинки не то золота, не то желтой меди.

Кортес отодвинул сумку носком ноги. Он был бледен от ярости.

— Так начинать плавать, — глухим от бешенства голосом сказал Кортес. — Так начинать плавание со мной, дон Педро?.. С грабежа, с погони?.. Вы хотите всех индейцев разогнать на моем пути?

— Индейцы здешние — трусы! — горячо сказал Альварадо. — Все селение разбежалось от двух выстрелов из мушкета. Я взял у них вот это... — Он показал на кольца и пластинки, выкатившиеся из сумки.

— Сами должны отдать! — твердо сказал Кортес. — Индейцы сами, доброй волей, должны прийти просить милости моей и моего короля и принести дары! И только если сами не отдают, — тогда... — Кортес ткнул концом шпаги в доски пола, — тогда... забирать силой! Вы не поняли моих наказов, дон Педро!

Кортес отвернулся.

— Ступайте на ваше судно, Альварадо! — сказал он. — Восемь дней извольте просидеть у себя на «Исабели», ко мне не являйтесь без вызова.

У Педро Альварадо по-детски задрожали пушистые рыжие брови.

— Дон Фернандо, — сказал Альварадо. — Дон Фернандо, я не думал...

Кортес не повернул головы. Он не слушал.

Сумка и кружкий металла еще валялись у его ног. Шут Сервантес подбежал и поддал ногой индейское кольцо.

— И это вся ваша добыча, Альварадо?

Альварадо метнул на него быстрый бешеный взгляд. Шут замолчал.

— Я привел индейцев, — сказал Альварадо.

— Ведите их сюда, — коротко приказал Кортес.

Индейцев привезли на лодке, голых, перевязанных по ногам, с прикрученными руками.

— Развязать! — сказал Кортес.

Людей развязали, и они отвалились друг от друга, едва живые. Один стонал, не поднимаясь, — должно быть, потерял сознание; второй, приподняв голову, испуганно осматривался по сторонам.

— Подведите ко мне! — указал Кортес на второго. — Позовите переводчика.

Индейца подвели. Снизу прибежал Мельчорехо.

Индеец с Косумела был светлее кожей, выше ростом и сильнее на вид, чем жители Кубы. Руки у него еще были прикручены к спине пеньковой веревкой.

По приказу Кортеса индейцу развязали руки. Он огляделся, ступил вперед, к Кортесу. Узнав в нем вождя, индеец приветствовал его по обычаю своей земли: склонившись вперед, одной рукой коснулся палубы, другую приложил ко лбу.

Кортес приподнял индейца с пола.

— Ты свободен! — сказал Кортес. — Я отпускаю тебя. Мельчорехо перевел слова генерал-капитана.

— Я и мой государь даем тебе свободу! — милостиво сказал Кортес. — Переведи ему, Мельчорехо.

Он протянул индейцу связку зеленых стеклянных бус:

— Я и мой государь дарим тебе эти подарки!..

Только тут индеец понял, поверил, быстро заговорил. Слезы радости выступили у него на круглых детских глазах.

— A-га!.. Ра-тани!.. — сказал индеец.

Мельчорехо перевел. Это значило: «спасибо».

— И это я дарю тебе!.. И это, и это!..

Индейца задарили. На шею ему навесили две связки бус и еще по связке на каждую руку. В пальцы сунули дешевый ножик с деревянной рукояткой.

— Все это мы даем тебе, — я и мой великий государь!

Мельчорехо перевел.

— А теперь пускай идет, — сказал Кортес. — Мельчорехо, объясни ему: так мы будем поступать с каждым, кто доброй волей придет к нам. Пускай приносят жемчуг, золото, хлеб, — мы всех одарим!

Кортес поднял и показал индейцу большую двойную связку блестящих красных и синих бус.

— Вот! Скажи своему вождю: пускай приходит миром ко мне, — я все это ему отдам.

Индеец закивал головой. Он понял.

Второму индейцу тоже навесили бусы на шею, сунули детский бубенчик в руки. Индеец только что пришел в себя и стоял, оглядываясь в удивлении.

Пленников свезли на сушу. Лодка еще не успела пристать к берегу, как оба выскочили на камни и бегом пустились по тропинке вверх.

Капитан Монтехо покачал головой.

— Пожалуй, не вернутся! — сказал Монтехо.

— Вернутся! — уверенно сказал Кортес. — Не эти, — так другие. Они тоже захотят получить от меня подарки.

Глава девятая

ДОМ ИЗ ЗЕМЛИ

Пришел день — косумельцы не показывались. Кортес велел Сандовалю взять сотню людей и пойти в глубь острова на разведку.

Остров весь зарос глухой буйной зеленью; кое-где по склонам холмов виднелись огромные белые камни. Высокая колючая трава и ползучие стебли мешали продви-

гаться вперед, побеги дикого майса вставляли выше иных деревьев. На низких раскидистых деревьях росли крупные белые и розовые цветы; над этими цветами тучами роились пчелы.

— Я назвал бы этот остров не «Остров Ласточек», а «Остров Бешеных Пчел», — ворчал Лопе Санчес, закрывая щитом от пчелиных укусов.

За холмом начинался спуск в большую, заросшую лесом котловину. В центре ее поднимался не то пригорок правильной формы, не то какое-то сооружение.

Солдаты спустились с холма. В самом деле, посреди котловины возвышалось здание, если можно назвать зданием искусственно насыпанную земляную гору, укрепленную камнями. Широкая насыпь была только основанием или нижней террасой здания; на нее насыпана была вторая, поменьше, и укреплена камнями, на вторую — третья, и так, уступами, суживаясь кверху, поднимался огромный дом, похожий на ступенчатую пирамиду. Сверху пирамида была точно срезана небольшой площадкой, и на площадке стояла открытая на все стороны башенка.

— Там кто-то есть! Там люди! — закричали солдаты.

Какие-то фигуры действительно виднелись в башне. Они не двигались, точно застыли.

Испанцы двинулись дальше, продираясь через колючую траву. К башенке в самой толще здания вела широкая лестница, тоже из земли, укрепленной камнями. На лестнице никого не было, никто не охранял ни ступенек, ни нижней террасы.

Сандоваль велел оставить стражу внизу, на первых ступеньках. Остальные стали подниматься к башне.

Больше получаса занял подъем, — лестница была крута. Кроме того, на каждой террасе надо было обходить все здание кругом, чтобы попасть на следующий подъем лестницы. Какие-то норы были пробиты в земляной толще здания, похожие на входы в низкие пещеры. Лопе ткнул копьём для проверки в одну такую нору, — там никого не было: ни людей, ни зверей.

Задыхаясь от жары, в поту, солдаты наконец добрались до башни; передние человек пять бегом вбежали в нее.

Тяжелый запах ударил людям в нос; передние попятились, — прямо в лицо им смотрели страшные, оскален-

ные морды каких-то чудовищ. У самых ног чудовищ грудями на полу свалены были пожелтевшие человеческие кости.

— Санта Хесус, куда это мы попали?.. Спаси меня, святая дева! Да это же сам дьявол!.. — Молоденький солдат-галиснец, Габриэль Нова, попятился, роняя копье. — К самому дьяволу в ад!..

— Спаси нас, Иисусе! — Еще несколько человек начали пятиться к выходу, оглядываясь на капитана.

— Смелее, земляки!.. Это не ад! Это поганая индейская церковь! — закричал рябой Эредия. — Я видел такие в Потончане. А это индейские боги!..

— Идолы!.. Поганые боги!..

— Они из дерева, глядите!..

Осмелев, солдаты уже толпой напирали внутрь башни. Кто-то ткнул деревянного бога в огромные оскаленные зубы, и фигура качнулась, едва не свалившись на солдата. Тихий сдержанный вздох донесся откуда-то из угла.

— Тут кто-то есть! — закричал Эредия. — Сеньор капитан, прикажите обыскать.

— Займите вход! Встаньте по двое по углам и у столбов, — распорядился Сандоваль. — Осмотрите всю башню.

Из-за груды костей, из-за черной деревянной фигуры самого большого идола солдаты вытащили человека. Это был индеец, старый, седой и почти голый. Он казался не испуганным, а только очень огорченным.

Индеец сложил руки на груди, опустил голову и с важным грустным лицом сел на полу, перед самым большим идиолом. Он, казалось, не обращал внимания на белых людей.

— Сеньор капитан, разрешите, я трону его слегка копьем! — нетерпеливо попросил Эредия.

— Погоди, Эредия! Поглядим, что он будет делать, — сказал Сандоваль.

Индеец сидел на полу, опустив лицо и покачиваясь взад и вперед. Волосы у него были длинные, закрученные в несколько жгутов. Все пальцы на ногах у индейца были отрублены, кроме большого — на правой; отрублены были также оба мизинца на руках. Вокруг глаз был наведен краской сложный рисунок из синих кружков и стрел, пересеченных красными полосками.

— У него точь-в-точь такой же рисунок вокруг глаз, как у нашего «языка» Мельчорехо! — заметил Габриэль Нова.

— Да, они, должно быть, одного племени... — Наш Мельчорехо взят откуда-то из здешних мест, с берега Юкатана.

— Глядите, глядите, встает!..

— Сейчас будет колдовать над своими идолами!..

— Это, наверно, индейский поп, глядите!..

Индеец поднялся так же медленно и важно. Он вытащил из угла большую каменную вазу, в которой, под пеплом, тлели мелкие угольки. Индеец достал из-под ног самого большого идола пучок ровно нарезанной красноватой травы и положил ее на угли. Трава начала тлеть; поднялся дым; какой-то странный, сильный дурманящий запах наполнил башню.

Индеец запел высоким тонким голосом, все на одной ноте. Солдаты переглянулись. У Лопе закружилась голова; казалось, сейчас ему станет худо от этого остро пахнущего дыма, от тонкого визгливого голоса, тянущего все одну и ту же ноту...

— Довольно! Возьмите его! — сказал Сандоваль.

Индейца взяли. Он успел еще бросить пучок тлеющей пахучей травы в нос своему идолу, потом встал, молча опустил руки и покорно дал себя связать.

Испанцы еще раз осмотрели башню террасы, ступеньки, все закоулки земляного индейского храма. Больше никого они не нашли. Старый жрец-индеец жил здесь один.

Сандоваль пытался расспросить индейца о стране, о храме. Тот молчал. Старик не понимал ни слова из того, что ему говорили. Жестов он также не понимал или не хотел понимать.

— Поведем его к сеньору Кортесу, — распорядился Сандоваль.

Кортес расположился в одном из домов селения. С ним были его капитаны: Пуэртокарреро, де Монтехо, Кристоаль де Алид, Алонсо де Авила и другие. Не было только Альварадо, — тот сидел взаперти у себя, в кормовой башне «Исабели».

Индейца привели в дом к Кортесу. Кортес велел развязать старику руки, усадил на ковре подле себя, принял с почетом. Но старик сидел опустив голову,

сложив руки и молчал. Он не ответил Кортесу ни словом на своем языке, ни жестом, ни кивком головы. Привели Мельчорехо. Услышав слова на родном языке, старик поднял голову. Он выслушал Мельчорехо, осмотрел его внимательно и с презрением отвернулся. Старик не хотел разговаривать с человеком, который изменил своему племени.

Кортес велел принести вареной свинины, вина, хлеба. Старик не дотронулся до еды.

Долго бился Кортес со старым индейцем, — тот все молчал, опустив голову, сложив руки. Кортес скинул сорочку с себя и надел ее на старика в знак особенного своего расположения. Индеец снял сорочку и отложил ее в сторону, с явным отвращением.

Тогда Кортес повел индейца на берег, показал ему испанские суда. Старик долго смотрел на каравеллы, потом на большие весельные лодки, стоявшие у самого берега. На лодки старый индеец обратил особенное внимание.

— Дариен!.. — сказал старик и показал на самую большую лодку.

Это было первое слово, которое индеец произнес.

Дариен?.. Испанская колония в материковых землях?.. Во многих сотнях лег южнее, на берегу материка?.. Откуда индеец с Юкатана мог знать это слово?

Несколько раз переспросил Кортес, снова позвали Мельчорехо.

— Дариен! — явственно повторил индеец, показывая на лодки.

Кортес взволновался. Может быть, на этом берегу побывали испанцы с материка? Как они попали сюда и что с ними случилось?..

— У меня есть солдат, живший когда-то в Дариене! — сказал Кортес. — Я помню его; он записался в Сант-Яго. Разыщите этого человека, Сандоваль!..

Глава десятая

БРАТ АГИЛЯР

Только Лопе пристроился на пороге индейского дома, чтобы пообедать кроличьим жарким, как его позвали к генерал-капитану.

— Хорошая память у сеньора Кортеса, — обрадовался Лопе. — Сеньор вспомнил об обещанном камзоле!

Лопе побежал к капитану, забыв о еде. Но Кортес и не думал говорить с ним о камзоле. Он был очень озабочен.

— Послушай, Санчес, — сказал Кортес. — Ты ведь был в Дариене?

— Был, ваша милость.

— Вспомни хорошо, — ходили из Дариена суда к берегам Юкатана?

Лопе подумал.

— Не было такого, ваша милость! — твердо сказал он. — Не до новых земель было нам в колонии. С голоду мы дошли в Дариене, — за хлебом посылали суда, это верно, — в Сан-Доминго, на Эспаньолу.

Кортес задумался.

— На Эспаньолу?.. А вернулись эти суда обратно?.. Вспомни, Санчес, это очень важно!

Лопе напряг память. Почти восемь лет прошло с тех пор, но нет, он помнил точно: одно вернулось, с капитаном Вальдивия, привезли хлеб и солонину... А второе?.. Нет, второго напрасно ждали в Дариене. Не было о нем вестей, так и не узнали, добралось ли судно до Эспаньолы и разбилось у берега или потерпело крушение где-нибудь в пути.

— Одно не вернулось, ваша милость, — сказал Лопе.

— Ты хорошо помнишь? — оживился Кортес.

— Хорошо, ваша милость! Одно судно ушло в Эспаньолу и не вернулось.

Позвали Аламиноса и других капитанов. Пилот Аламинос хорошо знал ветры и течения в этой части океана.

— Да, если судно, выйдя из Дариена, из-за бури уклонилось к северу, оно могло попасть в то же течение, в которое попали мы, — сказал Аламинос. — Каравелла разбилась где-нибудь среди мелких островов, а лодку пригнало течением сюда, к Косумелу.

— И возможно, здесь, на диком острове, есть христиане, попавшие в неволю к индейцам?..

— Да, это возможно, — сказал Аламинос.

Кортес был взволнован. Поиски потерпевших крушение — это благородная цель. Пусть же теперь наместник Кубы попробует его опорочить в глазах короля!..

— Мы должны их найти! — сказал Кортес. — Как обрадуется его величество, когда узнает, что отыскиали и вернули в лоно родины испанцев, попавших в неволю к дикарям Нового света!.. Я пошлю его величеству донесение вместе с королевской частью золота!..

Да, да. Через голову наместника Кубы он пошлет королю донесение и этим оправдает свой самовольный выход в плавание. Если ему удастся разыскать пропавших испанцев, — его величество не станет проверять, — имел ли Фернандо Кортес право становиться во главе армады. Уже одним этим поступком Кортес докажет свое право на звание генерал-капитана.

— Что же случилось с этими испанцами, попавшими на Косумел? — Капитаны опять подступили к старику.

— Здесь были белые люди — такие же, как мы? — спрашивал Кортес.

Старик тряс головой. Он не понимал.

— Переведи, Мельчорехо! Ортегиля, дай ему вина!..

Почти насильно старому жрецу влили в рот полкубка вина. Он поднял голову, повеселел, начал осматривать испанцев заблестевшими глазами.

— Сейчас заговорит! — сказал Сандоваль.

— От хорошего вина немой заговорит, не то что индеец! — сказал Лопе.

Старик действительно заговорил.

— Да, здесь были люди, — с бородами, в медных шлемах, как вы... Их было шесть человек: пять и еще один... — индеец показал на пальцах.

— Где они? Спроси, Мельчорехо, что с ними случилось! — нетерпеливо сказал Кортес.

Мельчорехо перевел вопрос. Индеец по-детски улыбнулся и жестом показал, что сделали с теми людьми: он точно опрокинул на землю человека, занес над ним нож, быстрым движением вспорол грудь, вынул сердце и поднял его, улыбаясь, на ладони вверх.

— Убили... Принесли в жертву своим богам!.. Проклятые язычники!

Хуан Веласкес де Леон схватился за рукоять меча; у всех потемнели лица, даже шут схватился за шпагу.

— Терпение, сеньоры! — Кортес жестом сдержал своих капитанов. — Спроси, Мельчорехо, — всех ли убили? Хорошо ли он помнит, старик?.. Может быть, кто-либо из этих людей остался жив?.. Остров так мал, здесь должны знать. Что он говорит?.. Нет?.. Остались двое?.. Где они?.. На этом острове? Где же?

— Он говорит, что двое из этих людей, кажется, остались живы; их взял Калачуни, вождь, только не с этого острова, а с соседней земли, той, что на запад отсюда, через малый пролив...

— Юкатан! — сказал Аламинос. — Берег Юкатана, обращенный к острову. Индейцы переплывают сюда с Юкатана на обыкновенных лодках.

— Проведешь ли ты к тому берегу наши суда? — спросил Кортес.

Аламинос покачал головой.

— Море плохое! Волнение не утихает, а там скалистый берег, узкий пролив, ветры. Нет, судам туда идти опасно.

— Можно идти на лодках, — предложил кто-то.

— Разбивать силы? Нет, не годится, — сказал Кортес. — Мы сделаем вот что: снарядим старика, дадим ему письмо, подарки для вождя с того берега и пообещаем всего вдвое, если приведет нас испанцев.

Секретарь армады написал письмо на латинском языке, запечатал сургучной печатью. Старику дали письмо к юкатанскому вождю, дали подарки. Жрец ушел очень довольный, с латинским письмом в одной руке и с детской погремушкой — в другой.

* * *

Наутро из лесу начали показываться косумельские индейцы. Сначала люди подходили робко, готовые убежать при первом слове; потом осмелели. Подходили кучками, человек по пять — шесть, клали копья на землю и жёстами показывали, что хотят меняться. Косумельцам понравились подарки, которые получили первые два индейца, захваченные Альварадо.

— Я был прав! — сказал Кортес. — Силой надо брать там, где нельзя иначе. Здесь мы получим все, что нам нужно, не подвергая себя опасности.

Косумельцы несли маис, пальмовую ветку, кур, кроликов, свежую воду. Золотых изделий у здешних индейцев почти не было: кой у кого — пластинка на груди или тоненькие ушные кольца низкопробного золота.

Прошло двое суток. Старый индеец, отпущенный с письмом, не показывался. Кортес дал подарки и такие же письма еще двум молодым индейцам из селения и тоже послал их на юкатанский берег, к тамошнему вождю.

Не возвратились и они. Прошло семь дней; никто не приходил с того берега.

— Мы здесь сидим и теряем понапрасну время, — уверял Сандоваль, — а впереди у нас еще так много дела!

— Не придут индейцы: получили подарки и ушли в лес, к своим; что им еще нужно!..

— Может быть, здесь и испанцев никогда не было, старик все выдумал? — сомневался шут.

— Подождем, — сказал Кортес.

Прошло еще четверо суток. Индейцы не появлялись. Ждать дольше казалось бессмысленным: армада проедала свои запасы, солдаты томились в бездействии. Мена на Косумеле была плохая, — золота почти не несли. На утро двенадцатого дня Кортес назначил отход.

Настало утро. Суда едва успели выйти из узкой бухты, как каравелла с зерном напоролась на камень и дала небольшую течь. Два других судна с двух сторон подошли к каравелле и повели ее к берегу для починки. Они обогнули небольшой мысок и стали на якорь недалеко от входа в узкий пролив между Косумелом и Юкатаном. Часть юкатанского берега и почти весь косумельский видны были отсюда простым глазом.

Незадолго до захода солнца солдаты увидели большую лодку в проливе. Лодка шла от юкатанского берега. Один индеец в лодке греб, стоя на носу; еще четверо сидели на днище.

Кортес велел сейчас же выслать две лодки на встречу индейской. В одну лодку сел он сам с двумя капитанами и с патером Ольмедо, в другую посадил десять солдат; с ними и Лопе Санчеса.

Испанцы подошли к косумельскому берегу раньше. Индейская лодка приближалась быстрыми рывками, и все индейцы на ней смотрели в их сторону.

Лодка причалила к низкому берегу. Один индеец что-то кричал на своем языке и указывал на испанцев. Сердце у Лопе забилося; он точно чувствовал, что сейчас произойдет что-то важное. Индейцы стали высаживаться; один из них бежал впереди, почти голый, обросший волосами, в тряпке вокруг бедер. Он вбежал в самый круг испанцев и остановился.

— Святая дева! — сказал индеец. — Святая дева, я вижу людей моей страны!..

Плача, он упал на землю. Потом встал, подбежал к одному испанцу, к другому, ошупал плечи, шлемы.

— Испания? — сказал он. — Кастилия?..

Он говорил неуверенно, точно отвык произносить слова на родном языке.

— Да, мой друг, ты — среди испанцев, — сказал Кортес.

Человек повернулся к нему и, узнавая капитана, низко поклонился Кортесу на индейский манер: одна рука коснулась земли, другая — наклоненного лба.

— Лима-танар! — сказал человек. Это было приветствие вождю на языке юкатанских индейцев. — Лима-танар!..

Его голая спина дрожала. Испанцы молчали, пораженные, Кортес сдернул с плеча плащ и покрыл им темную от загара спину человека.

— Откуда ты родом? Как попал сюда? — спросил Кортес.

Человек не отвечал. Он поднял голову, но прикрыл ладонью лицо, точно стыдясь чего-то. Молча он рассматривал испанцев; губы его дрожали, на глазах выступили слезы.

— Дариен? — спросил Кортес.

Человек вскочил на ноги.

— Да, Дариен! — сказал он. — Я приплыл отсюда!.. — Он показывал на юг. — Дариен, в материковых землях...

Он все еще закрывал ладонью лицо.

— Лопе Санчес, ты помнишь такого в Дариене? — спросил Кортес.

Лопе подошел. С минуту он глядел на человека и то узнавал, то не узнавал. Восемь лет прошло с тех пор; столько сменилось в памяти людей, имен!.. Все смешалось. Глаза человека точно были ему знакомы, но эта ладонь, прикрывшая лицо...

— Я... я не помню, ваша милость! — растерянно сказал Лопе.

Человек отвел ладонь.

— Узнаешь? — сказал он.

Лопе отступил. Нос у человека был продырявлен на индейский манер, и в каждой ноздре торчало по медному квадратику с индейским узором.

И все же что-то было знакомо Лопе и в том лице — редкая бородка, худые щеки и серьезные глаза над изуродованным носом.

— Я Агиляр! — сказал человек.

— Брат Агиляр! — вскричал Лопе.

Он вспомнил. В дни самого жестокого голода в колонии Херонимо де Агиляра послали на Эспаньолу за продовольствием. С ним было на судне еще человек двадцать — двадцать пять.

— Где же остальные? — спросил Кортес.

Агиляр рассказал. Бурей их отнесло в сторону, и каравелла разбилась о рифы недалеко от острова Ямайки. Агиляр и еще семь человек спаслись на большой лодке. Они приделали парус, и их долго носило в открытом море. Двое умерли от жажды и лишений. Остальных прибило течением к берегу Косумела. Четверо из них погибли сразу, — косумельские индейцы принесли их в жертву своим богам.

Агиляр замолчал.

— А ты как спасся, брат Агиляр? — спросил Кортес.

Агиляр вздрогнул, точно его поразило обращение Кортеса.

— Я больше не брат Агиляр, — сказал человек, — Я давно оставил свой орден.

Патер Ольмедо поднял руку.

— Подойди сюда, брат Агиляр! — сказал патер. — Помнишь ли ты слова святой мессы?

— Нет... — растерянно сказал Агиляр. — Не знаю...

Он быстро-быстро забормотал слова церковной мессы, мешая их с индейскими словами.

Патер Ольмедо взял в руки свой ящичек с дарами.
— Опомнись, брат Агиляр! — сказал патер. — Милость господня да осенит тебя.

Но Агиляр не подошел к патеру, не встал на колени.

— Я столько лет жил в неволе, — сказал Агиляр. — Господь оставил меня; я больше не молился. Я не знаю, чьи боги лучше, добрее к людям, индейские или...

— Замолчи, замолчи, безумец! — замахал руками патер Ольмедо. Он накрыл Агиляра епитрахилью. — Молись святой деве!..

Агиляр смеялся.

— Брат Агиляр потерял разум! — с сокрушением сказал патер Ольмедо. — Господь в великой благодати своей лишил его разума, чтобы, попав к неверным, брат святого ордена не познал бесовской прелести индейской языческой веры. Помолимся, братья, за исцеление несчастного!.. — Патер Ольмедо запел молитву. Все преклонили колени.

Агиляр улыбался. Он что-то бормотал на индейском языке.

— Скажи мне, Агиляр, что случилось со вторым твоим товарищем? Как его звали? — спросил у него Кортес.

— Его звали Гонсало Герреро, — ответил Агиляр. — Он поселился среди индейцев, взял себе жену. Гонсало счастлив и не хочет уходить. Неверному золоту, славе и опасностям походов он предпочел хижину под ясным небом, плоды и солнце Юкатана.

— Брат Агиляр безумен! — вздохнул патер Ольмедо. — Не говорите с ним, сеньор Кортес.

Агиляр смеялся. Кортес с жалостью смотрел на него.

— Я возьму его к себе на судно! — сказал Кортес. — Может быть, разум еще вернется к брату.

Агиляра поместили на «Санта Росе» в тесной камерке, вместе с пажом Кортеса — Ортегильей.

Глава одиннадцатая

ТАБАСКАНЦЫ

В тихую погоду суда флотилии обогнули мыс Катоche. Море точно прилегло перед новой бурей, серо-дымчатые волнистые полосы покрыли небо; сквозь них

жарко пламенело солнце; плотный туман тропических испарений висел над морем, над судами, оседая в каплях на палубе, на снастях. Суда входили, как в огромный притихший котел, в воды большого залива, врезающегося в сушу гигантским правильным полукругом. Синяя морская вода здесь в заливе была с крепким зеленым отливом, и этот зеленый отсвет, чем глубже в залив, становился все темнее, все ярче. У самой суши лежали уже отчетливые темно-зеленые полосы.

Берег за Потончаном был безлесный, открытый, местами каменистый, местами песчаный. Дальше к северу в зеленой морской воде разливалась широкая мутно-желтая полоса: это большая река здесь вливалась в море.

Река называлась Табаско. Суда Кортеса подошли к устью. Сразу стало ясно, что флотилии вверх по реке не подняться: широкий песчаный барьер перегораживал устье у самого моря. Пилот Аламинос выслал людей на мелких лодках вперед — баграми измерить дно, поискать прохода среди мелей. Лодки вернулись ни с чем: даже в самом глубоком месте ни одна из больших каравелл не могла бы пройти в реку.

Перед этим препятствием отступил в свое время капитан Грихальва. Он не решился на малых судах подняться по реке в незнакомой местности, среди немирных индейцев. Грихальва только постоял у входа в устье, принял индейских послов, наменял мелкого малоценного золота и уплыл домой.

— Я не так труслив, как Хуан Грихальва! — объявил Кортес. — Здешняя бухта удобна для стоянки судов; пресной воды много, земля по берегам плодородна. Я не побоюсь подняться на лодках вверх по реке, — узнать, каковы здесь индейцы, богаты ли у них города, много ли золота. И если много, то здесь ли его добывают, или привозят из соседней страны. Обо всем я намерен составить подробное описание и послать королю. На этой реке я надеюсь немало послужить богу и его величеству.

Дважды промерили дно и в самой середине реки нашли место поглубже. В этом месте могли пройти две меньшие бригантины. Все остальные суда остались у входа в устье, а на эти две бригантины и почти на все лодки флотилии Кортес велел посадить больше поло-

вины людей армады — триста с лишним человек; да еще погрузили шесть малых пушек и запас пороху и ядер.

Люди плыли стоя, — так тесно было в лодках. В устье входили медленно и осторожно, все время ощупывая дно шестами. Левый берег был плоский, песчаный, правый — обрывистый, зеленый, густо заросший мангровыми деревьями; толстые открытые корни вились по обрыву, кое-где огромными пучками торчали из самой воды.

В одном месте деревья отступали и видна была тропинка, протоптанная от берега, должно быть к индейскому поселку. Поджав ноги, на тропинке у самого берега сидел человек. Он смотрел во все глаза на подплывающие лодки, точно окаменев. Потом поднялся и быстро побежал прочь от берега. Пучок перьев, подвязанный у него сзади на шее, трясся на бегу. Скоро человек исчез из виду: тропинка пряталась в пальмовом лесу.

— Ну, скоро начнется потеха! — сказал Хуан де Торрес.

Хуан де Торрес и Лопе Санчес стояли у борта на второй бригантине. На первой, впереди, — генерал-капитан Кортес. Он стоял на носу, в походном камзоле, без плаща, в боевой кольчуге, в шлеме, в полном вооружении.

Дальше по реке и противоположный берег стал выше, круче. Теперь с двух сторон стеной поднимались мангровые заросли, горластые незнакомые птицы кричали в ветвях. Лодки неспешно продвигались вперед, прижимаясь к правому берегу.

— А-а!.. А-ла-та-а!.. — послышалось справа среди деревьев. Две — три головы, украшенные черными перьями, высунулись из густой зелени, и стрела со свистом пролетела над водой, вонзилась в борт меньшей бригантине.

Головы спрятались. Бригантины и лодки все так же медленно шли вперед.

— А-та-а!.. Та-ла-та-а!.. — много голосов сразу угрожающе закричали и справа и слева; темные руки, головы задвигались между ветвей, целая туча стрел и дротиков полетела в лодки.

Лодки и бригаантины прошли еще вперед немного, потом, по знаку Кортеса, остановились. И сразу затихли крики по берегам, оборвался свист стрел. Несколько темных фигур, выйдя из зарослей, на виду у всех положили луки на землю и прижали их ступней.

Табасканцы не нападали. Они просто не хотели пу-
скачь пришельцев на свою землю.

— Уходите, и мы вас не тронем, — точно говорили этим жестом индейцы. — Не тревожьте нас на нашей земле!

Кортес дал знак, лодки снова двинулись вперед. Шли с трудом, течение было сильное, точно река Табаско сама хотела вытолкнуть пришельцев обратно в море. И снова полетели стрелы.

Выше по реке по правому берегу виднелась открытая лужайка. Кортес велел направить свою бригаантину к этому месту.

Здесь было много народу. Свист и вой встретил подошедшее судно. Табасканцы выстроились стеной на берегу, оттесняя женщин назад.

Кортес велел выкинуть на носу бригаантины поло-
ску белой хлопковой ткани. По всему юкатанскому берегу такая белая тряпка означала: мирные перегово-
ры.

Индейцы опустили луки и палицы, ожидая. Крики замолкли.

— Давайте сюда Мельчорехо! — сказал Кортес.

Притащили Мельчорехо. Он был бледен от страха и не хотел идти; его волокли силой.

— Я спущу с тебя твою темную кожу, индеец, — сказал Кортес, — если ты перевернешь хоть одно слово!.. Скажи им: «Я пришел сюда с миром, жители великой реки Табаско!..»

Мельчорехо прокричал несколько слов срываю-
щим голосом. Табасканцы притихли, слушая.

— Я не трону ваших деревень... Скажи им, Мельчорехо!

— Он говорит, что не тронет ваших деревень! — скороговоркой прокричал Мельчорехо. — Не верьте: разо-
рит, прогонит, убьет!.. Не верьте белому вождю!..

Вой раздался на берегу. Снова поднялись руки, полетели камни.

— Что они кричат? — спросил Кортес.

— Они говорят: уходите из нашей страны! — смущенно перевел Мельчорехо.

— Скажи им: я прошу у них позволения высадить моих людей на берег только для того, чтобы провести здесь ночь.

Мельчорехо перевел. Стрелы, камни, дротики полетели в ответ.

Педро Альварадо вертелся вокруг Кортеса. Он прямо плясал от нетерпения.

— Прикажите, дон Фернандо, мои стрелки им ответят из мушкетов!..

— Прикажите высадиться на берег с полсотней людей.

— Отложим до утра! — сказал Кортес.

Солнце уже клонилось к закату. В этих широтах ночь наступала быстро, после захода солнца сразу становилось темно. Принимать бой к ночи в незнакомой местности, у большого индейского селения, было неразумно.

— Отложим до утра, — решил Кортес. Бригантина вернулась на середину реки, к лодкам.

На бригантинах и лодках люди стояли в тесноте; провести ночь в таких условиях было невозможно. Несколько пониже по реке Пилот Аламинос приметил небольшой песчаный островок. На этом островке решили высадиться и провести ночь.

Расположились на песке, влажном от ночных испарений. На бригантинах поставили охрану у пушек, выставили пикеты и на островке. Часовые сменялись каждые два часа.

Лопе Санчесу выпало стоять в карауле последние два часа перед рассветом. Лопе крепился, зевал, глядя на звезды, шагал вдоль борта бригантины. К утру очень хотелось спать. Чужая река с тихим плеском несла к морю свои воды, разбивалась о нос бригантины, пошевеливала лодку у ее кормы. Берега были темны; тихие звуки доносились с правого, точно большие толпы народу осторожно передвигались в темноте. Перед самым рассветом небо побледнело, темные полосы дальних домов обозначились за лесом: табасканцы жгли костры, готовясь к бою. Глухой ритмический звук доносился до Лопе, точно где-то далеко гулко и ровно хлопали кожаные мехи: это индейцы били в свои бара-

баны. Жутко стало Лопе от предрассветной полутьмы, от этого звука, ровно и гулко бьющего в уши откуда-то издалека.

«И зачем только понадобилось сеньору Кортесу заходить в эту проклятую реку! — думал солдат. — Плыли бы мы и плыли дальше, вдоль морских берегов, наменяли бы золота и жемчуга полные трюмы и вернулись бы домой с миром и добычей, как старый капитан Грихальва... Лить испанскую кровь, добывая новые земли королю!.. Разве мало его величеству уже открытых и покоренных земель?..»

Лопе испугался; ему показалось, что последние слова он произнес вслух. Он с тревогой всмотрелся в лицо второго часового на корме; слышал тот или не слышал?..

Часовой, казалось, дремал с полузакрытыми глазами и слегка покачивал головой; нельзя было понять, — спит он или слышит слова товарища и кивает головой в знак одобрения. Лопе подошел ближе к корме и узнал часового: это был оружейник Андрес Морено.

Глава двенадцатая

ПЕРВАЯ СТЫЧКА

Всю ночь собирались табасканцы к открытой лужайке на берегу, валили вокруг деревья и складывали шпалерами, готовясь к бою. Шли мужчины, женщины, дети; под руки привели древнего, седого старика — главу города Табаско.

Воины набивали стрелами колчаны, трясли копьями, большими палицами с раздвоенными концами. Старик шел медленно, а без него воины не могли решить, что им делать, как принять людей, приплывших от устья реки.

Молодой индеец рассказывал: он первый увидел их; он сидел на тропинке у реки, и вдруг они показались на своих плавучих домах.

— Я видел, они поднялись со дна морского! — клялся Котахо. — У них белая кожа и длинные волосы на подбородках; головы у них из меди, блестят на солнце, а в руках палки для колдовства!..

Нигде по здешнему берегу, ни по рекам, ни в глубине страны, ни на ближних островах не встречались такие люди: с густыми волосами на лице, с белой кожей, во многих одеждах, точно тела этих людей боялись солнца. У них большие плавучие дома с белыми крыльями.

Один раз такие люди уже побывали у здешних берегов, тринадцать лун назад. Но те не входили в реку, не угрожали селениям. Они постояли у устья Табаско на своих плавучих домах, подарили здешним жителям много красивых, цветных прозрачных камней, взяли маис, пресную воду, золотые кружочки из ушей и ушли.

Воины ждали старика. Велит ли он вступать с пришельцами в бой?

— А что, если эти люди не боятся смерти, как мы? — толковали воины. — Может быть, их не могут проткнуть наши стрелы?.. Их мало? Но, может быть, каждый из них может делиться на двоих, на четверых и идти сразу на запад, на юг, на север и на восток?.. Может быть, они умеют делать огонь из воды и черный дым из воздуха? Какие у них боги? Какая у них сила? Может быть, они сами — боги?.. Может быть, они не умирают такой смертью, какой умираем мы?..

— Да, да, их нельзя ранить! — уверял Котахо. — Наши стрелы их не возьмут. Их нельзя ранить, как нас!.. В них не бывает крови... Они не боятся смерти, как мы.

Воины ждали старого вождя. Он пришел, наконец, опираясь на руки сыновей, добрел до берега и взглянул.

Уже розовело небо на востоке, светлые полосы бежали по реке. Солнце вставало из-за черты далекого леса.

Пришельцы не спали. Один плавучий дом тихо отошел от островка и двинулся вниз по реке. На нем табасканцы увидели много людей и несколько странных чудовищ, не похожих ни на человека, ни на дерево, ни на зверя: с прямыми толстыми шеями, с короткими ногами, широко раскрытыми ртами. Чудовища глядели прямо на берег.

Воины собрались вокруг вождя. Старик поднял руку. Все замолчали.

— Приветствовать пришельцев словами мира, — сказал старик, — но в город не пускать!..

Воины зашумели. «В город не пускать!..» Старик решил мудро. Приветствовать словами мира, но в город не пускать!..

* * *

Еще задолго до восхода солнца все было готово у Кортеса. Проверены мушкеты, пушки, все боевое снаряжение. На лодки стрелки перенесли легкие козлы для аркебузов, осмотрели самострелы. Перед самым рассветом Кортес позвал к себе Алонсо де Авилу. Они говорили недолго. Прошло минут десять, и большая из бригантин, взяв все шесть пушек, тихо отчалила от острова; за нею — еще две лодки. Сотню людей под начальством де Авилы Кортес посылал высадиться много ниже по реке, у тропинки, протоптанной от берега к пальмовому лесу, — той самой тропинки, которую испанцы приметили накануне. Тропинка, должно быть, вела к индейскому селению.

Капитану Алонсо де Авилы Кортес дал подробные инструкции, как ему следует поступать.

Взошло солнце; сразу стало светло, жарко, шумно. Индейцы стояли плотной стеной на лужайке и дальше, среди деревьев.

У берега качались на легкой волне тупоносые индейские лодки. В них стояли люди; открытые тела воинов были расписаны боевым рисунком, руки крепко сжимали палицы, копья; жители Табаско готовы были защищать свой город.

Одна лодка отошла от берега. В ней стоял рослый индеец, почти голый, разрисованный полосами наискось по груди и по спине. Индеец держал в поднятой руке большую деревянную чашку; в чашке лежало несколько горстей маиса, свежесрезанная курица и плоды. Всего этого едва хватило бы на завтрак двоим — троим людям.

— Уходите! — крикнул индеец. — Берите наши подарки и уходите прочь от наших берегов!

Кортес переглянулся с Сандовалем. Он понял индейца и без переводчика.

Генерал-капитан стоял на носу бригантины. Рядом с ним, по правую руку, стоял Педро Альварадо. Но

Кортес не так ласков был с Педро после Косумела. Чаще он обращался к капитану по левую руку от себя — Гонсало Сандовалю.

Кортес переглянулся с капитаном. Кивок головы — и легкая лодка отчалила от бригантины, навстречу индейской лодке. На корме сидел толстый человек в черной накидке, без шлема, в огромной шляпе с перьями, при одной шпаге, с большой бумагой на коленях. Это был секретарь армады, ученый писец Диего де Годой. За спиной дона Диего на корме, в синих штанах, в полотняной куртке, сидел скорчившись переводчик Мельчорехо. Индейца силой обрядили в европейское платье.

Лодки сошлись, и писец встал. Подняв бумагу, он начал читать, — медленно, громко, раздельно.

— «Люди города Табаско! — читал писец. — Я, Фернандо Кортес, слуга его величества, испанского короля, могущественнейшего государя, более сильного, чем все ваши вожди и касики, предлагаю вам добровольно подчиниться воле его величества!..»

Это был пункт первый. Индейцы молчали. Они не поняли ни одного слова.

Писец поднял руку. Он читал второй пункт:

— «Именем моего короля предлагаю вам немедленно пропустить меня и мое войско в ваш город.

Если не пустите добром, — прольется кровь, и вина за нее падет на ваши головы».

Писец еще выше поднял бумагу.

— «Спротивляться бесполезно! — торжественным голосом дочитал писец. — Ибо все равно я, Фернандо Кортес, решил провести эту ночь с моими людьми в стенах города Табаско».

Индейцы стояли молча. Они ничего не поняли.

— Переведи! — сказал писец. — Переведи им, Мельчорехо, покороче...

Что-то плеснуло в воду у борта за его спиной. Писец оглянулся. Это был Мельчорехо. Сильным прыжком индеец перемахнул через борт лодки и поплыл к своим. Он кричал что-то, захлебываясь и взмахивая рукой, но отплыть успел недалеко. Капитан Диего де Ордас, перегнувшись, достал его пикой. Ловко проткнув кончиком пики пучок волос на макушке Мельчорехо, Диего де Ордас подтянул индейца к борту. Мельчорехо, втащили обратно, но он успел прокричать своим не-

сколько отчаянных слов. — должно быть, короткий пересказ кортесовой бумаги.

Ужасный вой был ему ответом. Тучей полетели стрелы.

— Сант Яго!.. В бой!.. Санта Хесус, помоги... Сант Яго!.. — закричали на испанских лодках. И вся флотилия лодок ровным строем двинулась к берегу.

Лопе стоял на лодке, в самом центре флотилии. Схватились у берега. Большая индейская лодка вплотную подошла к испанской. Рябой Эредия сильным рывком выдернул весло из рук индейца на носу, индеец покачнулся, лодка накренилась, индейцы поскакали в воду. В воде они окружили испанскую лодку, налили на борт, ужасно крича. Секунда — и испанская лодка тоже перевернулась, противники оказались по грудь в воде, в путанице мангровых корней.

— Санта Хесус! — услышал Лопе и оглянулся. Рослый индеец топил Хуана де Торреса, пригibal его головой к воде. Лопе подскочил и вместе с Мигелем Тинто оторвал индейца от Хуана де Торреса. Длинные оперенные стрелы летели с берега, вода окрасилась кровью.

— Не показывайте ран! — кричал Кортес. — Не показывайте крови!..

Лодки переворачивались днищами кверху; испанцы пробивались между лодок, меж корней, тесня индейцев в воде. Хуан Веласкес де Леон, с силой толкая перед собой лодку, пробился уже к берегу. Кортес шел вслед; его закрывали братья Альварадо с боков и сзади.

— Калачуни!.. Калачуни!.. — кричали индейцы, указывая на Кортеса, угадывая в нем вождя.

С берега целились в Кортеса, но стрелы отскакивали от его медного шлема, от большого кованого щита.

— Заколдован!.. Заколдован!.. — с ужасом кричали табасканцы. Лопе низко нагнулся, спасаясь от стрел, и, прикрывая собой де Торреса, тоже пробивался к берегу.

В воде, у лодок, билась только малая часть табасканцев, главные силы стояли на берегу, на открытой лужайке и дальше, в лесу, среди наваленных ночью деревьев. Туда, к лужайке, пробивались испанцы.

Берег был скользкий, размытый; едва ступив, Кортес поскользнулся; нога ушла глубоко в вязкую глину. Он вытянул ногу в одном чулке, походная сандалия осталась в глине. Тотчас два — три индейца нацелились в открытую ногу, но братья Альварадо — Хуан и Гонсало — подскочили и прикрыли щитами капитана.

Педро Альварадо бился по правую руку. Глаза на выкате, щит наотлет — он точно играл мечом, пробиваясь меж индейцев. Стрела, запев, царапнула ему ухо. Педро только зажмурился слегка и отмахнулся от стрелы, как от шмеля.

— Не показывайте ран!.. Не показывайте крови! — кричал Кортес. Рябому Эредия камнем из пращи разбило нижнюю челюсть, — он тотчас завернул плащ вокруг шеи и подбородка, чтобы враг не видел крови.

— Настоящий бой мы начнем только на суше, дон Фернандо! — кричал Педро. Почти все уже пробились на берег, на высокое место; стрелки уже подтянули снизу, из лодок, легкие козлы для аркебуз, мушкетеры зарядили мушкеты.

— Огоны! — скомандовал Педро Альварадо.

Семнадцать мушкетов ударили без промаха в тесно сгрудившуюся толпу.

— А-а!.. А-а!..

— А-а!.. А-а!.. Огонь из воды!.. Черный дым из воздуха!.. Заколдованные люди принесли смерть со дна моря!..

Индейцы повалились, раненые и не раненые, потом поднялись, отбежали, оставив убитых, и сейчас же вернулись назад, подбирать упавших.

— Огоны!..

Еще залп из мушкетов, из пищалей, из аркебуз. Толпа отбежала и сейчас же опять бросилась обратно с криками, с плачем — подбирать своих раненых. Таков был обычай у индейцев, — они не оставляли врагу ни убитых, ни раненых, — подбирали с поля битвы и уносили с собой.

Испанцы оттеснили толпу к заграждениям из поваленных деревьев. Туда индейцы донесли своих раненых, положили за прикрытие. Пригнувшись, они прятались за деревья, за поваленные стволы, и оттуда посылали стрелы.

— Ударьте по ним еще раз, дон Педро! — сказал Кортес.

— Огонь! — в третий раз скомандовал Педро Альварado; и снова затрещали мушкеты.

Табасканцы бросили свои прикрытия и побежали все беспорядочной, рассеянной толпой. И все же они, н убегая, не оставляли своих раненых.

Лопе видел, как несли старика, индейского вождя. Его несли двое, тяжело раненного, может быть уже мертвого; голова старика свисала назад, ноги волочились по земле. Других тащили за руки, за плечи. Несли детей. Одна женщина в белых кроличьих шкурках, замотанных вокруг бедер, тащила большого мальчика, лет тринадцати; кровь сочилась у мальчика из раны в виске. И все же индейцы бежали быстро, — испанцы едва поспевали за ними вслед.

— Пускай уходят! — спокойно сказал Кортес. — Далеко они не уйдут.

Табасканцы бежали к городу. Они надеялись, ук- рывшись за деревянными стенами Табаско, отстоять свои дома, своих детей и имущество, не пустить при- шельцев в город.

— Пускай бегут! — повторил Кортес.

Он не велел своим торопиться. Несколько человек осталось на лужайке, чтобы перевязать раненых. Всего было ранено восемь человек, убитых — ни одного.

Раненые могли идти, хоть и медленно. Десять сол- дат остались с ними для охраны; остальные походным маршем, в строю, вышли из леса на открытые поля и не спеша двинулись вслед за бегущими табасканцами.

Рядом с Лопе шагал Агиляр; Лопе раньше его не заметил, да и не думал, что брат Агиляр станет при- нимать участие в бою: все-таки хоть и в прошлом, а духовное лицо. Может быть, патер Ольмедо взял с со- бой Агиляра, чтобы тот помогал ему соборовать уми- рающих? Посматривая сбоку на бывшего монаха, Лопе видел, что тот как-то странно себя ведет: не бережется, громко бормочет слова, похожие на индейские, и при- держивает рукой шкурку черного кролика, распластан- ную у него на груди.

— А-ла-та-ла-а!.. Тапа-ра-лани!.. — убегая, кричали индейцы. — Тапа-ра калачуни!..

— Что они кричат? — спросил Лопе у Агиляра.

— «Белые дьяволы!»... Они кричат: «Проклятые белые дьяволы!..» «Проклятый белый вождь!..» — объяснил Агиляр.

— Это про нас? — спросил Лопе.

— Да, про нас.

Женщина в кроличьих шкурках, тащившая раненого индейского мальчика, вдруг остановилась. Она и до того все время отставала: большого мальчишку ей было трудно нести. С ужасом оглядывалась она на настигавших ее белых.

И тут Агиляр выбежал вперед. С неожиданной легкостью большими прыжками перескакивая по неровностям поля, он добежал до женщины, помог ей вскинуть на плечи мальчика, крикнул несколько слов и вернулся обратно, к своим. Женщина побежала дальше. Окровавленная голова мальчика неподвижно свешивалась у нее с плеча.

Рябой Эредия опустил вскинутый было мушкет.

— Убит? — спросил Эредия.

Агиляр кивнул.

— Убит.

— Зачем же она его уносит?

— Чтобы он и мертвый не достался вам, белым дьяволам, — кротко объяснил Агиляр.

Эредия резко повернулся к нему.

— Да вы в своем ли уме, ваше преподобие, брат Агиляр? Какие же мы дьяволы?.. Мы — добрые католики.

Агиляр не отвечал. Он наклонился над умирающим индейцем. Мушкетная пуля пробила индейцу грудь; он лежал среди побегов кукурузы, на земле, и часто-часто дышал. Кровь хлюпала у него в ране при каждом вздохе. В руке он сжимал сломанную пополам стрелу.

Агиляр достал флягу с водой, смочил индейцу лоб и губы. Он оттащил умирающего в сторону, чтобы его не затоптали солдаты, сорвал два больших листа кукурузы и прикрыл ими индейцу лицо. Потом низко наклонился над ним и что-то тихо пробормотал.

Черная шкурка на груди Агиляра при этом движении сдвинулась с места. Выпрямившись, Агиляр сейчас же снова прижал шкурку к груди. Но Лопе успел разглядеть рисунок, выжженный синей краской на коже.

Рисунок был так странен, что Лопе даже не решился спросить у Агиляра, что он означает.

За кукурузным полем пошли низкие места, перерезанные канавами. Вода хлюпала здесь под ногой на каждом шагу, солдаты замедлили марш. Индейцы бежали так же быстро; впереди уже показались группы деревьев, тростниковые крыши — первые дома города Табаско. Дальше, за высокими стенами, поднимались земляные горы храмов, открытые башни, вышки. Табасканцы бежали к стенам, торопясь укрыться.

Вдруг первые ряды отхлынули и побежали назад, тесня остальных. Мушкетная пальба затрещала вдоль стен города, облачка дыма закурчавились над бревнами.

Такой страшный крик поднялся над толпой, что даже бывалым солдатам стало не по себе. Индейцы отбегали обратно, валились в пыль, вставали израненные, в крови, и снова бежали.

— Они двоятся, дьяволы! Они двоятся!.. — кричали индейцы.

Белые люди двоились; они шли сразу и с востока, и с запада, они были впереди и позади; от белых людей не было спасения.

Индейцы разбегались с криком.

— Ох, как воют, — сказал Пако Арагонек, жалостно искривив маленькое смуглое лицо.

Несколько женщин, отбежав, снова с визгом бросились обратно, к стенам города: там, в домах, у них остались дети. Еще один мушкетный залп отогнал их. Белые облачка выстрелов поднимались над вышками, — это Алонсо де Авила со своим отрядом расположился в городе Табаско.

Он хорошо выполнил приказ Кортеса. Кортес угадал: тропинка ниже по реке вела в город. Отряд Алонсо де Авила прошел, не встретив препятствий, до самого города и занял все подходы к нему. Только десяток-другой ребятишек да несколько дряхлых старух нашел Алонсо де Авила за оградами домов.

Дальше все было так, как рассчитал и предвидел Кортес: табасканцы, разбитые у реки, отступили, чтобы засесть в городе, в защищенных домах, но здесь их встретил Алонсо де Авила смертоносным огнем.

Снова затрещали мушкеты, испанцы, наступавшие от реки, одновременно дали залп по бегущим, и толпа индейцев рассеялась по полю, ушла в лес, в заросли, в кукурузные поля. Индейцы упрямо уносили своих раненых; кровавый след оставляли убежавшие, сухие листья кукурузы во многих местах намокли от крови.

Индейцы ушли; только несколько трупов, которые не успели унести, остались на поле под стенами Табаско. Отряд Кортеса в боевом строю вступил в город. Люди рассыпались по домам, по дворам.

Вся центральная часть города обнесена была стеною. За ней поднимались две огромные земляные пирамиды, укрепленные по углам камнями, — точь-в-точь такие же, какую видели испанцы на острове Косумел. Это были храмы табасканцев.

Кортес велел немедленно обыскать дома и храмы. Башни наверху храмов успел осмотреть уже Алонсо де Авила; там никого не было, но внизу, за оградой из камней, в тесных закоулках, могли еще прятаться индейцы.

Лопе Санчес пошел с другими солдатами по дворам, по загородкам.

На открытом месте между двумя храмами собралась большая толпа. Лопе подошел. На земле валялся убитый индеец. Хуан Веласкес де Леон вытащил его из каменного закоулка одного из храмов и проткнул шпагой. В ушах у индейца торчали большие плоские кольца желтого металла.

— Золото! — сказал один солдат.

— Нет, не золото! — второй качал головой.

— Святой девай клянусь, — золото! Давай спросим у капитана!..

Подошел Алонсо Пуэртокарреро, спокойный, как всегда, щегольски одетый и любезный, точно на приеме при дворе.

— Разрешите спор, дон Алонсо! — сказал Хуан Веласкес де Леон. — Золото это или не золото? — Он указал на уши индейца.

Алонсо Пуэртокарреро нагнулся.

— Медь! — брезгливо сказал Пуэртокарреро и потянул кольцо из уха мертвого.

— Уберите его! — сказал Веласкес де Леон.

Индейца унесли.

Во всех домах уже копошились солдаты; из храмов несли какие-то плошки, медные кружочки, кости, утварь. Золота почти не было, — только два — три запястья на деревянных фигурках богов, да в одном доме подставка под каменным кувшином оказалась золотой. Обыскали загородки, зады домов. Капитаны ругались. Продовольствия в Табаско тоже было немного.

По улицам бегали ушастые табасканские кролики. В одном из домов копошился ребенок лет двух, ковылял на слабых ножках и скулил тоненьким, жалобным голосом. Ребенка кто-то из капитанов ткнул шпагой, чтобы не мешал. За стенкой, в темной половине дома визжал щенок, — тонким голосом плакал, как ребенок. Щенка не тронули.

В храмовых пристройках нашли несколько мешков сушеных маисовых зерен. На кольях загородок у многих домов висели связками и сушились желтые стручки не знакомого солдатам растения. Когда колья трясли, стручки осыпались едкой желтой пылью.

Кортес велел расположиться на ночь в центральной огороженной части города. Сам он, со своими капитанами, занял один из храмов. Солдаты расположились в близлежащих домах.

Выставили стражу. Легли все не раздеваясь, при оружии. Дважды за ночь Кортес сам прошел по улицам и переходам города, проверил пикеты, поднялся на вышку и оглядел местность. Ночь была лунная, ясная; открытые холмистые поля за Табаско были хорошо освещены. Индейцев не было видно нигде, — они ушли далеко.

Педро Альварадо, как тень, ходил за генерал-капитаном.

— Ложитесь, дон Фернандо! — просил Альварадо. — Победа полная, город наш; ни один индеец не посмеет вернуться к стенам города.

— Подождем до утра! — осторожно ответил Кортес.

Они спустились вниз по земляным ступенькам. Было уже два часа ночи, близко к рассвету. Луна зашла; в тени стен было темно. Навстречу им шел шут Сервантес. В темноте они не видели, как он бледен.

Шут схватил Кортеса за руку.

— Поглядите, сеньор Кортес! — сказал шут.

Он повел их к дереву, раскинувшему ветви у самой стены.

Минуту назад шут проходил под этим деревом и остановился оттого, что чья-то шляпа, свалившись с ветки, задела ему плечо. Шут взгляделся и отпрянул: на дереве, у самой стены, висел человек. Синие штаны, полотняная куртка, шут узнал — это был индеец Мельчорехо.

Сервантес бросился искать Кортеса. Он привел его и Педро Альварадо к дереву. Было очень темно, но все же и Альварадо и Кортес узнали: на дереве висел переводчик Мельчорехо.

— Проклятый индеец! — выругался Кортес.

— Трус! — презрительно сказал Альварадо.

Он протянул руку и коснулся куртки индейца. Но от легкого прикосновения руки куртка качнулась и упала; за ней свалились и штаны. Альварадо вскрикнул от неожиданности. Это была только одежда индейца.

— Он убежал! — глухим голосом сказал Кортес.

Шут тихонько хихикнул.

— Он убежал! — сказал Кортес. — Дон Педро, разыщите его сейчас же, немедленно!

Альварадо разбудил солдат в близлежащих домах, поднял на ноги всех капитанов. Мельчорехо не было нигде. Индеец убежал, повесив на дереве свое испанское платье.

— Он ушел к своим! — сказал Кортес. — Негодяй, он расскажет им про нас.

— Как жаль! — огорчился шут. — Он расскажет своим, что нас мало.

— Гораздо хуже, — сказал Кортес. — Он расскажет своим индейцам не только то, что нас мало. Он расскажет им, что мы обыкновенные люди. Что нас можно ранить стрелами, копьями, камнями. Что нас можно не только ранить, но и убить.

Кортес велел удвоить пикеты на вышках и вдоль городской стены. Он поставил, кроме того, часовых на круглой площадке между двумя храмами и внутри храмовых пристроек. Сам он снова пошел вдоль стены, проверяя пикеты.

— Ложитесь, дон Фернандо! — просил Альварадо. Кортес качал головой.

— Я не устал. Ложитесь вы, дон Педро, если устали.

Он так и не прилег до самого утра.

* * *

Лопе Санчес лежал на полу в индейском доме, рядом с товарищем. За стеной дома всю ночь суетились индейские кролики, шуршали в маисовой соломе, и Лопе не спалось. Он думал о странном рисунке, выжженном на груди у брата Агиляра. Рисунок был непонятен: две фигуры, одна против другой. Первая — индейский бог с оскаленными зубами, с руками-лапами, сложенными накрест на животе, с собачьим хвостом, завернутым вокруг прямых коротких ног. Таких богов-идолов Лопе видал в индейских храмах. Но вторая фигура была еще удивительнее. Она изображала испанца на коне, в шляпе с перьями и с мечом. У испанца на лице росли длинные волосы, похожие на волнистую шерсть, а конь был тоже необыкновенный: с острой мордой, с большими стоячими ушами, без гривы, похожий на лисицу или на собаку. Ног у испанца-всадника не было, туловище всадника само собою переходило в корпус лошади. Лопе долго думал, что могут означать эти две странные фигуры, но ничего не смог придумать и к рассвету уснул.

Глава тринадцатая

ГОРОД ТАБАСКО

Утром Кортес собрал всех солдат и капитанов на круглую площадь между двумя храмами, трижды ударил обнаженной шпагой по стволу большого дерева в центре площади и громко объявил, что передает город Табаско во владение испанского короля.

— Клянусь, я буду отныне защищать этот город мечом и щитом от всякого посягательства со стороны врага как истонное владение кастильской короны! — сказал Кортес.

Секретарь армады, Диего де Годой, записал эти слова латынью в толстую тетрадь, капитаны подписа-

лись, и так индейский город Табаско стал законной частью владений короля Карла.

Войску надо было кормиться — с судов почти не взяли запасов. Эконом де Торрес наутро снова пошел по домам — искать провиант. В загородках возле домов солдаты наловили много кроликов. По дворам бегали индейские свинки, маленькие остроносые, похожие на крупных жирных крыс. Свинки кусались и, едва до них дотрагивались, испускали какой-то острый запах. Попробовали прирезать и изжарить несколько таких свинок, мясо оказалось жирное, белое, но запах был неприятен.

— Не стану я есть этой индейской дряни! — заявил баск Эредия.

Хлеба тоже не было, только кое-где возле домов лежали кучи маисового зерна, наполовину проросшего. Кашевары накормили солдат похлебкой из маиса и кроличьего мяса.

Кукурузные поля простирались за городом; там, дальше за ними — кустарник, леса. Индейцев нигде не было видно, но Кортес никому не позволил выходить безоружным за ограду, да и с оружием — только группами, не в одиночку.

На полях было пусто; ночью индейцы унесли оставшиеся трупы своих воинов. Никаких следов боя — только где-нибудь изорванная повязка или перо из боевого убора. Листья кукурузы шелестели, обрызганные засохшей кровью.

Так прошли сутки. Съели и кроликов, и проросший маис. Солдаты ловили по дальним загородкам последних одичалых кур. Кое-кто уже выполз за ограду и принес молодые початки кукурузы. Еще нарвали за городом каких-то мелких светло-зеленых бобов. Бобы были твердые и горьковатые на вкус. Они росли на низеньких деревцах, посаженных правильными рядами. Есть эти бобы было невозможно.

Кортес ждал индейских послов. Придут с повинной, принесут подарки, — надеялся Кортес. Но послы не приходили.

На третий день стало уже по-настоящему голодно. Кортес выслал два больших отряда, по пятьдесят человек, осмотреть местность, поискать продовольствия.

С одним отрядом шел начальником Сандоваль, с другим — старший Альварадо.

Отряды пошли в разные стороны, но часа через два вернулись, соединенные вместе, быстрым маршем и с большим уроном: вели и несли восемнадцать раненых. Весь обратный путь они отбивались от индейцев.

Табасканцы осмелели: они начали показываться из лесов большими полчищами и грозили городу издали. Должно быть, перебежавший к ним в первую ночь Мельчорехо рассказал, что испанцев не так уж много и что, соединив силы, легко можно взять их измором.

Сандоваль привел с собой двух пленных. Долго бились с индейцами, — без Мельчорехо никто не умел с ними объясниться. Кто-то догадался позвать Агиляра.

Привели Агиляра. Ему индейцы отвечали охотно. «Много людей! — говорили индейцы и показывали на дальние холмы. — Много людей собиралось там, большое войско. С востока, с запада, — со всех сторон идут воины на город Табаско».

— Спроси у них, брат Агиляр, — сказал Кортес, — спроси у них, почему они хорошо приняли первых людей, пришедших с моря, — капитана Грихальву, — и почему теперь так плохо принимают нас?

Агиляр спросил. Индейцы в ответ быстро-быстро заговорили.

— Капитан Грихальва не поднимался по реке, не трогал селений, — объяснил Агиляр. — С ним табасканцы охотно менялись. Да и за эту мену досталось им от соседних племен. — «Вы изменники, трусы, — говорили табасканцам соседи. — Надо было гнать пришельцев от своих берегов. А не то уйдут одни, придут другие...» Так и получилось. Теперь все соседние племена — с того берега реки и с верховьев, и с дальних предгорий — большими полчищами собираются вокруг города, хотят, соединившись, прогнать и уничтожить белых людей.

Капитаны переглянулись, слушая Агиляра.

— Слишком смел Кортес, слишком смел! — осторожно сказал соседу на ухо Алонсо Пуэртокарреро. — Уйти далеко от судов, в чужой стране с тремястами людей, без тыла, без продовольствия... Слишком смел капитан Кортес!..

Кортес не показал тревоги. Он одарил индейцев бурами и цветными поясами.

— Идите к своим! — сказал им Кортес. — Скажите вашим вождям: я каждого из них вдвое одарю, если он придет ко мне с миром.

Кортес выпустил индейцев за ограду. Они убежали быстро, не оглядываясь.

Кортес ушел к себе в палатку и долго не выходил.

— Что делает наш капитан-генерал? — спрашивали любопытные. Педро де Альварадо раза два заглянул в палатку. Он не увидел ничего особенного: Кортес шутил с пажом, потом поел горячего супа и долго играл с Леонсико, не разговаривая ни с кем.

Кортес еще мог уйти. Устье реки было свободно от индейских лодок; он мог пробиться к своим судам, погрузить обратно людей и уйти. Путь армады лежал дальше, на север, к тем берегам, к которым горами привозят золото из глубины горной страны. Остановиться здесь, в Табаско, на половине пути, дать возможность врагу окружить себя в чужом городе? А продовольствие? А порох? Убыль людей, которую ничем нельзя восполнить, в то время как всё новые и новые индейские племена будут стекаться к городу?

Нет, это могло кончиться неудачей, разгромом, гибелью армады в самом начале путешествия. Оставаться в Табаско было безумием. Значит, что же? Поворачивать назад?

Кортес долго сидел в палатке. Не стерпев, Педро Альварадо снова заглянул к нему.

— Как вы решили, дон Фернандо? — спросил Педро. — Уходить отсюда?

— Нет, — сказал Кортес.

— Ждать осады?

— Нет, — сказал Кортес.

Педро раскрыл удивленные голубые глаза.

— Что же тогда, дорогой дон Фернандо? — спросил Педро. — Я не понимаю вас.

— Выйти за стены города и принять бой в открытом поле, — вот что я решил, дорогой дон Педро, — сказал Кортес.

* * *

Ночью испанцы повезли своих раненых на суда. Устье реки было свободно от индейских лодок; меньшая испанская бригантина добралась благополучно,

выгрузила раненых, взяла на борт еще полсотни солдат и десять коней. Шесть пушек еще прежде были подвезены в город. Половина матросов с судов и оружейники с «Санта Тересы» последовали за бригаantinoй в лодках. Всем удалось незаметно подняться по реке до тропинки, ведущей в город, и еще до наступления утра укрыться за стенами Табаско. Кони едва шли, — они застоялись на судах за долгие дни плавания.

В городе Табаско в эту ночь спали беспокойно. На дальних холмах горели костры. Весь горизонт с севера и с востока был розово-дымный от отсветов огня. Тысячи людей собрались на холмах вокруг костров — индейские племена с гор, с равнины и с другого берега реки. Индейцы здешних мест готовились дать отпор пришельцам.

Дважды просыпался Лопе этой беспокойной ночью и слышал шаги, видел неподвижную тень часового на белой стене, слушал беспокойное бормотание товарищей, лежавших рядом. По правую руку от него лежал Хуан де Торрес. Старый эконо́м мог бы остаться на «Санта Тересе» — капитан не стал бы посылать его в бой, — но вот пошел старик со всеми, не захотел отстать от товарищей и теперь лежал, прислушиваясь, с открытыми глазами; не спал, как все вокруг.

Индейцы били в барабаны; издалека доносились глухие ровные раскаты. «Точно кожаные мехи хлопают над чьим-то дьявольским горном!» — думал Лопе, прислушиваясь к ровному гулкому звуку. Беспокойные мысли томили солдата.

— Не спишь, земляк? — тихонько спросил Лопе соседа.

— Не сплю, — так же тихо ответил Хуан де Торрес. Лопе живо привстал и наклонился к уху старика.

— Путь на суда чист, — прошептал Лопе. — Со стороны устья реки индейцев нет, и суда стоят на рейде наготове. Уходить надо, пока не напали на город индейцы. Их многие тысячи, нас малая горсть против них. Зачем Кортесу здешний берег и город Табаско? Не сюда мы держали путь и не за тем вышла в море армада. Уходить надо скорее!

— Теперь уж не уйдем! — хрипло вздохнул де Торрес. — Не уйдет капитан Кортес, не приняв от индейцев боя.

— Не надо бы ему заходить в эту проклятую реку, ах, не надо!.. — шептал Лопе. — Разобьют нас индейцы: их тысячи собрались со всего берега, — нас меньше пятисот человек.

— Поживем до утра, увидим, — сказал Хуан де Торрес.

Глава четырнадцатая

БОЛЬШОЙ БОЙ

Открытые холмы простирались на север от города Табаско, невысокие, круглые, поросшие колючей индейской травой. В полутора — двух милях от селения гряда холмов расходилась в стороны и снова замыкалась, образуя посередине ровное круглое пространство, похожее на цирковую арену. Вокруг этого природного цирка огромным амфитеатром расположились невысокие холмы.

Эту круглую равнину, похожую на цирк, табасканские индейцы называли «Синтла». Двое суток к Синтле стягивались воины четырех племен. В самом центре под навесами, наскоро сделанными из ветвей, сидели вожди — «калачуни», как называли их табасканцы. Вожди держали военный совет.

Вокруг, на равнине и по склонам холмов, расположилось войско: племя Волка, племя Змеи, Оленя, Собаки и племя Кролика.

Страшнее всех были Волки с севера: у каждого воина над головой торчала маска волка с оскаленными зубами. Груды и спины индейцев были расписаны полосами; пестрые перья вплетены в волосы, ожерелья из перьев надеты на шеи; каждый потрясал копьем или пикой с раздвоенным концом. Воины били в барабаны, дудели в дудки, гудели в раковины: индейцы ожидали врага.

На холмах день и ночь стояли дозорные и глядели в сторону города. Вожди индейцев были согласны в одном: не нападать на пришельцев, пока они в стенах города. Подождать, когда голод заставит их выйти из-за стен, и дать им бой в предгорьях Синтлы.

Между первыми холмами Синтлы и городом тянулись низкие засеянные поля; здесь канавы и искусст-

венные водоемы на каждом шагу перерезали путь. Пришельцы завязнут среди канав, и тогда легко будет засыпать их с холмов камнями, дротиками, стрелами, горящими головнями, навалиться сверху, окружить, раздавить. Их мало, несколько жалких сотен, — об этом рассказал вождям перебежавший от белых человек — воин из племени Лисы, захваченный и увезенный белыми тринадцать лет назад. Их мало, и они боятся смерти, — перебежчик сам видел: они умирают, их можно ранить, у них красная кровь, как у всех людей.

— Вождя белых можно принести в жертву, — хорошая будет жертва богу Вицлопучтли, — сказал один вождь.

— Да, вождя белых и его слугу: он молод. Юноши угодны нашему богу, — сказал второй вождь.

— А всех остальных сделать рабами! — сказал третий вождь.

— Пускай приходят сюда, — племя Волков встретит их так, как волки встречают врага. Табасканские волки еще не потеряли своих зубов.

Воины дудели в дудки, били в барабаны, ждали врага.

* * *

Едва рассвело, Кортес собрал всю свою армию на площади города Табаско.

— Мои капитаны!.. Мои храбрые солдаты! — сказал Кортес. — Не станем сидеть и ждать, пока враг возьмет нас измором. Выйдем в поле, померяемся силами с неприятелем. Наступление — половина победы!

— Наступление — половина победы! — подхватили капитаны.

Начальником пехотного отряда Кортес назначил Диего де Ордаса; пушками ведал де Меса, а во главе кавалерии стал сам Кортес. Всего десять коней было в отряде, но Кортес еще по опыту войны на Кубе знал силу конного войска в стычках с индейцами и сильно надеялся на свою кавалерию.

Конный отряд — сам Кортес и девять его капитанов (Пуэртокарреро, Монтесино, Кристабаль де Олид, Альварардо и другие) — все лучшие наездники и искусные бойцы — должен был выйти из города позже, поска-

кать берегом реки, в обход и напасть на индейцев неожиданно с левого фланга.

Пехотинцы выступили первыми, за ними вслед шла артиллерия. Позади, в аррьергарде, шли еще сорок человек пехоты.

Разведчики нашли дорогу: по затопленным полям шла твердая насыпная дорожка, похожая на дамбу или на межу. Дорожка была узка: едва двое человек могли шагать по ней рядом, плечо к плечу. Идти пришлось очень медленно: пушки то и дело сползали с межи в сторону и проваливались в болото.

Место было открытое, потом пошли заросли. Высокие колючие кустарники скрыли солдат с головой. Из-за кустарника ничего не было видно впереди, но скоро стал слышен гул, грозный, колеблющийся гул тысячного войска, собравшегося на склонах Синтлы.

Пушки несколько поотстали, авангард вырвался из колючих зарослей вперед. Гул и свист оглушили солдат, и даже самые храбрые попятись назад, в заросли. Все склоны Синтлы, насколько хватало глаз, покрыты были народом. Ближние холмы и дальние, и те, что за ними, едва различимые под ослепительным солнцем, и склоны к реке, и вся круглая равнина — все пестрело людьми, шевелилось, шумело, оскалилось масками, оцетинилось пиками; все готовилось броситься навстречу, окружить, смять, уничтожить жалкую горсть кастильцев.

— Раны господни! — сказал Лопе. — Раны господни, мы отсюда не уйдем живые.

Он крестился, косясь на Хуана де Торреса. Но раздумывать времени не было. Капитан де Ордас обернулся к своим.

— Вперед! — сказал де Ордас.

Люди бросились вперед.

И тут Лопе показалось, точно само небо с воем и грохотом обрушилось на него.

Свет дневной потемнел от летящих камней, от тучи дротиков и стрел. От топота, свиста и воя загудела земля.

— А-ла-та-а-ла-а! — с устрашающим воем индейцы двинулись вперед.

— Огонь! — скомандовал Диего де Ордас.

— Ра-та-тах!.. Та-так!..

Стрелки разрядили мушкеты и аркебузы. Передние ряды индейцев дрогнули и смешались, попятились, но сейчас же задние, напирая, вынеслись вперед, и все войско плотной стеною снова надвигалось на испанцев.

— Они уже не боятся огня, пречистая дева! — сказал Лопе.

Снова ударили мушкеты; десятки раненых и убитых упали среди индейцев. Мушкетеры палили без промаха по такой густой толпе. Но сотни и тысячи смыкались вокруг упавших, позади набегали все новые и новые, расписанные полосами груди уже врывались в испанские ряды, волчьи головы грозили вплотную.

— Мне кажется, ты прав, земляк, мы отсюда не уйдем живые, — сказал Хуан де Торрес.

Десять — пятнадцать раненых свалились на землю среди испанцев; индейцы наскакивали с длинными пиками, целясь прямо в глаз, и солдаты, прикрываясь щитами, отбивались каждый от десятка таких пик.

— Не давайте себя окружить! Не давайте! — кричал Диего де Ордас.

Под таким напором невозможно было удержать строй, — каждого испанца готовы были окружить тридцать — сорок индейцев; солдаты вертелись во все стороны, отражая удары и направо, и вперед, и налево. Лопе шел плечом к плечу с Хуаном де Торресом, но почувствовал, что его оттесняют; справа шел Пако Арагонс, но того уже тоже оттерли; Пако вертелся волчком, отбивая удары; десять — двенадцать индейцев сразу надели на него. Лопе видел, как с Пако сбили шлем, как струя крови от удара индейской пики потекла у него по лицу; несколько секунд еще мелькало бледное лицо Пако с красной полоской крови на лбу, среди волчьих масок индейских воинов, потом исчезло. Арагонца смяли.

Где же пушки? Куда девался де Меса?..

Новый залп из мушкетов на секунду отогнал передние ряды индейцев, и тотчас они надвинулись.

Де Меса замешкался позади: он со своими людьми вытаскивал пушки из толпы, устанавливал на пригорке. Долго провозился де Меса со своими тяжелыми пушками.

— Теперь послушаем, что скажут мои сеньориты, — промолвил де Меса.

Де Меса поднес фитиль к первой пушке; грохнул пушечный выстрел, чугунное ядро ударило в плотные ряды индейцев.

Столб земли и пыли поднялся над толпой, десяток индейцев разметало в стороны, ближние попятились с воем. За первой грохнула вторая пушка, за ней — третья. На сотни шагов впереди очистилось поле: индейцы отступали.

Чудовища с толстыми шеями оказались злыми чудовищами, они умели плевать раскаленными шарами!..

Индейцы разбегались; передние ряды, отступая, теснили задние, и скоро все огромное войско, вся толпа пришла в движение, колебались самые дальние ряды.

— Бегите! — кричали воины. — Бегите от белых дьяволов!

Но силы индейцев были огромны. С дальних холмов спускались новые отряды, новые племена, готовые к бою. С топотом и свистом, с устрашающим воем, поднимая облака пыли, подкидывая в воздух пики, копья, новые толпы надвигались на испанцев. Они уже не боялись ни пуль, ни ядер: там, где падало трое — четверо, там десятки нарочно взметали ногами пыль, чтобы скрыть от врага урон, смыкались и шли вперед. Бой шел врукопашную, вплотную. Подбирались и к пушкам. Лопе сам видел, как молодой индеец, пробившись сквозь ряды испанцев, нацелился из лука в пушку; стрела сломалась о бронзовый ствол орудия, индеец подскочил к нему с пикой, но тут де Меса мечом пробил индейцу горло.

Бились все вокруг; Габриэлю Нова пробили ногу, и он вышел из строя, трое наседали на Хуана де Торреса; огромного рябого Эредия теснили восемь человек. Капитан Сандоваль отбивался, раненный в ляжку; слабее, он делал выпад то вправо, то влево; трава окрасилась кровью вокруг него.

А с холмов надвигались все новые и новые толпы, в белых и красных полосах, в кроличьих шкурках, в змеиных и лисьих масках,

— Что же Кортес?.. Что же не идет капитан Кортес с конным отрядом?.. — люди оборачивались в сторону реки.

Но Кортес не шел. Что-то задержало его в пути. Может быть, приречные затопленные поля оказались непроходимы для лошадей?

— Господи, мы все погибнем, и солдаты и капитаны! — застонал Лопе.

Рослый индеец в кроличьих шкурах наскочил на него; бросив пику, индеец схватился с ним врукопашную. С силой индеец заворачивал ему руки назад и давил грудь. Лопе почувствовал, как у него хрустнули ребра; он не мог поднять руки и пустить в ход шпагу. Индеец давил все сильнее. Стиснув зубы, Лопе пытался высвободить руку. Он вспомнил в эту минуту, как поспорил когда-то с товарищами в Дариене: кто сильнее в рукопашном бою без оружия — индеец или испанец? Если оба вооружены, сильнее испанец, у него и меч, и мушкет, и стальная шпага. А вот если схватиться обоим по-честному, голыми руками? Лопе чувствовал, что индеец одолевает его. Сам не зная как, он высвободил левую руку и с отчаянным усилием сдавил горло индейца. Индеец пошатнулся было, но удержался на ногах; с силой он оторвал руку Лопе. Индеец отбивался молча, с яростной гримасой, перекосившей лицо. Снова Лопе почувствовал себя в тисках; индеец схватил его обеими руками и валил на землю; у Лопе уже не было сил сопротивляться, он качнулся, теряя равновесие. И тут он вдруг почувствовал, что его отпускают. Индеец ослабил тиски; он отступал, с ужасом глядя поверх головы Лопе, куда-то вдаль, в сторону реки. С криком индейцы отхлынули назад; все смотрели в ту сторону. От реки, от группы деревьев скакали огромные, невиданные в этой стране чудовища, высокие, с двумя головами: одной — человеческой и одной — звериной, с налитыми кровью огромными глазами, с четырьмя ногами, подбитыми железом.

— Конные!.. Конные идут на помощь! — закричали испанцы.

Это Кортес с девятью капитанами на конях подошел на подмогу своим.

Индейцы Юкатана никогда не видели лошадей; всадника на лошади они приняли за одно существо дья-

вольской силы. Самые храбрые бежали с поля битвы, не помня себя.

— Чудовища со дна моря!.. — Ужас передался от ближних рядов к дальним; индейцы бежали, бросив луки, копья, оставляя раненых. Чудовища топтали людей железными ногами, скакали по трупам, опрокидывая живых.

— В головы цельте, сеньоры, прямо в головы! — кричал Кортес своим капитанам. Капитаны разили с коней длинными пиками прямо в головы, в лица, в шеи; трупы индейцев валялись под ноги коням.

— Белые дьяволы призвали на помощь чудовищ со дна моря! Спасайтесь, воины Табаско, спасайтесь!..

Смятение передалось дальше; оно распространялось от ближних рядов к дальним. Смятые полчища табасканцев отступали за гряды холмов.

Мушкетеры послали залп вдогонку; приободрились и пешие испанцы. Но Кортес не велел преследовать бегущих. Враг и без того был уничтожен, разбит: вместо многочисленного стройного войска за холмы отступали беспорядочные толпы насмерть перепуганных людей. Сотни убитых валялись в притоптанной траве.

— Победа! — кричали капитаны. — Победа!..

Появился патер Ольмедо, скрывавшийся во время битвы в пальмовом лесу. Хуан Диас, помощник в лиловой рясе, нес за ним церковный ящик с дарами.

— Возблагодарим Иисуса за победу! — громко затянул патер.

Он шел по полю, держа дароносицу на вытянутых руках. Тяжело раненные стонали, прося отпущение грехов. Патер склонялся к ним.

— Не тяжка смерть в бою, сын мой! — говорил он. — Сам господь бог незримо вел вас к победе.

— Отец, спасите!.. — Мигель Тинто, смуглый астуриец, хрипел, зарывшись головой в траву. Камнем из индейской пращи ему перебило позвоночник.

Многие еще полегли на поле, — кто от стрелы, кто от удара индейской пики.

Патер Ольмедо не торопясь обошел всех. Когда он приблизился к Мигелю Тинто, тот уже не дышал. Товарищи кружком стояли вокруг него.

— Помолится за душу усопшего! — возгласил патер. — Смерть его легка, ибо милость господня нисхо-

дит на тех, кто бьется и погибнет во славу нашего короля.

Хуан Диас поставил на траву свой ящичек с дарами, уже ненужный. Товарищи крестились, хмуро глядя на Мигеля. Судорога еще раз пробежала по телу солдата, пальцы впились в землю. Нет, смерть его была не легка.

Стали считать убитых, раненых. Солдаты помрачнели: больше ста человек вышло из строя, из них — пятнадцать убитых.

Кортес обошел поле. Индейцев полегло гораздо больше, — около шестисот человек.

Даже по приблизительному подсчету, в этом бою против четырехсот семидесяти испанцев стояло не меньше десяти тысяч индейских воинов.

— Только с божьей помощью одержали мы такую победу! — радовался патер Ольмедо. — Иисус и святая дева охраняли нас.

— Да, индейцы здешние получили хороший урок евангелия, — сказал Кортес.

Капитан де Монтехо перекрестился.

— Иисус помог нам и святая дева, и еще святой Яго, покровитель воинов Испании! — набожно сказал капитан Монтехо.

— Да, да, святой Яго! — Капитаны были согласны. Святой Яго особо покровительствует испанским конкистадорам.

— Я сам видел!.. — Диего де Ордас, льстец, расширил глаза и поднял руки перед собой, точно перед видением свыше, — я сам видел, сеньор Кортес, когда вы выехали из лесу на конях, сам святой Яго скакал с вами рядом, стремя в стремя, на белом коне.

— Ошибаетесь, дон Диего! Это был не святой Яго, а святой Педро, покровитель рода Кортесов, — поправил его Кортес.

— И конь был не белый, а серый в яблоках. Я сам видел, — пропищал шут.

— Молчите, Сервантес!.. — Кортес остановил шута презрительным взглядом. Но легенда о святом на коне уже поползла дальше.

— Сам святой Яго был на поле битвы. Или нет — святой Педро? Кто видел его? — Солдаты сомневались.

— Ты? Ты видел? — кричал баск Эредия, наседая на

Пако Арагонца. — Почему капитаны видели святого, а я не видел?

— Может быть, и был среди конных святой, только мне было не до того. — Пако, раненный в бою, держался за обвязанную голову. — Мне святой не помог. Спроси у Хуана де Торреса, он постарше нас; может быть, он видел.

— Не всякому дано увидеть святого, — вздохнул Хуан де Торрес. — На ком греха нет, тот увидит. А кто много грешил, тому ни за что не увидеть.

— Ты? Ты видел? — насел на де Торреса баск Эредия. — Сам-то ты видел или нет?

Хуан де Торрес улыбнулся.

— Я старый солдат, — сказал де Торрес. — В трех походах побывал, в двадцати пяти сражениях кровь лил. В Тунисе был, в Италии, в Марокко, в Панаме и на индейских островах. И голод терпел, и жажду, и раны, и обиды от капитанов. Посчитай, брат, сколько у меня за тридцать с лишним лет накопилось грехов!.. Нет, старому солдату ни за что не увидеть святого!..

Глава пятнадцатая

ПЛЕННИЦА МАЛИНЧИН

Раненых унесли за стены города, убитых закопали в роще. Патер Ольмедо прочел над ними молитву.

До утра индейцы не показывались. Наутро к стенам города пришли посланцы табасканских вождей. Посланцы были закутаны в темно-серые покрывала из хлопковой ткани. Серый цвет у индейцев был цветом траура.

Табасканцы просили у белого вождя разрешение унести своих убитых.

Кортес разрешил. Но он велел индейцам передать своим вождям, что он ждет их к себе с повинной.

— Скажите своим калачуни, — объявил Кортес, — если они не явятся ко мне, я с мечом пройду по всей их стране, не оставлю в живых никого; ни воина, ни женщину, ни дитя!

Вожди пришли. Они вели с собой толпы безоружных, притихших людей. Это были жители города Табаско.

— Пускай жители возвращаются в свои дома! — сказал Кортес. — Я их не трону.

Индейцы не посмели войти в город. Они расположились в бедных глиняных домах по окраинам, по ту сторону городских стен.

Испанцы давно прикончили небольшие запасы, которые нашли в первый день в Табаско. Солдаты сидели на пустой похлебке, без мяса. Не хватало и хлеба.

Кортес велел согнать на поля всех вернувшихся в город индейцев. К вечеру в Табаско довольно было хлеба и живности. Индейцы принесли много корзин свежесорванных початков кукурузы, наловили в окрестностях кроликов, пригнали целые стада мускусных свинок.

На храмовой площади разложили подарки. Вожди Табаско признали власть белых пришельцев и принесли им дары.

Больше всего табасканцы принесли хлопчатной ткани. Ткань была некрашенная, редкая, невысокой ценности. Кроме хлопка, табасканцы дарили свиней, индейских кур, маис. Посреди площади разостлали циновку и на ней разложили изделия из золота: кольца, кружочки, тонкие пластинки, несколько храмовых плошек грубой работы.

— Страна бедна, золота мало! — огорчился Альваро. Он поднял золотую пластинку и с презрением подкинул ее на руке. — Здесь не будет и на четверть песо!

Но Кортес очень внимательно осмотрел пластинки и кольца.

— Откуда к вам привозят эти вещи? — спросил он раз переводчика главного вождя.

Вождь показал на запад.

— Мехико, — сказал вождь.

— Что это за страна? Далеко ли она? — спросил Кортес.

— Далеко, — ответил вождь. Он все показывал на запад.

— Спроси его, брат Агиляр, — оживился Кортес, — как пройти в ту страну. Можно ли проехать морем?

— Нет!.. — вождь качал головой. — Морем туда проехать нельзя. Эта страна далеко от моря, в горах. Морем можно проехать только в страну, соседнюю с ней.

— А много золота в Мехико? — спросил Кортес.

— Много! — Вождь поднял с земли камень, подкинул его в руке и показал на золотую пластинку.

— Там даже камни из чистого золота! — перевел Агиляр.

— Скоро ли мы, дон Фернандо, поплывем искать эту страну? — сказал Альварадо. — Не довольно ли нам терять время в Табаско?

— Терпение! — сказал Кортес. — Мы еще не знаем пути в страну Мехико.

Золотые вещи завернули в циновку и унесли.

— Это все ваши дары, табасканцы? — хмуро спросил Кортес.

Нет, это еще было не все. На площадь вели пленников; пять — шесть мужчин и двадцать женщин. Кортес осмотрел их и перестал хмуриться: пленницы были все молоды и красивы. Табасканский вождь отдавал девушек в полное владение белым людям.

Испуганные девушки жались друг к другу. Они не смели плакать. Все были одеты почти одинаково: в белых хлопковых тканях, завернутых несколько раз вокруг туловища. Волосы у всех были завязаны на затылке в пучки.

— Подойдите сюда, не бойтесь! — сказал Кортес.

Девушки не подходили. Капитаны, солдаты рассматривали их. Подошел ближе и патер Ольмедо.

— Вот двадцать новых служанок господу нашему Иисусу! — сказал патер Ольмедо. — Если господь поможет мне, я сделаю из них ревностных слуг спасителя.

Патер Ольмедо перекрестился.

— А я, с божьей помощью, сделаю из них двадцать добрых служанок моим капитанам! — улыбаясь, сказал Кортес.

Одна из пленниц стояла в стороне. Ни одеждой, ни убранством волос она не походила на других девушек. Волосы у нее были заплетены в косы; широкая узорчатая рубашка с голубой каймой спускалась почти до земли. В косы пленницы были вплетены белые блестящие перья какой-то водяной птицы.

— Кто это? — спросил Кортес, показывая на девушку.

— Малинчин, — ответил вождь.

— Она не вашего рода?

— Нет, — сказал вождь. — Она издалека.

— Откуда? — спросил Кортес.

Девушка сама ответила ему.

— Мехико, — сказала девушка странным певучим голосом, похожим на голос птицы.

— Вот как? Мехико? — сказал Кортес. Второй раз за этот день он слышал название новой страны.

Девушка не смущаясь смотрела ему в глаза. На груди у нее, на белой ткани, был нашит узор из золотых бабочек очень искусной работы.

— И это тоже Мехико? — спросил Кортес, показывая на узор.

— Да, Мехико, — ответила Малинчин. Она поняла Кортеса без переводчика.

— Если там, в Мехико, так много золота и так хороши девушки, я не вижу причины долго оставаться здесь, сеньор Кортес! — сказал старый Алонсо Пуэрто-карреро.

Девушка была красива. Невысока ростом, но очень стройна, тонка в стане. На смуглом желтовато-бледном лице блестели горячие темные глаза. Вокруг глаз был наведен рисунок из синих стрел. На испанцев пленница смотрела спокойно, без испуга.

— Глядите, дон Фернандо, эта ничего не боится! — крикнул старший Альварадо. Он подошел к Малинчин. Она улыбнулась ему.

— Ты нас не боишься? — спросил Альварадо.

— Нет! — качнула головой девушка, точно поняв его.

Альварадо вывел ее за руку из круга пленниц, и Малинчин села рядом с капитанами, как равная. Не смущаясь, она разглядывала лица испанцев, бороды, шляпы с перьями, оружие. На Педро Альварадо была кожаная портупья с красивым серебряным набором. Малинчин коснулась ее рукой, точно спрашивая: что это?

— Это портупья! — объяснил Альварадо. — А это шпага.

Он вынул шпагу из ножен. Блеснула сталь; с криком попятились девушки, стоявшие поблизости. Но Малинчин не испугалась. Она провела пальцем по лезвию и серьезно кивнула головой, точно говоря: «Понимаю! Это ваше оружие, белые люди».

— Красивая девушка! — восхищенно сказал Педро Альварадо.

— Если хотите, дон Педро, я подарю ее вам в пажи, — любезно сказал Кортес.

— Спасибо, дон Фернандо! Я возьму ее к себе на «Исабель!»

Остальных пленниц Кортес также отдал в служанки капитанам. Но тех не так легко было увести. Едва подходили к одной, — начинали плакать все. В индейской толпе, стоявшей вокруг, тоже начинали плакать и быть женщины, — должно быть, матери и сестры пленниц. Наконец Кортес потерял терпение.

— Отложим до завтра, — сказал он.

Девушек увели, всех вместе. Но толпа, стоявшая на площади, не успела разойтись, когда произошло еще одно событие.

У самой площади, в храмовых пристройках, стояли кони. Кортес временно обратил помещение в конюшню. Дело было к ночи. Конюх Энрике, накинув зеленый камзол, вывел лошадей на площадь — прогулять перед сном. Сам он ехал на переднем коне. Но едва послышался топот и первая конская голова показалась из-за угла здания, неопикуемый ужас охватил индейцев.

— Морской бог!.. — люди бежали, смешавшись и давя друг друга. Женщины хватали детей и убегали с воплем:

— Морской бог!.. Морское чудовище!..

В полминуты площадь опустела. Только испанцы остались на ней.

Конюх Энрике широко раскрыл глаза.

— Чего они так боятся моих лошадей?

— Трусые! — презрительно сказал Альварадо. — Но не все индейцы таковы! Моя пленница, я уверен, не испугалась.

Он обернулся к Малинчин.

Альварадо ошибся. Малинчин была бледна, блее перьев, украшавших ее косы. У девушки тряслись руки. Слезы выступили на расширенных от страха глазах.

— Чтос тобою, Малинчин? — спросил Альварадо. Он ласково взял ее за руку.

Малинчин выдернула руку. Она сказала только одно слово, показывая на Энрике в зеленом камзоле. Альварадо этого слова не понял.

— Кецалькоатль! — сказала Малинчин.

ДЕРЕВЯННАЯ БОГИНЯ

Наутро девушек крестили. Патер Ольмедо окропил их водой из чаши и дал каждой христианское имя.

— Мою пленницу назовите Марией, — попросил патера старший Альварадо.

Но патер Ольмедо поднял руку.

— Недостойна! — сказал патер. — Недостойна вчерашняя язычница носить имя нашей святой девы Марии!.. Я нареку ее Мариной.

И пленнице Малинчин дали имя Марины.

Следующий день был днем вербного воскресенья. Накануне вечером Кортес призвал патера Ольмедо к себе.

— Отец, сможете ли вы в кратких словах убедительно изложить поганым язычникам существо нашей святой христианской веры?

Патер Ольмедо прикрыл веками черные тусклые, похожие на маслины, глаза.

— Да, — сказал патер. — Я крестил не одну сотню индейцев в Сан-Доминго.

— Табасканцы признали власть нашего великого короля. Я не буду считать свое дело завершенным, если они не признают также силы и святости нашей христианской веры, — заявил Кортес.

Патер Ольмедо поднял глаза-маслины к небу.

— Так поступали все великие полководцы! Верный слуга королю всегда будет ревностным служителем христианской веры.

Крещение табасканцев было назначено на день вербного воскресенья. Еще рано утром Кортес приказал солдатам пойти в рощу, наломать зеленых веток для торжественной процессии. С вечера два корабельных плотника сколотили большой деревянный алтарь и крест. К полудню Кортес согнал всех индейцев на храмовую площадь.

Индейцы пришли, испуганные, непонимающие. Кто упирался, того тащили силой. Площадь не вместила всех; стояли в тесных переходах, в переулках, среди соседних домов.

День был ясный, прозрачный, жаркий. Солдаты наломали для праздника много пальмовых ветвей и еще

цветущих веток низенького раскидистого деревца, которое табасканцы называли «какао». Часть деревьев какао была в цвету, на других росли мелкие зеленоватые бобы, горькие на вкус. Из этих бобов по всему Юкатану варили очень полезный, подкрепляющий напиток, — так Агиляр объяснил солдатам.

В десять часов началась праздничная процессия. Собравшиеся на площади индейцы смотрели с удивлением: белые люди длинной вереницей, с ветвями в руках, с пением пошли вокруг большого храма. Впереди шел один, не похожий на остальных: в длинной темной, с серебряными полосами, одежде, с непокрытой головой. Должно быть, это был жрец белых людей. Человек в длинной одежде шел громче всех. Потом он остановился и остановились все. Человек поднял руку и начал делать ею над толпой знак креста.

Индейцы попятились: это было колдовство. Жрец белых хотел заколдовать их, наслать на них болезнь, несчастье. Женщины заплакали, толпа подалась, крайние начали разбегаться.

Белый жрец продолжал колдовать. Он вышел вперед и заговорил. Жрец говорил что-то на своем языке.

Патер Ольмедо сказал краткую проповедь.

— Братья! — сказал Ольмедо. — Спаситель наш Иисус Христос кровью своей искупил мир. Ключи от мира спаситель передал апостолу Петру. Его святейшество папа римский — наместник апостола Петра на земле. В руках своих он держит ключи истинной веры. Только наша католическая церковь свята, все остальное — язычество и заблуждение. Придите, заблудшие братья мои, под сень истинной веры, и благо будет вам!

Индейцы не поняли ни одного слова. Они с ужасом глядели на бледное одутловатое лицо патера, на его поднятые руки.

Но это еще было не все. Худшее началось потом. По приказу белого начальника несколько воинов поднялись по ступенькам большего из двух храмов. Они несли в руках деревянный ящик и какую-то фигуру, тоже из дерева. Жрец медленно пошел вслед за ними по ступенькам. За ним несли большую чашу. Жрец шел вверх по земляной лестнице и брызгал водой из чаши на ступеньки. Воины дошли уже до самого верха, до открытой площадки наверху храма. И тут белый жрец что-то крик-

нул, и самый главный бог индейцев — бог войны Вицлопучтли — полетел вниз головой с вышки.

Индейцы окаменели. Белые покушались на их богов. Они не боялись ни грома, ни молнии свыше.

Нет, белые ничего не боялись. За первым богом полетели другие. Они катились, подскакивая на ступеньках, обивая землю и мелкие камешки. Вой поднялся в толпе. Низвергать богов, которые давали им жизнь! Бога огня и бога грома и молнии, и бога счастливой охоты!.. Кто им пошлет теперь воду и пламя, и удачу в войне?..

— Аай-ай! — выли табасканцы. — Спаси нас, Вицлопучтли, спаси!

Но Вицлопучтли и не думал их спасать. Он лежал с отбитым носом у подножия храма. Рядом валялись другие боги. Глиняные разлетелись в черепки. У деревянных откололась у кого — нога, у кого — пальцы. Даже боги были бессильны перед колдовством белых людей.

Потом белые поставили свой деревянный ящик на верхней площадке храма, над ним — две палки, сколоченные накрест, а подле ящика — раскрашенную деревянную фигуру женщины с ребенком на руках.

— Помолимся святой деве!..

Все белые громко запели, а жрец спустился по лестнице вниз и начал обрызгивать водой из чаши землю вокруг себя и индейцев, стоявших ближе к нему.

Это было страшнее всего. Колдовская вода попадала в глаза, в лицо. Белые заколдуют их насмерть! Табасканцы побежали прочь в смятении.

Кортес велел солдатам охватить цепью площадь и близлежащие улицы. Но табасканцы прорывались сквозь цепь и убегали. Они не хотели колдовства белых людей. Они не хотели поклоняться чужой деревянной богине.

Началась ловля. Мужчин, детей, женщин ловили по одному и приводили к патеру Ольмедо для «обращения». Патер Ольмедо торопливо кропил испуганного человека водой из чаши и произносил краткую молитву. До полудня провозился патер, а еще не окрестил и половины. Наконец это ему надоело.

— Братья мои! — сказал патер солдатам. — Каждый из вас здесь, в дикой стране, — такой же посланец господ, как и я. Каждый из вас, если он добрый католик, может привести к престолу Иисуса сотни заблудших

душ. Обращайте неверных именем господним, и за каждого обращенного вам простится сорок грехов.

— Сорок грехов! — цифра произвела на солдат впечатление. Особенно взволновался Хуан де Торрес. Много грехов накопилось у де Торреса за всю его долгую солдатскую жизнь. Старик пошел искать Лопе.

— Даже если худо считать, земляк Санчес, на душе у меня грехов собралось сотни две с лишним, — сказал Хуан де Торрес. — Значит, если я обращаю в христианство пять человек индейцев, — царство небесное будет мне открыто.

Они пошли с Лопе по окраинным домам, по дворам и пристройкам — искать индейцев. Но те не давались в руки. Они разбегались при одном виде белых.

У одного дома Хуан де Торрес поймал индейского мальчишку, лет тринадцати. Мальчишка забрыкался, с визгом завертелся у него в руках. Как ни бился де Торрес, не смог удержать мальчишку. Тот убежал, так и не дав обратить себя в христианство.

Пошли дальше. Близился вечер, а наутро было назначено отплытие флотилии. Хуан де Торрес спешил. На окраине города, в жалком полуразвалившемся глиняном доме они увидели индейскую женщину. Женщина сидела на полу. Какие-то обугленные головни, плоские валялись на земле подле нее. К ногам женщины жалась маленькая испуганная девочка.

— Вот эту заблудшую овцу я приведу к господу! — сказал Хуан де Торрес.

Он подошел к женщине. Она смотрела на него отупевшими, испуганными глазами. Плечи женщины были обмотаны серой тканью. Ее мужа убили в бою белые. Ее дом разнесли солдаты. Она смотрела на Хуана де Торреса раскрытыми непонимающими глазами.

Хуан де Торрес наклонился к ней.

— Христос, спаситель наш, смертью своей искупил мир, — сказал он тихим, вразумительным голосом.

Женщина не шевелилась. Она ничего не поняла.

— Ключи от мира сего переданы самому папе римскому на хранение, — продолжал де Торрес. — Только в римско-католической церкви истина. Кто верует в нее, тот спасется!

Хуан де Торрес наклонился еще ниже. Женщина отодвинулась слегка, но не уходила. Ей некуда было идти.

Хуан де Торрес перекрестил ее. Девочка испуганно заплакала.

— Веруй в Христа, покоряйся и терпи! Кто верует, тот спасется.

Хуан де Торрес вынул из поясного кармана оловянный крестик на тоненькой цепочке. Он надел крестик на шею женщины.

Женщина не шевельнулась, точно окаменела. Хуан де Торрес перекрестил ее еще раз и ушел, очень довольный.

Он не видел, что следом за ним идут еще люди. Из-за угла вышел солдат. Он был без шлема, без панциря, в серой куртке оружейника. Это был Андрес Морено.

Он вошел в тот же дом, из которого только что вышел Лопе с Хуаном де Торресом. Андрес бродил по домам. Он был беспокоен и зол.

Женщина все так же неподвижно сидела на земляном полу.

— Не покоряйся! — злым, сорвавшимся голосом сказал Андрес женщине. — Не покоряйся и не верь!

Он низко наклонился к ней.

— Твоего мужа убили, твой дом razoren, твои дети — сироты! — все тем же диким, сдавленным голосом произнес Андрес. — Не принимай их веры!.. Не покоряйся, мсти!

С недоброй усмешкой Андрес рванул крестик с шеи женщины и ногами втоптал его в землю.

— Не верь! Гони угнетателей из своей страны! — хрипло повторил Андрес.

Он пошел дальше. Женщина тихо всхлипнула. Она смотрела Андресу вслед большими открытыми жалобными глазами. Она не поняла его, как не поняла Хуана де Торреса.

Глава семнадцатая **УРОК ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА**

На утро следующего дня корабли флотилии, подняв паруса, двинулись дальше, в глубь залива.

Погода была хороша, море тихо. Легкий северо-восточный ветерок умерял зной тропической весны.

В крытых башнях «Санта Росы» было душно. Кортес

велел раскинуть свою палатку в открытой части каравеллы. Он и ночи проводил здесь, на походном ковре.

Каравеллы шли очень близко к берегу; с палубы «Санта Росы» видны были деревья, кусты, даже отдельные камни на берегу. Кое-где виднелись и люди; они кучками стояли на берегу и смотрели на корабли пришельцев. Индейцы здесь и по одежде и по вооружению походили на жителей Табаско.

Скоро пейзаж изменился; берег стал пустынным, вдали показались горы. Горы были еще очень далеко, трудно было даже приблизительно угадать расстояние до них.

Корабли скользили по гладкому морю. Штурман Аламинос указывал курс, — он хорошо помнил здешние берега. Аламинос неторопливо шагал по палубе «Санта Росы»; его седые, отросшие за плавание кудри и широкая черная квадратная борода мелькали то в одном конце корабля, то в другом. Осипшим от простуды, далеко слышным голосом Аламинос отдавал приказания.

Погода была хороша, но период весенних бурь еще не кончился; каждую минуту северный ветер мог усилиться и перейти в шторм.

Все другие корабли флотилии, по приказу Аламиноса, должны были и днем и ночью держаться поблизости от «Санта Росы».

— Не теряйте из виду друг друга, — наказывал Аламинос, — ночью следите за моими кормовыми фонарями, не то отнесет вас бурей до самой земли Флориды... Так было со мной, когда я плавал в первый раз в этих водах с Эрнандо де Кордова.

Старый капитан Франсиско де Монтехо подолгу стоял на носу «Санта Росы». Он смотрел на берег.

Обогнули мыс, и пейзаж снова резко изменился: горы отодвинулись, исчезли пески; зеленый лес шумел на берегу, там, дальше — возделанные поля, веселые рощи, и снова камень, и острые вершины гор.

«Как похоже на Испанию!.. — думал Франсиско де Монтехо. — Берег Испании где-нибудь у Алхесираса или у Малаги: суровые горы вдали, а по берегу леса, пальмы, большие камни, затянутые диким виноградом. Очень, очень похоже...»

Франсиско де Монтехо вздохнул. Он тосковал по Испании. Никогда не тянуло его в Новый свет, на индейские острова. Там, в Испании, осталась его душа.

Пришлось уехать не по своей воле. На родине стало невозможно жить.

Немцы правили родиной. Старый король Фернандо умер; на престол сел его внук, молодой Карлос, сын сумасшедшей Хуаны и австрияка Филиппа. Королю шестнадцать лет. Но рано видна птичка по полету. Немец по отцу, король привез с собой в Испанию своих соотечественников.

Немцы захватили все лучшие места. Немцы правят при дворе, судьями над испанским народом новый король посадил немцев.

Шпоры наглых немецких дворян звенят по камням испанских городов. Немецкая речь слышна на улицах Вальядолида, Сарагоссы, Севильи. Челядь короля пьет вино в испанских тавернах.

Король слушает только своих. Он не допускает к себе советников-испанцев. Испанские сеньоры в опале при дворе.

Немцы управляют, как гидры и гарпии. Франсиско де Монтехо тяжело вздохнул. Природным испанцам остается только краснеть от гнева, сжимать зубы и шептать проклятия... Или уезжать в Новый свет, как сделал он.

«Санта Роса» быстро шла вперед, покачиваясь на легкой волне. Близкий берег зеленой прекрасной панорамой разворачивался с левого борта. Отходил полуденный час; серебряные блики бежали по воде. Франсиско де Монтехо стоял на носу и вздыхал.

— Не правда ли, сеньор, как похож этот берег на южный берег Испании? — услышал он позади себя.

Алонсо Пуэртокарреро с Кортесом подошли к нему.

Пуэртокарреро, старый льстец и книжник, с гнилыми зубами, с голой, как у патера, головой, подвел Кортеса к самому борту.

— Посмотрите, сеньор, — леса, дикий виноград, скалы, — совсем как у нас на берегу Средиземного моря.

Кортес остановился у борта. Пес Леонсико, присев на палубе, громко лаял на чужой берег.

Горы далекой страны Мехико, разрывая облака, вычерчивались в небе острыми коническими вершинами, покрытыми вечным снегом.

— Подвиги Роланда, славного рыцаря Франции, побледнеют перед тем, что предстоит свершить вам, сеньор Кортес, в этих новых Пиренеях! — торжественно польстил Пуэртокарреро, указывая на дальние горы.

Кортес сухо улыбнулся. Он не любил чересчур откровенной торжественной лести.

Все глядели на маленький островок, показавшийся справа от «Санта Росы». Островок был точно большой пучок цветов, брошенный среди океана. На берегу виднелись люди.

— К нам плывут индейцы, — вглядываясь, сказал Франсиско де Монтехо.

Большая индейская лодка с двумя гребцами шла к «Санта Росе».

Лодка подошла к борту. Четверо индейцев поднялись на палубу. Они сложили у борта дары: маис, сладкие плоды и большие охапки цветов.

Матросы столпились, глядя на индейцев. Эти люди не походили на жителей Табаско: они были высоки, широкоплечи, широкоглазы, держались гордо. На них была длинная узорчатая одежда. Оружие они оставили в лодке.

Широким жестом обведя всех людей, столпившихся на палубе, старший из индейцев спросил о чем-то. Его не поняли.

— Позовите Агиляра, — сказал Кортес.

Агиляр пришел. Индеец повторил вопрос. Но Агиляр растерянно оглянулся на капитанов. Эти индейцы говорили на языке, совершенно непохожем на язык юкатанских индейцев. Агиляр не знал их языка.

— Тлатл-коатль, тенок-титлан, — сказал индеец.

Кортес с изумлением прислушался к его голосу. Звуки точно переливались в птичьем горле. Странен был этот язык, — сочетание все тех же звуков: тл-ктл-титл... Он походил на птичий клеток.

— Тлатоатл? — спросил индеец, показывая на Кортеса.

— Он спрашивает о вожде! — догадался Франсиско де Монтехо.

Кортес вышел вперед. Индеец закивал головой. Он указал на берег, на плоды, потом на Кортеса.

— Благодарю, принимаю, — сказал Кортес. Он велел принести четыре связки бус индейцам.

На красные бусы они даже не взглянули, зато с живостью бросились к зеленым.

— Тлиу-тихтл! — сказал все тот же индеец, показывая на зеленые стеклышки.

— Чал-чуй! — Он был очень взволнован.

— Не понимаю, — сказал Кортес.

— Тлиу-тихтл! Чал-чуй! — повторил индеец. Он показал на дальние горы. Потом объяснил жестом очень выразительно: оттуда, из той далекой горной страны точно такие же зеленые камни привозят сюда, к берегу. Потом он прижал зеленые стеклышки к груди, показывая этим, что они очень желанны и дороги.

— Мехико! — сказал индеец.

— Мехико! Он говорит, — Мехико! — обрадовался Кортес. — У нас есть пленница из этой страны!.. Приведите ее сюда!

На «Исабель» послали лодку за пленницей Малинчин. В армаде ее все называли Мариной.

Кортес правильно угадал: едва взойдя на палубу, Марина заговорила с индейцами. Она понимала их язык!

— Она их понимает, но ведь мы-то не понимаем ее, друзья! — огорчился Франсиско де Монтехо. — Кто же нам переведет ее слова?

— Агиляр! — догадался кто-то.

Конечно! Агиляр знал язык юкатанских индейцев, а Марина с детских лет жила на Юкатане, проданная в рабство из своей страны. Она одинаково хорошо знала оба языка.

Так, наконец, через двух переводчиков Кортесу удалось договориться с посланцами из новой земли.

— Чего они хотят? — спросил Кортес.

— Они просят принять подарки, — объяснил Агиляр, — и ехать дальше. Сами они готовы принять нас в своей земле, но могущественный король горной страны Мехико, которому они подвластны, никогда не простит им такого своеволия.

— Спроси, как зовут этого короля! — приказал Кортес.

Марина ответила сама, не обращаясь к индейцам.

— Монтесума! — ответила Марина.

— Монтесума! А-а!..

Все четверо индейцев упали на палубу, вниз лицом, едва услышав это слово. Но Марина поглядела на них насмешливо и спокойно.

— Он очень силен, Монтесума? — спросил Кортес.

— Монтесума — самый могущественный из государей мира! — дрожа, объяснили индейцы.

— Скажите им, что мой государь, Карлос, сильнее Монтесумы! — приказал Кортес.

Он отпустил индейцев с миром. Каравеллы шли до вечера вперед, а к ночи Кортес велел бросить якорь у низменного берега, в пустынном месте.

Наутро вся армада в полном составе сошла на берег. Выгрузили пушки. Свели всех шестнадцать лошадей. Берег оказался плоским, почти безлесым. У самой воды был чистый белый песок, а дальше тянулись болота и позади них — серые пятна солончаков среди песка и мелкой поросли каких-то колючек.

Солдаты оглядывали берег с неодобрением.

— Плохое место для высадки выбрал наш капитан.

Но Кортес не заботился о красоте пейзажа и об удобствах солдат. Местность была пустынная, берег безлюден; он мог спокойно снять свои пушки и укрепиться здесь еще до того, как обнаружат место высадки здешние индейцы.

Северными ветрами вдоль всего берега намело высокие барханы из песка. На одном из таких песчаных холмов Кортес велел поставить артиллерию.

Конюхи стали прогуливать лошадей по берегу, у воды, там, где песок был сыроват и тверд. Кони застоялись за долгое плавание; у серого жеребца Сандовалья одеревенели ноги и шея; он ржал и тяжело взбрыкивал задними ногами, взметал песок. Рыжий конь старшего Альварадо шел хорошо и ровно. Педро вскочил на него. Не стерпев, вскочил на свою вороную кобылу и Хуан Веласкес де Леон. Но тут к нему подбежал шут.

— Половина моя!

За время плавания на «Санта Росе» шут успел выиграть в кости у Хуана Веласкеса де Леона половину его вороной кобылы.

— Половина моя, сеньор де Леон!

Хуан Веласкес де Леон спокойно взял в руки поводья.

— Правильно, половина твоя, Сервантес! — сказал Леон. — Полгода я езжу, полгода — ты.

Он пустил кобылу легкой рысью вперед.

Но шут побежал за ним. Его сборчатые турецкие шаровары раздувались на бегу, как женское платье.

— Я выиграл! — отчаянно кричал шут. — Попролам кобыла!... Полдня моя, полдня ваша, сеньор де Леон...

Солдаты потешались, глядя на него.

— Полдня моя, полдня ваша, сеньор де Леон!..

Хуан Веласкес де Леон придержал кобылу.

— Не лучше ли так, Сервантес? — спокойно сказал де Леон, — голова моя, хвост — твой?..

— Я согласен! — закричал шут. Он подбежал к крупу кобылы и, прежде чем де Леон успел снова пустить ее вперед, ловко вскочил сзади в седло. Шаровары, как зеленый турецкий флаг, мелькнули в воздухе.

— Моя кобыла! — весело закричал шут.

Но Хуан Веласкес де Леон, не оборачиваясь, сделал незаметное движение рукой, чуть потянул за поводья, и кобыла, взбрыкнув задними ногами, завертелась на месте. Шут полетел на песок.

Солдаты кругом хохотали. Смеялись и капитаны.

— Не удержался на своей половине, Сервантес? — так же спокойно спросил Хуан Веласкес де Леон.

Шут не отвечал. Он лежал, уткнувшись лицом в песок.

Лопе Санчес подбежал к нему, помог подняться. Шут встал.

Все ждали: сейчас он начнет грозиться, кричать, но шут молчал, стоял бледный. Из носу у него текла кровь.

— Ушиблись, ваша милость? — сочувственно спросил Лопе Санчес, заглядывая шуту в лицо.

Он отшатнулся: такая злоба и боль были у шута в глазах. Шут смотрел вслед Веласкесу де Леону, ускользавшему далеко.

«Этот не простит! — подумал Лопе, отходя. — О, этот отомстит, когда сумеет...»

Солнце поднялось уже высоко, воздух раскалился. Зной на открытом песчаном берегу был невыносим. Кортес приказал строить шалаши для защиты от солнца.

Нарубили сучьев, натаскали веток из чахлого леса, росшего по соседству. Солдаты отесывали концы

толстых сучьев, втыкали их поглубже в песок. Сверху перекидывали мелкие ветви. Так строили свои шалаши индейцы на Кубе, — солдатам не раз приходилось видеть их работу.

У купца Хуана Седеньо был слуга Хатир — немой негр огромного роста. Хатир по приказу купца натаскал ковров из кормовой башни и устроил хозяину шатер из ковров, тенистый и удобный. Даже на чужом берегу купец устроился лучше, чем другие.

Кое-как укрылись в шалашах от жары.

Настал час обеда; кашевары разнесли похлебку. Была пятница страстной недели; ели сухари и сушеную рыбу. Пресную воду пришлось взять из судовых запасов, — нигде не было видно ни ручья, ни колодца.

Пленница Марина обедала, сидя на земле в шалаше Альварадо. Солдаты посмеивались, осторожно заглядывая под навес.

Четыре дня бился с новой пленницей старший Альварадо. Он учил ее прислуживать, как полагается пажу.

Дело подвигалось туго. В утро первого дня Альварадо показал Марине, как надо подавать полотенце и воду для умывания. Марина швырнула полотенце на пол, а воду выплеснула за борт. Она пошла бродить по палубе каравеллы, улыбалась чайкам, облакам, голубизне воды. Она показывала на огромные, раскрытые под нею крылья парусов.

— Что это? спрашивала Марина на своем языке.

— Это парус, брамсель, — объясняли матросы. Марина кивала головой, точно понимала.

За обедом Альварадо велел Марине встать у него за креслом и наливать ему вино. Принесли кушанья. Марина облокотилась на спинку кресла и смотрела на все с оживленным вниманием. Она попросила себе вина. К концу обеда Марина уже сидела за столом против Педро, как равная, и Педро сам наливал ей вино в кубок.

Так и сейчас. Марина сидела на земле, на охапке свежей травы, и грызла сухари, запивая их вином. Педро Альварадо стоял рядом и подливал ей вина. Оба смеялись. Педро дивился повадкам своей пленницы: она держалась, как знатная сеньорита.

Педро учил ее испанскому языку. «Каравелла»! — говорил он, указывая на ближайшую каравеллу.

— Катлавелла!.. — повторяла Марина своим птичьим голосом и смеялась.

Как все люди из страны Мехико, она не умела произносить звук «р». Вместо «р» она говорила «тл».

— Катлавелла!..

— «Барабан»! — говорил Педро, указывая на барабан.

— «Патлапан»!

— Сеньор! — говорил Педро, указывая на себя.

— Сеньотл! — повторяла Марина, улыбаясь. — Сеньотл!

Какой-то птичий звук, похожий на «тхтл», переливался у ней в горле. Нет, «р» она никак не могла произнести.

* * *

Когда солнце приблизилось к закату и спала дневная жара, Кортес снова велел вывести коней.

— Музыка! — скомандовал он.

Музыкант Ортис выскочил вперед, в черной арагонской повязке до самых бровей, в коротких панталонах и свободной куртке, перехваченной ярко-красным поясом. Ортис поднес к губам трубу.

— Тра-та-ра-та-а!.. — Под музыку кони шли резво и вольно.

Кортес выскочил вперед на своем темно-гнедом великолепном жеребце. Остальные капитаны, вскочив на своих коней, двинулись за ним.

Солдаты, столпившись, глядели на капитанов. Темно-гнедой конь так и играл под Кортесом. Хороша была также вороная кобыла де Леона, — она слушалась легкого движения руки.

Впереди, бросив поводья, скакал Педро Альварадо. Он доскакал до того места, поодаль от воды, где песок уже становился сухим и сыпучим. Здесь коню было трудно, Альварадо повернул назад.

У своего шалаша стояла Марина. Она смотрела на всадников и на коней. В глазах у нее были страх и любопытство.

Альварадо подскакал к шалашу и спрыгнул с коня. Марина попятилась. Альварадо взял ее за руку.

— Хочешь со мной? — он показывал на седло.

Но Марина выдернула руку. Дрожа, она пятилась в глубь шалаша. Она еще очень боялась лошадей.

Альварадо отвел своего коня. Марина снова вышла. Она смотрела на Кортеса.

В седле Кортес казался и выше, и ловчее. У Кортеса было длинное туловище и короткие ноги; потому он выигрывал в росте, когда сидел на коне.

На Кортеса смотрели все. Он скакал к тому месту, где море, размывая песок, врезывалось в берег двумя длинными узкими языками.

Конь легко перескочил через полосу воды. Вторая полоса была шире. Кортес дал коню шпоры. Жеребец перескочил и через вторую промону. Улыбаясь, Кортес взмахнул рукой своим.

— Браво, дон Фернандо! — Капитаны захлопали в ладоши.

Кортес поскакал назад, мимо шалаша, у которого стояла Марина. Она смотрела на всадника с ужасом и восхищением.

Кортес остановил коня.

— Хочешь, девушка, я прокачу тебя? — сказал Кортес. Марина не успела ни возразить, ни ответить, — сильной рукой он подхватил ее с земли и посадил в седло перед собою.

Девушка замерла; конь нес ее, как ей казалось, высоко над землею; все летело мимо, смешавшись; сердце останавливалось от страха, но сильные руки Кортеса крепко держали ее; она пришла понемногу в себя.

Они летели мимо кустарника, мимо роши; деревья словно расступались перед ними, воздух свистел в ушах. Нет, хорошо было так лететь, высоко над землею. И чудовище под нею было так послушно!

Осмелев, Марина коснулась рукою одного из поводьев. Кортес показал ей, как повернуть коня. Они поскакали назад.

Все индейские пленницы вышли из своих шалашей. Они с ужасом смотрели на Марину: она не боялась ни белых людей, ни морских чудовищ. Она сама ездила на них!..

Кортес подскакал к шалашу Альварадо. Педро помог Марине сойти. Но она смотрела не на него. Марина смотрела на Кортеса. В глазах у нее были восхищение и покорность.

— Сеньор! — сказала Марина, обращаясь к Кортесу. — Сеньор!..

На этот раз она произнесла испанское слово правильно.

* * *

— Эта девушка мне заменит и Мельчорехо, и помещанного Агиляра! — сказал Кортес в тот же вечер старшему Альварадо. — Возьмите себе в пажы, дон Педро, любую из наших пленниц, — Марина нужна мне. Она будет у меня переводчицей.

Педро Альварадо ничего не ответил. Он много пил за ужином и был мрачен, так мрачен, каким его никогда не видели братья.

Еще мрачнее был Ортегилья: он ревновал Кортеса к Марине.

Марина очень быстро поняла, как надо подавать вино и воду, как стелить походную постель сеньору. Она служила ему беспрекословно, точно родилась пажом.

Ортегилья ушел и сел на пороге палатки, обняв пушистую шею Леонсико.

— Сеньор и так со мной неласков, Леонсико! — пожаловался мальчик. — Теперь я ему и вовсе стану неужен.

Пес сочувственно помахал хвостом.

В палатке отужинали. Пабблико видел, как сеньор Кортес усадил Марину за походный столик напротив себя. Начинался урок испанского языка.

— «Палатка»! — сказал Кортес и показал на шелковые стены палатки.

— Палатка! — повторила Марина.

— Стол! — Кортес показал на стол.

— Стол! — повторила Марина.

— «Конь», «Индеец», «Солдат», — учил Кортес Марину. — «Битва». Скажи: «битва», Марина.

— Битва! — повторила Марина.

— «Победа»! — учил Кортес. — Это слово надо знать, Марина. «Победа»!..

— «Победа»! — повторила пленница.

ТЕУХТЛИТЛ

Ночью поднялся ветер, и утром солдаты не узнали берега: песчаные холмы изменили очертания: они точно сдвинулись и поползли под напором северного ветра. Колья шалашей повырывало ветром из земли, пришлось почти все строить заново.

К полудню стали показываться индейцы. Они выходили по двое, по трое из дальнего леска и смотрели издали, как белые люди строят свои временные дома. Потом, осмелев, стали подходить ближе. Держали себя миролюбиво, предлагали маниоку, дыни, маисовые лепешки. Некоторые даже подошли совсем близко и помогли вбивать колья в землю.

Индейцы сообщили, что о приходе белых людей уже знают по всему берегу и что на следующий день к вождю белых прибудет Теухтлилтл, здешний правитель, поставленный над ними самим великим Монтесумой.

Наутро палатку Кортеса разубрали флагами, приготовили сласти. Было воскресенье — первый день пасхи. Солдатам дали по неполной кружке вина, на обед наловили с лодок свежей рыбы.

Скоро за ближней рощей показалась длинная процессия. Носильщики несли подарки, впереди под руки вели самого Теухтлилта.

Он был маленького роста, молодой, круглолицый. На голове у него был сложный убор из черных и белых перьев.

Теухтлилтл сел на полу в палатке Кортеса. Он первый начал разговор.

— Кто ты и откуда прибыл в нашу страну? — спросил Теухтлилтл.

— Из Кастилии, далекой страны за океаном, — сказал Кортес. — Я — только подданный моего государя, а мой государь, Карлос, — самый могущественный монарх в мире.

Когда в двойном переводе Агиляра и Марины эти слова дошли до сознания Теухтлилта, тот удивленно поднял брови.

— Разве есть на земле государь более могущественный, чем мой властитель, великий Монтесума? — спросил Теухтлилтл.

Кортес велел подать ему вина.

— Мой государь, — вежливо сказал Кортес, — приказал мне передать от него подарки твоему государю, в знак доброго его расположения.

Теухтлил кивнул.

— Я передам моему властителю пожелание твоего государя, — сказал Теухтлил.

— Мой государь просил меня лично свидеться с твоим повелителем, — сказал Кортес.

Теухтлил заерзал на своем ковре:

— Ты всего лишь два дня в нашей стране, а уже хочешь видеть Монтесуму! — сказал Теухтлил.

— Когда можно будет увидеть твоего государя? — все так же настойчиво спросил Кортес.

— Я спрошу у него самого, — неуверенно сказал Теухтлил. — Я пошлю к великому Монтесуме посланцев.

— Пускай они отнесут Монтесуме подарки моего государя! — сказал Кортес.

Он велел принести подарки. На песок поставили резное кресло черного дерева с выгнутой спинкой. На кресло повесили длинную нить прозрачных бус из граненого стекла. К этому Кортес добавил еще высокую остроконечную шапку красного сукна.

— Все это передай своему государю! — сказал Кортес.

Перед Теухтлитлом поставили вино и сласти. Отхлебнув вина, Теухтлил слегка захмелел. Заблестевшими глазами он смотрел на красную шапку.

— Моему повелителю понравится еще и это! — сказал Теухтлил.

Он показывал на медный шлем одного из солдат, ослепительно сиявший в солнечном свете.

Кортес велел сейчас же поднести Теухтлитлу шлем.

— Скажи своему государю: пускай он наполнит эту шапку золотым песком и вернет ее мне, — сказал Кортес. Мой государь хочет знать: в какой стране водится лучшее золото, — в вашей или в нашей.

Теухтлил кивнул своим спутникам.

На циновках разложили десять больших кип хлопковой ткани, белой и плотной. Потом раскинули две широкие накидки из перьев.

Все стоявшие вокруг ахнули: такой изумительной красоты были эти накладки. Синие, золотистые, зеленые перья каких-то пестрых, не знакомых европейцам птиц, были не то нашиты, не то наклеены на хлопковую ткань, они сочетались в тонком узоре, похожем на вышивку; подбор красок и вся работа говорили о необычайном искусстве.

— Эти вещи делались в стране Мехико, — объяснил Теухтлилтл.

С краю циновки положили небольшую корзинку с мелкими золотыми и серебряными вещичками.

Корзинка больше всего привлекла внимание Кортеса. Он внимательно рассмотрел кольца и фигурки из золота.

— Таких колец нам надо побольше! Много ли золота у твоего Монтесумы? — спросил Кортес.

— У моего повелителя есть и золото, и медь, и серебро, — важно ответил Теухтлилтл. — У моего Монтесумы есть все!

— Нам нужно золото, — сказал Кортес, — только золото!

Индеец удивился.

— Зачем белым людям так много золота? — спросил Теухтлилтл. — У нас, в нашей стране, мы ценим не меньше и медь, и серебро. Разве из них тоже нельзя делать красивые вещи?

Кортес сделал печальное лицо. Вздыхнув, он приложил руку к груди.

— Мы все, белые люди, больны тяжелой болезнью, которой не знают в вашей стране, — объяснил Кортес. — Ужасная боль терзает наши внутренности... Только золотом можно лечить эту болезнь.

Капитаны закивали головами и тоже приложили руки к левой стороне груди.

— Только золотом можно лечить эту ужасную болезнь!..

Теухтлилтл сочувственно кивнул. Теперь он понял, зачем белым людям надо так много золота.

Кортес велел позвать музыкантов. Пажи наложили в тарелку индейца испанских сластей: сладких печений, патоки, засахаренных фруктов, подлили еще вина. Солдаты с завистью поглядывали на индейского касика.

Теухтлилтл жевал сладкий сухарь, макая его в па-
току; таких райских блюд он не едал прежде; должно
быть, действительно белые люди богаты и могущест-
венны. Понравилось Теухтлилтлу и вино; он выпил че-
тыре больших кубка.

— Так едят у белых людей каждый день? — учтиво
спросил Теухтлилтл.

— Каждый день! — ответил Кортес.

— Сказать бы ему: раз в год, да и то одни капи-
таны! — тихонько сказал Лопе на ухо соседу, Хуану де
Торресу.

— Молчи, земляк! — пробурчал Хуан де Торрес.

На пригорке, недалеко от палатки, присели на песок
два молодых индейца из свиты Теухтлилтла. Они растя-
нули перед собой узкую полоску ткани и быстро-быстро
чертили на ней что-то разными палочками: то синей, то
черной, то желтой.

— Что они делают? — спросил Кортес.

Он подошел к индейцам. Они рисовали. Красными,
черными, желтыми палочками они выводили на ткани
фигуры людей. Уже был нарисован испанец в большой
шляпе, в сандалиях, в полном вооружении, возле него
палатка, пушки. Индейцы нарисовали и каравеллы, и
паруса, и походный столик Кортеса, и музыкантов с
трубами, и даже Леонсико.

— Зачем они это делают? — спросил Кортес.

— Для отчета моему государю, — ответил Теухтлилтл.

Капитаны переглянулись. И люди, и предметы — все
было нарисовано очень точно, очень искусно.

— Зачем твоему государю эти рисунки? — спросил
капитан Сандоваль.

— Великий Монтесума хочет видеть и знать все, что
делается в подвластных ему землях, — сказал Теухт-
литл. — Но он не может повсюду ездить сам, — владения
его слишком обширны. Монтесума посылает художни-
ков, и те срисовывают все, что видят на своем пути, а
потом приносят государю. Никакими словами нельзя
передать то, что можно передать красками на белой
ткани.

— Так! — сказал Кортес. — Так. Очень хорошо. Но
твои художники еще не видели всего, что есть у белых
людей. Пускай они нарисуют и это!

Кортес велел вывести лошадей из-под закрытых навесов.

По сигналу трубы, один за другим на песок вышли кони. Тихий стон раздался среди индейцев, Теухтлилт весь побелел, спутники его задрожали. Но они не упали на землю, не завывали громко, как это делали табасканские индейцы. Они старались сохранить внешнее спокойствие — того требовал этикет страны.

Педро Альварадо, вскочив на своего коня, пролетел галопом по твердому песку.

— Нравятся тебе мои кони? — спросил Кортес Теухтлилта.

Рыжий жеребец Альварадо громко заржал, взрывая копытами песок.

— Нравятся, — побелевшими губами ответил Теухтлилт.

— Это мои лучшие помощники в бою, — объяснил Кортес.

Теухтлилт кивнул. Он не знал, куда деваться от страха.

Художники быстро оправились от первого испуга; они уже чертили своими палочками по ткани. Художники рисовали лошадей, хвосты, гривы, седла, конюха Энрико в зеленом камзоле.

— Это еще не все! — сказал Кортес.

Он велел зарядить пушки.

— Я привез гром и молнию из моей страны, — сказал Кортес. — Не хочешь ли поглядеть, как они послушны мне?

— Да, господин, — учтиво сказал Теухтлилт. — Я готов поглядеть.

Он едва сдерживал дрожь в руках и коленях.

Все десять пушек, стоявшие на пригорке, зарядили чугунными ядрами. Де Меса подал знак, артиллеристы поднесли фитили. Ужасный грохот потряс воздух, облако огня и дыма поднялось над пригорком, далеко полетели ядра, за соседний лесок.

— Не надо, господин, не надо! — простонал Теухтлилт. Весь дрожа, он выполз на коленях из палатки. Вся его учтивость пропала. Он больше не хотел видеть диковинок белых людей. Спутники Теухтлилта поддерживали своего господина под мышки. Они сами тряслись и стонали. С ужасом глядели они, как тяжелые

ядра, срезая верхушки деревьев, пронесли над лесом, как упали позади него, взрыв землю и взметнув тучи песку.

Еще раз выстрелили пушки. Ядра упали в море, подняв столбы воды.

— Довольно! — стонал Теухтлил.

Он сейчас же собрался домой.

— Я пошлю моих бегунов к Монтесуме, в страну Мехико, — сказал Теухтлил. — Он сообщит мне свою волю.

Теухтлил ушел. Он обещал прислать наутро индейцев из берегового селения с плодами, рыбой и пресной водой.

— Посылай скорее твоих бегунов к Монтесуме, — надменно сказал ему Кортес на прощание. — Я не привык ждать слишком долго.

Глава девятнадцатая

ВЕЛИКИЙ МОНТЕСУМА

Высоко над ущельем, по горной дороге бежит человек. На ногах у него сандалии, голова разубрана перьями. В руках человек держит трубочку из свернутой твердой ткани. На ткани — значки, непонятный рисунок: квадратики синие, черные, желтые... Человек бежит очень быстро. Европейцы так не умеют бегать. В трубочке у него — донесение самому Монтесуме.

Человек пробегает разные города. На пороги домов выходят люди. Они смотрят: в какой одежде королевский гонец. Гонец в темной одежде. Значит, вести он несет плохие. В селениях глядит с надеждой крестьянин, воин оборачивается на дороге. Плохие вести несут в город Мехико. Скоро, скоро конец великому Монтесуме.

На гонца смотрят с надеждой. Три столетия вожди ацтеков душат все окрестные страны. Вожди меняются часто, но от этого не легче народам. Вожди дерутся между собой, но от этого не уменьшаются поборы. Завлажены племена Чолулы, Пайналы, Костатитлана. Изгнаны из родных селений толтеки. Крепкая петля сжимается вокруг храброго горного племени тласкаланцев. Ацтеки сильнее. Они насадили своих богов в

храмах Табаско, в городах Семпоал. Они диктуют свою волю и в горной стране, и на побережье. Свой город ацтеки построили высоко в горах, на озере, среди вод, на неприступном острове. Узкие дамбы ведут к городу, и на дамбах стража день и ночь. Гарнизоны ацтекского войска держат в руках городá окрестных стран. Каждую десятую часть добычи, каждую пятую часть посева охотники и земледельцы должны отсылать Монтесуме, в город Мехико. Повелитель ацтеков всюду насадил своих наместников. На высоких перевалах, на склонах гор, вдоль морского берега день и ночь стоят дозорные. Монтесума должен знать обо всех судах, которые проплывают мимо его берегов.

Посланец Теухтлила бежит по дорогам Чолулы. Он устал. В три часа он пробежал столько, сколько обычный пешеход пройдет в два дня. Деревянные сандалии разбиты, он обвязал ступни древесной корой. Из подошвы сочилась кровь. На горной дороге стоит белый дом. Человек добежал и упал у порога в пыль. Он протягивает руку с трубкой из разрисованной ткани; другой гонец, ожидающий на пороге с ночи, берет трубку и бежит по дороге дальше, до следующей станции. Так, сменяясь каждые три часа, быстрые бегуны несут весть Монтесуме, от морского берега в город Мехико.

Высоко над синими водами Тескукского озера поднимаются к небу земляные пирамиды, укрепленные камнями. Это храмы города Мехико. На вышках храмов горят огни, — ацтекские жрецы служат своим богам. Боги ацтеков любят кровь. Главный жрец среди жрецов — Монтесума.

«Монтесума» — так называли его в день избрания на престол ацтекских властителей; это слово означает: «он грустен и важен». Монтесума грустен и важен, он в белой одежде жреца. По плечам у него брошены длинные жгуты волос; в волосах запеклась чужая кровь. Десять юношей из соседней, недавно покоренной страны, только что были принесены в жертву богу Вицлопучтли, кровь обрызгала пол и стены; дым курений поднимается к небу. Сердца принесенных в жертву сложены к ногам бога, широкий, оскаленный рот Вицлопучтли смазан свежей кровью. Но Монтесума от того не стал веселее.

Властитель ацтеков неуверен в своей стране, неуверен в подвластных народах. Каждый год он запраши-

вает советников, жрецов, каковы их предсказания. Придут ли с повинной мятежные тласкаланцы? Удержит ли он, Монтесума, свой престол в городе Мехико?

Ответы жрецов звучат неуверенно и глухо. Каждый год все чаще повторяют они одно слово: «Кецалькоатл». «Кецалькоатл» значит: «Змея в зеленом оперении».

Много лет назад, никто не знает точно, сколько столетий — три или четыре, — к берегам озера Тескуко пришел добрый бог. Он был в зеленой одежде и был мудр, как змея. Потому его называли змеей в зеленых перьях. Он знал всех зверей и все травы, он умел управлять людьми и богами. У Кецалькоатла была белая кожа; оттого его еще называли: «белый бог». Белый бог научил народы Тескуко и Мехико сеять и собирать зерно, удобрять землю, строить дома из камня. Он научил их вести счет дням, научил письмам и охоте. Он не любил кровавых жертв. Когда при нем говорили о смерти, о войне, о злых богах, он отворачивал лицо. Народ назвал его «добрым богом».

Кецалькоатл ушел, отплыл в свою страну, страну счастливых, Тлапаллан. Но он обещал вернуться. В народе ждали его прихода.

Кто знает, — был ли в действительности такой гость из дальней страны в этих землях? Может быть, и был. Столетия назад норманы заплывали из северных стран Европы на утлых судах к берегам Нового света, за много лет до того, как сюда приплыл Колумб. Может быть, и впрямь заброшенный бурей мореплаватель когда-то попал в страну Мехико, научил ее жителей тому, что умел сам. Или таких пришельцев из-за моря было много, но смутная легенда сохранилась об одном, как о божестве. Так или иначе, в народе ждали возвращения «белого бога». Народ страдал от тирании ацтекских правителей и жрецов. Когда вернется Кецалькоатл, «змея в зеленом оперении», тогда настанет конец кровавой власти ацтекских властителей, — так верили в стране Монтесумы и подвластных ему землях.

Последние годы все чаще повторялись знамения. Повелитель ацтеков трепетал. Началось с того, что воды озера Тескуко поднялись и затопили крайние дома Мехико. Потом загорелся угловой столб на вышке одного из храмов, и огонь долго нельзя было потушить. Год

спустя большая комета с огненным хвостом показалась в небе.

Вода в озере поднялась от подземных толчков, — это бывало и прежде в горной стране Мехико. Храмовый столб загорелся от неосторожности жреца, не затушившего углей в медной плошке. Комета и прежде показывалась на небе в свои сроки. Но жрецы уверяли Монтесуму, что это признаки близкого конца. И он боялся и верил.

В начале года умерла его сестра, царевна Папанчин. Через четыре дня Папанчин встала из открытого гроба и сказала несколько непонятных слов. «Царевна вещает близкую гибель династии!» — объяснили жрецы. У Папанчин был летаргический сон. Но Монтесума потерял покой. Он поверил жрецам. Скоро, скоро из дальней страны приплывет белый бог, и это будет концом династии ацтеков!.. Монтесума оставил дела, заперся у себя в храме, среди гадалщиков и жрецов. Целые дни он проводил в страхе, гаданиях и тоске.

И вот гонец Теухтлила принес от морского берега весть: белые люди или боги приплыли к берегу из дальней заокеанской страны; они высадились на сушу и не хотят уходить. Они желают посетить самого Монтесуму в его городе Мехико.

«Это гибель!» — понял Монтесума.

Во дворец собрался совет. Весь дворец был сложен из белых плит, и на каждой плите выбита или надпись, или рисунок. И рисунки, и надписи восхваляли повелителя ацтеков, — его величие, его мудрость. Но Монтесума давно не верит ничему. Он сидит на резной скамье, отделенный золотой ширмой ото всех, чтобы жрецы и советники не видели его лица. Тоска терзает его и страх близкого конца.

— Как мне принять этих белых людей или богов? — спрашивает советников Монтесума. — Просить их удалиться или позвать в свой город? Или идти на них войной? Может быть, заманить их сюда хитростью и убить?

— Идти на них войною нельзя, — говорит один жрец. — Если они действительно боги, то ни сила, ни хитрость не помогут.

— Они не боги! — говорит второй жрец. — Их ранили и убивали,

— Может быть, они посланцы Кецалькоатля, — говорит третий жрец. — Тогда их надо встретить достойно.

— Нет, они не посланы белым богом, — говорит четвертый жрец. — В Табаско они сбросили на землю изображение Кецалькоатля и надругались над ним.

Жрецы ничего не могут придумать. Тогда Монтесума сам принимает решение.

— Я пошлю им богатые подарки, — говорит он. — Половину золота из моего дворца и жемчуг, и драгоценный камень чалчуй. Я пошлю им половину моих богатств и попрошу их вернуться в свою страну.

Так Монтесума, потеряв голову от страха, сделал первый неверный шаг: он открыл белым пришельцам свое богатство и одновременно выдал им свою слабость.

Глава двадцатая

ЗОЛОТОЙ ДИСК

Северный ветер утих, подул восточный, и еще труднее стало жить в лагере на открытом песчаном берегу.

Ветер нанес тучи мелких москитов. Днем палило солнце, вечером и ночью заедали москиты. Ничего не спасало от них: ни циновки, ни окуривание шалашей. Москиты забирались всюду и не давали спать.

Индейцы расположились вокруг лагеря целым поселком из наскоро сколоченных шалашей. Окрестные индейцы относились к пришельцам дружелюбно, но были настороже. Они ждали, что будут дальше делать белые люди.

Теухтлилт приказал индейцам носить пищу в лагерь. Приносили мало, свежей живности и бананов хватало только для капитанов; солдатам доставались маисовые лепешки, да и тех было не вдоволь.

В лагере не хватало свежей пресной воды. Вода из судовых запасов приходила к концу. Она была горька и пахла плесенью. В тяжкую майскую жару в тропиках на голом песке это было невыносимо. Солдаты не мылись по многу дней. От жары, от жажды, от затхлой воды в лагере начинались болезни.

Первым заболел Эредия, сосед Лопе по шалашу. У баска двое суток горела кожа в мучительном зуде; на

третий день вспухли под мышками твердые желваки. У Габриэля Новы такие же твердые желваки набухли в паху и под коленками. Габриэль не мог ходить.

— Что за болезнь!.. Хуже оспы! — стонал Эредия.

Свалились и в других шалашах. Четверо из солдат умерли.

— Надо искать других мест, — уже говорили солдаты.

— Зачем сеньор Кортес так долго держит нас здесь, среди песков, без воды? Лучше вернуться домой, чем терпеть такие мучения.

— Мы не вернемся домой и не пойдем искать других мест на берегу, — заявил Кортес. — Мы дождемся ответа Монтесумы и двинемся маршем к нему, в страну Мехико. Для того я прибыл сюда, для того я снарядил армаду.

На девятый день показалась вдали длинная процессия. Это пришли посланцы Монтесумы с подарками и ответом.

Сто рабов-носильщиков, тяжело нагруженные, спустились с пригорка. Впереди шли двое рослых людей с темными надменными лицами, в нарядных, разубранных многоцветными перьями одеждах.

Послы поклонились Кортесу, но в палатку не вошли. Внимательно и спокойно они осмотрели палатку, пушки, шалаши, оружие, суда на море. Все это они видели уже на рисунках.

Удивились ацтеки только Марине из страны Табаско. Они слыхали ее историю. В детстве Малинчин продали в рабство свои же родные; она выросла в чужой стране. Отец Малинчин был когда-то вождем Пайналы.

Марина вышла из палатки в европейском платье, с веером в руках.

С удивлением смотрели ацтеки на ее наряд, на волосы, собранные в узел на затылке, на шелковый веер. Кортес научил Марину носить европейское платье, — так удобнее было для верховой езды.

Старший посол отозвал Марину.

— Во дворце ты имеешь право на скамью у ног повелителя, — сказал посол. — Зачем ты служишь белым пришельцам?

Марина без страха поглядела послу в надменные глаза.

— Монтесума не вспомнил обо мне, когда я томила в плену, в Табаско, — ответила Марина. — Пускай он забудет обо мне и сейчас.

Посол взял ее руку.

— Монтесума простит тебя, Малинчин, — сказал посол, — если, служа вождю белых, ты будешь служить и ему.

— Нет, — сказала Марина. — Белый вождь сильнее Монтесумы.

Она выдернула руку. Ацтек, ничем не показывая досады, снова подошел к палатке. У него было надменное неподвижное лицо, — лицо придворного.

— Мой великий государь велел прислать тебе вот эти дары, — сказал посол Кортесу.

Десяток циньвок раскинули на песке, и носильщики сложили свою ношу. Начали вынимать подарки. И капитаны, и солдаты столпились вокруг. Никогда еще никто из этих людей не видел такого великолепия — ни в Старом, ни в Новом свете.

Цепи и браслеты из чистого золота. Покрывала тонкой работы с вышивкой из цветных перьев. На одном покрывале перьями выткано солнце, а от него во все стороны — золотые лучи; на другом — золотая паутина и в ней — огромный золотой паук. Еще покрывало шахматного рисунка из шелковистых белых и черных перьев. Покрывала из белого пуха, переплетенного перьями и тонкой хлопковой нитью. Ацтекские шлемы, бронзовые щиты с золотыми украшениями. Тридцать кип белоснежной хлопковой ткани. Зеленый камень чалчуй, более ценный в Мехико, чем золото и жемчуг. Испанский шлем, посланный Кортесом и сейчас наполненный до краев крупным золотым песком. Золотые фигурки зайцев, кроликов, птиц. Большой золотой лук с двенадцатью стрелами.

И, наконец, — четыре человека, с трудом подняв, положили перед Кортесом на циновке огромный золотой диск. Диск был не меньше колеса от арабской телеги и изображал солнце, а по краю его шел литой рисунок: растения, животные, цветы. Это был солнечный календарь ацтеков.

— На этом круге великий Монтесума ведет счет своим дням и своим завоеваниям, — высокомерно объяснил посол.

После золотого носильщики вынули серебряный диск, еще большего размера. Серебряный изображал луну.

Все стояли пораженные. Если такие дары шлет Монтесума, то каковы же его богатства!

— Здесь будет золота не меньше чем на сорок тысяч песо! — шепнул Лопе Санчес другу Торресу.

Кортес тоже был поражен. И покрывала, и золотые фигуры — все говорило не только о богатстве, но и о большом искусстве мастеров Мехико. Богатая и древняя страна лежала там далеко, за горами, не похожая на этот дикий берег, на котором он посадил своих людей.

Носильщики выложили все. Старший посол вышел вперед. Он сообщил ответ Монтесумы.

— Я рад приветствовать гостей на моем берегу, — просил передать Кортесу повелитель ацтеков. — Но ехать в мой город не советую. Горная дорога трудна, много опасностей ждет того, кто решится двинуться в горы и ущелья Мехико. Берите подарки, белые люди, и возвращайтесь к себе домой, к своему государю, в океанскую страну.

Так велел сказать повелитель Мехико.

Все смотрели на Кортеса. Он ничем не выдал гнева, ни словом, ни движением. Кортес спокойно выслушал посла.

— Я проплыл две тысячи лег океаном, — сказал Кортес, — чтобы посетить страну великого Монтесумы. Неужели я сейчас испугаюсь десятидневного перехода среди гор? Скажи Монтесуме, посол, чтобы он ждал меня в своем дворце.

Послы ушли. Они обещали передать ответ Кортеса. Простились послы очень холодно, очень неприветливо, без обычного поклона.

В лагере ждали ответа на дерзкие слова Кортеса. Настроение у солдат упало.

— Если так богат Монтесума, если так велика его страна, много же должно быть у него войска! — говорили солдаты. — Разве можно идти войной на него, брать крепости, укрепленные города в чужой стране, когда нас меньше пятисот человек!..

— Надо разделить золото, которое он прислал, и вернуться на Фернандину, — говорили другие. — На Фернандине или в Сан-Доминго, на Эспаньоле, можно снарядить другую армаду, в много раз больше нашей, и тогда приплыть сюда воевать с Монтесумой.

— Не взять нам сейчас его страны, с малой горстью людей!.. Только пропадем мы сами, и жены наши, и дети в Испании пропадут с голоду!..

Решили послать людей к Кортесу для переговоров. Выбрали Хуана де Торреса, — Кортес уважал старика как опытного и честного солдата.

Хуан де Торрес вошел в палатку к Кортесу, с ним еще несколько солдат.

— Мы надумали так, сеньор, ваша милость! — сказал Хуан де Торрес. — Мало у нас людей, а Монтесума силен, и страна у него не малая. Не лучше ли нам сейчас вернуться в Сант-Яго и там снарядить армаду побольше и посильнее нашей?.. В этом походе, сеньор, вы можете положить всех людей и все же не одолеть Монтесуму.

Кортес не прервал старика, пока тот не кончил. Потом встал и подошел к нему.

— Я думал, у меня солдаты храбрецы, — сказал Кортес. — Я думал, они за великую честь почитают первыми завоевателями войти в города индейской земли. Неужели я ошибся, де Торрес, и солдаты у меня трусы?

Лицо Кортеса исказилось, он побледнел. Нижняя губа, давно когда-то пробитая копьем в бою, выпятилась вперед и задрожала; только сейчас, в гневе, стало заметно, что губа срослась криво после ранения и уродует Кортесу лицо.

— Кто научил тебя, де Торрес? — медленно спросил Кортес. — Вернуться в Сант-Яго? Снарядить новую армаду? Все, что было у меня, я вложил в эту армаду. Вы хотите, чтобы новую снарядил губернатор Веласкес?.. Много ли друзей у губернатора среди моих солдат? Кто подсказал тебе эти слова, де Торрес?

Кортес отвернулся от старика.

Де Торрес ушел из палатки уничтоженный, бледный. Больше никто уже не смел в присутствии генерал-капитана говорить о возвращении на Фернандину.

Несогласие было и среди капитанов.

— Золота, присланного Монтесумой, достаточно для того, чтобы всех нас сделать богачами, — уверял Кристабаль де Алид. — Зачем же нам идти к нему в город?

— Золота-то много, но как его разделят? — сомневался шут. — Боюсь: кто пришел сюда голым, тот голый и уйдет.

Педро Альварадо с братьями стояли за поход.

— Монтесума прислал лишь малую часть, — уверял Педро. — В стране у него не только мечи и шлемы, — даже стены домов в Мехико сделаны из чистого золота!..

Так прошло еще одиннадцать дней. На двенадцатый послы ацтеков вернулись. Они сложили у палатки Кортеса новые дары, гораздо более бедные, чем первые, и передали ответ Монтесумы.

— Я запрещаю вам, пришельцы, приближаться к моему городу! — велел сказать Монтесума. — Покидайте мой берег и уходите в свою страну!

Послы ушли.

В ту же ночь все индейцы, поселившиеся возле лагеря, покинули свои шалаши и разбежались.

Испанцы остались одни на голом песчаном берегу, без припасов, без пресной воды.

Глава двадцать первая

ОРУЖЕЙНИК ИЛИ МОНАХ?

Москиты мучили солдат каждую ночь, они роились тучами над шалашами и не давали спать.

Скоро Хатир, немой негр купца Седенью заболел странной болезнью. У негра пожелтели белки глаз, вспухли десны. Сильная лихорадка трясла его день и ночь, на третий началась рвота. Черная слюна текла у негра изо рта; он весь дрожал в ознобе. Лопе Санчес напоил Хатира вином, но озноб от этого не прошел.

Солдаты из других шалашей ходили смотреть на заболевшего негра.

— Может быть, только черные люди так болеют! — толковали солдаты.

Но скоро той же болезнью заболели и белые, в других шалашах. У человека желтели белки глаз, начи-

нался озноб, рвота. Заболевали один за другим, больше половины умирало.

Это была гибельная здешняя лихорадка — матцал-гуатл. Испанцы называли ее «желтой лихорадкой».

За пять дней умерло восемь человек. Солдаты не знали, как лечить эту болезнь, не знали, как уберечься от нее. Больные стонали в шалашах, здоровые с ужасом ждали своей очереди.

В лагере кончился черствый корабельный хлеб. Осталось немного муки, но мука кишела червями. Люди бродили, как тени, в поисках еды. У кого еще остались силы, те выезжали на лодках в море ловить рыбу. Остальные собирали ракушки, ели слизняков.

Хуже всего было отсутствие свежей воды. В песке выкопали колодец, но за ночь в колодце набиралось всего две бадьи горьковатой солончаковой влаги. Длинная вереница солдат стояла с утра у колодца в ожидании кружки горькой воды.

Андрес Морено очень страдал от этой воды. Уже несколько дней его мучило. Андрес чувствовал, что заболевает.

Когда вставала луна, он уходил за песчаные холмы, далеко от берега, за редкий пальмовый лесок. Андрес шел некрутой тропинкой в гору и скоро перед ним открывалась затихшая под луной бескрайняя сухая каменная равнина. Камни, нагретые за день, отдавали тепло, и легкая пыльная пелена висела над равниной, колеблемая ночным ветром. В сухой траве мелькала ящерица, тихо свистели в колючих кустах незнакомые Андресу птицы, и он ложился грудью на траву, слушая птиц и смотрел на дальние горы, четкие в свете луны. Эти каменистые места напоминали Андресу Испанию больше, чем цветущие леса и камни, затянутые плющом.

— Айша!.. — Андрес повторял это имя и закрывал глаза руками, и зарывал лицо в сухую траву. — Айша, где ты теперь!.. Жива ли еще?..

Вся жизнь вставала перед ним, с первых детских лет, у деда в старой Гренаде.

Под низким просторным домом — глухие каменные своды, подполье, створчатые резные ставни, завывание молитв — тайная арабская молельня. Дед был мавр, после взятия Гренады насильно обращенный в христианство. Таких в Гренаде называли морисками. Деда

насильно крестили, но он ни на минуту не опоздал в тот вечер на «могреб» — вечернюю арабскую молитву. Дед, оружейный мастер, остался верен корану, и соседи-христиане не выдавали его.

Соседи — простой народ — уважали старого мавра: он остался верен закону своих предков. В воскресенье в доме служили христианскую мессу, — так требовали патеры. В пятницу все население дома и соседи-мориски спускались вниз, под своды, здесь молились по арабскому закону. Андрес вырос между двух религий. Отец Андреса, Джафар, в крещении Родриго, тоже был оружейник, как и дед. Он носил крест и женился на испанке чистой крови. Но остался верен богу своих предков. Пятилетним мальчиком мать водила Андреса в церковь — замаливать страшный грех мужа. Это запомнилось на всю жизнь: цветные стекла в церкви, сладко пахнущий дым, пение молитв, распятый на кресте добрый христианский бог и такие угрюмые его служители. Дома, в тайной молельне арабская роспись стен, босые ноги на коврике, завывания молящихся, неистовый бог арабов.

С детства Андрес боялся арабского бога и ненавидел христианского. В одиннадцать лет он полюбил стоять у горна, у которого стояли его отец и дед, полюбил жар, отблескивающий на клинке, шипение воды на закаляемой стали, звонкий стук молота, древний арабский узор на черненой серебряной рукоятке. В тринадцать лет он уже умел сам выковать клинок, как взрослый мастер-оружейник.

Годы настали трудные для насильно обращенных; при отце Родриго морисков служители доброго христианского бога преследовали злее, чем при деде Искандере. Накрыли молящихся в тайной молельне, разнесли весь квартал морисков в Гренаде. Отца казнили, мать обрекли на вечный иску́с: мыть полы в храме Иисуса, спать на полу, в каменном приделе, ходить босой, есть хлеб и воду, до конца дней плакать и молиться. Андреса не тронули, — ему было четырнадцать лет; от казни спас крестик, надетый на шею матерью. Андреса отдали в монастырь, в батраки. Всю семью соседей-морисков сожгли на костре, как еретиков; одна девочка осталась, младшая, двоюродная сестра Андреса — Айша; с нею играл Андрес в детстве. Айшу отдали в служанки в христианскую семью.

Андрес жил в монастыре, носил воду, поливал сад. Он думал о жизни, добивался правды. «Чей бог прав? — думал Андрес, — арабский или христианский?» Ему казалось, что ни тот, ни другой. Он научился притворяться: крестился на общей молитве и пел, как все. В заброшенном монастырском подвале он нашел старые книги, испанские и арабские, — монастырь был построен на месте старой арабской мечети. Андрес одинаково хорошо читал и сложную вязь арабского шрифта, и простые значки латинского. Андрес прочитал книги, и два века мудрости открылись ему. Безымянный арабский философ научил его: есть вечные правдивые законы естества и лживые законы людей; бога нет, бога выдумали люди. В монастыре Андрес вырос безбожником.

Деда Андреса не казнили, — он был слишком стар. Деда посадили у стен Гренады, в пыли, в цепях, с другими стариками плести из лозы корзины на весь город. Андрес отпросился на несколько дней и пошел проведать деда. Мальчику было тогда почти семнадцать лет. Деда он нашел быстро, но старик не сразу узнал его, — он ослеп. Старому мавру уступили место в тени; он сидел босой, в цепях и плел корзины. Андрес подошел к нему и коснулся руки старика. «Кто это?» — спросил старый мавр. Он заплакал, узнав голос внука. Он попросил у Андреса хлеба. «Ты помнишь Айшу? — спросил старик. — Она где-то здесь, недалеко в квартале купцов. Разыщи ее!»

«Разыщу!» — сказал Андрес. Он никогда не забывал Айши; девочкой она была смугла и быстра; у нее был выпуклый лобик и длинные косы, увешанные серебряными монетами.

Лето было засушливое; Андрес опять отправился из монастыря на несколько дней в город — возить воду горожанам. Он ходил за тележкой по улицам. В квартале купцов ему велели налить свежей воды в непроточный бассейн — во дворе у Мартинеса, богатого и уважаемого человека. Андрес привез свою бочку. Девушка стирала у бассейна; она подняла голову и откинула косы с лица; это была Айша. Айша показала Андресу стертую кожу на ладонях, распухшие пальцы: она жила батрачкой в доме Мартинеса.

Андрес пошел к хозяину. «Айша? Золотые руки!» — сказала хозяйка. Хозяин взял маленькие кулачки Айши,

сжал их в своей руке и сказал: «Золото! Вот столько золота принеси мне, юноша, и я отдам тебе Айшу». Через два месяца Андрес убежал из монастыря.

Он пробрался в Севилью, потом в Сан-Лукар, в порт. Надев куртку оружейника поверх подрясника, он сел на судно, отходившее в Новый свет. Ему сказали, что в Новом свете золото достать легко, и золото освободит Айшу!..

— Да, золото, чтобы освободить Айшу! — очнувшись, Андрес поднял голову над травой. — Оно не дается в руки и в Новом свете. Здесь оно тоже стоит крови, как и в Старом...

Луна садилась в расселине между горами, в полосу красного тумана. Казалось, луна тоже плавала в крови. Андрес встал и, слегка шатаясь, пошел по тропинке домой. Его мучило от голода, от слабости. «Увижу ли я тебя еще, Айша?» — спрашивал себя Андрес.

В этот вечер, возвращаясь в лагерь, он услышал лай где-то впереди него на тропинке. Скоро лай приблизился и Андрес увидел Леонсико, быстрыми скачками несущегося по тропинке. Леонсико зарычал на него, остановился.

— Вперед, Леонсико! — крикнули сзади. Позади шел Кортес. Андрес не успел ни спрятаться, ни отойти в сторону. Кортес мельком взглянул на него и прошел. Лицо у Кортеса было мрачное, сосредоточенное; он, видно, недоволен был тем, что кто-то повстречался ему на тропинке.

Кортес быстро шел дальше. Леонсико бежал впереди. Долго пес носился огромными скачками по каменистой равнине, громко лаял, потом затих. Он поднял морду вверх и тихонько завыл.

— Молчи, Леонсико! — сказал Кортес.

Но пес не перестал выть. Он чуял зверей на равнине.

Длинные худые собаки с острыми мордами, похожие на волков, бродили вдали. Собак этих на здешнем берегу называли «койотл»; это значило на языке ацтеков и «собака» и «волк». Койоты собирались в стаи и бродили поодаль от лагеря. Они издали чуяли трупы — свою добычу.

Леонсико несколько раз подбегал к Кортесу, точно просил его уйти. Но Кортес не уходил. Он долго смо-

трел на равнину, освещенную красной луной, на дальние горы. Туда, в эту горную страну лежал его путь.

Леонсико тихонько выл.

— Разве ты боишься, Леонсико? — спросил Кортес. — Со мной не бойся ничего. — Он потрепал пса по шее.

Леонсико не перестал выть.

— Довольно! — сказал Кортес. Он больно ударил собаку.

Леонсико взвизгнул и затих.

— Пойдем, пес!

Кортес повернулся и пошел обратно. Андрес издали следил за ним. Все тем же твердым шагом Кортес спустился по тропинке, и повернул к лагерю.

Леонсико, повизгивая, шел за ним.

Глава двадцать вторая

СЕМПОАЛА

Новая забота томила Лопе Санчеса: захворал Хуан де Торрес. У старика пожелтели блеки глаз, все лицо стало желто, как перезрелый андалузский лимон. Начался озноб, ломота; де Торреса трясло так, что у него громко стучали зубы. Лопе укрывал старика одеялами и плащами, но озноб не проходил.

Прошло несколько дней. Старик ничего не ел; его мучила тошнота. Он исхудал так, что кожей обтянуло скулы; ослабел, лежал без движения.

— Эта проклятая болезнь хуже мушкетной раны, — хрипло вздыхал старик. В уголках рта у него вскипала черная пена.

— Вернусь я еще, зсмяк, в родную деревню или нет? Как ты думаешь, Санчес?

— Все будет хорошо, де Торрес, все будет хорошо! — отвечал Лопе. У него болезненно сжималось сердце. Вторую неделю он ухаживал за стариком, а тому становилось все хуже.

Лекарь армады Гонсалес навестил де Торреса раза два, развел руками.

— От этой злой лихорадки не знаю средств, — сказал лекарь. — Кровь пускал многим и укусом поил,

целебной севильской мазью натирал, — не помогает! Полагаю, что местность полезно переменить, как при итальянской трясучей лихорадке. Но зависит это не от меня, а от сеньора нашего, капитана Кортеса.

Кортес, казалось, не торопился менять столицу. Ежедневно он ставил дозорных на вершинах песчаных барханов вокруг лагеря, не снимал посты и ночью; солдатам, и больным и здоровым, приказывал быть круглые сутки при оружии и в боевой готовности, на случай нападения индейцев. Но о перемене места не помышлял, словно упорно ждал чего-то.

Марина покорно служила ему. Она уже почти свободно говорила по-испански.

О себе Марина рассказывала мало. Ее продали из знатной ацтекской семьи в рабство в Табаско, в полудикуую страну. Может быть, виноват был в том и Монтесума. Она всегда с ненавистью произносила это имя.

— Один не иди против ацтеков! — говорила Кортесу Марина. — Его ненавидят по всему побережью и в глубине страны: тласкала, тескуки, тотонаки... Найди племя, на которое можно опереться, и тогда ты опрокинешь Монтесуму!

Прошла еще неделя, и ранним утром дозорные задержали в окрестностях лагеря пятерых индейцев. Дозорные привели их к Кортесу.

Индейцы были не похожи на тех, какие раньше приходили в лагерь: малорослые, смуглокожие, они не носили уборов из перьев. У всех были продырявлены не только носы, но и мочки ушей и губы. В нижней губе у каждого торчало по золотому кружочку. И говорили эти индейцы на особом наречии.

Долго билась с индейцами Марина, — она не могла их понять. Один из них знал десятка два ацтекских слов, и Марине все-таки удалось с ним сговориться.

— Нас послал могущественный тотонакский вождь, — сказали индейцы, — правитель большого и богатого города Семпоала. Народ Семпоала стонет под игом ацтеков. Наш вождь просит белых воинов прийти к нему на помощь в борьбе против Монтесумы.

— Где этот город? Далеко ли ваша страна? — Кортес точно давно ждал такого приглашения.

— Близко! — ответили посланцы. — Меньше чем в двух днях пути на север, за безводными песками начи-

нается плодородная, цветущая равнина. Там живет наше племя — храбрые тотонаки. Олень и лиса, и заяц прячутся там среди густой листвы; светлые реки текут по полям, засеянным какао. Храмы большого города поднимаются высоко над равниной, и дома тотонакских вождей стоят среди садов. Это и есть наша страна — Семпоала.

— Идите к своему вождю, — сказал Кортес, — и передайте ему, что я навещу повелителя в его городе.

Он подарил индейцев бусами и цветным стеклом.

— Это то, чего я давно ждал, дон Педро! — сказал Кортес старшему Альварардо. — Монтесума вовсе не так силен, как уверяют его люди.

— Да, да, — сказала Марина, — Монтесуму ненавидят в Табаско, клянут в Тласкале; ему непокорны в Чолуле. Тотонаки в Семпоале только и ждут, чтобы кто-нибудь помог им прогнать из своей страны чиновников Монтесумы.

— Я помогу им! — сказал Кортес. — Я силу Монтесумы сделаю его слабостью. Покоренные им страны обращаю против него!

В тот же день Кортес начал действовать. Шесть тяжелых пушек он приказал погрузить обратно на суда. Он велел всем каравеллам двинуться вдоль берега дальше на север, поискать в двух — трех днях пути защищенную от ветра стоянку. Небольшая часть людей пошла на каравеллы, остальные маршем выступили в глубь страны, захватив с собой четыре легких пушки и всех коней. Больных несли на носилках.

Первую половину дня отряд шел унылыми песками. Море осталось позади, только изредка в расселинах между песчаными буграми оно мелькало вдали веселой бирюзовой полосой. Цепь далеких вулканических гор тянулась слева, и выше всех поднималась над цепью еще не известная испанцам безымянная гора, которую позже назвали Оризабой. Гора была видна за много лег издалека, и с суши, и с моря; и с какого бы места пути ни оборачивались солдаты, она отовсюду сияла своей многоголовой вершиной, похожей на снежную корону. В пасмурный день ее обволакивало серыми дымными облаками, и тогда вершина словно таяла в полусумраке, только иногда поблескивая сквозь дымку; в солнечный день она блистала вся ослепительным снежным светом,

высоко поднимаясь над грядой белых облаков. Ацтеки называли эту гору Ситталтепетл, что значило: «Звездный вулкан».

Для Хуана де Торреса Лопе сколотил прочные носилки из жердей, покрыл старика циновкой. В походе Хуану де Торресу словно стало немного легче. Первые часы он лежал, закрыв глаза, желтый и бледный, как мертвец, но потом потихоньку начал шевелиться, поднимать голову, глядеть на пески, на горы.

— Высокие горы здесь! — хрипел де Торрес. — Таких у нас нет в Испании.

Нести его было тяжело. У Лопе болели плечи, но он шел в головах носилок, не сменяясь с утра. В ногах сменился уже третий солдат. Сейчас шел Пако Арагонек, раненный в голову в бою под Табаско. Рана у Пако зажила, но остались головокружения, слабость. Он и сейчас сдавал.

— Солнце здесь злое, — жаловался Пако. — Пропекает голову насквозь, и сердцу от него тяжело.

Арагонек все чаще останавливался, опускал носилки наземь. Был тяжкий предполуденный час; солдаты едва брели.

— Иди, Пако, налегке, — сказал Лопе. — Я и один как-нибудь. Пако остановился.

— Нет, — сказал Арагонек — Отдохнем немного и пойдем дальше. Разве можно донести одному?

Он опустил концы носилок на землю, тяжело перевел дух. Грязные капли пота стекали у Пако с лица.

— Бросили бы меня здесь, земляки, — тихо посоветовал де Торрес. — Все равно я уже не солдат.

Пако молча подхватил носилки, раненого понесли дальше, увязая в песке. Лопе чувствовал, как сдает позади Арагонек, как кренятся носилки то вправо, то влево.

— Ничего, донесем! — бодрился Лопе.

Тут он почувствовал, что носилки опускаются и жерди готовы выскользнуть у него из рук. Он услышал вздох Арагонца, но еще не успел ни обернуться, ни промолвить слова, как кто-то сзади крепкой рукой подхватил носилки.

— Шагай, Санчес! — услышал Лопе знакомый гор-
танный голос.

Он обернулся. Это был Андрес.

— Скоро привал. Донесем! — весело сказал оружейник. Он улыбался.

— Ну, слава богу! — облегченно вздохнул Лопе. Он зашагал бодрее, сразу повеселев. Каких только глупостей он ни придумал об этом человеке! И мавр, и вор, и беглый, и бог еще знает что! Сразу видно, что этот оружейник — такой же добрый испанец, как они все. Разве станет злодей мавр заботиться о старике испанце?..

Скоро кончились пески, местность оживилась, показались заросли. В полдень отдохнули на привале. Начали попадаться селения, большие, хорошо построенные и совершенно пустые. Отчего разбежались здешние индейцы — от близости белых или от страха перед Монте-сумой, — никто не знал. Ночь провели в крытых домах большого селения.

В храме солдаты нашли много костей, утвари, все тех же деревянных богов с раздутыми животами и огромными оскаленными зубами. Из одного дома по соседству с храмом вытащили десяток больших свертков твердой индейской бумаги, сплетенной из волокон агавы. На бумаге были нарисованы краской значки и фигурки, очень похожие на те рисунки, которые выводили на ткани ацтекские художники.

Капитану долго разглядывали значки.

— Должно быть, в этом доме жил какой-нибудь чиновник, — заметил Кортес.

— Да, здешний алькальд или судья, — сказал Алонсо Пуэртокарреро.

— А может быть, и историк, — задумчиво промолвил Антонио Монтесино.

Кортес с удивлением перехватил взгляд дона Антонио. Историк? Монтесино был так молчалив, так замкнут, за весь поход армады Кортес едва ли слышал от него больше двух — трех слов. Но ко всему, что делалось вокруг, надменный итальянец приглядывался с вниманием необычайным; он примечал и путь каравеллы, и мохнатую рубашку на стволе индейской пальмы, и узор золотой пластинки в губе у индейца, и глиняную плошку в индейском храме. История? Может быть, Антонио Монтесино и будет тем, кто напишет историю их похода?..

С особенным вниманием после этого Кортес начал приглядываться к итальянцу.

— Храбрых капитанов у меня много, — сказал как-то Кортес, — но не всякий из них учен.

Хуан Веласкес де Леон не умел прочесть латинской строки, Алонсо де Авила едва знал грамоту; Педро де Альварадо тоже читал с трудом, а младшие его братья не умели подписать свое имя.

Попадались грамотные среди солдат, а Берналь Диас даже разумел латынь. За это Кортес любил его, и часто Берналь сживал в палатке Кортеса в кругу капитанов, беседовал, как равный. Хорошо относились к Берналю и солдаты; хоть любил он шегольнуть особенной учтивостью в разговоре, серебряной оторочкой на камзоле, за что и прозвали его Щеголем, но дело боевое знал хорошо, был честен, верен товарищам.

— Я отдам за Берналя пять моих капитанов! — не раз говорил Кортес. Но капитаном Берналя все же не ставил: тот был земляк и дальний родственник губернатору Веласкесу.

На второй день пути солдаты увидели недалеко синюю полосу реки. Наконец-то дорвались люди до свежей воды! Пили, припав к воде, пока у многих не раздуло животы. Переправились на плотях и на другом берегу встретили вереницу из двенадцати темнокожих индейцев. Индейцы несли подарки белому вождю.

Правитель тотонакский посылал дары Кортесу и просил его скорее прибыть в город Семпоалу.

Все пышнее, зеленее становилась растительность. Ручьи шумели в высокой траве. После перехода через пустыню воздух казался свеж и прекрасен, люди дышали полной грудью. Пестрые птицы свистели, перелетая в ветвях деревьев, целые стада мускусных свинок бродили по склонам холмов.

— Хороши здешние земли! — вздыхали солдаты. — И воздух свеж, как у нас в Астурии.

Двенадцать индейцев шли впереди, указывая дорогу. Скоро показались сады по сторонам дороги, засеянные поля, насаждения из какаовых деревьев. За поворотом открылся огромный город, в вышках храмов, каменных ребрах пирамид, в мохнатых уступах тростниковых крыш.

— Семпоала! — сказали индейцы.

АЦТЕКСКИЙ НАПИТОК

И люди и кони разместились внутри огромного храмового двора. Кортес расставил часовых по углам двора и у входа, а пушки поднял на первую земляную террасу храма, наведя их на входной пролет стены.

— Индейцы здешние расположены к нам, — сказал Кортес, — но в любую минуту и вождь, и жители города могут настроиться по-иному.

В храмовом дворе начался пир. Вождь семпоальский приказал принести белым людям все лучшее, что хранили жрецы в своих кладовых.

Жрецы засуетились. Посреди двора длинной узорчатой полосой разостлали циновки. Солдаты сидели прямо на земле, по-турецки скрестив ноги. Давно голодали солдаты, с самого отъезда из Сант-Яго почти не ели свежего, несоленого мяса; соскучились и по свежему хлебу.

Десять индейцев внесли на головах большие деревянные блюда, заваленные едою. Пар поднимался над блюдами, ударило в нос ароматом вареного мяса. Блюда опускали на циновки, и каждый из пирующих подсел поближе, выглядывая, с чего бы начать.

Брали пищу руками. Лопе Санчес сразу добыл себе кусок жирного мяса, должно быть, оленины или свинины, он не мог разобрать. Мясо было сладкое, сваренное без соли, с какими-то плодами, и очень вкусное. Везде на циновках разложили плоские индейские хлебцы из маисовой муки, стручки сладкого перца и какие-то зеленые мелкие плоды, похожие на репчатый лук. Жрецы в длинных темных балахонах, распустив по плечам грязные, слипшиеся космы, бегали, распоряжаясь, подкладывая на блюда еду, наливали воду в каменные кувшины. Жители города Семпоалы выглядывали из пролета ворот, взбирались на стену и, сидя на ней верхом, смотрели во все глаза на испанских воинов.

— Белые люди помогут нам в борьбе с Монтесумой, — передавали от человека к человеку. Так сказал жителям тотонакский вождь.

Со стены летели маленькие желтые дыни, груши, ананасы. Семпоальцы изо всех сил хотели показать белым гостям свое расположение.

Еще и еще приносили блюда с мясом, с вареными курами, жирными щенятами, свининой, индейками. Лопе так наелся, что не мог дышать. Немного поел и Хуан де Торрес; ему стало еще легче в Семпоале, должно быть, от перемены воздуха.

Кортеса на пиру не было. Кортес с Мариной, с писцом Фернандесом и двумя — тремя капитанами ушли в соседний храм-дворец для переговоров с вождем Семпоалы.

Наелись все досыта. Полуголые индейские мальчики разнесли и поставили перед каждым по глиняной широкой чашечке, наполненной какой-то коричневатой густой жидкостью.

— Чоколатл! — говорили они, показывая на чашки.

Это был индейский напиток из бобов дерева какао. Бобы обжигали на огне, мололи и варили из них подкрепляющее темное питье. «Чоколатл» — называли напиток в Мехико, и это ацтекское название было в ходу по всему побережью.

Лопе отхлебнул из своей чашки.

— На вино что-то не похоже, — сказал Лопе, слегка сморщившись.

Он все же отхлебнул еще. Напиток был холодный, взбитый легкой пеной, на вкус горьковатый, но крепкий и довольно приятный. Лопе почувствовал, как кровь точно с новой силой разогнало у него по жилам от чашки ацтекского питья.

— Много есть такого в индейских землях, чего не мешало бы завести и у нас в Испании, — сказал Лопе соседу.

Де Торрес кивнул головой. Ему тоже понравился чоколатл.

— Если вернемся, земляк Санчес, — если вернемся! — осторожно сказал де Торрес.

Пришел Кортес. Он был весел. Разговор с вождем прошел так, как он того хотел.

Тотонакский вождь, очень толстый и важный индеец, вышел к ним, опираясь на руки слуг. Вождь был и рад, и немного испуган: он и хотел начать войну с Монтесумой, и боялся сильного ацтекского войска.

— Жесток Монтесума, — сказал Кортесу вождь. — Он требует с нас каждый год тысячу девушек и тысячу юношей для жертвы ацтекским богам.

— Я пришел сюда для того, чтобы освободить вас от жестокости Монтесумы, — ответил Кортес. — Будьте мне верны, и я помогу вам избавиться от тирана.

— Силен Монтесума, — сказал вождь. — У него пятьсот тысяч воинов, а вас, белых людей, пришло немного.

— Мой государь во много раз сильнее, — ответил Кортес. — Один белый воин сильнее тысячи вооруженных ацтеков.

Ему удалось успокоить вождя. Порешили на том, что вождь тотонаков окажет помощь Кортесу в походе против Монтесумы, даст людей, припасы, даст носильщиков для переноски тяжестей.

Кортес был весел. Он не стал пить ацтекское питье чоколатл, но велел выкатить на храмовый двор бочонок гвадалканарского вина из капитанских запасов. Кружки пошли по рукам, напоили и индейцев. Кортес потешался, глядя, как скачут и вертятся пьяные жрецы, тряся космами. Жрецы пели что-то непонятное на своем языке.

— Скоро они научатся у меня петь святую мессу! — сказал Кортес.

Только одну ночь переночевал Кортес в семпоальском храме. Наутро, взяв малую часть людей, он выступил к морскому берегу.

Глава двадцать четвертая

В ИНДЕЙСКОЙ ГРЕНАДЕ

Лопе Санчес остался в Семпоале. Вначале все ново было ему и дивно в чужих местах. Кортес под страхом казни запретил солдатам выходить без особого разрешения из храмового двора на улицу. Вокруг, за стенами, шумел большой индейский город, но ни жизнь эта, ни язык тотонакский не были понятны солдатам. Часто взбирались они на стену, садились и смотрели на город. Тянулись кривые улицы, земляные храмы высоко поднимались над каждым кварталом. Город был велик и хорошо построен. Здесь были дома, сложенные из камня, из кирпича, высушенного на солнце; были дома из тростника, из глины. Высокие незнакомые деревья склонялись над тростниковыми крышами.

— Большой город, как чаша Сарагосса или Гренада! — говорил Хуан де Торрес.

— Нет, пожалуй, побольше Гренады! — спорили солдаты.

Индейцы подмешивали пепел и толченый уголь в свою штукатурку, и оттого стены домов были черносеры, рябило в глазах, когда смотрели на них.

— И храмов здесь не меньше, чем у нас в Гренаде церквей и соборов, — говорил Хуан де Торрес.

Были в городе и дома-подземелья. В них жили только мужчины, воины, женщин туда не допускали.

Только верхний край каменной кладки виден был над землей в таких домах. Лопе с товарищами смотрели, как по утрам мужчины выходят из своих каменных нор, как борются друг с другом, соревнуясь в силе, или, на чертив круг на земле, мечут камни из пращи.

Дети и куры копошились в пыли улиц; женщины, сидя на каменных порогах, на ручных жерновах растирали маисовые зерна.

По вечерам начинался вой на вышках храмов, завыванье дудок. По земляным ступенькам поднимались жрецы; распустив космы волос, они метались на вышках, окуривали своих богов из медных курильниц. Часто человеческие подавленные стоны слышались сверху и ужасное гнусавое пение.

Лопе с Пако Арагонцем как-то раз взобрались по крутой лестнице на вышку храма и посмотрели, что делают там жрецы.

Весь земляной пол на вышке был черен от засохшей крови; ужасное зловоние стояло в воздухе. Жрецы рассыпали по полу пучки пахучей травы и тлеющие угли. Потом они начали петь и помахивать пучками перьев перед носами своих идолов. Один из жрецов, самый старый, с продырявленным носом, с отрубленными пальцами на обоих ногах, нырнул куда-то вбок, в земляную нору. Тихий стон послышался оттуда; все жрецы загнусаивали громко, и самый старый вылез, обратно из норы. Он держал в руках только что отрубленную человеческую руку. Еще громче запели все жрецы, а самый старый положил руку в углубление между животом и грудью скорченного безобразного идола.

— Пресвятая дева Мария! — Пако вцепился Лопе в плечо, — Пойдем отсюда, Лопе, скорее!..

Они мигом скатились по ступенькам.

— Чертовы попы!.. Они еще нас человечиною накормят! — волновался Лопе.

Он два дня не мог ничего есть после этого случая. На храмовый двор по-прежнему приносили обильную еду; груды мяса всех сортов навалены были на деревянные блюда и плошки, но солдаты теперь уже ели с опаской.

Несколько дней спустя Пако Арагонцу показалось, будто он вытащил детское ребрышко из груды мяса. В тот день никто не дотронулся до еды, а на следующий жевали только хлеб и плоды. Настроение у солдат упало. Надоело сидеть взаперти за стенами, а Кортес что-то задержался на морском берегу.

Изменилось и настроение жителей Семпоалы. Первые дни солдат забрасывали сладкими плодами, зелеными ветками, цветами. Теперь больше никто не подходил к высоким стенам храмового двора, а по вечерам в отдалении шумели толпы народу, и солдаты, хоть и не понимали языка, угадывали беспокойство и угрозу в отдельных глухих выкриках толпы. Что-то встревожило тотонаков, какие-то вести — может быть, с морского берега — смутили их покой, и теперь весь большой город волновался и гудел, как развороченный улей.

К концу второй недели, ранним утром, солдаты проснулись от ужасных криков на улице. Какие-то испуганные, взлохмаченные женщины бегали вдоль домов, потом наискось через улицу перебежал молодой индеец, и двое воинов гнались за ним. Юноша вбежал в дом, и несколько женщин, встав на пороге, заслонили его от воинов. Еще несколько человек с криком пробежали по улице.

— Что такое у них приключилось? — спрашивали друг друга солдаты.

Паблико Ортегиля, Кортесов паж, не утерпев, соскользнул со стены на улицу. Он скоро вернулся, испуганный, бледный.

— Они что-то кричат про Монтесуму, — сказал Паблико.

Паблико уже понимал десяток-другой слов на тотонакском языке. Кое-как удалось ему расспросить жрецов, что произошло.

— Монтесума требует жертв, — объяснили жрецы. — Великий государь разгневался на нашего вождя и тре-

бует сто наших юношей и сто девушек для принесения в жертву в большом храме Мехико.

За что разгневался Монтесума, — добиться от жрецов не удалось.

Гонец прибыл от Кортеса в тот же день. Он привез вести, от которых очень взволновались капитаны. Что-то знал и пушечный мастер де Маеса, но солдатам пока не сказали ничего.

Ночью Лопе стоял на посту в западном углу храмового двора, вместе с Габриэлем Нова. Жрецы давно отгнусавили свои молитвы на вышке; кругом было темно и тихо. Только негромкие голоса доносились из ближней храмовой пристройки: там совещались капитаны.

— Ты стой тут, Габриэль, — шепнул Лопе, — а я подойду поближе, послушаю. Если услышишь шаги, дай мне знак.

Лопе тихонько шагнул к пристройке и приник к неровной каменной стене. Голоса были слышны очень отчетливо:

— Наш генерал-капитан потерял последнюю осторожность, — говорил чей-то сухой резкий голос. Лопе узнал голос Алонсо Пуэртокарреро. Но на этот раз голос сеньора звучал сердито, без обычных лстивых ноток. — Наш генерал-капитан потерял осторожность! — говорил Пуэртокарреро. — Взять в плен людей Монтесумы, оскорбить его самого без видимой причины — это значит всех нас подвергнуть неслыханным опасностям в чужой стране!..

— Да, да, и тотонакам нельзя верить! — подхватил другой голос. Это был низкий грубоватый голос Веласкеса де Леона. — Тотонаки хороши только до тех пор, пока считают нас сильнее Монтесумы.

— Разбить силы в такое время, меньше четырехсот человек оставить здесь, в незнакомом городе, среди непокоренных индейцев... Безумен капитан-генерал, безумен!.. — Это снова говорил Пуэртокарреро.

— Единственное спасение вижу в своевременном возвращении! — Лопе узнал голос патера Ольмедо, мягкий, ласковый, слегка гнусавый, точно смазанный оливковым маслом.

— В своевременном возвращении на Фернандину вижу наше спасение, сеньоры. С капитаном Кортесом или без него.

Все замолчали.

— Как вы мыслите себе, отец, это своевременное возвращение? — минуту спустя осторожно спросил Пуэртокарреро. — Со всей армией?

— Благоразумный спасется! — ответил патер. — Суда стоят у недалекого берега, и есть среди матросов послушные люди, которые доведут любое судно до Фернандины.

Тут все заговорили очень тихо. Лопе не мог разобрать ни слова.

— ..если только успеем! — минутку погодя чуть громко сказал Пуэртокарреро. — Если до той поры тонаки не разгромят нас здесь и не придушат сеньора Кортеса, как хорька, забравшегося в чужой курятник...

Тут Габриэль Нова тихонько свистнул, и Лопе отпрянул от стены. Кто-то шел по двору. Дальше слушать было неосторожно.

Ночью пришел от морского берега Берналь Диас. Он рассказал солдатам, что натворил Кортес в прибрежном поселке.

С Кортесом к морю ушло немного людей — человек восемь — десять. Весь путь от Семпоалы к берегу, — рассказывал Берналь, — лежал все той же зеленой равниной. Скоро нашли у берега и суда; вся флотилия, поднявшись немного севернее, стала на якорь в маленькой удобной бухте, в одном дне пути от Семпоалы. Почти у самого берега испанцы наткнулись на небольшой, хорошо укрепленный индейский поселок, расположенный среди скал. Название поселка было какое-то мудреное, — не то Кипакитлан, не то Каитиклан. Берналь его не запомнил. В поселке встретили испанцев дружелюбно.

Кортес расположился на главной площади поселка и ждал к себе вождя с подарками. Вождя принесли на носилках, собрались индейцы, начали кланяться и окуривать Кортеса дымом из своих кадилъниц. Вдруг среди любезного разговора Кортес увидел замешательство на лице вождя. Пять высоких индейцев в длинных узорчатых одеждах быстрым шагом вошли на площадь. Впереди и позади их бежали слуги. Слуги махали опахалами из цветных перьев, отгоняли москитов от знатных гостей, подметали землю перед ними, чтобы господа

не ступили на камешек или колючку. Гости прошли мимо, даже не взглянув на Кортеса.

— Кто это? — спросил Кортес у вождя.

— Это люди Монтесумы, — ответил вождь.

Индеец был испуган. Монтесума прислал людей для сбора налогов. Ацтекские сборщики могли рассердиться на вождя за то, что он принимает у себя белых людей.

Растерянность видел Кортес и на лицах окружающих вождя людей; индейцы точно не знали, как им поступить, кому отдать предпочтение: начальнику белых или ацтекам — посланцам Монтесумы.

И тут Кортес решил действовать — действовать молниеносно, решительно, как он поступал всегда. Весь план в одну минуту был продуман и готов.

— Сборщиков надо схватить и посадить под стражу! — сказал Кортес.

Вождь перепугался насмерть.

— Нет, нет, все войско Монтесумы за это обрушится на меня! — сказал вождь.

— Я сильнее, — сказал Кортес. — Мое могущественное войско я оставил в Семпоале, вождь семпоальский заодно со мной. Мы вместе с ним замыслили поход против Монтесумы.

Кортес убедил вождя. Жители поселка с радостью выполнили неожиданный приказ. Ацтеков схватили, связали по рукам и ногам и посадили под стражу.

Ночью Кортес велел тайно освободить пленников. Он дал им приют у себя на судне.

— Бегите к своим, в город Мехико, — сказал им Кортес, — и расскажите, как коварно поступили с вами тотонаки и как освободил вас я, вождь белых людей.

Он отпустил ацтеков домой. Слуги ацтекских сборщиков уже успели разбежаться по городам и поселкам и разнести ужасную весть: тотонаки оскорбили послов.

Весть дошла до Мехико раньше, чем вернулись в свой город ацтеки, отпущенные на свободу Кортесом. Монтесума пришел в великий гнев. Гонец побегал в Семпоалу с приказом: немедленно доставить в Мехико сто юношей и сто девушек для жертвы богам.

— Если приказ не будет выполнен, — возвестили глашатаи, — сам вождь тотонакский и старшие жрецы положат свои головы на жертвенный камень большого храма Мехико еще до окончания этой луны.

Вождь семпоальский и жрецы немедленно занялись ловлей юношей и девушек на улицах города.

Тогда-то и началось смятение в Семпоале, которое наблюдали солдаты.

Вслед за Берналем скоро вернулся от морского берега и Кортес с остальными людьми.

Кортес был по-прежнему весел. Все шло прекрасно. Он быстро успокоил семпоальского вождя.

— Не бойся ничего! — сказал он вождю. — Я во много раз сильнее Монтесумы. Пройдет несколько дней, и ты увидишь это своими глазами.

И точно: прошло несколько дней, и в город, под завывание дудок, вступила большая процессия: великий Монтесума посылал дары вождю белых — Кортесу.

Дары разложили на площади. Несметная толпа тотонакских индейцев теснилась вокруг. Вождь семпоальский не верил своим глазам: Монтесума ищет милости у белого вождя!

Никому из них, ни семпоальскому вождю, ни жителям города и даже жрецам не пришло в голову, что Кортес их обманул. Приказать взять в плен ацтеков, а потом тайно их освободить и отослать к Монтесуме — о таком коварстве здесь еще не слыхивали. Никогда не прибегали здешние индейцы к таким уловкам, — ни на войне, ни в мирное время.

Послы разложили подарки. Зверьки, птицы, фигурки из чистого золота, опахала, бронзовые щиты с золотыми украшениями и много одинаковых узеньких мешочков из хлопковой ткани, плотно набитых зернами какао. Такие мешочки служили деньгами по всему побережью.

— Мой повелитель просит передать тебе свою благодарность! — сказал старший посол.

Тотонаки замерли от изумления.

— Мой повелитель удивлен твоей дружбой с неверными тотонаками! — еще сказал посол.

Кортес наклонил голову.

— Он давно ждал твоего прихода! — сказал посол. — Ты тот, чье появление возвестили древние оракулы нашей страны!

Кортес не возражал.

— И потому мой государь, — договорил посол, — из

любви к тебе готов простить тотонаков, если ты их прощаешь!

— Я их прощаю! — сказал Кортес.

Послы отбыли обратно в Мехико.

— Передайте своему государю, что я скоро навещу его в его собственном дворце! — сказал Кортес.

С этого дня он начал непосредственную подготовку к походу на Мехико.

Вождь семпоальский был теперь послушен ему во всем, он не знал, как угодить Кортесу.

— Отныне ты связал свою судьбу с моей, — сказал ему Кортес, — будь же и дальше мне верен.

Они поклялись в верности друг другу. Кортес снял камзол и надел его на плечи вождю, а вождь скинул свой белый балахон с узором и облачил в него Кортеса.

— Теперь мы с тобой братья! — сказал вождь.

Став братьями в дружбе, они обменялись именами, по индейскому обычаю. Вождь тотонакский взял себе имя Кортеса, а Кортес из любезности не отказался от имени вождя: Типарипакок.

— Теперь ты, брат Кортес, не откажешь брату Типарипакоку в просьбе, — сказал Кортес.

— Да, — согласился вождь.

— Уничтожь своих богов и прими христианскую веру, — сказал Кортес.

Глава двадцать пятая

ОБРАЩЕНИЕ ТОТОНАКОВ

Щеки вождя побледнели под сложным рисунком из синих и зеленых полос.

— Наши боги нам хороши, — сказал вождь.

— Ваши боги — жалкие идолы, — сказал Кортес. — Наш бог сильнее. Ты его примешь! А если нет...

— Что, если нет? — спросил вождь.

— Тогда ты останешься один против Монтесумы, — ответил Кортес. — Никто не поможет тебе, когда его гнев обрушится на тебя.

Вождь закрыл лицо руками.

— Я не стану перечить брату моему Типарипакоку! — сказал вождь.

В тот же день состоялось обращение. С утра пушки на нижней террасе храма повернули и направили на жилой дворец вождя. Солдаты выступили в полном вооружении и заняли все подступы к храмовой площади. Вождь Типарипакок спрятался где-то у себя в дальних покоях. Индейцы собрались на площади испуганной, молчаливой толпой. Они еще не понимали, что задумал белый вождь.

— По лестнице бегом! — скомандовал Кортес.

— Пятьдесят человек солдат боевым маршем поднялись по ступенькам широкой лестницы. Вбежали на верхнюю площадку, забрызганную черной кровью. Деревянные индейские боги, ощерившись огромными зубами, теснились на площадке.

— Начина-ай! — крикнул рябой Эредия.

Баск подскочил к самому большому идолу, обхватил его руками вокруг толстого живота, опрокинул и подкатил к краю террасы. Толстый бог со стуком полетел вниз, по каменным ступенькам.

— Сгинь, сатана! — крикнул Эредия.

Многоголосый яростный вой раздался внизу. Тотонаки точно очнулись. Белый человек осмелился посягнуть на их богов!

Еще один бог покатился вниз, по земляным террасам храма.

Индейцы бросились к оружию. Из подземных домов выбегали мужчины с копьями, с пиками. Жрецы в темных одеждах метались среди воинов. «Спасайте наших богов, спасайте!» — кричали жрецы, подстрекая толпу, трясли космами, поднимали сжатые кулаки вверх. «Хватайте белого вождя!»

В нескольких местах индейцы уже прорвали цепь солдат вокруг храма, два — три солдата упали под ударами индейских пик.

— Спасайте наших богов, спасайте!..

Испанцы не ждали нападения. На площади завязался настоящий бой. Индейцы прорывались уже к большой террасе дворца Типарипакока, у основания которой стоял Кортес с Мариной и с капитанами.

— Хватайте белого вождя, хватайте!..

Сжатые кулаки, пики, камни угрожали со всех сторон. Ничего не стоило тотонакам, окружив, прижать к основанию храма, раздавить, уничтожить испанцев.

— Только вождь может их успокоить! — сказала Марина.

Она сама бросилась во внутренние помещения дворца. Типариपाкок лежал на полу у очага, окруженный слугами. Он не мог вымолвить ни слова от страха. С неожиданной силой Марина подняла его с полу за плечи и потащила на террасу.

— Если хоть одна стрела попадет в белого вождя, смерть будет тебе, Типарипакок! — сказала Марина. — Выйди на террасу, успокой свой народ!

Дородный вождь, весь трясаясь, вышел на террасу.

— Гонь белых людей, Типарипакок! — зашумели внизу индейцы. — Гонь прищельцев из нашей земли!.. Зачем они трогают наших богов?..

— Наши боги сами не могут себя защитить! — плача от страха, сказал вождь. — Они потеряли силу...

Солдаты в эту минуту подтащили к краю площадки еще одного идола, и бог полетел вниз, широконосый, уродливый, стучаясь боками о ступени храма.

— Они сами не в силах себя защитить, — сказал вождь, — разве мы можем их спасти?..

Тотонаки затихли. Они растерянно толпились внизу, не зная, что предпринять.

— Артиллерия! — сказал Кортес.

Две пушки с грохотом ударили в боковой фасад дворца Типарипакока. Взметнуло песок, землю, посыпались камни. Весь край террасы разворотило.

Типарипакок упал на землю и пополз прочь, не помня себя от страха.

— Спасайтесь!.. Спасайтесь!.. — кричали индейцы. Толпа смешалась, дрогнула, люди начали разбегаться.

Кортес велел закрыть выход на площадь позади дворца.

— Пускай тотонаки посмотрят, как горят их поганые боги, — сказал Кортес.

Солдаты разложили костер. Деревянные боги с треском запылали.

— Не давайте себя жечь, боги, не давайте! — индейцы падали на колени, в отчаянии стучались головами о землю.

— Гоните белых людей, великие боги!..

Боги догорали, послушно подставляя огню обугленные спины. Белые люди были сильнее их.

Солдаты быстро выловили из толпы скрывавшихся в ней жрецов, площадку наверху храма наскоро убрали, унесли с нее разбросанные человеческие кости, отмыли следы крови на земляном полу. Жрецов переодели, дали им свечи в руки; и очень скоро вокруг храма пошла торжественная процессия тотонакских жрецов в белых христианских одеждах; впереди процессии главный жрец Семпоалы нес икону девы Марии с младенцем на руках.

— Слава тебе в небесах и на земле! — пел патер Ольмедо. Жрецы подтягивали, как умели.

В тот же день патер Ольмедо отслужил христианскую мессу на вышке тотонакского храма.

«И благодарные индейцы рыдали от умиления, слушая святые слова...» — сообщил историк три столетия спустя, рассказывая об обращении тотонаков.

Тотонаки действительно рыдали, но не от умиления. В тот же самый день их вождь Типарипакок объявил, что все жители города Семпоалы, их жены и дети, их рабы и имущество отныне переходят в полное распоряжение Кортеса, вождя могущественных белых людей, посланца великого заокеанского государя и брата его, Типарипакока, по нерушимой клятве дружбы.

Глава двадцать шестая

ДОХОДЫ КОРОЛЯ КАРЛОСА

Солдаты шумели на храмовом дворе, собирались кучками и расходились, громко кляли и капитанов, и армаду, и самого сеньора Кортеса.

Ночью прибежали в Семпоалу гонцы от Монтесумы; весть, принесенная ими, просочилась к солдатам, за стены храмового двора.

Монтесума объявил войну тотонакскому вождю. Все свое пятисоттысячное войско, гарнизоны всех соседних городов и еще пятьдесят тысяч быстроходных и искусных воинов он грозил обрушить на город Семпоалу.

Князь ацтекский смертельно испугался обещания Кортеса навестить его в своем собственном дворце. Он готов был начать отпор сейчас, пока испанцы еще не успели приблизиться к его городу.

— Чудит этот Монтесума! — возмущались солдаты. — То дары шлет, то грозит войною... Должно быть, он сам не знает, как нас принять в своей стране.

— Каков бы он ни был, Монтесума, хитер или прост, нам против пятисоттысячного войска не устоять!

— Не устоять!.. — В этом были согласны все; нечего было и думать начинать сейчас поход.

— Как ни смел капитан Кортес, а на такое дело нас не поведет, — громче других кричал Пако Арагонез. — Если еще дорожи капитану христианские души.

— Да, трудов мы приняли довольно! — крикнул Эредия. — И золота, присланного Монтесумой, если поделить его между всеми, хватит на то, чтобы нам прокормить наших детей и жен до конца своих дней.

— Верно, Эредия!.. Верно!.. Правда твоя!.. — поддержали солдаты.

Еще какие-то вести, передаваемые шепотом, смущали солдат. Паж сеньора Веласкеса де Леона, дурачок Эскобар, проговорился кому-то о том, что несколько капитанов хотят захватить у берега судно и тайно отплыть обратно в Сант-Яго; солдаты глухо шумели, предчувствуя, что, как ни перечат между собой капитаны — бежать или оставаться, — солдатам все равно придется худо.

— К черту Монтесуму! Разделить золото и вернуться домой! — кричали одни.

— Взять в плен Типарипакока и отослать его в Мехико, чтобы успокоить ацтекского вождя! — предлагали другие.

— Форт! — крикнул кто-то. — Построить укрепленный форт здесь на берегу, укрыться в нем и послать на Фернандину или в Сан-Доминго «Эспаньола» за подкреплением.

Мысль понравилась.

— Форт! — закричали многие. — Просить Кортеса устроить колонию. Здесь на берегу!

Пошла делегация к Кортесу. Генерал-капитан вышел к солдатам.

— Я всегда хотел того же, чего хотели мои солдаты, — кротко сказал генерал-капитан. — Форт? Я готов устроить и форт, и колонию на берегу. Но у меня нет на то грамоты от наместника Индии.

— Наместник Индии? До наместника Индии нам сейчас не добраться. Далеко!.. — пробасил Эредия.

— Если все мои солдаты и мои капитаны попросят меня основать здесь колонию, я, пожалуй, соглашусь, — сказал Кортес. — Сочините мне о том челобитную и все подпиштесь.

Секретарь написал бумагу, и через несколько дней Кортес отбыл к морскому берегу с двумястами людей. С ними были еще пятьсот носильщиков из Семпоалы. Типарипакок предоставил Кортесу в полное распоряжение пятьсот индейцев для переноски тяжестей и для постройки форта.

Взял с собой Кортес и все золото.

— Надежнее будет укрыть его в укрепленном форту, — сказал Кортес.

Он был доволен. Мысль о постройке форта принадлежала ему. Верный человек из солдат, Хуан Эскаланте, вовремя крикнул нужное слово в толпе, и солдаты сами попросили его об основании колонии. Все шло так, как он давно рассчитал.

Укрепленный форт на берегу будет той базой, из которой он начнет поход против Монтесумы.

На берегу Кортеса встретили неожиданные вести.

* * *

Кортес спустился со скалы по тропинке и сразу увидел: что-то переменялось у берега.

Все суда стояли на месте, но, кроме них, на рейде виднелась новая каравелла.

Каравелла была стара, убога, разбита ветрами. Рваные паруса свисали с почерневшей единственной мачты. Веселое пение доносилось с каравеллы.

Весело было и на берегу. Кучка незнакомых матросов пиновала вокруг тыквенной чаши с индейской водкой. Никто из них даже не поглядел на Кортеса.

— Что это значит? — Кортес остановился, оглянувшись на своих.

— Я не знаю этих людей, дон Фернандо! — сказал Педро Альварado.

С другого конца берега к ним приблизился человек. На человеке была странная одежда: среди невообразимых лохмотьев на груди сияла золотая цепь, страусовое

перо свисало с огромной рваной шляпы. Человек еще издали снял шляпу.

— Приветствую вас, сеньор Кортес, — вежливо сказал незнакомец.

Он низко поклонился и изысканным жестом отмахнул назад шляпу, мазнув по песку своим страусовым пером.

— Кто вы такой? — холодно спросил Кортес.

— Я — Гарсия Сауседо! — гордо ответил человек. — Капитан Сауседо, по прозвищу Морской Ворон. — Он еще раз вежливо поклонился.

— Что вам здесь нужно? — спросил Кортес.

— Я приплыл сюда за золотом! — любезно объяснил Сауседо. — Где золото, там и я, капитан Сауседо, и мои морские вóроны. — Он широким жестом обвел пирующую компанию на берегу. — У меня двенадцать человек команды, — гордо сказал Сауседо, — и две лошади на борту. Я давно иду за вами вслед, сеньор Кортес.

— Вот как? — переспросил Кортес. Он неожиданно улыбнулся. — Люди мне нужны, а кони еще больше. Что ж, идите ко мне в армаду, капитан Сауседо. Давно ли вы нагоняете меня?

— Четыре месяца! — сказал Сауседо. — Из Сант-Яго я отплыл много позже вас.

— Есть ли новости на Фернандине?

— О, да! — сказал капитан. — Губернатор Веласкес очень весел. Он получил письмо от наместника Индии.

Бровь чуть дрогнула на смуглом лице Кортеса.

— Что же пишет Веласкесу наместник?

— Наместник Индии прислал сеньору Веласкесу грамоту на основание колонии в новооткрытых индейских землях, — любезно сообщил Сауседо.

— Вот как? Благодарю, капитан, за новость! Кортес отошел, чтобы Сауседо не увидел его лица, внезапно изменившегося.

— Проклятие! — Кортес весь посерел, гримаса перекосила лицо. Он бешено выругался. В первый раз за все время сдержанность готова была изменить Кортесу.

Педро Альварадо, все поняв, поспешно увел Кортеса от людей. Они укрылись в палатке, разбитой за прикрытием скал.

— Все пропадет! — сказал Кортес. Он сбросил кам-

зол, рванул пояс, тяжелый меч отшвырнул на землю, давая выход гневу. — Все пропадет! — сказал Кортес. — Все труды наши, жертвы, подвиги!.. Таланты, усилия, храбрость — все пропадет, Альварадо! Теперь всю славу, почести, золото, доходы — все проглотит он, этот дурак Веласкес! У него грамота наместника!..

— Может быть, еще можно что-нибудь придумать? — сказал Альварадо.

Они сели совещаться. Ортегилья принес ужин, — его не впустили. До поздних звезд совещались капитаны в палатке.

Наутро у Кортеса был готов план.

— Я пошлю все золото, минуя Сант-Яго, прямо королю! — сказал Кортес. — Не пятаю долю, какая полагается королевскому двору по закону, и не половину, а все!

— Все? — У Альварадо перехватило дыхание. — Дон Фернандо, там будет не меньше чем на сто пятьдесят тысяч червонцев!

— Да, все! — сказал Кортес. — Тогда король не откажет мне в грамоте на основание колонии.

Синие глаза Альварадо даже потемнели от огорчения. Он по-детски нахмурил пушистые брови.

— Я отдал вам Марину, дон Фернандо, без единого слова! — сказал Педро. — Но золото!.. На мою долю там приходится больше тысячи червонцев.

— Я первый отказываюсь от своей доли! — сухо сказал Кортес.

— Хорошо! — Педро жалобно сморщился. — От своей доли я откажусь. А другие?

— Другие не станут спорить, — сказал Кортес.

* * *

В полдень Кортес велел всему отряду собраться на открытом берегу. Здесь было меньше половины армады, около двухсот человек.

Лопе Санчес с Хуан де Торресом остались в Семпоале. Андрес Морено ушел с Кортесом; он стоял с краю, в серой куртке оружейника.

— Мои храбрые солдаты! — сказал Кортес. — Настал час, когда мы можем доказать нашу верность его величеству королю.

Он рассказал о своем решении.

— Все золото послать в Испанию? — Ропот пошел по рядам. — А мы?.. А как же мы, наши жены и дети?..

— В стране Монтесумы мы добудем еще втрое, в десять раз больше золота! — сказал Кортес. — А этим подарком мы можем снискать королевскую милость. Милость короля дороже золота!..

Он подошел ближе к солдатам.

— Разве тебе, Габриэль... или тебе, Кастро, или, Хуан Гонсалес, тебе золото дороже милости короля?

Он указывал пальцем прямо в лицо, подходил, называл по именам.

— Или тебе, Пабло Родригес?.. Хили Марран?..

Люди опускали глаза, топтались на месте под взглядом капитана. Они не смели возражать поодиночке.

— Сеньор капитан, — сказал чей-то робкий голос, — мы ведь не все здесь, не вся армада... Больше половины солдат осталось в Семпоале, надо еще спросить и у них о согласии.

— Да, да! — зашумели все. — Надо еще спросить товарищей в Семпоале.

— Вы распишетесь за них! — сказал Кортес. — Солдаты мои всегда были дружны.

Мертвым молчанием ответила толпа. Никто не решился выступить первый.

И тут в наступившей тишине прозвучал чей-то молодой резкий голос:

— Мы не станем расписываться за других, — сказал голос. — Спросите их самих, сеньор Кортес!

Кортес взгляделся. Это говорил оружейник, Андрес Морено.

— Морено? — спросил Кортес. — Кто дал тебе право, Андрес Морено, говорить за триста человек?

— Мы все одинаково шли на смерть, когда отплыли с вами, сеньор Кортес! — сказал Морено. — Разве можно забрать у этих людей малую долю золота, которая принадлежит их женам и детям, долю золота, заработанную кровью?

— Замолчи, Морено! — сказал Кортес. Ты плохой солдат и плохой слуга своего короля. Кто еще из вас, солдат, думает так же, как этот мальчишка-оружейник?

Солдаты молчали. Пабло Родригес кусал губы. У Габриэля Новы на глазах выступили слезы. Но он не осмелился возразить генерал-капитану.

— Я говорил, — солдаты мои дружны! — весело сказал Кортес. — А кто им недруг, того мы образумим.

Он кивнул Хуану Эскудеро. Огромный альгвасил, слегка сгибаясь, точно стыдясь своего непомерного роста, — подошел к Андресу.

— Пойдем! — сказал Эскудеро.

Цепи лязгнули в его руках. Он повел Андреса по берегу к лодкам.

Оружейника отвезли на «Санта Росу» и заперли в тесной каморке, недалеко от кормы каравеллы.

Глава двадцать седьмая

ВЕРНОСТЬ ШУТА

Каморка, в которой заперли Андреса Морено, находилась очень близко от помещения самого Кортеса. Альгвасил Эскудеро стоял у двери на страже, но внутри каморки не заглядывал.

При волнении на море вода ударяла о борта каравеллы и заглушала все другие звуки. В тихую погоду Андрес мог ясно слышать все, что происходило за тонкой перегородкой.

Кортес переехал на судно. По ночам в кормовой башне совещались капитаны.

Андрес различал голоса: тонкий пронзительный голос шута, глуховатый спокойный голос Франсиско де Монтехо, быструю, захлебывающуюся речь старшего Альварадо, уверенный, низкий голос Кортеса.

Капитан-генерал готовил судно для отправки в Испанию.

Он выбрал «Эспаньолу» — маленькую, но быстроходную каравеллу.

Ночью на «Эспаньолу» перенесли все золото: подарки Монтесумы и всё, что удалось наменять на берегу за время плавания.

Кортес с капитанами составили письмо его величеству королю Карлосу. В письме подробно описывалось все путешествие вдоль берегов Юкатана, встречи с индей-

цами, бои. Описывались земли, которые им встречались на пути, народы, их населявшие.

«Земли те велики и золотом обильны, — сообщалось в письме, — на полях растут весьма полезные и нужные злаки, всякая рыба водится в реках, леса богаты дичью...»

Хорошо написали капитаны о самом Кортесе:

«А капитан-генерал нашей армады, Фернандо Кортес, много трудов положил на то, чтобы покорить и короне испанской принести во владение обширные те земли. Покорились индейцы по всему Юкатану благодаря храбрости, опыту и отваге дворянского сына Фернандо Кортеса. И единственно для того трудился Фернандо Кортес, чтобы послужить Вашему королевскому величеству.

А Диего де Веласкесу, правителю острова Фернандины, просим, Ваше величество, не оказывать никаких милостей, — ибо на всех индейских островах известен сей Веласкес, как муж трусливый, жадный, завистливый, преданный лишь собственной выгоде, о благе Вашего величества ничуть не помышляющий».

Так заканчивалось письмо.

Диего де Годой, секретарь армады, очинив гусиное перо, насыпав свежего песка в песочницу и, сдвинув шляпу с широкими полями назад, так что страусовые перья повисли до самых лопаток, сел писать перечень предметов, отправляемых в королевскую казну:

«Золотая птица попугай с глазами из чистого жемчуга.

Шесть серебряных щитов.

Серебряная птица орел с золотым клювом и когтями.

Четыре опахала из цветных перьев, украшенных жемчугом.

Золотая змея о четырех головах.

Ацтекский камень чалчуй.

Голова аллигатора чистого золота.

Пятнадцать ацтекских щитов с золотыми украшениями.

Серебряная птица утка с золотым клювом.

Сто унций золотого песка.

Опахала из птичьего пера, с золотой ручкой.

Серебряный диск с рисунком.

Шесть покрывал из перьев и кроличьего пуху, перевитого жемчугом.

Диск чистого золота, с фигурами змей и других тварей, весом в три тысячи сто унций...

И еще, и еще, без конца.

Кортес посылал также в Испанию четырех индейцев из племени тотонаков, захваченных им в прибрежном поселке. Индейцев отвезли на «Эспаньолу» и посадили там в деревянную клетку.

— Это для того, чтобы его величество король Карлос мог ознакомиться с народами, населяющими его новые владения! — сказал Кортес.

Пора уже было отправлять «Эспаньолу». Но тут произошла задержка.

Как ни прислушивался Андрес, он не мог понять, в чем дело. В каюте Кортеса то взволнованно говорили все сразу, то наступала тишина.

Обычно Кортес ночевал на судне. Но в ночь на понедельник он почему-то остался на берегу. Андрес слышал какую-то суету на палубе, две лодки спустили на воду, и Педро Альварадо с братьями куда-то поспешно отплыли. Крики доносились с берега, плеск воды, точно кого-то кидали в море, скрипели уключины на лодках, весла поспешно ударяли по воде.

Альгвасил Эскудеро, постоянно стоявший на страже у дверей каморки Андреса, в эту ночь тоже исчез.

«Что там приключилось?» — Андрес ничего не мог понять.

Рано утром, чуть забрезжил свет, лодки вернулись. Кого-то привезли на них; должно быть, связанных людей, — Андрес слышал, как их швыряли, точно тюки, на палубу. Донеслись негромкие стоны, несколько раз лязгнуло железо, — привезенных людей заковывали в цепи.

— Неужели и вы, де Монтехо? — донесся приглушенный голос Кортеса. — От вас я измены не ждал!..

Де Монтехо ответил что-то изменившимся печальным голосом, — Андрес не разобрал слов.

Потом, после долгой тишины, снова стало шумно в соседней каюте. Кортес разговаривал с шутом.

— Спасибо, Сервантес! — сказал Кортес. — Если хочешь правды, я не ожидал от тебя такой услуги.

— Я всегда был предан вам, дорогой сеньор! — скромно ответил шут,

— Мне? Но ты ведь тоже хотел бежать с другими обратно на Фернандину. Это из верности мне или Веласкесу? — смех зазвучал в голосе Кортеса.

— Конечно, вам, сеньор! — ответил шут. — Из преданности вам, я хотел узнать план ваших врагов, принять участие в подготовке, а потом вовремя сообщить.

— Хорошо, что вовремя... Еще час, не больше, и вы успели бы отплыть.

— Да, у нас уже все было готово! — гордо сказал шут. — Вода, припасы, наша часть золота... Пилот Аламинос уже готовился поднять паруса.

— Аламинос уже больше никуда не убежит! — сказал Кортес. — Я прикажу отрубить ему ноги.

— Ой-ой! — взвыл шут.

— И Эскудеро, и сеньоры — все получают то, что заслужили.

— Да, да... — шут потерял голос от страха. — Я... я ведь остался вам верен, сеньор Кортес.

— Скажи мне правду, Сервантес, почему ты пришел мне рассказать? — не отступал Кортес. — Тебя обделили золотом?

— Нет, — сказал шут. — Всем были равные доли. — И мне, и де Леону, и сеньору Пуэртокарреро, и даже патеру Ольмедо. Всем поровну.

— Тогда что же?

Шут помолчал.

— Хуан Веласкес де Леон, — сказал шут уже совсем другим голосом, глухим, полным сдержанной ненависти. — Хуан Веласкес де Леон думает, что шут легко забывает обиды. Пускай он знает, что я обиду не забыл!

— Ага, понимаю! — сказал Кортес. — Гнедая кобыла?

— Да, — сказал шут, — гнедая кобыла!

— Ты прав, Сервантес, — сказал Кортес. — Ты прав. За коня обиду не прощают.

* * *

До полудня продолжалась расправа на судне, потом все затихло. Кортес был скор на решения: Пилоту Аламиносу, который собирался тайно увести быстроходную «Исабель» к Веласкесу на Фернандину, Кортес велел отрубить ногу. Огромного альгвасила Эскудеро, тоже

пытавшегося бежать на «Исабели», и рыжего дурачка Эскобара, пажа сеньора де Леона, повесили на берегу, на специально для того сколоченной виселице. Патера Ольмедо Кортес простил — из уважения к его сану. Священник был нужен в армаде, а другого достать здесь было негде.

Хуан Диас, помощник патера Ольмедо, тоже принимал участие в заговоре.

— Отпустим его на берег! — недолго подумав, сказал Кортес. — В армаду обратно не примем и не казним, — пускай живет один на берегу, как хочет.

Так и сделали. Еще оставалось трое: Алонсо Пуэртокарреро, Франсиско де Монтехо и Хуан Веласкес де Леон.

Кортес велел расковать всех троих.

— Я прощу того из вас, сеньоры, — сказал Кортес, — кто сам придет ко мне и сознается, что поступил несправедливо.

Первым пришел Хуан Веласкес де Леон.

— Я знаю, что Веласкес — трус, — сказал де Леон и не стоит вас, сеньор Кортес. Но он мне сродни, и меня уговорили.

— Браво, де Леон! — сказал Кортес. — Я всегда считал вас честным человеком.

Два остальных сеньора медлили с признанием.

— Закон на стороне Веласкеса, — твердил Пуэртокарреро. — Он — хозяин армады, а не Кортес. Возвращаясь к Веласкесу, мы доказывали нашу верность закону.

Кортес сам пришел им на помощь.

— Я нашел выход, сеньоры! — сказал Кортес. — В четверг на этой неделе «Эспаньола» уходит в Старый свет, в Испанию. Готовы ли вы вернуться на ней домой?

Оба сеньора были согласны и счастливы. Из благодарности они готовы были защитить интересы капитана-генерала при дворе.

Монтехо приходился родственником самому графу Меделлину, а у Алонсо Пуэртокарреро были связи в Совете Индии.

Через несколько дней «Эспаньола» отплыла к берегам Испании с двумя сеньорами, с десятком матросов, с четырьмя индейцами и золотом для короля.

ПРИМЕР ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ

Не так легко мог забыть Кортес о заговоре сеньоров.

— Пока суда стоят на рейде в моем порту, — твердил Кортес старшему Альварадо, — всегда найдутся трусы, которые захотят удрать домой, на Фернандину.

Андрес слышал из своей каморки разговоры, от которых у него холодело сердце.

На берегу шла работа. Индейцы таскали камни, месили глину, воздвигали стены форта.

Кортес сам указал расположение, размеры и толщину стен, наметил место для арсенала, для кладовых, для тюрьмы, для церкви. Работа подвигалась быстро.

Педро Альварадо придумал имя новому городу-крепости: Вилья Рика де Вера Крус. Это означало на испанском языке: «Богатый город Истинного Креста».

Ночевал Кортес на корабле. Он никого теперь не допускал к себе, кроме Марины и Альварадо.

— Мою корабль — это соблазн для трусов! — снова и снова твердил Кортес другу своему Педро. — Пока они стоят на рейде, я не могу быть спокоен за моих людей.

— Что же вы думаете сделать, дон Фернандо? — спрашивал Альварадо.

Кортес не отвечал. Он задумал что-то, какой-то смелый план зрел в его сознании; Кортес решался на шаг, еще неслыханный в истории индейских походов.

Об Андресе пока забыли. Утром матросы приносили ему воду и сухари, и до вечера никто не навещал оружейника в его каморке. Длинного альгвасила повесили, а никакой другой стражи у двери юноши Кортес не ставил, точно позабыл о нем. Целыми днями Андрес сидел прислонившись к тонкой стене и слушал разговоры.

Как-то поздним вечером он услышал беседу, от которой вся кровь отхлынула у него от сердца.

— И часто у вас бывало так, что морской червь проедал обшивку каравеллы? — спрашивал Кортес.

— Ч-часто, ваша милость! — слегка запинаясь, отвечал чей-то знакомый голос. — Почти в каждом плавании. Дома, в испанских водах, мы этого червя не знали, — а здесь, в тропиках, — стоит только каравелле

пробыть полгода на воде, — ее облепят моллюски, доски обшивки начинают гнить, отваливаться, и тут ч-червь делает свое дело. Редкое судно выдерживает год без большой починки.

— Так... так, — сказал Кортес. — А как наши суда? Целы?

— П-почти все целы, ваша милость, — отвечал голос. — Надо еще только посмотреть «Битрос» и «Санта Тересу».

Голос был очень знаком Андресу. «Да, конечно, это ведь наш заика Мельчиор Кастро, штурман с «Санта Тересы»! — вспомнил Андрес. — Тот самый, который любил петь в хоре!»

— А если хорошо посмотреть, может быть, и не все целы, Кастро? — спросил Кортес.

— Н-не знаю, ваша милость! — ответил штурман. Он не понимал, чего от него хотят.

— Послушай, Кастро, — сурово сказал Кортес. — Если у тебя спросят солдаты, цела ли обшивка на наших судах, ты должен ответить, что суда давно прогнили, что их проел червь, понимаешь?

— З-зачем, ваша милость? — Кастро все еще не понимал. — А если станут проверять? Что, мне дырки и обшивки сверлить, что ли?

— Если придется, то будешь и дырки сверлить, — ответил Кортес. — Ты сделаешь это для меня, Кастро, понял?

Кастро медлил.

— А как же другие штурмана, ваша милость?

— Уговори их... Дай им вот это... И себе возьми!..

Монеты зазвенели, падая на стол. Кортес вынул червонцы.

В каюте заговорили шепотом. Андрес больше ничего не слышал.

«Так вот что он задумал».

Позже в каюту Кортеса пришел Педро Альварадо.

— Это уже делалось в истории, — негромко говорил Педро. — Не помню кто, — кажется, Юлиан.

— Да, Юлиан, в персидском походе, — ответил Кортес. — Он сжег свои корабли, чтобы армия не могла повернуть назад.

Андрес больше не слушал. Кортес решил потопить корабли, чтобы отрезать армаде путь домой!..

Все свое состояние, надежды, усилия вложил Кортес в армаду. Он не хотел поворачивать назад.

«Убийца! — сказал себе Андрес. — Ты обрекаешь на смерть пятьсот человек!..»

Еще не поздно сейчас бежать из тюрьмы, добраться до Семпоалы, рассказать солдатам... Еще все можно спасти...

Ноги у Андреса были закованы в цепи. Уже давно успел приметить оружейник, что одного звена в цепи не хватает и в этом месте цепь держится только на толстом ремне, дважды обхватившем железо.

Ремень был сухой, старый. Андрес попробовал грызть кожу зубами, но прокусить ремень было невозможно. Нож!.. Как достать нож? — мучился Андрес.

Он слышал возле своей каморки чье-то тихое бормотание: это помешанный Агиляр вернулся на «Санта Росу» и теперь бродил по корме, бормоча индейские слова.

— Может быть, попросить Агиляра?

Утром Агиляр вместо матроса принес Андресу воду и сухари. Он сел на палубу возле оружейника и с сочувствием посмотрел на его ноги, закованные в железо. Андрес перехватил этот взгляд. У него застучало сердце.

— Ты был в неволе, Агиляр! — сказал Андрес. — Помоги мне.

Агиляр закивал головой. Он вынул нож из-за пояса, — индейский нож из бронзы, с кремневым лезвием, и перерезал ремень в цепях Андреса.

— Человек должен быть свободен! — сказал Агиляр. — Индейцы понимают это лучше, чем белые.

Андрес кивнул. Он просидел до ночи в своей каморке, а ночью тихонько выполз на верхнюю палубу и вплавь перебрался на берег. Ночь стояла лунная, но никто не заметил беглеца. Впереди широкая равнина, туда лежит путь Андреса. Кролики удирали в траву из-под его ног. Андрес бежал, только изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. Он не чувствовал тяжелых кандалных колец, оставшихся на ногах. К полудню он был в Семпоале.

Бешеным ревом встретили солдаты известие о том, что задумал Кортес. Дозорные побросали пики, кашевары оставили котлы — триста человек плотным кольцом окружили Андреса.

— Потопить корабли?.. Мы не допустим этого!.. Мы не позволим Кортесу! На берег, товарищи, на берег!..

Ни капитаны, ни старики, ни патер Ольмедо не могли удержать солдат, — растерянной, отчаявшейся толпой, похватав оружие, они покинули город.

— Только успеть!.. Успеть добраться до стоянки армады, пока он этого не сделал!..

— Как он мог такое задумать?.. Потопить корабли, чтобы отрезать нас от родины? От наших семей? Зачем же нам биться и лить кровь, если у нас даже не останется надежды вернуться домой?

— Только бы успеть, товарищи!.. Только бы успеть!..

Индейцы шарахались с пути, — солдаты бежали грозной, беспорядочной толпой, — взлохмаченные, страшные, с отросшими за путешествие длинными волосами, с всклокоченными черными бородами, с оружием в руках.

Лопе Санчес бежал впереди. Он ломал руки.

— Хосефина!.. Неужели мне не дадут вернуться к тебе? Какую муку я принял и еще готов принять, чтобы привезти тебе и детям немного денег!.. Святая Мария, какого же дьявола нам все это нужно, если нам не дадут даже вернуться и увидеть своих детей?..

Андрес бежал рядом с ним. Он указывал дорогу.

Они шли всю ночь. Меловые скалы забелели впереди при первых лучах солнца, ветром пахнуло в лицо. Это был берег моря.

Андрес и Лопе первые вбежали на прибрежную скалу.

Только одна каравелла, быстроходная «Исабель», стояла нетронутая на воде. В беспорядке сваленные якоря, свертки парусов, снасти загромождали берег. Ветер гнал по морю свежую волну. Далеко в море, на больших камнях, наполовину затопленные, колыхались на волне разбитые остовы девяти остальных каравелл флотилии.

— Поздно! — сказал Андрес.

Толпа солдат захлестнула его. Теперь впереди бежали Габриэль Нова, баск Эредия и Хатир, немой негр купца.

— Как же так?.. — растерянно кричал Габриэль, выкатывая испуганные глаза. — Как же так?..

Немой негр, вдруг поняв, что произошло, замычав, бросился на землю. Он катался в пыли, тряся головой и непонятно яростно мыча.

— Обманули нас, обманули!.. — отчаянно закричал Габриэль Нова.

Толпа ответила ревом.

— Где Кортес? — кричали в толпе. — Дайте нам Кортеса, мы его убьем!..

Кортес был на «Исабели». Лодки он еще накануне распорядился убрать подальше от берега. Они качались на волне у кормы каравеллы.

— Пускай посидят на берегу, остынут, — сказал Кортес.

Солдаты провели на берегу ночь. Кузнецы и плотники разбирались в корабельном хламе, оттаскивали якоря подальше от воды, складывали снасти, парус к парусу. Солдаты хмуро смотрели на них.

— Как же вы допустили такое, земляки? — спрашивали солдаты. — Как же вы допустили?

— Приказ был, — отвечали кузнецы. — Всем было объявлено: червь съел суда, надо снять с них все ценное.

Андрес увидел среди кузнецов бледное лицо штурмана Мельчиора Кастро. Штурман стоял и смотрел на остовы кораблей. Глаза у него испуганно ширились, он точно не мог обнять мыслью то, что произошло. Вчера при нем подогнали корабли к берегу, сняли паруса, оголили снасти, спилили мачты, пробили борта и отвели их туда, к камням, чтобы волны дотрепали останки. Четыре раза он перевел свою «Санта Тересу» через океан, от многих бурь отстоял ее в плаваниях, чтобы сейчас добровольно бросить корабль на гибель. Расширенными, непонимающими глазами смотрел Мельчиор Кастро на остовы каравелл.

Солдаты толпой подступили к нему.

— Как ты дал уничтожить суда, Кастро, ты, штурман? — спрашивали солдаты.

Мельчиор попятился от толпы. Лицо у него вдруг исказилось.

— Это он! — закричал Мельчиор, указывая на «Исабель». — Это он — Кортес, дьявол!.. Он сатана!.. Он заставил меня дырки сверлить в обшивке моей каравеллы!..

Солдаты обступили Мельчиора, но он вырвался и убежал. Разум изменил ему. Он кричал непонятные слова, дико размахивая руками. За Мельчиором бросились вслед, но штурман бежал быстро, большими прыжками, как собака. Никто не мог его догнать.

До утра сидели солдаты на берегу, под свежим ветром. К утру многие уснули, утомившись. Настроение было подавленное; кто не спал, тот сидел, уронив голову, опустив руки.

К полудню начали успокаиваться. Жизнь требовала своего. Кашевары разнесли похлебку.

— Все равно теперь уж ничего нельзя поделывать! — раздавались голоса.

После обеда Кортес съехал на берег. Он велел солдатам построиться у воды в полном вооружении.

— Я принес большую жертву нашему делу, — сказал Кортес солдатам. — Все свое состояние я вложил в корабли армады, и вот теперь мне пришлось их уничтожить.

Никто не ответил ему. Солдаты отводили взгляд под взглядом капитан-генерала.

— Но я не жалею об этом! Теперь мы будем смотреть вперед и думать о походе. Только трусы оглядываются назад.

Солдаты молчали.

— Трусы оглядываются назад и погибают! — сказал Кортес. — Не о чем жалеть, друзья!.. Все равно корабли не спасли бы нас в походе. Мы уйдем далеко, в горную страну, на много дней пути от морского берега. Если нас разобьют там, среди гор, путь к берегу все равно нам будет отрезан. Если же мы завоюем всю эту страну, я обещаю вам, солдаты, — мы построим новый флот, в десять раз более сильный, чем этот!..

Кое-кто поднял голову. Солдаты повеселели.

— Будем смотреть вперед, друзья! — крикнул Кортес. — Путь назад отрезан, — тем сильнее мы должны стремиться к победе!..

• Он обвел солдат взглядом.

— Разве не готов каждый из вас, мои боевые солдаты, мои храбрецы, биться, как лев, с язычником Монтесумой? Разве любой из вас не готов до локтей погрузить руки в сокровища Мехико? Все это сбудется, я обещаю вам. Простых солдат я сделаю капитанами,

комендантами крепостей. Разве не хочешь ты, Габриэль Нова, получить большой индейский город в подарок? А ты, Эредия, разве откажешься от богатого поместья и рабов в индейских землях? Я одарю каждого из вас, как император Юлиан не одарял своих полководцев...

— Браво, капитан Кортес!.. Вива!.. Ура сеньору Кортесу!.. — солдаты зашумели.

Кортес кивнул. Он уже улыбался.

— Просите сейчас у меня, что кому нужно. Я не откажу моим солдатам.

Он глядел на лица ближайших. Впереди, с левого краю, стоял Лопе Санчес. Перебитый камнем лиловый нос Лопе бросился ему в глаза.

— А, Санчес! — улыбаясь, сказал Кортес. — Солдат капитана Бальбоа! Я помню тебя. Ну вот скажи, ты чего хочешь?

Лопе выступил вперед. У него забилося сердце. Он думал не о себе.

Оружейник Андрес прятался в кустах. Цепи и плен угрожали Андресу, если его поймают.

— Вы мне обещали камзол, ваша милость... — волнуясь, начал Лопе.

— Да, да, помню... Ты получишь его, — милостиво сказал Кортес.

— Нет, — сказал Лопе Санчес. — Не надо мне камзола. Освободите от наказания нашего товарища. Пускай Андрес Морено идет со всеми вместе в поход.

— Морено? — Кортес нахмурился. — Хорошо ли ты выбираешь товарищей, Санчес? — Он медлил с ответом. Потом сказал: — Пускай будет по-твоему. Я никогда не отказываю моим солдатам.

— Вива, Кортес!.. Вива, капитан!.. — нестройно закричали солдаты.

Через два дня Кортес объявил по армаде приказ: готовиться к выступлению в поход.

Всех больных, ослабевших и раненых — человек тридцать пять — Кортес оставлял в крепости на берегу. Комендантом он назначил Хуана Эскаланте, переведя его для этого из солдат в капитаны.

Старый эконо́м Хуан де Торрес тоже оставался в крепости. Он был слаб и разбит после желтой лихорадки.

— Не увидеть мне больше родную Ламанчу! — сказал старик Санчесу. — Не доживу. Если ты останешься жив, Санчес, и вернешься, обещаю мне, что разыщешь мою семью и расскажешь им обо мне.

— Обещаю! — сказал Лопе.

— Долго искать не придется, — сказал старик. — Нашу деревню Пинчос там все знают: по дороге на Аргамасильи в Пинереду, в двух часах пешего пути. Там еще спуск такой вниз и пинии на пригорке. Тут, у пиний, за часовней и будет наша деревня. Разыщи старуху Фернанду, это моя жена, — может быть, она еще жива. Если же ее уже не найдешь, — ищи Матео, который женат на мельниковой дочке, — рябого Матео, бочара, — его там все знают в деревне. Это мой сын. Расскажи ему обо мне.

— Я все сделаю, дорогой де Торрес, — сказал Лопе. Он попрощался со стариком, как с родным. — Я все сделаю, земляк, не беспокойся.

Лопе просидел до утра на берегу. Андрес Морено пришел и сел рядом с ним на камень.

Безбрежный океан, огромный, чужой, равнодушный, на много тысяч лег морского пути отделял их от Испании, от родины, от родных людей.

Андрес долго смотрел на океан.

— Айша!.. Увижу ли я тебя!.. — вслух сказал Андрес. Он закрыл лицо руками.

И Лопе вздрогнул. Андрес говорил еще и еще, тихо, точно забывшись.

Он говорил на непонятном языке.

— Айша... эйми хакара!.. Рахамину... — говорил Андрес.

Далекое-далекое воспоминание мгновенной вспышкой озарило сознание Лопе.

В детстве, гостя у деда в Хасне, он не раз слышал эту речь, — глухую, гортанную арабскую речь, с тяжким придыханием, за высокой стеной соседнего дома. Там жили мавры.

Лопе встал.

— Значит, ты мавр? — глухо спросил Лопе.

Андрес отнял от лица руки.

— Да, — просто сказал Андрес. — Я сын мавра и испанки.

— Как же так?.. Как же так?.. — слегка отступив,

спросил Лопе. — Ты не христианин? — Он не знал, что сказать.

— Ну и что же?.. — так же просто сказал Андрес. — Разве я оттого плохой товарищ тебе и другим солдатам?..

Он улыбался.

Лопе помедлил.

— А ведь правда! — сказал Лопе. — Пресвятая дева, — чистая правда!

Он наклонился и поцеловал смуглую небритую щеку оружейника.

* * *

Наутро вся армада, простившись с остающимися в форту Вера Крус, выступила в поход. Они двинулись маршем по зеленой цветущей равнине, потом, минув Семпоалу, свернули вправо и начали подниматься по крутой горной тропе. Снежная корона Оризабы уходила влево. Они шли все выше и выше. Сухие открытые высокогорные поля страны Мехико простирались перед ними.

СОДЕРЖАНИЕ

алентина Журавлева. Урания. <i>Научно-фантастический рассказ</i>	3
. Альтов. Полигон «Звездная река». <i>Научно-фантастический рассказ</i>	21
и. Шалимов. Музей Атлантиды. <i>Научно-фантастический рассказ</i>	39
александр Грин. Ранчо «Каменный столб». <i>Повесть (публикуется впервые)</i>	69
и. Дружинин. Янтарная комната. <i>Повесть</i>	181
И. Ионичев. На карте не значит. <i>Повесть</i>	293
Теонид Семин. Волчий след. <i>Киноповесть</i>	457
Игорь Росоховатский. Шляпколовы. У тебя есть друзья. <i>Повести</i>	507
и. Гансовский. Гость из каменного века. <i>Научно-фантастический рассказ</i>	597
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Свечи перед пультом. <i>Научно-фантастический рассказ</i>	611
алентина Журавлева. «Орленок» не вернется. <i>Рассказ</i>	631
ыгодская. Капитан Кортес. <i>Историческая повесть</i>	645

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

■ Ваши отзывы о содержании и оформлении книги присылайте по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги Детгиза.

Укажите свой точный адрес и возраст.

РИСУНКИ С. СПИЦЫНА

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Сборник
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА

Ответственный редактор А. И. Плюснина. Художник-редактор Ю. Н. Киселёв.
Технический редактор П. Л. Трусова. Корректоры А. К. Петрова и К. Д. Левицкая.

Подписано к набору 5/V 1961 г. Подписано к печати 31/X 1961 г. Формат 84×106¹/₃₂.

Печ. л. 25,5. Усл. п. л. 42,84. Уч.-изд. л. 43,98. Тираж 65 000 экз. М-74009

Заказ № 124. Цена 1 р. 57 к.

Ленинградское отделение Детгиза. Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

Ір. 57к.

ДЕТГИЗ 1961